

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

ДО ВСТРЕЧИ НА НЕБЕСАХ!



НЕБОЖИТЕЛИ ПОДВАЛА

повести



у НИКИТСКИХ
ворот

МОСКВА

2018

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.44
С55

Сергеев Л.А.

С55 До встречи на небесах! Небожители подвала. Повести.
— М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018. — 640 с.

ISBN 978-5-00095-574-1

Исправленное и дополненное издание
Оформление автора

Прозу Леонида Сергеева отличает проникновенное внимание к человеческим судьбам, лирический тон и юмор.

Автор — лауреат премий им. С. Есенина, им. А. Толстого, им. С. Михалкова, им. В. Шукшина, Первой премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 г., Первой международной премии «Литературный Олимп» 2011 г.

ISBN 978-5-00095-574-1

© Сергеев Л.А., 2018



Барков А.



Сурганов В.



Золотцев С.



Блудилин И.



Дорофеев А.

**МОИ ДРУЗЬЯ-СТАРИКАНЫ,
ИЛИ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШЕ ПРОШЛОЕ!**



Егоров В.



Иванов С.



Бахревский В.



Красильников Н.



Воробьев Ф.



Иванов А.



Козлов С.

*Империи создают титаны,
а разрушают пигмеи.*

Мои друзья – шестидесятилетние, искушённые, выдавшие виды, прокуренные, проспиртованные стариканы; одни – седые, тучные, одутловатые, с четверными подбородками, обвисшими животами и ляжками, как галифе; другие – лысые, тощие, высохшие, сутулые, беззубые и со вставными челюстями – точь-в-точь огородные пугала. И все гипертоники, язвенники, с аденомами и грыжами; у одного от давления раскалывается голова, второй от радикулита и разогнуться как следует не может, у третьего так изношены суставы, что слышен треск, – у каждого свой набор недугов (у некоторых истории болезней уже составляют несколько томов – то есть они, стариканы, уже попросту мешки с костями). Все, понятно, – завзятые пьяницы и обжоры, они всю жизнь относились к здоровью наплевательски, но теперь, хмырики, зашевелились, притормозили с куревом и выпивками, стали беречь то, что осталось от здоровья, – некоторые хотят протянуть до сотни лет и при встрече избегают разговоров о смерти.

Притормозили – значит, уменьшили убойные дозы, а не завязали совсем – ни в коем случае. Мы не терпим трезвенников – тех, кто считает, что мы «отравляемся»; с такими праведниками не тот разговор – не тот настрой, не то откровение; мы давно заметили – непьющий и некурящий мужчина редко бывает хорошим товарищем. Некоторые из моих друзей, и я в том числе, притормозили совсем немного – можно сказать, просто перешли из профессионального клуба в любительский, – вот ещё! – отказываться от привычного, ведь алкоголь не просто поднимает настроение и делает разговор задумчивым, но и расширяет сосуды, и, ясно, – голова работает лучше. Толстой говорил Бунину: «Когда собираются друзья, они, конечно, должны выпить, покурить». Хотя, надо признаться, после затяжной пьянки ночью скручивает, глотаешь таблетки, пьешь настойки. И с утра туго соображаешь – где проснулся, какое время суток? Пару дней в себя приходишь. Такие дела.

Теперь нам уступают место в транспорте, молодёжь называет «дедами», а дряхлые старцы нет-нет да и спросят: «Ты на каком фронте воевал?» Понятно, это уж слишком! Ну, короче, у нас есть запас прочности, в наших глазах ещё не потух некоторый задор (не фонтан

жизненных сил, но определённый азарт), и наши беседы за бутылкой водки проходят довольно забористо. А поговорить нам есть о чём, ведь нашему поколению выпала насыщенная эпоха.

Мы были столичными мальчишками военного времени и помним воздушные тревоги, ночёвки в метро, противогазы, «зажигалки», бомбоубежища, и «ежи» на площадях, прожектора и зенитки, и хлебные карточки. И помним эвакуацию на восток, и плотно заселённые общаги, и выбитые «пятаки» перед ними, и «буржуйки», и керосиновые лампы с нитями копоты, и неотопливаемые школы, и обёрточную бумагу вместо тетрадей, и один учебник на троих. Мы прошли через голод и похоронки. У нас было трудное детство, потому мы и знаем цену вещам.

Но были у нас и свои радости: подножки трамваев, железные каталки, «расшибалки», «махнушки», и жмых, и самокаты, которые мы мастерили своими руками и которые были для нас не менее ценными, чем мотоциклы для теперешних подростков. И были рыбалки и катанья на льдинах, лапта, городки и чиж, и дворовые футбольные команды, и свалки трофейной техники, и трофейные фильмы, и прекрасные песни военных лет, и было главное – бескорыстная надёжная дружба, которой теперь не сыскать, ведь теперь отношения по большей части строятся на полезности, выгоде.

Я вспоминаю послевоенные годы, наши лыжные походы, и плаванья по речкам на плотках, и первые открытия в природе, которая тогда ещё не была так изуродована, как сейчас. В лесу, а не в зоопарке, мы видели лосей, волков, лисиц... О зайцах и белках и говорить не приходится – они забегали на городскую окраину. В те времена реки ещё были прозрачными – дно просматривалось на пятиметровой глубине; протоки забивали кувшинки, заводи – лилии; в лугах раскачивался высоченный травостой, в котором запросто исчезал грузовик, в лесах ещё не спилили огромные, в три обхвата, деревья, и возвышались гигантские, с киоск, муравейники, и встречались широкие поляны крупных ромашек и колокольчиков – теперь такое увидишь только на фотографиях. Между тем с этих красот и началось наше творчество: первые рисунки и стихи. Так что, воспоминания обо всём этом не просто фокусы памяти, а немалая ценность. Не зря же Достоевский говорил: «Воспоминания из детства служат ориентиром всю жизнь».

Молодым людям не понять, как пожилой человек цепляется за хорошее в прошлом, что воспоминаниями мы не просто возвращаем воздух детства и юности, но и пытаемся приостановить время, задержать уходящее. Ведь в молодости, когда живёшь интенсивно, когда полно впечатлений, переживаний, время растягивается и его не ценишь, а под старость, в упорядоченной и в общем-то однообразной жизни, время летит быстрее и, естественно, им уже дорожишь – тем более что жизнь оказалась намного короче, чем мы думали. Намного короче.

Кое-кто из теперешней молодёжи считает нас обманутым поколением, чуть ли не духовными мертвецами, но это абсолютнейшая чушь. Действительно, идейное давление было, но не такое уж сильное, как трезвонят теперь «реформаторы» (я, например, всегда увивал от комсомольских собраний, взносы не платил, и мне всё сходило с рук). Конечно, вожди пытались сделать из нас послушную массу, но у них ничего не получилось. Да и как получится, ведь характер, талант, интуицию, воображение массовым не сделаешь. Надо сказать, и это никому не оспорить, в основном нас воспитывали на классике. Взять хотя бы радио – звучали целые оперы и спектакли, – именно благодаря радио мы знаем великие музыкальные произведения.

А какие были фильмы! Для детей – гуманные, зовущие к добру сказки режиссёров Птушко и Роу, для подростков – романтические «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ» и музыкальные комедии Пырьева и Александрова; и пусть в них было немало наигранности, иллюзий счастливой жизни, некой мечты, но они помогали жить, давали надежду. Не то что теперь, при бесчеловечном режиме, когда всё искажено и, чего скрывать, сплошное огрубление и опошление искусства; телевидение навязывает детям ужастики, уродов телепузиков, монстров; подростков оболванивает фальшивыми ценностями, антикультурой, даёт ложные ориентиры, сбивает их в агрессивную стаю, а между тем искусство для того и существует, чтобы прививать нравственность, духовные интересы, чтобы каждый пытался стать самобытной личностью.

Ну а возможности для нашего развития были просто фантастические. Пожалуйста: детские библиотеки (случалось, за книгами записывались в очередь), художественные, музыкальные и спортивные школы, Дворцы пионеров с многочисленными кружками: драмати-

ческим, хоровым, танцевальным, корабле- и самолётостроительным, фотографическим, шахматным – глаза разбегались, выбирай любой по наклонностям, и всё бесплатно, только ходи! И не зря над Дворцами висел лозунг: «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (сейчас у клубов – «Учись развлекаться!» и прочая дребедень).

А какие были катки в парках, когда сотни конькобежцев под музыку носились по аллеям, время от времени забегая в раздевалки, чтобы выпить – не пиво, которое теперь молодёжь распивает в подъездах и даже в метро, а кофе с молоком! И где сейчас лодочные станции и праздники на воде с фейерверком, парады физкультурников, духовые оркестры на открытых эстрадах в парках культуры и танцы на площадях? А у нас всё это было! Был неподдельный энтузиазм без всякой показухи, и эти праздники, демонстрации давали ощущение единства нации, мы гордились, что являемся частью великой страны. По-настоящему гордились.

Что особенно важно, совместные занятия в кружках, соревнования на стадионах, когда сдавали нормы на значки БГТО и ГТО, субботники, посадка деревьев всем двором, развешивание скворечен и кормушек для птиц, сбор металлолома, пионерские лагеря, помощь колхозникам в уборке урожая, походы с рюкзаком и песни у костра – всё это и многое другое (даже коммуналки!) сближали нас, делали отношения истинно товарищескими, а то и братскими. Потому мы и знаем, что общность людей, дух коллективизма – не пустые слова; тот дух – самое значительное, что мы вынесли из детства и подросткового возраста. Это совершенно ясно теперь, во времена дикого капитализма, когда каждый выживает сам по себе, пробивается, расталкивая других, взяв на вооружение клич «демократов»: «Бери свободы сколько проглотить! Делай деньги любым способом!». «Демократы» разогнали пионерию и комсомол, но что дали взамен? Вот и появились тучи беспризорников, наркоманов, проституток-малолеток; и если раньше героями были лётчики, полярники, геологи, то сейчас, в разбойничье время, – крутые бизнесмены, бандиты, рэкетеры. В основном именно они.

Раньше каждый мог без всяких денег поступать в любой институт – ради бога, если голова варит; а сейчас без кругленькой суммы в вуз и соваться нечего. Раньше молодые люди ехали на Север, БАМ, целину, мечтали что-нибудь изобрести, открыть, а сейчас – только

и думают, как бы заняться бизнесом, купить иномарку или умотать на Запад. И конечно, мы гордились своей страной, а сейчас делается всё, чтобы молодёжь её ненавидела, – достаточно посмотреть телевизор, полистать газеты.

Нельзя забывать, что в СССР каждый год происходило снижение цен на основные товары, постоянно открывались новые железные дороги, заводы, научные институты. Многие жили бедно, но оставались приветливыми, весёлыми, а сейчас на лицах безнадёжность, озлобление. Раньше у страны было будущее, а сейчас впереди сплошная безысходность. Совершенно ясно – социализм неизмеримо справедливей и гуманней волчьих законов капитализма. Не случайно западники считают, что революция в России заставила капиталистов повернуться лицом к простому народу, сделать капитализм менее волчьим. Не случайно.

Ну а наша юность прошла бурно. Одни из нас учились в институтах, обогащались знаниями, закладывали могучую базу и одновременно всюю кропали стихи; другие, отслужив в армии и приехав в столицу из провинции, перебрали кучу профессий, пока не нашли себя в искусстве. Одни с помощью учителей постигали премудрости литературного ремесла, другие до всего докапывались самостоятельно, но и те и другие жили меж двух культур: традиционно высокой и лакировочной, помпезной, временами попросту между красотой и уродством.

Была ещё одна культура, расширяющая скудное информационное поле, – «кухонная», где читали самиздатовскую запрещённую литературу, по «вражеским голосам» сквозь глушилки слушали джаз и пересказывали анекдоты про власть имущих. Такая мешанина среды проживания не давала расслабляться, тем более что приверженцы разных культур не переваривали друг друга, и в богемных кругах частенько возникала накалённая атмосфера. Но, в отличие от благополучной, размеренной (когда решены основные проблемы) и скучноватой жизни на Западе, у нас всё время что-то происходило, менялось, мы находились в постоянном движении, жили среди контрастов, и, понятно, нам скучать не приходилось. К тому же на Западе ценилось богатство, а у нас искренняя дружба и бескорыстная любовь; у нас быть богатым или сыном какого-то деятеля считалось неприличным.

Особенно напряжённым было время, когда состоялся известный съезд и закрытый доклад, который передавался по цепочке слухов; приоткрыли занавес над прошлым нашего отечества, и все увидели жуткую картину – оказалось, идеи социализма реализовывались не так гладко, как нам внушали; лозунги коммунистов сразу затрещали по всем швам.

С колокольни хрущёвского времени многое в деятельности Сталина выглядело чудовищным (за что сидели Вавилов, Заболоцкий и многие другие невинные?), но и тогда возникал вопрос: без диктатуры сохранилась бы страна в годы хаоса и разрухи? А теперь и вовсе доказано, что репрессии начинали троцкисты, что в верхушке палачей все сплошь были сионистами. (Троцкий рассматривал русский народ как «хворост», чтобы разжечь мировую революцию.) Сейчас все злодеяния приписывают Сталину, между тем, как выяснилось, понятия «враг народа» и «тройки» ввёл Троцкий, и лагеря ГУЛАГа его детище, и он же лично расстреливал русских офицеров и считал, что «терроризм необходим для построения коммунизма». Даже «свой» Г. Боровик признаёт – «Если бы власть взял не Сталин, а Троцкий, было бы хуже».

Кстати, сейчас, когда Россия умирает, когда её вновь захватили единоверцы Троцкого, просто необходима диктатура, но русских, а не «русскоязычных», и честных патриотов. Как говорил Блок, «для управления Россией требуются люди верующие, умные и честные».

Потом подняли другой занавес – «железный», и начался бум: на экраны вышли зарубежные фильмы, на выставках появился Пикассо и польские авангардисты, приехал Ив Монтан, Москву заполонила фестивальная молодёжь; одно за другим возникали кафе, где открыто играли джаз, танцевали рок-н-ролл и буги-вуги. Тогда, в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, по столице прокатился океанский вал, всколыхнувший молодёжь, – она истосковалась по свободе, и теперь повсюду разгорались жаркие споры. Это был прорыв в новый мир, мы нашли то, что искали, видели то, что хотели видеть. События тех лет уже далеко от нас, но мы их помним отлично.

Вожди всполошились – как бы не расшатали всю систему, и вскоре вновь опустили занавес. Старые мухоморы! Им пораскинуть бы мозгами, дать молодёжи возможность выпустить пар, и скоро стало бы ясно – и у западников ерунды хватает; во всяком случае, авангард осточертел бы гораздо быстрее, чем кондовый соцреализм, а, главное,

лучшая, мыслящая часть молодёжи не приняла бы многие западные стандарты и разные ничтожные цели вроде обогащения (даже сейчас, когда приходится думать о выживании, немало парней и девчонок, для которых богатство не предел мечтаний). Ну а всё стоящее, качественное у западников надо было перенять, это пошло бы только на пользу.

И следовало преобразовать пионерию и комсомол в молодежные организации по типу бойскаутов, зелёных, антиглобалистов. (У этих последних вполне привлекательный лозунг: «Не дадим всему миру превратиться в одну потребительскую Америку! Сохраним разность культур!») В самом деле, не могут разные страны жить по одним правилам, глобализм уничтожит особенности народов.) Следовало на госслужбу выдвигать людей не по преданности партии, а по умственным способностям. И поменьше пичкать людей идеологией, а больше дать им самостоятельности.

А всех, кто рвался на Запад, надо было выпустить. Истинно русские не уехали бы. Как не вспомнить великого патриота Чайковского, который презирал всех эмигрантов: «...меня глубоко возмущают те господа, которые с каким-то сладострастием ругают всё русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей, на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне, они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято».

И Пушкин говорил, что «никогда ни за что не хотел бы поменять Отечество». Видимо, не зря Андерсен считал Россию «жемчужиной всех государств Европы». Он имел в виду не только наше богатство (недрами) и красоту нашей природы, но и русский народ, добросердечный, бесхитростный, незлопамятный, для которого главное не «золотой телец», а духовные ценности и ценность человеческого общения. И не случайно лучшие из «инакомыслящих» – те, кто «метил в коммунизм, а попал в Россию» (Максимов, Синявский, Зиновьев), впоследствии пожалели о своей деятельности. А так что получилось? Оставшиеся диссиденты (разумеется, все «богоизбранные») при поддержке американцев стали изнутри разрушать страну, претворять в жизнь план Даллеса – «разлагать, развращать, растлевать советскую молодёжь». Всё запретное, даже третьесортное, стало вызывать повышенный интерес, дурацкий ажиотаж (сборник «Метрополь», «Бульдозерная выставка»). Короче, на сцену опять вылезли старые

персонажи; выставки прикрыли, в кафе запретили играть «музыку загнивающего Запада», в газетах появились статьи о «тунеядцах». Так всё повернулось, хоть лопни, так.

Но новые веяния уже были неостановимы: под контролем комсомола, но всё же играли джаз, и полулегально устраивались выставки авангардистов, на вечерах поэзии читались левые стихи, из-за кордона провозились пластинки и запрещённая литература. Перед нами ещё долго маячили вожди, дубоватые идолы, но мы оставались самими собой.

Кстати, в те годы среди моих приятелей художников и литераторов было немало диссидентов, но уже тогда я догадывался, что по сути их искусство разрушительное. (Позднее заметил, что оно ещё и антирусское. Поэт Б. Авсарагов говорил: «Все диссиденты – с червоточиной».) Эти мои приятели с радостью встретили разгром страны, и, после наших жутких споров, стало ясно – мы никогда не договоримся, у нас разные взгляды на жизнь вообще; я презираю всё, что они превозносят, и люблю всё, что они ненавидят. А ненавидят они не только коммунистов, но и нашу страну в целом, потому я и не принимаю то, что они делают. В оценке литературных произведений и всего искусства следует руководствоваться словами Пушкина: «Нет истины там, где нет любви». Это должно быть законом. Чётким законом. Попутно замечу – когда власть захватили «демократы», большинство этих моих приятелей укатали за границу, с оставшимися я порвал всякие отношения.

Конечно, у нас имеются немалые счёты с прошлым режимом, ведь существовала жёсткая система запретов; было трудно делать то, что не вписывалось в отведённые рамки, иногда от самоконтроля рука руку останавливала; и повсюду было достаточно негодяев и хамов, но в сравнении с теперешним ельцинизмом, когда у власти сплошные подонки и ворьё, когда исковерканы судьбы миллионов, всё же дышалось легче; сейчас наступило форменное удушье – душит боль за разрушенное, разворованное и униженное Отечество. И, конечно, сейчас общий процент негодяйства и хамства в обществе вырос до невиданного уровня. Как не согласиться с Довлатовым – «после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов».

Бывали в нашей молодости и неприятные моменты: некоторых из нас вызывали в КГБ за «антисоветские разговоры», но у меня и моих друзей дальше угроз дело не пошло.

Я трижды посещал «Большой дом». Первый раз – ещё когда жил в Подмоскowie и кто-то из соседей настучал, что с друзьями «ругаю власть». Второй раз – когда вернулся из Калининграда, куда ездил с неким Златкиным. Этот аферист Златкин уверял, что в Калининграде его друзья помогут нам устроиться в торговый флот. Мне, безработному и не имеющему постоянной прописки, это было как нельзя кстати. Но, когда мы прибыли в портовый город, выяснилось, что Златкин уехал из Москвы, чтобы на время скрыться от суда (как фарцовщик-валютчик), а меня прихватил за компанию (позднее я узнал, что этот негодяй имел большой стаж негодяйства). Короче, я вернулся в Москву, и меня вызвали в органы и долго выспрашивали о «цели поездки».

Третий раз мне предложили явиться в мрачное здание после того, как из Москвы уехала француженка Эдит, с которой я встречался пару раз. Мне сообщили, что отец француженки – адмирал и работает на разведку против нашей страны. Так в лоб и заявили.

– А она наверняка интересовалась настроениями нашей молодёжи, – объявили мне.

– Её интересовала любовь, – сказал я то, что и было на самом деле.

Во всех этих случаях я отделался суровым предупреждением, но те допросы, когда вначале с тобой разговаривают чуть ли не ласково и на «вы», потом вдруг врывается напористый тип и орёт:

– Ну, хватит! Мы всё знаем! Выкладывай всё начистоту, иначе!..

Эти допросы кое-чему научили меня, с тех пор я приобрёл особый нюх на стукачей и кагэбэшников, вычислял их по одному внешнему виду и никогда не ошибался. Такой нюх имел не я один, некоторые мои друзья тоже имели.

И всё же, всё же у нас была потрясающая молодость! Как ни рассуждай, а дружба, любовь, увлечения никак не зависят от тех, кто стоит у власти. Главное – мы не думали о деньгах, ведь основное, необходимое было дешёво, доступно. Плата за жильё – символическая; продукты (не деликатесы), вино и сигареты стоили недорого; кино, театр, музеи – копейки; любой мог поехать к морю, купив билет до Феодосии за восемь рублей, а у моря снять комнату почти за бесценок и питаться в столовых на пару рублей в день. Именно в те годы многие из нас объехали полстраны. Я, например, автостопом прокатил тысяч семь километров. Попробуй теперь, когда все помешались на деньгах, проехать за одно спасибо хотя бы километр! Попробуй!

Чуть позднее я с друзьями объездил на машине всю европейскую часть России; мы останавливались где придётся и всюду чувствовали себя как дома; случались в пути поломки, но всегда находились бескорыстные помощники – не считаясь со временем, они копошились в нашей машине, автолюбители просто дарили запчасти, а водители грузовиков не раз наливали бензин бесплатно! Возможно ли такое теперь?!

Можно в чём угодно обвинять социализм, но нельзя не признать главного – попытка освободить человека от власти денег и установить социальную справедливость во многом удалась (понятно, в сравнении с западниками мы считались малоимущими, зато мы жили дружно, сплочённо, без забот о завтрашнем дне). И, бесспорно, была решена проблема национальностей – то, что сейчас раздирает всю страну. Раздирает, и ещё как!

В те времена мы часто ходили по речкам на байдарках и в каждой, даже самой бедной, деревне встречали доброжелательность и щедрость. Что показательно – в деревнях, уходя на работу, люди не запирали дверей; мы переступали порог избы, а нас встречал какой-нибудь кот или босоногий ребёнок (светловолосый, голубоглазый ангел, каких немало в российских деревнях).

И в городах многие обходились простейшими замками, не то что теперь, когда ставят железные решётки, стальные двери, секретные замки, домофоны... И людей можно понять – такого простора для фантазий всяких аферистов и мошенников, такого воровства, как сейчас, никогда не было. Ведь тащат посуду и продукты, провода со столбов, строительную технику и оружие из воинских частей! И это ещё мелочи. Те, кто повыше, воруют грузовиками, эшелонами! О тех, кто на самом верху, и говорить не приходится – те воротили хапают миллионы. Дорвавшись до власти, эти хищники не останавливаются ни перед чем, их аппетиты ненасытны: ради прибылей губят экологию, животных. Да, собственно, уже всеми признано, что наступило беспощадное время, звериная «демократия», когда деньги решают всё.

А раньше... Помню, в Крыму мы, как и многие туристы-дикари, разбивали палатку на окраине Судака; ходили в посёлок, ездили в Планерское, оставляя в палатке радиоприёмник, гитару, – ничего не пропадало. Вот так вот.

Немаловажно – в прежние времена можно было спокойно ездить по всей стране, а сейчас опасно выезжать даже за город; да и в самом городе многие по вечерам боятся выходить из дома, ведь бандитизм стал нормой, об убийствах уже сообщают спокойно, как о погоде (и что за чудовищные цифры – ежегодно без вести пропадает тридцать тысяч человек?!). А всего несколько лет назад по ночным улицам шастало немало полуночников: загулявших, чудаков, влюблённых; некоторые бродили до утра, и никому и в голову не приходило, что его могут ограбить. Не случайно многие теперь считают, что уж лучше жить при безопасной диктатуре, чем при бандитской «свободной демократии».

Теперь без отметки в паспорте уже не наведишь друга на Украине; без приглашения не съездить в Прибалтику. Хотя о чём я?! И ехать-то не на что – билеты взвинтили запредельно, нашей пенсии хватит только в одну сторону. Так что наша ностальгия по великой стране – не только тёплые воспоминания, но и боль, огромная боль.

Никуда не деться от факта: в советское время студенты получали бесплатное образование; на каждом шагу были библиотеки, вечерние курсы иностранных языков, спортивные общества. Все, кому не лень, могли летом шабашничать – подрабатывать на свежем воздухе в стройотрядах, а зимой, во время каникул, отправиться в агитпоход с концертами для сельских жителей.

При каждом заводе был клуб (а то и Дворец культуры) и студии самодеятельности, где разновозрастные рабочие и служащие постигали основы искусств и часто занимались с большим рвением, чем некоторые профессионалы (подтверждая слова Гоголя, что «у русского народа силён гений восприимчивости»). Именно из самодеятельности вышло немало знаменитых певцов и актёров.

И непременно при заводах был спортзал (а то и стадион) и, само собой, команды по многим видам спорта, причём команды не только из спортсменов-разрядников, но и из любителей – пожалуйста, отводи душу, сколько хватит сил.

Где, в какой стране были не элитные, а общедоступные аэро-клубы, яхт-клубы, авто- и мото-клубы?! И самые массовые – клубы туристов? В этих последних любой мог взять напрокат байдарку, палатку, снаряжение; ну и, конечно, сколотить компанию единомышленников, иногда через объявления: «Двое молодых людей ищут попутчиков на конный маршрут по Башкирии. Условие: покладистый характер и чув-

ство юмора». Или: «Весёлые симпатичные девушки присоединятся к группе, идущей по Кавказу. Умеем готовить, рисовать, петь...» От вокзалов отходили целые туристические «поезда здоровья», и в каждой области имелись турбазы, где опять-таки основным был тот товарищеский дух, который мы ощущали в пионерстве. И всё это было настолько естественным, привычным, что мы, дуралии, не ценили, и только теперь поняли, что потеряли. Да, только теперь.

Можно вспомнить много прекрасного в нашей молодости, но, пожалуй, самым прекрасным были романтические знакомства. Давно известно, красивых женщин в нашем отечестве хоть пруд пруди – в чём в чём, а здесь мы всегда держали первенство в мире, и, если ты молод, попробуй устоять от этого ежедневного парада! В наше время уже отбросили всякие условности – знакомились не только на выставках и в театрах, но и на улицах, в метро... От случайных встреч, мимолётных влюблённостей голова шла кругом, они остались в памяти как светлые, цветущие деньки – «лазоревые», как говорит художник Дмитрий.

Уже не вспомнить всех, в кого влюблялись по уши, остались только многообещающие взгляды, смутные улыбки, сбивчивые слова. В те годы весь воздух был пропитан флиртом, и мы неумоимо крутили романы. Знакомились легко, благо не было никаких расслоений в обществе и ещё ценились твои личные качества, а не то, что ты имеешь; одежда, деньги не имели существенного значения, и нашим подружкам было достаточно просто гулять по улицам, смотреть фильмы, пить кофе в какой-нибудь забегаловке. Это теперь девицам подавай ресторан, «мерседес», теперь они отворачиваются от всяких безденежных, неудачников, а на литераторов смотрят как на чокнутых. Так что в отношении романтических приключений нам невероятно повезло.

Понятно, мы не только гуляли по улицам и пили не только кофе – случалось всякое. Некоторые пуритане видели в нас «прожигателей жизни», но в сравнении с теперешней, в массе своей циничной и развращённой молодёжью мы выглядели всего лишь любителями приключений. Как ни крути, а всё-таки есть грань между влюблённостью и распущенностью, любвеобилием и развратом. Есть, и немалая. Уж не говоря о том, что чрезмерная свобода отношений меркнет перед романтической целомудренной любовью.

Теперь ведь молодёжная массовая культура сводится к дискотекам с диким психозом, наркоте и видакам, где сплошной секс и насилие. Всякие шоу и клипы преподносятся как новое искусство, но подобная массовая культура никогда не станет искусством, ведь она рассчитана на низкопробный вкус и её девиз: «Товар – рынок». Дельцы на телевидении и в издательствах так и говорят: «Мы раскручиваем то, что нужно рынку, что «в формате», что можно продать и не быть внакладе».

Сейчас молодые люди обезьянничают – хотят стать западниками и ради этого готовы поменять родной язык на английский (не понимают, балбесы, что ценность нации и каждого в отдельности – в своеобразности, неповторимости). Они виляют хвостом, лакействуют перед иностранцами, начисто забыв, что такое гордость и честь (Америка им представляется раем, откуда льётся золотой дождь в виде рока, джинсов, «кадилаков»). В своей среде молодёжь обходится минимумом слов – чего перегружать голову! – «полный отстой, крутой прикид, прикольно, тухло, будь отвязанным, продвинутым» – и это жаргон студентов, а рабочие парни и девчонки изъясняются только матом; у них мат – бравада, некое проявление свободы, они лепят его в каждой фразе, лепят, никого не стесняясь.

А мы в их возрасте стеснялись крепких ругательств. Теперь-то в старости, ясно, не обходимся без грубого русского сленга; но, во-первых, переживите с наше; а, во-вторых, попробуй не материться, когда на твоих глазах преступная власть разваливает и нагло разворовывает страну; в-третьих, литераторам надоедает борьба со словами за столом; для нас мат – ёмкое выражение нескольких понятий, да и вворачиваем его только к месту. Но, признаюсь, теперь, от повсеместного употребления, мат уже надоел (всякие Ю. Алешковские, Вик. Ерофеевы, Сорокины используют его даже как литературный приём, который, естественно, вызывает протест). Теперь, наоборот, тянет к чистому русскому языку, к языку наших великих классиков (не случайно же классика в переводе с греческого – совершенство).

Как известно, книги развивают способности (особенно воображение), а телевидение его убивает; «ящик» навязывает своё, не надо мыслить, получай готовые рецепты. Сейчас телевидение – самое большое зло в стране, мощное оружие одурачивания людей. С экранов телевизоров идёт ежедневная, проплаченная сионистами обработка населения – попросту неприкрытое издевательство над

честностью, благородством, душевной чистотой. По «ящику» молодёжи вдалбливают всякую чертовню: «Оттянись со вкусом!», «Бери от жизни все!», «Лучше жевать, чем говорить!». Вот они и жуют, садятся на иглу, без лишних слов заваливаются в койку; главное для них – «круто оторваться, расколбаситься, не стать кислотным». А мы – не то что устраивали праздник, но всё-таки обыгрывали ситуацию, и не обходились без разговоров об искусстве. Не обходились, честное слово, не обходились.

В конце концов мы все переженились (одни раньше, другие позже), заимели детей. Но, как известно, любовные отношения и супружество – совершенно разные вещи. Для семьи, кроме более-менее одинакового уровня развития и общих взглядов на основные вещи, нужны покладистость, уступчивость, терпимость, а мы и не знали, что это такое. К тому же буквально через год-два стало ясно, что мы женились не на лучших представительницах слабого пола. Мы ведь рассуждали как? Женщины без недостатков прекрасны, но с ними скучно. Вот и выбрали стервочек да истеричек. И начались нервотрёпки, стычки, перешедшие в войну с оскорблениями. Да-да, в настоящую войну.

Короче, спустя несколько лет мы все, как один, вдрызг разругались с жёнами и развелись. Большинство моих друзей в одиночестве пробыли недолго и снова ринулись искать счастья в браке, дуралеи. Но трое, самых стойких и свободолюбивых, ещё долгое время оставались неженатыми. Я тоже примыкал к этой золотой компании.

Показательно вот что – при разводе мы все оставили жёнам квартиры, сами же скитались по знакомым, пока не приобрели новое жильё. А что творится сейчас? Делят не только квартиры, но и вилки, ложки – чуть ли не распиливают диваны. Умора!

Наши семейные раздоры и последующие десять лет пришлись на период, который называют «застойным». Действительно, у власти стояли далеко не интеллектуалы, за них, квадратных уродов с протокольными рожами и канцелярским языком, мы постоянно испытывали стыд перед европейцами. (Когда они выступали, уткнувшись в написанное помощниками, вспоминался Пётр Первый, который запретил говорить по бумажке – «чтобы дурь каждого была видна».) Чиновничество доходило до маразма, просто тошнило от стадного единогласия и всяких торжеств, орденов и премий, которые сыпались,

как звездопад. Немало людей еле сводило концы с концами, но всё же – и это особенно важно – не было никаких беспризорников, бомжей и нищих, которые теперь заполнили улицы городов. Не было, хоть убейте, не было!

Насчёт того, что в искусстве многих зажимали, надо признать: в основном зажимали откровенных антисоветчиков с их злобными произведениями и блатную романтику бардов, которые хрипели под Армстронга, ну и группу художников-неформалов с их, в сущности, разрушительной живописью (теперь, во времена «свободы», ясно, какое искусство они хотели иметь). А большинство, если и чувствовало зажимы, то, как правило, в мелочах; некоторые, вполне честные мастера, и вовсе их не чувствовали. Ну не случайно же было создано столько выдающихся произведений?! (Где они сейчас? Где то, что лежало в «столе»? Ничего не появилось!)

Многие таланты (не дутые, не конъюнктурщики и не обязательно партийные) в те времена вообще жили припеваючи – выпускали всё, что хотели, и получали по заслугам – всем известны роскошные дачные посёлки художников, писателей, композиторов, актёров. Некоторые поэты (Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Ахмадулина) выступали в самых престижных залах и на стадионах; вечера поэзии собирали толпы – люди протискивались сквозь кордоны милиции (эти трудности только подогревали толпу). Те же поэты катались и по заграницам; (поговаривают, они сотрудились с КГБ, на что есть некоторые основания) и тогда всячески свидетельствовали свою лояльность к власти.

– Я не могу жить без коммунизма, – и такие вещи говорил Вознесенский (со слов художника Б. Жутовского).

А теперь он плюёт на прошлое, а Окуджава с Ахмадулиной и прочие «демократы» пишут президенту: «Раздавите гадину!» (имея в виду патриотов). Окуджава даже заявил: «Я с наслаждением смотрел расстрел парламента» (!). По словам прокурора Казанника, писатели «демократы» братались к нему со списком коммунистов, которых следовало... расстрелять! (Показали свою «либеральную» суть.)

И Евтушенко немало сделал реверансов власти, а теперь говорит: – Это я разрушил социализм (со слов поэта Е. Рейна).

Разрушил не разрушил, но руку приложил (известно, что именно литераторы расшатывали систему).

И Р. Казакова читала стихи на празднествах у Мавзолея, за что получала ордена, а теперь объявляет:

– Я жила в дерьмовом Союзе.

А уж о театральных деятелях – членах партии и говорить нечего – кое-кто из них получил чуть ли не в собственность целые театры (Сац, Дурова, Ефремов, Гончаров, Любимов, Захаров). Флейтист музыкального театра, мой приятель Алексей Виноградов, сам будучи евреем, с отвращением рассказывал, как их директриса Сац пробивала себе театр:

– Подняла на ноги всех евреев в Союзе композиторов: «Будете писать музыку к моим спектаклям, получать хорошие деньги» (такой «снабженческий талант», как говорит о подобной изворотливости актёр Л. Филатов).

Ну и само собой, через райком партии получила. Так же, благодаря партии, занимали театры Захаров и Дурова (эта дамочка на премьеры пьесы Мазнина обнимала и целовала партийных чиновников). Да и все остальные таким же макаром стали театральными вождями.

Между тем насильно в партию никого не загоняли, и эти деятели вступили в неё для карьеры; некоторые даже стали безбожниками и громче всех превозносили социализм. Они пресмыкались перед партийными чиновниками, но за пазухой всегда держали камень. Теперь-то они перекрасились (некоторые нацепили кресты) и особенно рьяно поливают бывшую власть, называя СССР «тюрьмой народов», а советских людей презрительно «совками»; некоторые (Захаров) перед телекамерами устраивают дешёвую показуху – сжигают партбилеты. Можно предположить – если к власти придут фашисты, они будут носить свастику. Кажется, это называется «политической проституцией». Такие люди напоминают тех, кто объясняется в любви женщине, а, переспав с ней, честит её последними словами.

Конечно, в разной степени, но давление партии ощущали не только работники искусств (например, моего отца за тридцать лет работы на заводе так и не повысили в должности, потому что он не вступил в партию, а мне в райкоме отказали в поездке во Францию, несмотря на приглашение от художника Стацинского), но, с другой стороны, каждый в том же райкоме мог найти поддержку. Сейчас и пожаловаться некому, сейчас у людей чувство потерянности, ненужности; люди лишены возможности высказаться, защититься.

Кстати, на местном уровне партторги мало чем отличались от простых работяг; это только крупные чиновники, развращённые властью, погрязли в привилегиях, но в сравнении с тем, что имеют теперешние вожди, эти привилегии кажутся пустяками, и рядом с дворцами новых властей дачи партийцев выглядят сараями. Теперешние слуги народа живут в сотни (если не в тысячи) раз лучше самого народа. Ко всему, при коммунистах был партконтроль, и начальники его побаивались. Теперь же власть полностью бесконтрольна. Ну и главное – кто бы из коммунистов ни стоял у власти, он всё-таки думал о стране, теперешние власти думают только о своём кармане. Только о нём, и ещё как!

Бесспорно, кое-что надо было перестраивать – никто не хочет жить в унижительной системе запретов, стоять в очередях за элементарными вещами, прорываться на закрытые просмотры фильмов и так далее. Только перестраивать, а не крушить посредством преступного «Беловежского заговора» по рецептам заокеанских спецов – ломать-то не строить. (Мы хотели, чтобы система стала более человечной, а диссиденты стремились разрушить весь Союз. «Прораб перестройки» А. Яковлев так и сказал: «Я всю жизнь мечтал развалить страну».)

Каждому нормальному человеку ясно – реформы надо было проводить мягко, под контролем государства, с ужесточением ответственности за тайные сделки, взятки и прочие преступления. А самозванцы ельцинисты сразу разрушили плотину, и началось наводнение; кто-то выплыл, кто-то утонул, кто-то ещё барахтается. Они руководствовались только одним – ненавистью к России, такой же осатанелой, какая была у Ленина с Троцким и их сионистской банды. (Чего стоит один только план «превратить мировую войну в гражданскую», натравить красных на белых и заявление Ленина: «Россия сгорит, ну и чёрт с ней»? А их разрушение храмов и уничтожение православия? А расстрел Троцкого казачества целыми семьями, и женщин, и детей?! А подавление Тухачевским восстания тамбовских крестьян?! Не случайно Черчилль сказал: «Революцию в России делали подонки».)

И так же, как большевики, ельцинисты первым делом обогатились – открыли за рубежом личные счета, куда перекачали наворованные деньги, купили там виллы, яхты. Между тем «мрачный тиран» Сталин прежде всего думал о целостности и могуществе страны – это нельзя не признать. И как бы «демократы» ни обливали грязью сталинскую эпоху, потрясающие успехи того времени не зачеркнуть. Сталин пред-

видел будущее: «На мою могилу наметут много сора, но ветер истории его развеет». Так и случилось, сейчас о нём всё чаще вспоминают.

Говорить о «демократах» противно – достаточно посмотреть на них, и станет ясно, кто они есть, – у них всё написано на физиономиях; они пропитаны злобой к России, и понятно, в своём мстительном угаре не остановятся ни перед чем. Совершенно очевидно, «демократы» – пятая колонна в нашей стране, попросту внутренние враги, которых сами американцы называют «агентами демократических перемен» и снабжают их деньгами (по данным американского политолога Манфолла, только СПС получила пятьдесят восемь миллионов долларов).

И понятно, все «демократы» готовы в любой момент дунуть на запад; не зря многие имеют второе, израильское, гражданство (в том числе – ельцинисты члены правительства, – их фамилии можно перечислять только с брезгливостью) и хвастливо заявляют, что «билеты уже в кармане» (Шохин), и своих отпрысков они давно отправили за границу (со смехотворными объяснениями Матвиенко и Явлинского), и наверняка их отпрыски не вернуться в Россию, ведь патриотами бывают только те, кто вместе со страной переживает все её беды, а власть, дети которой живут за границей, не будет и заботиться об «этой» стране. Не будет, как пить дать не будет. Факт остаётся фактом, «демократы» долго и планомерно разрушали Россию; и теперь, когда они добились своего, когда победили, так и хочется их спросить: теперь вы, негодяи, довольны результатом своей деятельности? И вспоминается Достоевский: «Проблема России в том, что русские либералы – не русские». И ещё: «Основная черта русских либералов – ненависть к своему народу».

При социализме было много нелепостей: спецмагазины «Берёзки», для поездки за границу требовались подписи «треугольника», не разрешалось издавать больше одной книги в год и печатать рукопись более восьми экземпляров, работать по совместительству, строить утеплённые дачи, менять автомашину раньше пятилетнего срока, два раза в год выезжать за границу, встречаться с иностранцами; и был закон о тунеядстве, по которому преследовали художников и писателей – не членов творческих союзов (меня не раз таскали в милицию и выдавали «приписки» о выезде из Москвы), и масса других примеров идиотизма властей, но при всём при том была крепкая социальная защита, надёжность, а «застойные» годы оказались самыми благопо-

лучными в истории нашего Отечества. Не было никаких потрясений и национальной вражды, люди бесплатно получали квартиры; и образование, и поликлиники, и больницы были бесплатными (сейчас, когда нас прищучили болезни, когда лекарства стоят баснословных сумм, мы в полной мере оценили прежнее здравоохранение).

Вообще немало делалось, чтобы народ вёл здоровый образ жизни. Передачи по радио начинались с утренней гимнастики под музыку, в обед – производственная разминка; любой рабочий и служащий мог даром получить путёвку в дом отдыха, а если заболел – в санаторий, и большинство этих здравниц были первоклассными, а те, что в курортной зоне, и вовсе напоминали апартаменты королей, это уж точно.

Я вспоминаю спартакиады народов СССР, всесоюзные соревнования подростков «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»; в каждом дворе была хоккейная коробочка, волейбольная площадка. Мы были ведущей спортивной державой. Да что там! Не только спортивной, но и ведущей в искусстве, в военной технике, в научных достижениях – взять хотя бы самые мощные в мире ракеты, самые большие атомные ледоколы и подводные лодки, самолёты «Руслан», суда на воздушной подушке...

У нас был огромный торговый флот. (Сейчас его распродали за бесценок; некоторые суда продавали по доллару за штуку, как металлолом! Понятно, кое-кто на этом погрел руки.) Мы имели самые большие в мире рыболовецкие флотилии, и магазины были завалены дешёвой треской, хеком (сейчас эти дары моря продают по заоблачным ценам).

У нас была хорошо отлаженная госслужба охраны лесов (сейчас на Дальнем Востоке всякие частные фирмы ради наживы спиливают реликтовые кедры, а в центральных районах под дачи новых русских безнаказанно вырубает сосновые боры).

Наши самые мощные в мире гидростанции также принадлежали государству, и за электричество мы платили копейки (сейчас ведомство Чубайса подняло цены неимоверно и по своей прихоти отключает свет и тепло даже в больницах и детских садах). Подобных чудовищных примеров можно привести сотни. Собственно, уже многие (в том числе и западники) признают, что развал и разворовывание нашей страны – величайшее преступление двадцатого века. Величайшее!

Я вновь вспоминаю... какими многолюдными были кинофестивали, когда на площадях и у кинотеатров возбужденные группы людей обменивались билетами; смотрели по два фильма сразу! Повторюсь, вечера поэзии, спектакли и концерты собирали полные залы. И мы были самой грамотной и читающей нацией – в транспорте все сидели с книгами (сейчас с эротическими журналами, в лучшем случае – с детективами), – именно поэтому, несмотря на невысокий жизненный уровень, мы считались духовной, гуманитарной, культурной страной, а ведь культура не что иное, как душа народа, именно душа.

В те годы во дворах не было никаких дурацких «ракушек», не слышались хулиганские разрывы петард – соседи играли в шашки, домино, шахматы. Но главным – опять нажму на это – было отношение людей друг к другу: заходи в любой дом, тебя встретят по-дружески, угостят последним, а уж сигаретами и выпивкой делились с первым встречным. (Только в России приходят в гости без приглашения. Наша доброжелательность и щедрость всегда поражала иностранцев.)

Что и говорить, у нас была великая, могучая страна! Нас побаивались, но и уважали. А теперь, когда «демократы» всё развалили, разграбили и мы по всем показателям откатились на последние места, с нами никто не считается, о нас попросту вытирают ноги. Раньше мы всё-таки догоняли Америку, самую богатую страну в мире, а теперь – Португалию(!), беднейшую из европейских стран. Такие дела.

Будучи молодыми, мы часто ругали социализм, но теперь, чем дальше отдалается то время, тем отчётливей в нём высвечивается положительное. Теперь уже точно можно сказать – хорошего было гораздо больше, чем плохого. А сейчас отвратительно всё. Ну, почти всё.

Некоторые скажут: старикам всегда прошлое кажется лучше настоящего, ведь тогда они были молодыми. Так-то оно так, но от фактов не отмахнуться. Да, сейчас в магазинах тьма товаров, но большинству населения даже продукты не по карману. Да, построили роскошные многоэтажки, но кто может купить квартиру за десятки тысяч долларов? Да, за городом видны немыслимые богатства – целые посёлки особняков и дворцов с башнями и каменными оградами, но в них – сплошь проворовавшиеся новые русские. Да, на улицах полно «мерседесов» и джипов, но из десяти таких иномарок в девяти сидят преступники. Да, можно ездить за границу куда хочешь, но кто ездит, кто отдыхает на Багамах и Ка-

нарах? «Жизнь превратилась в гигантскую дискотеку, где шаманит рыночная экономика», – сказал Айтматов.

«Демократы» кричат о правах человека, защищая воров и бандитов, но не говорят о правах их жертв (отменили смертную казнь даже для убийц десятков детей). Такой ложный, преступный гуманизм. А свобода слова, о которой они молотят, – враньё: эта свобода однобокая, выборочная, для одних – тех, кто устроил переворот; газеты и радио извергают сплошную ложь – стараясь перещеголять друг друга, всякие русофобы с садистским наслаждением глумятся, издеваются над народом (количество оскорблений уже и не сосчитать), разносят все предыдущие годы и замалчивают выдающиеся достижения, как будто у страны и не было великого прошлого. Ну не негодяи?!

Можно с полным правом сказать: «демократы» ведут против России настоящую психологическую войну. Уничтожены народные промыслы (Жостово, Федоскино, Палех, вологодские кружева), вместо них выпускают откровенно эротические подделки. В Третьяковке живопись советского периода заменяют на авангард, разрушили «Мультфильм», ликвидировали птичий рынок, «Горбушку» – колоритные толкучки, где общались любители животных, музыки.

На телевидении закрыли литературно-художественные передачи: «Народное творчество», «Это вы можете», «Белая ворона», «А ну-ка, девушки!», не показывают казачий хор, «Берёзку», хор Пятницкого, но с утра до вечера запускают боевики – показывают, как можно ненавидеть друг друга и все способы убийств; и всякие мерзкие шоу, где можно «легко выиграть миллион», всякие развлечения – «Угадай букву», «За стеклом» – и античеловечные игры «Алчность», «Последний герой», «Слабое звено», где учат предавать, совершать подлости; афишируют пошлую, циничную эстраду и тусовки «соломонова племени» – «Гавань», «Попугай», «Старая квартира», «Наш дом»; крутят порнографические ролики на фоне Эрмитажа(!), а как ориентиры – обжорство новых русских в ресторанах, их отдых на Канарах.

Делается всё, чтобы молодёжь забросила книги и спорт, забыла историю своей страны. В учебниках на деньги Сороса убирается всё русское – Некрасова, Есенина, Б. Житкова, замалчиваются подвиги Суворова, Ушакова; закрыли кафедры русской истории в Петербургском университете и русской музыки в консерватории. Зам. Лужкова Мень говорит: «Нельзя слишком пропагандировать православие».

«Правозащитник» Ковалёв идёт ещё дальше: «Русское православие – это вообще антихристианская секта». Ему вторит священник Якунин: «Православие – база для антисемитизма и фашизма». (И почему патриарх держит такого «батюшку»? И почему не замечает забастовок рабочих, но наградил орденами Ельцина и Швыдкого.)

А вот высказывания писателей «демократов»: «Надо лет на пять-десять забыть слово «патриотизм» (Приставкин). «Больше всего меня пугают уроки патриотизма», «Набоков и Чехов – это пошлость» (Бунимович). «Лев Толстой – антирусский писатель» (Быков). «Бунин – дерьмо» (А. Парнис). И всё это открыто, напористо. А Чубайс говорит: «Нам не хватает наглости». Куда уж больше!

Сейчас молодёжь призывают заколачивать деньги и «развлекаться так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» (СТС). Ведущий программы «Моя семья» Комиссаров открыто выступает за порнографию и секс на телевидении. И академик Познер не против мата в средствах массовой информации.

Раньше по телевидению призывали идти по жизни «с песней», теперь – «с пивом», раньше желали счастья, любви, теперь, с откровенным бесстыдством, – «побольше вам денег!». «Россия превратилась в помойку западной культуры», – сказал дирижёр Темирканов. Что верно то верно, это и последнему дураку ясно.

О чём говорить, если министр культуры Швыдкой выступает в роли главного душеителя всего русского в искусстве. (Изгнал выдающихся русских: Светланова, Васильева, Головкину, Овчинникова, Плетнёва, измывается над Волочковой; на сцене Большого театра ставит пошлого Сорокина! А для своего министерства купил за миллион рублей «Чёрный квадрат»!) Этот министр ведёт одну из самых омерзительных передач, где сионисты всех мастей, издеваясь над зрителями, смакуют темы: «Секс как двигатель в культуре», «Мат как норма в искусстве», «Пушкин устарел», «Русский фашизм страшнее немецкого» – и вся эта мерзость на фоне резиновых идиолов, и где? В доме Пушкина!

На передачу приглашают и русских (одного на десять «своих») и, как правило, устраивают им судилище. Ничтожества! Они победили Россию и теперь пинают и топчут её, устраивают пляски на могилах своих жертв. Невыносимо это видеть! Хорошо сказала актриса Андрейченко на одной из таких передач: «Всё это психотропное оружие. Никогда еще зло так не торжествовало у человечества». А философ

Зиновьев всё это назвал «ублюдочной культурой». Точнее не скажешь. Ясно, такая тошнотворная «культура», как ржавчина, разъедает души людей, и она не случайность, а чётко спланированное разложение общества, ведь, чтобы безнаказанно грабить народ, надо создать среду безнравственности и насилия.

Ну разве случайность – крошечное меньшинство населения одной национальности захватило все ключевые должности в правительстве, все банки, газеты, телевидение; такое впечатление, что страна находится под оккупацией, или что мы живём в Израиле. Собственно, «демократы» и сами это подтверждают. Березовский открыто заявил в Израиле: «Восемьдесят процентов финансов России уже в наших руках». Немцов и вовсе выдал сенсационное: «Если не будет нас (евреев), ничего в России не будет». Эту же яркую мысль повторил и расширил Ян Рабинович: «Без евреев Россия просто не могла бы существовать(!). Поскольку сейчас русские пассивны, а евреи активны, коренной нацией России надо считать евреев». Ну и куда уж дальше! – сам премьер Гайдар все расставил по местам:

– Россия как государство русских не имеет будущего.

Естественно, подобные высказывания ничего, кроме возмущения, у русских вызвать не могут. И нормально ли: ежедневно по телевидению десятки раз показывают самую маленькую страну, но даже не упоминают огромные страны – Китай, Индию, Бразилию?

Сейчас телевидение постоянно внушает, что русские – «совки», а их любовь к родине «квасной патриотизм». И вообще русские – лентяи, дураки, пьяницы, воры, не умеют работать... Но кто создал могучее государство, кто дал миру великое искусство?

Сейчас увидеть по телевизору русский пейзаж, услышать русскую песню – да что там! – просто увидеть хорошее русское лицо (если и покажут, то бомжа) – словно глоток свежего воздуха. К слову, теперешнее засилье на экране нерусских, очернение и осмеивание всего русского, помогло мне сильнее полюбить Россию. И надо основательно постараться, чтобы такие, как я, который никогда не разделял людей по национальности, пересмотрели свои взгляды. Оказалось, национальные особенности не только отличают людей друг от друга, но и часто несовместимы.

Конечно, всегда были евреи, пропитавшиеся русской культурой (Левитан, Дунаевский, Утёсов), и сейчас есть (Зельдин, Быстрицкая,

Золотусский, Э. Тополь); наверняка они испытывают стыд за соплеменников у власти, но стоит этим правдолюбам подать голос, как раздаются окрики «своих». Э. Тополь сказал: «В России есть фашизм, но не русский, а еврейской буржуазии» – соплеменники на него окрысились. Ю. Мориц сказала: «Все евреи уехали, остались одни жидаы» и выступила против «демократов» – ей тоже досталось. Среди моих приятелей есть несколько достойных интеллигентных евреев, которые презирают «демократов» и открыто, безбоязненно ругают власть. Одному из них, доктору философии Вадиму Межуеву, я недавно сказал:

– Знаешь, только сейчас, под старость, я понял – негодяев гораздо больше, чем я думал.

– Ха! – вскричал мой друг. – Я всегда тебе об этом говорил!

Именно Межуев назвал «демократов» у власти «проходимцами» и «подонками» и добавил, что самой большой ошибкой Горбачёва была отмена шестой статьи Конституции, после чего и началось разрушение страны.

Недавно в ЦДЛ я встретил старого приятеля, активного «демократа» Юрия Корякина. Мы выпили, и я спросил:

– Ну как тебе то, что натворили твои «демократы»?

Он только покачал головой.

Наши отцы и матери делили свою жизнь на – до войны и после войны, мы делим на – до перестройки и после неё. Нашему поколению повезло: мы стали не только свидетелями смены эпох, но и прожили и при социализме, и при капитализме, были участниками и той, и этой жизни, так что можем сравнивать системы, и, признаюсь, в этом очерке мною движет не столько любовь к социализму, сколько ненависть к бандитскому капитализму «демократов» (я не против богатых людей, но тех, кто добился богатства трудом и талантом, а не аферами и воровством).

Конечно, мы не думали, что доживём до краха социализма, и, когда в конце восьмидесятых Горбачёв затеял перестройку, мы, пятидесятилетнее дурачье, её осторожно, но всё-таки приветствовали – ещё бы! – каждый чувствовал причастность к историческому моменту. И первые шаги новых властей обнадёживали – действительно, появилась свобода слова. В те дни многие из нашего поколения даже растерялись. Это и понятно, ведь если лошадь, всю жизнь прорабо-

тавшую в шахте, вывести на свет, она ослепнет. И понятно, всё надо получать вовремя, – свободу мы получили запоздало.

И всё же мы думали, что перестройка приведёт к лучшему: отменят прописку, и каждый сможет жить, где хочет; каждый получит достойную зарплату и, наконец, сможет побывать за границей, посмотреть мир; что разрешат частное предпринимательство, но в разумных пределах (от мастерских и кафе до небольших магазинов), без собственности на гигантские заводы, нефтепроводы, энергосистему, телевидение, тем более на природные богатства: леса, луга, озёра (об этом ещё Л. Толстой писал Столыпину). И, конечно, думали, что все преобразования пойдут под строгим контролем государства. Только так.

Ну и, само собой, мы надеялись, что отменят всякие привилегии и на госслужбу придут умные и честные люди, а таких немало в нашем отечестве, немало, это известно каждому.

Что касается искусства, мы были уверены – с перестройкой из небытия появится множество первоклассных произведений, а ничего нового не увидели (напрашивался вывод: стоящие вещи и создаются в тяжелых условиях – срабатывает эффект сопротивляемости материала).

В дальнейшем те, кто подвывал власти, получили зелёную улицу, а патриотов оттеснили на обочину. Теперь уже совершенно очевидно, что за все годы «демократии» не создано ни одного по-настоящему ценного произведения. И во-общем, я не знаю ни одного талантливого и честного русского человека, который поддержал бы «реформы», за «демократов» выступают одни подлецы.

Ну а безмозглая молодёжь в торопливое перестроечное время, при разнузданной свободе без ограничений, естественно, ликовала, прямо захлёбывалась вседозволенностью. Как поганки после дождя, множились безвкусные картинки и корявые стихи на Арбате – «улице свободы», кафе заполняли гитаристы, длинноволосые ребята играли три ноты и завывали кастратами. Нам-то, старомодным, привязанным к классике, к вещам, проверенным временем, было ясно: весь этот эпатаж – желание удивить – от творческого бессилия, самообман, местами просто шарлатанство. У этих ребят был в моде андеграунд – некий синтез искусств. Точно бабочки, у которых нарушен генетический код, они дурачились, ломали традиции, отрещивались от учителей. Мы посмеивались: пусть себе делают что хотят, запрещать ничего не

надо, хватит всяких запретов; но вот вопрос – куда они идут с таким багажом ценностей?! Их работы в лучшем случае вызывали недоумение.

Справедливости ради надо отметить – среди уличных художников и музыкантов попадались профессионалы, но таких были единицы. Повторюсь, мы против всяких запретов в искусстве, но в массовой культуре без фильтров не обойтись (Пушкин, как известно, выступал за строгую нравственную цензуру); все европейские страны имеют советы, наблюдающие за нравственностью, а у нас вседозволенность привела к невиданному разгулу «ублюдочности».

Ну а потом произошёл переворот, и беловежские заговорщики скинули Горбачёва. Власть захватили образованные, циничные и наглые негодяи, объявившие себя «демократами». Они выдвинули вперёд бывшего секретаря обкома, властолюбивого алкоголика, и за его спиной начали разрушительные «реформы» (как известно, умное зло опасней глупого, и негодяи не могут иметь благородных целей).

Прежде всего они объявили независимость России – от кого? От самой себя? Один из заговорщиков (Бурбулис) пояснил: от «Советского тоталитарного государства» – надо понимать, от своей истории. Затем «демократы» обвалили рубль (предварительно обменяв свои деньги на валюту) и провели «прихватизацию»; в одночасье группа мерзавцев, скупив за бесценок акции предприятий, стала миллионерами, а всё население без гроша за душой. Произошло величайшее ограбление века! Такого в истории ещё не было, не было! (Позднее олигарх Ходорковский признался: «Если бы у нас было государство, меня давно поставили бы к стенке».)

Понятно, «реформы» проводились по плану американцев. (Директор ЦРУ заявил: «От Горбачева мы взяли всё, что нужно. Теперь нам(!) нужен Ельцин, он развалит Советский Союз». И не случайно проводить реформы из Америки приехали «специалисты», а «демократ» Попов ежедневно звонил в американское посольство и докладывал о проделанной работе.) Сейчас об этом открыто пишут в газетах, даже называют суммы, которые заработали «учителя». (Позднее в самой Америке на этих «наставников» завели уголовные дела – оказалось, они не только управляли «реформами», но и неплохо погрели руки в нашей стране, занимаясь бизнесом.) Пиком деятельности «демократов» стал расстрел парламента (на что западные демократии закрыли глаза!).

Ну а дальше всё пошло по накатанной. Ельцинисты не думали о стране, народе, они дрались за власть и делили собственность – то, что создавали многие поколения нашего народа; они открыто кромсали и разворовывали, всячески выказывая презрение к нашей стране («этой», как они называют, повторяя Троцкого, или уж совсем подло – «страной происхождения», как выдала Т. Толстая, а себя считают «людьми мира» и «внутренними эмигрантами», на самом деле являются внутренними врагами). Вот их заявления: «Россия способна плодить только рабов» (Афанасьев). «Россия – это страна с выродившимся народом, с ним можно творить всё, что угодно» (Естафьев). «Этот народ (русские) заслуживает только презрения» (Новодворская). «Тупой народ» (Т. Толстая). «Недавно сходил в народ, потом долго отмывался» (Шендерович). Крестоносцы русофобии! Людоеды! – по-другому их не назовёшь.

В. Розов сказал: «Произошла контрреволюция. Свобода вылилась в жажду наживы. То, что произошло, нужно было вора́м, а для всего нашего народа – это большое несчастье».

В те чёрные дни «реформаторы» срывали знамёна, рушили памятники, на месте детских садов и библиотек устраивали торговые точки с привозным спиртом «Роял» и разными «сникерсами»; на месте дешёвых столовых и кафе открывали дорогие рестораны; закрывали уникальные научные лаборатории, на фермах забивали редчайшие породы животных (на месте ферм новые русские строили коттеджи). И со всех углов рьяно, с остервенением оплёвывали прошлое (за это получали от американских сионистов немалые деньги). «В этом (советском) обществе было два института – это тюрьма и армия», – говорил В. Аксёнов. Ну а дальнейшую судьбу нашей страны определил Кох: «Россия – лишняя страна на глобальном рынке, ей ничто не поможет, у неё нет будущего. У неё нет никакого другого пути, как быть нефтяной трубой для цивилизованного Запада».

Новая власть устраивала банкротство гигантских предприятий и раздавала их «своим»; посредством тёмных махинаций грабила и без того нищий народ, цинично заявляя, что «в России должно остаться пятьдесят миллионов человек» (!). И всё к тому идёт: наше население сокращается чуть ли не по миллиону в год – без войн, без эпидемий! Такого не знала история человечества (а при коммунистах был ежегодный прирост в два миллиона!).

Недавно стало известно: за последние годы в России исчезло сорок шесть тысяч деревень! Ясно, сами по себе они не могли исчезнуть – они вписываются в чёткий план развала страны. Солженицын сказал: «Ничего не осталось такого, что не было бы разгромлено или разворовано. Вот среди этих руин мы и живём».

На Западе многие, кто знал и любил Россию, были в шоке. М. Влади заявила: «Я в ужасе, я просто плачу. Целое поколение брошено просто в помойку». Кто-то из западных политиков сказал: «Россия – единственная страна, где правительство ненавидит свой народ».

Вахханалия зла длится уже более десяти лет (по словам поэта Зульфикарова, «десять лет идёт избиение России негодьями, засевшими в Кремле и вокруг него»). Слово «демократия» стало символом бандитизма, мафии, коррупции. Разумеется, нашей «демократии». Похоже, сбывается пророчество Достоевского: «Евреи погубят Россию».

Сейчас «реформаторы» лихорадочно насаждают «демократию» американского типа, идеологию потребления, но самим западникам (в том числе лучшим писателям) давно ясно, что многие западные ценности уже терпят крах, что капитализм ведёт к эгоизму, беспощадной конкуренции, жёстким отношениям между людьми. Миллиардер Гейтс недавно предельно просто всё объяснил: «Ты мой друг, но, если сообщишь мне ценное, я это использую в своих интересах, в конкурентной борьбе с тобой». Сорос говорит ещё циничнее: «Главное – зарабатывать деньги, а честно или нечестно – это неважно». Магнат Т. Тёрнер подытожил кратко: «Бизнес – это война». Ну а наше будущее сформулировал министр иностранных дел сионист Козырев: «Нашей идеологией должно быть только одно – деньги!» Вот так вот! Сказал – и точка.

Между тем идеология личного обогащения чужда большинству русских (как известно, православие выступает за преобладание общественного над личным). Истинно русский отзывчив, у него вселенское сердоболие, ему мало самому хорошо жить – надо, чтобы и соседям, и всем в стране жилось хорошо. И вообще у нас, в России, деньги никогда не были главным. Для большинства русских, истинных патриотов. Не случайно слова «совесть», «справедливость», «воля» в своём прямом значении есть только в русском языке.

А что сейчас творится в России? Горстка негодяев владеет всеми богатствами страны. Клан нерусских олигархов сколотил миллиардное

состояние, прибрал к своим рукам нефть, лесное хозяйство, порты, авиакомпания, электросистему; денежные мешки строят себе дворцы,купают на зарубежных курортах виллы, самолёты, яхты (в то время как миллионы русских нищенствуют!). И вспоминается Суворов, который продал имение, чтобы построить форпост России в Приднестровье!

Сейчас журналисты, обслуживающие власть (естественно, почти все нерусские), и всякие топ-модели, виляющие бёдрами, получают тысячи долларов, а учёные и офицеры подрабатывают – на рынках продают сигареты и носки! Новые русские, не зная счёта деньгам, закатывают царские ужины с увеселениями – зарубежными певцами и спортсменками из синхронного плавания (те изображают русалок в аквариумах), тратят тысячи долларов на сафари в Африке, где убивают слонов и носорогов, и потом хвастаются трофеями – и в это время шахтёрам, учителям, врачам по полгода не выдают зарплату! Не выдают, негодяи! Возможно ли такое в нормальной стране?! И было ли когда-нибудь такое в России?!

Ну а при планах сократить население понятно – мы, пенсионеры, для «демократов» сплошная обуза, «социальный балласт», как они говорят. «Кому суждено умереть, пусть умирают», – цинично заявили гайдаровские «реформаторы». «Если часть пенсионеров умрёт, это только оздоровит общество, и реформы пойдут быстрее», – сказала Хакамада. Идеолог А. Яковлев хамски отчеканил: «Пенсионеры не заработали пенсию» (!) Ну а главный «реформатор» Чубайс всё разложил по полкам: «В результате реформ тридцать миллионов вымрет, но нестрашно, русские бабы ещё нарожают». Вот так вот! Ну разве можно таких людей допускать к государственной службе? Понятно, эти негодяи сделают всё, чтоб мы скорее подошли, не дадут спокойно и достойно уйти из жизни. Не случайно старики завалили газеты письмами: «Верните нам Советский Союз!»; их можно понять: согласиться с теперешним подлым режимом – значит, перечеркнуть свою жизнь и махнуть рукой на будущее детей и внуков.

Сейчас до многих дошло – чтобы бороться со злом, русским надо объединяться, но этого-то «демократы» и боятся больше всего; стоит только произнести «русская национальная идея», как они кричат:

– Красно-коричневые! Фашизм! Квасной патриотизм!

Слетается вся их камарилья, и организовывается травля в печати и на телевидении. Понятно, никакого объединения они (и их западные

покровители) не допустят (кто попытался, уже сидит за решёткой). Журналист Бовин (позднее посол в Израиле) злобно изрёк: «Самое большое преступление – говорить о возрождении русского духа». Похоже, таких, как этот русофоб, бесит от одного только слова русский. Да и не похоже, а точно – вот и композитор-эмигрант Петров заявил: «Слово русский испачкано». Теперь ясно, почему из новых паспортов убрали национальность – чтобы русские забыли, кто они есть, – злой умысел очевиден.

Трагедию современной России блестяще описал итальянский журналист Джульетто Кьеза в книге «Прощай, Россия!». В конце книги он предсказывает: кто бы ни пришёл к власти после Ельцина, всех «реформаторов» будут судить. Хотелось бы в это верить, ведь, как говорил Бернард Шоу, «самое большое преступление – безнаказанность».

По теперешним меркам, когда мы превратились в страну невероятной несправедливости, разделённую пропастью на чудовищно богатых и безнадёжно нищих, когда появились сотни тысяч беженцев, а миллионы наших соотечественников оказались в ближнем зарубежье и даже не могут выбраться в Россию, мы (мои друзья и я) живём не так уж и плохо; во всяком случае, имеем крышу над головой и пенсию, правда, мизерную, чтобы только не протянуть ноги, и в этом очерке я пекусь не о себе и своих друзьях – покоя не даёт боль за наших обворованных, униженных россиян (иногда эта боль переходит в отчаяние, иногда в ярость – и в том и другом случае сжигает остатки здоровья).

Конечно, каждое правительство делает то, что ему позволяет народ, и адское терпение россиян не вызывает восхищения; это терпение уже перешло все границы. Народ молчит, словно парализованный, – понятно, ведь столько лет его мордуют, а силы человека небеспредельны. Люди устали ото всего. (Черчилль говорил: «Если бы англичане испытали хотя бы десятую часть того, что испытали русские, они давно исчезли бы».) Старики ещё подают голос, но где молодёжь, где?!

Да, бесспорно, в массе своей русский народ, как никакой другой, простодушен, доверчив, совестлив, незлопамятен («наш добрый народ» – говорил Пушкин), он умеет терпеть и прощать (и «всегда чувствует себя виноватым» – говорил Чехов), но всему есть предел,

и не постоять за себя, когда проводится антиславянский расизм, когда над нами открыто издеваются, плюют нам в лицо – по телевидению называют «неполноценными», «быдлом» (Кох, Хакамада), «свиньями», «оккупантами» (Политковская – военных, в День вооружённых сил!), «отребьем» (Новодворская), «всероссийской поганью» (А. Герман), «шпаной» (Чубайс – патриотов), устраивают выставки с надругательством над нашими символами, с осквернением икон (М. Гельман), – терпеть всё это – значит, уподобиться стаду, которое ведут на убой. Невольно встаёт вопрос – что с нами ещё надо сделать, чтобы мы взбунтовались? Хочется верить, что среди нового поколения всё же найдутся патриоты, в которых ещё жив дух наших великих предков, которые заставят считаться с собой, дадут отпор распоясавшейся русофобской своре, мощный отпор.

Нельзя не признать, сейчас процветают не только преступники и торгаши (хотя в основном именно они), но и некоторые приспособленцы и горстка честных специалистов, которые устроились в иностранные фирмы (и тем самым тоже способствуют разорению страны.) Эти новые русские строят коттеджи, покупают джипы, но нам, «старым русским», ничего этого не надо – в гроб не возьмёшь, а наследникам такие подарки вредны – пусть всего добиваются сами. Короче, мы безразличны к дорогим, престижным вещам. Главной ценностью для нас по-прежнему является работа (к сожалению, в стол – ведь сейчас ни проза, ни поэзия издателям не нужны), ну и, само собой, встречи с друзьями, тем более что их осталось немного, совсем немного.

Известное дело, в шестьдесят лет нельзя иметь столько же друзей, сколько их имеешь в двадцать; многих отсеивает время, кое-кто отошёл от нас после тяжёлых поражений или сногшибательного успеха – понятно, и то и другое резко меняет людей. Ну и, как ни прискорбно, уже немало тех, кто отправился на небеса. Все знают, сейчас в России средняя продолжительность жизни мужчин – пятьдесят восемь лет. Нас, шестидесятилетних, можно считать долгожителями – мы перевалили этот рубеж (чем сами немало озадачены), и, конечно, теперь каждый день как подарок. Вот только подарок грустноватый, ведь мы остро переживаем свою невостребованность, ненужность. Обидно: мы выпали из литературы, и никто этого не заметил – получается, всё делали зря.

Но больше всего тревожит боль за Отечество (повторяю ещё раз, ведь засыпаю и просыпаюсь с этой болью – она как огнестрельная

рана). Ну а когда эта боль становится нестерпимой и уже нет сил смотреть на то, что творится вокруг, вспоминаешь великие произведения искусства, или выезжаешь на природу, или обзваниваешь друзей и договариваешься о встрече – за выпивкой мы подбадриваем друг друга: «Держись, старина!»

В конце концов, что такое мужчина шестидесяти лет? Это далеко не глубокая старость, не библейский возраст, скорее, глубокая зрелость, а для творчества самый расцвет (ведь мозги-то на месте, и в планах – залежи сюжетов), и, наконец, появилась мудрость, во всяком случае, не полыхаешь по пустякам, и болезни ещё окончательно не скрутили...

Вообще, в возрасте есть огромное преимущество: уже имеешь чёткие убеждения и называешь вещи своими именами – то есть никого из себя не изображаешь и говоришь то, что думаешь. Уже становишься терпимей, ставишь себя на место других людей (и даже животных), умеешь чувствовать за них, понимаешь их обиды и боли – другими словами, внимательней всматриваешься в то, на что раньше лишь мимоходом бросал взгляд. Уже спокойно относишься к удачам и накапливаешь достаточно стойкости, чтобы переживать неудачи. Уже судьба страны намного важнее собственной судьбы, и, главное, понимаешь: всё, что ты сделал, по большому счёту, – чепуха, что рядом с классиками ты – ничто. Короче, уверен, сейчас мы намного лучше, чем были в молодости, намного.

К сожалению, сейчас тем, кто не меняется от обстоятельств и не подстроился под новые требования, приходится туговато. Сейчас в искусстве, чтобы продолжать делать своё, надо иметь немалое мужество, ведь, повторюсь, работа идёт в стол. Тем не менее, никто не увидит нас хныкающими, сломленными, опустившимися, наше поколение крепкого сплава, у нас немалый запас прочности, и напоследок мы приберегли силёнки – словом, мы ещё в порядке, и пусть жить осталось немного, но мы ещё сделаем несколько шагов вперёд.

Ну а многолетней дружбой мы, бесспорно, можем похвастаться. Наше братство проверено временем; за прошедшие годы судьба частенько отдаляла нас, но мы не теряли друг друга из вида и оставались верны нашему клану.

«Демократы» порезвились на славу, всё изменилось, мир уже не тот, но мы, старая гвардия, не сдаёмся. Некоторые молодые люди

называют нас «последними пиратами», «воинствующими мужиками», бывает, посмеиваются над тем, что мы сделали. Понятно, ведь они шагают в будущее, а мы остались в прошлом (для них – где-то во времена Александра Македонского). Мы не обижаемся. Чего обижаться? Естественно, каждое уходящее поколение забирает с собой своё пространство: свою литературу, музыку, живопись, фильмы, увлечения – новому поколению это уже не нужно, для него всё это устарело, выглядит примитивным.

Но, честно говоря, молодёжная когорта нас не очень-то интересует. Все их трепыхания смешны. У них ещё не устоявшиеся взгляды, привязанности. Пройдёт время, и им будет стыдно за многие свои слова и поступки. Потому и не стоит молодёжь воспринимать всерьёз, и нельзя ей (с её бунтарским экстремизмом) доверять ответственные должности (могут наломать дров), тем более учитывать её мнение в управлении государством. Я вообще запретил бы участвовать в выборах людям до тридцати лет, запретил бы, говорю вполне серьёзно. А после тридцати всем не мешало бы проходить тесты на политическую грамотность – тогда не будет стадных выборов и подонков кандидатов, не будет, уверен.

Теперь молодёжь относится к старикам небрежно. Год назад пришёл к стоматологу; молодая врачиха осмотрела мой зуб, поморщилась:

– У пожилых людей трудно лечить зубы. Надо удалять.

Я спрашиваю:

– Может быть, всё же подлечить, запломбировать?

– Зачем? Вам по телевидению выступать, что ли?!

Недавно поздно вечером у меня скакнуло давление до 220. Вызвал «скорую». Приехал врач-мужчина, сделал мне укол магнезии и тут же уехал. А я стал задыхаться – чувствую, вот-вот совсем окочурюсь. Позвонил 03 ещё раз. Приехала молодая врачиха и отчитала меня:

– Вам сделали укол, больше ничем помочь не могу! Зачем вы ночью по два раза гоняете врачей?! У меня тоже давление!

Но в ЦДЛ молодые литераторы вроде относятся к нам уважительно (может, просто делают вид).

Ну да бог с ней, с молодёжью! Нам друг с другом интересней в сто раз, наши бурные застолья и душевные беседы многого стоят. Только иногда после них бывает одиноко – ближе к ночи, когда расстанешься с друзьями и пьяный бредёшь по улицам – вроде в сторону дома,

а, в общем, наугад – куда кривая выведет. заметишь какого-нибудь полуночника, подойдёшь потрепаться – хмыкнет, нагрубит, небось подумает: пристаёт «разноцветненький». Зайдёшь в телефонную будку, наберёшь номер какой-нибудь знакомой – отчитает за поздний звонок. Грустновато становится.

В метро по привычке (на минуту забудешь, что ты самый старый в вагоне) заведёшь разговор с симпатичной попутчицей (а теперь они все кажутся симпатичными, особенно когда выпьешь), а она скривит губы:

– Дяденька (ладно, не «дедуся»), не осложняйте мою жизнь, не вешайте на меня свои проблемы, у меня своих хватает.

А некоторые шарахаются – шарахаются, да...

Но бывает, и к тебе кто-то подойдёт, назовёт по имени, а ты пялишься на него (или неё), никак не можешь вспомнить, кто такой (или такая), хотя лицо знакомое до жути. Потом окажется – твой сосед по дому (или соседка) или, чего доброго, кто-то из дальних родственников. Короче, временами начисто отшибает память. Хорошо, хоть себя узнаёшь в зеркало – правда, иногда с трудом.

Бывает, по пути к дому на пьяную голову придёт отличный сюжет, и ты уже уверен – назавтра напишешь рассказ, но утром всё напрочь забываешь, а если и вспомнишь – сюжет окажется полной ерундой. Точно так же, даже ещё впечатляюще, приснится прекрасный сон, и там же, во сне, решаешь его записать, но, проснувшись, видишь – все краски уже обесцветились. Такие дела.

Бывает, по пути к дому приходят и печальные мысли – мол, из жизни надо уходить достойно и по возможности красиво, и уже представляешь себя Чеховым с бокалом вина, но потом гонишь эти мысли – мол, тебе ещё рановато, ещё надо кое-что сделать, да и влюбиться не помешает... в последний раз, чтоб было кому тебя оплакивать.

Мои друзья – отборные старики, стойкие консерваторы, с чёткими духовными измерениями (как известно, каждый нормальный мужчина в молодости радикал, а к старости становится консерватором); в их морщинах и лысинах, бородавках и складках есть своё величие и красота (они красиво старятся); в их спокойных, усталых глазах видна мудрость (они даже пьяные живописны); они – моя надёжная опора. Бывает, кто-либо из них долго не звонит, наберёшь его номер, а там тишина. «И куда он, старый чёрт, делся? – думаешь. – Если уехал, мог

бы и позвонить перед отъездом. А может, слёг? Или того хуже...» Весь изведёшься, пока снова не встретитесь.

Ну и, естественно, – на фоне откровенного воровства и разнузданного хамства новых русских – особенно смотрятся мои друзья, старые русские, в которых ещё живучи такие понятия, как честь, достоинство, порядочность (у некоторых в небольших количествах, но всё же живучи), ну, то есть мы сохранили чистоту наших рядов, сохранили, несмотря ни на что.

И, как это ни смешно, – мы романтики. Да-да, последние романтики, поскольку за нами идёт сплошь практичное поколение, которое умеет всё выверять, прикидывать.

И ещё смешнее – вот старичьё! – иногда нам кажется, что лучшее ещё впереди, хотя всё как раз наоборот. Но я думаю, это-то и неплохое – значит, мы ещё не совсем старые, ведь по-настоящему старыми можно считать только тех, у кого уже нет мечты. А у нас она есть, ведь душа-то молодая – правда, этого никто не знает, кроме нас самих.

Самое время признаться – этот очерк я написал сразу же после своего шестидесятилетия, а спустя два-три года мы уже все стали семейными. Одни вернулись к прежним жёнам, другие встретили женщин, с которыми было кое-что общее и совместное проживание не трепало нервы. Это можно назвать осознанной любовью, или удобным сожительством, или желанием скрасить одиночество – чем угодно, только не страхом перед старческой немощью – этого от нас никто не дожждётся, у нас чёткое правило: не вызывать чувства жалости! И, как бы болезни ни скручивали, мы просто так не сдадимся, будем бороться до конца, наш дух ничто не сломит, мы и старухе с косой погрозим кулаком. Смею вас заверить, погрозим.

ОХ УЖ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ! (Исповедь мужского шовиниста)

В пятьдесят лет я рассуждал: ох уж эти мои дружки, закоренелые бобыли, женоненавистники, которых охватывает ужас при мысли о вступлении в брак! Старые волкодавы, пьяницы и бабники, они панически боятся потерять свободу и скорее отправятся на эшафот, чем согласятся пойти в загс. Стоит только женщине задержать на них взгляд, они уверены – это многообещающий, уводящий взгляд; красотка явно плетёт сети, заманивает в ловушку. Собственно, так оно и есть. Уж кто-кто, а я-то знаю. Здесь у меня большущий опыт – в молодости не раз терял волю от подобных обманчивых (как бы беззащитных, на самом деле колдовских) взглядов и разных обволакивающих придыханий:

– Как интересно! Расскажите ещё что-нибудь! Вы очень талантливы!

Теперь-то я сыт по горло этими хитрованскими штучками, теперь мне яснее ясного: если женщина проявляет повышенный интерес к твоей работе (делает вид, что давно её любит) или, чего доброго, справляется о здоровье твоих родных – это очень опасная женщина, от неё можно спятить.

Но главное, когда ты видишь это невероятное, прямо поедающее тебя внимание (как бы неподдельное), всякие уточняющие вопросы (понятно, чтобы ты сильнее сел на крючок), эти загорающиеся (злодейским блеском) и угасающие (почти сдавшиеся) глаза, этот вспухший рот (уже готовый принять поцелуй) – короче, когда ты видишь влюблённую в тебя особу, будь она хоть крокодилом, тебе, идиоту, начинает мерещиться, что ты в неё тоже втюрился. «Наконец-то, – думаешь, – встретил женщину, которая тебя оценила в полной мере. Эта будет рабыней». А она, мартышка, в тот момент смотрит на тебя с безмолвной покорностью и думает: «Всё, испёкся, голубчик! Теперь я тебя заласкаю до мурашек, заставлю оформить отношения, потом отучу от вредных привычек, разгоню твоих дружков и начну из тебя верёвкить». Вот такие они, женщины, эти ядовитые, коварные существа.

Некоторые из них демонстрируют радостное повиновение, притворяются заботливыми, милыми, но я не верю в женщин-мышек – они просто затаились на время, потом покажут свой оскал и когти; давно известно: женщины более жестоки и мстительны, чем мужчины, ведь у них нет сдерживающих центров.

Некоторые из эмансипированных считают себя личностями: спорят, перечат, навязывают своё – попросту портят мужчине кровь. Забывают, дурёхи, что женщина прежде всего должна быть кухаркой, посудомойкой, прачкой, а уж потом чирикать об искусстве и о жизни вообще, а лучше не чирикать, а тихо ворковать, как бы делать массаж, под который можно вздремнуть. Женщине надо быть тихоней, молчуньей, склонной иногда всплакнуть, но главное – знать своё место. Как говорил император Вильгельм, «знать три К», в переводе с немецкого – церковь, детей, кухню. Если она отходит от этой заповеди – она чудовище.

Говорят, они – прекрасная половина человечества, украшают жизнь и прочее. Чепуха! Не украшают, а отравляют... И вообще всё зло на земле от них, женщин. Иногда я думаю: сколько они загубили талантов, сколько из-за этой проклятой любви не состоялось личностей, совершенно жутких поступков.

Для меня давно бесспорно: всякая болтовня о любви – пустая трата времени. И грош цена мужчине, если он жертва своих страстей. Жалок подобный страдалец. И жалок тот, кто полжизни тратит в поисках «идеала» и вообще чрезмерно волочится за женщинами. Ну, можно, конечно, за ними приударить, но мужественно, без всяких слюней и заиканий, не теряя головы, ни в коем случае не унижаясь, наоборот – давая понять красотке, что, ухлёстывая за ней, оказываешь немалую милость. Женщина прежде всего ценит в мужчине уверенность в себе, ну и власть над ней; остальное – дело десятое. Без власти ничего не получится – подомнёт под себя, растопчет.

Некоторые не признают власти над собой – такие идут против природы и, как правило, несчастны в личной жизни, а то и кукуют в одиночестве. Некоторые корчат из себя недосыгаемых небожителюниц, подолгу водят за нос мужчину, а когда сдаются, моментально превращаются в жалкое, беспомощное создание – то есть обратно – из царевны в лягушку. Ответственно заявляю: нет недоступных женщин, к каждой можно подобрать ключ, всё зависит от настойчивости мужчины.

И насчёт преданности женщин больше легенд, чем правды. Опытный мужчина, играя в любовь (или не играя), добьётся своего, завоюет самую верную, неприступную женщину; дождётся, когда она поссорится с мужем, пригласит в кафе «просто поболтать», за вином

утешит, пригласит к себе «послушать музыку», в интимной обстановке по-дружески обнимет и плавно переведёт дружеские объятия в сексуальные – женщина расслабится, забудет про всякую верность, в ней победит самка.

Да что там говорить! Немало женщин и в порядке мести способны наставить мужу рога. И не только за его случайную измену, которая для мужчины ничего не значит, но и за невнимание, небрежность (по их понятиям), а то и просто для самоутверждения. Они, эгоистки, не понимают, что подобными поступками не мужу дают пощёчину, а самим себе.

Теперь-то при слове любовь у меня сразу начинает болеть живот и я ненавижу себя за то, что в молодости ухлопал уйму времени на разные романтические приключения. К счастью, вовремя перебесился и дал задний ход. Но всё равно те годы – мой великий позор.

Как последний дурак, я чуть ли не в каждой женщине видел чудо: какую-то таинственность, загадочность. Умора! Вся их загадочность в непостоянстве, в нелогичности суждений и поступков. Да и каких суждений, если у большинства женщин от двух до трёх извилин в голове и в основе примитивное желание – нравиться. Замечательно сказал кто-то из великих: «У обыкновенной женщины ум как у курицы, у необыкновенной – как у двух куриц». Лучше не скажешь.

А каково жить с глупой женщиной?! Это ж страшное наказание. Да и спать с такой куклой – не много радости; как говорит один мой приятель, «о глупую женщину даже мужское начало тупится». И с неглупой жить хорошего мало; я уже говорил – это вечные препирания, борьба за лидерство. Да и она умничает, умничает, а потом такое брякнет, что со стула свалишься. Среди умничающих есть всякие режиссёры, писательницы – те в массе своей мужланки. Есть и вовсе идиотки, которые лезут к власти, в политику (чаще всего от сексуальной неудовлетворённости или сдвига в мозгах) – ну, это уж вообще не женщины, а мужики в юбках. Обнимать такую женщину – всё равно что обнимать самого себя.

И все женщины порочны, даже самые невинные на вид, с ангельскими лицами и прирождённой стыдливостью – всякие святоши, альпийские цветочки. Такие ещё просто-напросто не разбужены, но в них уже идёт брожение, они уже потенциальные блудницы. Не случайно девчонки и созревают раньше мальчишек, у них с детства

жгучий интерес к интимной жизни. Как правило, этот интерес идёт по нарастающей и, бывает, заканчивается маньячеством. Не зря же учёные вывели, что женщина думает о сексе в пять раз больше, чем мужчина.

Что меня особенно выводит из себя, так это то, что нормальные, спокойные отношения женщине быстро наскучивают – ей подавай адскую любовь с грузовиками цветов, яростный секс (некоторые не против и похищений, погони и мордобоя соперников). Допустим, живёт она с положительным, заботливым интеллигентом – её тянет к такому разухабистому самцу-производителю со звериной страстью. Получает разухабистого – вновь мечтает об интеллигенте, который «понимал её тонкую натуру». Такой ветер в голове.

Но, с каким бы мужчиной женщина ни жила, как только отношения с ним переходят в ровное, мирное русло, когда мужчина увлечён работой и ему не до дурацких нежностей и поцелуечиков, женщина начинает нервничать (вначале впадает в лёгкую панику, потом замыкается в себе с затаённой обидой – эти обиды бывают довольно грозными). И начинает вспоминать всяких воздыхателей из своей юности, с которыми связывала платоническая любовь и «каждый день был, как праздник». Она уверена, что та «неземная любовь» непременно переросла бы в «земную до гроба». Ей невдомёк, что с годами те воздыхатели превратились бы точно в такого же мужчину, с которым она живёт, или близко к нему. Тем не менее, та любовь не даёт ей покоя, она готова жить этой сказкой, и попробуй её переубедить!

Женщина не понимает, что даже самые сильные чувства у мужчины с годами ослабевают и она обязана эти чувства постоянно поддерживать. Должна каждый день быть чуть-чуть новой и, в зависимости от настроения мужчины, становиться королевой или служанкой, монахиней или секс-символом. Должна предугадывать желания мужчины, беспрекословно выполнять то, что он просит, сглаживать неприятности, которые случаются у него на работе, о чём бы и с кем бы он ни спорил, твёрдо стоять на его стороне и многое другое должна. Но большинство женщин этого не делают, зато с каким подъёмом, как изобретательно пытаются переделать мужчину, подогнать его под свои мерки, а если мужчина сопротивляется, начинают его яростно пилить.

Но, к сожалению, никуда от этих особ не деться, к ним тянет, как к антиподам, чисто физиологически – природа, ничего не попишешь!

Из-за этой печальной необходимости приходится с ними встречаться. Но уж привязываться – дудки!

И свидание с любой красоткой я променяю на застолье с друзьями. Это их, женщин, раздражает. Особенно охотниц за старыми холостяками. Раздражает, что я и мои друзья видим их насквозь и подтруниваем над ними. Над их ужимками и жалкими потугами вбить клин в нашу дружбу. Общаясь с ними, мы, следуя мудрым заветам, в одной руке держим розу, а в другой кнут.

Но, естественно, особое раздражение у женщин вызывает наше свободное одиночество, «затянувшаяся холостяцкая жизнь», как они выражаются, а попросту наше нежелание жениться на них. Многих женщин даже не останавливает, когда им говорят, что мы отпетые бабники.

– Это даже интересно! – невозмутимо пожимают они плечами (и не только распутницы, но и более-менее целомудренные – они уверены, что нам просто не везло с подружками, что мы просто не тех встречали, а вот их-то будем любить всю жизнь).

Каждый знает – все женщины трезвонят, что им хочется «чистой любви» (даже развратницы, хотя на неё не способны), но как они себе представляют эту самую «чистую любовь»? Естественно, чтобы их носили на руках, в постель подавали сливки, дарили подарки, отвешивали комплименты, чтобы мужик вкалывал с утра до вечера, побольше приносил денег, а они развлекались.

Некоторые из женщин совсем спятили – ждут принцев! Забывают, идиотки, что для принца самой надо быть принцессой. Не знаю, как другим мужчинам, а мне всегда хочется таких, болтающих о «принцах» и «чистой любви», отправить в деревню и дать в руки лопату. Вообще для женщин любовь (не только «чистая» – всякая) – прежде всего наслаждения, удовольствия, а семейная жизнь состоит из одних поцелуев, но на самом-то деле любовь (чёрт бы её побрал!) – это жертвенность, а семейная жизнь – постоянные уступки. Женщина ведь только и думает: что я могу получить от мужчины, сильно он меня любит или не очень? А ей надо думать – что я могу ему дать, что для него сделать, чем доставить ему радость? Должна довольствоваться своей любовью, рассматривать её (даже безответную) как дар небес и, само собой, ничего не требовать взамен. Но ни одной женщине это не докажешь, ей подавай ответную любовь и непременно более

сильную. Помню, одна особа (из числа умничающих) мне возмущённо заявила:

– Неужели вы не понимаете, что женщина только отвечает на любовь!

Это следовало понимать – «позволяет себя любить». Вот такая ахиня! Мне-то давно известно: тот, кто любит сильнее, всегда проигрывает. Потому-то я с усмешкой смотрю на всяких любителей целовать ручки. Повторюсь: при слове любовь у меня сразу начинает болеть живот.

Ну а в совместном проживании – к тому, что я уже говорил, это уж обязательно – женщина должна выполнять сразу семь функций: друга, любовницы, секретаря, няньки, медсестры, домработницы, утешительницы – и при всём при этом в компании быть светской партнёршей, а дома кроткой супружницей, попросту твоей тенью. Понятно, всякие красотки на это не способны – то есть не могут быть домашними, преданными одному мужчине, ведь свою красоту они несут как драгоценность, показывают и так и сяк, а этот путь связан с постоянными соблазнами и, соответственно, с увлечениями.

Теперь-то нам легко – повторяю, мы видим женщин насквозь, для нас в них уже нет тайны (а если нет тайны, исчезает и красота), и мы не волочимся за ними (случайная, ни к чему не обязывающая встреча – ради бога, но что-то серьёзное – боже упаси). Не волочимся не потому, что нет желания или возможностей, – просто отошли в сторону, «ушли из большого секса», ведь есть дела поважнее (наконец-то можно спокойно поработать), да и годы уже поджимают, надо торопиться делать то, что не успели сделать, откладывать уже нельзя.

Теперь мы потешаемся над сверстниками, замученными семейным счастьем, ведь они погрязли в заботах и обязанностях и постоянно ругаются со своими жёнами, а при встрече с нами вздыхают:

– Женщины хороши, пока не становятся жёнами, – и предостерегают: – Не женитесь! Не будьте дураками!

Ясное дело, семейные ухожены, реже болеют и дольше живут, но стоит ли ради этого взваливать на плечи такую обузу?! И потом, одно дело встречаться с женщиной, когда она наутюженная, причёсанная, разрисованная, благоухает духами, улыбается, говорит приятные слова, другое дело – жить с ней, когда она непричёсанная, шлёпает в халате с кислой физиономией; насупившись, что-то бурчит,

а то и скандалит – тут уж, как ни вертись, – через пять-семь лет она станет всего лишь единомышленницей, ну другом, сестрой – это в лучшем случае, в худшем – квартиранткой, а то и врагом. Кстати, всякие размолвки и скандалы женщина рассматривает как непременные атрибуты семейной жизни – думает, «попилю его, и он станет лучше, а если и немного переборщу – нестрашно; потом покручусь перед ним, покажу свои неотразимые формы – и он приползёт, как миленький, да ещё будет просить прощения». Тупица! Ей невдомёк, что после скандала неприязнь к ней только нарастает, а её прелести превращаются в уродства.

Кое-кто, из числа слабоумных, призывает: «Берегите женщин!» Чего их беречь? Они живучи, как кошки. Беречь надо мужчин! Мужчины сгорают намного быстрее женщин, ведь всё принимают близко к сердцу, загоняют себя работой, да ещё переживают за положение в стране и во всём мире; от постоянных стрессов курят, выпивают – и попробуй избавиться от этих «вредных привычек», когда вокруг творится чёрт-те что!

Говорят, женщины чувствительные, возбудимые, эмоциональные, у них интуиция и прочее. Чуть собачья! Все их переживания (в основном из-за пустяков) от неуравновешенности, и эти переживания так же быстро угасают, как и возникают, ведь происходят неосознанно, на уровне инстинкта. К примеру, вы прожили вместе несколько лет, потом разошлись; тебя ещё долго мучают угрызения совести за всякие промахи, а она встретила нового хахалю и тут же забыла о твоём существовании, а то ещё будет рассказывать на каждом перекрёстке, с каким кретином жила. И что немаловажно – после развода женщина на последующих мужчинах вымещает всё, что наболело с мужем, в то время как её муж, как правило, с другими женщинами замаливает свои проступки.

В чём переживания женщин устойчивы, так это в ревности и зависти к более красивым и удачливым подругам (некоторые вообще ненавидят всё бабское сословье, выделяя себя в особую касту). Женская дружба крайне редко бывает искренней; обычно женщина выбирает себе подругу или страшнее, чем она, или жуткую неудачницу и, ясное дело, рядом с ними чувствует себя уверенней и значимей.

Что касается шестого чувства, то оно у женщин проявляется лишь в одном – они безошибочно секут, кто нормальный мужик, кто им-

потент, кто «голубой» – только это, в остальном их чувствования недоразвиты. Слабый пол – он и есть слабый во всём. Ну не случайно, сколько женщины ни лезут в искусство, ни одной не удалось создать оперу, написать великую картину или роман уровня «Войны и мира» (только сопливые песенки, кисельные любовные истории, ну и, ясно, детективы, которые лишний раз доказывают кровожадность «нежных» дамочек).

Да что там искусство! Как известно, лучшие портные и парикмахеры – и те мужчины, не говоря уж о врачах, учителях, поварах... К тому же все женщины жуткие нескладёхи. Во всяком случае, всё, что они делают, я и мои друзья делаем более ловко и в сто раз быстрее. Единственно, что они делают неплохо – это раздеваются. И не смешно ли после всего этого столь никчёмную половину человечества считать лучшей, прекрасной?! Именно поэтому в Международный женский день особенно хочется выпить за мужчин.

По правде сказать, у бессемейных не всё гладко получается: иногда жаль тратить время на магазины, прачечные, готовку, уборку, но мы уже как-то свыклись с этими бытовыми заботами; порой не очень приятно завтракать и ужинать в одиночестве, но зато никто над ухом не жужжит и на душе спокойно. Конечно, бывает, по вечерам находит хандра, когда хочется с кем-то поговорить, поделиться мыслями, услышать похвалу о своей работе. Случается, прищучат болезни, и тогда не мешало б, чтобы кто-то заботился о тебе, но как представишь, что женщина изо дня в день маячит перед глазами, ещё сильнее заболеваешь.

Ко всему, в нашем возрасте уже трудно привыкнуть к женщине. У нас уже чётко заведённый порядок, вещи лежат на своих местах, а она что возьмёт, никогда не ставит на место. А то начнёт всё перекладывать по-своему; приберёт на твоём рабочем столе – потом ничего не найдёшь (у меня-то давно жёсткое правило: женщин к рабочему месту не подпускать; если какая случайно подойдёт, потом и стол и стул окуриваю – сбиваю её дух).

В семье как? Утром она убегает на работу, а ты ещё можешь поспать, но где там! Плещется в ванной, гремит на кухне, потом уже вроде оделась, вроде уходит, так нет – ещё раз пять подойдёт к зеркалу и всё топает на каблуках. Ясное дело, больше уснуть не удаётся... Встанешь, заглянешь на кухню – в раковине посуда: не успела вымыть, значит,

тебе приходится. Пойдёшь в ванную, а там от батареи флаконов бьёт резкий запах, рядом с твоей бритвой бигуди, ещё какие-то фиговины, какие-то ватки в помаде и туши, и куча «украшательств» – бижутерии; ну неужели нельзя все эти побрякушки убрать в один ящик, почему они должны мозолить глаза? Ну и, само собой, в расчёске полно волос, тюбик зубной пасты измят – больно смотреть, и всюду её бельё. И вообще, что у них, у женщин, за мода – по всей квартире разбрасывать свои шмотки! Вот неряхи!

И что за манера – ставить вещи на край стола, или устраивать из посуды неустойчивые пирамиды, или всякие безделушки выставлять напоказ, а вещи, которые постоянно должны быть под рукой, запикивать в дальний угол! Кстати, на работу женщины еле встают, а вот если предстоят развлечения, вскакивают, как ужаленные, – ну то есть серьёзные дела для них – нудная обязаловка, а вот развлечения – смысл жизни.

А по вечерам ты должен выслушивать сплетни о её сослуживцах и отмечать её ужин и то, что тебе чего-то там подшили, – иначе жуткая обида. И должен «чистить зубы на ночь и мыть ноги» (понятно, сами-то женщины любят поплескаться и могут быть чистоплотны до болезненности, но жутко неаккуратны), и должен «поменьше курить, а пьянки с дружками вообще прекратить». И, естественно, надо её развлекать, что-то болтать – в противном случае прослывёшь бесчувственным чурбаном. И никуда не деться от споров; причём женщине начхать на тему спора (тем более на истину), главное – одержать победу. Через пять минут она забудет, о чём был спор, но своей победе ещё долго будет радоваться; потому-то, ради мира в семье (и собственного здоровья), иногда можно и сделать вид, что складываешь оружие (разумеется, только в чепуховом споре, но никак не в серьёзном).

Что ещё случается в семье по вечерам? Ну, к примеру, ты настроился посмотреть по телевизору футбольный матч, заранее купил пивка или четвертушку, а твоей половине, видите ли, надо духовно обогатиться, досмотреть какой-то мыльный сериал – ясное дело, без скандала не обойтись.

Или тебе хочется отдохнуть, полежать на тахте в тишине, а ей приспичило наводить порядок в квартире – и громыкает, хоть беги из дома, а то и начнёт строчить на машинке – ей позарез понадобилось что-то сшить.

Доходит до смешного: тебе жарко, ты открываешь окно, а она просит его закрыть – она, видишь ли, замерзает. И наоборот: если тебе холодно, её, естественно, распирает жар.

В семейной жизни женщина редко сияет: то не выпалась, то с кем-то повздорила на работе, то у неё критические дни – и потому бесится, не находит себе места, и всё старается тебя разжалобить, пристаёт, пытается как-то зацепить, к чему-то придраться: «то не сделал, это не починил». Такое надо сразу обрубать, показать характер:

– Поменьше крутись перед зеркалом и выкинь всякую дурь из башки, вон сколько работы в доме: там пыль, там вещи не на месте, на моей рубашке отлетела пуговица (надо непременно перечислить объекты для работы, указать на её промахи, чтобы заронить чувство вины).

А если начнёт огрызаться, можно и выдать парочку слов из нашей богатой матерной лексики, и шлёпнуть распоясавшуюся особу по заднице – сразу придёт в себя. Так же, как собаку не воспитаешь без ремня, так и женщину без силового давления на место не поставишь.

Что ещё раздражает, так это привычка женщин использовать вещи не по назначению, братья в первую очередь за ерунду, мелочовку, а важные дела откладывать на потом; и менять привычное, обжитое на современное «модное» (будь то обои, мебель или утварь). Что у них за обыкновение – выбрасывать старые, пусть чуть сломанные, вещи, да ещё с присказкой – «этой рухляди место на помойке!»? Мне-то эти вещи как раз особенно дороги; я, надо сказать, в быту не терплю всяких новшеств и до конца своих дней хочу видеть то, что привык видеть, и пользоваться тем, чем пользовался всю жизнь (даже одежду ношу, как цыган, до полного износа); и не терплю всяких перестановок в доме – пока с ними свыкнешься, то и дело будешь на всё наткаться; я должен ходить по квартире вслепую и определять вещи на ощупь.

И раздражает чрезмерно серьёзное отношение женщин к еде, всяким диетам, и хроническая озабоченность своим внешним видом, и многое другое, что у каждого нормального мужчины сидит в печёнках.

Ну и, само собой, раздражают воскресные посещения родственников жены, когда надо изображать семейную идиллию, а раз в месяц – это уж обязательный ритуал – выход «в свет»; как говорит мой приятель, «выгуливать жену» – в кино там или в театр. И при всём при

том – вечные женские капризы, дурацкие сообщения, смехотворные проблемы, пустая болтовня с подругами по телефону и идиотские мечты о будущих покупках – да что там! – перечислять весь этот культовый набор – только трепать себе нервы. Короче, подобная жизнь не для таких, как я. Когда-то, давным-давно, я уже был женат, и хватит с меня!

Кстати, я прожил в браке три года, и всё это время моя благоверная методично пила мою кровь, как вампирша; по стакану в день. В конце концов вылакала целое ведро, не меньше; я прямо весь высох. Но однажды хлопнул кулаком по столу и сказал:

– Всё, баста!

Мы разошлись, и я сразу набрал прежний холостяцкий вес, а вскоре даже поправился на десять килограммов.

Конечно, в прикладном смысле не мешало бы иметь некую женщину-невидимку, дежурную любовницу с покладистым характером, которая, как минимум, была бы красивой и любила бы абсолютно всё, что любишь ты. И повторяла бы твои слова (во всём поддакивала), и никогда ничего не просила, ни на что не жаловалась. И принимала бы твои привычки как святое (даже возрастное занудство выслушивала бы, как «Лебединое озеро»), а на самого тебя смотрела бы, как на икону. И чтобы охраняла бы тебя от всяких неприятностей, и вообще появлялась бы, когда необходимо, и мгновенно исчезала, когда у тебя есть более важные дела. Но главное – видела бы тебя таким, каким ты мог бы быть. Только где такую найдёшь?! Ведь они сейчас все личности, у них столько запросов, требований! К счастью, днём за работой о женщинах и не вспоминаешь, а по вечерам всегда можно встретиться с друзьями, благо у нас есть свой клуб, ЦДЛ то есть.

Так я рассуждал, когда моим друзьям и мне чуть перевалило за пятьдесят; приблизительно так же я рассуждаю и сейчас, спустя десять лет.



Балашов Э.



Куксов Ю.



Тронин В.



Мартышкин М.



Рахманов В.

КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

**Если тебе надоел ЦДЛ,
то и ты ему надоел**



Григорьев О.



Соляник Н.



Смирнов В.



Ишков М.



Косяков Т.



Горопузов А.



Чекалкин Л.

СБОРИЩЕ ГЕНИЕВ

Наверно есть гении, которые в общении с обычными людьми держатся естественно и просто и не строят из себя великанов. Маловероятно, но все-таки возможно, среди гениев есть даже скромники, которые и не догадываются, что они гении. Я же в основном знал только безумцев, заикленных на себе, подавляющих своей исполинской мощью. С большинством из них встречался в Доме литераторов, где в семидесятых годах жизнь бурлила, искрилась, пенилась и так далее. Бывало, заглянешь к господам литераторам, а там в Пёстром зале – за каждым столом по гению, прямо никуда не деться от этих гениев, не с кем поговорить по душам просто за жизнь; выискиваешь какого-нибудь незатейливого собеседника – всего-навсего способного, не более, и подсаживаешься к нему. Случалось, в том кафе за столом восседало сразу два гения, тогда к концу вечера вспыхивали и потасовки, довольно зрелищные моменты.

Что я заметил: одни из титанов мысли, подогретые нашим национальным напитком, всех сподвижников по творческому цеху валили в одну кучу и смешивали с грязью, а себя, колотя в грудь кулаками, выставляли чуть ли не создателями новой религии, при этом заявляли, что все должны считать за честь сидеть с ними за одним столом. Другие говорили о своей гениальности спокойно, как бы между прочим, как само собой разумеющееся и всем давно известное, будто бы они всего лишь посредники между Богом и нами, кузнечиками. Третьи в кругу единомышленников, с трудом ворочая языками, застенчиво бормотали: «Кое-что делаю, так, более-менее удачное», но стоило такому скромняге очутиться за столом со случайным посетителем кафе (тем более с посетительницей), как он с бешеным напором заявлял, что создал «нечто гениальное».

Я, конечно, с глубочайшим уважением отношусь к странностям (и даже к сумасшествию) в творческих людях, но от «гениев» всё-таки стараюсь держаться подальше – не очень приятно рядом с ними чувствовать себя полным дураком, да и никогда не знаешь, что взбредёт «гению» в следующую минуту, какие он начнёт выделывать кренделя.

Некоторые считали Пёстрый зал богемным болотом, где разные свихнувшиеся неудачники пропивали последние мозги. Это неверно, точнее – поклёп грязнейшей воды. Конечно, в кафе собиралась

и окололитературная публика, балдевшая от самого процесса общения с властителями дум, и графоманы – их хлебом не корми, дай окунуться в алкогольный литературный трёп да посмаковать сплетни об известных людях; они как бы ходили около пирога и не могли его укусить – но таких насчитывались единицы, а среди тех, кто в открытую или втайне считал себя гением, было немало по-настоящему талантливых людей; их сверхсамоутверждение являлось определённым катализатором в творчестве, естественным человеческим желанием быть лучшим в своей области. И уж что бесспорно – их встречи за бутылкой водки были далеко не унылыми бездуховными пьянками. Да и как они могут быть унылыми у литераторов, если наши российские выпивохи, обычные работяги, в любой привокзальной забегаловке говорят о мировых проблемах, а могут и подраться из-за Чехова? В какой стране такое возможно? В какой стране каждый второй пьяница – философ?

Кстати, ко всем пьющим я также испытываю немалое уважение и не упускаю случая примкнуть к их племени, поскольку и сам давным-давно приобщился к крепким напиткам. Должен заметить – все самые интересные люди, которых я встречал в жизни, не были трезвенниками. И это понятно – талантливому, мыслящему, вкальвывающему необходимо снимать напряжение, расслабляться после перегрузок.

Ну да ладно, вернусь в Пёстрый зал, расскажу о некоторых представителях детской литературы – это народец тот ещё! У них не найдёшь детской доверчивости или подросткового восторга – сплошной холодный расчёт. Тот, кто думает, что у них нежные, чувствительные души, – ошибается. Они говорят резко, действуют жёстко, безжалостно (прямо размахивают топором), отмечают всё, что не вписывается в их понятия. Изверги, одним словом, и каждый – своеобразный фрукт, шагающий, вернее бегущий, навстречу славе.

Разрекламированный окололитературными кругами поэт Генрих Сапгир был одним из первых, кто объявил мне о своей гениальности. В один прекрасный день, после лёгкого застолья, он внезапно встряхнулся, нахохлился и, выпучив глаза от ошеломляющей фантазии, доверительно шепнул мне на ухо:

– Я дико гениален! Дико! В моих произведениях ничего нет случайного. Пока существует литература, моё имя не зачеркнуть! На Западе я в энциклопедиях на одной ступени с Ахматовой. Сейчас

вхожу в тройку лучших поэтов мира. Я громадная личность, а эти, – он кивнул на сидящих в кафе, – эти просто так... просто хорошие парни.

Вот так дословно и сказал, без всякой сдержанности, без приуменьшений, смягчающих словечек, и, вцепившись в мою куртку, заставил слушать свои вирши. Целый час не отпускал, пока моя голова не распухла от впечатлений, а когда я всё-таки поднялся, бросил:

– В поэзии есть Пастернак и я.

В тот же прекрасный день его примеру последовали два ленинградских литератора, два мастера отточенной прозы, в которой слова связаны цепко, как сплав: Виктор Голявкин и Сергей Вольф. С могучим ироничным Голявкиным я познакомился ещё в Гурзуфе (тогда же он дал мне понять, что является не просто талантищем, а настоящей глыбой), теперь он обитал в Переделкино, но, как и тогда на юге, с какой-то яростной страстью объявил мне:

– Пишу по одному гениальному рассказу в день и выбрасываю в форточку (в Гурзуфе выбрасывал в море). Мне главное – сделать, а на признание наплевать. Искусство вообще условно. И вдохновение – чушь собачья. Это вроде – идёшь по улице, и тебя шарахнули кирпичом по башке, и ты несёшься, вздрюченный, к столу. Как говорил философ, «кто хочет добиться успеха, должен иметь или хорошие мозги, или хорошие ягодицы». У меня есть и то, и другое, – довольный победоносным остроумием, он хлопнул себя по лбу и заду, и на его лице появилось немислимое счастье.

Сергей Вольф – высокий стройный бородач, изысканный эстет, вокруг которого прямо витала высокомерная гордость; мы с ним выпили по паре рюмок водки (для поднятия духа), и он сумрачно проговорил:

– Я на время отложил прозу и начал писать стихи. Гениальные.

У меня непроизвольно вырвалось ругательство: три гения за день – это уже было слишком, я испугался, что не выдержу такую нагрузку.

– А почему ты позволяешь себе при мне ругаться? – Вольф надул щёки, насупился. – У вас, в Москве, эти выкрутасы в порядке вещей, а у нас считаются дурным тоном. Поэтому здесь не испытываю ни малейшего желания с кем-либо общаться. Тебе, так и быть, прочитаю последние стихи. Сейчас поймёшь, что такое потрясающая поэзия.

Стихи действительно меня потрясли пиршеством эпитетов, богатой гаммой чувств, накалом в сотню градусов, но до классиков они

всё же не дотягивали. Впрочем, возможно, я чего-то не понял, ведь Вольф упомянул, что целая галерея поклонников и поклонниц от его стихов сходит с ума.

Как-то в Пёстром я встретил писателя Сергея Козлова, довольно суматошного литературного разбойника (он с особым размахом брался за всё: сказки, пьесы, стихи, песни).

– Талант, старик, это непрерывная продуктивность, – возвестил Козлов. – Вот я написал триста сказок. Так. Из них сотня средних. Как бы. Сотня хороших, пятьдесят отличных. Как бы. И пятьдесят гениальных. Мне не хватает издательств. Я мог бы в пятьдесят издательств отдать пятьдесят книг. Талант – это количество, непрерывная продуктивность.

– А как же Тютчев? – сделал я осторожный шаг.

– Аа-а! – махнул рукой Козлов. – О чём ты, старик, говоришь?! – и, помолчав, добавил: – Вот только Успенский мне всю погоду портит. Как бы. Сколько раз ему, тронутому, говорил: пиши свои стишата, не лезь в сказки.

– Неужели не можете поделить жанры? – вырвалось у меня.

– Старик, ты чего-то не понимаешь, – поморщился Козлов и посмотрел на меня как на законченного кретина. – Пойми, двум талантам трудно работать на одной площадке. Один другого съедает. Как у хищников.

Эти страшные загадочные фразы не под силу моей голове – не могу их понять до сих пор.

Вскоре я встретил ещё большего суетника, прямо-таки моторного Эдуарда Успенского, которого окружала какая-то наэлектризованная атмосфера (под сотню вольт) – попадая в неё, окружающие невольно испытывали беспокойство (особо чувствительные даже начинали дёргаться). Успенскому была свойственна редкостная деловая хватка.

– Голова идёт кругом от гениальных проектов, – заверещал он, едва ответив на моё приветствие. – Я фабрика, которая работает бесперебойно. Прихожу на телевидение, говорю: «Давайте миллион, сделаю передачу» – дают. Куда они денутся, кто, кроме меня, сделает? Так что дела идут, но полоумный Козлов всё время дорогу перебегает – пишет сказки, гад. Хорошо, что ты пишешь рассказы, ты мне не конкурент.

О своей гениальности и беспредельных возможностях напористо распинались уродливый коротышка Юрий Коринец и сутулый фитиль с чёлкой-«педерасткой» Игорь Холин, но если первый делал действительно качественные вещи, то второй – сплошное ёрничанье, какие-то пунктирные строчки, мозаику, занимался словесной эквилибристикой, от которой приходили в восторг только истеричные слезливые литературные дамочки.

Старый брюзга Василий Голышкин тоже как-то брякнул:

– Пишу гениальный роман – Толстой вздрогнет! Когда выйдет, подарю. Начнёте читать – не сможете оторваться.

Что досадно, мои близкие друзья Игорь Мазнин и Юрий Кушак тоже были неслабого мнения о себе. Мазнин не раз хвастливо сообщал:

– У меня есть парочка пушкинских строчек. Я гений! Это эталон прозы.

Как-то, напившись, он и вовсе выдал, будто делает милость, что терпит нас, и заключил:

– Все вы г...о, а я гений!

А Кушак, после того как его жена Елена сказала, что он гений, подтвердил её слова и бухнул, что и в остальном лучше нас всех:

– ...Лучше, Лёнька, лучше! – сказал мне без всякой рисовки, с какой-то обидой, что это мало кто видит.

Я так и не понял, что значит «лучше». Все мы в одном лучше, в другом хуже. Конечно, мало ли что отколет человек в подпитии, но, с другой стороны, никуда не денешься, в такие моменты раскрывается его суть. Справедливости ради замечу: лет десять назад, в пик своей издательской деятельности, Кушак уже представился нам с Юрием Ковалём как «бывший поэт», а недавно, на шестидесятилетии Марка Тарловского, с ложной скромностью заявил:

– Я тоже способный.

Леонид Яхнин как-то отмочил номер – при встрече, посмеиваясь, сообщил мне:

– В одном журнале написали, что я великий! Вот так вот!

Юрий Коваль вообще ежедневно, как молитву, повторял:

– Мои гениальные холсты... Мои гениальные, божественные тексты...

Как-то, во время подобных пафосных тирад, Мазнин (забыв собственные слова) вознёс руку над головой:

– Тоже мне гении! «Каштанку»-то никто из вас не написал! И вообще хватит орать! В стране, где жили Пушкин и Толстой, надо вести себя тихо!

Нужно отдать должное Мазнину – после этого он уже никогда не заикался о своей гениальности и с каждым годом вёл себя всё тише, а на своё пятидесятилетие и вовсе произнес сникшим голосом:

– Я в искусстве не наследил.

На что Андрей Кучаев резко бросил:

– А надо было наследить!

Сам-то Кучаев наследил ого как! Его замысловатые, хаотичные рассказы так перенасыщены всякими вывертами и фортелями, в них такая смысловая нагрузка, такое дно, что забываешь о поверхности – о чём, собственно, речь. Я, плохо подготовленный к такого рода чехарде, ничего не мог разобрать, но чувствовал, что Кучаев орудовал мощно, и, думаю, он ещё что-нибудь выдаст, что-нибудь крупного калибра, какое-нибудь литературное безумие. Он, сатана, может. Говорят, Кучаев тоже считает себя гением. Врать не буду – мне об этом он никогда не говорил, даже когда мы крепко поддавали, но о чём не раз упоминал, так это о своих зелёных глазах и своём происхождении из кавказской народности лакцев, и с большим удовольствием разоблачал псевдонимы писателей:

– Ваша настоящая фамилия Рабинович (или Левин), не так ли? Я знаю, хе-хе!

Нельзя сказать, что Кучаев сильно не любит «богоизбранных», скорее – просто недолюбливает; ну и, как это часто бывает, они-то его и окружают, ведь он юморист, а в том клане других национальностей нет.

Стоит отметить ещё двух моих близких друзей, двух Ивановых – Альберта и Сергея. Сценарист и прозаик, коллекционер пивных кружек и колокольчиков (такой малосовместимый набор!), Альберт Иванов при мне расхваливал свои книжки редакторше издательства «Советская Россия»:

– А эта как написана, а?! Кто так может? А та какая?!

Перечислил штук пять и в тот же день подарил мне книгу для взрослых; сделал дарственную надпись и протянул со словами:

– Прямо сейчас открой на любой странице, прочитай любые строчки – это гени... – он, молодчина, не договорил и поправился: – Там всё настоящее.

Но недавно меня удивил:

– Я написал триста пятьдесят сказок про Хому и Суслика, – сказал. – Мои книги сразу раскупают. На прилавках их нет. Я в сборниках «Золотого фонда», среди лучших детских писателей мира, рядом с Киплингом, Хантером. Я академик Российской словесности. Помог вступить Мирнев (Львовский, мерзкий тип с оловянными глазами и бездарный прозаик, накатавший восемнадцать романов, которые невозможно читать). В Академии детских писателей всего двое – Михалков и я.

– Знаешь, Хармс на своей двери написал: «Чины и звания оставьте за дверью»? – вставил я. – На кой чёрт тебе эти звания? Нам с тобой уже на седьмой десяток. Ты сколько собираешься жить? Или так готовишься к вечной жизни, хочешь на том свете быть при параде?

– Кем буду в следующей жизни, не знаю, а в этой звания не мешают. Я ещё и корочку «Пресса» получил. В Международный союз журналистов вступил. Ценная вещица. За границей сразу иду в их Союз, они устраивают гостиницу, обслуживание со скидкой, всякие поездки.

Альберт Иванов – практичный, башковитый (почти мудрый), талантливый (у него яркая, лаконичная проза), компанейский и внешне – вылитый киногоерой (когда по случаю торжеств надевает бабочку, его принимают за посланца Голливуда); он был ещё более талантливым и мудрым, пока не бросил выпивать (на него навалились болезни). Похоже, японцы не зря вывели, что алкоголь способствует развитию ума – естественно, в разумных дозах.

Как и все мы, Иванов небезгрешен, у него свои оригинальные качества: он чересчур липнет к знаменитостям, сюжеты черпает из судебных протоколов; когда речь заходит о его работе, скрытен, осторожен, боится сглазить – «так, пишу понемногу... рассказы, повесть, – проямлит, хитрец, и стучит по дереву, плюёт через плечо, – для какого издательства, пока не скажу – секрет». Спросишь его: «Куда едешь отдыхать?» – а он опять: «Пока не скажу».

Но в одном Иванов резко отличается от всех нас: по нему, симпатяге, сохнет туча поклонниц, но он, как лебедь, всю жизнь верен своей жене. Такое упоение одной женщиной – исключительный случай в творческой среде. Впрочем, кое-кто приближается к Иванову; например, тот же Козлов, который, несмотря на давний развод с женой (по-

этессой Т. Глушковой), продолжает заботиться о ней (привозит продукты, достаёт лекарства, постоянно интересуется её творчеством).

Сергей Иванов вообще никогда не распространялся о своей работе – лишь отмахивался:

– Пишу гениальные вещи!

И сразу становилось ясно: он без лишнего шума создаёт шедевры и является не только лучшим, а единственным – то есть имеет золотые мозги, священную руку и делает для человечества больше, чем кто-либо.

Дремучий, закрытый, необщительный прозаик Александр Старостин тоже разочек глухо буркнул, что «создал гениальное». Чтобы выяснить подробности, я предложил ему пропустить по соточке. За столом он проникновенно пояснил:

– ...Можно сказать, я дал нашему поколению новые ориентиры. (Вот так, не меньше! Вроде до него мы не туда шли.) Теперь у всех нас широчайшие возможности. Но пока всё на бумаге. Не знаю, кто возьмётся печатать.

– Дай почитать, бумажный талантище, таинственная душа, а то мои возможности жутко сузились, – неуклюже пошутил я.

– Дам... А душа у меня, между прочим, тверская. Я потомственный тверяк. Таких среди пишущей братии только двое: я и Борька Воробьев. (Он забыл упомянуть поэта Владимира Соколова и Владимира Смирнова, профессора Литинститута, блестящего знатока русской литературы, истинного патриота России.)

Маленький, усатый, узкоглазый Марк Ватагин – в общем-то тихий, мягкий человек с тонким птичьим голосом; он крайне редко говорит о себе – в основном когда дело касается романтических историй (это важная сторона его жизни; при виде девиц он, уже старикашка, облизывается, словно кот в предвкушении лакомства, и жмурится так, что его глаза совсем исчезают). Мы знакомы два десятка лет, и я не припомню случая, чтобы он расхваливал свои литературные работы, но недавно его прорвало:

– Что-нибудь пишешь? – спросил я при встрече.

– Сейчас должно выйти несколько томов сказок в моём пересказе. Это будет литературное событие.

Распираемый собственным величием, он пробормотал ещё какие-то слова, суть которых: выход его толстенных книг (монстров в тысячу

страниц) – факт уникальный, ни на что не похожий, и теперь без его фолиантов детская литература будет неполной. Его слова крутились на языке вокруг главного слова, но произнести его он никак не решился. Я ему помог:

– Понятно, это гениальный труд. Ты увековечил себя.

Он облегченно кивнул.

Но что детские писатели! Представители взрослой литературы перещеголяли всех на несколько порядков – они самовосхвалялись до небес.

Симпатичный толстяк Ашот Сагратян выглядел преуспевающим: одет с иголки, походка размашистая, усы в завитках, не шевелюра, а цветущий куст; во всём облике – непомерная уверенность в себе. Как-то поведал мне, что достал французские краски и голландские кисти и начал писать новую серию цветов.

– Год рисую фиалки и делаю к ним рифмованные подписи. В моих стихах ценные мысли, высокие чувства, богатые слова. Гениальные вещи! Сейчас не продаю. Через два-три года каждая картинка будет стоить состояние. Заходи в мастерскую, в мой запасник мировых духовных ценностей. Мои картины уже закупил Нью-Йоркский музей. Сейчас у меня выставка в Доме медиков. Но две картины стащили. Каждая по десять тысяч долларов. Я сходил в церковь, поставил свечку, чтоб воров постигла смерть... Потом будет выставка в Доме композиторов, потом в Доме учёных...

Сагратян был моим хорошим приятелем, но я всё боялся – если дело так пойдёт и дальше, он кончит не в этих домах, а в другом доме.

Ещё один поэт, мрачный и грубый Борис Авсарагов одежде значения не придавал и вообще вёл беспорядочный образ жизни; внешне выглядел устрашающе: коренастый, на лице складки, глаза навывкате, нос с широченными ноздрями; завершала портрет кривая зловещая ухмылка – казалось он съел гнилой огурец. Все поступки Авсарагова отличались дерзостью; он возомнил себя чёрт-те кем: среду простых смертных откровенно презирал – «не терплю ничьёмных разговоров»; в синклите незаурядностей держался развязно, нахально и постоянно искал повод, чтобы сказать гадость, при этом не церемонился в выборе выражений, подходил к компании и с ходу взламывал её:

– Видал?! – говорит, и дальше, прямо истекая слюной: – Новая форма, шифры стиха! Гениально! Это нечто! Такого ещё не было!.. Я подарил миру совершенное решение. Как-то неожиданно нашло. Сам не ожидал.

Казалось, его дракон нахлебался перебродившего вина и внезапно зелье вырвалось наружу. Он говорил о себе как о творце, который совершил подвиг, – творце, руку которого ведут потусторонние, всевышние силы, а он вроде здесь ни при чём, ему не нужно ухлопывать уйму времени, чтобы докопаться до главного – всё даётся без натуги, даром. Выпалив набор из превосходных, затмевающих небо степеней, он убрал свои изыскания.

– Ну, я побежал работать. Времени в обрез. Надо наращивать скорость в работе. Нельзя расхоложиваться.

– Беги, конечно, – растерянно пробормотал я. – Но не переутомись!

Не менее помешанным выглядел и Седугин: тот в любое время года ходил в драной телогрейке и изношенных сапогах, невнятно бормотал, что голодает, ночует в каких-то трубах, цистернах, но имел машину и дачу с сауной и маскировался под горемыку бомжа, чтобы вызвать жалость. Он занимался каким-то гибридным искусством: писал рассказы в диалогах (лупил избитые фразочки) и по шаблону делал к ним абстрактные иллюстрации, в которых сквозило желание удивить, – всё выглядело нарочитым и попахивало шарлатанством.

Писал он и стихи: то какой-то случайный набор слов, напоминавший свалку из литературных обломков, то что-то слюнявое, где строфы таяли, как мороженое, – тем не менее, а может быть, именно поэтому за Седугиным постоянно вился шлейф поклонниц немислимой, ошеломляющей красоты – они напоминали балетную труппу и шествовали за «мастером» с безропотной покорностью, в открытую называя «непризнанным гением». Завсегдатаи кафе с завистью пялились на свиту Седугина, сладострастно обсуждали женские формы, а Седугин вроде и не замечал воздыхательниц – похоже, ему были нужны не хорошие формы, а хорошие уши (слушательниц). Всем своим видом он давал понять, что нельзя смешивать возвышенное и низменное.

Войдя в кафе, Седугин хищно (больным, диким взглядом) осматривал собратьев по перу, достаточно громко произносил:

– Моё время наступит после моей смерти, – и уводил красоток в Каминный зал, где читал последнее шедевральное.

Некоторые называли Седугина «разложившимся типом», говорили, будто бы «от него несёт трупным запахом». Подобные смертельные характеристики я не раз слышал от других гениев. Быть может, так говорили из зависти, кто их, гениев, разберёт? Им постоянно тесно среди творческой братии, вечно не хватает жизненного пространства. Но уж «разложившийся» – это слишком, ведь в сущности Седугин – безвредный субъект, и его ерундовые вещицы нравятся женщинам.

Поэт Спартак Куликов не входил, а проскальзывал в кафе, робко, как мотылёк; несколько минут брёл вдоль стены и, запрокинув голову, что-то бормотал, а столкнувшись с кем-нибудь из литераторов, ошарашивал неожиданным вопросом типа:

– Что лучше: время в пространстве или пространство во времени? – и, не дожидаясь ответа, шёл к следующей стене.

Обойдя весь зал по периметру, Куликов брал у стойки бутылку пива и садился за пустой стол – было ясно: всякое общение для него – страшная мука, а собственный мир – высшая окончательная ценность. Однажды с неизменной бутылкой пива он внезапно нерешительно двинулся в сторону моего стола, и я тут же жестом предложил ему присесть, но он замотал головой и остановился в двух шагах:

– Как думаешь, это плаксивое бабство (он кивнул на поэтов в кафе) способно разродиться космическими стихами? Думаю, не способно. У них одно литературное баловство. Им не помогут даже грядущие трагические события. Я это знаю. Я уже там, где искусство сомкнулось с религией, – он показал на потолок, но, понятно, имелось в виду поднебесье, у него было какое-то дикое чувство пространства.

Дом литераторов трудно представить без прозаика и поэта Анатолия Шавкуты – он постоянный обитатель клуба (случалось, перебрал, оставался в нём и ночевать, устроившись где-нибудь на диване в гримёрной). Бывший строитель и отличный спортсмен, он занялся литературой, проштудировав классиков и уже имея приличный жизненный опыт; ему не хватило всего ничего – волшебства, без которого литературу не отличишь от журналистики (проще говоря, одно дело – уметь видеть, другое – передать своё видение и заразить им других). Когда-то он написал пару хороших рассказов и штук пять неплохих стихов – тут бы ему и остановиться, но он, настырный, уже поймал кураж – стал катать дальше и в результате наплодил массу поспешных вещей.

Трезвый Шавкута – великолепный собеседник с цепким умом и склонностью ко всеохватывающим обобщениям (что много говорит специалистам, знающим толк в подобных штуках), но после первой рюмки всем затыкает глотку:

– Молчи, дурак!

После второй может ляпнуть:

– Пошёл вон отсюда!

После третьей скалит зубы и в точности повторяет репертуар Мазнина и Авсарагова, только агрессивней:

– Я гений, а вы все дерьмо! (такая восходящая траектория).

Несколько раз в кафе эффектно появлялась поэтесса из Прибалтики (забыл её фамилию). Она являлась как привидение – бледная, в совершенно прозрачном белом платье, больше похожем на комбинацию, за которой просматривалось абсолютно всё, и в белой шляпе, размером с автомобильное колесо. Рядом с поэтессой шествовал её муж-верзила – он смотрел на свою суженую глазами преданной собаки. Закинув ногу на ногу и закурив, поэтесса посылала мужа к стойке за выпивкой, а сама поворачивалась и так и сяк, демонстрируя грудь и бёдра. Как-то бросила в мою сторону:

– Ты не поэт, а прозаик, сразу видно. Даже сидишь не как поэт(!) Спокойный, сухой какой-то... А я в растрёпанных чувствах, прям разрываюсь. Во мне постоянно борется божье и дьявольское.

Я не стал выяснять, что чаще побеждает, и она сделала зигзаг в другую область:

– Больше всего на свете люблю поэтов и цветы.

Я усёк её отвлекающий (вернее увлекающий) манёвр и грубовато съехидничал:

– Наверно, розы. Красные, наглые, развратные...

– И розы тоже. В них дыхание любви и смерти, тебе не понять.

Естественно, до таких высот я ещё не поднялся и увильнул от разговора.

После двух стаканов вина бледность с лица поэтессы исчезала, глаза становились горящими, как на иконе, она учиняла разнос посудомойке за грязные столы, затем буфетчице – за «разбавленное» вино, объявляла, что является польской княжной и получила «объёмное, массивное образование»; в заключение обращалась к мужу:

– Мало я тебя закрепостила. Не забывай, я знаковая, культовая личность, я гениальная польская поэтесса, а ты русский козёл!

Дальше она громко читала свои стихи – какие-то напыщенные изыски-вывески (некоторые с эротическими нотками). Помню, после её выступления кто-то удачно пошутил:

– Это музыка для ушей! Я готов слушать вас вечно. Можно до вас дотронуться, чтобы почувствовать причастность к великому?

Другие поэты рассказывали, что дома эта поэтесса в основном ходила голая и, во время ссор с мужем, часто выскакивала в чём мать родила на лестничную клетку и на весь дом поносила «неотёсанный» русский народ и его типичного представителя – своего мужа; будто бы эти экзотические спектакли случались два-три раза в неделю и на них сбегалось немало любителей скандалов и женских прелестей – понятно, в такие моменты поэтесса была похожа не на привидение, а на ночную бабочку.

Кстати, то, что говорила поэтесса мужу, слово в слово, даже еще мощнее, но в узком кругу повторял своей жене поэт Евгений Рейн:

– Я гениальный еврейский поэт, а ты русская б...! (понятно, в пылу жёнам и не то отчебучивают; в Англии вроде до сих пор есть закон, разрешающий и лупить жену, но до одиннадцати вечера, чтобы не мешать соседям).

Рейн обычно не говорит, а вещает; громовым голосом произносит категоричные, рубленые фразы (они как некие проповеди из загробного мира – их никто не смеет опровергнуть), но, будучи прекрасным собутыльником, громовержец, выпив и размякнув, уже выступает менее пламенно, позволяет спорить с собой, оговаривается – «на мой взгляд»; бывало, даже подтрунивал над своими первыми стихами – «принёс Пастернаку уродливые стихи».

Известное дело, выискивать в человеке плохое не так уж и сложно, гораздо труднее разглядеть хорошее, и ко многому в Рейне можно придаться: к примеру, на вечере современной поэзии расхваливал дюжину еврейских поэтов и при этом не упомянул ни одного русского; но позднее, на вечере памяти поэта Юрия Кузнецова, сказал:

– Двадцатый век начался с Блока, а закончился Юрием Кузнецовым. (Такой крен в другую сторону.)

Кстати, Кузнецов вообще считал себя выше всех: «Я один, все остальные – обман и подделка».

В общении Рейн предельно внимателен ко всем литераторам, независимо от их возраста и значимости, и что особенно ценно – никогда не кривит душой. За это ему следовало бы дать похвальную грамоту.

Всего два раза я общался с Юрием Казаковым, лысым, носатым, губастым, очкастым увальнем с тяжёлой «медвежьей» походкой; оба раза он мне втолковывал, что является классиком и его книги давно потаскали из библиотек.

– Мою гениальную прозу перевели во всех странах мира, кроме Китая и Албании, – говорил он, заикаясь и не вынимая изо рта папиросу. – Валюты на зарубежных счетах полно, а рублей нет. Ты возьми мне сто грамм.

За выпивкой он рассказывал о своей даче в Абрамцево и участке с гектар, на котором сотни берёз, елей и «своя река» (через участок бежит ручей), о бане и старой машине, а узнав, что я с Волги, поведал о желании проплыть на барже до Астрахани, «и неплохо бы с бабешкой». После вторых ста грамм Казаков рассказывал о встречах с Паустовским, но больше о какой-то родственнице классика, с которой у него, то ли были, то ли будут отношения. И рассказывал о какой-то дамочке в Ленинграде, которая в него влюблена. Было ясно – у него повышенный интерес к слабому полу. Под конец он интересовался, как я «опутываю» женщин, и на мой вялый ответ «как все» переводил папиросу из одного угла рта в другой.

– А я ничего не говорю. Дарю свою книгу, на другой день они сами приходят.

В то время Казаков выпустил чрезвычайно сильную книгу «Голубое и зелёное», и я понимаю женщин – его книга произвела большущее впечатление на моё чёрствое сердце, и что говорить про нежные женские сердца!

Мятежный, заносчивый, воинственный, железный мужик (из него можно было делать гвозди) Анатолий Передреев – поэт с решительным лицом и холодным, пронизывающим взглядом – зычно чеканил:

– За мои гениальные стихи надо платить золотом! Об этом говорили и Смеляков, и Слуцкий, и Твардовский.

– Золотом! – как эхо вторили почитатели поэта, которые постоянно волочились за ним.

Передреев страдал нарциссизмом, был пьяницей, психопатом, хамом, любителем драк и... по-настоящему большим поэтом – меня

так его стихи просто-напросто пробирали до костей. Во время слёта гениев Передреев особенно проявлял свой ураганный характер и был главным зачинщиком стычек; утихомирить его никто не мог. Но случилось, в кафе появлялась его юная дочь, манекенщица; он, шальная голова, сразу затихал и покорно следовал за своей наследницей (обожал её) – она выводила его из кафе за руку, как провинившегося мальчишку.

И всё же чаще распоясавшегося поэта останавливали более действенным методом. Как-то в Пёстром зале, кивнув на мужа И. Скорятиной (секретарши писательской организации), Передреев гаркнул:

– А это что ещё за г...о за нашим столом?!

Супруг Скорятиной был тихим скромным инженером – в тот вечер он просто зашёл за женой и впервые оказался в литературном обществе; на столь хамские слова он только и нашелся, что плеснул кофе в морду поэту. Передреев сжал кулаки и вскочил, готовый ринуться в драку. К счастью, за столом сидел журналист и прозаик, автор исторических романов Юрий Фёдоров. Спокойный, немногословный, но чёткий в высказываниях, он являл собой пример выдержки и такта и тем самым гипнотически действовал на окружающих; при нём редко кто позволял себе бесцеремонные вольности, не говоря уже о хулиганских выходках – не случайно все звали его по имени-отчеству, даже маститые литераторы (такая почтительность – исключение в клубе, где как раз панибратство, а то и открытое неуважение к возрасту и титулам – почти что норма). Так вот, этот Фёдоров в молодости занимался боксом и имел хорошо поставленный удар левой – тем ударом он и уложил Передреева на пол.

В другой раз Передреев начал хамить поэту Петру Кошелю (будучи у него в гостях!). Это выглядело особенно мерзко, поскольку больной, хромоногий Кошель не мог противостоять амбалу Передрееву, по-мужски поставить его на место. Но Кошель сделал это по-женски: когда Передреев допёк его, он огрел наглеца сковородой по башке, после чего тот уже вёл себя более-менее прилично.

Однажды мы выпивали у Кушака; Передреев прочитал свои последние блистательные стихи, и Кушак (вполне искренне) выдал залп похвалы. Я, потрясённый, тоже что-то вякнул. Внезапно Передреев залился пьяными слезами:

– Вы действительно так считаете?.. А я иногда сомневаюсь... Я ведь иногда очень не уверен в себе...

Я тарасился на знаменитого поэта и недоумевал – как? И он в себе сомневается?!

В восьмидесятых годах в ЦДЛ появился новый отряд гениев. Именно в ту пору моими друзьями (и одними из лучших собутыльников) стали динамичные, всезнающие Николай Климонтович и Вячеслав Пьецух; они тоже по разочку сообщили мне, кем являются на самом деле, да ещё объяснили, почему именно: первый – потому что «умней и образованней других», второй – потому что у него «новая проза – импровизации на тему» (а я-то, тёмный, считал, что истинное искусство – это прежде всего традиции, преемственность и, конечно, сюжетность). Этим прозаиков объединяла нешуточная мужская притягательность; и тот и другой ходили с высоко поднятой головой, стремительно, прямо-таки рассекая воздух; в застолье оба держались как нельзя лучше: говорили легко, без всяких затёртых словечек, их оценки были хлёсткие и точные, как попадание в десятку. Ну а контактный взгляд и полуулыбка-полуусмешка довершали дело – мужчины в их обществе меркли, а женщины на них так и висли и от волнения чуть не падали в обморок.

Ко всему и Климонтович, и Пьецух были профессиональными тусовщиками – без них не обходилась (и сейчас не обходится) ни одна выставка, презентация – и понятно, подобный житейский фейерверк для многих являлся предметом зависти.

Кое-кто находил в текстах Пьецуха всего лишь залихватскую журналистику и антироссийский уклон, а у Климонтовича к этому ещё добавляли самолюбование и откровенную, до пошлости, эротику. Я смотрел только на их мастерство – оно выгодно отличалось от общего потока писанины.

Однажды, в пик популярности Пьецуха, когда он чуть ли не ежедневно давал иностранцам интервью, я сказал ему:

– Ты своё дело сделал. Мемориальная доска тебе обеспечена.

– Да о чём ты! – махнул он рукой. – Это всё скоро кончится. Вот сейчас французы, американцы переводят – это да!

В другой раз, с потугой на шутку, я объявил Климонтовичу:

– Ты добьёшься оглушительной всемирной славы.

– Слава у меня уже есть, – пожал плечами мой друг, давая понять, что его слава – данность, о которой знают все, кроме меня, невежды.

– Но ты пока только известный, но не знаменитый, – гнул я своё.

– Для меня знаменитый, – встряла в наш качественный разговор жена Климонтовича, миниатюрная брюнетка с красивым голосом (она произнесла эти слова очень красиво, без всякой шутливости). – Он считает себя лучшим прозаиком на сегодня, и я так считаю.

Когда супруги ушли на какую-то очередную презентацию, художник Николай Пшенецкий, с которым мы сидели за столом, засмеялся:

– У Климонтовича есть конкурент – Пьецух. Тот тоже себя считает лучшим. Я не раз с ним выпивал в его загородном поместье. Он хороший мужик, вот только с барскими замашками: «Сбегай, купи поллитра!», «Приготовь обед, а я пока посплю!». Нашёл мальчика! Совсем офигел!

– Не расстраивайся, всё в порядке вещей, – сказал я. – Приятели большого мастера и должны быть подсобными рабочими. Зачем ему тратить время на ерунду? А ты радуйся, что общаешься с великим человеком, дышишь с ним одним воздухом.

– У твоего Пьецуха все работы пропитаны желчью к России, – сказал мне сатирик Владислав Егоров.

Позднее я познакомил этих писателей, и Егоров повторил свои слова в глаза Пьецуху и добавил:

– Я написал на вас отрицательную рецензию.

В те дни вокруг Пьецуха была рекламная шумиха и на такие уколы он просто не реагировал. Он уже восседал в кресле главного редактора «Дружбы народов», имел персональную машину с шофёром, «вертушку» и даже пистолет, который ему подарила жена (преуспевающая галерейщица); этой опасной игрушкой мой друг частенько хвастался: в застолье доставал и клал перед собой, дуралей, – вероятно, давал понять, что намерен разговаривать с позиции силы.

Многие считали Пьецуха «демократом», а Климонтовича диссидентом (он, действительно, печатался даже в «Посеве».)

Крепкий орешек, мужик не из слабых, поэт Валентин Устинов всегда называл себя (и сейчас называет) «державником». В основе своей так оно и есть: он патриот, в лучшем смысле этого слова, и пишет о России прекрасные стихи (я называю его «мастером широкого мазка»);

жаль только, не всегда сдерживает распирающее его самомнение. Малоознакомым литераторам он может сказануть:

– Извини, но я не общаюсь с теми, кого не читал.

Начинающему поэту И. Голубничему при первой встрече заявил:

– Я лучший поэт России.

Спустя несколько лет Голубничий припомнил ему эти слова. Устинов усмехнулся:

– С тех пор я стал скромнее.

Среди знакомых державник заученно (без всякого головокружения от славы) вещает:

– Сейчас я в пятёрке лучших поэтов России!

Кстати, поэт Владимир Цыбин, имея на то серьёзные основания, говорил, что он замыкает пятерку лучших поэтов (и что они помешались на этой пятёрке?). Странно, но ни того, ни другого никто никогда не спросил – кто остальные четверо, хотя небезынтересно, кого они втискивают в этот блестящий набор.

Довольно заносчивый прозаик Борис Рахманин как-то написал неважнецкий роман с дурацким названием: «Господин Сперматозоид». Роман был объемный и увесистый, как утюг (сразу подумалось – если он упадет с полки на голову, может и прибить). Толстые книги наших писателей почему-то у меня вызывают страх, почему-то я считаю, что многописание – признак графомании. Наверняка я не прав, но ничего не могу с собой поделать – не только не могу одолеть кирпич, но и с самого начала вникнуть в суть написанного; потому и закрываю книгу после двух-трёх страниц. Так получилось и с тяжеловесной прозой «Господина», который Рахманин мне подарил. Через некоторое время он спрашивает:

– Ну как? Что скажешь?

– Ничего не скажу, – вздохнул я. – Не смог втянуться. По-моему, плохо.

– Ничего ты не понимаешь, – буркнул Рахманин. – Гениальный роман!

Известный поэт Игорь Шкляревский говорил А. Баркову:

– У нас есть три великих поэта: Евтушенко – первый, Вознесенский – второй, я – третий.

Как-то, играя в шахматы с неизвестным поэтом Владимиром Юршовым и явно проигрывая, он осадил партнёра (и, кстати, сверстника):

– Как ты смеешь называть меня на «ты»! Не забывай, кто ты и кто я!

Каким-то невероятным образом ему всё-таки удалось свести партию вничью, и, уходя, он тихо сообщил своей подружке, которая ждала его невдалеке:

– Я-то гений, сама знаешь, а он-то мелочь!

В другой раз, проиграв партию в бильярд, он огрел эту подружку кием по голове – в приступе восторга она что-то сказала под его горячую руку.

Неуравновешенный, нервный Шкляревский не ходил по ЦДЛ, а скакал; на посетителей смотрел пронзительно (прямо сверлил насквозь) и никогда никому не улыбался (даже близким знакомым). Но, получив Госпремию, поступил благородно – отдал её на улучшение экологии своей Белоруссии, в отличие от всяких Ю. Семёновых и Т. Толстых, которые, дорвавшись до денег, всё загребли себе, причём Семёнов выкинул дешёвый трюк – перед телекамерами объявил, что гонорар за последний детектив жертвует (на какую-то ерунду), только редактор «Современника» Михаил Ишков сказал:

– Книга – пятнадцатое переиздание, и там копейки, а вот перед этим у него вышло собрание сочинений, там он хапнул будь здоров! Но об этом умолчал.

Невероятный болтун и хвастун Юрий Вигор без всякого стеснения все свои романы и рассказы (а также фельетоны, статьи и прочие писания) называет гениальными. Раз в год он звонит мне и часа полтора, без передыха, пересказывает содержание своих творений, при этом ударяется в разные ответвления – вкрапляет личные биографические подвиги, поездки в Англию и Данию, встречи со знаменитостями, КГБэшниками и девицами всех мастей, упоминает и про свою дачу на берегу озера, про машину «Волгу», про то, как руководил автосервисом, теннисным клубом, охотхозяйством, куда возил крупных начальников убивать кабанов и лосей, про торговые точки на Арбате и Черёмушкинском рынке, которые ему принадлежат и где нанятые им «соловьи» (продавцы с подвешенным языком) продают его опусы, а по вечерам сдают ему выручку... Остановить этот хвалебный поток невозможно – ссылаешься на дела, головную боль, а он:

– Нет, ты подожди, не клади трубку, дослушай! – и молотит дальше. Такой пустозвонный гений.

Мой редактор (в «Сов. писателе») и друг, прозаик Александр Трофимов всегда сверхтребователен к современным литераторам, от него никто не ждёт пощады. Знаток зарубежной классики, он ко всем подходит с большим мерилом, на всё смотрит с заоблачной высоты. Тучный, с лохматой шевелюрой-гривой и огромной седой бородой, страшный интеллектuala Трофимов внешне являет собой образ русских мыслителей девятнадцатого века. Далёкий от всякой житейской суеты, непробиваемый скептик, он любой разговор заканчивает с полной безнадёгой в голосе:

– Всё это суетно. Всё это тленно.

За этими словами, естественно, стоит: у меня-то глубинные движения души, у меня-то нетленные произведения, моя весомость в литературе сродни весомости классиков, меня ждёт грандиозная слава.

Не раз мы с Трофимовым крепко выпивали (после чего нас, как правило, заносило в какие-то случайные компании), но однажды встретились у ЦДЛ и на моё предложение освежиться, махнуть по сто грамм, мой друг категорично замотал головой:

– Лень, ты что?! Мне уже сорок, а у меня ещё нет романа. Надо спешить работать. Ты же знаешь, все гении рано умирали.

Роман об Андерсене он всё же написал – «единственный в мире», как объявил мне. (Сведущие люди говорят – читать невозможно.) Недавно я открыл какой-то журнал, где были короткие сказки Трофимова. Полстраницы занимало перечисление премий, должностей и званий моего друга – штук двадцать, не меньше!

– Обо мне в энциклопедии написано больше, чем о Троепольском, – позднее сказал Трофимов. – О нём две строки, а обо мне в десять раз больше.

Вот так вот! Думаю, мой друг уже занес ногу, чтобы встать на пьедестал.

Однажды прозаик А. Трапезников сказал мне:

– Ночью звонил Трофимов, просил приехать, сказал, что по ночам Бог посылает ему псалмы, а он не успевает их записывать.

Фантаст Владимир Григорьев открыто называл себя гением, при этом всегда добавлял:

– Гениальный человек должен быть богатым.

Ещё в конце пятидесятых годов, с целью разбогатеть, Григорьев приобрёл кинопроектор и два фильма: «Сестра его дворецкого»

и «Джордж из Джинкинджаза», которые крутил у себя дома друзьям и знакомым... за деньги.

Бывший официант, курящий, пьющий балагур, знаток и исполнитель итальянских опер (в домашней обстановке), искромётный юморист Виталий Резников постоянно мне сообщал, что «написал гениальную пародию» или «выдал гениальную эпиграмму», но говорил это в дурашливой манере, ради шутки, а на мои поздравления нарочито вскидывал голову и возвещал нараспев, словно серенаду:

– Ты что?! Мне это ничего не стоит, вылетает само! У меня же золотое перо!

Такого рода «гениальность» можно принять без всяких оговорок – ну, то есть тех, у кого хватает ума подшучивать над своей славой. Невольно вспоминается Сенека: «Когда мне хочется посмеяться, мне не нужен шут, я смеюсь над собой». К слову, Резников всегда подходил ко мне, крепко жал руку, с душевной прямоотой импровизировал на тему «ЦДЛ – выпивка – женщины», но однажды прошёл мимо, не заметив. Я его окликнул:

– Ты стал знаменитым и уже не подходишь к старым друзьям?

– А я теперь с простыми людьми не здороваюсь. Я теперь общаюсь только с равными себе, с гениальными! – он засмеялся и обнял меня.

Что и говорить, гениев в Доме литераторов всегда было в избытке (когда-нибудь кто-нибудь основательно возьмётся за эту радостную тему), но пять лет назад, когда некоторые из героев этого очерка уже отправились в лучший мир, другие постарели, угомонились и стали называть себя просто «talантами», а то и вовсе «способными», когда из гениев в клубе осталось всего ничего, не больше десятка, я подумал – ещё немного, и уйдёт всё наше поколение, и можно будет уверенно сказать: «Прощайте, последние исполины!» Но не тут-то было – внезапно я заметил, что следом накатывает новый вал немислимых талантищ. Как раз в то время у меня появились новые приятели – молодые поэты Иван Голубничий и Максим Замшев, два неразлучных друга, даровитых раскрасавца. Злостные курильщики и отчаянные выпивохи, они только вошли в литературу, но уже наделали немало шума. Как-то, поддавая с ними, я осмотрел Нижний буфет и сказал:

– Раньше здесь восседало много гениев, а сейчас вон только Рейн и Шавкута, да иногда заходят Зульфикаров, Пьецух...

– Какие гении?! О чём ты говоришь?! – встревожился Голубничий.

– Гениев здесь всего двое, – прояснил Замшев. – Иван и я!

Как-то в ЦДЛ зашёл поэт Владимир Друк и чуть не плача объявил мне:

– Закончил цикл таких стихов! Гениальных! Вся Москва зарыдает!

От некоторых приятелей-литераторов я никогда не слышал подобных захватывающих выступлений – ну, что они гении, громадные таланты и прочее, но их деятельность убедительней слов.

Мой давнишний товарищ, старшина колонии молодых поэтов Лев Щеглов демонстрировал магическое спокойствие, а для солидности ходил с палкой и носил бороду лопатой и внешне напоминал библейских персонажей. Он постоянно подчёркивал, что старше меня «на целых четыре года», и предъявлял медаль, которую получил мальчишкой за тушение бомб-зажигалок (я только собирал их осколки). Вечно безденежный, Щеглов, когда за его стол подсаживались случайные посетители кафе, объявлял:

– Я поэт Лев Щеглов. И по знаку лев. Можно сказать, король поэтов, – и, кивая на бутылку сотрапезников, добавлял: – Обычно мне наливают те, кто сидит за моим столом (он всегда занимал один и тот же угол – вероятно, тянул на памятный знак).

Разумеется, случайные гости поспешно наливали поэту, а после того как он читал стихи, брали вторую бутылку и были счастливы, что вот так, запросто, выпивают с выдающимся человеком.

Другой поэт Лев Котюков недавно заявил:

– Перечитал Блока, его всего надо править!

Если же кто найдёт в стихах Котюкова погрешность, непременно услышит:

– Ты ещё не дорос, чтобы понимать мои стихи! Цени, что живёшь в одно время со мной!

Пишущий о цыганах нагловатый Ефим Друц беспрерывно расхваливает свои книги; просто так с приятелями не встречается – только по делу, «и телефон свой никому не даю – вот ещё! – будут отрывать от работы, и вообще...». Такой интересный аргумент одержимого таланта.

Поэт Александр Юдахин выпускает книги своих стихов, напечатанные фотографиями: он в компании знаменитостей – обнимает Тарковского, Самойлова, Вознесенского, Искандера...

Мой друг и единомышленник критик Игорь Штокман выпустил книгу о Л. Бородине, где на обложке красуется собственной персоной (он прислушивается к мнению друзей, но я не успел отговорить его от этой затеи).

Так же своим портретом открывает книгу о Достоевском Игорь Волгин, бравоый молодчик с кукольным лицом.

Другой мой друг, серьёзнейший до мрачности прозаик Борис Воробьёв, который, как Марк Твен и Хэмингуэй, держал в доме десяток кошек, составил живописный трёхтомник о животных и разбавил классиков своими произведениями, причём у Киплинга, Кервуда, Лондона, С.-Томпсона отобрал по одной повести, а своих впихнул две.

Ещё один мой друг, Михаил Ишков, написал исторический роман «Марк Аврелий», к которому поставил три эпитафии: высказывания Цицерона, Марка Аврелия и автора(!).

Особенно надо отметить улыбочиво-нежного поэта Виктора Лунина – ему предоставилась возможность составить пять томов выдающихся детских поэтов. И он составил и издал: первый том – Маршак, второй – Чуковский, третий – Михалков, четвёртый – Барто, пятый – Лунин(!).

Вот так скромно, никем себя не объявляя, эти деятели поставили себя на одну доску со всемирно известными людьми. Всё это напоминает замечательное изречение (кажется, Верди):

– В двадцать лет я говорил: «Я и Моцарт», в сорок – «Моцарт и я», а теперь, в шестьдесят, только – «Моцарт».

Насчёт скромности этих балбесов я всё же загнул. Скромно держится только Лунин. Из Друца так и прёт самовлюблённость, он без зазрения совести расшаркивается перед издателями и секретарями писательского Союза – им, разумеется, суёт визитки с телефоном.

Юдахин настырно пробивает свои книги и не упускает случая выступить перед публикой; как сказал поэт Яков Аким, «лезет везде, где его ждут и не ждут». Юдахин и ещё один поэт (точнее рифмоплёт, пишущий холодные стихи, какие-то нарезки из не связанных между собой строк) В. Ковда, издали по двадцать(!) поэтических сборников; стряпают стихи по любому поводу, как блины. Об этих фонтанирующих мастерах все поэты отзываются крайне отрицательно; некоторые считают, что «их книги сразу после выхода следует отправлять в макулатуру».

Штокман недавно во всеуслышание со значением объявил:

– Я из немецких баронов! – и тем самым поверг в уныние своих друзей с обычной, не голубой кровью.

Ну а Воробьёв вообще не знает, что такое скромность, с чем её едят. Когда он подарил мне трёхтомник о животных и ткнул пальцем в свои повести, я возмутился:

– Ты что, спятил?

– А ты же не читал мою «Весьегонскую волчицу»! – заорал мой воинственный дружище.

– Начинал, не врубился.

– Вот, не врубился! А я за неё премию в журнале получил.

И невдомёк ему, что премии в нашем отечестве не показатель качества произведения. У Ахматовой, Булгакова, Заболоцкого не было никаких премий, а Льву Толстому и Набокову не дали Нобелевскую премию.

Но в плане самооценки всех моих друзей превзошёл самый стариннейший – Тимур Зульфикаров, поэт, сценарист, весельчак, умник и красавец.

– У меня полно гениальных вещей, – говорил он. – Я пишу глобальные, эпохальные, запредельные вещи. У меня двести стихотворений лежат отдельно – на Нобелевскую премию. Это ритуальные вещи. А мой фильм «Человек идёт за птицами» – в швейцарских подземельях на случай атомной войны. Среди ста шедевров, рядом с Чаплином и Феллини.

С Зульфикаровым мы познакомились, когда я ещё только появился в Москве. Уже тогда у него была сотня огненных стихов, сделанных с изощрённой виртуозностью, и уже тогда меня прямо-таки сразил блеск его бурлящего ума. Я помню его слова:

– Все наши литературные генералы – нули. Есть два поэта: Данте и я! Это так, Лёнчик, как ни произноси – громко или шёпотом.

Что странно, те же слова мой закадычный друг произнёс спустя тридцать лет – такая стойкая убеждённость многого стоит (и это несмотря на отрицательный отзыв о его творчестве Ф. Искандера). Спустя ещё десятилетие (в шестьдесят пять лет) на своём творческом вечере в Малом зале он вполне серьёзно заявил:

– В российской поэзии останутся только Пушкин и я!

А через несколько дней на вечере в доме-музее Л. Толстого не упомянул и Пушкина:

– В мировой литературе есть Гомер, Данте, Гоголь – «Мёртвые души», Толстой – «Война и мир» – и я!

Вот так. Понятно, мой друг давно чокнулся на своей гениальности, но что обнадёживает – он в свою компанию с Данте взял ещё троих; возможно, в будущем возьмёт ещё кого-нибудь – ну, хотя бы Шекспира.

Когда у Зульфикарова вышла первая книга, он послал её известным литераторам, выбрав сто(!) фамилий (и как столько набрал?).

– И представляешь, Лёнчик, ни один не ответил, – с горечью сообщил мне. – Ни один! А меня приглашает к себе Антониони, предлагает вместе делать фильм.

Лет двадцать назад в Москву приехал знаменитый колумбиец Габриэль Гарсия Маркес; кроме литературных генералов его принимал Евтушенко и, чтобы компания выглядела поколоритней, пригласил на встречу Зульфикарова. В застолье Маркес рассказал, что долго не соглашался на экранизацию «Сто лет одиночества», поскольку давали небольшой гонорар. Зульфикаров не выдержал:

– Мою повесть тоже хотят снимать и тоже дают крохи. Я тоже отказываюсь...

В начале перестройки, когда большинство честных литераторов село на мель, Зульфикаров отправил письма Ч. Айтматову, Р. Ибрагимбекову, послу Ирана – с просьбой выслать по тысяче долларов... Кто-то прислал – пару тысяч рублей.

Сейчас мой стариннейший друг с завидной практичностью находит спонсоров для издания своих книг и собирает подписи литераторов, чтобы его выдвинули на Нобелевскую премию – он не сомневается, что рано или поздно её получит. (Меня по-прежнему называет «Лёнчик» и добавляет: «Юность моя!»)

Поэт Эдуард Балашов советует Зульфикарову заранее написать письмо в Нобелевский комитет и отказаться от премии. Кстати, у Балашова неплохое чувство юмора, но иногда оно из него улетучивается. Дело в том, что он серьёзно увлекается буддизмом (даже встречался с Далай-ламой), но не отошёл и от христианства – то есть в нём постоянно борются Христос с Буддой и в зависимости от того, кто побеждает, он выдаёт бессмертные парадоксальные изречения:

– Нет прошлого и будущего, есть настоящее. (Хотя ясно: настоящее – продолжение прошлого.)

– Нет в мире зла, есть нереализованное добро. (Зло есть, и немалое.)

– После смерти наша душа попадает на Солнце. (Вероятно, чтобы поджариться.)

– Атланты были ростом восемнадцать метров. (Где же их скелеты?)

– В 49 году дьявол покинул нашу страну. Сейчас он на Сатурне. Так что Россию ждёт процветание. (Вот такая радость!)

Как-то мы сидели в Нижнем буфете – Зульфикаров, Балашов и я. В очереди искромётных сентенций Балашов высказал нечто захватывающее:

– Если в птицу попадёт стрела, она кричит не от боли, а от радости (имелось в виду – переносится в лучший мир).

– Гениально! – взорвался Зульфикаров. – Не возражаешь, если это я вставлю в свою поэму?

– Пожалуйста! – засмеялся Балашов, давая понять, что подобных гениальных мыслей в его голове пруд пруди.

Будучи безбожником и материалистом, я попытался заземлить своих друзей:

– А если в ваши задницы вклеить по стреле... или по пуле, вы тоже заорёте от радости?

Поэты посмотрели на меня как на тупицу, начисто лишённого воображения.

Однажды, ещё в юности, Зульфикаров поехал в Переделкино к Пастернаку: хотел показать мастеру свои высококачественные стихи. Помню, я страшно огорчился, что не могу составить ему компанию (спешил на работу), – в то время я был одним из немногих почитателей невероятного таланта моего друга и каждую встречу с ним рассматривал почти как встречу с Богом. Нельзя сказать, что произведения Зульфикарова (сложнейшей формы – вязкие стихи в прозе) изменили меня, тем более всю мою жизнь, но они вселили определённый настрой: мне захотелось сделать что-нибудь подобное в области живописи, и в этом мой друг всячески меня подогревал – как бы делился своей гениальностью.

А вот времяпрепровождению Зульфикарова (содержательному, полному чудес) я завидовал по-настоящему, пока не понял, что у него просто редчайший дар – умение расцвечивать обыденность, делать чудеса из пустяков. Но это я понял спустя несколько лет, а в те годы во

всём пытался подражать моему другу, брал на вооружение его манеру общения с людьми (с поправкой на свои условия и возможности), только у меня мало что получалось, моя унылая жизнь выглядела жалкой тенью его насыщенной жизни. Помню мой друг говорил:

– Лёнчик, чтобы пробиться в Москве, нам с тобой надо жениться на москвичках из приличных семей.

Это он позднее и осуществил. Но я-то мечтал о «тургеневской» женщине.

Лет в пятьдесят Зульфикаров, узнав, что я так и не встретил «тургеневскую» женщину, провозгласил:

– Все наши с тобой, Лёнчик, «тургеневские женщины давно стали проститутками.

Ну, а из Переделкино Зульфикаров вернулся с ликующим видом – классик благословил его на новые подвиги.

– Вот что значит великий человек, – заявил мой друг. – Он сразу оценил мои вещи! Ведь я пишу не какие-то там ледяные стихи, не конъюнктурные однодневки, а глобальные, эпохальные...

Спустя несколько лет я всё же побывал в Переделкино: выступил в роли телохранителя другого дружка – Юрия Дудина (он решил показать свои стихи ещё одному знаменитому поэту). Мы приехали в посёлок и застали мэтра гуляющим по аллее парка; он шёл неторопливо, хромая, опираясь на палку; его лицо было прямо-таки отмечено печатью талантливости и, если сказать покорасивей, освещалось спокойным, ровным пламенем – благородством. Узнав, что мы к нему, он улыбнулся:

– Очень хорошо, молодые люди, пойдёмте на веранду... Вчера у нас здесь был ливень, а сегодня с утра, видите, солнце палит. На веранде попрохладней.

– Я хотел показать вам стихи, – сообщил Дудин. – Посмотрите потом, когда будет время?

– Зачем потом?! – удивился поэт. – Сейчас и почитаю.

С первой минуты меня поразила простота и доступность поэта. На веранде он попросил нас рассказать о себе и, пока мы несли что-то бессвязное, внимательно слушал, наклонив голову, изредка понимающе кивал. Затем взял у Дудина стихи, сосредоточенно прочитал, похвалил, а в одном месте нашёл корявость и с мягкой деликатностью спросил:

– Может быть, здесь лучше вот так? – он мгновенно, каким-то волшебством, расцветил неудачные строки. – Не согласны? – серьёзно спросил и добавил: – Возражайте, возражайте. Вы же автор, а последнее слово всегда за автором. И как поэт вы должны отстаивать свои убеждения и взгляды.

Вспоминая эти слова, я думаю, что щедрость таланта не в том, чтобы рассыпать комплименты, а в том, чтобы, увидев огрехи, показать, как можно сделать лучше; ну и, конечно, в подарках – образов, сюжетов, неожиданных, но точных слов.

Потом наш знаменитый собеседник рассказывал о поэзии Востока, рассказывал вдохновенно, при этом поводил рукой, как бы дорисовывал образы в воздухе. Он прочитал два своих перевода, и даже я, несведущий, отметил, как он экономно и аккуратно использовал слова (от этого каждое звучало особенно сильно), но, говоря о переводах, поэт пожаловался, как они тяжело ему даются. Помню, именно в тот момент, ошалеv от впечатлений, я понял, что такое настоящая литература, что именно на классике надо оттачивать свой вкус.

Через некоторое время, прощаясь, поэт сказал:

– Поиск истины всегда труден. Здесь надо немалое мужество, – и улыбаясь, пожимая нам руки: – Берегите дружбу, это большая ценность.

Я чуть было напыщенно не брякнул: «Слово «дружба» для нас святое», но во время прикусил язык.

Вот так просто и замечательно в тот солнечный день мы целый час провели в обществе действительно значительного человека. Его звали Арсений Александрович Тарковский.

Теперь-то мне ясно: по большому счету писатель тот, кто создал свой мир, остальные – просто литераторы. А гений тот, кто сделал открытие и выразил его так, как до него не выражал никто.

Кстати, многие наши истинные гении никогда не называли себя таковыми. Я где-то вычитал, что Чехов не очень высоко себя ценил как писателя, даже называл свои рассказы «дребеденью». Достоевский говорил: «Я пишу хуже, чем Толстой, но, конечно, не так уж плохо». Толстой, в свою очередь, говорил: «Чехов пишет лучше меня», а позднее: «Моя автобиография ценнее, чем все двенадцать томов болтовни, которую я написал». Набоков вообще считал

себя прежде всего энтомологом, а уж потом писателем. Гоголь, увидев на полке среди классиков свою книгу, расшумелся и велел немедленно её убрать. Ну и как не вспомнить Пушкина, который писал издателю: «Сделал одну вещицу. Надо бы над ней ещё поработать, да деньги нужны». А эта «вещица» – «Борис Годунов»!



Куряев А.



Перегрив А.



Авсарагов Б.



Жданов И.



Рогов В.

**КАК Я ВСТУПИЛ
В ДЕСЯТИТЫСЯЧНУЮ АРМИЮ
ПИСАТЕЛЕЙ, С КЕМ ВОЕВАЛ,
КАКИЕ ИМЕЮ РАНЕНИЯ
И НАГРАДЫ**



Шашин В.



Климонтович Н.



Тыщук В.



Зульфикаров Т.



Чертков В.



Дагуров В.



Устинов В.

В конце 50-х годов я работал художником в Институте океанографии, где «освежал» стенды с морскими животными, делал рисунки в энциклопедии и этикетки к рыбным консервам. Затем работал декоратором в театре Вахтангова, расписывал огромные «задники» – ходил по облакам, ландшафтам с замками. Главный художник театра С. Ахвледиани, рассматривая мою работу, выдал похвалу:

– Ой, как всё хорошо! Ой, как всё замечательно! Но в правом углу надо всё потеплее. А в левом углу цвет надо понасыщенней... Ой, ну как всё хорошо! Но внизу надо ярче, мощными мазками...

Короче, приходилось всё переделывать. Тем не менее позднее С. Ахвледиани порекомендовал меня заведовать декоративной мастерской в театре Маяковского. Его рекомендация имела немалую силу: протягивая мне договор директор театра сказал:

– Сумму зарплаты поставьте сами, какая вас устроит.

Я поскромничал, и он увеличил цифру в два раза.

Это была самая высокая должность, которую я когда-либо занимал (под моим командованием было двое художников, молодых людей.) Главное, у меня появилось свободное время и я стал иллюстрировать детские книги.

С великими, затмившими солнце классиками детской литературы мне жутко не повезло; предположительно, в те дни они встали не с той ноги.

В начале шестидесятых годов открылся журнал «Детская литература»; мой закадычный друг Валерий Дмитриук стал его главным художником. Я торчал в редакции часами, благо она находилась в двух шагах от мастерской-подвала Дмитриука, где мы с ним корпели над детскими книжками. Однажды в редакции появился кумир нашего детства Николай Носов; журнал давал материал о нём, и писатель пришёл выбрать свою фотографию (накануне его щёлкал фотограф журнала). Сумрачно поздоровавшись, классик, словно привередливая кинозвезда, перебрал десяток снимков и все забраковал.

На следующий день ему прислали другого фотографа, но и новый фотомастер потерпел неудачу. Носов отверг трёх фотографов, измучил всю редакцию и в конце концов принёс снимок из домашнего альбома. Понятно, личность имеет право на капризы, хотя, по моим наблюдениям, это больше свойственно посредственностям.

Спустя неделю после случая с фотографией Носов вновь появился в редакции, появился в обеденный перерыв, когда сотрудники подкреплялись в соседнем кафе, а я, развалившись, покуривал за столом Дмитриюка, представляя себя в роли главного редактора. Мои смелые мечты прервал вошедший Носов. Поздоровавшись и спросив, где все, он устало опустил на стул, зашмыгал носом и тускло осмотрел комнату; на его лице появилась гримаса боли.

– Николай Николаевич, вы плохо себя чувствуете? – отважился я открыть рот, глядя на классика со священным страхом.

– Давно плохо, – он вздохнул и провёл ладонью по лицу. – Сейчас истинно русскому писателю тяжело. Сейчас расплясались разные Алексины, Яковлевы... Меня не печатают, замалчивают... – он хотел ещё что-то сказать, но гурьбой ввалились сотрудники во главе с громогласным бородачом Игорем Нагаевым.

Больше я не видел классика, но его обрывочные фразы врезались в память.

Прежде чем говорить о встречах с другими литературными богами, надо пояснить, как я стал литератором, как в моей, в общем-то ровной, жизни все пошло кувырком.

Впервые я взялся за сочинительство в далёком детстве – написал какой-то стишок про дождь (что-то про мокрых воробьёв на оконном карнизе). По пути на рыбалку прочитал стишок приятелю и спросил:

– Кто написал, знаешь?

– Знаю, – хмыкнул он. – Пушкин.

Я понял, что в поэзии достиг вершины, и больше, к счастью, стихов никогда не писал. И вот, работая с Дмитриюком в подвале, я время от времени стал пописывать детские рассказы – просто так, ради затеи, чтобы посмешить друга. Правда, смеялся он редко; приверженец сурового стиля общения, он на мой вопрос «Ну как?» – надувал губы:

– Ерунда!

Только однажды буркнул:

– Ничего, сносно.

Это у него была высшая похвала. Он славился откровением и в нашем тандеме имел главенствующую роль, потому я верил ему безоговорочно и никому, кроме него, свои писания не показывал и не спешил тащить их в журналы («Куда торопиться? – думал. – Накатаю

побольше, тогда и отнесу»). Бывало, делился с Дмитриюком тем, что ещё не записал, по ходу дела придумывая всякие новые штучки.

– Запиши, там посмотрим, – тянул мой требовательный напарник, – но вообще-то мелкогато... для серьёзного разговора.

Нет, чтобы поддержать друга – он, гад такой, прямо сокращал моё жизненное пространство. Случалось, я и сам выбалтывался и терял интерес к теме. Ну, в общем, все эти мои трепыхания имели разогревочный характер. Я догадывался, что серьёзная литература – это своего рода марафон и прежде всего самоограничение и одиночество, а я никогда не любил бег на длинные дистанции (короткие-то бегал с лентой), и ограничивать себя ни в чём не собирался, и одиночество переносил тяжело.

Однажды я иллюстрировал книжку Бориса Ряховского «Робинзо-нада» в «Молодой гвардии». Сделал отвратительно, из рук вон плохо (моё жуткое позорище, за него и теперь краснею), но вдруг литературный редактор книжки, интеллигентная старушенция Л. Хотиловская, выдаёт мне некоторое утешение:

– Вы как-то верно ощущаете текст. Уж не пишете ли сами?

От растерянности я нахально брякнул:

– Ага!

– Так принесите, что за ненужная скромность?

Я принёс ей пять-шесть своих писаний и отправился с друзьями в байдарочный поход. Месяца через два заявился.

– Куда же вы исчезли? – почти вскричала Хотиловская. – Мне рассказы понравились, в них живая реальность, а не всякие умствования. Я отдала их в «Мурзилку» Анатолию Васильевичу Митяеву. Он чудесный человек, фронтовик, сам пишет сказки. Немедленно идите к нему.

Я и не подозревал, что мои очерки могут произвести такое впечатление, но понял: Хотиловская всерьёз решила сделать из меня писателя. Моё сердце учащённо забилося; немного сдрейфил, но быстро себя успокоил – вдруг одновременно в моей душе что-то произошло, я почувствовал что-то вроде готовности к подвигу и подумал: «А почему бы и нет?» Приосанился и резво спустился на этаж ниже – в известный журнал.

Митяев встретил меня по-дружески и сразу огорошил – сказал, что один рассказ уже набирают, другой пойдёт осенью. Я пришёл в страшное волнение, у меня прямо перехватило дыхание, а Митяев,

как ни в чём не бывало, стрельнул у меня сигарету, кивнул на соседнюю комнату и заговорщически объяснил, что сотрудницы запрещают ему курить: берегут его здоровье.

Мы проговорили часа два и, несмотря на разделявшую нас пропасть (в смысле возраста и жизненного опыта), нашли массу общего: и во взглядах на литературу (особенно на русскую словесность), хотя я имел скопленную подготовку, и в привязанности к животным. Тот разговор стал моей отправной точкой; можно сказать, именно тогда Митяев определил мой дальнейший путь, зарядил на литературную работу.

– Митяев тебя сильно нахваливает, – сообщил мне художник Виктор Чижиков. – Говорит, в нашу литературу пришёл искренний прозаик, что мы о тебе ещё услышим, и прочее!

Митяев всех делил на «искренних» и тех, кто «старается быть модным». Последних печатал со скрипом. Самого вождя «Мурзилки» художники называли «искренним до сердечности», «человеком исключительной честности».

Так, дуриком, началась моя литературная стезя, такую я совершил загогулину в жизни и в те дни был рад без памяти – ходил по улицам вприпрыжку, еле сдерживаясь, чтобы не петь во всю глотку. Теперь-то я знаю, что к счастливым моментам надо относиться тихо – чтобы не вспугнуть, но тогда каждому встречному взахлёб пересказывал встречу с Митяевым (зачем радость, если ею не с кем поделиться?).

Понятно, найти себя мне помог пустячный случай и два человека, которые внимательно отнеслись к тому, что я делал, вернее – разглядели что-то в моих первых (ясно, никудашных) опытах. Получается, надо совсем немного, чтобы быть счастливым, но попробуй это немного получи. На меня просто свалилась удача. Тогда я ещё не знал, что, втянувшись в новое дело, сильно осложнил свою жизнь.

В начале следующего года Митяев напечатал три моих рассказа и однажды сказал:

– Наша редакция решила дать тебе командировку в Артек. Нам нужен очерк о пионерах.

Я отказался. Во-первых, потому что, по слухам, Артек представлял собой показушный лагерь, на что у меня всегда была аллергия. Во-вторых, уже тогда я вооружился принципом: ничего не писать по заданию, только – к чему лежит душа.

Выслушав мои доводы, Митяев усмехнулся:

– Хорошо! Напиши о море, о горах, о чём угодно, к чему лежит твоя душа. Можешь вообще ничего не писать. Дай душе отдохнуть. Скажу тебе по секрету: в редакции есть лишние деньги, и командировка – награда тебе за рассказы. К тому же, ты будешь жить не в Артеке, а в Гурзуфе. Сейчас там Голявкин, известный писатель из Ленинграда, знаменитый художник Глазунов и нашумевший скульптор Неизвестный.

Из-за этой прославленной троицы я и поехал.

До Гурзуфа добрался поздно вечером, по тропе спустился с шоссе к гостинице и увидел в вестибюле десятка два приезжих с детьми.

– Мест нет! Мест нет! – кричала администраторша.

Я протиснулся к её окошку, сказал, что из Москвы и мне забронирован номер.

– Ничего не знаю! Никто не звонил! – отчеканила администраторша. – Мест нет! Женщин с детьми не могу устроить, а то вас! Скажите спасибо, что разрешаем ночевать на диванах.

Я вышел покурить. Передо мной простирался ночной Гурзуф: цепочки огней, сверкающая под луной бухта, силуэты людей среди листвы. Воздух был горячий и сладкий, как компот. Докурив сигарету, я подумал: «может быть, из Москвы послали телеграмму?» и снова подошёл к окошку.

– Никакой телеграммы нет, и свободных мест нет, – устало говорила администраторша. – Один номер есть, но ждём писателя. Он вот-вот прибудет. Вам можем поставить раскладушку в коридоре, но за плату.

Горничная, застилая раскладушку, пожаловалась:

– Сейчас самый сезон, огромный наплыв отдыхающих.

– А чайку, мамаша, нельзя? – спросил я.

– Какого чайку! Скажи спасибо, что раскладушку-то выделили.

Я уже почти уснул, как меня разбудила администраторша:

– Давайте паспорт, надо вас записать.

Через десять минут она вернулась:

– Так что же вы сразу не назвали? Это ж мы вас ждём! Вот ключи от номера, пожалуйста, проходите, отдыхайте в своё удовольствие, – и бросила горничной: – Принеси писателю чай с вареньем!

Так я стал писателем.

За три дня, проведённых в Гурзуфе, я ничего не написал, думал: «главное набраться впечатлений, в смысле – было б что-то в голове, а записать недолго». Зато за эти дни я выпил дюжину бутылок вина с Голявкиным, слушал рассуждения Неизвестного об искусстве и о жизни вообще да болтал с Глазуновым, одновременно любуясь загорелыми девушками, которых он рисовал. В общем, неплохо провёл время.

Года через два, когда «Мурзилка» уже напечатала штук восемь моих рассказов, Хотилковская сказала мне:

– Я попросила Льва Абрамовича Кассиля дать заключение на ваши рассказы. Для формальности. Чтобы вставить книжку в план (вначале с перепуга я подумал, что она шутит, ведь о такой безумной идее и не мечтал – это было головокружительное сообщение, у меня прямо затряслись ноги). Немедленно поезжайте к мэтру. Он добрый, милый человек.

Испытывая праздничный ужас, я помчал сломя голову к классику. Открыв дверь, Кассиль одарил меня сдержанной улыбкой, провёл в кабинет, показал на стул (он обитал в роскошной квартире, обставленной антиквариатом, – не зря женился на дочери Собинова).

Как и подобает классику, мэтр с важным видом уселся в кресло, откинулся и, демонстративно подчёркивая своё величие, начал листать мои вещицы. Я прямо вжался в стул и застыл, ожидая приговора. Мэтр кое-где размашисто, словно совершая какое-то священнодействие, черкнул карандашом и изрёк:

– Здесь подумайте, сделайте лучше, – а отложив рукопись, выдал благословенные слова: – Общее впечатление хорошее. Завтра напишу отзыв. Позвоните.

Домой я возвращался страшно довольный собой; помнится, даже напевал победоносный марш.

Чтобы не быть навязчивым, я позвонил через несколько дней и услышал: «Написал, сейчас отправлю». Прошёл месяц, Хотилковская меня спрашивает:

– Где отзыв? Позвоните ещё. Мэтр мог забыть, но он добрый, милый человек.

Выдержав паузу с неделю, я вновь набрал номер Кассиля (уже предчувствуя некоторые осложнения с рукописью). В трубке услышал:

– Вчера написал, только что отправил...

Больше я не звонил. Ни через месяц, ни через год отзыв не пришёл. А потом моя благотельница уволилась, и книжка в план не попала. Вот так мне дьявольски не повезло, и, разумеется, я пригорюнился – да что там! Так расстроился, что сразу похудел на пять килограммов.

Признаюсь, спустя десять лет я подумал: хорошо, что Кассиль меня обманул, ведь теперь его отзыв посчитал бы постыдным фактом. Ну какой он классик? Всего лишь безмерно раздутый литератор; его вещи не только не совершенные, но и попросту слабые. В своё время такие, как он, изо всех сил свидетельствовали преданность власти, и та их пригрела. (Он выпустил сотни книг по соцзаказу.) Со слов писателя А. Баркова, известно – Л. Кассиль делал всё, чтобы не издавали даже В. Драгунского: «Этот писатель не будет печататься в Детгизе, пока я жив». Такой был «добрый, милый» классик.

Дальше моя опасная, неустойчивая литературная стезя развивалась ещё прискорбней. Кто-то надоумил меня сходить в Детгиз, и я вляпался в историю – припёрся туда не вовремя: редакторы пили чай, одновременно листая рукописи. Увидев такое литературное чаепитие, я попятился; поболтался с полчаса в коридоре, потом снова заглянул. Все редакторы, как по команде, склонились над столами.

Я прямо оказался в мёртвой зоне, но, потоптавшись, всё же спросил у крайней женщины, кому можно оставить рукопись.

– А вы кто?

Я назвался. Повисла долгая тишина.

– Ну, Инна, возьмите рукопись, – наконец сказала женщина, сидящая у окна (заведующая редакцией Л. Либет, как я узнал позднее).

– Ну почему я? Как новый автор, так я!

– Ну возьмите вы... – сидящая у окна обратилась к другой редакторше.

– Я не могу. Вы же знаете, мне сдавать большую рукопись.

Так отфутболивали меня минут десять, потом сидящая у окна сжалась (видимо, у меня был нерадостный видок):

– Ну оставьте. Позвоните через месяц. У нас много работы.

Через месяц я позвонил. Либет с прохладцей сказала:

– Нет, ещё не смотрела. У нас много работы. Позвоните через две недели.

Через две недели на мой звонок сообщили, что она ушла в отпуск.

После её отпуска я услышал в трубке:

– Не знаю, куда делась ваша рукопись, всё обыскала. Но невелика беда. У вас есть второй экземпляр?

Второй экземпляр она прочитала месяца через два (двенадцать страниц!).

– Ну что можно сказать? – тяжело вздохнула, когда я появился в редакции и уже приготовился достойно встретить удар. – Издать книгу – сложное дело. Вы ведь не член Союза писателей. У нас есть редакция по работе с начинающими авторами. Идите туда. И вообще, почему мы первые должны вас печатать? (На этот дурацкий вопрос я и сейчас не смог бы ответить.)

Помолчав, Либет продолжила:

– Вначале надо печатать рассказы в журналах, а уж потом думать о книге.

– Но они уже напечатаны в «Мурзилке», – вставил я.

– Как? Не может быть! – в её голове явно начались какие-то мучительные процессы.

– Представьте себе, – хмыкнул я, уже готовый забрать рукопись и уйти из издательства навсегда (это «не может быть» у меня долго звучало в ушах).

– Ну оставьте, я ещё раз посмотрю и позвоню.

Детгиз мурыжил меня ещё полгода; было ясно: Либет поставила себе задачу – максимально затруднить моё вхождение в литературу и вообще исковеркать мою жизнь. Так и не дождавшись её звонка, я припечалился и явился в редакцию за рассказами. Вялым голосом, с полудохлым видом, Либет объяснила, что к чему:

– Понимаете, ну, может, в отдельности рассказы и ничего, но все вместе... Книжки нет, – и дальше ещё хлётче: – Всё какое-то расслоённое, несобранное, неорганизованное, непрописанное, непродуманное.

Этот набор общих, ничего не значащих слов, конечно, не убил меня наповал, но нанёс чувствительный удар и сильно заморочил голову. По молодости я, дурак, поверил этой Либет больше, чем Митяеву и Хотиловской, а хвалу художников И. Бруни, В. Перцова, Е. Монины, которые иллюстрировали мои рассказы в «Мурзилке», и вовсе перестал брать в расчёт (в то время я много наделал ошибок, но эта одна из главных). И, не скрою, приуныл – да чего там! – тяжело переживал поражение, свой позорный провал. «Куда полез? – бичевал себя. – Думал, иду по дороге, а оказалось, всего лишь топаю по тропе. Яснее

ясного – не потяну то, на что замахнулся, ещё не готов к этой работе и вряд ли вообще в литературе что-нибудь смогу». Помню точно, в те чёрные дни постоянно видел один и тот же сон: меня обвиняет и душил гигантский удав, а морда у него – точь-в-точь этой самой Либет.

А в «Детском мире» меня никак не хотела печатать редактор Б. Цыбина, несмотря на три(!) положительные рецензии. Она твёрдо смотрела мне в глаза и говорила с неприкрытым удовольствием, улыбаясь:

– Не нравится. Ничего в них не вижу.

В то время Мазнин работал в одной редакции с Цыбиной; он при мне говорил ей:

– Беана, прочитай ещё раз. Рассказы хорошие, прочитай внимательно.

Но она мотала головой:

– Нет, нет, – и, забавляясь, раскачивалась, только что не танцевала.

Я пялился на неё, надеясь услышать что-то конкретное, но она явно поставила на мне, как на литераторе, крест и, как бы читая надгробие, причмокивала: «Не нравится» – и улыбалась, давая понять, что я вообще случайно затесался в компанию детских писателей. Причину объяснила сочувствующая мне заведующая соседней редакцией Е. Карганова:

– Она вас не будет печатать. Даже не будет смотреть рукописи. Её авторы – Сапгир, Холин и им подобные... Но вы пишете лучше их и не слушайте её (под словом лучше, как я теперь понимаю, она имела в виду «реалистичней, более понятно детям»). Эта последняя фраза немного приободрила меня, но я решил, что Карганова произнесла её, просто чтобы я не опускал руки (но я опустил, и опять мне снился удав – уже с мордой Цыбиной).

Мой друг Геннадий Цыферов был ещё откровенней Каргановой:

– Зачем Беане (Цыбиной) тебя печатать? Ты ж не её национальности, хе-хе. Она издаёт только своих и вообще давно одной ногой в Израиле. А меня печатает, потому что я соавтор Сапгира... Так что это не просто вкусовщина, нравится – не нравится.

Трудно было поверить в такую избирательность, но дальнейшее, как это ни печально, подтверждало слова Каргановой и внушительную речь Цыферова.

Заведующая подростковой редакцией «Молодой гвардии» А. Алексеева, довольно оплывшая особа – да попросту корова в очках, при

упоминании моей фамилии брезгливо морщилась и мотала головой (и это при том, что ничего обо мне не знала и ничего моего не читала – видимо, ей просто не нравилась моя физиономия). Этой поганке было мало двух положительных рецензий на мою рукопись, она отправила её на третью. И куда? В Ригу! Невиданный случай! Отправила «своему» автору на «заказную» отрицательную рецензию (как я узнал позднее – некоему Зеркальцеву, секретарю комсомола и по совместительству писателю). Узнав об этом, искушённый Цыферов рассмеялся.

– Чего ты туда поплёлся?! Тебе там ничего не светит. Адэль (Алексеева) – задрыга, скрытая сионистка. Я к ним вообще не хожу... Сейчас её Яков Аким пропихивает в Союз писателей. Писательница, хе-хе! Весёлый сюжетик... – воодушевлённый этим фактом и моей бестолковостью, Цыферов повысил голос: – Все детские редакции оккупировали евреи. Их Маршак собирал со всей страны. Меня в Детгизе на дух не принимают, ни одной книжки не издали... Там всем заправляют Арон, Доукша, Самуил Миримский, Либет и их главный – Борис Камир. Стас Романовский знаешь, что сказал этому Исааковичу? «Вы Моше Даян в России, душите русскую литературу». Они печатают всяких Эппелей, Эдельманов... Либет даже навязывает Дехтерёву (главному художнику) своих художников евреев... Кабакова, Пивоварова – ну этих, у кого консервные банки на холстах...

А. Барков выразился ещё доходчивей:

– Возьми сто книг Карла Арона – ни одной русской фамилии не найдешь. Он снимал у меня целые куски из повести, говорил: «Здесь пахнет Белой гвардией. А здесь антисемитизмом». В конце концов рукопись завернул. Семён Сорин недавно сказал мне: «Саша, если бы ты поменял национальность, я отвёл бы тебя в «Юность», там у меня все свои».

Кстати, вторую мою рукопись («Все мы не ангелы») Алексеева мариновала около года; потом отдала критику О. Грудцовой, которая, по словам Цыферова, была «ещё более яркой сионисткой, чем Алексеева». Грудцова написала: «Где автор видел такую советскую молодёжь? Посмотрите, что автор пишет о себе!» (Повесть – от лица героя, и она, очевидно, не знала, что герой и автор – разные люди. Такая критикесса!) Прочитав эту дурь, я перестал воспринимать критиков как всезнающих оракулов, ну а Алексеева, понятно, мне снилась в образе очкастой коровы.

Раз уж заговорил о таком явлении, как национальная принадлежность, упомяну и редактора О. Ляуэр из «Советского писателя», далеко не оплывшую, даже симпатичную особу. Я принёс в издательство рукопись, когда уже был членом Союза писателей и имел не только дюжину детских книжек, но и пару взрослых. После положительной рецензии писателя В. Цыбина и попросту хвалебной критика В. Сурганова рукопись вставили в план и мне в редакторы назначили эту самую Ляуэр. И вдруг она выдаёт разгромное заключение, при этом поступает довольно оригинально – рецензию писателя не упоминает вообще, а из рецензии критика выдёргивает всего одну строку: «Вот и критик В. Сурганов пишет, что автор взял далеко не новый сюжет, который использовали многие писатели».

В самом деле, Сурганов так написал, только после запятой продолжил: «...но автор раскрыл его совершенно необычно, с поразительной эмоциональностью... Перед нами – хорошая, добротная русская проза, произведение, отмеченное печатью самобытности несомненной и очевидной». И дальше куча эпитетов в превосходной степени и настоящая рекомендация издавать рукопись.

Я привёл слова критика вовсе не для того, чтобы пощекотать своё самолюбие – только чтобы показать свинство редакторши. А моя рукопись, которую она зарубила, позднее вышла благодаря другому редактору – поэту и прозаику Игорю Жданову. Этот момент Ляуэр упустила из вида (а то бы мне несдобровать!), поскольку в то время активно пробивала рукопись своего мужа-соплеменника. Я был свидетелем, как она организовывала рецензии, вставляла рукопись в уже утверждённый(!) план, выкинув из него какого-то беднягу, как выбивала договор и гонорар – будь здоров какой! Издав три толстенных книги мужа, она с ним благополучно укатила в Израиль. Понятно, уезжают те, для кого карьера и материальная сторона важнее привязанности к родине. (Раньше прикрывались – будто их зажимают, а теперь, когда они захватили и высшую власть, открыто мстят русским).

Ну да к чёрту этих редакторш. За давностью времени можно было бы и не держать на них зла, если не думать, сколько они утопили рукописей, скольким «не своим» авторам отравили жизнь. И это не мои предположения. (Для справки: за прошедшие сорок лет появился целый косяк детских писателей, среди них только двое русских. Неужели так измельчал наш народ?) К слову, Ляуэр ни в образе удава,

ни в образе коровы мне не снилась – в те дни я неутомимо волочился за женщинами и в снах представлял себя на необитаемом острове в окружении красоток.

Вернусь в детскую литературу. Получив жёсткие отказы сразу в двух издательствах, я сник, обозвал себя слабаком и неудачником и, как всегда в тяжёлые минуты, обратился к Богу: «Если ты есть, помоги!» Он не помог, и я занялся самокопанием – поставил перед собой вопрос: с чего ты взял, что можешь писать, ведь нигде этому не учился? Получалось – взглянул на себя в зеркало и решил, что могу; полез не в своё дело и поплатился. Короче, в те проклятые дни всё пошло кувырком – я разуверился в себе, сильно упал духом и на какое-то время забросил литературные упражнения. А потом история повторилась. Я иллюстрировал детскую книжку в «Сов. России», и литературный редактор Н. Степанян, оказалось, читала мои рассказы в «Мурзилке», она и сказала:

– Принесите всё, что у вас есть.

Я отобрал целую папку рассказов и очерков. Помню, так нервничал, что в троллейбусе споткнулся, папка шлёпнулась на пол, раскрылась, и от сквозняка мои листки полетели по всему салону; мне помогали их ловить, невзначай комкали и топтали входящие и выходящие пассажиры.

– Не расстраивайтесь, молодой человек, – сказала одна интеллигентная женщина. – Это хорошая примета.

В самом деле, примета сработала. Степанян отобрала из заляпанных листов большинство рассказов и отдала их на рецензию Ю. Сотнику, а после его положительного отзыва предложила мне сделать к рассказам и рисунки – предложила так просто, словно это само собой разумеется и речь идёт всего лишь об этикетках. К счастью, мне хватило мозгов отказаться. Рисовал книжку В. Перцов, и, естественно, его иллюстрации были несравнимо лучше моего текста – так, как сделал он, я никогда не смог бы сделать, об этом и говорить нечего. В чём в чём, а в рисовании я всегда прекрасно знал, на что способен, на что нет.

Понятно, первая книжка – огромное событие (можно сказать, великое свершение) для каждого из пишущей братии и, ясно, сопровождается фонтаном чувств. Помнится, ту книжку я долго перелистывал, разглядывал и так и сяк, только что не облизывал.

Ну а потом Н. Степанян, добрая душа, издала ещё две мои книжки, но главное, каким-то странным образом заставила меня поверить в свои силы – так что до гроба ей благодарен! С кричащим восклицательным знаком!

Помню необычную встречу на книжной выставке. Ко мне вдруг подходит Либет, та самая завредакцией из Детгиза.

– Читала вашу книжку (назвала какую). Вы стали хорошо писать. Заходите, приносите нам что-нибудь.

Смешно, она назвала рассказы, которые сама же зарубила три года назад. Я не изменил в рассказах ни слова, ни одной запятой.

В Детгиз я не пошел. Туда (в другую редакцию – к Т. Жаровой) спустя несколько лет меня вернул поэт и критик Владимир Приходько – он сам отнёс мои рукописи и расхвалил безмерно (его тоже благодарю от всего сердца).

А затем со скрипом, но всё же меня издала и Либет. По поводу моей рукописи от неё только и сыпались придирки: «непроеписанное, непродуманное, много главного героя...». После такой требовательности я был немало удивлён, когда книжка вышла не с моим отчеством.

– Ну ничего, – сказала Либет. – У нас недавно Тургенев вышел как Иван Семёнович.

Вот так. Ни ума, ни такта. Новое отчество «Антонович» меня совершенно не огорчило, но за Тургенева было обидно.

Кстати, и Цыбина, обосновавшись в Израиле, как-то объявилась в ЦДЛ и подошла к нашему столу (к тому времени у меня уже вышло несколько книжек и парочка продавалась в холле ЦДЛ). Я сидел с писателями, которых она знала гораздо лучше, чем меня, но почему-то обратилась именно ко мне:

– Как, Лёня, ваши дела? Как поживаете? (И с чего бы вдруг забеспокоилась? То ли была удивлена, что я ещё жив, после того, как старательно перекрывала мне кислород, то ли в ней проснулись запоздалые угрызения совести?)

Сейчас-то я послал бы её к чертям собачьим, а тогда, оторопев, пробормотал «неплохо», ведь тоже был удивлён – и не столько обращением ко мне, сколько жалким видом некогда могущественной редакторши (по слухам, на исторической родине ей не очень везло).

Теперь, когда расправился со своими обидчиками, можно вернуться и к классикам, но, пока не забыл, ещё немного вдогонку о Приходько,

который, кроме меня, впихивал в литературу ещё несколько поэтесс (меня под зад коленом, а их – поглаживая по этим самым местам). Он также вытащил на свет не одно забытое имя, что, понятно, благородное дело. Честно говоря, я думал: он просто чрезмерно восторженный человек, оказалось далеко не так. Например, он громил и Успенского, и Кушака, да и многим другим от него доставалось – он имел странно направленный вкус и, если уж ему что нравилось, отстаивал с пеной у рта; иногда это выглядело заскоком: не раз он вдавливал нам, что Холин – гений, – ну серьёзный литератор станет такое молоть? По отношению ко мне у него был явный бзик – он взял себе роль моего крёстного. Не раз мне сообщали:

– ...Недавно в одной компании тебя начали поливать, но Приходько сразу вспыхнул: «Оставьте Сергеева в покое!» Но в глаза мне крёстный говорил немало гадостей:

– Лёня, ты полный дурак. Тебе не оценить такую женщину, как Юля (или Катя). Ты ничего не понимаешь.

Или:

– Лёничка, дорогой, пошёл ты на х... со своими дружками. Все они идиоты, и ты идиот. Ты ничего не понимаешь. Пиши лучше свои рассказы и не лезь туда, в чём ничего не петришь.

На моих днях рождения, не стесняясь незнакомых ему людей и моих женщин, Приходько выдавал одно и то же поздравление:

– Сергеев – алкоголик, бабник, сумасшедший, но он хороший писатель, не оценённый по достоинству...

Я съезжился от неловкости – вроде ещё не умер, а уже зачитывают эпитафию, хотя, не скрою, его заключительные слова мне нравились.

Одно время в ЦДЛ ходил упорный слух, будто Приходько сотрудничает с КГБ и не случайно, мол, редакторши Детгиза заискивают перед ним. Поэт М. Синельников не раз мне говорил:

– Знаю точно: Приходько – кагэбэшник.

Многие считали и Мазнина стукачом, а полусумасшедший литератор Э. Карпачёв написал на одной из стен ЦДЛ: «Кушак – кагэбэшник». Но это уж чушь собачья. Просто в недавнем прошлом подозрительность доходила до идиотизма. Позднее тот же Карпачёв мне звонил и срывающимся голосом сообщал, что «КГБ его облучает». Меня куда-то занесло, хотел-то о классиках, исторических фигурах.

Ну так вот, с Анатолием Алексиним мы несколько раз общались в Доме литераторов, сидели втроём: классик, Коваль и я; мы с Кова-

лём пили водку и болтали о всякой всячине, а Алексин потягивал сок и с глубокой скорбью на лице, как будто он с похорон, тихо, вкрадчиво изображал самого несчастного на свете – жаловался на здоровье и семейную жизнь, на то, что раньше нельзя было писать «ни о том, ни о сём», даже пожаловался на безденежье – «приходится продавать мебель». Тут уж Коваль его остановил:

– Но, Толя, ты же катаешься по заграницам (они были на «ты»). Тебя только в Америке десять раз издавали, а нас с Лёнкой ни разу, едрёна вошь! А мы, между прочим, тоже не последние писатели. Я, к примеру, посильнее и Петрушевской, и разных Пьецухов, а Лёнка пишет, как я (он всегда завывал меня).

– Да, дорогие мои, – бормотал Алексин. – Я всё делаю, чтобы печатали молодых. В следующий раз в Америке договорюсь обязательно.

И договорился. Издал свои бессмертные творения в Америке в одиннадцатый, а потом, тихой сапой, и в двенадцатый раз (такая у него хватка). И опять нам с Ковалём жаловался, прибеднялся с фальшивой искренностью, выдумывал трагедии. (Его жизнь постоянно оказывалась тяжелее, чем у всех. Попутно замечу: сейчас, проживая в Израиле, он катает мемуары – как ему трудно жилось при коммунистах и всё такое; по словам А. Баркова, перед отъездом украл из Детского фонда миллион рублей.) И как он, классик хренов, не понимал, что нытиков не любят, что у всех есть неприятности, но не все о них скулят. Тем более, что его неприятности высосаны из пальца.

По словам художника Льва Токмакова, который прекрасно знал Алексина, в своё время классика, «как своего по крови», сильно проталкивал Кассиль.

– Алексин – мерзкий человек, – говорил Токмаков. – Жутко хитрый и лизоблюд. Как-то сажу у него. Заходит молодой автор. Он берёт со стола папку с рукописью этого парня, «Прочитал», – говорит и ругает парня на чём свет стоит. Когда парень ушёл, Алексин махнул рукой: «Этот – с улицы, – и нежно погладил вторую папку: – «А это сын прокурора написал, надо немного поправить».

А. Барков, тоже неплохо знавший Алексина, усмехался:

– Когда его приглашали выступить перед детьми, он заламывал большие суммы. Детский писатель, называется!

Что кроме беспочвенных страданий запомнилось от застолий с Алексиним, так это какая-то сентиментальная муть, которая его

окружала. Он явно интересовался женщинами (так и рыскал глазами от одной к другой), но пытался скрыть свой интерес; явно хитрил, когда жаловался на судьбу, изображал беззащитную овечку, пытался предстать борцом за детскую литературу. На самом деле боролся за своё благополучие, и вполне удачно: был секретарём Союза писателей, имел кучу орденов и премий, входил во все фонды, комиссии и делегации (и как одна кобыла столько везла?).

Кстати, у каждого секретаря Союза автоматически выходило соображение сочинений, которое непременно переводили все союзные республики – это давало возможность спокойно здравствовать десятилетиями, и не только это, конечно.

У Алексина были холёно-пухлые щёки, томный взгляд и вкрадчивый голос; когда я смотрел на него, аморфного, в голове почему-то вертелось: «Человек с таким бабьим лицом не может быть хорошим писателем».

Алексин хотел остаться в памяти потомков не только классиком, но и защитником детских писателей. Он не скрывал своего прицела:

– Так хотелось бы, чтобы ваше поколение отметило мою тяжелейшую борьбу, мои заслуги.

Не знаю, чем ответит на его призыв всё моё поколение, но я ни одной книги Алексина так и не одолел – по-моему, они просто скучны. И, кстати, прозу Кассиля закрывал после первых же абзацев. Как ни пытался выцарапать лучшее в их работах, ничего не нашёл – обычная конъюнктурная писанина, банальная размазня. А вот Носова перечитал, будучи взрослым, и впечатление было не менее сильным, чем в детстве.

Агния Барто всегда опаздывала на редколлегия в журнал «Детская литература» – приходила, когда уже вовсю шли выступления; при её появлении раздавались возгласы:

– А вот и Барто!

И все благоговейно взирали, только что не вскакивали и не аплодировали. Я думаю, это торжественное явление было чётко продумано (чтобы привлечь особое внимание), и потому имело соответствующий эффект.

Художники, которые иллюстрировали Барто, не раз жаловались, что «Бартиха» донимает их требованиями, а молодые сподвижники по цеху были недовольны, что она разговаривает излишне строго, не

терпит возражений, всячески даёт понять, что её слова и есть сама истина; хотя тех, кто ей льстил, она «нянчила» (в частности, Мазнина и Кушака).

Однажды мы с Мазниным провели целый вечер в обществе Барто (я, собственно, был сбоку припёка); она рассказывала, как занимается воссоединением семей, разрозненных войной (позднее выяснилось, что это благородное дело ей нужно всего лишь для саморекламы). Я жадно слушал Барто, а Мазнин постоянно встревал, в порыве любвеобилия и так и сяк превозносил поэтессу, прикладывал её руку к своему сердцу, к щеке, но она его не останавливала, боялась задеть высокие чувства поэта. Само собой, ей были приятны излияния поклонника; она даже не испытывала неловкости передо мной, случайным слушателем. В конце концов, налив глаза, Мазнин переборщил – стал пороть всякую чепуху и целовать поэтессе руку:

– ...Агнюша великая, гениальная!

Тут уж я не выдержал:

– Игорь, перестань! Ну что ты, в самом деле!

– Да, Игорёк, пожалуйста, не надо, – слабо запротестовала Барто, а в мою сторону бросила тяжёлый взгляд.

Спустя некоторое время в клубе я сидел с совершенно неизвестным детским поэтом Павлом Барто, бывшим мужем знаменитой поэтессы (потомком французских маркизов).

– И чего все носятся с ней? – недоумевал поэт. – Я выдающийся, а не она. Её просто вознесли на пьедестал, и она, негодница, ещё мою фамилию эксплуатирует.

Барто не раз восклицала:

– ...И что я взяла эту дурацкую фамилию?

Но, со слов того же Токмакова, когда он с Барто был в Париже, она с гордостью называла себя «маркизой».

Позднее я узнал (от Тарловского), что Барто когда-то напечатала под своей фамилией стихотворение молодого поэта Денисова из Куйбышева, точнее, обработала его стихотворение до удобоваримого варианта (стихи она получила на рецензию). Поэт бесновался, писал жалобы в Москву, но ответа не получил. Понятно, Барто заслужила серьёзных упрёков, но, с другой стороны, дети получили не рыхлую, а крепкую, профессиональную вещь. Ей следовало бы поставить две фамилии или хотя бы указать: по мотивам такого-то, но, видимо

классики рассматривают молодых, неизвестных авторов как своих подмастерьев.

Наверняка кое-кому эти заметки не понравятся – это естественно – пусть напишут свои. И потом почему хороший писатель непременно должен быть и хорошим человеком? И Пушкин, и Бунин совершали отвратительные поступки, и автор «Белого пуделя» слыл в кабаках дебоширом; Аркадий Гайдар, как известно, собственноручно расстреливал пленных и топил в реке крестьян Хакасии; Паустовский прогнал студентов литинститута, которые попросили у него немного денег: «Я начинал с нуля, и вам не помешает», – заявил классик. Но, конечно, есть масса и положительных примеров: Чехов, Горький, Пришвин...

Маститый Сергей Михалков запомнился с лучшей стороны; я знал его шапочно, хотя часто встречал в Доме литераторов. Михалков, будучи всесильным, в отличие от Алексина, вроде действительно что-то делал для детской литературы и помогал некоторым писателям (в том числе моим знакомым И. Пивоваровой и Н. Красильникову), но Барков, который два года работал у Михалкова секретарём, говорил:

– Михалков – придворный писатель и масон. Он никогда не подписывал просьбы писателей, подписывал Бондарев, а Михалков ссылался на то, что занимается творческими вопросами, «и вообще, – говорил, – спешу к Леониду Ильичу». Он руководил Союзом «из дома», а то и звонил от любовницы, страшно любил женщин. Говорил: «Я поэт и должен искать удовлетворение. Я больше люблю женщин, чем литературу».

Вождь литераторов постоянно возглавлял какие-то съезды, конференции, комиссии – похоже, любил покрасоваться в президиумах, иначе на кой чёрт ему эти сборища?! Мне, который ни разу не был ни на одном собрании, этого не понять. Может быть, благодаря общественной деятельности, Михалков и пользовался покровительством вождей и мог оказывать кое-какую помощь? Но всё-таки никак в толк не возьму, зачем такие таланты рвутся к власти?

Автор гимна имел все мыслимые титулы и премии, но главную детскую премию – имени Андерсена – так и не получил. Наверняка это его огорчало, но доподлинно известно – он не терял надежды её получить (возможно, ещё и поэтому старался быть на виду). Но премию дали художнице Татьяне Мавриной, которая всегда держалась

в тени и вообще жила за городом, в Абрамцево. Хотя, безусловно, ради справедливости, эту премию могли бы дать и Михалкову.

Нелишне упомянуть: несмотря на бурную общественную деятельность, Михалков и в старости писал неплохие стихи и не упускал случая блеснуть юмором.

Как-то поэт Яков Аким и прозаик Сергей Иванов выступали перед детьми, что было довольно смело с их стороны (оба заикаются, но, как многие с подобным недостатком, жутко любят поговорить). Уже во время выступления Акима дети начали хихикать, и вдруг появляется ещё один заика! Поднялся смех – ребята подумали, что писатели разыгрывают клоунаду. Узнав про эту историю, Михалков (кстати, не раз заявлявший: «Я не люблю детей») сказал:

– Меня там третьим не хватало (как известно, он тоже заикался).

В восемьдесят лет Михалков женился на сорокалетней женщине; спустя некоторое время редакторши «Премьеры» говорят мэтру:

– Вы такой талантливый, красивый, весёлый. Мы счастливы сотрудничать с вами...

– Да-да, – кивнул Михалков, – но вы забыли сказать, какой я любовник!

Самуила Маршака я слышал по радио, а Корнея Чуковского видел однажды издали – об этих патриархах могу судить только по рассказам приятелей.

Однажды в Малом зале поэт и переводчик Валентин Берестов читал свои переводы и рассказывал о Маршаке и Чуковском, всячески подчёркивая замечательные душевные качества известнейших мастеров. А я пребывал в замешательстве: годом раньше Коваль говорил, что Чуковский был страшно ворчливым и мнительным и даже в восемьдесят лет ужасно боялся смерти.

– Как-то я прочитал ему невинные стихи про вечный покой, – рассказывал Коваль. – Пока читал, мэтр ходил по комнате и стучал палкой. Я уж подумал: сейчас огреет меня. А когда я закончил, он затопал ногами, засопел и выпроводил меня.

Критик Николай Халатов твёрдо заявлял:

– Чуковский был злым и жадным, и детей терпеть не мог. Не зря Блок считал его плохим человеком. Правда, Чуковский, будучи сам Левинсоном, говорил: «Еврей не может быть писателем, в особенности русским писателем». (Впрочем, об этом ещё раньше говорил Куприн.)

А о Маршаке Халатов рассказывал и вовсе чудовищные вещи, будто тот сдал всех, с кем сотрудничал в «Чиже», – ведь Хармс, Введенский, Вагинов, Олейников, Заболоцкий оказались в тюрьме, а Маршака (и Андроникова) не тронули (Маршак даже получил пять Сталинских премий).

Вот такие разные мнения и сокрушительные факты. Прискорбно, если последнее – правда, а похоже, что правда, судя по книгам Н. Коныева и сына Заболоцкого.

О ком ответственно могу сказать с теплотой, так это о последнем детском классике – Юрии Сотнике. Я выпивал с ним много раз и всегда поражался его умению держать алкогольный удар, всегда любовался его прекрасными старомодными манерами. Несмотря на возраст и семейные трагедии (у него погиб сын), Сотник выглядел великолепно: бодро, подтянуто, на его лице постоянно играла ироничная усмешка. Он входил в клуб писателей, оглядывал сидящих за столами и бурчал:

– И это все писатели? Сколько ж вас развелось! И у всех усталые лица. Что ж вы такого сделали, чтобы устать?! (Эти слова Кушак приписывает Ю. Алешковскому, но я слышал их от Сотника; если же что-то подобное произнёс друг Кушака, то это наглость – ему, с его неважнецкой, злобной, эпатажной прозой, вообще следовало бы помалкивать.)

Наше знакомство произошло так. В то время мои рассказы нигде не печатали (кроме журнала «Мурзилка»); во «взрослых» издательствах говорили: «Всё это для детей», в Детгизе отмахивались: «Это взрослым о детях». Я и сам толком не знал чёткого адреса. Так продолжалось до тех пор, пока рукопись не попала к Сотнику – ему как главному рецензенту её отдала Н. Степанян из «Сов. России» (об этом уже упоминал).

Позднее Сотник признался мне, что вообще не пишет положительных рецензий, потому что «кругом сплошные книжные поэты, а в прозе сплошная литературщина». Мне повезло: неожиданно мэтр прислал не просто одобрительный отзыв – он расхвалил мои записи больше, чем они того заслуживали. Его похвалу я считаю особенно ценной, поскольку услышал её в начале литературного пути и в тот момент, когда уже собирался забросить своё увлечение. И главное, от кого услышал? От живого классика, которым зачитывался в детстве! У меня сразу появилось второе дыхание. А тут ещё позвонили

из редакции – мэтр хочет со мной познакомиться, и я вообще чуть не спятил от радости.

В застолье Сотник постоянно пилил меня с отеческой усмешкой:

– Вы, Лёня, молодой писатель, а уже выпиваете, как классик. И почему вы не перепечатываете страницы с исправлениями? Что это: лень или неряшливость? И почему не следите за собой? Ходите небритый, в неглаженных брюках? И вообще, как я заметил, много валяете дурака!

Но за глаза отпускал в мой адрес только добрые слова, а рекомендацию в Союз писателей и вовсе написал прямо-таки рекламную, ко многому обязывающую (в основном нажимал на какую-то мою интонацию). Думаю, теперь понятно, почему я пишу о нём с особой теплотой.

Кстати, вторую рекомендацию (более сдержанную, но всё-таки достаточно мощную) мне дал Фазиль Искандер, с которым позднее мы тоже выпивали, но реже, чем с Сотником. В тот день я чувствовал себя героем, ходил по ЦДЛ, как седой петушок, вообразивший себя страусом (мне уже бахнуло сорок, и я лысел, толстел и прочее), и всем улыбался, как придурковатый, – известное дело, в волнующие моменты не я один, многие глупеют.

Этими рекомендациями я горжусь, как орденами, вот только мечтаю, что никак не могу подтвердить слова классиков – написать что-то существенное, а перечитывая свои первые рассказы, и вовсе испытываю только стыд – так плохо они сделаны. Абсолютно все ужасающе плохо (сейчас их перелопачиваю).

Мои покровители, эти два кита, как и многие творческие личности, всегда отличались странностями, но под старость явно «поехали»: Сотник вдруг почувствовал себя юношей; бывало, выпиваем с ним, подсаживаются мои знакомые молодые женщины, и я серьёзным голосом, подчёркивая торжественность момента, представляю его:

– Юрий Вячеславович. Вы наверняка читали в детстве его замечательные книжки.

А он, уже пьяненький:

– Не Юрий Вячеславович, а Юрочка! (В семьдесят лет!)

Искандер вполне серьёзно считал, что Шолохов первый том «Тихого Дона» своровал у Крюкова, и видел «подозрительную странность» в том, что донской затворник «не дружит с московской элитой»; о своих рассказах говорил «это моё произведение», «моё творчество»; ругал

Айтматова, что тот в «Белый пароход» вставил легенду, но самое огорчительное – мой любимый писатель участвовал в провокационном «Метрополе», в компании злобных антирусских писателей (некоторые из них уже тогда намылились в Штаты), а позднее – не явно, но всё-таки был на стороне «демократов», во всяком случае, лил воду на их мельницу.

Кстати сказать, Искандер дал мне дельный совет – откладывать рассказ только тогда, когда в него уже ничего не можешь добавить. К сожалению, для такой доводки текста у меня никогда не хватало усидчивости.

Сейчас мы тоже считаемся стариками; на самом деле являемся пожилыми, бывалыми мужчинами – до глубоких старцев (с их закидонами) нам ещё далеко, так мне кажется. Правда, недавно один приятель поставил меня на место:

– Если взялся за воспоминания, значит, состарился.

А второй припечатал ещё сильнее:

– Ты хорошо пишешь, но никогда не станешь известным – у тебя фамилия плохая!

Ну а третью рекомендацию мне дал Яков Аким, щепетильный моралист, зануда с вечно недовольным, плаксивым лицом, который, по его словам, с большим удовольствием читал мою прозу ещё у Митяева.

– Хочу тебе сказать, я редко кого хвалю, – предупредил Аким, подчёркивая весомость своей рекомендации.

Об Акиме распространяться нет смысла – таких человековедов, как он, знает весь литературный мир (как деятеля, а не поэта; в поэзии у него скромные достижения); скажу лишь о том, что он в высшей степени справедливый и один из немногих евреев, кто на чём свет стоит ругает литераторов своей национальности (Юдахина, Кушака, Л. Яковлева и тьму других), и упомяну то, что меня с ним сблизало (как и с Сотником, и с Искандером), – естественно, выпивки. Мы с ним выпивали и до его рекомендации, и все прошедшие годы, и сейчас на сборищах друзей. (Он всегда пил водку с соком, а теперь, когда ему далеко за семьдесят, перешёл на красные вина. Впрочем, не он один. Дмитрюк, в свои шестьдесят, уже давно пьёт «по-европейски» – и вино разбавляет водой. Но у обоих не угас интерес к женщинам, даже обострился – надо полагать, почувствовали, что к ним возвращается молодость.) Сразу поясню: мы выпивали не для того, чтобы напиться,

а чтобы поговорить, – выпивки скрашивали наше общение, повышали уровень разговора, ну и, понятно, подогревали творческие силы.

Нельзя не отметить такой факт: считается, что истинным талантам свойственно восхищение другими талантами, а бездарный восхищается самим собой; но мои рекомендатели нещадно ругали многих известных современников, а о своих произведениях упоминали при каждом удобном случае. Может, это была ревность к чужой славе – в истории таких случаев сколько угодно.

Некоторое участие в моей писательской судьбе принял Кушак: встретившись с критиком Грудцовой в Пёстром зале, он горячо защищал мою повесть (сионистка писала мерзкие статьи на рукописи русских писателей), а вскоре познакомил меня с критиком Всеволодом Сургановым, человеком редчайшей душевной чистоты (быть может, самым искренним на свете – у него всё шло от сердца), который в повседневной жизни был эталоном скромности (и прекрасной старомодности), но превращался в грозного бойца, когда дело касалось литературы (впоследствии мы стали друзьями и постоянными собутыльниками). В одну из встреч Сурганов сказал мне:

– Самый верный путь к сердцу читателя – быть искренним. А искренность, по словам Платона, «следствие мастерства». Синоним искренности – сердечность. В твоих рассказах меня подкупила именно искренность. Местами пронзительная, какая-то оголённая.

Понятно, эти слова мне, начинающему литератору, придали недюжинные силы.

Сурганову Кушак (в позе давно состоявшегося мастера, хотя прошёл всего год, как сам вступил в Союз) представил меня своим протеже, похвалил мои книжки (из уважения к моим рекомендателям) и внезапно, развивая какие-то свои тайные мысли, вполне серьёзно добавил:

– В действительности в Союзе много евреев, и Лёньку надо принять.

Вот так! Как обухом по голове! Оказалось – я всего лишь некий противовес, вкладыш, точнее – декоративное прикрытие; он пёкся не столько обо мне, сколько об общем виде писательской среды, хотел за счёт меня её немного разбавить, чтобы она не выглядела совсем уж однородной до неприличия.

Ещё прямодушней был Мазнин. После того, как я получил писательский билет и мы обмывали это событие, он сказал мне (тоже вполне серьёзно):

– Теперь можешь спокойно заниматься живописью!

Такие у меня непосредственные дружки, и откровенные – дальше некуда! И какие у них тонкие насмешливые пожелания! Точнее – дьявольские мысли при доброжелательных улыбках. Кстати, Мазнина, который в то время пробовал силы в драматургии, я решил припугнуть и сказал, что положил глаз на театр – собираюсь писать пьесу, да ещё сочиню музыку к ней и вступлю в Союз композиторов.

Узнав, что меня приняли в писательский Союз, друзья-художники стали надо мной посмеиваться: «Пис-са-тель!» – и всячески давали понять, что я предатель лучшего в мире клана. Но я-то знал: так, как делают они (многие из них), мне не сделать, а вот с друзьями-литераторами вполне могу потягаться. Хотя последние, как я уже сказал, похоже, так не считали и не принимали меня всерьёз. Во всяком случае, они редко говорили о моих рассказах, но всегда упоминали, где видели мои рисунки. А друзья-художники после того, как я особенно расписался, глядя на мои иллюстрации, вводили разговор в сторону:

– Ты хороший писатель, жаль, что тебя никто не знает.

Себя я оправдывал тем, что мне нравился сам процесс работы (не знаю, как у других, но у меня, если и появлялось что-то стоящее, то только в процессе работы), а готовая вещь уже мало интересовала, и я уже видел в ней массу недостатков, о погрешностях и говорить нечего.

Здесь без всякой хитрости и рисовки скажу: то, что называется творчеством, я всегда рассматривал как радостное занятие. Радостное – не потому, что мне всё давалось легко, – совсем нет, скорее наоборот; но это была любимая работа, за которую (надо же!) ещё платили деньги. И всегда мне было как-то странно слышать, что кто-то над моими рассказами смеялся или даже плакал (случалось и такое – само собой, не среди литераторов – среди простых читателей); было и приятно, и неловко, что люди могут так переживать, пусть частичную, но выдумку (понятно, искусство создаёт мир иллюзий, но многие хотят быть обманутыми).

К тому же до иллюстрирования книг и занятий литературой я успел поработать почтовым агентом, шофёром и грузчиком и всегда жутко уставал, а став литератором, подумал: лёгкая работёнка у этих писателей, необременительное занятие, даже удовольствие – сидишь себе за стопкой бумаги, водишь карандашиком, покуливаешь да ещё проживаешь две жизни: реальную и воображаемую.

Так я думал до тех пор, пока не взялся за рассказы для взрослых. Неожиданно я стал уставать гораздо больше, чем когда разгружал вагоны. А подтолкнул меня выступить в новом качестве стариннейший друг, товарищ по байдарочным походам физик Борис Зайцев.

Он не раз говорил мне:

– Строчить детские рассказы может каждый. Это забава, недостойная настоящего мужика.

И наконец однажды спросил с прямою дровосека:

– Когда возьмёшься за серьёзное, напишешь что-то для взрослых?

Я и взялся. Осторожно двинулся в сторону «серьёзной» литературы. Изловчившись, я накатал десяток рассказов; одновременно пописывал и детские – в результате иногда получалось что-то безадресное, что я стыдливо называл «слоёным пирогом». Касаясь своего нового статуса (рассказчика для взрослых), признаю: вместе с похвальными отзывами (В. Цыбина, Н. Кончаловской, Л. Лиходеева, Н. Халатова и др.) слышал я и убийственные слова:

– Всё это треп!.. О чём это? Кому это надо?.. Не чувствуешь конструкцию рассказа!.. Не знаешь, как строить сюжет!..

И получал разгромные беспощадные рецензии, после которых долго не подходил к столу. Одну получил сплошь подчёркнутую красным карандашом. Так безобразно прошёлся по рукописи критик В. Чалмаев. Кто-то из друзей посоветовал:

– Отправь ему, гаду, рукопись назад, пусть перепечатает. С какой стати это должен делать ты?!

Понятно, я не отправил, а поскольку своей машинки ещё не имел, пришлось вторично идти к машинистке и вновь платить немалые для меня деньги.

Некоторые приятели довольно остро восприняли мой новый порыв; они привыкли считать меня художником, ну ещё пописывающим детские рассказы, а тут вдруг я ещё полез в нешуточную область; они чуть ли не требовали, чтобы я не раздваивался. Так, фотограф Владимир Лучин (любитель джаза и охотник, который, по его словам, словно кот, видит в темноте) обеспокоенно спросил:

– Для чего ты это затеял? Ты же не учился в Литературном институте?! Ты заходишь слишком далеко.

Журналисты Д. Иванов и В. Трифонов (балагуры, вся жизнь которых – цепь пустяков), разговаривая со мной, постоянно удивлялись:

– Как? Ты не читал Джойса?! (или Кафку).

И я сразу чувствовал себя ничтожеством; ну а пролистав мои автобиографические рассказы, они заявили:

– Пойми, голова, у каждого в жизни найдётся пара-тройка таких историй, и вообще, если проза пишется от первого лица – это несерьёзная литература.

Помню, их слова меня задели, и я в очередной раз задумался о своём непрофессионализме. Но по пути домой (как всегда, запоздало) нашёл неплохой ответ: историй полно – главное, как они записаны. А от первого лица писали почти все наши великие классики, и это не обязательно документальность, фиксация фактов, это может быть и художественное произведение, где автор говорит от лица героя, где есть вымысел и прочее. К тому же я пишу не для славы и денег, а, как говорил Стейнбек, «потому что мне просто нравится писать».

На следующий день, вооружённый этим могучим ответом, я отправился в Домжур, где Иванов с Трифоновым торчали по вечерам, и вдруг встречаю свирепого поэта Авсарагова. Я уже упоминал, что он слыл могильщиком авторитетов и вообще никого не щадил – случилось, и крыл матом; мне повезло – он лишь скривился, словно проглотил змею, и выдал:

– Осилит один твой рассказец. Ничего хорошего сказать не могу. У прозы есть свои законы.

Какие законы? Я не знал никаких законов, ведь был в литературе самоучкой (как бы крутился в кастрюле, не в силах вырваться на простор) и в очередной раз подумал – а не забросить ли писательство куда подальше? Позднее я вычитал у Бунина: «В первой фразе всё дело». А у Чехова наоборот: «Написав рассказ, надо вычёркивать начало и конец... Умение писать заключается в умении вычёркивать» (вроде, повторил Микеланджело: «Беру глыбу мрамора и отсекаю всё лишнее»). Потом я прочитал у Батюшкова: «Надо писать, как живёшь, иначе всё будет фальшиво», а у Толстого вычитал: «Писатель должен знать, о чём пишет, любить то, что описывает, и иметь нравственную позицию». Потом я наткнулся на статью А. Маршалла, где писатель говорил, что вообще надо идти против всех правил.

Только теперь я понимаю, что по большому счёту для пишущих нет рецептов, и каждый писатель сам для себя устанавливает за-

коны, руководствуясь своим вкусом, чувством слова, чувством меры и прочими чувствами. А тогда, ясное дело, меня не покидало только одно чувство – неполноценности. Но именно в те дни является очередной спаситель – прозаик Борис Ряховский, мирный человек, который никогда не делал резких заявлений, хотя А. Барков считал иначе:

– Ряховский как-то заявил, что в Детгизе печатаются деловые люди: «половину гонорара отдают редакторам». Раньше он всё время прилипал к Михалкову, Алексину, а сейчас живёт на даче какого-то богача.

Но я ничего этого не знал, а вот «мирные» слова Ряховского помню:

– У каждого найдётся свой читатель. Если книга помогла побороть невзгоды, отчаяние, да просто доставила радость хотя бы трём-четырёх людям, значит, она написана не зря.

Позднее я встретил художника Юрия Семёнова (человека сложнейшей души), мы перекинулись словами и уже разошлись, как он окрикнул меня:

– Совсем забыл. Тут с семьёй недавно переезжал, таскал вещи, устал и присел на стул; и вдруг увидел на полу твою книжку (тонкую, детскую). И знаешь, честное слово, не на шутку увлёкся. Пока не прочитал до конца, ничего не таскал...

Спустя некоторое время мне позвонил актёр Владимир Белоусов (глубоко театральная и пивная душа):

– Я только вчера выписался из больницы. Хочешь верь, хочешь не верь, но твоя книга помогла мне выздороветь.

А недавно прозаик Михаил Ишков (о его душе ещё скажу) сообщил приятную вещь:

– Еду в электричке, вдруг входит парень и поднимает над головой твою книжку. «Граждане пассажиры! – говорит. – Мне здесь попалась вот эта книжка. Она не просто понравилась, я не мог оторваться. Трудно поверить, что в наше время ещё так пишут».

– Обычный трюк торговца, – перебил я Ишкова, а он:

– Не скажи. На твою книжку среди моих соседей очередь.

Так что несколько читателей у меня уже есть. Недавно чуть было не появился еще один. Знакомый слесарь-водопроводчик (его душа постоянно стремилась к «красненькому», и он признавал только две профессии – слесаря и шофёра, всё остальное считал ерундистикой), встретив меня во дворе, расплылся:

– Тут мне в руки попала книжонка. Внуку её читал. Забористо написано. Забыл, кто написал. Случаем, не ты? «Золотой ключик» называется, – и загоготал.

Я оценил его иронию и стал соображать, как поудачней ответить, но пока, тугодум, соображал, он удалился. Кстати, этот слесарь подтрунивал не только надо мной: нашему дворнику, который живёт с дворнягой кобельком, постоянно с улыбочкой говорит, что его пёс «голубой», поскольку не обращает внимания на сучек; а свою болтливую тещу называет «однозвучно гремит колокольчик».

И всё же, как каждый литератор, я надеюсь, что когда-нибудь и другим читателям будет нужно то, что я написал.

Очутившись в литературных кругах, я взял себе за правило – никогда не подходить к известным личностям, даже если с ними уже кто-то знакомил. Этим правилом я руководствовался все эти годы и теперь даже к приятелям, ставшим знаменитыми, первым не лезу, жду, пока они сами подойдут. Возможно, это глупо, но не хочу навязываться и таким образом сохраняю своё пусть небольшое, но достоинство. Некоторые знаменитые приятели (вроде Успенского) уже ко мне не подходят, только кивают издали – видимо, совсем ошалели от своего могущества.

Добавлю ещё вот что: никто никогда от меня не слышал, будто я сделал что-то стоящее, тем более – наворотил что-то значительное (может, пару раз сказал: «Вроде получилось», «Кажется, более-менее удачно», – не ради какой-то наигранной скромности, а предъявляя к прозе определённые требования).

– У тебя заниженная самооценка, – недавно мне, уже старому, сказал драматург В. Шашин.

Ничего подобного. Я знаю, что написал несколько сносных рассказов, за которые не стыдно, но, сравнивая себя с великими, вижу: у них огромные полотна, которые сколько ни перечитывай, каждый раз открываешь что-то новое, а у меня всего лишь описания, зарисовки; великие выходят за рамки времени, а я барахтаюсь в сиюминутном отрезке. Рядом с великими все мы ничто. Помню, перечитал «Вечера на хуторе...», и опустили руки, не смог больше работать. Не знаю, как у других, но меня сильные вещи подавляют, убеждают, что я вечный ученик (в основном учусь на своих ошибках).

Читая могучих классиков, поражаешься: как всё у них легко и органично и так просто, что не замечаешь писательской техники – точно

так же, как не различишь стыков в ампириной мебели или швов в хорошем костюме – короче, настоящего мастерства не видно. Только при тщательном вчитывании замечаешь – великие обращаются со словами бережно, словно с вещами, и думаешь: писательство – та же работа, что и у столяра, и у портного, только теми профессиями можно овладеть, а здесь нужно призвание.

Что и говорить, словесное произведение должно быть крепким, как добротная сделанная мебель, или отлично сшитый костюм, или хорошо отлаженный механизм, и на одних эмоциях здесь не вылезти, без знаний ремесла не обойтись, а этих-то знаний мне и не хватает. Потому и стал самоедом и никогда не называл себя писателем, только – литератором.

Ко всему я думаю, даже уверен – настоящий писатель (и художник) в работе должен быть узнаваем, а таких единицы. Что касается лёгкости у великих, добавлю – истинное мастерство всегда создаёт обманчивое впечатление лёгкости, но, понятно, эта лёгкость даётся немалым трудом.

И никогда я не устраивал своих выставок (хотя двадцать пять лет вёл изостудию в ЦДЛ и мог это сделать не раз), все холсты раздарил приятелям-литераторам (художникам – было бы стыдно), и вообще не считаю себя художником, то есть мастером, имеющим свою образительную манеру. Считаю себя только умеющим рисовать, но и это часто ставлю под вопрос – и опять-таки не от какой-то там ложной скромности, кривляний – теперь, под старость, мне начхать на все эти позы и фокусы, – просто вижу разницу между тем, что делаю, и тем, как это делают настоящие таланты.

Короче, я всю жизнь сомневаюсь в себе, сильно собой недоволен, иногда даже ненавижу себя. Поэтому мне и непонятно, как многие друзья, писатели и художники, не видят свои работы со стороны, как могут хвастаться посредственными вещами (или перевозносить таковые). За мной-то не заржавеет – я их ругаю, гавриков, распекаю как надо, от меня они не дождутся поблажки, ведь кого любишь, к тому и требования. Да и костерю только тех, кто достиг известности и умеет защищаться (кому много дано, с того и спрос), слабых, безвестных не посмел бы.

Кое-кто может сказать – какое имеешь право судить других?! Сам-то что сделал?! Отвечаю: чтобы судить о литературе, не обязательно

быть писателем; каждый имеет право высказывать своё мнение, и каждый может плюнуть на это мнение. Также можно в шутку ответить английской поговоркой: «Я никогда не нёс яиц, но знаю вкус яичницы лучше любой курицы».

Итак, я стал более-менее полноценным литератором (приблизился к своим друзьям, даже запланировал купить пишущую машинку, как символ профессионализма и богатства) и влился в громадную армию писателей – по всей стране их насчитывалось более десяти тысяч! От этой цифры захватывало дух – писатели представлялись Золотой Ордой, не иначе (понятно, в историческом смысле, а не в смысле качества). Я прикинул – если каждый из этих «воинов» за год напишет по книге, получится гора, которую не перечитать и за всю жизнь. Правда, позднее выяснилось, что среди писателей есть авторы одной-единственной книжки. Так, главврач поликлиники Литфонда Геллер написал, как делал операцию во время войны, а лётчик Гофман вспомнил бомбёжку Берлина – обоих через связи приняли в писательский Союз.

Таким же макаром стали писателями некоторые актёры вроде Гурченко, Ливанова, Золотухина, Розовского, и разные полковники и политики, воспоминания которых накатали оборотистые журналисты Э. Хруцкий, А. Макаров и прочие; писателями значились генерал Цвигун и адмирал Гайдар. Ну а уж руководителю государства за его мемуары сам бог велел иметь писательский билет. Сейчас писателями числятся даже такие негодяи, как С. Филатов и Новодворская; первый недавно совсем обнаглел: решил прибрать к рукам весь особняк ЦДЛ – видимо, посчитал, что мало наворовал, будучи правой рукой президента; а вторая считает Чехова и Достоевского «болотной классикой» и не возражает, если большая часть русских вымрет, а от России останется одна Московская область, – понятно, ничтожества часто самоутверждаются через жестокость.

Но и без этих «творческих личностей» армия писателей выглядела внушительно. Были даже целые семейные кланы с серьёзными фамилиями, где в писательском Союзе состояли не только оба родителя, но и их дети, – там звание «писатель» передавалось по наследству, часто вместе с дачей в Переделкино (Катаевы, Марковы, Туры, Симоновы, Червинские...).

Детских писателей в Москве тоже числилось немало – сотни чётые, и вначале я потерялся в этой толпе, но потом заметил: одни

писатели, в силу старческой немощи, уже ничего не пишут, другие кропают пересказы, инсценировки, составляют сборники, то есть занимаются чем угодно, только не сочинительством; третьи – из числа случайных мастеров пера – получив престижный членский билет (и, конечно, сопутствующие привилегии – о них ещё скажу), вернулись к своим основным профессиям. Короче, в результате этих подсчётов действующих писателей-сочинителей набиралось всего ничего, десятка два-три – всего-то небольшой караван. Все писатели представлялись страшными умниками, большущими личностями и как работники жутко плодовитыми (в смысле выдаваемой продукции).

Самое смешное, в свои сорок лет я оказался одним из молодых писателей, поскольку средний возраст членов Союза переваливал за пенсионный рубеж. Такое было дряхлое сообщество. Моё-то поколение немного его разбавило, ну а по-настоящему оно помолодело во время перестройки, когда разделилось на несколько Союзов и каждый принимал в свои ряды всех желающих – принимали целыми ватагами и табунами (по списку), лишь бы увеличить общую массу (физический вес), чтобы при дележе имущества и кусок хапнуть побольше. Такие мерзкие комбинации.

Нам для вступления в Союз требовалось иметь не меньше трёх-пяти книжек (за исключением тех немногих, кто шёл кратчайшим путём по благу) и рекомендации известных писателей; мы проходили длинную процедуру – четыре комиссии приема и утверждения. Сейчас всё упростилось: достаточно напечатать пару стихотворений в многотиражке или взять у кого-нибудь интервью, заплатить определённую сумму – и ты член славного Союза.

Теперь наверняка многотысячная писательская армия удвоилась – во всяком случае на книжных развалах тьма детективов, эротики, секса, но совершенно не издают классику и современных прозаиков и поэтов (всё получилось, как в природе, где дикие растения сильней культурных и быстро забивают всяких «интеллигентов»). Раньше книга была духовной пищей и стоила копейки (многие имели домашние библиотеки), теперь книга – товар, который большинству не по карману.

В семидесятых годах Союз писателей был могущественным: имел огромное издательство, выпускающее книги миллионными тиражами; поликлинику, в которой никогда не было очередей (по больничному писателю платили неплохо, и считалось, что каждый писатель просто

обязан болеть хотя бы два раза в год); книжную лавку, где продавали книги, недоступные простым смертным; прекрасную библиотеку, пошивочное ателье, парикмахерскую, бюро обслуживания, где выдавались продовольственные талоны, билеты в театры и прочее (свои люди сидели и в железнодорожных кассах и кассах «Аэрофлота» у метро «1905 года»).

Ну и, ясное дело, Союз писателей владел огромными зонами отдыха – прекрасными Домами творчества в Подмоскowie, в Прибалтике, в Крыму и на Кавказе (вот масштабы!), причём в Дома творчества каждый писатель без всяких героических усилий раз в год мог взять путёвку бесплатно.

Особо надо отметить, что в Переделкино и Внуково были и персональные дачи с обширными участками, которые пожизненно закреплялись за каким-нибудь классиком. После смерти классика обычно за поместье начиналась драчка между теми, кто не имел таких «условий» (туда рвались и посредственности, чтобы почувствовать себя классиками), но чаще наследники покойного заранее вступали в писательский Союз и оставляли дачу себе «для своего творчества».

Всем своим членам Союз постоянно улучшал жилищные условия (лауреаты обитали в правительственном доме в Лаврушенском переулке, знаменитости – в высотке на Котельнической набережной, просто известные – у метро «Аэропорт» и т. д.). При Союзе были комиссии по распределению дачных участков и автомашин; в Литфонде у метро «Аэропорт» располагалось бюро пропаганды, от которого писатели ездили в командировки по всей стране, а в самом Союзе несколько комнат занимала иностранная комиссия, от которой «писательский цвет» катался по заграницам.

Ко всему прочему, некоторые из писателей получали безвозмездные денежные пособия, годовые стипендии (позднее для особо ценных и заслуженных работников пера ещё негласно установили немалые президентские стипендии). Не знаю, как другим, но мне Союз писателей представлялся гигантским спрутом, охватившим всю страну, даже Кремль. Как известно, его щупальца и раньше туда тянулись, но в последние годы там попросту обосновались писатели «общественники», возомнившие себя черт-те кем, – они верховодят в президентском совете, комиссии по помилованию (естественно, особенно активны всякие Приставкины, Вайнеры, Герберы, Розовские и сумасшедшие вроде Чудаковой).

Ну а главным достоянием рядовых писателей был их клуб – знаменитый ЦДЛ, и в первую очередь Пёстрый зал с автографами, пародиями и шаржами на стенах. Большинство этих каракулей оставили знаменитости, но в какой-то момент директор ресторана решил увековечить и современную элиту, а мне, как художнику Дома, предложил расписать «юморными» рисунками стену у буфета. Я, разумеется, не отказался и тем самым примазался к знаменитостям.

Как известно, Литфонд и, соответственно, ЦДЛ были созданы для «неимущих и пьющих» писателей, а поскольку большинство хороших поэтов и прозаиков именно таковыми и являются, то, естественно, они считали ЦДЛ своим вторым домом. Действительно, там царил семейная атмосфера, к писателям относились уважительно: гардеробщицы приветствовали, буфетчицы Анна Ивановна и Муся отпускали выпивку и сигареты в кредит, случалось, и официанты обслуживали в счёт будущего гонорара; тем, кто чересчур напивался, дежурные вызывали такси, а дебоширам грозили милицией. (Иногда не только грозили; но стражи порядка, как правило, подвозили дебоширов к отделению и прощались – всё-таки творческие личности! Правда, время от времени при входе в ЦДЛ вывешивались объявления, кому запрещалось посещать клуб месяц или два, но это были единичные случаи.)

В ЦДЛ можно было сразиться в шахматы или по телевизору посмотреть спортивную передачу, а в Пёстром зале запросто пообщаться со знаменитостями, провести вечер с подружкой, ну и, само собой, выпить с друзьями, благо в буфете красовалось полно всякой выпивки – от рябиновки до зубровки – и бутерброды были на любой вкус. Во время кампании за трезвость выбор выпивки стал скромнее – только коньяки и сухое вино, но водку умные люди покупали у официантов, а ещё более умные (мы, разумеется) приносили с собой.

Теперь-то всё это в прошлом. С приходом к власти «демократов» Союз распался на несколько писательских кланов, издательство «Советский писатель» развалилось, поликлинику продали каким-то дельцам из Израиля, многие Дома творчества оказались в ближнем зарубежье. От бывшего достопамятного ЦДЛ тоже мало чего осталось: часть Дома сдали в аренду коммерческим фирмам, Пёстрый зал превратили в элитный клуб с десятком официантов, Большой зал – в кинотеатр, где крутят боевики, а в ресторане цены взвинтили так, что

не подступишься, – там теперь гуляют новоиспечённые бизнесмены (по вечерам улицу Воровского заполняют «мерседесы» и «ауди»).

От всего ЦДЛ писателям оставили только подвальный буфет, но и тот закрывают в восемь часов. Конечно, важно не где сидеть, а с кем (с друзьями и скамья в сквере – уютное местечко, и дешёвое вино кажется коньяком), но всё же в знаменитом Пёстром была особая атмосфера, и не только семейственность – там витал дух великих предшественников, и это обязывало подтягиваться.

Теперь мало кто из писателей ходит в ЦДЛ; большинство стали нищими и сидят по домам; крайне редко встречаются, чтобы выпить по рюмке, вспомнить старые времена. Теперь можно с горечью сказать: «Прощай, ЦДЛ!». Судьба нашего родного Дома, оскорблённые и униженные писатели – это в миниатюре судьба всей страны; «демократический» ураган повсюду оставил после себя опустошение, обломки.

Стоит сказать ещё несколько слов о Союзе писателей. В отличие от ЦДЛ, где я провёл долгие (и, наверно, лучшие) годы, сам Союз, повторюсь, остался для меня каким-то непонятым монстром. Он находился в двух шагах от ЦДЛ – занимал соседний особняк (Дом Ростовых), в который можно было попасть через подвальный переход, да ещё размещался на верхних этажах ЦДЛ и в строении напротив Дома; плюс к этому – имел особняк на Комсомольском проспекте. До сих пор не могу понять саму структуру бывшего Союза – разницу между Союдами писателей СССР, России и Москвы. Получалось, что мы состояли сразу в трёх Союзах, что ли?

Собственно, вся эта мешанина меня никогда не интересовала, а сейчас и подавно, просто представляю, сколько секретарей и всяких замов грели руки на своих должностях, тем более что существовали ещё какие-то вспомогательные объединения, вроде группировок литераторов и драматургов и отдельно, для избранных, где-то на Цветном бульваре – ПЕН-клуб (в нём, кстати, наряду с хорошими писателями также пребывали всякие скандальные писаки вроде бездарного истерика Ткаченко, пошляка Вик. Ерофеева или разных особ, пишущих про оргазм и про всех, с кем спали).

Но вернусь в середину семидесятых годов. Почти все мои друзья-литераторы вступили в Союз писателей на год-два раньше меня; некоторые из них уже успели ухватить славу за хвост и вцепились в неё довольно крепко, ну а я, поскольку иллюстрировал их книжки,

немного примкнул к их славе. Эти мои друзья успели побывать во многих Домах творчества, поездить в командировки, а кое-кто и получить квартиры – эти последние и посоветовали мне подать заявление в жилищную комиссию.

Я жил с матерью, младшим братом и сестрой (инвалидом первой группы) в четырнадцатиметровой комнате. Кроме нас в квартире проживали ещё две семьи. Что это была за жилплощадь? Первый этаж, дощатые полы, по которым бегали мыши, газовая колонка; за окнами грохотали товарняки окружной железной дороги, а в подъезде круглогодично не давали прохода комары – как шутили жильцы, «стояли насмерть». Столом нам служил требующий ремонта кабинетный рояль «Шрёдер» (надеялись когда-нибудь его починить, но так и не починили); мать с сестрой спали на тахте, мы с братом кидали монету – кому укладываться на раскладушке, кому на полу под роялем.

Так мы ютились пятнадцать лет. И вот друзья, узнав про всё это, надавили на меня, чтобы я немедленно подавал заявление. Года полтора я тянул, считал неудобным сразу же клянчить жильё, тем более что работал в библиотеках, домой приходил только ночевать, а чаще ночевал в мастерских художников. Потом всё-таки написал заявление, и спустя год меня вызвали в жилкомиссию. Моё заявление зачитали после приблизительно таких:

«Я член Союза с (указан стаж лет десять), живу с женой в двухкомнатной квартире крайне стеснённо, поскольку пишу исторические романы и имею большую библиотеку, необходимую для работы. К тому же у нас очень шумный район, что не способствует творчеству. Прошу выделить мне однокомнатную квартиру под рабочий кабинет. Желательно в тихом месте».

«Я член Союза пять лет. Имею трёхкомнатную квартиру, в которой кроме меня проживает жена и взрослая дочь, которая вот-вот выйдет замуж. Прошу вместо моей квартиры предоставить мне две двухкомнатные».

Заявление драматурга Мишарина (представительного, чванливого типа с барскими замашками, надменного, уверенного в своей исключительности):

«У меня умерла жена, и я не могу находиться в своей квартире. Прошу предоставить мне другую и большую».

И вот в это, если можно так выразиться, зажравшееся окружение – попала моя записка: «Прошу предоставить любую комнату, в любой квартире, в любом районе». Когда его зачитали, члены комиссии засмеялись:

– Сейчас дадим ему комнату, а через пару лет он женится, потребует квартиру... Надо сразу давать квартиру.

Мне выписали смотровую на однокомнатную квартиру в доме на Олимпийском проспекте. У меня перехватило дыхание, дрожащим от счастья голосом я сказал, что согласен на квартиру без всякой смортовой. Так в сорок два года я наконец заимел собственное жильё.

При ЦДЛ для всех желающих были курсы иностранных языков и детская танцевальная студия; решили организовать ещё изостудию. Мазнин порекомендовал меня. Вначале я струсил и отказался, но, поразмыслив, решил попробовать провести один сезон... и вот уже двадцать пять лет как занимаюсь этим увлекательным делом. До последнего времени занятия с детьми были для меня, без преувеличений, праздником, особенно когда наваливались неприятности; дирекция ЦДЛ щедро снабжала нас всем необходимым, под выставки выделяла фойе, а для их обсуждения – Большой зал. Но теперь, при «диком капитализме», всё изменилось: у изостудии отняли шкафы, где хранились наши материалы и рисунки, мольберты и гипс поломали во время ремонта Дома; теперь краски и кисти родители покупают сами. Да и дети теперь другие, для них компьютерные игры интересней всякого рисования. Раньше изостудия ломилась от любителей рисования, теперь ходят пять, от силы семь учеников. Ради них и продолжаю занятия.

В Домах творчества я был всего два раза... по одному дню. Первый раз – лет двадцать назад – поехал в Планерское. Мне достался замечательный номер, вокруг благоухали цветники, погодка стояла – лучше нельзя придумать, но во всём Доме творчества я не увидел не только приятеля, но и просто знакомого – осмотрел все столы во время обеда – восседал совершенно нелитературный люд (в основном обслуга ЦДЛ, литфонда, врачи поликлиники, родственники писателей). Это обстоятельство резко ухудшило моё настроение. «Ладно, – подумал, – познакомлюсь с какой-нибудь симпатичной одинокой женщиной».

Три раза сплавал к буйку, ходил взад-вперед по пляжу – заметил немало симпатичных женщин, но все они не были одинокими. Я сник

ещё больше. Вечером решил выпить, но не тут-то было – в Крыму объявили сухой закон. Это доконало меня окончательно – ни поговорить, ни выпить было не с кем, а без вечерней выпивки с друзьями я свою жизнь не представлял. Сел покурить на скамью, и внезапно в моей голове что-то щёлкнуло, я представил, как в эти минуты друзья уже собрались в ЦДЛ... В общем, утром улетел в Москву.

Приблизительно в те же годы Л. Яхнин уговорил меня взять путёвку в Переделкино (он оттуда не вылезал, поскольку разводился с женой).

– Приезжай, – сказал, – днём будем работать, по вечерам выпивать, пригласим каких-нибудь барышень.

Мне дали светлую комнату с неплохим видом из окна. После завтрака я положил на стол бумагу, карандаш, закурил и стал отчаянно ломать голову – что бы такое написать. До этого были кое-какие задумки, передо мной что-то маячило, но здесь, как ни подстёгивал себя, ничего не мог выжать. Из соседнего номера, точно пулемётные очереди, доносился стук машинки Яхнина, а я вдруг понял, что здесь ничего не напишу, – уже привык к своей конуре, домашней обстановке, к старому, в ожогах и шрамах столу, настольной лампе и прочим обжитым, притёртым, бесценным для меня вещам. Короче, накурившись до одури и так ничего и не написав, я поехал проветриться в ЦДЛ, оттуда домой.

Через пару дней Яхнин позвонил:

– Ты куда пропал? Уборщица волнуется, «странный жилец, – говорит, – не появляется, но бумага и карандаш на столе лежат».

– А ты за меня черкани что-нибудь, чтоб она упокоилась, – сказал я.

На следующий день Яхнин позвонил снова:

– Вчера написал на твоих листах: «Жизнь и смерть негодяя». Роман. Глава первая... А сегодня уборщица сообщает: «Появился, начал писать роман». Так что, Сергеев, приезжай, дописывай.

Я так и не приехал. Вместо меня туда с радостью покати́л кто-то из друзей (то ли Мазнин, то ли Кушак), кто-то из них решил «отдохнуть от семьи и поработать в тишине». В дальнейшем эти субчики не раз писали от моего имени заявления на путёвки и всласть «отдыхали» два срока.

В командировки от Союза писателей я никогда не ездил. Однажды, лет через пять после получения членского билета, секретарь Союза Ф. Кузнецов сказал мне (между делом, когда привёл дочь в изостудию):

– Почему вы не берёте командировки? Мы ведь не бедные, на это у нас всегда есть деньги (в самом деле, многие ездили и за границу). Надо ездить, чтобы знать жизнь. Все ездят, а вы что, хуже?

Я давно мечтал побывать на Дальнем Востоке и, написав заявление, отдал его в секретариат Луковниковой (в то время гражданской жены Яхнина). Через некоторое время у неё спрашиваю, что с моим заявлением.

– Тебе отказали, – небрежно бросила Луковникова.

А месяц спустя встречаю Кузнецова:

– Ну, так и не надумали попутешествовать?

Я объяснил, что к чему.

– Опять Луковникова! – возмутился вождь Союза. – Ничего мне не передавала. Не первый раз так поступает, но уволить её не могу, за ней стоят определённые силы.

Только позднее я узнал, что в писательском Союзе давно идёт тайное противоборство между «патриотами» и «сионистами», а поскольку последних больше, они чаще и побеждают. И понял, почему Луковникова всегда пыталась доказать мне, что литература не моё дело. Много раз, сталкиваясь со мной где-нибудь в холле ЦДЛ, эта штучка ни с того ни с сего выдавала:

– Читала твою книжку. Слабая. Ни сюжета, ни характеров...

Или:

– Рассказы так себе. Скучота. Диалоги совсем не умеешь писать.

Яснее ясного, она это говорила с чётким умыслом, чтобы заронить в меня комплекс неполноценности, подавить мои устремления. Наконец однажды она проявила себя во всём блеске. В тот день, уходя с работы, она что-то выясняла с Яхниным у гардероба ЦДЛ (они решили разойтись, и накануне, по просьбе Яхнина, я отвез ей ключи от её квартиры). Я был выпивши и, увидев своего дружка, ринулся к нему. Он неловко заулыбался, махнул мне издали:

– Ты сидишь в Пёстром? Сейчас подойду.

Луковникова злобно взглянула на меня и процедила:

– Пьяная рожа! Русские совки!

Она процедила это тихо, для Яхнина, но у меня неплохой слух, я всё четко услышал и сделал вывод – она злобная русофобка. У Яхнина память не хуже, чем у меня слух, и если он соберёт в кулак совесть, то подтвердит то, что она произнесла. А мой вывод позднее подкрепил электрик И. Передельский:

– Давно известно, она махровая жидовка. А прозвище её знаешь? Исчадь Ада!

Самое странное, когда Яхнин с Луковниковой разошлись окончательно, и она перебесилась и успокоилась, от неё на меня прямо полилась приветливость: увидит – подходит с улыбкой:

– Как дела?

Я не здоровался, отворачивался, проходил мимо, но в следующий раз опять – улыбается: «Как дела?» И даже – «Как пишется?» Это продолжается до сих пор. Я не знаю, такая наглая беспринципность – издевательство или забывчивость за давностью лет, или готовность (в пику Яхнину) наладить дружеские отношения, или желание просто вдоволь порезвиться? Поди разберись, что на уме у этой литературной дамочки. Но что я знаю точно – Пёстрый зал она называет «гадюшником», а всех русских прозаиков и поэтов, пьющих в нём, – «подонками», а пьющих еврейских – «talантами». Или шутливо: «Вы такой умный и всё ещё на свободе!» Некоторых «talантов» (например, переводчика Л. Миля) она укоряла:

– Как ты можешь общаться с этими пьяными совками?! (Он сам об этом мне говорил незадолго до самоубийства, когда вернулся из Израиля).

Кстати, подобное, но в более мягкой форме однажды высказал известный поэт В. Соколов, когда мы обмывали вступление в Союз поэта В. Левыкина (Соколов дал ему рекомендацию). Мы сидели втроём в Пёстром, и Соколов, обращаясь к Левыкину, спокойным, ровным голосом произнёс:

– И что вы, Слава, постоянно здесь сидите... с этой пьянью? – он поморщился и кивнул за спину.

Я был поражён, ведь сам Соколов был большим любителем спиртного, но вдруг вспомнил, что он на моей памяти впервые выпивал в Пёстром, а до этого – только в ресторане; до меня дошло, что он попросту считает Пёстрый рангом ниже ресторана и презирает здешних завсегдатаев. (Позднее, демонстрируя нахальную величественность, Соколов вообще мог сказать своему товарищу Б. Леонову: Почему вы говорите со мной на «ты»?) А в день чествования Левыкина я ещё вспомнил, что мимо Пёстрого всегда, не оглядываясь, проносились Нагибин, Вознесенский, Окуджава и ещё немало известных личностей. (Евтушенко и Фёдоров, Искандер и Тряпкин, Поликарпов и Костров,

надо отдать им должное, не избегали неизвестных и малоимущих собратьев по перу). Между тем в тот день, когда мы чествовали новоиспечённого Левыкина, за спиной Соколова (в разных углах, за разными столами) сидели прекрасные поэты М. Шутов, П. Вегин, Г. Русаков, прозаик А. Афанасьев и другие, хорошие товарищи мои. Я не нашёл ничего лучшего, как выдать:

– Я тоже один из этой пьяни.

Классик не удостоил меня ответом. Поздравив Левыкина, он обшутился на поэтов, которые пишут о природе. Потом досталось и тем, кто пишет о городе.

Всё это было лет двадцать назад, а сейчас, во время «реформ» строителей капитализма, с некоторыми классиками и вовсе творится что-то невообразимое. Недавно открываю журнал «Наша улица», а там интервью с Астафьевым. Он отвечает корреспондентке: «Говорят мне: вы не любите русский народ... А чего его любить-то? За что я должен его любить? Предъявите мне документы, назовите по пунктам: за что я должен его любить?» Вот так вот! Не за что, значит, любить русских! Значит, чего-то не понимали Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Бунин.

Ну ладно, сейчас наш народ открыто презирают, смешивают с грязью всякие Боровые, Новодворские, Сванидзе, Немцовы, Кохи (последний договорился до того, что назвал Россию «ненужной страной»!), но это понятно – они нерусские, и сейчас их время, а тут вдруг человек, которого современники называют «живым русским классиком»! Такое не укладывается в голове. Позволительно спросить у Астафьева хотя бы такое – ничтожный народ мог создать великое государство?

В восьмидесятых годах для Союза писателей отвели земельные участки в Истринском районе (по шесть соток; теперь новые русские имеют по шестьсот). Я не хотел брать. Во-первых, не было денег на строительство даже щитового дома; во-вторых, выяснилось: пока это известие дошло до меня, хорошие участки уже разобрали, остались только в болоте (от них все отказались), и, чтобы их осушить, опять-таки требовались денежки, и не малые; но главное, ещё подростком я нарабатался на земле и все последние годы выбирался на природу только с байдаркой и палаткой. Уговорила жена брата. Она твёрдо сказала:

– Возьми! Я буду там разводить цветы.

Помню, я ещё долго кочевряжился, а теперь – надо же! – этот клочок земли – моя единственная отдушина. Конечно, и квартиру, и дачный

участок, и путёвки в Дома отдыха в те годы мог получить любой рабочий и служащий. Больше того, им давали бесплатные путёвки и в санатории, которые по комфорту превосходили писательские Дома творчества. И участки от предприятий выделяли не по шесть, как нам, а по восемь соток и в сухих местах, а не в комарином раю. Тем не менее, я исключительно благодарен Союзу писателей за все материальные блага и бесконечно благодарен за ЦДЛ, за общение с единомышленниками.

Кстати, среди работников ЦДЛ я никогда не афишировал своё писательство, и многие из них долгие годы не знали, что я член Союза. Я был для них руководителем изостудии (для некоторых – учителем их детей и внуков), своим художником, своим работником, с которым они получали зарплату, остальное их не интересовало. Был случай, когда меня даже не пустили в ресторан. В тот вечер я встречал знакомых из Ленинграда, чтобы посидеть в нашем кабаке. Накануне им сказал:

– У нас лучше всего, – и, усиливая выигрышность своего варианта, добавил: – В нашем ресторане даже президента Рейгана встречали.

– А будут свободные места? – спросили мои гости.

– Для литераторов всегда найдутся, – важно бросил я, не сомневаясь в победе.

И вот входим мы в зал, подскакивает старший официант (заменивший метрдотеля) Алексей и улыбается:

– Сегодня для художников мест нет. Извини.

В самом деле, за столами сидели одни писатели и, как всегда, несколько блатных, но один стол пустовал.

– А этот? – кивнул я.

– Ждём писателей.

– Но я, извини, тоже из их числа.

– Ладно врать-то! В душе мы все писатели, – Алексей засмеялся и удалился.

Как назло, ни директора ресторана, ни директора ЦДЛ не было, и я остался с носом. Понятно, мои гости презирали меня, и даже неплохая посиделка в Пёстром не сгладила мой позор.

В другой раз мы с бардом Е. Медведевым выпивали в Нижнем буфете, и он, подогретый, сказал, что сочинил «потрясную вещь».

– Пойдём в Малый зал, там же рояль, там и сыграешь, – предложил я в полной уверенности, что мне дадут ключи от зала, где я уже немало лет проводил занятия.

Мы поднялись, и я объяснил дежурной суть дела; она прекрасно знала меня, но вежливо заявила:

– Сегодня не ваш день (я занимался по воскресеньям). В будни зал только для писателей.

Медведев начал было доказывать, что я тоже писатель, но дежурная не поверила.

Однажды я выпивал с друзьями-художниками в какой-то мастерской. Мы приняли совсем немного и решили добавить в ЦДЛ. Только вошли, дежурная удивлённо вскинула глаза:

– Лёня, кого это вы привели?

– Да вот подобрал на улице, – отшутился я, кивнув на друзей.

– Но вы же знаете, что писатели – и те могут проводить только двоих, а тут вы, да ещё троих!

Хорошо, что у меня в кармане лежал членский билет (который дежурная долго рассматривала, с трудом веря в его подлинность). Кстати, с того дня она зауважала меня, даже как-то отвесила комплимент:

– Некоторые писатели напиваются так, что не стоят на ногах, а вы вроде тоже выпиваете, но мы не видели вас пьяным. Вы молодец!

На самом деле я просто боялся потерять работу (изостудию) и уходил сразу, как только чувствовал, что поплыл.

Гардеробщики ЦДЛ, с которыми я дружил и отмечал все зарплаты (я получал за изостудию меньше, чем уборщица, – пятьдесят рублей в месяц – и обычно столько уже был должен буфетчицам), узнали о том, что я пишу книги, только на моё шестидесятилетие.

– Что ж обманывал? Что ж не дарил книжки? – обиделись старики, когда я притащил им бутылку водки с закуской.

На том же юбилее в Малом зале брат развесил мои иллюстрации, и вдруг редактор «Малыша» Т. Васильева, которая знала меня сто лет, спрашивает:

– А чьи это работы на стенах?

Когда брат объяснил, она тут же предложила мне иллюстрировать книжку в «Онексе», куда перешла с начала перестройки. Вот так поздно я и открывался в новом качестве.

Но если работники ЦДЛ воспринимали меня только как художника, то в секретариате Союза многие вообще не знали, кто я такой, – это и понятно, я там никогда не появлялся. Однажды за стол, где мы с инженером Л. Доменовым выпивали, подседа

бухгалтерша Союза Я. Богданова и поинтересовалась: «Кто вы?» Я плоскоовато пошутил:

– Водопроводчики. Ремонтируем трубы в вашем Доме. Второй день вкальваем, а после работы вот... расслабляемся.

Бухгалтерша знала всех писателей в лицо – и поверила (почему не поверить, если у нас был соответствующий видок?). Только спустя полгода, когда я уже выпивал с её мужем, писателем, она узнала, что к чему, рассмеялась и с досады звезданула меня кулаком по спине.

Кстати, меня частенько принимают чёрт-те за кого. Был случай, когда я принёс рукопись в одно издательство, так редакторши приняли меня за посылного и стали совать мелочь на чай.

В начале девяностых годов, когда началась свистопляска «реформаторов», многих из нас перестали печатать; мы оказались на обочине, буквально без копейки в кармане. Я пытался устроиться сторожем, но мне (пятидесятипятилетнему) говорили:

– Староват. Сердце откажет – отвечай за тебя.

А тут ещё брат с женой крепко сели на мель. Короче, я обменял свою квартиру на меньшую в «хрущёвке», а доплату поделил с братом. Он свою часть положил на сберкнижку (в надежде жить на проценты), но после гайдаровского обвала остался ни с чем. Я успел потратить деньги: съездил в турпоездку по Европе и издал пару книг рассказов за свой счёт (нашёл захудалую типографию и за небольшую сумму получил самиздат). Слово «книга» к этой печатной продукции мало подходит: бумага газетная, обложки мягкие («летающие по воздуху», как говорят продавцы развалов), шрифт расплывчатый и всего по триста экземпляров, половина которых обрезана криво – в общем, сделал себе примитивный подарок. Тем не менее, я дарил друзьям эти раритеты. Некоторые (вроде Константина Сергиенко) не верили, что я печатаюсь за свой счёт.

– Не ври! – говорили. – Небось, нашёл богатого спонсора!

Другие (вроде Яхнина) верили и ворчали:

– Ты дурак! Впустую тратишь деньги! За свой счёт печатаются только графоманы!

Наверно, я действительно поступал глупо, тем более что раздарил всего штук тридцать-сорок экземпляров, остальные и сейчас валяются в сарае на участке (в магазинах их не взяли, «у вас нет имени», – сказали; точнее, в одном киоске взяли и даже одну книжку купили,

но тут же вернули, объявив: «Это не тот Сергеев», – оказалось, есть какой-то бард Л. Сергеев), только Яхнин забывал, что многие из этих самиздатовских рассказов я когда-то носил в известные журналы, но ни в одном их не напечатали. В некоторых даже говорили: «Подходят, берём», но «печатают» до сих пор (за всю жизнь ни разу не напечатали в большом журнале!). Вот и набралось с полсотни неопубликованных рассказов. Получалось, я зря над ними корпел. А так хоть друзья прочитали. В общем, об этом не жалею.

Теперь о наградах. У меня нет ни орденов, ни званий. Не стану ловчить, кем-то прикидываться, серьёзно заявляю: если б был орденосцем, испытывал бы стыд перед друзьями, которые не имеют никаких наград, но заслуживают их больше меня. А такое сплошь и рядом в искусстве. (Недавно Госпремию по литературе дали эстраднику Жванецкому – позорище! И это в стране великих писателей! До чего докатились «демократы»! Впрочем, сейчас среди «народных» артистов туча шоуменов и безголосых певцов, всяких Ярмольников, Макаревичей, Якубовичей – разве их можно поставить рядом с действительно народными Жаровым, Крючковым, Ильинским?!)

Короче, мне наплевать на награды, на всю эту мишуру, другое дело – отношение к тебе как к человеку, который всё-таки кое-что сделал в своей области. Ну куда это годится: сидим в ЦДЛ Коваль, Яхнин, С. Иванов и я, вдруг подходит П. Френкель (полу-литератор-полуфункционер, живущий то в России, то в Германии) и раздаёт моим друзьям бланки для выдвижения на диплом Андерсена, а мне даже и не кивнул, хотя мы знакомы десятки лет (он работал в журнале «Детская литература»), вроде я – дерево, часть интерьера в зале; на его физиономии так и читалось – да, я проталкиваю только «своих». Ну ради приличия хотя бы сказал: «А тебе в другой раз». Или: «Так мы решили». Или пошутил бы: «Извини, бланков маловато». Хоть что-то сказал бы, но нельзя же человека так унижать! Повторяю, мне все эти дипломы до лампочки, но в тот момент почувствовал жуткий стыд – не потому, что для Френкеля оказался пустым местом, а потому, что он так неприкрыто грубо это показал.

И за друзей стало стыдно: они бросились лихорадочно заполнять бланки, не испытывая ни малейшей неловкости от ситуации, похоже,

посчитали – всё в порядке вещей, они заслужили дипломов, а я нет; им не хватало лишь сказать: мы, евреи, таланты, а ты посредственность. Ну а себя в те минуты я просто-напросто презирал, ведь ещё некоторое время сидел как истукан за столом, не зная, куда деться.

И всё же одна награда у меня есть. Как-то мы с Ковалём выпивали в Пёстром, вдруг подходит Ирина Евтушенко (однофамилица поэта, работала в секретариате Союза писателей):

– Я хочу вам дать по медали «Ветеран труда». Вот бумага, пишите свои данные.

Я сразу решительно отказался.

– Мне не надо. В нашем отечестве порядочный человек не может иметь награды. За редким исключением.

– А мне надо, едрёна вошь! – засмеялся Коваль. – Давай медаль! Где писать?

– Эта медаль почётная, – продолжала Евтушенко и дальше стала объяснять разницу между всякими званиями, лауреатством и этой медалью.

Я понял только одно: что её дают не за мастерство, а за долголетие в писательском Союзе, и отошёл к стойке буфета; в очереди разговорился с кем-то и обо всём забыл. Через месяц Коваль мне говорит:

– Иди получи медаль у Ирки. Я получил, а твоя тебя ждёт. Я твои данные тогда записал.

Я махнул рукой и никуда не пошёл. Но тут Мазнин стал меня допрашивать:

– Получи, получи медаль, пригодится. Ты ж, балда, Ирку тем самым обижаешь.

Потом Евтушенко сама подловила меня в ЦДЛ и вручила медаль:

– Нам дали на Союз всего пятьдесят медалей, но именно тебе в первую очередь я и хотела её дать, потому что ты никогда ничего не просишь, никуда не лезешь.

Я поблагодарил Евтушенко, но сказал:

– На фиг она мне нужна?

Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет, когда произойдет «криминальная революция» и наступит разбойничье время, когда буду жить только на мизерную пенсию, благодаря этой штуковине смогу хотя бы меньше платить за квартиру. Ну а до этих событий я решил вновь, как в юности, походить в библиотеку «Ленинку», поскольку

за последние годы почти ничего не читал. Пришёл записываться, но получил от ворот поворот.

– Уже давно записываем только тех, кто имеет диплом об окончании института, – строго сказала регистраторша.

– Диплома у меня нет, – говорю, – но я член двух творческих Союзов (второй – журналистов, где я состоял в секции графиков).

– Всё равно. Нам нужен только диплом.

– Как же так? – растерянно бормочу и бросаю последний козырь: – У меня есть медаль.

– Мы и с орденом не записываем, – безжалостно, как оплеуху, выдала регистраторша, но, подумав, сказала: – Подождите, я позвоню в дирекцию...

С превеликим трудом, после долгих телефонных разговоров мне выдали одноразовый читательский билет. И всё благодаря медали. А между тем в каталоге библиотеки числилось около десяти моих книг.

К моему шестидесятиемилетию Московская писательская организация выпустила сборник моих рассказов «Заколдованная» (сто экземпляров) и за него дала премию им. С. Есенина. Эта премия не от каких-то олигархов, она от истинно русской организации. А потом я получил Первую премию за повесть «Железный Дым» о своей собаке (Всероссийский конкурс на лучшую детскую книгу о животных). Благодаря этой премии вышла книжка о Дыме с его фотографией на обложке – для меня это лучшая память о моём лохматом друге и наших с ним байдарочных походах.

ПУСТЬ СМЕЮТСЯ НАД НАМИ

После смерти матери ко мне зачастили друзья – где ж ещё удобней собраться? – от ЦДЛ всего-то пятнадцать-двадцать минут на такси (за три рубля), да и места в квартире полно, всегда можно переночевать; кое-кто заваливался с подружками, а я шёл с собаками на озеро или оставлял ключи и направлялся в писательский клуб.

Смех разбирает, когда вспомню дружков, перебивавших у меня. Вот уж были растяпы, так растяпы! Они ползали перед подружками на животе, читали стишата (рассматривали встречу с какими-нибудь

никчёмными особами как величественное событие.) Некоторые из этих растяп уже на небесах, и теперь в компании мы часто потешаемся над ними. Всякие праведники нас осуждают, а мы в ответ:

– Когда дадим дуба, пусть смеются над нами!

Именно в то время у меня появились новые серьёзные друзья: прозаики Владислав Егоров, Михаил Ишков и драматург Валерий Шашин. С этой троицей я выпил бочку водки – никак не меньше – и вёл захватывающие разговоры и огненные споры. К слову сказать, мы были пьющие, но не любили пьяных – тех, кто сильно перебирал и выпивал ежедневно без всякой меры; с такими нам было не по пути, мы всё-таки корпели над рукописями.

Сатирик Егоров – мощная личность: большой, тучный, с вертикальной полоской торчащих усов «каплеуловителей» – а-ля Гитлер, не упускал случая поучить меня житейским премудростям (он был старше на год), даже тем, которые мне были совершенно не нужны (банному делу, изготовлению холодца, всяким соленьям, моченьям), но всегда это делал тактично и вроде бы ленивым, глуховатым, но теплым, обволакивающим голосом.

Он вообще выглядел сонливым толстяком: казалось, положи его на пол – и он тут же уснёт. Только разговоры о литературе (в ЦДЛ) действовали на сатирика освежающе; отстаивая свои взгляды, он вначале повышал голос, а потом и начинал горлопанить. А окончательно расходился в спорах о политике – тут уж его, бывшего журналиста «Правды», задевало за живое, у него появлялась молниеносная реакция, лидерские замашки: он багровел, на несогласных зыркал испепеляющим взглядом, рычал и рывкал, стучал палкой (последние годы он болел и ходил с трудом); от его всесокрушающего напора оппоненты смолкали и съёживались, а единомышленники расправляли плечи – им сатирик подмигивал: мол, пока я с вами, вы в безопасности.

Егоров был крайне вспыльчивым, за его внешней невозмутимостью и спокойствием (порой даже вялым равнодушием) всегда чувствовалось страшное внутреннее напряжение – достаточно было одного неосторожного слова, чтобы в его глазах появился воинственный блеск; ещё пара слов – и он рвался в бой (как-то, разбушевавшись, даже дал в морду таксисту-хаму). Такой в нём был богатый ассортимент чувств, я называл его «старый вояка».

Загородник Ишков – высоченный, с копной седых волос и, как и Егоров, усатый, но, в отличие от усов сатирика, его усы горизонтальные, и, не в пример сатирику, Ишков постоянно настроен на борьбу, он жить не может без споров на любую тему, и, надо признать, от него исходит дух победителя.

Будучи историком, Ишков клепал фундаментальные исторические романы и натаскивал меня по части далёкого прошлого нашего отечества. Скажу сразу: знания у моего друга колоссальные, спору нет (рядом с ним я чувствовал себя хилым горожанином в джунглях), но его романы (из серии «Великие тираны» – все эти Калигулы, Ироды, Коммоды) обрушивают на читателя дюжины имен и фактов, но плоховато создают экспозицию Древнего мира (близкую к реальности), от этого всё выглядит немного схематично, так мне кажется.

И вообще неясно, на кого рассчитаны эти книги; если на студентов-историков – это одно, это куда ни шло, а если на неподготовленного читателя вроде меня – то это труднопреодолимое чтиво. Хотя, конечно, блок его романов впечатляет своей массой – представляю, сколько наш друг просидел в библиотеках и в Интернете, это адская работа. Ишков всё сокрушался, что у него «нет имени» (хотя его романы продаются во многих магазинах, а «имя» есть у тех, кого «раскручивают», – известное дело, за деньги). Как-то заявил:

– Эти мои романы – моя последняя надежда.

– Надежда на что? – попытался я уточнить.

– На то, что сделаю имя, стану известным, – историк пустил в ход оружие ближнего боя.

– На фига тебе это?

– Ну ты даёшь! – историк злодейски сверкнул глазами и дал залп из тяжёлого орудия: – Не понимаешь, что ли, – сразу другое отношение к тебе, сразу пойдут заказы! – и, как бы собирая военные трофеи, заключил: – У тебя нет заказов, потому что ты неизвестный.

Во время разговоров о литературе Ишков становился не просто резок в оценках, он становился беспощаден, никому не давал спуска (особенно тем, кто писал развлекательные рассказы, и популярным детективщикам, которых рвали на части); от него только и слышалось:

– Дурь какая-то! Суррогатная проза!..

Как-то прочитал рассказы Валерия Рогова (нашего общего приятеля, прозаика-тяжеловеса, работающего основательно, со знанием

дела) и в редакции «Советского писателя», будучи выпивши, врезал автору в глаза:

– Хреновина!

Рогов пожал плечами и, расстроенный, вышел из комнаты. Шашин, который присутствовал при этом, набросился на Ишкова:

– Мишка, ну что ты молотишь?! Прочитал два рассказа, ничего не понял, оскорбил человека. Ты знаешь, что у Рогова есть отличный роман?

Когда Рогов вернулся, Ишков воскликнул:

– Валера, ну прости! Хочешь, встану перед тобой на колени? – и брякнулся на пол; потом поднялся: – Но пишешь плохо.

Ишков никак не мог расстаться с провинциальными замашками; частенько кого-то изображал (здесь его талант очевиден, здесь он накопил достаточно мастерства). Взять хотя бы его наигранные предпосылки:

– Можно выругаться?

Или:

– Можно я скажу прямо? Я по-другому не могу. Мне твоя вещь понравилась (тому же Рогову).

А то вдруг выступает в роли сурового судьи. Недавно выдал Шашину весомое обвинение:

– Хороший ты был мужик, пока не бросил пить.

А потом досталось и мне (когда я что-то ляпнул):

– Ты это серьёзно? Я всё ждал, когда ты скажешь то, что ясно и детям. Дождался, ха-ха!

Но у Ишкова есть немалое достоинство – он умеет слушать собеседников и не раз произносил:

– Да, ты прав, а я не прав.

Во время споров о политике Ишков вскакивал, ударялся головой о люстру и, размахивая руками, с дикими усилиями (до заиканий) доказывал свою правоту, а потом внезапно стихал, опускался на стул.

– Не о том говорим, – бормотал. – Наше дело – писать, рукопись убедительней всего.

Ишков живёт в Подольске и в первые годы после наших застолий иногда оставался у меня ночевать, предварительно позвонив жене (семейное счастье он оберегал, как святое, и, кстати, у себя, в домашней обстановке, становился мягким, улыбчивым, играл на гитаре, пел туристские песни; в своём доме к друзьям он предельно внимателен

и даже нежен). За бутылкой мы вели захватывающие разговоры – это были самые длинные ночи в моей жизни. И самые прекрасные. Благодаря Ишкову я здорово поумнел.

Окончивший литинститут (вместе с Шашиным), глубоко начитанный Ишков по-настоящему сведущ во всех областях литературы, но ему не хватает художнического взгляда на жизнь. Он всё говорит и пишет правильно, умно, но где образность, метафоричность? Мы с Шашиным ждём от него шедевров (его потенциал огромен), а он в спешке выдаёт обычное чтиво, чуть лучше всяких набивших руку ремесленников.

Сейчас Ишков работает ночным сторожем на заводе (сутки дежурит, трое свободен; за смену успевает и потрепаться с рабочими, и посидеть над рукописями, и поспать) – ему постоянно приходится подрабатывать (младшему сыну нужна квартира, жене – санаторий, лечить больные ноги), он берётся за любую «вспомогательную» работу (попросту халтуру): надо сделать путеводитель по Подольску – делает, надо написать детектив – пишет, надо придумать компьютерные игры – придумывает (и всё на неплохом уровне); а работу для души оставляет на будущее, и мы с Шашиным тревожимся – как бы эта гонка не вышла нашему другу боком.

Не так давно прозаик Юрий Перов предложил Ишкову писать сценарии для телефильмов. За короткое время наш неутомимый друг настряпал десяток серий, довольно средних, без особых находок.

– У меня по утрам голова кипит от планов, – говорит, – и я сразу бегу к столу.

– Тебе, Мишка, главное – заработать деньги, – возмущался Шашин. – Тебе всё равно, что писать. Что ни предложат, хватаешься. Разбрасываешься! Ты стал чересчур прагматичен. И такое впечатление, что катаешь первое, что приходит в башку.

Я тоже наседаю на «многостаночника»:

– Ты совсем спятил в погоне за деньгами. Деньги всем нужны. Я подрабатываю на своей колымаге – развожу и таскаю книги. Устройся сторожем ещё куда-нибудь, такого здоровяка везде возьмут. Но халтурить в литературе – последнее дело.

– Ну что вы от меня хотите?! – вспыхивал Ишков. – Ну не могу я делать лучше, графоман я!

– Не болтай ерунду! – останавливал его Шашин. – У тебя есть отличный фантастический роман, и ты сам хвастался – в столе куча рассказов. В романе есть немного мусора, но я готов отредактировать.

Шашин подробно пересказывал действительно интересный сюжет. Ишков слушал и посмеивался в усы – похоже, считал, что его роман и без всякой редакции – эталон мастерства.

Кстати, несколько раз Ишков ездил обсуждать сценарии к Перову в Переделкино (тот, как и подобает классику, работал в Доме творчества). Позднее Рогов говорил:

– Я тоже там недельку жил в соседнем номере. Мишка пять раз приезжал к Перову, ко мне даже не зашёл поздороваться. Заработался!

В конце концов наша с Шашиным проработка автора исторических романов пошла ему на пользу – он стал бережней относиться к друзьям, но главное – написал два романа, которые назвал «гениальными» (вроде действительно сделал гигантский шаг вперёд).

Шашин, можно сказать, выглядел юношей в нашей группе (и сейчас таковым выглядит – ему чуть перевалило за пятьдесят), но, пожалуй, он-то и был самым рассудительным – все отмечали цельность его натуры. (Как и Егоров, внешне он спокоен, но внутри его нервы всегда напряжены, и случается, это напряжение выходит наружу – в виде вспышек раздражения.)

Шашин – плотный молодец, всегда гладко выбритый, без всяких украшательств в виде усов и сложных шевелюр, немногословный, дотошный аккуратист, – постоянно делал мне выговоры за неухоженность и прокуренность квартиры:

– Не можешь сделать ремонт! Хотя бы поклеить обои!.. Жена по запаху узнаёт, что я был у тебя, сразу стирает мою одежду, а меня отправляет в ванную – смывать впитавшийся никотин.

Во время споров Шашин редко выходил из себя, а если и выходил, то выбирал выражения (не то что мы), хотя порой чувствовалось – это ему даётся с трудом. За прошедшие годы он всего однажды вышел из себя, правда, впечатляюще: выкинул дурацкую шутку – позвонил моему неуравновешенному, мнительному брату и, изменив голос, прогундосил:

– Вам звонят из издательства по поводу вашего романа. В нём мало секса, и надо поменять вашу фамилию на женскую.

Брат жутко расстроился. А Ишков справедливо объявил шутнику:

– Ты становишься опасен!

Попутно замечу: Шашин никогда не приезжал ко мне (безденежному) без сумки с продуктами, в отличие от Ишкова, который раньше, даже обмывая очередной роман, являлся с одной бутылкой. Правда, позднее стал приезжать и с банками закуски. Зато свои дни рождения Ишков отмечает с купеческим размахом – устраивает для нас гастрономический беспредел, стол прогибается от яств, наливков (собственного изготовления) и всевозможных маринадов – фантазиями его жены, виртуозной кулинарки, – и всё с крохотного, две сотки, участка под Подольском.

К слову, на том участке Ишков сколотил из горбыля времянку – что-то вроде шалаша, и вдруг недавно, когда Шашин позвонил в Подольск, чтобы пригласить Ишкова обмыть книжку Рогова, услышал голос жены Ишкова: «А Миша на участке делает веранду». Мы с Шашиным чуть не умерли от смеха – веранду к шалашу! И делает Ишков, который с трудом отличает гвоздь от шурупа.

У Ишковых отличная родня: брат с женой – астрономы, старший сын с женой – китаисты, племянница и внучка – талантливые девчушки; в застолье они все блестящие рассказчики. Бывать в их семействе – радость. А вот в семействе Шашина – сплошная грусть, что понятно – там произошла трагедия. Жена Шашина после гибели их сына (нелепой смерти подростка) стала странной особой – ей всюду мерещатся микробы; из-за этой болезненности она крайне редко выходит из дома (всего один раз пришла в ЦДЛ на просмотр фильма), ни с кем не общается и не принимает гостей. Естественно, у Шашина не собираемся; его дни рождения отмечаем у меня.

Особо надо подчеркнуть щедрость Шашина: нам с братом он отгрохал королевские подарки – компьютер и принтер, а младшему сыну Ишкова на свадьбу – «Ниву».

Ну и главное – Шашин написал девять пьес (каждую подолгу «утаптывал, утрамбовывал»); он прирожденный драматург, блестящий сюжетчик, ему придумать захватывающую фабулу – раз плюнуть. Одна из его пьес – «Поджигатель» – первоклассная вещь (шла в «Театре современной пьесы» и на телевидении), но у нашего друга нет связей в театрах, и восемь его пьес лежат в столе. Недавно Шашин написал два отличных телесценария, но,

как известно, на телевидении одни «свои», и влезть туда невозможно. И всё же я верю – рано или поздно по этим сценариям снимут фильмы, а на пьесы нашего друга будут сбегаться зрители со всей Москвы.

Нельзя не упомянуть то, что объединяет Ишкова с Шашиным, – это категоричность суждений. Они никогда не говорят «по-моему», «пожалуй», «мне кажется» – сразу рубят с плеча: только так – и basta! Никак не помудреют, черти. К тому же оба моложе меня и могли бы поуважительней относиться к моей лысине.

Спустя несколько лет, после того как я переехал в Тушино, Шашин бросил пить и стал над нами посмеиваться:

– И не надоело вам отравляться?! Сколько можно!

Стоило нам обмолвиться, что «к чаю любим сладкое», как он усмеялся:

– Как все алкаши! Ты, Сергеев, вообще опасный пьяница: сильно не пьянеешь, остаёшься хорошим собеседником, и с тобой друзья хотят ещё выпить.

Позднее он серьёзно ударился в религию и уже устраивал Егорову и Ишкову более жёсткие выговоры, а меня и вовсе выбрал основной мишенью: стоило мне заикнуться, что прежний фильм «Идиот» (с Яковлевым и Борисовой) намного лучше последнего, как мой друг заключал:

– Ты старый, нелюбопытный!

Особенно Шашин лупил меня за безбожье (он находился под сильным влиянием товарища по литинституту Игоря Исакова): постоянно подсовывал мне религиозные книги, напоминал про Страшный суд:

– Учи: когда ты ругаешься, Дева Мария плачет!

Как и многие воспитанные советской властью, да ещё будучи недоучкой, я в религии полнейший дилетант, круглый невежда. Я обеими руками за идеалы православной веры, с благоговением взираю на храмы, меня увлекают торжественные ритуалы, слова священнослужителей (за исключением идолопоклонства перед иконой, да ещё приписывают ей какие-то лечебные свойства), но, как говорили немецкие философы, «христианство унижает и порабощает человека». В самом деле, ведь оно призывает «возлюбить врагов своих, благословить ненавидящих вас, обижающих и гонящих вас.» Потому-то православное смирение похоже на рабство (особенно

сейчас, когда русский народ открыто грабят, называют быдлом, но он всё терпит).

И я не верю в Бога (уже вроде объяснены «плачущие» иконы и явления святых; да, собственно, и «венец природы» уже получают в пробирке!) И, как известно, церковнослужители не отличаются святостью: наши, православные, в прошлом сотрудничали с КГБ, а теперь подпевают «демократам»; о католиках и говорить нечего – больших интриг и разврата, чем в Ватикане, трудно представить, а теперешние кардиналы и вовсе занимаются растлением малолетних. Как-то мы в очередной раз подняли эту тему и Шашин начал перечислять великих учёных, верящих в Бога, но я его остановил:

– За свою жизнь я видел кое-что необычное, но никогда не ощущал присутствия ни Бога, ни дьявола – хоть убей! – не ощущал. Чехов говорил Бунину: «Как врач скажу вам – никакой второй жизни нет. Могу это доказать как дважды два. Бессмертие после смерти – сущий вздор». Я верю в сверхъестественную интуицию, в телепатию, даже в параллельный мир, но всё это в той или иной мере объяснимо научно, и Чудотворец здесь ни при чём. Я верю Дарвину, я от обезьян, а ты, возможно, творение божье.

Шашин, отбросив всякую христианскую терпимость, агрессивно пытался раздолбать моё стойкое невежество, но я выдержал удар.

Кстати, не смог меня разубедить и поэт и настоятель храма Владимир Нежданов, и бывший прозаик, а теперь священник Ярослав Шипов (то ли они плоховато знают предмет, то ли я непробиваемый тупица). А вот брат Ишкова, серьёзный учёный-астроном, встал на мою сторону, да ещё растолковал, что «законы небесной механики прекрасно обходятся без Бога».

Что ещё я говорил Шашину?

– ...По-моему, большинство людей верят в Бога не потому, что пришли к нему из-за потребности души, для самосовершенствования, а в результате библейских мифов, необъяснимых явлений. Для них Бог – защита от всех бед, убежище от житейских проблем. И не грешат они не из-за нравственных убеждений, а из-за боязни возмездия в аду. Для многих религия – страх перед исчезновением навсегда и, естественно, надежда на воскрешение и вечную жизнь. Сейчас некоторые и ради моды ударились в религию, такие просто хотят украсить свою жизнь.

Мой дружище возмущался, доказывал, что все мои рассуждения – дурацкие, а вопросы идиотские – их может задавать только человек с мозгами Буратино. Недавно он и вовсе заявил со смешной инфантильностью:

– Мой батюшка сказал, чтобы я не спорил с тобой...

Пусть не спорит – его дело, но уж если ты такой святоша и всех осуждаешь за малейшие промахи, то и сам должен поступать безупречно, а он устраивает по интернету встречи «для секса», даёт советы своему другу Юрию Перову, как писать о проститутке (тот издал роман «Толстушка»), – странная ханжеская позиция. Интересно, как на это смотрит Дева Мария?

Год назад мой дорогой друг отмочил совсем уж не христианский номер. Ему и Ишкову я подарил по картине; Ишков повесил у себя на видное место, а Шашин, неблагодарный гусь, отдал своей знакомой; позднее и вовсе сообщил приятное – будто эта его знакомая продала картину за доллары писателю-детективщику М. Рогожину. Ну ладно, не понравилась тебе моя картина – засунь её под тахту, но так поступать по православным заветам? Я ж ему, драгоценному, от всего сердца подарил, и в работу вложил немало чувств, старания, красок и прочего. К тому же прежде показал десяток картин и сказал: «Выбирай!» На кой чёрт выбрал?! Мог бы под любым предлогом отказаться. Не стал же брать книгу у Климонтовича, когда тот подписывал мне свой очередной том, – тогда сказал просто: «А мне необязательно».

Ох уж эти глубоко церковные люди! Они живут высшими понятиями, а мы, безбожники, мелочовкой. Но если серьёзно, без религии народу не обойтись, и Шашин прав – только православие может объединить русских. И у власти должны находиться верующие люди, тогда будет поменьше воровства и негодяйства. И признаюсь: хотелось бы, чтобы наши души были бессмертными, – ведь тогда мы встретились бы на небесах.

Шашин – человек увлекающийся. Недавно круто развернулся (прочитал книгу Истархова «Удар русских богов») и встал на мою сторону, заявив, что разуверился в христианстве.

Ну, так вот, эта троица здорово украсила мою холостяцкую квартиру. Иногда к нам присоединялся Рогов. Обычно после того, как ставил точку в очередном фундаментальном романе, или когда находила хандра

и не писалось, или после радостного события – купил новую машину, компьютер (который до сих пор не освоил, что вызывает усмешки у компьютерщиков-виртуозов Шашина и Ишкова), или после трагедии, когда спалили его дом под Касимовом, где в течение многих лет он работал.

Внешне Рогов выглядел здоровяком, медлительным, степенным, как и подобает лауреату всяких премий; на бытовые темы говорил спокойно, убедительно, но, как и Егоров и Ишков, в спорах о литературе и политике расходился не на шутку – правда, не вскакивал и не размахивал руками, продолжал сидеть, скрестив руки на груди в позе Наполеона – вроде руководил сражением.

Несмотря на азартные споры, во многом мы были единомышленниками и потому сильно привязались друг к другу. Мне очень дорого то время. Наша связка и сейчас крепка, мы и сейчас собираемся у меня, но... уже без Егорова. К большому огорчению, наше спаянное братство недавно поредело – болезни доконали Егорова, он умер. Это большая утрата для всех нас. Царство ему небесное, если оно есть! И пусть, как говорится, земля ему будет пухом! Кстати, на похоронах именно Шашин сказал самые проникновенные слова.

Понятно, человеческая жизнь и должна быть ограничена временем, чтобы мы спешили делать что-то полезное, но всё же несправедливо, когда из жизни уходит человек в цветущем возрасте.

Последние годы Егоров на лето снимал комнату на станции Правда, где в окна лезли ветви яблонь. По утрам он бродил по лесу, собирал грибы; днём писал за столом у «яблоневого окна», по вечерам прогуливался по посёлку, «набирался дачных впечатлений».

Как сатирик Егоров был продолжателем традиций Салтыкова-Щедрина и, в отдалённом плане, – Грибоедова, Гоголя. Как известно, сатира – крайне сложный жанр, в котором легко впасть в шаблонный набор приёмов, банальщину и фальшивость. Я убеждён, именно этим и отличаются современные сатирики в нашем Отечестве. Понятно, большинство из них нерусские, да ещё оголтелые «демократы», и, без сомнения, потому-то их произведения пропитаны желчью, ёрничаньем, злорадной насмешкой, неприкрытым презрением к русскому народу. Собственно, всё их творчество преследует четкую цель – поиздеваться над нашей страной. Не случайно герои их произведений – сплошь русаки-глупцы, непросяхающие пьяницы (разумеется, герои-соплеменники – все как

один непьющие, остроумные, доброжелательные). И это делается с ядовитым умыслом – вселить в наш народ комплекс неполноценности, чтобы он, обворованный, униженный, не поднимал головы. У этих злодеев всё чётко продумано.

Сейчас, во время «демократической» пирушки, «мастера» сатиры заполонили всю эстраду, их сборища ежедневно показывают все телеканалы, в издательствах том за томом выходят их сочинения, но у любого более-менее подготовленного читателя такое чтение не вызовет не только смеха, но и улыбки, а у знакомого с Салтыковым-Щедриным, Твенем, Чапеком, Гашеком вызовет отвращение.

В отличие от ныне процветающих сатириков, Егоров – истинно русский писатель и показывает нелепости нашей жизни в мягкой ироничной форме. Некоторые его вещи даже не сатира, а грустный юмор, за которым видна боль за нашу страну. Неутихающая боль.

Егоров только в зрелом возрасте серьёзно занялся литературой. Не стану кривить душой, многое из его первых сочинений мне принять трудно (по качеству текста), но, естественно, о творческом человеке надо судить по его лучшим работам, поэтому перечислю рассказы Егорова, которые без преувеличений можно назвать первоклассными: «Пасхальные яйца», «Собачья жизнь», «Молитва», «Рай».

К сожалению, эти рассказы – последнее, что написал наш друг; тяжёлая болезнь оборвала его жизнь. Сыграли свою роль и события последних лет: он остро переживал разрушение нашей страны, ведь был подлинным патриотом, каких сейчас мало. Я имею в виду тех, кто открыто подаёт голос, а не просто бурчит под нос – таких-то полно.

Незадолго до смерти Егоров решил издать книгу за свой счёт и стал собирать рукописи, но не успел. На сороковинах Шашин, молодчина, объявил, что сделал компьютерный набор всего, что написал наш друг, и для издания книги нужны деньги – их дал старинный друг Егорова, главный редактор «Правды» А. Ильин. Ишков, Рогов и я тоже примкнули к этому благородному делу – написали по странице «Памяти друга». Книгу Шашин сделал замечательную, она – лучший памятник нашему другу.

Я часто вспоминаю Егорова... Бывало, звонит, и с нарочитой деликатностью подтрунивает надо мной:

– Это квартира известного писателя Леонида Анатольевича? Вас беспокоит никому не известный скромный литератор Егоров. Я глубочайше извиняюсь, но позвольте узнать, какие у вас планы завтра? Как вы смотрите на то, что мы соберёмся у вас в небольшом дружеском составе? С Ишковым и Шашиным я уже договорился. Мои больные ноги подсказывают, что завтра будет дождь, а в дождик хорошо беседовать.



Сергиенко К.



Мешков К.



Цыферов Г.



Коваль Ю.



Постников Ю.

ДО ВСТРЕЧИ НА НЕБЕСАХ!

(Записки старого ворчуна)

**Бесценнейшим из драгоценнейших,
великолепнейшим из прекраснейших,
друзьям моим, сочинителям детских книг**



Шульжик В.



Тарловский М.



Мезинов Л.



Снегирёв Г.



Яхнин Л.



Успенский Э.



Мазнин И.

В ЦДЛ писателей и гостей снимал фотограф с огненно-рыжей, «пылающей» шевелюрой и такими же усами, в ярко-красных рубашках, от которых прямо било жаром. Его звали Гера Беляков; он называл себя «бывшим шофёром-дальнобойщиком» – понятно, эта профессия придавала облику Геры дополнительный вес. Гера считался мастером групповых портретов. Он подходил к писателям (или гостям) и, улыбаясь в оранжево-рыжие, даже красноватые (от курева) усы, говорил:

– Ваши лица просятся на групповой портрет. Встаньте, пожалуйста, сюда. Поплотней, но не слишком. И улыбайтесь!

Делал Гера и индивидуальные портреты, но с меньшим удовольствием, чем групповые. Он вообще любил всякие сборища – похоже, когда шоферил, ему не хватало общения, и, сменив профессию, он навёрстывал упущенное. Я называл его групповые портреты «нагромождением тел и лиц», но Гера не обижался и поэтично провозглашал:

– Эти портреты как букет полевых цветов, где один цветок оттеняет другой. Когда на снимке много разных лиц, подчёркивается своеобразие каждого. Они смотрятся на контрасте.

Стоило клиенту появиться в его закутке-ателье, Гера сразу, без всяких вопросов, показывал на стул:

– Сюда, пожалуйста, и улыбайтесь!

Случалось, клиент недоумевал:

– Почему вы не спросите, как я хочу сфотографироваться?

Гера спокойно пояснял:

– Если фотограф спрашивает, как вас снять, – сразу уходите. Мастер должен знать, как именно снимать, – Гера прищуривался и щёлкал пальцами.

После такого ударного объяснения становилось ясно – он-то мастер своего дела, и ему можно доверять на все сто процентов.

Перед съёмкой Гера долго устанавливал свет, поворачивал клиента в разные стороны, приподнимал и опускал его голову, при этом приседал, вставал на носки, прищуривался, рассматривал «натуру» и так и сяк. Глядя на эти скрупулёзные неторопливые приготовления, я думал, что у профессионала в работе и не должно быть спешки, азарта, другое дело – настрой. Мне вспоминался Лермонтов: «Глубокая река не допускает бешеных порывов».

Что немаловажно: подготавливаясь к съёмке, Гера непременно спрашивал у клиента:

– Вы относитесь к миру писателей или к другому миру?

И после того как клиент объяснял, из какой он сферы, находил общих знакомых и тем самым устанавливал дружеский контакт. В заключение Гера непременно выдавал качественную формулу:

– Улыбайтесь! Вы наверняка знаете, что улыбка красит лицо. – Вспомните что-нибудь хорошее...

При встречах с Герой я всегда растягивал рот и думал: в самом деле, хорошего вокруг никак не меньше, чем плохого, и жизнь состоит не только из проблем и борьбы.

За время, пока я вёл изостудию при ЦДЛ, мы с Герой не раз выпивали в его закутке-ателье, и он порассказал мне немало смешных историй из своей бурной жизни. Взять хотя бы его развод с женой, после которого супруги перестали разговаривать даже по телефону. Гера переехал к матери, но каждый месяц кидал в форточку алименты (благо квартира находилась на первом этаже), но спустя год его вдруг вызывают в суд за неуплату алиментов. Оказалось, жена сразу же после развода поменяла квартиру, «чтобы избавиться от духа мужа». Позднее супруги помирились и снова расписались.

Надо отдать должное Гере – он был хорошим отцом и по-настоящему заботился о своей дочери. Девушка увлекалась живописью, и я готовил её к экзаменам в художественное училище. В благодарность Гера подарил мне кипу фотографий моих друзей, детских писателей. Как правило, фотографии показывают человека или лучше, или хуже, но только не передают то, что есть. Снимки Геры – исключение.

Прежде чем представлять портреты своих друзей, без колебаний заявляю: детская литература – это своего рода вероисповедание, а детские писатели – определённая, ни на что не похожая каста людей.

ТЕ ДАЛЁКИЕ ВРЕМЕНА

Особо одарённый друг мой, Геннадий Цыферов, с фотографии смотрит сквозь бликующие очки, смотрит прищурившись, колюче, с усмешкой – и не поймёшь, то ли он добродушный остро слов, то ли положительный зануда.

В моём столе лежит лист бумаги с крестами и фамилиями умерших друзей – это моё кладбище. Оно большое. Много моих друзей уже

на небесах (я не говорил им «Прощай!», говорил «До встречи!», поскольку временами всё-таки надеюсь на загробную жизнь). Одни из друзей умерли совсем молодыми. Например, Саша Камышов, акварелист, которому пророчили ослепительное будущее. Другие, вроде писателя Юрия Качаева или художника Юрия Молоканова, умерли в среднем возрасте, но для меня навсегда остались молодыми, потому что они были большими мальчишками – дух имели мальчишеский, не случайно и работали для детей.

Несправедливо рано и, что особенно горько, именно когда у него появилась своя отличительная манера, умер график Виктор Алёшин. Когда-нибудь я поделюсь воспоминаниями об этих своих дружках. Непременно. Это мой долг перед ними. А сейчас расскажу о сказочнике Геннадии Цыферове.

Это был насмешник тот ещё! И хитрец под маской добрячка-простофили. Бывало, в компании пощипывает бородку, посмеивается, вставляет едкие словечки. Прочитает рукопись кого-нибудь из друзей и насмешливо-снисходительно тянет:

– Неплохая вещица, лихой сюжетец, но это уж на любителя. Скорее, для домашнего употребления – жены там, тёщи...

Или язвительно:

– Творческая неудача большого мастера, сукина сына, хе-хе. Такой казус.

Ему, старому хрену, прямо доставляло радость кого-то поддеть, подразнить (скажет колкость и победоносно ухмыляется, а то и ржёт, обнажая кривые зубы в пузырьках слюны). Однажды на художественном совете обсуждали его мультфильм «Влюблённый крокодил». Канючили долго. Наконец, Цыферов не выдержал:

– Легче удовлетворить африканку, чем худсовет, – загоготал и, пощипывая бородку, вышел (он частенько выдавал такие сексуальные пассажи).

Цыферов называл себя «выходцем из купцов»; он носил очки на цепочке, бумажник со множеством отделений (в котором было мало денег, но тьма телефонов с женскими именами) и, любуясь собой в зеркале, тщательно подстригал усы и бородку клином. Его мать была бухгалтером, а отец одним из руководителей лесной промышленности (он погиб на войне) – о них Цыферов тоже рассказывал со смешком, но с печальным смешком. Ну а сам наш герой окончил пе-

дагогический институт и некоторое время учительствовал в интернате; дети на нём висли – он привлекал их своей чудаковатостью; они его звали «большой шутник». Что верно то верно – сказочник шутил по любому поводу, даже над религией (с неверующими был верующим, с верующими – неверующим).

В конце пятидесятых годов Цыферов недолго работал ответственным секретарём в «Мурзилке» (позднее на его место пришёл В. Берестов, который, вслед за В. Познером, был секретарём у Маршака – классик и протолкнул его в литературу.) А жил Цыферов в коммунальной квартире гостиничного типа. Этот гостиничный тип представлял собой душный полутёмный коридор со множеством дверей в крохотные комнаты. Квартира находилась в «Пассаже» над магазином «Шляпы», и под окном Цыферова с утра до вечера шумела разноликая толпа; там происходили прекрасные и дикие сцены. «Интересное занятие – наблюдать за этим муравейником, – рассуждал я. – Вся жизнь как на ладони. Наблюдай и пиши. Материала на собрание сочинений хватит – ведь натуралист Ж. Фабр всю жизнь прожил на одной поляне и о её обитателях написал несколько томов».

Но окно Цыферова было плотно завешено шторами (если он ждал гостей); на столе горели свечи, на полу красовались окантованный бронзой саквояж и допотопный огромный чёрный зонт, на стенах покачивались театральные куклы, у потолка гигантской медузой плавал абажур, и по всей комнате возвышались груды книг. Махинатор сказочник сознательно устраивал бутафорию – живу, мол, в сказке, в передвижной кибитке.

На самом деле у него была обычная, ничем не примечательная жизнь без особых красот, всяких скачков и потрясений; он не совершал подвигов, но и не делал глупостей, а вот когда садился за письменный стол и погружался в сказку, действительно «жил» интересно, насыщенно. Его постоянными героями были ослик и медвежонок – два романтика, которые искали в жизни добро и красоту.

Здесь самое время упомянуть о друге Цыферова, тоже сказочнике, плодовитом писателе Сергее Козлове. (У них отношения были не очень душевные, но всё же приятельские, их объединяло неутомимое волочение за женщинами. Козлов хвастался: «Если выстроить всех моих женщин, они протянутся от ЦДЛ до универмага «Детский мир».) Сразу же после школы Козлов поступил в литературный институт (редкий

случай) и принял католичество, а написав первые сказки, собрал друзей-писателей и объявил:

– Мы все пробиваемся в одиночку, но больше всех шансов у меня. Поэтому вы должны работать на меня: писать рецензии на мои публикации, организовывать мне рекламу, писать, что я гений и прочее. Когда я выйду на орбиту, вытасу и вас.

Вот так просто и объявил выскочка Козлов (только что не сказал «мне нужна слава!»). Позднее он, как и Цыферов, который оказал на него существенное влияние, тоже стал писать об ослике и медвежонке. Издатели путались – где чья сказка? Мне и вовсе приходилось туговато, поскольку я иллюстрировал эти сказки (в журналах АПН) и мне нужно было придумать двух разных медвежат и двух разных осликов (например: один добрый, другой злой, один – тихоня и скромник, другой – шумный грубиян). Когда всеобщая путаница достигла предела, Козлов, ужасно нервничая, сказал Цыферову:

– Ты пиши только про ослика, а я буду писать только про медвежонка.

Так сказал дурошлѐп Козлов, чтобы раз и навсегда поделить зверей. Его мысли читались яснее ясного. Цыферов поерепенился, потом хмыкнул и, изловчившись, написал совершенно неожиданные «Сказки старинного города». И Козлов неожиданно забросил медвежонка и ослика; перегруппировавшись, он написал сказку про ёжика в тумане – слабоватую, кисельную вещь, которая прозвучала только благодаря мультфильму и которая является перепевом сказки Цыферова «Ёжик и Сверчок». Тем не менее вскоре Козлова приняли в Союз писателей. А сказки Цыферова про город так и не напечатали, и в Союз писателей его не приняли; постарался председатель приёмной комиссии Ю. Яковлев-Хавин (два раза прокатывал сказочника).

– У Цыферова слишком много жёлтого, – морщился, – жёлтые цыплята, лягушата...

Сионист Яковлев-Хавин долго мурыжил и А. Баркова:

– Всё это мило, но непрофессионально, – брезгливо кривился.

Цыферов потерпел полный крах (и это несмотря на то, что его сказки уже печатали в Чехословакии, Польше, Японии; «Жил-был слонёнок» вышел пятимиллионным тиражом, и, кстати, стоила книжка шесть копеек). По этому поводу некоторые, под видом сочувствия, злорадствовали, но кое-кто советовал Цыферову сходить к Михалкову.

– Не пойду ему кланяться! – возмущался мой друг. – Я пишу не хуже его! (Он проиграл, но голову держал высоко.)

В те знаменательные дни Цыферов хорохорился, делал вид, что совсем не огорчён таким поворотом событий. В самом деле, что огорчаться? Ведь после того как писателя или художника приняли в творческий Союз или даже отметили наградой, он не будет лучше писать – это понятно и дураку. Чаще бывает наоборот – признание и слава идут писателю и художнику во вред, в него вселяется некая успокоенность. Давно замечено: слава погубила немало талантов, ведь прославленный человек может зазнаться и менее требовательно относиться к работе, может вообще бросить работу – подумает: вдруг сделаю хуже, чем делал до сих пор. И, наверно, действительно страшно. Яснее ясного: прославленный человек уже как бы взлетел, и от него ждут новых высот, ему нельзя снижаться. К счастью, слава мало кому достаётся. Да и те, кому достаётся, не всегда её заслуживают.

Ответственно заявляю: Цыферов не очень расстроился, что его прокатили в писательский Союз, еще и потому, что считал свои сказки «намного лучше, естественней и искренней», чем у остальных современников. «Я буду вторым Чуковским», – говорил он (в подпитии вообще ставил себя на одну ступень с Андерсеном – «мои сказки помогут спасти мир, хе-хе!»), но, конечно, всё-таки он переживал, ведь талантливый всё остро переживает, только мне кажется, его красивая неудача лучше, чем некрасивый успех Козлова.

В те годы своеобразные сказки Цыферова мне казались новым, свежим словом в искусстве, загадочной, эластичной прозой, калейдоскопом акварельных миниатюр-зарисовок (всё казалось, он знает какие-то тайные литературные ходы), но теперь-то я понимаю: многие из его сказок по большому счёту – попросту слащавые бессюжетные картинки, рафинированные затеи, литературные фокусы – их прочитаешь и забудешь, а с героями сказок Андерсена, братьев Гримм, Фрэнка Баума ещё долго живёшь. Я убеждён – без сюжета нет сказки.

Понятно, для детской души необходимы сентиментальные выдумки, но всякие «Паровозики в небе» – не что иное, как взятая с потолка слюнявая нарочитость, красочная упаковка, в которой пустота. Это, конечно, увлечёт некоторую часть детского населения, но такие вещи несоизмеримо далеки от «Конька-Горбунка», «Чёрной курицы», «Буратино». Никак в толк не возьму, почему современные сказочники не

пляшут от классики и всё дальше уходят от наших великих традиций, забивают в них гвозди? Кстати, сказки Козлова, по-моему, вообще всего лишь посредственность (можно взять любую – «Черепаша на солнышке», «Ослик, который повесился в дождь»...)

Но были у Цыферова и прекрасные вещи: «Влюбленный крокодил», «Приключения Лошарика», где есть лёгкость, временное пространство и главное – радость жизни. По некоторым сказкам мой друг совместно с Сапгиром делал сценарии для мультфильмов.

– Как вы вдвоём работаете? – недоумевал я.

– Очень просто, – хмыкал Цыферов. – Я пишу, а он добавит стишок и пробивает. У него связи, хе-хе. Режиссёры в детских театрах. А наши мультфильмы ставит Марк Качанов, дружок Генриха. В «Детском мире» (издательстве) его любит Асан Гольдфрельд... Сейчас Генрих пробился в театр сатиры. Там одни евреи. Мы с ним будем делать инсценировку по «Карлсону»... Евреи молодцы, тянут друг друга. Зиновьев тянул Мандельштама, Гельцер и Ромм – Раневскую... Такая примечательность, хе-хе. А мы, русаки, топим друг друга. Ну и евреи топят нашего брата, ведь они отправили на тот свет и Есенина, и Маяковского, и Клюева, и Гумилёва, и Дворяшина, и Галанова – всех, кто выступал против них. Вот смотри, какой интересный фактик, – он достал старое издание Маяковского и прочитал стихотворение «Христофор Колумб». – А теперь смотри – вот последний сборник Маяковского, оттуда уже выкинули строчки про евреев. Такой фокусик, хе-хе. Хитрый народец. Восхваляют Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, но они все мозговые, без души. Их поэзия холодная, стеклянная, хе-хе. Кстати, к Ахматовой меня водил Сапгир. Злая тётушка. «Есенин – плохой поэт, – говорила, – у него нет ни одной приличной строчки». А Есенин-то – самородок. Лучший поэт России, после Пушкина... Она и Льва Толстого называла «мусорным стариком». Каково, а?! Злая тётушка. У неё и лицо хищницы. Хорошо её приложил Бунин: «Полумужик, полубаба» – сказал... Она поддерживает ленинградских евреев. Рейна, Кушнера, Бродского. У них тоже стеклянные вещицы, для избранных, хе-хе. Ну, может, на дне души у них что-то и есть, но душа-то нерусская. Такое впечатление, что они живут не в России. Сапгир-то считает их гениями. Стеклянные гении, хе-хе! Полубоги кисельного цвета!

В общей сложности Цыферов написал шестьдесят пьес (Сапгир сочинил к ним стихи), но после его смерти (в сорок два года) Сапгир

ставил на пьесах только свою фамилию. Дочь Цыферова Люся возмутилась. Сапгир начал выкручиваться:

– Понимаешь, если оставить две фамилии, то получишь только тридцать процентов, а так я получу больше денег и с тобой поделюсь.

– Мне не надо ваших денег, мне нужна фамилия отца, – твёрдо заявила Люся. (Кстати, благодаря ей сейчас вышло несколько книжек моего друга.)

Однажды Цыферов написал «Тайну запечного сверчка», где жук ползает в чужой мир (в это время произошли события в Чехословакии). И надо же! Неожиданно моего друга вызывают в КГБ, где чихвостят за «явную аналогию». По этому поводу мы устроили весёлое застолье.

– Я думал, они будут меня шерстить за встречи с бабами, – смеялся Цыферов, – а они копнули глубоко... Скажу тебе, там не дураки сидят, университетские значки нацепили...

Кроме сказок Цыферов писал неплохие эссе о Моцарте, Андерсене, братьях Гримм... После этих работ Цыферова всё же решили принять в Союз писателей, но в нём выиграла давняя обида – он, гордый дядюшка, отказался.

В Детгизе не издали ни одной книжки Цыферова.

– Там одни евреи, – говорил мой друг. – Миримский, Арон, Либет. Они меня на дух не принимают. Отдают на рецензию Глоцеру из радиокомитета. Ничтожный типчик, хе-хе. Он ещё критик по детской литературе! Ничтожества ведь всегда комплексуют. Сам-то он ни на что не способен... А главный их рецензент – Рахиль Баумволь. Она сделала всё, чтобы меня не печатали. Говорит: «Цыферов сочиняет сказки в пьяном бреду». Полная чушь... А Либет скрывает свою ненависть к русским. Вежливо просит переделать. Раз десять. Потом, поганка, всё равно рубит. Заболтает любой сюжетец. Её издевательство многослойно, как отравленный пирог, хе-хе... И страшна она – вроде мордатой собаки моего соседа. Волчица в чепчике, хе-хе. С ней может спать только мужик под наркозом, хе-хе...

А. Барков рассказывал, как однажды в Детгизе К. Арон довёл Цыферова до нервного срыва: «Зря немцы таких, как ты, оставили. Я тебя не пощадил бы. Ноги моей здесь больше не будет!»

Такие вспышки у сказочника случались не раз. Когда А. Митяев (главный редактор «Мурзилки») стал разбирать его рукопись, Цыферов не выдержал: «Толя, пошёл ты на х...!» – забрал папку и хлопнул дверь.

Первое время, когда я приходил к старине Цыферову, у соседней над его комнатой играл струнный оркестр.

– Обрати внимание, какие изысканные музыканты! Играют Моцарта, Вивальди, – Цыферов показывал на потолок и благоговейно улыбался. – Музыка – самое высокое из искусств. Казалось бы, всё просто – только вовремя нажимай на нужные клавиши, но, чтоб это проделать, надо иметь слух, чувство ритма и прочее... Это тебе не кисточкой мазюкать, хе-хе.

Позднее выяснилось, что хитроумный сказочник нарочно всё подстраивал: к приходу гостей звонил приятелям – «изысканным музыкантам», и те за бутылку «Гамзы» играли на верхней лестничной клетке. Когда Цыферова навещали «девахи» и «мамзели» (его выражения), он, показушник, ещё рассыпал на полу старинные монеты – для дополнительного эффекта. Попробуй не потерять голову от такой экспозиции! Ну и, само собой, мой друг дарил женщинам свои книжки (подписи разукрашивал виньетками, себя изображал слонёнком). Я говорил ему:

– Мы все просто бабники, а ты мучитель-разрушитель женских сердец, комический злодей.

– Нет, я романтик, – смеялся Цыферов. – У меня благочестивая душа, хе-хе... Я давно готов к чистой, романтической любви, но всё какие-то не те бабы попадают...

Однажды я попытался влезть в его благочестивую душу и попросил в общих чертах описать женщину, которую он хочет встретить. Усмехнувшись, он подробно нарисовал женщину с гротесковыми формами и сотней достоинств – «с глазами, в которых цветут фиалки».

– ...Но она будет неприступная, – расплылся Цыферов и объяснил, как будет её завоёвывать «и это будет прикладным искусством», как в конце концов она станет покорной «киской» и у них начнётся любовь «длинною в... два года».

– Почему так мало? – удивился я.

– Потянет к другой неприступной, хе-хе, – засмеялся Цыферов, балда. – Трудно побороть любопытство, – и дальше понёс что-то опереточное, рассказал о гражданской жене, «объёмной» продавщице Гале, которая имела твёрдый характер. – Она всё хотела сделать из меня «пушистого и мягкого», но такого зверя, как я, трудно завалить, хе-хе. (Он звал эту Галю «император», а его дружки

кто как: одни – «чудом», другие – «чудовищем». От официальной жены Раи он имел способную, но взбалмошную дочь Люсю. «В её душе и бог, и чёрт, – говорил Цыферов. – От меня, естественно, бог, а чёрт – от Райки».)

У отпетого бабника Цыферова была туча романов, он попросту коллекционировал женщин – в записной книжке вёл учёт блондинок, брюнеток (рядом с телефонами делал заметки-памятки: «тонкая, зубастая», «хохотушка», «рыжая, с большой ж.», «три Кати: Екатерина первая, Екатерина вторая, Екатерина третья»); после романа телефон вычёркивал – женщина как бы для него умирала, и он отправлял её в свой колумбарий). На любовном фронте Цыферов преуспевал, как никто, а меня натаскивал:

– С женщинами, как и с выпивкой, нельзя делать резких движений. Выпивая, надо плавно повышать градус, а после выпивки, на другой день, понижать. Иначе случится приступ. Так и с женщинами. После блондинки нельзя сразу переключаться на брюнетку, надо немного покрутить с шатенкой, а то случится эмоциональный шок, хе-хе. (Кстати, женился он на рыжей.)

Все вечера напролёт Цыферов, «чтобы развеять хандру» (которая время от времени на него нападала), просиживал в ресторане Дома актёра, охмурял театральные (и не театральные) девицы, причём сразу девицам представлялся сказочником (понятно, одно это слово приводило женский пол в трепет) и тут же красочно пересказывал что-либо из своих произведений (ему было достаточно прочитать одну короткую сказку, чтобы все женщины падали). В такие минуты казалось, что он и за сказки-то взялся, чтобы только охмурять девицы – как некоторые слаборазвитые поэты для этого стали бардами.

– У таких, как Генка, половой мрачок, – сурово брюзжал писатель Геннадий Снегирёв. – Таких полно. Вон Стацинский (художник), Приходько... (Действительно, первый хвастался своей «колотушкой», второй частенько юморил на тему секса – например, увидев Ново-иерусалимский монастырь, произнёс: «Какой-то монструальный монастырь». Понятно, можно простить грубость, но не пошлость.)

– Жизнь каждого талантливого человека – сплошные бабы, – возразил Зульфикаров (я думал примерно так же и, естественно, своё неутомимое ухлёстывание за девицами рассматривал как явный признак какого-то таланта).

В Дом актёра Цыферов чаще всего ходил с друзьями Цезарем Голодным и Виктором Новацким. Эти деятели, внешне почти красивые люди, называли себя журналистами и драматургами, но ничего толком не писали, поскольку из них не выветривался сексуальный угар: Голодный с утра фланировал взад-вперёд по «Броду» (улице Горького), кадрил девиц (он был разведённым; бывшую жену называл «кассой взаимопомощи» – она, богатенькая, давала ему деньги в долг), а Новацкий и вовсе жил с двумя одновременно («Любовь втроём требует немало душевных и физических сил», – говорил, оправдывая свою творческую хилость).

И всё же пустоголовые дружки Цыферова что-то делали (к примеру, Новацкий изредка писал статьи о театре), и понятно, о творческом человеке надо судить не по тому, сколько он пьёт или имеет женщин, а по его работам, ведь, в сущности, только работы и имеют значение. Но, повторяю, ничего запоминающегося эти дружки Цыферова не сделали и навсегда остались в тени сказочника. Кстати, спустя лет тридцать я встретил Новацкого – он, уже пожилой, высохший, как мумия, вёл под руки двух новых женщин (похоже, его душевные и физические силы ещё не иссякли).

Выпивал Цыферов нередко, но немного; никто не видел, чтобы он накачался сверх меры; незадолго до смерти, когда у него появились болезни, он вообще завязал с выпивкой и во всём остальном установил для себя щадящий режим.

Довольно часто Сапгир таскал Цыферова (иногда и меня) на неформальные выставки художников. Выставки устраивались на квартирах диссидентствующих интеллектуалов, и, понятно, публика там собиралась отборная – среди них почти не было русских. Помню холсты Рабина: пьяные русские мужики валяются в грязи перед кабаками. Несмотря на это измывательство над Россией, Цыферов общался с неформалами. Он вообще старался быть левым оригиналом – так был противоречив в своих взглядах, а порой и в работах. Правда, однажды, на свой день рождения, выгнал Рабина из квартиры. Тот принёс в подарок имениннику свою очередную абстракцию.

Цыферов уже был под парами и заорал:

– Ты, гад такой, живёшь в России, дышишь русским воздухом, пишешь русскими красками, а картины носишь в американское по-

сольство, продаёшь по триста долларов! Пошёл на х...! (Кстати, Рабин хранил брюки Сапгира, говорил: «Это панталоны гениального поэта».)

Частенько Цыферов заходил к режиссёрше Ануровой, у которой собиралась еврейская богема.

– Я там вылечиваюсь от хандры, – объяснял. – Они меня принимают за своего, говорят: «Ты наш, ты как пчела, от всех берёшь понемногу». Чего я беру? И сам не знаю, хе-хе.

Справедливости ради замечу – после его смерти режиссёрша немало сделала, чтобы собрать и сохранить его рукописи, при этом называла сказочника гением.

Как-то я сказал Цыферову:

– С одной стороны, ты не любишь евреев, с другой – липнешь к ним.

– Не я липну, а они, – засмеялся мой друг. – Понимаешь, они всегда липнут к талантливым. А их бабёшки стараются опутать талантливого русского, затащить его в загс, взять его фамилию. Знаем мы эти штучки, хе-хе. Я романился с еврейками. Помню, была одна. Её единственным достоинством была роскошная задница... И была ещё одна. С большим бюстом. Но у неё были огромные плечищи. Вообще, узкие плечи и большая грудь крайне редко бывает у женщин, но это самый смак, такие – сногшибательные красотки... А вообще я всяких бабцов люблю. Сегодня говорю им комплименты, а завтра плачу алименты, хе-хе!

У многих крупных художников голова просто пухнет от замыслов, они вечно спешат, боятся, что не хватит жизни для воплощения своих планов. У Цыферова не было никаких планов – сюжеты он черпал из того, что ему попадалось на глаза, с чем сталкивался в жизни. Он ходил по улицам неторопливо, еле передвигая ноги-ходули, заложив руки за спину, демонстрируя величественное спокойствие. В старомодном костюме, со сбитым набок галстуком и развязанными шнурками, он выглядел человеком со странностями, попросту ненормальным или прилично принявшим на грудь – и, как все чудаки, сразу притягивал к себе внимание. (Кстати, ему было всё равно, во что одеваться; временами демонстрировал «элегантную нищету», но даже драный свитер носил, как королевскую мантию.)

Бывало, идёт по улице, всё пристально рассматривает сквозь толстые стёкла очков, посмеивается, бормочет – на ходу сочиняет сказки. Увидит цветущие липы или старинную ограду во дворе, особняк с об-

лупившейся штукатуркой или бездомного бродягу – тут же сочиняет сказку; ему всё служило зацепкой для фантазии. Он помещал в сказку всё, что его окружало, одушевлял все предметы. Глядя на него, я думал – готовность к чудесам рождает чудеса, и вспоминался Ж. Амаду, который говорил: «Я празднующийся зевака, болтающийся по улицам, наблюдающий за людьми, черпающий сюжеты».

Когда мы с Цыферовым бродили по улицам (а я к нему сильно привязался и радовался каждому дню, проведённому с ним; он был старше меня на шесть лет и был гораздо образованней и начитанней), он постоянно обращал моё внимание то на увядающие каштаны и тут же, на ходу, сочинял сказку и брал с меня слово, что завтра же сделаю к ней иллюстрации и напечатаю в АПН; то на «подходящее место для свиданий», то на собаку, которая стояла у светофора и переходила улицу вместе с людьми, то на ссорящихся супругов – и сразу представлял их семейную жизнь, вплоть до словечек, которыми они перекидываются. Однажды в каком-то дворе заметил кота – судя по замызганному виду, подзаборного.

– Возьму-ка его, надо подарить одной грудастой мамзели, она въезжает в новую квартиру, – пробормотал. – Будет жить в королевских покоях. Может, напишу о нём сказку. Назову его, бедолагу, в твою честь, вы чем-то похожи, хе-хе (имелась в виду моя бесприютность)...

Он попытался поймать кота, но тот дал дёру. Его знакомая лишилась хвостатого дружка, а я не стал прототипом сказочного персонажа. В другой раз мы увидели старика нищего, и Цыферов объявил, что старик наверняка бывший моряк. И с чего взял? Никаких морских примет у нищего не было. Чтобы проверить его домыслы, мы подошли к старику. Неожиданно он заговорил по-английски; потом перешёл на русский. Он оказался бывшим матросом, который долгое время жил в Англии...

Ну и конечно, Цыферов не упускал из поля зрения ни одну женщину... Прогулки с ним были, без преувеличений, жизненным университетом, он из любой ситуации устраивал приключение. Я вспоминал вычитанную где-то фразу: «Великое познание людей приобретаешь на улице» – и думал: необыкновенное вокруг нас случается каждый день, надо только уметь видеть. И теперь, по прошествии многих лет, для меня с именем Цыферова, честное слово, связана радость, праздничное настроение.

Чем ещё запомнились наши прогулки, так это щегольским бахвальством Цыферова. Заметив красивый особняк, он непременно приосанивался:

– Когда-то я в нём жил. Снимал комнату у одной жирной мамзели, хе-хе.

Стоило мне кивнуть на красивую женщину, как он поворачивался, вытягивал шею, прищурился:

– По-моему, я с ней спал... Забыл имя, хе-хе...

И все события своей жизни мой друг вычислял по женщинам: «Это произошло, когда я жил у этой... Это я написал, когда жил у той...»

На улицах Цыферов не только черпал сюжеты, но и настраивался на творческий лад. А мне объяснял:

– Чтобы показать свою писательскую мощь, я должен испытать отвращение: например, увидеть свалку, хе-хе... Или втюриться в какую-нибудь бабу. Тогда точно напишу первоклассную вещь... Вон Витька Новацкий. Пока не натр...ся с женщиной всласть, за работу не садится... Мужики всё делают ради восхищения баб. Не только пишут сказки, статьи там... (Дальше он всё свёл к тому, что секс – главный регулятор творчества.)

Конечно, Цыферов был чудаком, и его мир отличался чудаковатостью, но с ним никогда не было скучно.

Возвращаясь к сказкам Цыферова, надо всё-таки признать, что он первым осовременил традиционный жанр, а, как известно, первооткрывателям всегда приходится трудно.

Понятно, сказка – это мечта; Цыферов, как многие себялюбцы и пресыщенные бабники, в свои фантазии вносил идеализм – мечту о счастье, настоящей дружбе и любви... И, понятно, в творчестве выглядел как наивный романтик, а в жизни, повторяю, с друзьями выступал как едкий насмешник (с немалым набором подковырок, шпилек, коварных вопросов), а с женщинами – как опытный, изощрённый ловелас (с ещё большим набором способов оболъщения). Каким-то непонятным образом в нём, чертяке, сочетались волшебство и приземлённость, причём в равной пропорции.

Одно время, очевидно, тоже для «дополнительного эффекта», чудило Цыферов вдруг начал коллекционировать лестницы. Откуда-то притащил складную стремянку, купил игрушечную пожарную лестницу; на столе из спичек собрал какие-то ступени (нормальному

человеку не понять то, что у чудаков в порядке вещей). Кстати, будучи рассеянным, Цыферов вечно терял нужные вещи (часы, авторучки), но страшно берёт ненужные (ту же игрушечную лестницу).

– Ты уж не рехнулся ли? Решил забраться на облака? – спросил я, заметив его лестницы.

– Почти угадал, – хмыкнул Цыферов. – Но пока всего лишь для декоративного обрамления, хе-хе... Потом, может, напишу сказку про живущих на облаках... Вообще-то не мешает оторваться от земли... Я, конечно, люблю свой «Пассаж» и всё такое музейное... Это как архаичная проза, где чистое самовыражение, наивность, доброта, но всё же надо бы куда-нибудь уехать, развеяться, я заки в Москве...

– Куда тебе! Ты в своей конуре, как в закупоренной бочке! – я попытался его подстегнуть.

Но, тяжёлый на подъём, ленивый, нерасторопный от природы, он так никуда и не уехал. Да и куда он мог деться от своего «Пассажа» и ВТО? Не раз я звал его пройтись по речке на моторе – куда там!

– Мне проще три раза жениться, чем прокатиться на моторной лодке, – отшучивался он. – Мои руки созданы для того, чтобы обнимать баб. Желательно полуголых, задумчивых...

Когда у Цыферова бывали деньги, он покупал у цветочницы корзину с цветами и, гуляя по улицам, дарил букеты всем одиноким женщинам. Особенно одиноким и печальным (из числа симпатичных) ещё обещал написать сказку; естественно, записывал телефон и через пару дней на свиданье приходил со сказкой. (И вновь я думал: готовность к любви рождает любовь.) Само собой, за такой подарок женщины были готовы на всё, и во время романа с Цыферовым от их одиночества и печали не оставалось и следа, но после романа они становились ещё более одинокими и печальными. Как-то он театрально протянул цветы явно опустившейся женщине.

– Мне? – вскинула она глаза и вдруг заплакала: – Мне никогда не дарили цветы. Спасибо вам, хороший человек!

– Я не хороший, а не похожий ни на кого, – хмыкнул Цыферов, когда мы отошли. – Хотя и лучше кое-кого, хе-хе... Мои еврейские дружки Цезарь (Голодный), Генрих (Сапгир) и Витька (Новацкий) слишком одинаковые – изворотливые, хваткие... Вы, русские дружки, сукины сыны, без царя в голове. И ты, и Вадык Бахревский, и Сашка Барков (двое последних – замечательные люди во всех отношениях и уж

точно «с царями» – здесь Цыферов понял, что перегнул палку) – хотя Вадька с небольшим царьком, крохотным, хе-хе... А я русский, но с купеческой закваской, хе-хе... У меня здравый ум и цепкая память. Я помню себя с двух лет. А бережливая память – главное для писателя. Ну и чуткость души, без этого уж никуда. Без жалости, сочувствия. Как в анекдоте с худой бабой, знаешь? Хе-хе...

О Бахревском и Баркове надо сказать отдельно. Эти два истинно русских прозаика (и примерных семьянина) немало сделали для детской литературы, но всегда держались скромно (даже на фотографиях стоят на втором плане). Бахревский (прозаик с недюжинной фантазией, имевший своего литературного секретаря) написал около тридцати исторических романов, которые особенно ценны сейчас, когда «демократы» искажают и обливают грязью нашу историю. А Барков, будучи натуралистом, написал четыре десятка книг о нашей фауне, что тоже многого стоит. С Барковым выпивали на его даче. Пили исключительно самогон, который покупали у соседки; чтобы получить зелье, говорили пароль: «Мы из Кронштадта».

Бахревский с Барковым отвоевали своё место в литературе. Я горжусь дружбой с этими людьми, горжусь, что иллюстрировал сказки Бахревского «Зелёное болотное королевство», и, ясно, благодарен ему за восторженные рецензии на мои рукописи. А Баркову благодарен за то, что он открыл мне глаза на многих детских литераторов (одно время он работал референтом в Союзе писателей и всех знал как облупленных). Сейчас оба моих друга серьёзно больны (один после операции поддерживает работу сердца лекарствами, другой задыхается от астмы и мучается от давления), но, будучи упорными тружениками, ежедневно работают – такая в них созидательная сила.

Когда я был в гражданском браке, моя благоверная познакомила Цыферова с подругой, манекенщицей Натальей, с которой Цыферов тут же расписался: «спас манекенку от безрадостного одиночества», «почувствовал взаимное душевное проникновение». Некоторое время мы дружили семьями (почти породнились), но позднее стали видеться редко, чаще перезванивались:

– Я всё вспоминаю, как мы с тобой гуляли по Москве, когда были свободными, хе-хе, – посмеивался Цыферов. – Теперь уж не погуляем. Вон моя уже грозит половником, хе-хе. Того гляди огреет по кумпо-

лу. У нас неразрешимые разногласия... А писать... пишу понемногу. Задумал впечатляющую серию. Так что готовь красочки рисовать...

Но больше его сказки я не рисовал. Он умер внезапно от сердечного приступа. На его похоронах было множество красивых, печальных женщин; некоторые пришли с детьми – как мне показалось, похожими на Цыферова. Через много лет, когда я руководил изостудией, одна старушка привела ко мне мальчугана с папкой рисунков к сказкам.

– Петя Цыферов, – назвался юный художник.

Я посмотрел на старушку. Она пояснила:

– Это сын Геннадия Цыферова. Был такой сказочник. Может быть, слышали?

И я вдруг узнал в старой женщине тещу Цыферова и напомним ей о себе.

– Да-да, помню, – нерешительно кивнула старушка, – всё помню... Гена был таким галантным, всегда дарил мне цветы... Сейчас таких мужчин нет.

Мужчины, может быть, и есть, но таких сказочников нет точно. Я уверен: когда-нибудь сотни людей будут приезжать издалека, чтобы только взглянуть на его могилу.

У ВАС ЕСТЬ МЕЧТА?

Мой своеобразный друг Ким Мешков на фотографии красуется озорной улыбкой.

Смешной, необузданный Мешков дразнил публику эпатажным видом и выходками. Видок у него был тот ещё! Седые волосы, лежащие на плечах, мушкетёрская борода и усы, ковбойская шляпа, яркий клетчатый пиджак, жилетка, бант или жабо, или красный шарф, завязанный немислимым узлом; зимой он носил волчью шубу и шапку из рыси и постоянно крутил на пальце ключи от старой «девятки» (в неё садился царственно, словно это не старая колымага, а новый «мерседес», и мечтал занять «романтический транспорт» – лошадь с каретой). Он ходил покачиваясь, раскинув руки, словно поскользнувшись на какой-то кожуре, никак не может с неё сойти; войдя в ЦДЛ, сразу направлялся к зеркалу, рассматривал себя и так и сяк, прямо упивался своим пауасским видом, только что не говорил: «Я себя безмерно люблю».

– Главное – иметь мечту, радость души и свой стиль, – красивым голосом вразумлял собратьев по перу Мешков. – И конечно, у художника должен быть художнический вид, а работа – это уж как звёзды сойдутся.

У него, себялюбца, был не только свой стиль и исполинские планы (заиметь свой театр), но и свой гимн (сам сочинил).

Невысокий, худощавый, лёгкий, летучий, азартный, с раскрепощённым воображением и обжигающим темпераментом, он то и дело устраивал клоунаду, выкидывал экстравагантные вызывающие штучки – например, на мой юбилей полез на сцену Малого зала с собакой («Сергеев – собачник, это ему мой сюрприз!» – сказал). То и дело всех ошарашивал неожиданными фразами: «Ты мне не интересен»; «Это не деньги, а слёзы – пусть засунут их себе в ж... Верно я говорю, а?»; «Из жены сына (приёмного) так и прёт сексуальность, она вся, как большой половой орган»... А незнакомых людей непременно спрашивал:

– У вас есть мечта? – и дальше, развивая эту тему: – Без мечты человек бездушен, его чувства заблокированы. Мечта ублажает душу. Чем красивей мечта, тем возвышенной душа.

Ну и, конечно, кукольные пьесы, которые писал Мешков, имели массу странностей, вычурности, филологических изысков и крикливых или оригинальных названий вроде «Когда зацветают слоны», «Звёздный мир и незвёздный соприкасаются». Понятно, писать просто и ясно труднее, чем создавать что-то вычурное. К тому же с возрастом человек идёт от сложного к простому, но Мешков с возрастом всё больше нагромождал свои творения наворотами и был уверен, что «расширил понятие красоты». Многие литераторы называли его писания «коктейлями из фруктов и овощей». Барков называл их «полуфабрикатом», «убористыми бессмысленными текстами». Руководитель литературной студии при ЦДЛ М. Златогоров (Гольдман) говорил Мешкову:

– Вы милый человек, но не пишите сказки, займитесь чем-нибудь другим.

Причудливое творчество Мешкова органично сочеталось с его пёстрой внешностью. Честное слово, иногда он слегка напоминал садовника-формалиста, особенно когда раскрашивал свою речь приправами: «сладкий миг», «срываю цветы удовольствия», «это розы для

моих глаз», «праздник моего сердца» и прочий праздничный мусор; частенько делал всякие вкрапления: «дескать», «либо», «помилуйте, сударь», «Господь с вами»... В его пьесах я ничего не понимал; тем не менее, они шли во всех детских театрах страны, и он получал неплохие проценты от сборов (но не очумел от успеха). Как-то я сказал Мешкову:

– По-моему, ты пишешь сложновато.

А он мне, поглаживая седую шевелюру:

– Отнюдь. Есть выражение «публика-дура». Это о взрослых зрителях – дескать, они напичканы трафаретными истинами либо заостренными формами, определённым языковым пространством; всё новое у них вызывает отторжение. Многие судари и сударыни ещё не поднялись до понимания моих пьес, а вот дети встречают их на ура. Для них мои пьесы – праздник сердца. Детское воображение не сковано опытом, потому и необычные герои, и новые словечки для них – восторг души. Сейчас пишу сказки «Робот-один» и «Робот-два». Там у меня роботы всё делают лучше человека. Я уверен, скоро роботы будут писать сказки. Но у них нет души, в этом вся суть... Вообще, скажу тебе: чтобы писать сказки для детей, надо оставаться в детстве, не взростеть, по большому счёту. И иметь чистую душу. Не зря немцы говорят: «Хорошие люди всегда чувствуют себя детьми». И я уверен – в каждом большом художнике живёт и ребёнок. Об этом и Экзюпери говорил: «Писатель приходит из мира своего детства».

И все развлечения Мешкова были какими-то ненастоящими, какими-то искусственными бравадами: в компании (не только своих актрисул) он каждому отводил определённую роль и на ходу придумывал мизансцены (его постоянно окружало шумное беспорядочное общество, радостная суета). Да, собственно, вся его полнокровная жизнь напоминала инсценировку, бесконечный телесериал без передышек, и в этом он действительно был глубоко театральным человеком.

А как он представлял людей друг другу! Заслушаешься! Чего только не нагромоздит вокруг человека! И то церемонно, напыщенно, то сумбурно, с преувеличенным пылом. Но что странно, никто не уставал от его говорильни.

Я познакомился с Мешковым в библиотеке «Ленинке» в середине пятидесятых годов – да, именно, почти полвека назад! Тогда я снимал комнату за городом и работал грузчиком на станции Москва-Товар-

ная, а в библиотеке занимался самообразованием. Понятно, рядом со мной, неустроенным, Мешков выглядел бойким, преуспевающим стилигой. Он был старше меня на два года, уже считался драматургом (где-то на периферии поставили его пьесу) и сразу взял надо мной шефство: снисходительно учил уму-разуму (случалось, и жёстко давил на меня: «Не буди во мне зверя!»). Лет через пять, когда я устроился декоратором в Вахтанговский театр, Мешков сменил тон на дружеский, а ещё лет через десять, когда у меня вышли первые книжки, – и на уважительный.

В курилке «Ленинки» Мешков затмевал всех, был ярче и притягательней самых колоритных завсегдаев. Во-первых, сигареты носил в портсигаре и курил их, вставляя в длиннющий, с флейту, мундштук, во-вторых, ежедневно рассказывал замысловатый сюжет новой пьесы, при этом сильно возбуждался, демонстрировал эффектные жесты – его эмоции прямо перехлёстывали через край. (Кстати, он, как Черчилль, читал одновременно три книги и столько же пьес одновременно писал.) В-третьих, его голова была забита невысказанными идеями – например, построить «мускулолёт» (тысяча велосипедистов разгоняли некое летательное изделие, десять поднимались в воздух и продолжали отчаянно крутить педали). В-четвёртых, он был неиссякаемый тусовщик: постоянно сколачивал компании и всех тащил на нелегальные выставки и сборища у памятников, где читали стихи левые поэты, и всюду был ключевым выступающим. Выступал витиевато, но основную мысль держал чётко: хвалил то, что было модно, и ругал то, что ругать считалось хорошим тоном.

Он был громкоголосый, и, даже когда говорил что-то по секрету, слышалось на расстоянии десяти метров. И уже тогда он носил экзотические одежды – яркие ковбойки, клоунский кепарик и неременный атрибут – чёрный перстень. Я думал, этот шик имеет иронический оттенок, но потом понял – так из моего друга выпирает внутренняя суть, его исключительность. Кое-кто усмехался:

– С таким поведением, с такими украшениями Мешкова трудно воспринимать всерьёз, да и сказки у него пустяковые.

Но так говорили единицы, а большинство балдело от него, я так просто тарашился, как на титана. Кстати, имя Ким (коммунистический интернационал молодёжи) дал моему другу отец, крупный большевик. (Кто бы мог подумать, что в восьмидесятые годы воинственный Мешков

будет одним из тех горлопанов, кто у памятника Пушкину разбивал в пух и прах идеалы своих отцов, а в девяностых пойдёт в авангарде «демократического» урагана и начнёт сводить счёты с мёртвыми.)

В «Ленинке» Мешков был не только самой живописной фигурой, но и в какой-то степени всемогущей: его жена работала дежурной по залу, и через него мы заказывали книги из спецхрана.

Жена Мешкова была на две головы выше мужа и старше его на пять лет; она имела сына от первого брака – подросток впоследствии стал сценаристом (А. Александров), но, пока выросл, относился к отчиму, как Мешков ко мне, только в обратной последовательности (когда снисходительность парня перешла в небрежность, а то и нахальство, самолюбивый Мешков ушёл из семьи). После развода с женой он сообщил мне:

– Мы устали от совместной жизни, перелюбили друг друга. Ведь любовь – это когда сразу распускаются все цветы, а наши цветы завяли. В наших душах всё выгорело. И у нас уже нет мечты.

Он быстро нашёл новое утешение – женился вторично – на женщине, которая была старше его на десять лет. «После сорока у женщины славный возраст», – сказал этот олух (видимо, хотел иметь заботливую няньку, которая молилась бы на него и ждала, когда он придёт, нагулявшись). Почему брак был недолговечным – затрудняюсь сказать, но эта жена отвечала всем требованиям Мешкова: смотрела на него, как на икону, сдувала с него пылинки, кормила из ложки, называла гением (а нас, его приятелей, алкоголиками) и по росту была ещё выше первой жены (Мешков любил только высоких и худых, даже плоских, костлявых – «скелетов», как говорит Дмитрюк, который тоже любит таких). Несколько месяцев они ходили обнявшись (он её за бедра, она – положив руку ему на плечо); от Мешкова только и слышалось:

– Женщина моего сердца... Она царствует в моём сердце... Я преклоняюсь перед её красотой... У неё тонкий строй души... Она покорила меня своей любовью, я душевно рад... Так удачно сошлись звёзды.

Но, спустя некоторое время, пригорюнившись, уже тянул:

– В любви всегда наступает отрезвление. Любовь – это зависимость. Боишься потерять любимого человека, и настроение и работа зависят от ваших отношений. Сплошные тяжёлые переживания. Эта моя жена не может быть вдохновляющей спутницей жизни. С ней моя гибкая душа немного закаменела. Всегда надо помнить, что в мире немало

женщин, которые тебе больше подходят, чем та, с которой живёшь и мучаешься.

Оберегая своё душевное состояние, Мешков развёлся.

В третий раз он, бесшабашный, женился на известной режиссёрше (Т. Фридман), старше его на двадцать лет (завистники начали судачить – «в четвёртый раз женится на трупе»), и жена сразу же поставила все его пьесы. Дальше творчество Мешкова пошло по накатанной дороге – у него, можно сказать, появился собственный театр (Областной кукольный на Бауманской). Главный художник театра, мой приятель Александр Тарасов, рассказывал:

– Ким пишет не пьесы, а делает схемы. Их отделяет Тата (режиссёрша). Или она отправляет «схемы» в Ленинград своим друзьям Рацеру и Константинову, чтобы те подправили, дополнили. Недавно Ким с Татой обзавелись «литературным негром». Один парень принёс пьесу «Слово о полку Игореве» – потрясающая вещь! Но Ким сказал парню: «Тебя никто не знает, а у меня имя!» Короче, вставил в пьесу пару слов и свою фамилию на афишу – повыше фамилии парня. Сейчас пьеса идёт по всей стране, проценты так и капают.

Насчёт процентов (и немалых) Мешков и сам говорил:

– В стране восемьдесят кукольных театров. В каждом идут мои пьесы, понимаешь, да? В некоторых по две-три. За прошлый год я заработал... – он называл неслыханную сумму, явно завышая истинную (в те дни он упивался оглушительным успехом и славой).

Вот так, после третьей женитьбы весь жизненный путь Мешкова приобрёл новые краски и узоры, «появилась строгая эстетика», как он говорил. (В чём она выражалась, я не понимал; возможно, в том, что он стал владельцем многокомнатной «театральной» квартиры «в тишайшем переулке», дачи «в элитном посёлке», машины, завёл секретаршу. Особенно Мешков расхваливал дачу – «там так тепло, что и зимой хожу в трусах», – похоже, тот дом омывал Гольфстрим.)

Я заметил: многие мужчины, у которых жёны старше их, испытывают своеобразный комплекс, изо всех сил пытаются соответствовать жёнам, делают всё, чтобы выглядеть постарше, и в конце концов становятся раньше времени состарившимися людьми. Мешков по этому поводу не комплексовал, а на недоуменные взгляды (он, молодой красавчик, и рядом длинная, сутулая старушенция с клюкой) возвещал:

– Я люблю Таточку. Она царствует в моём сердце. У неё большое душевное тепло (по словам моего брата, драматурга, кроме тепла, у неё был и талант – она «талантливо» поставила его пьесу «Босиком по апрелю»).

Кстати, сейчас немало пожилых мужчин, наоборот, женятся на юных девах, моложе себя на тридцать-сорок лет; здесь и личности – Михалков и его старший сынок-режиссёр, Полак, Шаинский, Табаков, Ромашин, Пороховщиков, Гомельский – и тьма ничтожеств типа Жуховицкого – им не дают покоя лавры тех, кого юные девы подвигли на духовные подвиги, – Чаплина, Пикассо, Синатры, Монтана, Бельмондо (перечисляю со слов М. Тарловского, который, будучи жутко любознательным, специально интересовался этим вопросом). Глядя на этих субчиков, я представляю, как они изо дня в день пыжаты, чтобы быть в форме: делают гимнастику, бегают, прыгают, сидят на диетах, как развлекают своих благоверных – им нельзя расслабляться, хандрить, выглядеть усталыми, больными. Ну, понятно, дева может смотреть на тебя, как на Бога, может украшать твою жизнь, быть примерной женой, виртуозной любовницей, нянькой и прочее, но она не может быть единомышленницей, ведь у неё другой мир. Впрочем, о чём я говорю. Какое мне дело до них. Пусть живут как хотят.

Вернусь к Мешкову. Его «театральная» квартира напоминала музей; чего там только не было! – инкрустированные столы и секретеры, антикварные вазы и мраморные скульптуры, а на стенах – в рамках фотографии каких-то дворян, от которых Мешков небрежно отмахивался:

– Дальняя родня. Если сойдутся звёзды, разыщу их потомков.

Но, по-моему, он просто примазывался к голубым кровям – уж слишком огромными и мордастыми были дворяне, и щуплый Мешков не подходил к ним ни с какого боку. Тем не менее, он пытался выглядеть «дворянином» – крикливо одевался, был говорлив и любил пускать пыль в глаза: курил сигары и пил вино напропалую...

Что касается секретарш, то их недоумок Мешков менял через каждые два-три года и при знакомстве непременно спрашивал: «У вас есть мечта?» Наверняка хотел услышать – «Встретить такого человека, как вы». Все его секретарши были молодые, очень высокие блондинки из Прибалтики, Мешков называл их «женщинами божественной внешности, русалочного типа, с красотой души»:

– Они меня вдохновляют... у них высокие эстетические чувства... они решительные, смелые, но и тихие, тепличные барышни, милые душки. У них благородные мечты, они дар небес...

По-моему, «божественным и русалочным» в них были только волосы до задницы, а в остальном они больше смахивали на баскетболисток, и характеры у них были совсем не «тихие».

По словам Мешкова, секретарши для него «значили очень много», с ними он часами просиживал в ЦДЛ, ездил на дачу, но в ответ требовал не только безропотного подчинения и постоянного внимания, но и отречения от личной жизни. Такой был махровый эгоист и собственник! Такие предъявлял невыносимые требования! Когда одна из секретарш решила выйти замуж, психопат Мешков закатил ей скандал на весь ЦДЛ:

– Ты дура! Все твои мечты меркантильны, омерзительны! Полная идиотка! Не чувствуешь границу отношений! Не ценишь своё счастье! – орал (случался у него и такой разгул чувств).

Он хотел, чтобы каждая последующая секретарша была похожа на предыдущую, только имела «более чистые помыслы», проявляла большую преданность и чаще говорила о своей любви к нему («стелилась» перед ним и утром и вечером повторяла, что он гений, а его сказки – верх совершенства), и вообще была как та шотландская собака, которая после смерти хозяина пять лет прожила на его могиле и там же умерла. Понятно, эта задача не из лёгких.

Последняя секретарша Мешкова жила в его квартире (кроме своих обязанностей ещё ухаживала за уже старой и больной режиссёршей); обе женщины уже и не знали, кто из них жена, кто нянька, кто секретарша, кто любовница, кто друг – обе встречали драматурга радостными улыбками, с двух сторон подавали ужин, а его сон рассматривали как святое: ходили на цыпочках, говорили шёпотом, по телефону отвечали, что Мешков – гениальный драматург и не следует ему названивать, отрывать от дел.

Меж собой женщины общались, как неразлучные подружки, но перед смертью Мешков выкинул отвратительный завершающий аккорд – написал завещание, по которому и квартира, и дача, и машина переходили только секретарше-любовнице; «любимой Таточке», которая сделала из него драматурга, он не оставил ничего! Женщины два года судились, и в конце концов жена получила маленькую однокомнатную

квартиру где-то на окраине. Позднее овдовевшая режиссёрша, иначе как «подонок», бывшего мужа не называла, а ещё чаще говорила:

– Даже не хочу произносить его имя.

Недавно она позвонила мне, сообщила новый номер телефона, пожаловалась, что «еле ходит на костылях», припомнила наши «литературные кутежи» в их «театральной» квартире... О Мешкове уже говорила спокойно, даже, как мне показалось, с жалостью:

– ...Он не только мои последние годы искалечил, но и свои. Развалил театр, ничего не писал, много пил...

Затем она бурно ополчилась на «демократов», по первое число обругала «своих» (что приходится слышать крайне редко), особенно министра культуры Швыдкого – «Этого пройдоху я знаю давно...».

Мешков был трус и сорвиголова одновременно. Он не летал на самолётах, «Самолёты часто бьются, – говорил, – а я нужен российскому искусству» («Он нужен только своей старушенции», – язвили недоброжелатели). Тем не менее, как любитель романтики и эксцентричных поступков, сумасброд Мешков всё мечтал спуститься на парашюте к любимой женщине (очередной секретарше, двухметровой блондинке) прямо в постель (такая блажь), а выпивши, лихо водил машину (оранжевого наваристого цвета), правда, недалеко (от ЦДЛ до дома, который находился в двух шагах).

Много Мешков не выпивал. «Зачем? Пьяный я буду вам неинтересен» (это кокетливое заявление воспринималось с трудом, тем более что, по его словам, он выпивал «со всем человечеством»).

Помню, как Кучаев перебрал и, возомнив себя пупом земли, выскомерно бросил Мешкову (уже известному драматургу):

– А ты вообще молчи! Ты вообще ничего не написал!

– Андрей, ты чего? – улыбаясь, насторожился Мешков. – Ты чего-то не то говоришь.

Кучаев зашмыгал носом; меняя тон, что-то забормотал и увильнул от разговора. Я ждал от Мешкова смертельной обиды, ожесточённой реакции, а он, великодушный, всё свёл к шутке, всё простил дуролому Кучаеву. Он не зацикливался на неприятностях и каждый день наполнял весельем и красотой. Хотя был случай, когда наш герой (слегка подвыпивший) уподобился Кучаеву – почувствовал, что масштаб его таланта почти равен Шекспиру, и на весь холл ЦДЛ разносил детского драматурга Машкина:

– Как ты смеешь разговаривать со мной подобным тоном?! (Тот нелестно отозвался о пьесах Мешкова.) Кто ты такой?! Выведите его из нашего клуба! Он не член Союза писателей!

Я не берусь судить пьесы Мешкова, поскольку плохо разбираюсь в драматургии и, к своему невежеству, с листа одолел всего несколько пьес классики, но всё же, работая в театрах, пересмотрел немало спектаклей. То, что читал мне Мешков из своих произведений, я воспринимал как высосанные из пальца красоты, местами как безвкусицу, местами как милую бредятину (а я всегда был за ясность). Да простит он меня, старого чёрта, но всё заземлённое, взятое из жизни, мне гораздо ближе красивой выдумки. Ничего нового в пьесах Мешков не открывал, но преподносил их эффектно – это он умел, седой пёс. Когда я высказывал Мешкову своё мнение, он принимал героические позы и кипятился:

– Экий вы, батенька, дровосек. Моё мнение с твоим не совпадает. Ты пойми, ребёнка надо поселять в фантастический мир!..

Мы никогда не могли договориться и, чем больше выпивали, тем больше спорили. Я так привык с ним собачиться, что прямо скучал, когда его не было в ЦДЛ. Хочется думать – и он тоже. Ну не зря же при встрече он говорил:

– Так, ну на чём сегодня схлестнёмся? Мы с тобой фехтовальщики, уважающие противника, ведь так? Правильно я говорю, а? – и, обращаясь к свидетелям встречи, добавлял: – Но учтите, господа, мы стариннейшие друзья, мы знакомы с...

Он отправлялся в путешествие по нашей юности, вспоминал пятидесятые годы, курилку в «Ленинке», тогдашних наших приятелей, «подвальные» выставки, «садовника» С. Чудакова, левых поэтов В. Хромова и С. Красовицкого, которые куда-то сгнули (по одним слухам, забросили поэзию, по другим – вот-вот выпустят книжки), «Бродвей» – улицу Горького, «Пушку» – площадь Пушкина, кафе «Националь», где по вечерам за столами сидели Олеша, Гарин... Мой дружище был необидчивый, отходчивый, незлопамятный, что говорило об уверенности в себе. Нас с Мешковым слишком многое связывало, и, понятно, всерьёз поссориться мы не могли. Теперь-то мне стыдно за некоторые слова, которые я говорил Мешкову. Больше того, иногда мне кажется, что в своих сочинениях он не просто пичкал детей какими-то замысловатостями, а всё-таки преследовал нравственную

идею; пусть расплывчатую, но всё же идею красоты – то, чего у современных авторов и в помине нет – у них одни хохмы да розыгрыши.

Да, Мешков делал всё, что вздумается, жил свободно и весело, всегда принимал позы – и в жизни, и в искусстве (во всём своём драматическом величии), но, как ни странно, делал это искренне – такая уж у него была врождённая склонность; он, кстати, не отделял искусство от жизни – и то, и другое для него было карнавалом, и он всех приглашал участвовать в нём. И, понятно, он никогда не скучал, ему просто некогда было скучать. Теперь я даже думаю, что лучшим произведением Мешкова была его собственная жизнь.

В характере Мешкова было немало бунтарского – на всякие азартные сборища, митинги, акции протеста он шествовал в первых рядах, громче всех надрывал глотку, поддавал жару вздрюченной толпе. И, естественно, во время «криминальной революции» был самым оголтелым «демократом», даже схватил микроинфаркт от чрезмерного возбуждения (к этому времени он уже постарел, но не помудрел – скорее, наоборот, поглупел).

– Я боец, – говорил друзьям с фанатичным блеском в глазах. – Моя мечта – переделать мир, сделать его справедливым, солнечно счастливым! А вы больше всего на свете цените свой покой.

Новые правители города (все проходимцы, сплошное ворьё) оценили его вклад в общее дело: ему дали возможность организовать частный театр «Пилигрим», который ездил по Золотому кольцу, развлекал иностранцев. Это была впечатляющая победа Мешкова, он сразу взметнулся на олимп, да так стремительно, словно его подбросила катапульта. В те дни он, самонадеянный, беспечный, уже совсем дедуля, был корифеем театральной жизни, с юношеским энтузиазмом скакал из одной тусовки в другую – и всё в ритме зажигательного танца самбы; от него исходил дух счастливого – казалось, он нашёл лучшее место на земле и теперь готов со всеми делиться богатством. Но вскоре иностранцы раскусили показуху, и Мешков прогорел; правда, не повесил нос – говорил, что легко отделался – «списали долги». К сожалению, отделался он совсем не легко – в середине «реформ» получил второй инфаркт. Я говорил ему:

– Всё как-то не так. Какой-то массовый психоз, у людей явно мозги сдвинулись. Воротит от всего этого.

А он, безмозглый, отчаянный старикашка:

– Подожди, всё устроится, утрясётся, устаканится.

Некоторое время он, дурной непоседа, ещё продолжал суетиться, выпивал и курил – понятно, меньше, чем прежде, но не в его натуре было замедлять темп, останавливаться, осматриваться, и однажды его сердце отказало окончательно.

Жаль, что старина Мешков маловато проскрипел, не дожил, не увидел окончательный результат деятельности своих «демократов» – изуродованную Россию. Хотелось бы узнать, что он, глупец, запел бы теперь, когда разграбили писательский Союз, когда совершенно не печатают современных поэтов и прозаиков – только детективы и сексуальную литературу и уж совсем никому не нужны его пьесы-сказки; когда его любимый ЦДЛ оккупировали коммерческие офисы с многочисленными охранниками и в ресторане и Пёстром зале гуляют новые русские, а мы, его друзья, только и можем распить бутылку в подвальном буфете (в «царстве мёртвых», по выражению Тарловского), да и то не всегда, ведь живём на нищенские пенсии. Мне кажется, теперь он с ужасом смотрит сверху на то, что натворили его единомышленники, и говорит: «Простите, братцы, я был неправ».

Теперь я частенько ругаю бестолкового Мешкова за его разнузданную «демократическую» деятельность, ругаю, хотя он уже так далеко, что до него не добросить камень. Неверно это – говорить о покойнике или хорошо, или никак (Л. Толстой называл это «ложным правилом»). Ну на похоронах – разумеется, но на вечерах памяти и прочих поминальных датах не мешает подытожить жизнь человека, отметить его плюсы и минусы, сказать правду открыто и честно. Это я сдуру и делал частенько, за что получал выговоры от друзей. А между тем я переживал за умерших не меньше тех, кто пускал о них пузыри (часто откровенно лицемеря). Я и ругал-то умерших, чтобы заглушить боль в себе. И во время встреч с друзьями-стариканами всегда предлагал помянуть поимённо всех, кто уже не мог быть с нами, на что те, кто пускал пузыри, морщились, а писатель В. Шульжик однажды заметил:

– Что ты каждую встречу превращаешь в поминки!

Вот старая оглобля! Будто не понимает – это наш долг, и мы должны быть благодарны судьбе, что рядом с нами жили замечательные люди. Что и говорить, тупые мои дружки-стариканы. Все как один тупые!

Как и в «Ленинке» когда-то, Мешков был украшением ЦДЛ – и не только внешне – он всегда пребывал в прекрасном настроении, всем

улыбался, всех называл ласкательно: Юрик, Игорёк, Лёнчик. При встрече непременно что-нибудь рассказывал из жизни артистической богемы, расцветивая рассказ картинными театральными жестами, пританцовывая и откидывая назад седые, в завитках, волосы. Для него сценой был не только ЦДЛ, но и собственная квартира, и дом друга, и улица – об этом я уже говорил. По сути Мешков всегда был настроен на праздник, а это немаловажная вещь – ведь всё и зависит от настроения (на работу, любовь...) Я, например, если даже просто чего-то жду, это непременно происходит. Допустим, думаю: что-то давно не встречаю такого-то знакомого – всё! – на следующий день сталкиваюсь с ним где-нибудь в метро. О настрое и говорить нечего: если с утра настроюсь на выпивку, к вечеру обязательно наклюкаюсь.

Как-то мы с Мешковым встретились на его Остоженке – он беседовал с какой-то своей знакомой, держа за поводок собаку. Я услышал его голос ещё в начале улицы, а уж потом увидел его – жестикулирующего, подпрыгивающего, как всегда, в экзотическом одеянии – ковбойке попугайской расцветки. Когда я подошёл, он торопливо пожал мне руку и, словно мы расстались час назад, продолжал выступать, одновременно вводя меня в суть дела:

– ...Понимаешь, да? Как тебе это, а?.. Видал, как звёзды сошлись?!

Он ставил очередной спектакль, где его знакомая и я были актёрами, прохожие – статистами, а магазины и лотки – декорациями. Он, как всегда, был полон энергии, бодрости, захватывающих замыслов.

Мешков не вылезал из ЦДЛ, там он был любимчиком – его, старого беса, любила вся администрация, библиотекари, буфетчицы и гардеробщицы – и вот, пожалуйста: прошло немало лет после его смерти, а вечер его памяти так и не сделали. Такое свинство!

Я вспоминаю нашу встречу на Волоколамском шоссе. Я ехал на машине с участка, только миновал Истру и вдруг увидел: впереди с просёлка выехала «девятка» (уже новая), а за рулём – Мешков; его нельзя было не узнать по седой вьющейся шевелюре. Я посигналил, он остановился, мы вышли из машин, обнялись.

– Какими судьбами?! – раскинул руки Мешков. – Ах, ну да! За Истрой ведь наш писательский посёлок! А я, понимаешь, был здесь на даче у знакомых. Интереснейшие люди! Давай вот что, в следующий раз заедем к ним вместе, а?! У них потрясающие сосны, прямо восьмое чудо света. Я сохранил их аромат, понюхай! – он приблизил лицо

(от его седой шевелюры действительно пахло хвоей). – Я любитель хвойных деревьев... А люди интереснейшие, талантливейшие. Давай на следующей недельке к ним заглянем, а?!

Это была наша последняя встреча. Через месяц он умер. В те дни меня не было в Москве; позднее я узнал, что его хоронили всего пять человек, а ведь у него была туча друзей и приятелей (возможно, жена и секретарша-любовница просто никому не сообщили, поскольку у них начался скандал). Впрочем, за гробом Моцарта шли всего три человека, и похоронили его в общей могиле. Главное – о Мешкове у многих осталась добрая память (о его завещании знают всего два-три человека). И в ЦДЛ о нём вспоминают, и со скрипом, но где-то идут его пьесы, а пока человека помнят, он как бы жив.

ЗАХОДИ, СЕЙЧАС ТЕБЯ ПРОПЕСОЧУ!

Необыкновенный друг мой Юрий Постников на фотографии выглядит смешно: тщедушный субъект, худощавый очкарик сидит за столом среди героев «Весёлых картинок» и улыбается – явно счастлив в кукольном мире; на фоне деревянных и ватных масок его лицо с тонкими чертами – прямо копия арийца, какого-то свихнувшегося аристократа с тёплым, контактным взглядом.

Каждому ясно – симпатии большинства людей всегда будут на стороне тех, кто «сам себя сделал». О тех, кто с детства жил беззаботно, имел все условия для развития и творчества, думаешь: не хватало ещё, чтобы при таких возможностях вы ничего не добились.

Постников не просто «сам себя сделал» – он, хромоногий горбун, выстоял под ударами судьбы, выдержал всё и не сломался. Будучи с детства калекой, он не раз слышал за спиной: «Этот не жилец». Он постоянно испытывал боли, но никогда не жаловался, не употреблял слов «тяжело», «трудно», а если лежал в больницах, не разрешал приятелям себя навещать, чтобы не выглядеть беспомощным. А дома установил для себя жёсткие правила жизни: ежедневно делал физические упражнения, с каждым годом увеличивая нагрузки и никогда не позволяя себе расслабляться; собирал модели фрегат, занимался переплётным делом, даже научился водить машину и самостоятельно ремонтировать её (доходягу «Победу», которую купил у соседей).

Как многие талантливые люди с физическими недостатками, Постников долгое время вёл замкнутый образ жизни: жил с матерью и сестрой, много читал и сам писал «смешные приключения» для детей – писал о том, чего ему не хватало в жизни; выдумывал загадки, головоломки, лабиринты – всё то, что скрашивает досуг, вносит в жизнь элементы игры.

В середине пятидесятых годов художник-карикатурист Иван Семёнов создал журнал «Весёлые картинки» и пригласил Постникова быть литредактором. Постников согласился и быстро из отшельника превратился в чрезмерно общительного деятеля, даже стал метить на должность художественного редактора журнала, что выглядело слишком самоуверенно; не зря художники шутили:

– Если Постников станет худредом, мы пойдём в сборную страны по футболу.

Окончательно освоившись в «Картинках», Постников написал серию приключений известных героев журнала (с начала шестидесятых я начал сотрудничать в журнале и кое-что иллюстрировал из этой серии; в дни совместной работы и завязалась наша дружба). В своих книжках Постников задействовал весь «Клуб весёлых человечков», но ярче других выглядели Карандаш, которого придумал И. Семёнов, и Самоделкин – детище художника А. Сазонова. Ребята сразу полюбили предводителя «Клуба» – виртуозного рисовальщика с носом-карандашом и смекалистого железного человечка. Да и как их было не полюбить, ведь они вызывали у ребёнка желание и самому что-то сделать. Кстати, печататься Постников начал под псевдонимом Дружков, взяв эту фамилию у подружки, с которой тогда встречался.

После смерти матери Постников в память о ней написал роман «Прости!» (он и до него накатал кирпич какой-то унылой прозы). Роман был слабым, в нём не хватало остроты, а также крепкости, жёсткости, прочности и многих других мощностей, но было целое ведро воды (рукопись проталкивал Я. Аким), и в издательстве роман сократили. Понятно, такие истории авторам не нравятся, и, получив вёрстку, самолюбивый упрямец Постников восстановил текст – не без труда проник в типографию и самовольно перелопатил вёрстку (если ему что-то втемяшивалось в голову, он не отступал). Позднее этот трюк я тоже использовал, когда сам Постников «отредактировал» мои

опусы. Как-то он подбил меня на интереснейшее дело – почёсывая затылок, сонно проговорил:

– Напиши-ка в наш журнал сказку. Думаю, у тебя получится. (Первый случай, когда мне предложили что-то написать для журнала).

Пришлось попотеть, но всё же я написал сказку про краски, где одними и теми же красками художники рисуют совершенно разное. Так, один красной краской рисует маки, розы, гвоздики... Другой – мухоморы, пожары... Мои художники Постникову понравились, но он, как настоящий литературный хулиган, без моего ведома ввернул «дополнительную окраску»: первому художнику добавил политический мотив – «и знамёна на праздниках, и пионерские галстуки», а второму вампирский – «и кровь»... Тоже мне преобразователь! Ясно, все мы должны опекать тех, кто нам доверился, но Постников не опекал, а навязывал своё. Больше того, поскольку я был начинающим литератором, он, стервец, посчитал необязательным показывать мне правку и напечатал со своими добавлениями. Я немного расстроился и заявил ему:

– Как хочешь, но, если когда-нибудь сказка выйдет отдельной книжкой, восстановлю свой вариант (что и сделал спустя двадцать лет). Ты в романе целые страницы восстановил, а я что, несколько слов не могу?

– Можешь, конечно, – миролюбиво кивнул Постников. – Но я сделал лучше, нашёл элегантный выход из тупиковой ситуации. Теперь в каждой фразе чувствуется рука мастера. Оценить моё благородство может только благородный человек, ты на него не тянешь (такой был самоуверенный писака, первостатейный хвальбун!).

Спустя пару месяцев после выхода романа «Прости!» Постников протянул мне письмо какой-то старушенции с Урала, где она на все лады расхваливала его писания. Письмецо было чересчур литературным, и я, грешным делом, подумал – уж не накатал ли его сам Постников, тем более что постоянно таскал его в кармане, всем показывал и радовался, как мальчишка, что было бы простительно начинающему автору, но никак не опытному литературному зубру. Но вскоре выяснилось, что старушенция существует на самом деле и откликается на все книжные новинки.

Кстати, позднее так же, как Постников, вёл себя завсегдаятай ЦДЛ Глеб Поздняков, который всем представлялся сценаристом

(заодно, как бы мимоходом, сообщал, что является профессиональным шофёром и работал таксистом), при этом называл известные фильмы, где был, по его словам, «вторым автором текста» (пойди проверь!). Но однажды этот Поздняков напечатал маленькую юмореску в газете и носился с ней, словно курица с яйцом: всем совал под нос и преподносил как огромное достижение; он так радовался крохотной публикации, что многие усомнились – сценарист ли он вообще (кое-кто выдвигал предположение, что он просто купил рассказец у какого-то юмориста, но я поверил, поскольку мой друг сценарист Рудольф Тюрин был «рабом» у Кончаловского – писал диалоги в сценариях, за что получал неплохие деньги, но в титрах не упоминался).

Позднякова разоблачили довольно быстро – оказалось, он такой же автор фильмов, как мы танцоры Большого театра. К чести Позднякова отмечу: он прекрасно чувствует прозу, и недавно написал хороший роман «Моцарт Иванов» и полностью реабилитировал себя. Ну а какой он таксист, я убедился, когда он подвёз меня на своей машине до метро, – «профессионал» тянул только на любителя с небольшим стажем. Зато, будучи до перестройки всего лишь любителем в бизнесе, сейчас преуспел – стал настоящим профессионалом – владеет (с кем-то на паях) модным кафе.

Что касается моей персоны, то я за всю жизнь только два раза сталкивался с незнакомыми благодарными читателями. Первый раз мне позвонил какой-то мужчина со старческим голосом; назвав свою фамилию, он представился писателем (я такого не знал) и похвалил мои «Утренние трамваи»; затем спросил, где находится местность, которую я описал, и добавил: «Мне всё это близко... наверно, мы с вами одного возраста», но, узнав, что я на десять лет моложе, разочарованно вздохнул и попрощался.

Второй раз я получил письмо из Сибири, и опять от какого-то старикана. Письмо было сухим: «Давно слежу за вашим творчеством... собираю ваши книги... хотел бы иметь и другие... с автографом». Я удивился такому дотошному читателю и уже собрался было послать пару книжек, как писатель Леонид Яхнин, узнав, в чём дело, поднял меня на смех:

– Сергеев, ну ты что, совсем дурак?! Да я сто раз получал такие письма. Это пройдохи, которые по списку рассылают письма, полу-

чают книги с автографами, потом их загоняют по двойной цене. Пора бы уж тебе, старому дураку, это знать, хе-хе!

Но я отвлёкся. Так вот, Постников благодушно взирал на мои литературные потуги и всегда выдавал спокойные золотые фразы высоким, мальчишеским голосом. Нельзя сказать, что его язык был для меня божественным откровением, тем не менее рядом с ним почему-то и я выражался приличней – можно сказать, облагораживался.

Забегая вперёд, скажу: даже когда я стал зрелым литератором (и, хочется думать, немного продвинулся поближе к своим друзьям, профессиональным писателям), редакторы не церемонились с моими рассказами: кромсали их, как колбасу, как им вздумается. С. Баймухаметов в «Современнике» безжалостно прошёл по моей повести и, «чтобы прошла цензуру», написал «шапку» – в том смысле, что это частный случай, без всяких обобщений. А. Калина в своём журнале «Предприниматель» сократил мой рассказ и заменил концовку, наляпав совершенно не свойственные мне словечки, но, главное, об этом варварстве не поставил меня в известность.

Точно так же поступил Шашин, добавив отсебятины в мою статью о Егорове. Поэт Дагуров, работая в газете «Московский железнодорожник», часто печатал мои рассказы (за что ему моё горячее спасибо), но он, тупая башка, выбрасывал из них целые абзацы и всем рассказам давал новые названия – разумеется, мне ничего не сообщал. Я от этого не веселился, но и не огорчался, считая такую бесцеремонность издержками литературной работы, и думал: если будет книжка, напечатаю свой вариант. За меня вступился Тарловский:

– Как он может такое проделывать, ведь сам литератор?!

Опять, чёрт возьми, переключился на себя – воспоминания о друге всё больше превращаются в автобиографию – да простит меня Постников! Ладно, пойду дальше. В «Картинках» ежедневно было скопище творческих личностей, и Постников познакомил меня со многими художниками и писателями (за это ему громадная благодарность).

Не раз прямо из журнала мы набивались в «Победу» Постникова, как сельди в бочке, и катили на выступления перед детьми, а потом в какое-нибудь кафе отметить встречу. То было золотое времечко. «Картинки» имели невероятную популярность, тираж доходил до фантастической цифры – девяти с половиной миллионов, в журнале сотрудничали лучшие детские писатели и художники (в том числе

и «левые», которых не печатали в других местах). Я с теплотой вспоминаю наши «тёмные» сборища, доброжелательную атмосферу, которая царила при обсуждении тем, и, конечно, походы всей ватагой в «Арагви». У нас было крепкое мужское братство, и если кто и завидовал кому, то по-хорошему, с уважением к мастерству товарища, что особый случай в творческой среде.

Иногда из редакции мы с Постниковым катили к нему домой на его колымаге (простой, как «жестянка Лизи» Г. Форда), где в маленькой квартирке царила аптекарская чистота с уймой клеёночек, салфеточек, прозрачных чашечек, а на балконе, словно для контраста, виднелся сломанный торшер, кресло с торчащими пружинами, примус без слюды, чайник без ручки... – эти штуковины барахольщик Постников собирал на помойке («люди выбрасывают, а я подбираю; на помойках можно найти неожиданные вещи, которых и в музеях не увидишь»), и при случае чинил в гараже-мастерской, и этому отдавал всё свободное время, которого у него было навалом (даже с избытком), ведь он не пьянствовал по вечерам в ЦДЛ и не волочился за женщинами. Это увлечение Постникова (как и многие подобные увлечения) выглядело лёгким помешательством, но, как известно, именно занятия для души делают человека счастливым.

Постников бережно относился ко всем вещам.

– Надо окружить себя минимумом вещей, – назидательно говорил он (повторяю – спокойным бесценным голосом). – Но такими, которые нравятся, дороги, с которыми много связано. Надо любить их, тогда и настроение будет хорошее, уразумел?.. Небось знаешь, что по вещам в комнате можно судить абсолютно обо всём: возрасте, профессии, характере и привычках жильца?.. У меня стойкая привязанность к вещам.

Вероятно, чтобы подчеркнуть свой золотой характер и свои отменные привычки, Постников подробнейшим образом рассказывал про дачный участок, который получил от издательства (на станции Гжель) и на котором он, мастеровитый, «всё организовал, облагородил», где «божественный порядок, как в стаде жирафов, и все условия для философского созерцания» (я представлял тот аккуратный, вылизанный мирок), предлагал скатать туда «оценить плоды большого труда», но я отнекивался: говорил, что страдаю аллергией на участки, ссылаясь на жизнь под Казанью, когда десять лет копался в земле.

Но особую любовь Постников питал к инструменту. Это я понял, когда мы ремонтировали его машину, старую колымагу, к которой слово «Победа» никак не подходило. Наблюдая, как он крутит гайки, я понял и более важное – каким образом родились технические выдумки Самоделкина. Кстати, он, чистоплюй, даже гараж чистил пылесосом и, как последний скряга, тряся над каждой гайкой – бывало, потеряю, так жужжал целый час, и постоянно преуменьшал моё участие в ремонте, а своё раздувал. Теперь можно точно сказать: по большому счёту, если я что и забрал у своего наставника, так это бережное отношение к инструменту и к вещам вообще. Хотел ещё перенять его сдержанность (он никогда не выходил из себя), но у меня ничего не получилось.

Понятно, в начале пути у каждого должен быть учитель – от него зависит очень многое; настоящего учителя у меня не было – до всего приходилось докапываться самостоятельно. К примеру, понадобилось немало лет, пока я не понял, что в прозе главное экспозиция, и надо не рассказывать, а показывать, что образ сильнее понятий, а доверие читателя завоёвывается через деталь.

Судьба вознаградила Постникова за стойкость и несгибаемый дух – за него вышла замуж симпатичная, умная (до едкости) редакторша «Детского мира», он стал отцом – одним из лучших в писательской братии: немногие уделяли детям столько времени, сколько он уделял сыну (возился с мальчишкой часами). Вскоре семье Постниковых дали новую квартиру, и, наконец, он поменял свой драндулет (уже прогнивший, с раскоряченными колёсами) на новую машину. Ну и главное – его «Приключения весёлых человечков» прогремели по всей стране. Сейчас его книжки всюю издают, ими завалены книжные магазины; я рад за моего друга, но всё-таки следовало бы дать пару строк (где-нибудь на титуле) о художниках, создавших эти образы (повторюсь: Карандаша – Семёнов, Самоделкина – Сазонов) – как ни крути, их придумал не Постников, он только развил замысел других. И жаль, что он сам не упомянул о художниках в своё время.

В «Картинках», на редакторском столе Постникова был чёткий порядок: каждая вещь лежала на своём месте; не дай бог что-нибудь возьмишь и положишь не туда – нагоняя не избежать (уже без всяких золотых фраз). Эта ухоженность рабочего места и чуткое отношение к авторам отличали Постникова от всех редакторов, с которыми я стал-

кивался; у тех на столе всегда был кавардак (ищут рукопись – «куда делась, прям не знаю!»). А у Постникова к каждой странице была подколота бумажка: кому, что, какие замечания.

Всех авторов, заходящих в редакцию, Постников в шутку называл «бумагомарателями» и деликатно чему-нибудь учил: маститых – как печатать и делать сноски; начинающих, вроде меня, на правах старшего, – как вообще писать; никому не делал поблажек, но, разбирая рукопись, особенно не распекал.

– Надо обращать внимание не на плохое, а на хорошее, показывать, как автор может сделать, – часто повторял он свою главную заповедь, а мне вскользь добавлял: – Иначе можно невзначай нажить врагов.

Со мной Постников вёл просветительскую работу, читал мне, неотёсанному, отдельные лекции (как руководство к действию) – пока мы ехали в его машине, со спокойной уверенностью в себе тихо бурчал:

– Литература – это вроде бы просто организованные слова, но как организованы, вот вопрос. Читаешь великих писателей и думаешь: всё не так уж и трудно, но попробуешь – всё получается коряво... Ты вообще совершаешь большую ошибку. Мимоходом проглатываешь ценные вещи, а из этого абзаца можно сделать целую повесть. Куда спешить? Выжимай из темы всё, что можно... Если интересно написано, пусть будет хоть километр страниц, всё равно будет читаться. (Эта пламенная речь была похожа на заклинание.)

Открыв мне ценные профессиональные секреты, он, многоопытный чертяка (больше теоретик), продолжал в форме лёгкого занудства:

– Что такое проза? Это, как говорил Флобер, «жидкость, которая никак не примет форму». Ты можешь написать очень хороший рассказ и можешь – очень плохой. Объясняю почему. Потому что ты, балда, несобранный и подвержен вредоносным влияниям.

Дальше он начисто забывал про свой «метод доброго слова» и уже занудствовал тяжелее (прямо резал меня ножом, говорил, как со слабоумным, словно хуже меня никого нет):

– Брось свои скверные привычки: выпивки и сигареты – ведь одну прикуриваешь от другой, – куда это годится, пустая голова?! И ради любой бабы забрасываешь работу. Ты разболтанный какой-то, распустился до невозможности. Когда возьмёшь себя в руки, отвечай!

– На этот вопрос может ответить только Бог, – отшучивался я.

– Я тебе дам «Бог»! Догадываюсь, что ты и в быту человек неуютный, в комнате небось неразбериха, кавардак. Так и знай: внесу тебя в чёрный список недругов. Исправишься – вычеркну (у него действительно имелся этот дурацкий список).

Под его натиском я вжимался в сиденье, но стойко держал оборону, оправдывался, говорил, что постоянно борюсь со своими ужасными недостатками. А мой истязатель всё наседавал, не давал перевести дух, изгалялся и так и сяк:

– Пойми, балда, у тебя хорошие задатки, и важно, в какую сторону пойдёшь. А на меня не злись. Как говорил Саади, «истинный друг честен и прям». Да и злость разъедает душу. (Таких сентенций у него было немерено.)

Я догадывался, что слова моего друга не критический диктат, а требовательность к тем, к кому он относится с симпатией, но всё же от его методичной обработки испытывал что-то мучительное в душе. Он, зануда, не понимал – нельзя требовать от человека больше, чем он может дать, а я к тому времени ещё не был готов к серьёзным занятиям литературой и писал от случая к случаю, в перерывах между пьянками с друзьями и встречами с девицами. Кстати, однажды он вроде это понял и, чтобы сгладить свой разнос, пообещал смастерить мне модель фрегата.

Мы подъезжали к его дому, загоняли «Победу» в гараж и шли пить чай (дома мой наставник уже держал себя в рамках и демонстрировал душевное гостеприимство). В те дни я был сильно благодарен Постникову за сердечное участие в моей жизни, но ещё сильнее завидовал его транспорту. Именно тогда к моим мечтам о крепкой семье и доме в Подмоскovie (с видом из окна на простор, еле охватываемый взглядом, чтобы распалить воображение, – желательно на водохранилище) приплюсовалась ещё мечта: занять машину и объездить на ней с друзьями всю Европу и непременно побывать в Ирландии и Исландии. Должен признаться, мне так и не удалось осуществить эту мечту, хотя временами и приближался к ней вплотную, можно сказать – наступал ей на пятки: два раза покупал подержанные колымаги и ездил с друзьями по России. И даже пытался придать машинам божеский вид (за рубежом на старых не пускают), но в ГАИ надо мной посмеялись.

Каждый знает – трагедии бывают самые разные: один разбил бутылку водки, купленную на последние деньги, у другого сгорела дача,

третий потерял близкого человека... Теперь, под старость, в этот ряд я поставил бы и неосуществлённые мечты, и разочарование. Долгое время я восхищался некоторыми своими дружками – ведь они писали не только стихи и рассказы, но и статьи, рецензии, радиопередачи, переводили со всех языков (по подстрочникам). «Вот что значит профессионализм, – думал я, они могут и то, и другое – и всё клепают беспрерывно, им не нужен настрой, вдохновение». Но позднее я обнаружил, что эти мои дружки любят не столько литературу, сколько деньги, и многое делают из рук вон плохо. Помимо этого, я считал их талантами, умниками, справедливыми, но лет в пятьдесят заметил, что многие из них не такие уж таланты и умники, а после криминального переворота, когда они проявили себя во всём блеске – стали штамповать коммерческие поделки, меня постигло страшное разочарование.

Это было значительным трагическим открытием в моей жизни, трагическим потому, что случилось слишком поздно и неожиданно и выглядело предательством многолетней дружбы. В те дни я понял: разочарование может быть посильнее потери. Но в это углублюсь позднее, а сейчас вернусь к старому волку Постникову, которым, наоборот, с каждой встречей я восхищался всё больше и больше. Уверен, если бы он дожил до переворота, то не изменился бы и сохранил своё достоинство.

Однажды Постников сосватал меня на фабрику игрушек – делать рисунки к новогодним подарочным корзинкам. Это была интересная работа, и я сразу сделал широченный шаг из безденежья – не к богатству, конечно, – к достатку.

Чуть позднее благородный «работодатель» Постников предложил мне иллюстрировать книжки Шульжика в хабаровском издательстве. Как всегда, растянуто, певуче сказал:

– Есть в Хабаровске один детский поэт – Валерий Шульжик. Вот его стихи. Сделай книжку. У тебя получится...

Мы с Шульжиком списались (именно списались, а не созвонились – потом это сыграет роль) и обговорили книжку. Когда она вышла, Постников позвонил мне:

– Приезжай! Возьмёшь пару экземпляров. И обмозгуем, как жить дальше. Заодно познакомишься с автором, он приехал в Москву.

Я прикатил к своему благодетелю, и он представил меня Шульжик-ку – широкомордому, лысому, носатому толстяку:

– Вот это и есть Сергеев!

– Как? – выпалил тот, и его глаза полезли на лоб.

Оказалось, Постников загнул, будто Сергеев – псевдоним женщины-художника и что она «симпатичная и одинокая». Дальневосточный поэт был сам мастером розыгрыша, но в этот раз клюнул на приманку и уже настроился на роман с «симпатичной москвичкой».

Как литератор Постников не был силён (теоретик – он и есть теоретик), и к его мнению о литературе я испытывал слабое доверие, но он был старше меня и опытней, потому я и тащил ему всё, что писал. Первые два рассказа он, матёрый, разгромил в пух и прах, но без крепких выражений, тактично, особенно нажимая на слово беспорядочно. Прочитав третий, сказал:

– Ну, этот получше. Но не очень. Хотя порядок налицо.

После четвёртого:

– Ну, слава богу, этот лучше. Плюсов больше, чем минусов. Но ненамного, не весомое достижение, – и дальше, разогревая мою фантазию: – Каждое произведение надо писать как последнее, выкладывать полностью... Старайся, накручивай себя, своё воображение! Думаю, сможешь писать лучше. Хотя за это ручаться трудно. Скорее, не сможешь, если не бросишь свои дурацкие привычки. И всё у тебя будет беспорядочно – то скомкано, то рыхло, лохмато...

Эх-ма! Многое я сейчас отдал бы, чтобы услышать его тихое, искреннее занудство. Бывало, ковыляет по коридору редакции – маленький, чахлый, хромоногий горбун-старикашка – улыбается своим мыслям... Увидит меня, поправит очки:

– А, это ты! Заходи, заходи, сейчас тебе задам перцу, разделаю под орех, положу на лопатки... – и уже тише, убаюкивающим голосом: – Хотя тебе в одно ухо влетает, в другое вылетает. Ты ведь, мелюзга этакая, упрямый, как не знаю кто, не слушаешь старших, многоопытных...

Спустя несколько лет, когда я вёл детскую изостудию в ЦДЛ, Постников водил на занятия сына, причём усаживался рядом с мальчишкой и всячески подбадривал своё чадо. Стоило мне отлучиться, как он начинал водить рукой сына по бумаге, а потом и вовсе выхватывал у него кисть и сам заканчивал рисунок. Я-то сразу видел, где рука ребёнка, а где родителя, и отчитывал Постникова (не менее азартно, чем он меня, когда дело касалось литературы и моего образа жизни).

– Пойми, – говорил я, – в каждом рисунке видна душа художника, а здесь налицо две души, и большая душа явно давит на маленькую душу. Это всё равно, что рядом с хрупким цветком растёт мощный репей, и рано или поздно цветок увянет. Ты убиваешь в ребёнке непосредственное восприятие, индивидуальность. Возьми отдельный лист бумаги и рисуй до посинения, но не лезь в мою систему обучения, не порть мне ученика.

– Ничего страшного, – спокойно оправдывался мой литературный наставник. – Мы с сыном творим в соавторстве, неужели не ясно? Под рисунком сделаем подпись: «Рисовал Постников-младший, помогал Постников-старший».

Кстати, у Постниковых и на рисунках мелькало немало надписей в духе Киплинга: «Кота не видно – он за чемоданом», «Пёс не уместился, но вот его хвост».

Некоторые отмечали какое-то раздавленное самолюбие Постникова, его склонность к ворчанью, кое-кто считал, что у него сквернейший характер, что он неуживчив, насмешлив и вообще имеет кучу отталкивающих качеств, а я считаю – он просто отстаивал свои принципы. Во всяком случае, Постников был самым естественным из моих дружков. Ведь большинство из них двулики: говорят что-то, кого-то изображают, а про себя думают – достаточно ли они убедительны. А Постников, светлая голова, никого не изображал. Теперь, в старости, для меня самое ценное в людях – естественность и искренность.

Постников так и не смог победить свою болезнь; он ушёл из жизни тихо, незаметно; я нигде не видел сообщений о его смерти, нигде не читал статей о его творчестве, не слышал о вечерах памяти... Так что этот очерк – моё запоздалое посвящение ему, мой небольшой поминальный венок на его могилу. И ещё: пока он был жив, я особо не выделял его из общего числа друзей, и только когда его не стало, ощутил острое чувство сиротства.

ЦВЕТЫ НАД РЕКОЙ

Даровитый, непревзойдённый (в смысле наград) друг мой Сергей Иванов на фотографии в тенниске, грудь колесом, и без того узкий рот сомкнут до еле различимой змейки – позируя, Иванов откровенно

дурачится. На снимке он – вылитый положительный герой, на самом деле был обаятельный злодей. Два моих отчаянных друга имели по шесть жён – Юрий Кушак и Сергей Иванов, но если у первого все супружницы внешне разные, то у второго – как отпечатки с одного негатива, «точно сёстры Фёдоровы», – говорил Шульжик. Иванова, как и многих, тянуло к определённого типу людей. Однажды встречаю его в Доме журналистов – идёт под руку со своей дражайшей половиной.

– Привет! – восклицает праздничным голосом и, спотыкаясь на слогах (он заикался): – Познакомься! Эта сударыня – моя жена!

– А мы уже знакомы, – говорю.

Он кривится, отводит меня в сторону.

– Не та, дурак! Новая! – и скорчил мне презрительную гримасу – как, мол, ты, черепок, не видишь! Это ж очевидно!

Кстати, это была его четвёртая жена. Позднее, на даче Иванова, она сообщила мне:

– Ничего своего он не пишет. Я всё рассказываю, а он только записывает.

Она, простушка до мозга костей, не понимала, что в умении талантливо записать и состоит работа писателя. Тем не менее эта четвёртая жена была послушной тихоней и рукодельницей: вязала прекрасные, в высшей степени художественные вещи; супруги ходили, держась за руки, – боялись потерять друг друга, и их развод был для всех настоящим шоком.

А вот пятая жена Иванова (по всеобщему мнению) была стервой (в Высшей партийной школе, где она работала, видимо, других не держали). Иванов женился на ней скоропалительно и тайно («для карьеры», – пояснил Игорь Мазнин); во всяком случае, нас не оповестил, и мы с Яхниним прикатили к нему на дачу, да ещё с подружками (хорошо, что не прихватили третью для него). Дача была открыта, но хозяин отсутствовал. Когда мы расположились на террасе, из-за изгороди выглянула соседка.

– А Сергей поехал на велосипеде на станцию.

– Мы подождём! – бодро откликнулись мы и стали готовиться к встрече: вытащили на стол всё, что привезли.

Прошло полчаса, а Иванов всё не появлялся. Я подумал, что мы не очень нарушим законы дачного гостеприимства, если откупорим одну бутылку.

– Я думаю, Серёжка не обидится, если мы начнём без него, – угадал мои мысли Яхнин и подмигнул нашим подружкам.

В разгар нашего пиршества прикатил Иванов с новой женой на багажнике велосипеда.

– Какие люди! – закричал он. – Иришка, знакомься! Мои любимые друзья, замечательные писатели! Морды гнусные! Подлюки эдакие! Наконец приехали! (подражая Ильфу, близких друзей он звал «мордами», «подлюками», «паразитами», «гадёнышами», «засранцами» – здесь имел богатый словарь).

Мы обнялись, Яхнин и я представили наших подружек. Но новая жена Иванова вдруг бросила в нашу сторону злобный взгляд, швырнула на лавку большую круглую сумку (с кадку) и, отвернувшись, демонстративно прошагала в комнаты (только что не плюнула). Иванов ринулся за ней, и мы услышали перепалку. Через несколько минут он, страшно нервничая, теребя короткие и жёсткие, как металлическая стружка, волосы, вернулся и, с наигранной весёлостью сообщил:

– Иришка не сориентировалась. Сейчас всё будет в порядке. Спокуха!

Но порядок не наступил. На террасу вылетела разъярённая супруга Иванова.

– Что вы здесь расхозяйничались?! Посуду взяли! Убирайтесь! Сергей теперь женатый, и никаких сборищ больше не будет! – она хотела выкрикнуть ещё что-то грозное, но Иванов закрыл ей рот рукой и утащил в комнаты.

Послышались крики, звуки пощёчин. Это был захватывающий спектакль. Ошарашенные, мы с Яхниным двинули к калитке, наши подружки ещё раньше покинули террасу. Около изгороди нам перегородила путь новоиспечённая пламенная жена.

– А кто посуду будет мыть за вами?!

Это уж онахватила через край.

– Сумасшедшая! – буркнул Яхнин, открывая калитку.

– Кухарка! – рявкнул я, хлопнув калиткой изо всех сил.

На следующий день Иванов изобразил жуткую обиду:

– Куда вы исчезли?.. Иришка всё поняла, хотела извиниться, я побежал за вами... Добежал до станции, а вас и след простыл...

Он, прохиндей, конечно, фантазировал, ведь мы брели к станции около часа, присаживались на скамьи, покуривали... Но мы не стали его разоблачать – бедняга оказался меж двух огней.

Что и говорить, мой даровитый друг Иванов был даровит во многих отношениях. С женщинами он держался раскованно, иронично-галантно: называл «сударынями» (за глаза «тёлками»), целовал ручки, мог полчаса простоять на коленях с цветами перед дверью и со страдальческой гримасой умолять «сударыню»пустить его, при этом восклицал:

– Ты влюбишься в меня, когда узнаешь поближе! – и тут же шептал друзьям: – Тёлка – стерва!

Ничего предосудительного в этом нет – обычная логика мужчины; мне лишь не нравилось, что он долго простаивал перед дверью, лучше бы – пару минут, не больше.

Иванов не курил (только в молодости недолго) и выпивал реже, чем мы (правда, набирался в дым), вёл здоровый образ жизни (в основном обитал на даче в Заветах Ильича, где сушил яблоки и готовил яблочные компоты и вообще жил в гармонии с природой); понятно, он всегда выглядел молодцеватым и даже в пятьдесят восемь лет не собирался стареть, в крайнем случае – красиво увядать.

Он был блестящим пловцом-марафонцем (плавал взад-вперед по узкой – можно перепрыгнуть – речушке Серебрянке – не ради рекордов, просто поддерживал физическую форму); и летом и зимой мастерски гонял на спортивном велосипеде (на станцию за продуктами и газетами, встречать друзей); делал пробежки с собачонкой Пеструшкой (маленькой, чуть больше пивной кружки) вдоль леса, чтобы надышаться озоном, и проделывал этот моцион ежедневно. Наплавается, накачается, надышится – и садится за работу.

Своё место в литературе Иванов завоёвывал неимоверным трудом, огромной выносливостью и навязчивой дружбой с «генералами от литературы». Он, неиссякаемый, работал, как бульдозер: написал более шестидесяти книг для детей и хапнул тьму наград: он орденоносец, лауреат Госпремии, премий им. Гайдара и Кассиля, обладатель каких-то почётных дипломов. Несколько раз я начинал читать его толстые книжки о школьниках, но быстро закрывал – обычный, открытый (без интонации и окраски) текст не впечатлял. Наверняка в нём были и сюжет, и образы, но для меня главное – не о чём написано, а как, ведь слабый художник и отличную тему угробит, а сильный из чепухи сделает первоклассную вещь. Ко всему меня всегда пугают объёмные вещи.

Признаюсь, из-за лени вообще мало читал друзей; знаю, что и они друг друга не читают (кроме Мазнина и Мезинова); некоторые с усмешкой добавляют: «чтобы не разочаровываться» (кстати, прозаик Ю. Кувалдин советует поступать и наоборот: с хорошими неизвестными писателями близко не сходить, чтобы в них не разочаровываться как в людях), так что выношу себе оправдательный приговор.

Как-то за выпивкой в ЦДЛ глубоко начитанный Мазнин сказал Иванову:

– Ты собираешь опавшие листья – некоторые строчки содрал у Льва Толстого, – он процитировал несколько примеров.

Иванов покраснел, но рассмеялся:

– От вас, гадов, ничего не скроешь!

Две тонких книжки Иванова я всё же прочитал: «Жулька» – о собаке, и «Крыша под облаками». Первая написана в традициях добротной русской прозы и проникнута любовью к животным. Во второй ничего особенного нет – просто импрессионистические зарисовки дачного посёлка, но эти зарисовки написаны чистейшим языком, легко и безыскусно, на одном дыхании – в них какая-то прекрасная недосказанность, которая создаёт пространство для импровизации. Закончив чтение, я проникся светлыми чувствами, и мне стало по-настоящему жаль хорошего писателя, который ухлопал талант на груды посредственных книг, чтобы скорее получить признание и славу. Именно это, иначе чем объяснить такое: в день похорон его отца, когда в соседней комнате лежала его больная мать и в полубредовом состоянии спрашивала:

– Куда ушёл отец? Кто эти люди? Зачем пришли? (Иванов, по понятной причине, скрывал от неё происходящее)...

И вот в этот самый момент, в ожидании машины из похоронного бюро, Иванов, кретин, подводит меня к полке своих книг.

– Видал, сколько уже вышло?

Я кивнул и спросил:

– Почему тебя иллюстрирует только один Гуревич?

– Я нарочно на это иду. Когда будут издавать собрание сочинений, не придётся делать новых рисунков...

Здесь уместно ввернуть вставку: большинство прозаиков можно грубо разделить на книжных, которые преподносят старые сюжеты в новой упаковке, и тех, кто опирается на свой жизненный опыт. Так вот, те две книжки Иванова, которые я упомянул, – из числа переживательного опыта.

В молодости Иванов был секретарём комсомола; именно из ЦК комсомола его направили работать в журнал «Пионер». Дальний прицел Иванова было разгадать нетрудно – собственно, он и не скрывал его – возглавить крупный литературный журнал, а пробивных жилок и волевых качеств ему было не занимать (такие же великие мечты вынашивали Успенский, Мазнин и Мезинов – они, куцые умишки, маниакально рвались к власти, только и думали о своей заднице – как бы сесть на тёплое место; наверняка эти гаврики не отказались бы и от министерских портфелей, но по своей сути они не были чиновниками – ну, может, только Мезинов).

Вступив в партию, Иванов, дурень, стал крутиться вокруг каких-то партийных работников, изредка подходил к каждому из нас, раскачивался, как кобра, стыдливо прижимался щекой к плечу и с театральной плаксивостью бормотал:

– Ну прости! Ты меня, засранца, презираешь, да? Теперь не будешь со мной дружить, да? – дальше молотил всякую ерунду с ужасно шаткой позиции.

Я так и не понял, что у него в этот момент творилось в душе, что это было: приступ инфантильности или чётко продуманный ход проныры, примитивная мораль или цинизм? И как он относится к друзьям – серьёзно или издевается над ними? Что и говорить, наш герой имел загадочный характер.

– Иванов весь насквозь фальшивый, – сказал Константин Сергиенко. – И писать не умеет. И рациональный, весь какой-то застёгнутый. Меняется, подстраиваясь под обстоятельства.

Тем не менее, получив партбилет, Иванов сразу вошёл в какие-то властные писательские структуры и в той иерархии стал называть себя «вторым после Алексина». Тот, в свою очередь, говорил Иванову: «Вы – будущее нашей литературы». Вскоре Иванов получил орден Дружбы народов, а затем и Госпремию за роман «Потапов» (который я два раза начинал читать, но так и не смог втянуться) и стал преподавателем в Литинституте. Некоторые вроде Ю. Кушака брюзжали:

– Чему он может научить? Ему самому надо учиться.

А «патриоты» усмехались:

– Еврейские дела! (у Иванова мать была еврейка).

После взлёта Иванова, я сказал ему:

– Постарайся достойно пережить свой успех, не сломайся под грузом славы.

Но где там! Он пропустил мои слова мимо ушей и с тех пор ходил по ЦДЛ с таким видом, словно получил не Государственную, а Нобелевскую премию.

Как-то иду в Пёстрый зал, а Иванов в холле ругает свою ученицу М. Москвину; увидел меня, махнул рукой:

– Лёньк, подойди! Ну вот скажи, как можно так писать?! – и начал что-то цитировать из Москвиной.

Я не стал слушать.

– Пусть пишет, как хочет. Здесь нет рецептов.

В то время бывало не раз: мы, друзья Иванова, сидим за одним столом, а он, болван набитый, с писательскими секретарями – за другим; мы выпиваем, а они листают протоколы, постановления, и Иванову не стыдно перед нами, даже наоборот – выпячивается, вроде гордится, что находится в «высоких сферах». Однажды даже сказанул: «Соловей не воробей, он из лужи не пьёт» (видимо, имел в виду, что мы пьянствуем со всеми подряд и вообще много занимаемся пустозвонством).

В те дни и его жена Ирина (пятая, глубоко партийная) скакнула куда-то вверх, и их пробивной дуэт распирало от собственного величия. Однажды им позвонил М. Тарловский, чтобы поздравить Иванова с орденом. В трубке услышал звонкий голос Ирины:

– Квартира писателя Сергея Иванова. Кто его просит?

От такой официальщины Тарловский немного растерялся и, шутки ради, опрометчиво изменил голос:

– Это из ЦК!

Ирина на секунду замешкалась, затем тихо пробормотала:

– Сейчас, сейчас...

Подошёл Иванов и, узнав друга, разочарованно, с трудом расставаясь с предвкушением нового триумфа, протянул:

– А-а, это ты...

– За что ты получил орден? – просто и грубовато спросил Тарловский, усугубляя свой первоначальный промах.

– В газетах всё написано, – холодно ответил Иванов и, окончательно похоронив надежду на счастье, добавил: – За большой вклад в литературу.

После того как Иванов получил Госпремию, Тарловский вновь полез к нему с поздравлениями, но телефон долго был занят; когда наконец дозвонился, трубку сняла жена Иванова.

– Не могу к вам пробиться, у вас всё занято и занято, – простодушно сказал Тарловский.

– Так всегда бывает, когда маленький писатель звонит большому, – вполне серьёзно заявила крутая особа.

Трубку взял Иванов. Тарловский, не просчитав все последствия, передал слова, которые только что услышал.

– Хорошо! Я у неё выясню, – отчеканил Иванов.

Через несколько минут он перезвонил:

– Марк! Она этого не говорила! Ты совсем рехнулся! – и бросил трубку.

Они не общались больше года; помирились, только когда Иванов разошёлся с этой женой. Они встретились в Доме творчества «Переделкино», где Иванов с Н. Ламмом писали детектив и крепко поддавали.

– Марик! – вскричал Иванов, обнимая друга. – Эта сука поссорила меня со всеми друзьями!..

С лёгким сердцем они возобновили дружбу.

Кстати, Госпремию Иванова мы обмывали на веранде Пёстрога зала (естественно, наш друг пригласил Михалкова, Алексина). В разгар хвалебных тостов в честь героя торжества явился Коваль и сразу привлёк к себе внимание. Раздались крики радости. А на Иванова нахлынули странные переживания, он сник и шепнул мне с нервным смешком:

– Всё чётко продумал, гад. Чтобы теперь о нём поговорили.

Он, недалёкий, жгуче ревновал Ковалю к славе и, бывало, когда тот читал что-нибудь из вновь написанного, щёлкал языком:

– Слабовато! Сырой текст! Не тот уровень!

– Ну напиши лучше, едрёна вошь, – гоготал Коваль, уверенный, что лучше написать невозможно.

Другого своего приятеля – Успенского – Иванов, наоборот, с жаром хвалил (возможно, потому что Успенский тогда в основном писал стихи – как бы работал на другой площадке); правда, хвалил, выбирая странные образы:

– Эдик дичайше талантлив. Вот если завтра его переедет трамвай, все скажут: «Был гений!»

Вот такое мнение – противоположное мнению Мазнина, и не только его.

Временами хитрость Иванова проявлялась слишком явственно. Как-то мы с ним выпивали в ЦДЛ; с нами сидели ещё двое приятелей;

деньги кончились, а выпить хотелось. Я предложил Иванову занять деньги у Кушака, который сидел в углу с каким-то автором.

– Возьмём в счёт моего гонорара, – объяснил я. – Вчера сдал ему иллюстрации к книжке Сапгира (Кушак в перестройку открыл своё издательство «Золотой ключик», где, понятно, издавал «своих» – Сапгира, Г. Балла, Ламма...).

– Иди один, – сказал Иванов.

– Нет, вдвоём, – заявил я. – Так убедительней.

– Давай вдвоём, морда ты эдакая, – Иванов встал, но как только я подошёл к Кушаку, вернулся на своё место.

Кушак, естественно, дал мне деньги (он никогда не отказывал), но Иванов хорош! Так мелко он, тупоголовый, поступал частенько. Договариваемся с ним куда-нибудь ехать, «Ага! – кивает, – только схожу в туалет» – и незаметно идёт в гардероб и исчезает. Или скажет Тарловскому: «Иди в буфет, бери кофе, сейчас подойду». И уходит домой.

Иванов был нервный, нетерпеливый, с бегающим взглядом, говорил быстро, заикаясь; на всё реагировал мгновенно, остро; и веселился, и грустил до слёз – и уж это непритворно, так невозможно сыграть. Бывало, мы с Яхниным выпиваем с девицами; подлетает Иванов, размахивая дипломатом, и сразу напрямую:

– Ну, кого мы сегодня будем тр...ть?!

Кстати, в этом вопросе мы все отличались непосредственностью. Помню, с Ковалём выпивали в Пёстром со своими подружками; в разгар застолья нас пригласила заглянуть в свой семинар Марина Москвина (талантливая литераторша, наша приятельница, которая натаскивала молодёжь). Спустя какое-то время, прилично нагрузившись, мы с Ковалём поднялись в комнату за сценой и стали что-то нести будущим детским поэтам и прозаикам – вначале Коваль, потом я. В середине моей болтовни Коваль вдруг выдаёт на всю комнату:

– Лёньк! А где наши Машка с Катькой?

– Ждут нас в Пёстром, – говорю.

– Так пойдём. Чего мы здесь делаем!

Только по хихиканью наших слушателей я понял, что мы сморозили глупость и вообще выглядели не лучшим образом. Но Коваль ничуть не смутился. На лестнице говорит:

– Ни х... Мы всё сказали, что надо. А перед Машкой с Катькой неудобно. Оставили их одних...

Однажды в солнечный летний день мы с Ивановым шли по берегу Серебрянки – хотели найти дом, где наша семья жила до войны и откуда нас эвакуировали. Дом не нашли (уже всё было перестроено); я рассказал, как в конце пятидесятых годов мы вернулись в Подмоскowie и жили в Ашукинской (чуть дальше Заветов). Иванов рассмеялся:

– Я чётко помню: мы с тобой встречались в электричках. Ты, подлюка эдакий, всегда покуривал в тамбуре, устраивал табачную завесу, а я не переносу дым.

Скорее всего, он выдумывал, но кто знает... На обратном пути к даче Иванов распекал меня за дружбу с некоторыми нашими общими приятелями (хотя сам с ними дружил не меньше меня).

– Он дерьмо! Чего ты с ним дружишь? И графоман!

– Этот подлец! Проталкивает только своих! И графоман!

– У этого шелуха, темы мелкие и скучные. Тухлятина. Пишет, как школяр, с грудой ненужных подробностей, а в конце всё разжёвывает, объясняет, что к чему, и сразу дело дрянь. Прямо бесит меня, чистый графоман!

– Этот может состряпать крепкий сюжет, но не влезает в душу героев. Отсюда графоманские строчки.

Говорят, женщины – сплетницы. Ответственно заявляю: дружки мои переплюнули весь слабый пол. Вот уж где гнездо сплетников, где всегда услышишь, кто кого меньше уважает, кто бездарь и пустослов, – так это в ЦДЛ, там сплетничают побольше, чем бабки у подъездов. Не случайно Шульжик, чтобы сменить тему разговора (прекратить злословие), частенько говорит:

– Так, ну кого мы еще не обоср...и?

И здесь я привожу ярлыки, которые мои дружки вешали и вешают друг на друга, чтобы они, придурки, наконец говорили в глаза то, что с таким напором молотят за спиной. Пора, хотя бы на седьмом десятке, отвечать за свои слова, чёрт бы их подрал! Куда это годится: сидишь с ними – нахваливают, пускают пузыри; стоит отойти – костерят на чём свет стоит! А потом то один старый хрен, то другой сообщает, какую гадость о тебе сказали, да ещё застраховывают себя:

– Не вздумай это передавать!

Такие художества, такие противные словечки. Если вы такие смелые, говорите открыто то, что думаете, или не разевайте рот, вас за

язык никто не тянет. Пожалуй, только Шульжик может вклеить в глаза. Иногда прорывается у Мазнина и Мезинова. Ну и у меня не заржавеет. Смешно наблюдать, как разоблачённый злоязычник начинает выкручиваться, оправдываться; вертится, словно уж на раскалённой сковородке. И что возмущает – никто из этих любителей перебивать кости при этом не краснеет, не скажет: «Извини, дал маху, что-то нашло!» А то ещё и насядет на тебя, и так всё повернёт, что вроде ты во всём виноват. На таких фортелях они собаку съели. Они все зубастые – в смысле словечек, а не количества зубов – как раз с этим у них, сморчков, плоховато.

Ну а в тот день, когда Иванов громил наших друзей-литераторов, он внезапно прервался:

– А-а, всё это мишура! Наплевать! О чём я говорю! Спокуха! Пойдём покажу место, где цветы прямо над рекой. Офигительное место!

Он подвёл меня к излучине, где над водой свисали кусты, усыпанные ярко-жёлтыми цветами; вокруг цветов прямо-таки стояло сияние – оно зеркально отразилось в воде и источало терпкий аромат. Я оцепенел от восторга.

– Красотища, верно? – с романтической печалью выдохнул мой впечатлительный друг. – Всё время прихожу сюда и люблюсь. Но это ещё что! На Клязьме есть места с лилиями. Моими любимыми цветами. В следующий раз сгоняем туда на велосипедах... Ужасно жалею, что не умею рисовать. Завидую тебе. Меня всегда поражает: несколько мазков кисточкой – и получается красотища. Волшебство! Фантастика! (Чувства перехлёстывали его.)

А я подумал: всё-таки талант в человеке всегда победит и разрушительный настрой, и злость.

– Я каждый день делаю заплывы до этого места, – продолжал мой друг. – Здесь вода прозрачная и холодненькая, бодрящая.

Кроме литераторов, у Иванова было немало друзей инженеров, врачей, с которыми он учился ещё в школе и в пединституте на логопедическом факультете (среди всех, включая литераторов, почему-то лишь двое не были евреями – поэт Л. Мезинов и я), но на вечере его памяти (спустя три года после его гибели) я встретил только одного В. Беккера (предпринимателя-супермена).

– А где все Серёжкины друзья не литераторы? – спросил у него.

– Они все в Израиле, Америке...

И я сразу вспомнил фразу Иванова, которую он бросил в середине «реформ»:

– У меня появилась возможность печататься в Штатах. Теперь там свои люди.

В ЦДЛ принято дарить друг другу вышедшие книги и, естественно, их обмывать. Иванов подарил мне с десяток книг; все дарственные надписи начинались словами: «Дорогому графу...»

– У тебя такая благородная морда – просто жуть, – заикаясь больше обычного, объяснял мой друг.

Однажды, во время очередной подписи, наша приятельница Н. Постникова спросила:

– Почему «графу»?

– Графоману, – пояснил я, подозревая, что втайне Иванов таковым меня и считает, как и многих других.

– Ну почему? – стушевался мой друг. – Посмотрите, какая у него благородная внешность...

А спустя полгода он вдруг при встрече чуть не задушил меня в объятиях.

– Графуля! Прочитал твою последнюю книжку и прямо увидел тебя в новом качестве. Книжка состоялась, книжка класс! Я написал на неё рецензию.

Это была не лучшая моя книжка, и я понял, что Иванов, как и все мы, попросту ничего моего не читал; вернее, когда-то что-то слабое пролистал и повесил ярлык «граф». Впрочем, может, это мои домыслы.

Как-то встречаюсь с Ивановым в ЦДЛ – он навеселе, куда-то спешит с кейсом, как всегда – молодежавый, красивый, стремительный, полный планов и дел, с избытком жизненных сил; мы обнимаемся.

– Графуля, милый! Подожди меня, скоро вернусь. Бегу к дочери главного редактора «Октября». Тёлка ждёт меня дома, надо её охмурить, хоча напечататься у её папаши.

И так просто Иванов поступал, с такой безобразной практичностью, и в этом был не одинок. Точно такие же номера отчебучивал Яхнин с редакторшами из «Кругозора» и телевидения и Кушак с редакторшей из «Малыша», которая хотела его «обженить» – в обмен обещала то ли собрание сочинений, то ли премию Андерсена. Мазнин, корча из себя праведника, осуждал подобную деятельность наших дружков:

– Что им, других баб мало?! Строят, балбесы, карьеру на своих мужских достоинствах!

Я к этому относился спокойно, но, чтобы избежать сплетен, руководствовался проверенным правилом: не заводить романов там, где работаешь.

Загородная жизнь давала Иванову здоровье и массу впечатлений, но, случалось, доставляла и неприятности. Однажды он сошёл с электрички; на платформе навстречу ему двинулись двое верзил; один грубо спросил: «Этот?» Другой кивнул. В следующее мгновение Иванов получил удар в лицо – и с переломом челюсти месяц провалялся в больнице (его с кем-то перепутали).

Что и говорить, у загородников приключений хватает. Помню, нечто подобное произошло с Леонидом Мезиновым. На мой день рождения ждём его, ждём... На следующий день звонит:

– Поехал к тебе. В тамбуре электрички парни курят, матерятся. Сделал им замечание – набросились, разбили мне очки, получил сотрясение мозга...

В моей загородной жизни тоже наберётся охапка стычек, правда, меньшего масштаба, когда меня лишь слегка помяли, всё-таки наша семья жила подальше моих дружков, там, куда прописывали в основном отсидевших уголовников, а, как известно, тот народ проявляет себя, где вздумается, только не там, где живёт.

С начала перестройки Иванов, чёртов умник, «перестроился» одним из первых, его конъюнктурная башка заработала, как землечерпалка: он начал писать детективы, записнул партбилет в ящик и стал ещё более верующим, чем прежде, – если раньше только втайне писал стихи про Христа (будучи секретарём комсомола), то теперь выругается или услышит что-либо неприятное – тут же крестится и бормочет:

– Прости, Господи!

Иванов работал много и быстро (развешивал листы рукописи над столом на верёвке, как бельё); делал «сборные солянки» – собирал в одну повесть разных героев известных книг (то же самое делал художник Владимирский); написал «Винни-Пух в Антарктиде» и этой работой наделал немало шума – Б. Заходер опубликовал статью «Осторожно, подделка!». Переводчик Заходер уже настолько возомнил себя создателем этого героя, что на обложке имя подлинного автора уже и не упоминал. Так у нас создаётся известность!

Иванов в соавторстве с Ламмом писал и детективы (их пробивал в Америке брат Ламма), но ему всё казалось мало. Когда его соавтор издал самостоятельную книжку, Иванов отчитал его.

– Представляешь, – сказал мне Ламм, – у меня есть знакомый издатель, он выпустил мою книжку, а Серёжка недоволен, что без него. Да ещё говорит: «Вы не хотите меня печатать, потому что я не еврей?» (хотя, повторяю, его мать была еврейкой, и почему это скрывал – непонятно).

Я знаю почти всё о своих друзьях, старых говорунах-занудах, – их жизнь у меня как на ладони. В Иванове многое для меня осталось загадкой, он всё же окружал себя непрозрачной оболочкой. Я не знаю, как в нём, чёрте, уживались доброта и злость, пронзительная искренность и явная лживость, ребячество и мудрость; не знаю, чего в нём было больше: естественности или искусственности, таланта или тщеславия, безалаберности или расчёта, но знаю точно – он был личностью, человеком крайностей, необычных (часто бесшабашных) поступков, способным на гнусоватый шаг и на благородное дело. И даже на подвиги. Например, в его остро-сюжетной жизни было пять сумасшедших лет, когда он работал неистово, с лошадиной силой, по четырнадцать часов в сутки (и продуктивно).

Или взять его последнюю самоотверженную акцию: он привёз из провинции девицу с ребёнком, женился на ней (предварительно развёлся со своей глубоко партийной пятой женой, оставив ей квартиру) и снял квартиру в Пушкино. Эта девица считала себя полуактрисой-полупозетессой, и всё было бы неплохо, если бы она не страдала нервными расстройствами, а для «успокоения» много курила, выпивала (со слов Климонтовича, и кололась) и была полна «всяких желаний». Так что у Иванова началась весёлая жизнь. Помню, кое-кто из наших дружков пытался обезопасить его:

– Не вздумай прописывать её. Эти провинциальные девицы, как все хищники, сразу садятся на голову. Она оттяпает у тебя дачу...

Иванов посмеивался: он-то, наоборот, считал, что только в провинции и остались порядочные девицы. И не ошибся. Вскоре его жёнушка продала свою квартиру в провинции и на все деньги устроила ремонт дачи Иванова – сделала из трухлявого строения первоклассное жильё. К сожалению, наш герой недолго прожил в новых условиях.

Он погиб нелепо. Зимой его сбила электричка, когда он на велосипеде переезжал железнодорожный путь. Незадолго до этой трагедии мы случайно встретились на Тверском бульваре; Иванов шёл в литинститут с неизменным дипломатом; я узнал его, старичину, со спины по осанке (он ходил, развернув плечи, высоко подняв коротко стриженную седую голову); догнал его, мы обнялись, и он предложил зайти в институт.

– Можешь взять себе выпить, – как-то извинительно выдавил Иванов. – Я-то уже год, как не пью. Если только бутылку пива (потом признался, что несколько раз срывался).

– А удобно ли прямо в институте? – поинтересовался я, испытывая благоговение перед недостижимым для меня заведением, в котором и не был никогда.

– О чём ты говоришь! – махнул рукой Иванов. – У меня своя аудитория, а моих студентов не будет. Просто надо появиться (в дальнейшем объяснение он не пустился).

Мы купили пива и четвертинку водки, и вслед за другом я с волнением переступил порог литинститута – заведения, о котором мог только мечтать. Смешно: я уже был литератором со стажем, но пока поднимался по мраморной лестнице, у меня в животе забурчало, а по спине пробежали холодные мурашки – всё оттого, что и в пожилом возрасте я не считал себя профессиональным писателем (стыдно признаться – даже пишу не ручкой, а карандашом, и никогда не смог бы, как многие мои друзья, сразу сочинять за машинкой).

За выпивкой Иванов воодушевился:

– Сейчас студенты – будь здоров! Только и думают, как бы тебя на чём-то подловить, исказить твои мысли. И пишут хреново. Засранцы, одним словом! От них не дождёшься слов благодарности... Девахи, правда, есть ничего, с классными фигурами. Заходите с Марком (Тарловским). Можете закадрить. Мне-то никак нельзя, сам понимаешь...

Потом он говорил о своей жизни за городом, о последней работе. Изредка в аудиторию заглядывали студенты, что-то спрашивали у моего друга, он отвечал, а я, уже освоившись, гордился, что вот так, запросто сажу и выпиваю с маститым преподавателем, и пыжился, чтобы в глазах студентов тоже выглядеть маститым, хотя в душе чувствовал себя великовозрастным никудышным студентом – не имея высшего образования, я на всю жизнь остался учеником. Но, допив водку,

я распрямился и вдруг почувствовал, что меня распирает некоторое нахальство, что я и сам готов прочитать лекцию; меня занесло бы и на другие подвиги, но Иванов одёрнул меня и разоткровенничался:

– Был у Михалкова, хотел, чтоб назначил меня главным в Детгиз, сказал, что подниму детскую литературу до небес. Он обещал подуматься... Ладно, пойдём, прогуляемся до метро.

Я так и не понял, для чего он приезжал в институт: просто отметить или покрасоваться, лишний раз почувствовать себя преподавателем единственного в своём роде вуза? (Кстати, студенты над ним частенько посмеивались, за его спиной отпускали едкие шуточки, а после его смерти говорили: «О нём быстро забудут», что на самом деле и случилось.

Впрочем, забыли не только его, но и более талантливых. Ох уж эти студенты! Профессор литинститута, мой друг поэт Эдуард Балашов рассказывал:

– Раза два приглашал Зульф리카рова пообщаться со студентами. Ну он, как всегда, начал говорить о своей гениальности, студенты подняли его на смех и захлопали.

Повторюсь, Иванов частенько темнил (таково уж было его устройство), и многое в нём для меня осталось загадкой. Но однажды у него на даче я бродил по участку с его племянницей, моей ученицей (она посещала изостудию). Девчушка рассказывала, какой «дядя Серёжа весёлый и смешной». И сейчас я подумал: а ведь действительно, он был очень весёлый и очень смешной, а эти качества, как правило, присущи хорошим людям.

Почему-то эпизоды, когда он бывал практичным, пробивным, когда строчил конъюнктурные детективы и получал за них шальные деньги (его финальный взлёт), – эти эпизоды мелькают в памяти как досадные мгновенья; неизмеримо больше он запомнился весельчаком и острословом, который в любой разговор подсыпал перца – расцветчивал смешными репликами, а смеялся заразительно, раскачиваясь, то запрокидывая, то наклоняя голову, закрывая лицо руками...

Похороны Иванова устроил его сосед по даче, молодой двухметровый толстяк Алёша, предприниматель из новых русских, о котором Иванов написал книжку «Мой милый мафиози» (по слухам, этот Алёша спонсировал многие последние книги Иванова; до меня эти слухи

дошли в ослабленном виде – будто предприниматель дал деньги только на издание книжки о самом себе).

После отпевания в «пушкинской» церкви священник – тоже молодой, но изящный человек – в череде многих прекрасных слов сказал:

– Я общался с Сергеем Анатольевичем всего два раза, но успел почувствовать, какой он хороший человек. И не случайно он писал детские книжки. Его душа стремилась к совершенной жизни. Он верил в Бога, как ребёнок, чисто и открыто...

Когда мы попрощались с Ивановым, священник накрыл его лицо покрывалом.

– Больше не тревожьте покойного.

А меня вдруг охватило дикое желание – растормошить друга, оживить и в обнимку отправиться с ним в ЦДЛ – жутко захотелось вернуть всё то, что ещё совсем недавно называлось нашей дружбой.

Было морозно, ветрено, и, возвращаясь с кладбища, я сильно продрог, но внезапно вспомнил далёкий жаркий весенний день, когда мы с Ивановым, ещё молодые, обмывали одну из его первых книжек в Доме творчества «Переделкино» (чего меня туда занесло, и не вспомнить – кажется, увязался за кем-то из литераторов). Вначале мы с Ивановым выпивали в его комнате, потом в пристанционном буфете, затем доехали на электричке до Москвы и вскоре очутились у его знакомой – какой-то Марины, от неё двинули ещё куда-то... катили на троллейбусе по бушующему проспекту, шлёпали по лужам на своих двоих, словно заблудшие, среди анархии звуков и света... и всё говорили о литературе, о весне и женщинах...

ВЫ СЧАСТЛИВЫ?

Беззаветный друг мой Константин Сергиенко на фотографии тискает сразу трёх девиц, четвёртая сзади обнимает его... Понятно, Сергиенко сияет от счастья и смотрит на зрителей невинными глазами. Такой взгляд может иметь или святой, или притворщик-прохиндей.

Мне никак не верится, что Сергиенко уже нет. Никак не верится. Иногда зайду в ЦДЛ, возьму рюмку водки, думаю – вот сейчас он войдёт, в неизменной синей кепке, с дурацкой спортивной сумкой через плечо, в которой позвякивают бутылки вина, и с ним – его ве-

ликолепный «зверинец»: Кролики, Барсики, Медвежата – так он называл своих подружек. Часто со «зверинцем» входили длинноволосые молодые поэты, или старый друг Юрий Деверц, или кто-нибудь из иностранцев. У Сергиенко было невероятное количество знакомых. Общительный и открытый, он обладал каким-то магнетизмом – притягивал к себе, объединял самых разных людей – рядом с ним всегда была праздничная атмосфера.

За последние годы я потерял немало друзей. Одни умерли от болезней, другие – от выпивок, на третьих навалились неприятности, и они не выдержали нагрузок. Но Сергиенко! Его внезапная смерть (от воспаления лёгких) не уместается в голове. Здоровяк, красавец, бывший волейболист и конькобежец, золотой медалист школы и отличник факультета журналистики, жизнелюб, говорун и непоседа, он вечно спешил (не ходил, а бегал) и каждый вечер обзванивал знакомых, сколачивал компании... Из ЦДЛ всех тащил в столовую при консерватории, где его уже ждали юные музыканты, из столовой – в кафе своей приятельницы Ирины Паперной (заведение называлось «Кризис жанра»), из кафе в мастерские художников... И так до утра, почти ежедневно! Он, кутила, мог куролесить несколько суток подряд и, похоже, совершенно не нуждался в отдыхе – такой накал души. Сергиенко был «совой». По ночам звонил не только возлюбленным, но и приятелям – просто поболтать. Потом спал до двух дня (мог дрыхнуть и до четырёх). Не дай бог позвонить ему раньше:

– Ты что, не знаешь, я до двух сплю?! Встану – сам позвоню, – и швырял трубку, чурбан.

Сергиенко не курил и пил только сухое вино (но много и как чай), каждое лето подолгу отдыхал у моря в Доме творчества «Планерское» (естественно, со «зверинцем» и друзьями; к этому мероприятию готовился задолго и серьёзно, как к главному событию года (словно планировал сражение при Бородино), а пляж вообще считал лучшим местом времяпрепровождения – ещё бы! – там столько оголённых девиц).

Крайне редко, разволновавшись в обществе какой-нибудь незнакомки, он закуривал: неумело, раздувая щёки, набирал дым в рот и пускал над головой. Ещё реже, обычно когда кончалось сухое вино, он наливал себе глоток водки – чтобы поддержать уровень застолья, как бы попробовать, чем мы «отравляемся». Никто никогда не видел,

чтобы у него заплетались ноги и не ворочался язык, – такой был стойкий выпивала. И совсем в единичных случаях Сергиенко крепко ругался (в отличие от всех нас, постоянно использующих богатый русский сленг).

Родители Сергиенко жили в Новомосковске; его отец одно время работал вторым секретарём райкома партии и, понятно, их большая семья (у нашего героя были сестра и брат) имела кое-какие привилегии. Окончив школу, Сергиенко приехал в Москву и поступил в энергетический институт, но, проучившись год, бросил учёбу и вернулся в родной город. Отец устроил его лаборантом в какое-то предприятие. Затем будущий прозаик служил в армии (где в основном оформлял красный уголок – уже тогда всюю писал стихи и рисовал), занимался спортом и часто наведывался к родным, благо служил под боком.

После армии Сергиенко вновь приехал в столицу и поступил в университет, но, блестяще окончив журфак, выкинул оригинальный номер – не стал получать диплом, заявив, что намерен заниматься литературой, а не журналистикой.

Сколько я помню, Сергиенко не имел своего жилья (вернее, имел, но в той квартире жили его вторая разведённая жена и сын; с первой женой была искромётная любовь, и она закончилась довольно быстро), он всё время снимал квартиры или обитал у приятельниц и гражданских жён; только когда законная жена с сыном уехали в Германию, перебрался в свою квартиру. Тем не менее, он не производил впечатление скитальца, живущего по-спартански, наоборот – всегда выглядел ухоженным, приодетым в новенькое, и вообще, казалось, живёт в квартире, усыпанной цветами.

Как многие талантливые люди, Сергиенко имел массу чудачеств и странностей. Например, в пятьдесят с лишним лет изо всех сил старался оставаться молодым: подкрашивал, дурень, лысину (ладно, не ресницы), делал накладки, носил кепку (злословы говорили, что и спал в ней); входя в ЦДЛ, долго прихорашивался перед зеркалом, расчёсывал оставшиеся волосы и усы (постоянно таскал расчёску); на свои дни рожденья, когда собиралось множество девиц, шептал мне:

– Не вздумай упоминать мой возраст! В крайнем случае скажи лет на семь меньше.

– Я могу сказать, что тебе двадцать, – хмыкал я.

– Я серьёзно, – хмурился мой друг.

– Во-още-то можно, – нехотя протянул он. – Я не люблю физическую работу, но вот поплавать в море, позагорать – это не хухры-мухры... Кстати, как там девицы? По-моему, гречанки все страшные...

Поездка сорвалась. Сестра жены Шашина сообщила, что нужны сборщики не старше тридцати пяти лет.

Сергиенко был настоящим другом. Я точно знаю: когда кого-нибудь из его друзей ругали малознакомые люди, он тут же вставал на защиту:

– Замолчите! Что вы знаете о нём, во-още-то?!

В середине восьмидесятых годов я строил летний дом на участке; материалов не было, приходилось использовать бросовые, и вдруг на мой день рождения в Пёстром зале Поздняков (его уже упоминал), решив продемонстрировать неслыханную щедрость, подошёл к нашей компании и заявил:

– На следующей неделе дарю машину вагонки!

– Деньги на бочку! – вскричал Сергиенко. – Немедленно! Это не хухры-мухры!

Вагонку я не получил, но и спустя много лет Сергиенко при встрече с Поздняковым мгновенно реагировал:

– Где вагонка?! Во-още!

Когда грянул бандитский капитализм, Сергиенко повезло. В этом везении ключевой фигурой был его приятель «крутой» еврей Александр Розанов. Он несколько лет отсидел за махинации с золотом, потом стал преуспевающим предпринимателем (строил дворцы для новых русских, привозил из заграницы и продавал в Москве машины, продукты). Важный малый, Розанов поставил дело на широкую ногу: учредил какую-то фирму, арендовав несколько этажей в доме недалеко от Кремля, сделал евроремонт, набрал штат молодых сотрудников и сотрудниц, которые в скором времени все купили иномарки.

Сам Розанов имел два «мерседеса» с шофёрами и джип с охранной, в Греции снимал виллу, приобрёл две яхты (одна, по его словам, с тремя туалетами – видимо, целый корабль). Розанов процветал, и всем, кто вкладывал деньги в его фирму, обещал огромную прибыль. Родственники Рейна, Синельникова и Сергиенко охотно принесли деньги (по две-три тысячи долларов; и откуда они у них? Я даже не знал, как доллар выглядит).

При таком размахе Розанову ничего не стоило выделить пару комнат приятелям под издательство (ко всему, окружая себя писателями,

Розанов создавал фирме определённый имидж). Деверц и Сергиенко рьяно взялись за издание книг. Выпустили роскошные однотомники Рейна, Синельникова, Ахмадулиной, роман Генри Миллера в переводе Сергиенко. Затем брошюры Сергиенко «Библиотечка Барби». Эту серию Сергиенко называл «гениальным проектом» (хотя ясно – Барби ничего не читает, ей не до книг, она осоловела от роскоши и вообще является символом общества потребления). Серию мой друг написал наспех, как крепкий графоман с плохо развитым чувством юмора. Брошюры выглядели небрежными опытами, унылыми рассказчиками, женским рукоделием со множеством замусоленных ласкательно-уменьшительных словечек, неким литературным кокетством – да что там! – просто фигнёй, и каждую последующую книжонку Сергиенко шмалял хуже, чем предыдущую, без души (душу оставлял для любовных игр). Он сам понимал, что «Библиотечка» несопоставима с его предыдущими работами, мне так и сказал:

– Не читай, это для денег.

Зато работой над «Библиотечкой» он обеспечил многих своих поклонниц (из числа умеющих рисовать), а остальных пристроил в издательство секретаршами. Широкая натура, он всегда был щедр и мечтал стать меценатом.

В их офисе царил полудомашняя атмосфера – на столе постоянно дымился электрочайник, не закрывались бутылки вина, лежали бутерброды. При каждом моём визите Деверц с Сергиенко говорили:

– Иди в кладовку. Девчонки набьют тебе пакет «ножками Буша», ведь в половину дешевле, чем в магазине.

Я отмахивался, а они злились:

– Иди, дурак, чего ломаешься?! Отдашь деньги в кассу, когда сможешь. Пустяки!

В те дни, при встрече в ЦДЛ, Сергиенко ни с того ни с сего совал мне в карман пятёрку, а на мои протесты бурчал:

– Возьми, говорю! Пригодится. И не надо ничего отдавать, ты что, дурак? Ну во-о-ще!

Но моим женщинам Сергиенко говорил:

– Не слушайте его! Он прибедняется. Он, между прочим, имеет квартиру, дачу, машину. Во-о-ще богатей!..

Лет пять, пока существовало издательство при Розанове, Сергиенко жил неплохо: снимал квартиру, приоделся и по два раза в год ездил

в Планерское. Потом у его патрона сорвалась какая-то крупная афера, фирма рухнула, и родственники писателей остались без своих долларов. Опасаясь расправы, Розанов втайне уехал за границу, оставив кредиторов с носом.

– Розанов – подонок, – сказал мне позднее Рейн. – И как мы сразу этого не поняли?!

Я уже говорил, что непоседа Сергиенко резвился хоть куда! – ежедневно сколачивал компании, жаль только – не для байдарочных или лыжных походов, не для того, чтобы устроить литературный или музыкальный вечер (несколько лет даже не мог навестить мать в Новомосковске, куда и ехать-то часа три), – он их сколачивал только для праздного времяпрепровождения, для флирта, а поскольку его в основном окружали юные особы (некоторые сходили с ума от любви к нему, но он никогда не уставал от их натиска), болтовню с ними вёл примитивно, со стандартным набором шуточек, как бы разогревая молодёжь:

– О, у тебя мания величия! А мы что, люди второго сорта, да?.. О, ты влюбилась! Во-о-о-о! Когда свадьба?!

Он выступал в роли воспитателя-интригана, сводника-провокатора, но эти спектакли снимали дневное напряжение; изредка было даже неплохо подурачиться в обществе его «карамельки» (как я называл стайку его красоток), рассматривая их неким обрамлением застолья. Но гуляка Сергиенко устраивал спектакли почти каждый вечер! И, как опытный режиссёр, старался довести их до конца – устроить роман с одной из поклонниц, а покорив её, переключался на другую. (Такова была глубина его чувств; причём обхаживал девиц, как размазня: под столом гладил коленки, писал записочки – вот слизняк! И у каждой спрашивал: «Вы счастливы?»)

– Сколько сердец, столько и любви, – возвещал этот оболтус. – Любовь – это прекрасная болезнь, любовь – это игра.

Надо отдать ему должное – в этой игре он был силён, то есть болел, не выздоравливая. Все его романы были яркими и проходили на высоком эмоциональном уровне; я не раз видел, как он, негодяй, доводил своих возлюбленных до слёз. Ну а после романа, в отличие от Цыферова, не отправлял девиц в «колумбарий», а оставлял при себе, «в своём театре», только как бы переводил из солисток в кордебалет.

Таких, как я, которые устраивали романы без всякой любви, Сергиенко называл «террористами», а себя «идеалистом и романтиком». Этот совершенный ореол не мешал ему отправлять в Планерское очередную гражданскую жену, а ко мне на ночь приводить её подруг, без всякой романтической бутафории. Такой был мастер парадоксов.

Естественно, любимыми праздниками Сергиенко были: лицейский день и День святого Валентина; к ним он, пустая голова, готовился со всей серьёзностью: и девицам, и друзьям писал валентинки (альбомные стихи) – разводил слюнявую писанину и потом с неделю взахлёб болтал, как весело провёл время. Но, по сути, не кто иной, как Сергиенко возобновил эти праздники (да ещё один – День долгих поцелуев, и ещё какую-то ерунду), – так что молодёжь должна на него молиться. Именно Сергиенко организовывал у поэта М. Айзенберга салонные «понедельники» – литературные посиделки, – к ним тоже готовился, писал пасквили под псевдонимом Константин Собакин.

Как известно, до бесконечности можно смотреть только на огонь, воду и тех, кто работает, но, я думаю, не только на это. К примеру, в детстве я мог без конца смотреть на трюки Тарзана; в юности, с щемлящей завистью, – на студентов; а сейчас, вспоминая и подытоживая свою жизнь, – на старые фотографии. Сергиенко до бесконечности мог пялиться на женщин (и, довольно долго, на себя в зеркало). Он был просто помешан на девицах – не пропускал ни одной (кадрил их на выставках, в библиотеках и, разговаривая с какой-либо из особ, представлял, как будет с ней спать на одной подушке), даже увивался вокруг «нимфеток» (моих учениц). Это было какое-то идиотское самоутверждение за счёт малолеток, я называл его и Деверца, с которым они частенько «работали на пару», «пи...страдавателями». Мазнин называл их идиотами, а его жена деликатно – своеобразными.

Бывало, Сергиенко сидит в окружении девиц, ведёт глупую утомительную болтовню (при этом его сердце прямо разрывается от счастья); когда я подхожу, начинает нас знакомить. Я представляюсь:

– Дядя Лёня.

Он сразу петушился:

– Ты спятил! Ну ты во-о-оце даёшь! Совсем ничего не шурупишь. Какой дядя Лёня?! Лёнечка!

Не раз я спорил с ним, слабоумным, до хрипоты, доказывал, что мне неинтересны его «карамельки», что легко одурачивать девчонок,

но попробуй приударить за зрелой женщиной, попробуй её опутать в роман.

– Дурак! – кипятился Сергиенко. – Ты меня поражаешь! Это с твоими бабами неинтересно, они все старухи. Тошно смотреть! Во-още!»

– Не болтай чепуху! – обижался я.

– Тошно!.. А для моих девиц я и воспитатель, и друг, и у нас любовь, конечно...

Я-то знал – если бы не сексуальное влечение к этим девицам, чёрта с два он занимался бы «педагогической» деятельностью; почему-то эта его деятельность распространялась лишь на симпатичных особ и быстро угасала, как только он добивался своего.

– Мои девицы – мои цветы, я их выращиваю, – продолжал Сергиенко. – И они персонажи моих книг. Ты почитай «Дни поздней осени». Это ж во-още лучшая книга о любви (в повести много его личного).

– Пробовал читать, – кривился я. – Слюни и сопли. «Овраг» – другое дело. Выше ты пока не поднялся.

– Ничего ты не понимаешь! Девицы со всей страны завалили редакцию письмами.

Это было правдой. А поскольку я не принимал ни кумиров, ни музыки современной молодёжи, мне не нравилась его среда, где он, в самом деле, не только крутил романы, но и черпал материал для работы. Я советовал ему, помешанному, устроиться учителем в женскую гимназию:

– Там уж развернёшься, если тебя не упекут за решётку.

Кстати, недавно в изостудию пришла моя бывшая ученица, уже семнадцатилетняя барышня. Напомнив о себе, она сказала:

– Я знаю, вы были другом Константина Константиновича. Расскажите о нём поподробней. Я написала пьесу по всему его творчеству(!). По-моему, он гениальный писатель.

Такой исчерпывающий взгляд. «Писательница» обещала пригласить меня на премьеру, когда поставят её пьесу.

Однажды Новый год я встречал в одиночестве, вернее, со своими собаками. Вскоре после полуночи позвонил Сергиенко и уговорил меня приехать на Ленинский проспект, сказал, «компания классная, ждём тебя». Когда я приехал, он, симпатяга, полулежал на диване, изображая шаха в гареме: одна девица гладила его виски, другая массировала руку, третья чесала пятки, четвёртая перед ним порхала – танцевала

что-то романтическое, пятая подносила вино и смотрела ему в глаза с обожанием. Сергиенко торжествовал, был счастлив до неприличия, прямо захлёбывался славой любовника-воспитателя (только что не мурлыкал – попросту выглядел, как лучезарный дурак); похоже, его белоснежная мечта (жить одновременно с несколькими девицами) осуществилась. Но главное, он, остолоп, всем своим видом пытался вызвать у меня острую зависть.

В той компании, кроме «эстеток» Сергиенко, были ещё две-три какие-то расхлябанные девицы и два каких-то смурных парня, и музыка из трёх нот, и пустые разговоры: «наша тусовка, крутой прикид, понты...» Я выдержал минут пятнадцать и попрощался; мне вслед Сергиенко отпустил целый водопад оскорблений: от дурака и тупицы до полоумного законченного кретина (при этом его компания сияла от восторга). А я, в свою очередь, думая о нём, пришёл к выводу, что талант и ум – разные вещи.

В таком же окружении я встретил Сергиенко в Планерском.

– Кого я вижу! Во-оше! – заликовал он, подбежал, обнял: – Пойдём с нами. У нас классная компания, жуть как интересно!

– С тобой – хоть куда, но без этих ребят, – буркнул я.

– Дурак! У тебя что, крыша поехала?! Ну ты во-оше! Ничего не понимаешь. Это то, что надо. Девицы первый класс.

Из своего Новомосковска Сергиенко перетащил в столицу десятки девчонок; со всеми крутил романы, но каждую пристроил в институт или устроил на работу, некоторым позднее подыскал мужей. Случалось, бывшая возлюбленная Сергиенко готовила в институт его новую подружку, например Барсик (Таня) – Медвежонка (Иру).

С Барсиком у Сергиенко был самый долгий роман; собственно, они жили в гражданском браке (у неё). Они познакомились, когда ей было семнадцать лет, а ему на тридцать больше. Она нравилась всем; не раз, когда Сергиенко заводил побочные романы, его друзья Синельников и Айзенберг, да и многие другие, говорили ему:

– Кость, ты не дорожишь Барсиком. Смотри, мы у тебя её отобьём.

Я по-настоящему любил Сергиенко и не мог остаться в стороне.

– Ты допрыгаешься, – говорил ему. – Лучше Таньки у тебя не было и не будет. Женись на ней, свободу твою она не стесняет.

Он соглашался, но начинал финтить:

– Не хочу ей портить жизнь... – и прочее.

Спустя несколько лет, когда жена Сергиенко с их сыном уехала в Германию, Сергиенко перебрался в свою квартиру, привёз из Новомосковска шестнадцатилетнюю Иру (Медвежонка) и стал её обхаживать. Барсик долгое время всё прощала ему, старому попрыгунчику (в сердцах ругала его и жаловалась мне: «Он уже три года до меня не дотрагивается!»), но в конце концов у неё появился поклонник. Сергиенко это не понравилось – он, дубовая башка, эгоист высшей марки, закатывал ей скандалы:

– Нашла богатого, да? Продалась за шубу, да?! Во-още!

Доводил девчонку до слёз, а убедившись, что она по-прежнему его любит и готова на всё, успокаивался и продолжал свой безалаберный образ жизни, а меня предупреждал:

– Если Барсик со своим хахалем зайвится в ЦДЛ, не вздумай их проводить в ресторан! Иначе ты мне не друг! Во-още!

И я не проводил, чем жутко обижал Татьяну, в сущности, мою хорошую подружку; «Попроси кого-нибудь ещё», – говорил, а она посылала мне презрительную усмешку.

Немало девиц, с которыми Сергиенко имел романы и потом устранился, ругали его и плакали у меня на груди. Я защищал друга, как мог. Помню, одна разошлась:

– Твой Костя – редкостный негодяй!..

– Неправда. Просто у вас не сложились отношения... Он талантливый, добрый, красивый...

Она вспыхнула:

– А я?! Я не красивая?! Да куда он смотрит!

Иногда, честное слово, мне было жалко горячее сердце Сергиенко, ведь вокруг шастали сотни симпатичных девиц, и он на каждую делал стойку и каждую, из числа знакомых, держал на крючке, – короче, ему приходилось туговато; как известно, в таких делах требуется крепкое сердце и крепкие нервы, а у него и то, и другое было слабоватым.

Одно время Сергиенко жил у своей приятельницы И. Паперной. Позднее она говорила:

– Костя – неумеха и вообще в быту невыносим: сноб, капризный, привередливый и зануда... И ленивый, как не знаю кто...

Понятно, принимать на веру слова женщины в таких случаях не стоит, особенно если она имеет виды на мужчину, которому предоставила жильё. Например, когда Сергиенко жил у Деверца, они, по словам

В-четвёртых, когда я стал что-то мастрачить в сарае, Сергиенко, бестолочь, это воспринял как намёк, чтобы и он поработал на свежем воздухе, в то время как он настроился качать свою подружку Лену в гамаке, что и проделывал, подвыпивший, несколько часов подряд, откровенно сказав мне, что не любит физический труд. Такой был хлюпик, только и красовался перед девицами. Уезжая, я объяснил ему, как отключить газ, воду и пробки на электросчётчике (он решил пожить с подружкой пару дней), но, когда я приехал через неделю, всё было открыто: газ из баллона улетучился, лампы горели, только что вода не капала. Такие малоутешительные факты. Помню, в тот день я его, безголового, ругал на чём свет стоит.

– Тебя надо женить, – часто говорил мне Сергиенко. – Я подыщу тебе жену. У меня даже есть кое-кто на примете.

Не скрою, эта светлая мысль некоторое время будоражила моё воображение, но потом в одной компании он подвёл ко мне вчерашнюю школьницу с кукольным личиком – мы договорились встретиться лет через пять-семь, когда она подрастёт.

Однажды, в день моего пятидесятилетия, Сергиенко взволнованно объявил:

– Вечером приду к тебе с классными девицами. Одна, Галя, для тебя. Чувствую, у вас будет глобальный роман.

А накануне я сидел с друзьями в ЦДЛ (Сергиенко появился позднее); внезапно один из друзей заметил, что по кафе, в поисках свободных мест, ходят две толстушки с чашками кофе, и пригласил их за наш стол; другой друг объяснил, что наше застолье – прелюдия к моему юбилею, налил толстушкам водки, предложил выпить за меня. Женщины оказались какими-то продавщицами, пришли на концерт (в результате задержались с нами и попали только на второе отделение); они впервые оказались в ЦДЛ и были немало удивлены, что писатели мало чем отличаются от остальных мужчин (святая простота!). Перед тем как они направились в зал, я, подогретый водкой, взял и брякнул:

– Приходите завтра, поможете готовить закуски, – черкнул им адрес, а потом крепко выпил и обо всём забыл.

Сергиенко, как и обещал, привёл целый цветник девиц, и среди них – художница Галя, лучший сергиенковский цветок (в предвкушении романа моё сердце забилось чаще.) И вдруг в разгар нашего застолья, когда в квартире уже стоял дым коромыслом, а я почти влюбился

в Галю, и мы с ней договорились, что она останется у меня, – в этот самый момент раздался звонок в дверь, и на пороге появились толстушки... с банками солений и мочений. Некоторые из друзей (из тех, кто был с жёнами) слегка опешили (их жёны поморщились и откровенно запрезирали меня), Сергиенко начал меня отчитывать, крутить согнутым пальцем у виска:

– Ну ты во-о-ще! Полный идиот!

Выручил Леонид Мезинов; он усадил толстушек рядом с собой, начал ухаживать за ними, открывать банки. На время все успокоились, и пьянка продолжилась, но Галя больше в мою сторону не смотрела, а когда все расходились, у лифта кивнула на толстушек, и зло процедила мне в лицо:

– Вы только таких и достойны!

К сожалению, это была жестокая правда. Большинство интеллигентных девиц Сергиенко смотрели на меня как на старого ворчуна (каким я, собственно, и был), а продавщицы всегда видели во мне «своего мужика». Особенно толстушки. Как говорили древние римляне, «каждому своё».

Однажды Сергиенко затащил меня в театр Розовского, где собирались ставить его «Овраг» (но так и не поставили) и где он был своим человеком; затащил на мюзикл Паперного «Твербуль», о котором молодые актёры театра растрезвонили по всей Москве – рекламировали сами себя.

Это был не мюзикл, а балаган, с бессвязным набором слов и звуков. Через десять минут я одурел и выскочил из зала. Сергиенко высидел до конца (часа четыре) и, как оказалось, балдел от этого зрелища уже не первый раз. Естественно, при встрече мы до посинения доказывали друг другу, кто из нас полный дурак. И только на свой день рождения, когда мои друзья-музыканты запустили музыку нашей молодости – классический джаз, а от Сергиенко послышался грозный окрик: «Выключите эту бодягу!», я понял всю несовместимость наших вкусов. И, кстати, компаний с разными духовными запросами.

Именно с того дня мне пришлось отмечать свой день рождения два дня подряд: в первый – с друзьями музыкантами-байдарочниками, второй – с друзьями литераторами и художниками. Инженер Леонид Доменов, которому было всё равно, о чём говорить и что слушать, присутствовал оба дня.

Я устраивал выпивки не для того, чтобы пощекотать самолюбие, услышать приятные слова; просто такие дни – повод собраться всем вместе. Так же поступают и Мезинов с Тарловским, и Шульжик с Сергиенко, а вот Кушак с Яхниным никогда не собирают друзей, хотя на наши сборища прибегают одними из первых. Никак не пойму, что это – жлобство или ещё что? Оба даже зажали свои шестидесятилетние юбилеи. Ну, Яхнин понятно – не хочет раскошелиться, но Кушак-то почему? Никогда ничего вразумительного по этому поводу от него не слышал.

Разность вкусов и привязанностей не мешала нам с Сергиенко оставаться друзьями, ведь в главном – во взгляде на литературу, на дружбу и материальные ценности – мы были едины. И потом надо признаться: меня тянет к людям, которые мыслят и поступают не так, как я. И вообще хорошо, что все мы разные, ведь известно – больше всего раздражают те, кто особенно похож на нас.

Как-то мы с Сергиенко вышли из Домжура. Был отличный летний денёк, но наш герой, вопреки обычаю, никуда не спешил и никуда меня не тянул – несколько дней назад закончился его долгий неудачный роман с художницей Настей (она окончательно бросила его), и он пребывал в глубокой печали (позднее этот роман ляжет в основу его слезливой мелодрамы «Дни поздней осени»).

– Пойдём прогуляемся по арбатским переулкам, – предложил мой друг.

Мы бродили до темноты, и всё это время Сергиенко выплёскивал на меня свою боль; на улицах стояла мягкая вечерняя теплота, а он так нервничал, что поёживался – ему было холодно.

Эта его Настя, профессорская дочка аристократических кровей, жила в роскошной квартире элитного дома: её дед был главным художником Детгиза, и, понятно, благополучие внучки ни у кого не вызывало сомнения – она иллюстрировала всё, что хотела. Собственно, она пробилась бы и без деда, поскольку была талантлива, умна и красива, и, естественно, в глазах Сергиенко сияла, блистала, сверкала.

Как многие провинциалы, Сергиенко тянулся к людям «высшего общества» (в этом он напоминал Скотта Фицджеральда, который, как известно, говорил: «Богатые не такие, как мы», на что кто-то съязвил: «Ну- да, у них денег больше»,) и не на шутку комплексовал в их среде (то и дело пытался уколоть за богатство, за образ жизни и вообще за врождённую внутреннюю культуру):

– Ну конечно, у вас высокие чувства, высокие идеалы и всё такое... У вас мания величия!.. А мы что для вас, люди второго сорта, да?

Всё это касалось женщин, мужчин из «высшего общества» он презирал – понятно, ещё и потому, что не мог быть таким, как они; не зря кое-кто считал его снобом, а кое-кто и мнимым интеллигентом.

Во время той прогулки я рассказал Сергиенко, как тоже когда-то смотрел на московскую элиту с немым восторгом (на художников Збарского, Щапова, Красного, Мессерера, которые ещё в конце пятидесятых годов имели роскошные мастерские, «мерседесы» и целый пароход в Водниках); как, будучи бездомным и нищим, завидовал «арбатским мальчикам» – сынкам и племянникам с известными фамилиями (Е. Дунаевскому, Эренбургу, Маркишу, Габриловичу – они с детства вертелись среди знаменитостей, которые их всячески поддерживали), и, только женившись на манекенщице и узнав всю эту золотую молодёжь (приятелей жены), понял: большинство из них – дерьмовые люди и, главное, – никакие не таланты, а малозначимые деятели, нахватавшиеся всего понемногу (кстати, все – «богоизбранные»).

Сергиенко отмахивался от моих ярких воспоминаний:

– Я всё это знаю лучше тебя, во-о-ще. Но пойми, голова, Настя совсем другая. Она настоящая принцесса, и не какая-то книжная пустышка, а живая, умная.

Чувствительный, ранимый, он остро переживал любовное поражение, и мне было искренне жаль его, талантливого, неустроенного бессребреника. В очередной раз я завёл разговор о том, что он, старый лысый пень, общается не с теми женщинами, что «карамельки» только обедняют его жизнь, что рано или поздно они выйдут замуж за сверстников и он, их «папочка», останется один...

– Я знаю, – грустно кивнул мой друг. – Но с вашими старухами мне скучно.

Тот, кто думает, что Сергиенко не знал себе цены как писатель, ошибается. Масса примеров, хотя бы вот: однажды он влетел в ЦДЛ, прямо лопааясь от злости.

– Только что был в «Малыше» (издательство), и что мне говорит редакторша Васильева?! Что мои сказки – слабые!.. Это она говорит мне! Ну во-о-ще даёт! Да ещё ссылается на Мезинова, что и ему не понравились. Что они понимают! Да она ещё книжки не читала, а я уже издал три исторические повести! – и дальше начал распространяться

в том смысле, что по-настоящему оценить работу может только мастер в этой области, а Васильева с Мезиновым и на подмастерьев не тянут.

В другой раз, когда я хвалил Ковалю, себялюбца Сергиенко не вытерпел:

– Ты меня поражаешь! Ну что твой Коваль?! Он что, создал образ или сюжет?! Оригинальничает – пишет, чтобы всех поразить. Слишком возносят его! Вот у меня в «Собаках»...

Многих литераторов он вообще топтал что есть мочи:

– Твой Яхнин – прожжённый тип, ноль без палочки, пишет тят-ляп. Даже его жена Марина это понимает. Мы заговорили о литературе, и она ему: «Уж ты-то помалкивал бы!» При мне, представляешь?! И он всё терпит...

– Твой Кушак – мерзкий тип. Представляешь, мы в Переделкино устроили вечер танцев. Он влетает: «Вам здесь не танцплощадка! Мешаете работать!» Ему, видите ли, мешаем писать его дурацкие стишата. Ну во-о-о-о! Какой он поэт? Он компилятор. Я валентинки лучше пишу.

О стихах молодых поэтов и вовсе говорил, как о конфетах: нравится – не нравится. Обо мне отзывался неплохо, как бы снисходительно похлопывал:

– Между прочим, хороший писатель. Пишет необычно, так же как и необычно говорит (случалось, в застолье я что-нибудь брякну – он сразу своей подружке: «О, это запиши!»).

Но не дай бог кому-нибудь похвалить мою книжку. Поэт Голубничий рассказал:

– Вчера выпиваю с Сергиенко и Деверцем и говорю, что из всей вашей когорты могу читать только Сергеева.

Костя так расхохотался и выдал:

– А ты меня-то читал?

Как-то сидим в компании с девицами, Сергиенко их тискает за все места, щебечет, внезапно мне бросает:

– Успенский пробил собственное издательство. Издаёт себя, Остёра, и будет издавать Ковалю и меня. О тебе ничего не сказал, вот так!

– Естественно. Я всегда на задворках.

Наедине Сергиенко говорил мне прямо:

– Ты плохой сюжетчик. Где каркас рассказа?.. О женщинах пишешь грубо, во-о-о-о, как дикарь. Только и можешь о своих собаках... Слушай

меня, балда, я всё-таки журфак окончил. Не забывай об этом. И, между прочим, печатать не умеешь. У тебя то висячая, то лежачая строка (именно он объяснил мне, неучу, элементарные вещи).

Я и сам знал свои чудовищные недостатки и безоговорочно соглашался с ним, но дальше он сыпал на меня и более суровые упрёки: и делаю я всё не то, и живу не так, и не с теми дружу, и не с теми женщинами встречаюсь, и неправильно разговариваю с ними, и вообще не умею себя вести... Здесь уж я активно оборонялся от него, настырного.

Как-то сидит с девицами в ЦДЛ, увидел меня с папкой (я принёс рассказ Дагурову в газету «Московский железнодорожник»), выхватил у меня папку, стал читать рассказ, одновременно потягивая вино и бросая реплики подружкам. Абзац прочитает, что-то спросит у девиц, перелистает страницу, ещё абзац пробежит.

– Кость, что за небрежность? – говорю. – Я, может, ночь не спал, а ты листаешь по диагонали.

– Молчи! Я всё увижу. Я профессионал!

И вроде действительно, чёрт, всё увидел: сказал – где именно плохо.

Сергиенко был настоящий друг: когда меня перестали печатать, он сам отнёс мою рукопись «Оглянись...» в «Молодую гвардию» и написал на неё убедительную рецензию. Можно сказать, он и Приходько вернули меня в детскую литературу, когда я уже перестал писать для детей и пробовал силы в рассказах для взрослых.

Когда же дело касалось его произведений, Сергиенко становился на редкость практичным. В редакции у Розанова первым делом издал буклет – синопсис с перечнем своих произведений и предисловием какого-то польского писателя. Сунув мне в руки синопсис, сказал:

– На, смотри! Это тебе не хухры-мухры. Здесь ещё не указано, что из «Собак» («Прощай, овраг!») я сделал пьесу, и она идёт у Спесивцева в театре «На досках».

Чуть позднее он даже не познакомил меня с переводчиком из Голландии, хотя мы часа два выпивали за одним столом (вот бескультурье провинциала!), а, отдав ему свои книги, сказал с приливом энтузиазма:

– Это классные вещи. Лучше в Москве ничего нет...

Такой был бахвалец! О своём таланте мог болтать на каждом углу – давал понять, что своим творчеством «расширил пространство», сделал приличный вклад в наследие человечества. Однажды сказал:

человеком, который жил рядом с нами, но в другой стране, человеком, идеализирующим мир, а его повести о любви – неким чистым оазисом.

Но и среди нашего поколения, мне кажется, Сергиенко как литератор не был оценён в полной мере. Как пример – всего один вечер памяти, в то время как Ковалю их устраивают по два-три в год; а между тем, как сказал поэт Леонид Мезинов, Сергиенко по таланту не ниже Ковалю. Впрочем, Мешкову и Качаеву и одного вечера не устроили (как будто и не было таких писателей), а о Цыферове вспомнили спустя двадцать лет.

Бесспорно, лучшая вещь Сергиенко – повесть о собаках «Прощай, овраг!». Я думаю, даже если бы он больше ничего не написал, этой повестью он навсегда останется в русской литературе для детей. Конечно, повесть не «Сны Чанга» Бунина, Сергиенко не проник в душу собак (что и понятно: он их не знал). В повести можно разглядеть подражание «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери («Просто эпигонство», – сказал Тарловский; но, если внимательно всмотреться, покопаться, во многих произведениях можно найти отголоски каких-то предыдущих авторов), но ясно одно – это самобытное и гуманное произведение, и «не о собаках вовсе, а о нас с вами», как говорил сам Сергиенко. Не случайно на похоронах нашего друга поэт и издатель Синельников назвал «Овраг» бестселлером своего времени и позднее переиздал его вместе с другими повестями Сергиенко.

– Кстати, если бы не женщины, – вечные спутницы Кости, – быть может, он и не написал бы такую вещь, – заметил поэт и издатель (имел в виду и своё помешательство на женщинах).

А я замечу: за долгие годы, которые я знаю Синельникова, он ни разу ни о ком хорошо не отзывался ни как о писателе, ни как о человеке (даже о «своих»; например, о поэтессе Т. Бек – «бездарная дочь бездарного писателя»), правда, делал это со смешком, но всё же испытывал радость, что обнаружил в ком-то отрицательное. Только хвалил какую-то поэтессу Аделис. Отзыв о Сергиенко – второй случай; вероятно, потому, что отзыв – о покойнике (в самом Синельникове гнездились чрезвычайно высокое самомнение, но то, что я у него читал, – не ахти как талантливо; на мой взгляд, его стихам не хватает ясности; по-моему, он из числа «книжных» поэтов).

На похоронах Сергиенко выступали многие, но особенно проникновенно, с дрожью в голосе и слезами на глазах, говорил Деверц

сателя, которым гордилась бы любая страна), или возносятся до небес, и он уже представляется неким идолом, почти святым. А ведь без недостатков, без странностей даже герои произведений не выглядят жизненными, что уж говорить о реальном человеке, да ещё литераторе.

После смерти Ковалёва вечера его памяти проводятся по два-три раза в год: в ЦДЛ, в Центральной детской библиотеке, в музеях; в издательствах выходят собрания его сочинений, очерки с фотографиями и рисунками; печатаются хвалебные статьи, говорят о потере, равной вселенской катастрофе, добиваются мемориальной доски на мастерской. На вечерах памяти о нём как о личности слышны триумфальные речи, сплошные превосходные степени. А мне невольно вспоминается Олеша, который, глядя на памятник Маяковскому, сказал: «Как непохож он на человека, которого я знал». На тех же вечерах памяти Ковалёва слышны возгласы восторженных литературных дамочек:

– Гений! Гоголь! Леонардо да Винчи!.. (невольно думается: если Ковалёв – Гоголь, то Передрееву и Рубцову надо ставить памятники рядом с Пушкиным).

Есть, правда, и другие мнения. Зульфикаров сказал:

– Слишком много шума. Всё заполонили его книгами, а я читал – графомания. И в то же время редко печатают русских: Распутина, Евгения Носова, Юрия Кузнецова... Даже не устраивают юбилеев, не упоминают... Подло это...

Марк Тарловский выразился осторожно:

– Ковалёв ввёл формотворчество в литературный приём, но приём-то нужен для того, чтобы более выпукло показать реальность, а когда он самоцель – это просто желание пооригинальничать.

Мазнин выдал более хлёсткий отзыв:

– У Ковалёва эпатажная словесная эквилибристика, за ней видны себялюбие и безразличие к судьбам людей.

Ну а сам Ковалёв, голова еловая, вполне серьёзно считал себя гением, нашим национальным достоянием, а свою прозу называл «божественной». (Вначале в одной своей песенке пел: «Пора мне заняться делами – изысканным, божественным прозам внимать», потом заявил, что и сам пишет «божественное».)

Понятно, основательно разбирать жизнь и произведения творческой личности должны искусствоведы и критики, а такие, как я, могут только изложить своё мнение, на которое и не обязательно обращать

внимание, но, думаю, высказаться о Ковале имею право, ведь знал его не десять, не двадцать, и даже не тридцать лет, а побольше; к тому же последние годы мы встречались почти каждый вечер. Я не гожусь на роль мемуариста и не стану отшлифовывать воспоминания, и, откровенно говоря, мне всё равно, как их воспримут другие, – честно расскажу то, что вспомню.

Сразу заявляю – Коваль был счастливым человеком, он прожил яркую, насыщенную, красивую жизнь и, в отличие от большинства из поколения, пережившего войну, с детства не знал особых забот; его отец был полковником на генеральской должности, начальником уголовного розыска Московской области, и семья всегда жила безбедно.

Ну кто из профессиональных художников имел столько персональных выставок, сколько их имел художник-любитель Коваль? И далеко не все художники, члены Союза, имели мастерские, а Коваль имел и в юности (на Абельмановке с Сапгиром и Холиным), и в зрелости (на Серебрянической набережной с В. Беловым). Кто имел возможность делать эмали на фабрике, где давали железо, огнеупорные краски, печь для обжига?

У кого из писателей был свой мощный покровитель (такой, как Я. Аким), который хлопотал за Коваля в Комитете по печати, ездил в Испанию, чтобы выбить ему премию Андерсена? А отец, надел ордена, приходил в дирекции издательств и давал гарантии, что цензура пропустит всё, что напишет его сын. Кто из писателей столько издавался и выдвигался на премии? Кто постоянно имел секретарш (наш герой называл их «женщинами для души»), одна печатала рукописи, ходила по издательствам, другая пристраивала картины, распространяла книги?

Кого из писателей, если он выпивал, домой отвозил личный шофёр (сын реставратора Л. Лебедева или секретарша); кого на тысяче снимков увековечил личный фотограф В. Усков? Кто имел три немалых участка в деревнях (с добротными избами и банями) в разных областях страны (один участок на Нерли – находился в двух километрах от деревни, где жил прозаик А. Старостин, но они редко общались, поскольку Старостин дружил только с «патриотами», а Коваль никогда им не был). Кто имел лодку с сетями, две машины (одну, «ЛуАЗ», на двоих с Лебедевым) и даже в деревне на Нерли отару овец (пять штук, которых пас сосед)?

Кто из писателей сразу, после подачи заявления, получил машину (большинство стояли в очереди годами), а когда её угнали, тут же получил вторую?

И не сбросишь со счетов, что Коваль ездил в Болгарию, Германию, Голландию и Данию, когда ещё мало кого выпускали за границу (Снегирёва не пустили даже в Монголию, меня в Болгарию), после чего ходил в дорогих кожаных пальто и куртках, когда ещё кожа не была униформой новых русских и когда менее обеспеченные друзья Ковалья носили поношенную одежду (тот же Снегирёв, Цыферов, Постников).

И нельзя забывать, что Ковалю повезло с жёнами. У него была прекрасная первая жена: красивая, немало сделавшая (как редактор) для становления мужа-писателя и родившая ему дочь (в будущем противная врачиха – о ней ещё скажу). И вторая жена – ещё более красивая, намного моложе Ковалья, а по музыкальному таланту значительно превосходящая мужа. От неё у Ковалья сын. И с тёщей-актрисой Ковалю повезло, что, как известно, бывает крайне редко.

Плюс ко всему Коваль жил свободно, не стесняя себя семейными обязанностями, и, когда хотел, устраивал романтические приключения. Не случайно Лебедев называл Ковалья везунчиком, а мы с Шульжиком – провинциалы, служившие в армии и потом в одиночку пробивавшиеся в Москве, – считали его счастливецом.

Собственно, и смерть Ковалья (мгновенную) можно рассматривать как подарок в нашем возрасте, ведь многие погибают мучительно, после тяжёлых болезней. Другое дело – рановато он ушёл из жизни, мог бы ещё кое-что сделать, хотя многие писатели считают, что под старость он исписался, и в пример приводят роман «Суер-Вьер», который действительно никуда не годится.

Я познакомился с Ковалём в конце пятидесятых годов в мастерской, где он с Сапгиром и Холиным писал модернистские стихи и занимался абстрактной живописью. Я в то время работал декоратором в Театре Вахтангова, и мы сразу нашли немало общего (до войны даже жили чуть ли не в одном доме у Красных Ворот, а позднее, после окончания пединститута, Коваль два года преподавал русский язык в сельской школе в Татарии, где я жил после эвакуации и откуда ушёл в армию, а ещё позднее (уже в Москве) он преподавал в школе рабочей молодёжи (где, по его словам, в основном кадрил девиц), а я недалеко от школы снимал комнату).

Как и Успенский, при знакомстве Коваль мне первым делом сообщил, что он вообще-то не Иосифович, а Осипович. Я сдуру не понял, к чему он это говорит, – до меня дошло позднее, когда я заметил, что костяк его друзей составляют евреи. Он даже написал стихотворение:

Прости меня, Кролик, что я алкоголик,
 Что часто хожу в ЦДЛ,
 Что кроме евреев со мной и Сергеев,
 Который совсем озверел. (В другом варианте – «но и он уже на-
 доел»).

И в работах Ковалья не найти любви к нашей стране (не зря драматург В. Розов говорил: «По тому, как человек пишет, всегда видна его национальность»).

Спустя несколько лет Коваль, начисто забыв, о чём говорил мне когда-то, организовал Клуб Иосифовичей, в который включил Визбора, Коринца и Домбровского. А потом и четвёртого: как-то ехал в такси, и водитель оказался Иосифовичем.

Странная вещь – некоторые мои друзья-евреи при случае отрезаются от своей национальности. Однажды и Пьецух ни с того ни с сего сказал:

– У меня ведь нет еврейской крови. Ну, может, только четвертушка.

Но в нужный момент, когда мы выпивали втроём (с Ковалём) и речь зашла о каком-то еврейском писателе, Пьецух заявил:

– Евреи – великая нация! – и хотел было перечислить «лучших современных прозаиков», но Коваль его остановил: при мне не хотел развивать эту тему.

Кстати, Пьецух – вообще раздвоенная личность: с одной стороны, вроде глубоко православный, с другой – недавно по телевидению объявил наш народ «изначально аморальным» и что «самое ужасное существо – это русский идеалист» (!). Коваль под статью ему: в одной из первых своих рецензий (будучи сотрудником журнала «Москва») обрушился не на кого-нибудь, а на В. Кожинова, а последние свои работы печатал в самых сионистских изданиях – «Огоньке» при Коротиче) и «Знамени» – и приятельствовал, сатана, с оголтелыми разрушителями страны (Вик. Ерофеевым, Евг. Поповым, М. Розовским).

В первые годы нашего общения Коваль выглядел неплохо, вот только ходил тяжеловато, переваливаясь, как гусь. Потом объяснил мне, что с детства у него страшно болели ноги – ни один врач не мог

вылечить, а мать вылечила (несмотря на этот недуг, Коваль хорошо играл в настольный теннис – чего-чего, а реакции ему было не занимать). И уже тогда его щёки напоминали мешки хомяка, а глаза навывкате – линзы от бинокля; он всё видел, всё подмечал, у него был крайне цепкий взгляд – никто ничего не мог утаить.

В середине шестидесятых годов Коваль недолго работал редактором в журнале «Детская литература», а я в том же журнале постоянно торчал, поскольку напротив находился подвал Дмитрюка, где мы иллюстрировали книги. В те годы мы с Ковалём особенно сдружились (ведь, ко всему прочему, считались знатоками алкогольных напитков).

Старичина Коваль был сложный, азартный, противоречивый человек; в искусстве одной ногой стоял в авангарде, другой в классике; в быту его настроение менялось по несколько раз в день – от безудержно-радостного до глубоко мрачного и даже озлобленного.

На людях он чаще всего бывал благодушным, в отличном настроении (особенно после второго брака, когда отъелся, подобрел), заразительно смеялся после каждой своей реплики, как-то органично вплетал в разговор матерные словечки. В застолье в него влюблялись все женщины: от девчонок до старух. Да что там в застолье! К нему неровно дышала половина женского населения Москвы (на день рождения он получал мешок поздравлений от всяких особ). Он был по-настоящему артистичен, как немногие из писателей.

Однажды мою изостудию снимали телевизионщики. Уходя, они сказали:

– У нас задумка. Мы хотим сделать передачу «Как делается детская книга». Вы расскажете о том, как иллюстрируете, а кто сможет рассказать, как пишется?

Я сразу дал телефон Коваля, а вечером позвонил ему и объяснил суть дела. Коваль перед камерой держался неплохо и, естественно, его соплеменники (а, как известно, именно они захватили всё телевидение) сразу после съёмок предложили ему вести какую-то программу для детей. Спустя некоторое время Коваль сообщил мне:

– Хорошо, что ты сосватал меня на телевидение. Я там договорился с одним оператором, он снимает фильм обо мне. Уже отсняли в мастерской, в семье, на выставке, теперь надо – как провожу вечера, как

мы с тобой выпиваем. Завтра приходи в ЦДЛ, оденься поприличней и не ругайся – будут записывать и звук. А-а! Пошли они к чертям! Пусть всё будет, как есть! (Кстати, это второй фильм о Ковале, первый снял его друг режиссёр-эмигрант Файт.)

Но бывал Коваль и раздражительным, жёстким. Как-то в ресторане ЦДЛ к нам долго не подходил официант – расшаркивался перед новыми русскими, которые гуляли с девицами.

– Вот гад! В нашем клубе уже перестали уважать писателей! – процедил Коваль. – А девки сидят с ворюгами, как тебе нравится? А почему бы им с нами, с писателями, не посидеть?!

В другой раз в наш разговор постоянно встревал какой-то писатель с соседнего стола, наконец, Коваль взорвался:

– Слушай! Ну что ты хочешь сказать?! Говори, если у тебя есть интересные мысли. Нет – так молчи. Дай спокойно посидеть.

К выпивке Коваль относился серьёзно – «с алкоголем у меня отношения серьёзные». В сумке, кроме водки, он постоянно носил множество лекарств (на всякий случай), рукописи, презервативы и, как хозяйственный мужик, – хлеб, сало, охотничий нож. Бывало, только сядем в Пёстром, откупоривает бутылку и тут же наливает по полному стакану.

– Давай махнём сразу, а то ещё подойдет какая-нибудь бл..., придётся делиться. А остальное уже потихоньку за разговором.

Кстати – насчёт аптечки, которую Коваль постоянно таскал. Как-то к нам подсел наш общий приятель сценарист Алексей Леонтьев, который называет себя не иначе как «потомственным дворянином» (у него действительно и внешность, и манеры аристократа). Заметив у Ковалюшки полиэтиленовый куль с лекарствами, Леонтьев начисто забыл про своё происхождение и совершенно бестактно ляпнул:

– Это в тебе говорит еврейство. Еврейское самосохранение...

– Не знаю, Лёшка, что тебе и сказать на это, – засмеялся Коваль. – Но ведь я и Лёньке ношу валидол, аллохол...

Сам-то Леонтьев выпивал нещадно и наплевательски относился к своему здоровью, хотя и был старше нас на десять лет.

Выпив и размякнув, мы с Ковалём вначале вели серьёзные разговоры о литературе и жизни вообще, затем переходили на второстепенную болтовню... Бывало, подходили знакомые женщины или подсаживались совсем незнакомые, и наш разговор

приобретал новую окраску; само собой, к выпитому добавлял ещё, а если потом ехали в мастерскую Ковалья, то брали с собой ещё бутылку.

В застолье Коваль не обходился без крепких словечек: он ругался и при классиках, и при женщинах – его ругань, повторяю, выглядела живописно. Помню, выпивали с отличным прозаиком, доброжелательным и умным Георгием Семёновым, и Коваль, как всегда, расцвечивал разговор матерком; Семёнов засмеялся:

– Запиши свои ругательства, мне надо для новой работы.

Не раз мы выпивали с А. Битовым, Л. Щегловым, В. Алексеевым, которые тоже матерились, но у них это получалось топорно, нарочито; рядом с артистичным Ковалём они выглядели лишь жалкими подражателями. Битов говорил Ковалю:

– У тебя во всех текстах чувствуется присутствие выпивки.

Мой друг, довольный, надувался:

– Х... его знает, как так получается... Но запах витает, точно.

Коваль с Семёновым частенько хвастались, кто за весну (или за осень) настрелял больше птиц. (Вот лихие удалцы, негодяи! Тоже мне верх мужества!) Как-то сидели вчетвером – был ещё внебрачный сын Ковалья, который прямо пожирал отца глазами (парень в то время учился в Казани на художника, и при встречах Коваль натаскивал его в живописи, хотя самому было далеко до мастера; позднее парень с родителями эмигрировал в Израиль).

– Я добыл десять уток, – улыбался Семёнов.

– А я, Жора, скажу тебе, взял двух вальдшнепов. Да, взял, – важничал Коваль.

– Десять уток, – муссировал свой успех Семёнов. – Птица чувствует охотника. К хорошему человеку сама подлетает.

– Писатели-гуманисты называется! Убийцы – вот вы кто, – возмущался я, пытавшийся стать вегетарианцем.

Будущий художник мотал головой, был явно не согласен со мной и продолжал смотреть на отца с восторгом – тот ему представлялся Хемингуэем.

Кстати, вспомнил – мой товарищ прозаик и священник Ярослав Шипов тоже заядлый охотник; при встрече надо будет у него спросить: как заповедь «Не убий» совмещается с его увлечением? И вообще, где его христианское милосердие, когда он уплетает говядину и курятину?

Как подумаешь, что человек за жизнь в среднем съедает две тысячи животных, становится не по себе.

Особенно прекрасно Коваль держался с женщинами. Помню, как-то сидели с девицами, и «моя» допекла меня своими глупостями; я, пьяный болван, возьми да брякни:

– Ну какая же ты дурочка!

Девушка надулась и стала жаловаться Ковалю, который всю «обработывал» её подружку. Мой друг засмеялся:

– Не слушай его, дурака! Ты полна ума!

Девушка зарделась от счастья и пододвинулась к Ковалю. Я же горю: в него влюблялись все женщины поголовно.

Однажды Коваль звонит:

– Надо встретиться. Я в нокдауне. Не в нокауте – в нокдауне, но это серьёзно.

Оказалось, у него угнали машину. Накануне он подъехал к своему дому с секретаршей, но, паркуясь, разбил чужую машину. Нет чтобы прийти к автовладельцу с покаянием, всё объяснить, компенсировать ущерб, – он, тупоумный, решил скрыться – поставил машину недалеко от дома. Но наверняка кто-то всё видел. Короче, Ковалю жестоко отомстили.

– Я уже переговорил с бандитами своего района, дал им задаток, обещали найти, – удручённо сообщил он мне. – Понимаешь, я слишком засветился. На телевидении, и вообще. Блатные люди так и сказали: «Мелькаешь на экране, а мы таких не любим. У тебя полно денег, ещё одну купишь».

На следующий день Коваль позвонил снова. Я приезжаю в ЦДЛ, на веранде он сидит с уголовником из измайловской банды – бритый парень в майке, весь в шрамах и татуировках. Они уже немного приняли. Коваль сразу налил мне и представил:

– Это Лёнька, мой друг. А это Коля...

– Кто это? – бандит посмотрел на меня исподлобья.

– Мой друг, Коль, я же тебе говорю. Мой ближайший друг.

– Ему что, тоже тачка нужна?

– Да нет. Он в курсе дела и разбирается в машинах.

– Не нравится он мне.

– Коль, ты что? Брось валять дурака! Лёнька мне как брат, пойми ты это, – и, обращаясь ко мне: – Лёньк, такое дело, чёрт подери! Пока

машину найти не удаётся. Коля говорит, задаток надо увеличить. Что ты скажешь?

Когда Коля уехал, Коваль сообщил, что бандит предложил другую тачку, угнанную, и спросил меня, брать или не брать. Само собой, я отговорил друга. К счастью, через неделю Союз писателей выдал Ковалю новую машину.

Богатей Коваль никогда не знал, что такое полное безденежье. Помню, пропыхтел:

– Я крепко сел на мель. Прямо не знаю, как дальше жить. Денег ни хрена нет... Ну тысяча-то долларов на книжке есть. Но это неприкосновенный запас, сам понимаешь.

Я, разумеется, не понимал. И Сергиенко, и Мазнин не понимали. Уж если мы говорили «денег нет», значит не было пятака на метро.

В чём в чём, а в жадности Ковалья никак не обвинишь, и вдруг, надо же, отдаёт мне старый холодильник (себе после женитьбы купил новый) и бурчит:

– Ну ты мне за него подкинь немного денег. На переезд к Наталье.

И что на него нашло?! Он, истукан, должен был мне заплатить, что я избавил его от рухляди да тащил этот гроб чёрт знает с какого этажа. Хорошо, мой брат помог. А у Ковалья, неженки, видите ли, разболелись ручки. Потом я подарил этот чёртов холодильник соседу по участку, тот из всего извлекал «ценности» (из холодильников – электромоторы).

Кстати, за несколько лет до этого «специалист по сказкам» Ватагин позвонил мне:

– У тебя ведь полупустая квартира? Возьми мебель у моей знакомой. Она купила новую, а старую отдаст бесплатно. Я поймал мини-грузовик и за приличные для меня деньги перевёз шкаф и тахту в свою квартиру. И то, и другое вскоре пришлось отнести на помойку: шкаф оказался слишком громоздким, а тахта невероятно скрипела (была попросту бракованной). Но сразу же после этого «подарка» Ватагин тихо сказал мне:

– Ну, ты всё же заплати моей знакомой рублём пятьдесят, ей же надо привозить новую мебель...

В общем, мебель обошлась мне в копейку.

– В каждом еврее рано или поздно проявляется жидовство, – сказал сосед, помогавший мне выкидывать мебель.

Сосед, конечно, хватанул через край. Например, тот же Ватагин всегда охотно всем даёт деньги в долг (правда, делает это слишком серьёзно, его щедрость какая-то торжественная – от этого тот, кто у него занимает, испытывает неловкость, несоразмерную своей просьбе); на дни рождения друзей Ватагин притаскивает два торта (его так и зовут – «наш кондитер») и непременно дорогой подарок и, будучи самым старым в нашей компании, первым произносит тост (правда, удручающе мелковатый для писателя):

– Поздравляю! Желаю здоровья, долгих лет жизни, успехов в творчестве! (после этих избитых слов выступают речистые Яхнин, Мазнин, Кушак и выдают такие роскошные монологи, после которых маленький Ватагин становится совсем крохотным).

Такой чудак этот сказочник (некоторые считают, что тосты – вопрос вдохновения, но, думается, не только его.) Во время перестройки, развивая свою коммерческую жилку, Ватагин занялся бизнесом – стал покупать и продавать недвижимость (квартиры) – и одновременно умудрился пересказать десять томов сказок народов России. И как всё успел? Вот проворный старикашка! Но я далеко ушёл от Ковалья.

Человек мощных эмоций, Коваль если уж грустил, то и собеседнику становилось не по себе. Например, когда вспоминал мать («посмотрел её фотографии, поплакал малость») или когда из Москвы уезжала красавица-немка Беата, которая немало сделала, чтобы Ковалья печатали в Германии, и очень хотела выйти за него замуж (на что наш герой бурчал: «Наталью бросить никак не могу»), когда умер только что родившийся первый сын («Может, от того, что выпиваю, может, ещё от чего», – вздыхал мой друг).

Коваль никогда не ухаживал за женщинами – они, милашки, сами бросались ему на шею. Это он, глупец, свидетельствовал и в прозе («Храм на воде», Клара в «Лодке»). Всех известных женщин, с которыми Коваль имел романы, он запечатлел на огромном деревянном столбе (вырезал их лики); неизвестных, но личностей увековечил в стихах и прозе, остальных «задокументировал» в устных «сексуальных рассказах».

Он романился даже с моими ученицами, малолетками из изостудии, и, что особое злодейство, – с жёнами друзей. Мне совершенно наплевать, кто с кем спит, но где честь, совесть, чувство вины? Я говорю ему, негодяю:

– Ты разрушитель семейного счастья, тебе жариться на сковородке, в аду. Тебе что, свободных баб мало?

А он строил невинные глазки:

– Ну что я виноват, едрёна вошь? Бабы сами лезут, поверь мне. Не могу отказать, надо же их утешить.

Как-то, в перерыве между браками, Коваль увёл у Успенского одну девицу. Успенский расплакался и вызвал Ковалья – не на дуэль, конечно, – на разговор. Тот сдрейфил и пришёл не один, взял с собой В. Ускова и Н. Силиса. Перед такой свитой уже сдрейфил Успенский и простил соперника.

Случалось, на день рождения Ковалья, кроме друзей и жены собирались и все его секретарши-любовницы, и случайные обожательницы – тогда празднество выглядело несколько странно, точнее – постыдно, хотя сам Коваль держался великолепно, без всякого смущения. Да какое там смущение! Он и не знал, что это такое, он всегда держался свободно. Временами, распираемый собственным величием, даже чересчур свободно. Он, себялюбец, вообще был не прочь, чтобы все женщины принадлежали ему, все участвовали в его жизни и чтобы на его день рожденья их собиралось не меньше, чем на первомайскую демонстрацию (впрочем, Бунин с Булгаковым и вовсе жили с двумя женщинами одновременно в одном доме, и не только они). Накануне своего дня рождения Коваль давал нам с Сергиенко вычурные темы для письменных поздравлений: «Фиолетовые утопленники», «Блуждающие кости». Как-то мой друг увидел симпатичную девицу с Яхниным и вполне серьёзно заявил мне:

– Как хочешь, но я отобью её у него.

Но не дай бог, если его приятельница заинтересуется кем-то другим! Ревновал до чёртиков. Однажды его секретарша Ирина в ресторане ЦДЛ брала интервью у Пьецуха (она работала в каком-то журнале). Коваль заранее меня об этом оповестил и назначил встречу в Пёстром. Как только потенциальные любовники уселись в ресторане, мой друг не поленился, потащил и меня туда же.

– Сяду так, чтобы их видеть, – объявил. – В случае чего, ты меня сюда приволок, понял?

Весь вечер он то с цепенящим вниманием следил за парочкой, то дёргался и ужасно нервничал:

– Ишь, как смотрит на него! Кадрится! А он, гад, явно кадрит её! Знает, что со мной ему не потягаться, но лезет!

– Брось! Чепуха! Не накручивай себя, – говорил я, но где там! Если ему что мерещится, не переубедишь.

В другой раз я разговорился с другой его секретаршей, Еленой.

– Её тебе не отдам! – сурово предупредил мой друг.

– Ты что, спятил? По себе всех мерить? – попытался я поставить его мозги на место.

– Я всё вижу, меня не проведёшь!

– Ты как Сталин. Тот тоже говорил Бери: «Жукова тебе не отдам!»

Коваль, старая чурка, засмеялся и успокоился.

Однажды приезжает с Нерли, звонит:

– Каких баб за этот месяц имел?

– Да никаких, – отвечаю. – Сейчас не до них, я уж и забыл, как у них всё выглядит.

– Приезжай – нарисую! – гогочет.

Вот чёрт! Нет чтобы сказать: «Приезжай, сейчас вызову пару».

А он – нарисую!

Мы встретились в его мастерской, купили у сторожа продмага бутылку (Коваль знал старика и в любое время суток мог достать водку) и прежде, чем её прикончить и звонить женщинам, пересказали друг другу, как провели последний месяц.

– Баньку поставил, – сообщил Коваль (он был большой любитель банного дела).

– Сам? В одиночку?

– Ты что?! Местные ставили. Баньку грамотно самому не поставить. Внутри вагонкой из осины надо обшивать, – дальше он подробно описывал баньку, потом чердак избы, где делал что-то вроде мастерской.

Я похвастался, что взял участок в писательском товариществе и строю летний дом.

– ...Вдвоём с братом, – важно закончил я.

– На кой чёрт тебе этот участок, – поморщился Коваль. – Я вот что тебе скажу. У меня там, на Нерли, есть свободный дом. Не хуже моего, и недорого. Другому не сказал бы. Тебе говорю. Бери, дурак, не раздумывай. Будем вместе щук ловить.

– Далековато. А участок в часе езды.

– Тебе эти писатели в ЦДЛ не надоели? Да и шесть соток всего. А у меня там до реки всё моё.

– И за рекой тоже, как у Гоголя, – вставил я.

– Ну да, – засмеялся Коваль. – В это лето стоит жарница. Все поливают грядки. А я ничего этого не делаю. Не люблю это... Вот щук ловлю. С одной, скажу тебе, долго боролся, но победил, едрёна вошь.

– На Нерли ведь у тебя третьи владения, – напомнил я. – Куда тебе столько?

– Алёшке останется.

Сынишка Ковалья – шустрый, смышлёный мальчуган.

– Твой будущий ученик, – говорил мне Коваль.

А вот его дочь от первого брака Юля – гадючка, о ней и писать противно. Когда с моей матерью случился инсульт, и её положили в больницу, Коваль спросил у меня:

– В какой она больнице?

Я назвал.

– Да ведь там моя Юлька работает терапевтом! – оживился мой друг. – Сейчас ей позвоню.

Он позвонил, и наказал дочери присмотреть за моей матерью, узнать, что и как, и сообщить мне.

Три дня мать пролежала в больнице, но дочь Ковалья так и не позвонила. На четвёртый день мать умерла, об этом меня известила медсестра, потом позвонил заводделением, сказал:

– Очень хорошо(!), что вы уже всё знаете.

А спустя неделю в ЦДЛ я встретил Юлю, она направлялась в кинозал.

– Была у вашей мамы, – сказала, – она чувствует себя неплохо.

Такая дочка у моего друга. Дать бы ей клятвой Гиппократу по башке!

Эх-ма! Если бы Коваль все силы бросил только на литературу, сколько бы он хорошего написал! Так нет, он, дуралей, хотел себя обессмертить во всех областях. Одна моя ученица, его любовница, говорила:

– Он слишком разбрасывается, за всё хватается – немного порисует, напишет стихи, что-то порежет на дереве, потом минут десять поиграет на гитаре, снова берётся за кисть, ручку...

Таким же он был и в молодости. Как-то отправились на охоту: он, Мазнин и Мезинов, так Коваль умудрился за один день подстрелить чирка, зарисовать его и сфотографироваться с ним, написать два стихотворения и к обоим на гитаре подобрать мелодии, сделать несколько акварелей и автопортрет, вырезать из корней чёрта и свой профиль, собрать какие-то травы для лекарств и ещё закадрить

деревенскую девушку – могу немного перепутать очерёдность, но за суть ручаюсь.

С возрастом Коваль обрюзг, заматерел, стал рыхлым, дряблым, похожим на старую жабу; когда смеялся, его выпученные глаза вылезали из орбит, щёки тряслись, словно желе. Раза два он ложился в больницу на похудение, после чего выглядел, как молодая лягушка, но быстро набирал прежний вес, прежние жировые складки – уж очень любил пожрать, чертяка. Особенно сальца с хреном – само собой, под водочку. Ну а его старческое хвастовство («у меня чувство слова в крови», «я сразу ворвался в литературу как мастер») с каждым годом возрастало. Как-то заявил:

– В пединституте профессор (такой-то) говорил: «Что бы Коваль ни написал не по правилам грамматики, это будет правильно». (Совсем по Жуковскому – «Как мы с Пушкиным пишем, так и должно быть».)

В другой раз говорит:

– Мне как таланту легко найти нужное слово, в голове-то безмерный клад. (Вспоминается Чайковский: «У меня пять процентов таланта и девяносто пять – работа».)

Но случалось, Коваль впадал в жуткий пессимизм, особенно когда ему в очередной раз не дали премию Андерсена. Он жаловался, что ему не о чем писать, что родители его юной журналистки Жени (которая у него брала интервью и с которой он два года крутил роман) отправили её за границу – подальше от него, что вообще молодые женщины на него всё меньше обращают внимание, на что я замечал:

– Ничего, мы своё взяли. (Он и чужое взял, – говорил о Ковале художник В. Лосин.)

Коваль смеялся.

– Ни фига! Вон Костя (Сергиенко) берёт и берёт. Можно сказать, грёбёт, чёрт бы его подрал! Правда, делится.

В последний год в семейной жизни Ковалья начались раздоры. Наталье надоели секретарши мужа и журналистка – «на одни звонки ей в Париж ухлопал пятьсот долларов». Наталья устроилась преподавателем в школу (с сыном сидела её мать) и стала домой возвращаться поздно.

– Завела любовника! – в ярости заявил мне Коваль. – Привозит её на машине.

А по телефону призывал меня быть свидетелем падения жены:

– Иди скажи Лёньке, когда ты вчера явилась! Слышишь, гремит кастрюлями? Не хочет говорить, что её на машине подвозит любовник!

Наталья подходила и спокойным голосом опровергала мужа:

– Не слушай его. Всё это его выдумки.

Нельзя сказать, что они совсем разлюбили друг друга, их отношения просто притупились, и Наталья напоминала мужу, что она ещё молодая, красивая женщина, а Коваль комплексовал из-за своего возраста и оттого, что исписался.

Прежде чем высказывать своё отношение к творчеству Ковалья, замечу: для меня в работах особенно ценны естественность и подлинность, нарочитость вызывает недоумение и протест. Ну ладно, в молодости, когда не знаешь, как самоутвердиться, но в зрелости, а тем более под старость, когда уже тянет к простоте и ясности, стремление пооригинальничать выглядит диковато. Хемингуэй говорил: «Туманно пишут о том, что туманно себе представляют».

И ещё одно отступление. Я знаю точно: в искусстве большинство близких людей, нахваливая работы друг друга (то «трепетно, волнительно», то «захлёб»), частенько лицемерят, а если что-то явно не нравится – помалкивают, боятся обидеть, испортить отношения. Это и понятно – творческие люди ранимы и болезненно воспринимают критику. Несмотря на этот печальный факт, я убеждён, что как раз близкий человек обязан быть предельно искренним и говорить то, что думает. Кто ж, как не он? Для пользы дела мы должны относиться друг к другу с повышенными требованиями.

Меня с детства отец приучил настороженно относиться к похвале, рассматривая её как ничего не значащие слова, способ увильнуть от серьёзного разговора по сути. Другое дело – критика, пусть даже самая жёсткая: из неё всегда можно выжать полезное и тем самым сделать работу качественнее. Когда Кушак мне говорил: «Всё отлично, классно», я знал – ему лишь бы отмахнуться, хотя сам всегда и всё обкатывал на друзьях: звонил Мазнину, Тарловскому, мне, спрашивал, где что покорило. А потом вздыхал:

– Да, то же самое сказал и Игорь, и Марк... Надо крепко подумать.

А вот Мазнин и Мезинов меня чихвостили как надо, с большим подъёмом, и если при этом Мазнин все-таки выбирал выражения, то Мезинов не ограничивал свой словарный запас и жалил меня в самое сердце; на рукописях писал, используя бандитскую лексику: «Где это

ты, му...к, видел?!», «Что за чушь, что за дерьмовая концовка?! Ты что, совсем ох...л?!» – прям готов был придушить меня. А при встрече подробно разбирал мои огрехи и несурзицы:

– Где у тебя развитие сюжета? Топчешься на месте, е... мать. Не ты господствуешь над временем, а оно над тобой. Ну есть у тебя дневниковая манера, интонация, нюансы всякие, но этого мало. Где свой подход, индивидуальность?!

Я, конечно, защищался, как мог:

– Но ведь манера, интонация, нюансы – это и есть индивидуальность.

– Ничего подобного! Это только окраска. Индивидуальность – это прежде всего самобытный взгляд!..

Я был бесконечно благодарен друзьям за doskonaльный разбор и выжимал всё, что мог, из их проработки. Руководствуясь повышенными требованиями, и выскажусь о работах Ковалья. Вначале о его музыкальных поползновениях.

Вообще-то говорить об этом мне попросту неинтересно, даже смешно. Ответственно заявляю: Коваль не обладал слухом (перевернул мелодии), но изо всех сил хотел стать бардом; усердно брал уроки игры на гитаре, не упускал возможности спеть свои вещи. Всё для того, чтобы быть в центре внимания (к слову, он любил выступать: открывал выставки художников в библиотеках и ЦДЛ, вёл семинар в «Мурзилке» – учил уму-разуму молодых литераторов). Бывало, в мастерской у Стацинского кто-нибудь рассказывает интересную историю – Коваль мне шепчет:

– Развели хренотень! Надо немедленно достать гитару. Пойдём по мастерским.

Это у него называлось «перехватить инициативу». Он всюду перетягивал одеяло на себя. Так, на выставке стоило Н. Силису заговорить о себе, как Коваль со смешком ершился:

– Что ты всё о себе да о себе, чёрт тебя подери! Брось валять дурака, обо мне что-нибудь скажи!

На вечере в Малом зале кто-то говорил о нём как о прозаике, он бросил реплику:

– Скажи, что я ещё и первоклассный стихотворец. У меня две книжки стихов!..

Он не забывал о себе, даже когда писал о других. Например, написал: «Когда я читаю «Утренние трамваи» Л. Сергеева, я вспоминаю

«Последний троллейбус» Б. Окуджавы, та же музыка звучит во мне». Ясно, здесь сплошное кокетство, игра слов, ведь ничего нет общего между – пусть мелодичной, но унылой вещью мэтра и «Трамваями», где все отмечали какой-никакой, но оптимизм. Коваль просто похлопал меня по плечу и высветил свою тонкую душу.

В музыке вкус у Коваля был разбросанный (к месту вставлю: вкус, по-моему, особый, возможно, даже врождённый, талант; по большому счёту – вообще определённый взгляд на жизнь). Коваль никогда не пел песен нашей юности, но не забывал песни с налётом блатной романтики. Например, любил «Мурку». Её пел на мой день рождения не только у меня дома, но и в ресторане ЦДЛ, где, кстати, сидели иностранцы. Подошёл к тапёру, крикнул, что посвящает песню мне (на кой чёрт она была мне нужна?), и заголосил. Спел, дождался двух-трёх хлопков, но ему вдруг втемяшилось, что у него получилось не очень душевно, и он затыкнул ещё раз.

Музыкальные упражнения Коваля можно рассматривать только как хобби, как семейное «кухонное» искусство, но не исполнять в залах; а он постоянно лез на сцену, в радиостудии и на телевидение. Кстати, Кушак тоже мог бы исполнять пару своих дворовых песен и цыганочку, но – надо отдать ему должное – делал это только в кругу друзей.

О художественных работах Коваля говорить можно, но спокойно. Некоторые его пейзажи, деревянные скульптуры и эмали (где за общими контурами не виден чёткий, крепкий рисунок) вполне приличного уровня для художника-любителя, тем более что главным для нашего героя было побольше ломать форму, делать всё позабористей, покривее. Но Коваль, кретин, считал себя не просто художником, а художником выдающимся («мой талант – от Бога!»). Это не подтверждал ни один профессиональный художник, за исключением Н. Силиса и В. Лемпорта, которые и натаскивали «дарование» в своей мастерской. Тем не менее непробиваемый Коваль постоянно демонстрировал своё могущество – выставлялся, и даже иллюстрировал свои книги – «заставлю подвинуться самих Алимовых».

Поразительно, как он не видел разницы между работами мастеров (тех же Силиса с Лемпортом) и своими. Ну да бог с ним! Как говорил действительно сильный мастер Лосин, «ну нравится ему рисовать – пусть рисует».

Если бы Коваль писал только пейзажи и натюрморты, к нему не было бы особых претензий, но он писал портреты, а это уже выглядело

дилетантской дерзостью. Ну как можно браться за портрет, не зная костяк человека, не умея рисовать руки?! Я ему говорил:

– Не выставляй портретные работы.

А он, тупоголовый:

– Ни х...! Всё выставлю!

Коваль стремился увековечить знаменитостей: Ахматову, Чуковского, Тарковского. Он вообще тянулся к известным людям – отчасти и для того, чтобы потом написать о них мемуары. Бывало, сидим за столом в компании, внезапно Коваль замечает известную личность, тут же встаёт, подходит, перекидывается словами.

– Что, побежал засвидетельствовать своё почтение? – бросает Сергиенко, когда Коваль возвращается. – Пусть сами к нам подходят. У тебя мания величия! А мы что для тебя, люди второго сорта, да?

Понятно, талантливый человек и должен общаться с талантливыми, ведь они подпитывают его творчество (а посредственности обедняют), но Коваль иногда перегибал. Ну не случайно же в «Монохрониках», кроме знаменитостей, он упомянул только тех, кто постоянно был на слуху, и разных скандальных формалистов типа Рабина, Гробмана, Брусиловского, Ю. Алешковского, от которых ничего ценного не останется, с которыми он и виделся-то не больше двух-трёх раз. Такая тонкость. Почему-то в дневниках Ковалья не нашлось места малоизвестным широкой публике, но прекрасным художникам – Монину, Лосину, Перцову, Молоканову, Варшамову, с которыми он годами работал бок о бок. И, кроме Снегирёва, он, гад, не обмолвился ни об одном из отряда детских писателей, о которых эти очерки, а ведь дружил с ними не один десяток лет, и они кое-что сделали в детской литературе. И не упомянул тех, кого натаскивал: молодых талантливых литераторов Александра Дорофеева и Владимира Салимона.

Кстати, и приятелей он особенно ретиво выбирал из числа «своих», причём из самых разных сфер (и как находил?). Он терпеть не мог театры и театральную публику, но приятельствовал с П. Фоменко и М. Козаковым; совершенно не интересовался техникой, но поддерживал отношения с «богоизбранными» инженерами; был далёк от политики, но встречался с «либералами» из «Яблока» (В. Лукиным) и СПС (М. Арбатовой).

Вот как своеобразно Коваль объясняет название «Монохроник»:

«Размышляя над этим словом («АУА»), я спросил некоторого(!) писателя:

– Что такое АУА?

– Агентство улетающих арбузов, – ответил тот.

Возможно, возможно.

А что такое, на ваш взгляд, жизнь человека? (уже обращение к читателю).

По-моему, АУА – и привет!»

И это писал уже старый моховик, маститый писатель, в книге, как я понимаю, для взрослых. Никто мне не докажет, для чего это позёрство, что это крутая проза, ирония и юмор, и идут они от «божественного дара».

И опять-таки не случайно предисловие к «АУА» написал отвратительный литератор Вик. Ерофеев (с якобы «изысканной» прозой, на самом деле извращенческой), мерзкий выпендрёжник и попросту негодяй, которого не уважает ни один серьёзный писатель, а Коваль с ним приятельствовал. Одно название предисловия чего стоит – «Светлая тьма». И так далее: «ошпарили слова... увесистые восклицательные знаки... драйв; в глазах холод, достойный радикального концептуализма... стиль оправдания мира...» (как будто мир нуждается в чьём-то оправдании!). И уж совсем чушь, что проза Ковалья связана узами с Тургеневым. Как раз наоборот – она не в традициях великой русской литературы.

Ещё в юности Коваль безвозвратно «въехал» в Зоценко, а половина его детских рассказов идёт от Сетона-Томпсона – Коваль мне прямо об этом говорил, когда писал «Шамайку» для Р. Быкова (тот так и не поставил фильм, но выплатил три гонорара за одну эту вещь!). Вся беда – в комплексе Ковалья: он, старая телега, всегда хотел быть писателем для взрослых и стоять в одном ряду с нашими знаменитостями, но, когда пытался писать взрослую прозу, у него получалось слабо. Это и понятно – он, дурень, отходил от себя, от того, что ему было дано природой.

К своим картинам Коваль относился как к бесценностям, каждую фотографировал на слайды, а когда И. Раскин нашёл ему покупателя, заломил сотни долларов. Бывало, кто-нибудь попросит рисунок на память, Коваль сразу:

– Поедем в мастерскую, что-нибудь выберешь.

Приезжали, он начинал копаться в сундуке (размером с мало-литражку).

– Вот эту хочешь? Хороша, а, едрёна вошь?! Но её никак не могу дать. Ну никак, хоть убей!.. Ну эту, сам понимаешь, я тебе хрен дам – это шедевр... Может, эту?.. Прямо не знаю. Моя душа в смятении, – он закрывал сундук и говорил ошарашенному гостю: – Знаешь, я тебе в другой раз что-нибудь нарисую.

Всё это выглядело глуповато, ведь большинство художников щедро раздаривали свои работы (и ценные): Монин, Токмаков – да почти все! В. Коновалов вообще никого не отпускал из мастерской без своей картины.

Готовясь к выставке, Коваль просил меня помочь отобрать картины и развесить их. Делать с ним экспозицию было непросто – здесь ему изменяло чувство меры и вкус, мы спорили до хрипоты. Он хотел выставить всё и доказывал мне какую-то ерунду: эта работа, видите ли, ему дорога, потому что с ней что-то связано, та – потому что у него было необычное состояние... Я говорил очевидные вещи: что зрителю наплевать на состояние и на что с чем связано – важен конечный результат.

– Так-то оно так, – слабо сопротивлялся Коваль, и тут же наседал на меня со всей мощью: – Как хочешь, но это я не могу не выставить, едрёна вошь! Ну никак не могу, хоть убей!

Прежде чем выставлять свои работы в ЦДЛ у Б. Космолинского (галерейщика, который выдавал себя за польского дворянина, на самом деле был практичным российским евреем. Собственно, как и многие из его соплеменников – от Тимофеевского до махровой сионистки уродины Новодворской. Такие дворяне!), Коваль предъявлял двенадцать условий: повесить на видном месте, недалеко от смотрительницы зала, чтобы освещение было рассеянным, чтобы с ним соседствовал не кто-нибудь, а Т. Назаренко, чтобы работы огородили, не фотографировали и прочее.

Несмотря на все эти строгости, однажды одну из его маленьких эмалей (обнажённую женщину) всё-таки стащили; Коваль страшно расстроился, напился и весь вечер не мог успокоиться, словно в его жизни случилось что-то непоправимое. А ведь он прекрасно знал художников, которые не очень-то заботились о судьбе своих работ, у которых обворовывали мастерские (у одного даже полностью сго-

рела), и они это переживали достойно. «Ничего, восстановим, – говорили, – сделаем даже получше».

Вполне серьёзно скажу: из всего художнического наследия Ковалья надо выбрать десять пейзажей маслом, пять-шесть (не больше) рисунков тушью и столько же эмалей. Вместе с деревянными скульптурами это будет неплохая экспозиция.

После выставки ехали на машине Ковалья в его мастерскую на Серебрянической набережной (понятно, брали с собой горючее). Как большинство нервных людей, Коваль водил машину, словно чокнутый: метался из ряда в ряд, злился, что ничего не выигрывает... Нельзя сказать, что он был полным «чайником», но и асом его не назовёшь, тем более что в технике он ничего не петрил – его можно назвать «чайником со стажем».

Для меня Коваль в своём творчестве самобытен и значителен только как литератор и только двумя книжками. В детской литературе он в какой-то момент вырвался вперёд, но не настолько, насколько кричат его «толкатели». В. Голявкин вырвался подальше, но о нём почему-то помалкивают. А что говорить о детских рассказах Ю. Казакова, до которого всем плыть и плыть и которого почти не упоминают (Казаков написал мало, но большинство его рассказов – жемчужины).

Коваль начинал с поэтических выкрутасов у Сапгира и Холина (в те годы постоянно цитировал ломовые стихи последнего: «Моча и Г...о», «В переулке около дочка мать укокала»). Потом вслед за ними подался в детскую литературу – писал стихи и песни (типа «Про лилипутов», на которую написал музыку «свой» Никитин); подался в детскую литературу не от привязанности к миру детворы и животных (со школьниками общался только на практике, а, став писателем, перед ребятами выступал лишь однажды, и то по ошибке – готовился выступить перед взрослыми; животных никаких не держал и, повторяю, будучи охотником, убивал вальдшнепов и зайцев, потом их рисовал.) Я вновь ему говорил:

– Тебе на том свете жариться на сковородке.

А он:

– Ни хрена! Бог простит. Учти, я не охотник, а добытчик. Это разные вещи (можно подумать, умирал с голоду).

Как и его наставники по Абельмановке, Коваль пошёл в детскую литературу, потому что в то время только в ней допускалась определённая доля формализма, символов, подтекста. Он и сам это признавал:

– Я писатель, спрятавшийся в детскую литературу. (Значит, был с детьми неискренен, что выглядит не очень порядочно.)

Позднее Коваль вывел для себя спорное руководство: «Нет литературы детской и взрослой, есть литература и есть не литература» (на самом деле – это просто красивая фраза: разница есть, и немалая). Казалось бы, нечто подобное имел в виду и Андерсен, когда ему собирались ставить памятник с детьми и, разглядывая эскиз, он сказал: «Уберите детей, я никогда для них не писал». Тем не менее, великий сказочник писал просто и ясно, а некоторые словесные находки Ковалья дети попросту не поймут. Да он никогда и не думал о детях: свои лингвистические выкрутасы он адресовал взрослой элите – «оригинальничал», по выражению Снегирёва. К счастью, придя в «Мурзилку» к Митяеву, Коваль отошёл от Сапгира и Холина и начал писать реалистические стихи (пару я иллюстрировал), а затем свою лучшую прозу – чистую и упругую.

Коваль дружил с издательствами, ходил на чаепития, рассказывал о задумках, внушал, что его проза гениальна – «посильней, чем у Петрушевской и разных Пьецухов» – и что за неё надо платить соответственно.

– Пробивать рукописи – большая работа, – говорил он мне. – Надо заранее всё просчитывать, подключать разных деятелей, организовывать свой образ, чтобы твоё имя постоянно было на слуху. С издательствами надо дружить, а ты, дурак, никуда не ходишь, и в этом твоя ошибка. Тоже мне скромник! Скромность – верный путь в безвестность, едрёна вошь! (Он-то немало делал, чтобы приумножить свою известность).

Бывало, приходит в ресторан с издателями, идёт через Пёстрый зал мимо друзей, с которыми пьянствует ежедневно и которых издатели тоже прекрасно знают, но с собой не приглашает. И Шульжик, и Сергиенко тоже обмывали книги с издателями, но всегда приглашали друзей. Остальные обмывали только с друзьями, подарив редактору цветы, коробку конфет, а я и без этих подарков – не из жадности, просто боялся, что мой жест расценят как подхалимство; наверняка поступал глупо, но не мог переступить через себя.

К работе писателей-сверстников Коваль относился резко. Мало кого читал (обычно, по его словам, первую и последнюю строку).

– Пьецух хороший парень, но пишет такую х...

О мультфильмах Успенского:

– Слабая драматургия (можно подумать, мультфильмы на его сказки сильнее; видел я про подсолнух – чепуха!).

Яхнина считал ловким компилятором, Кушака – ремесленником, С. Иванова – «маленьким Алексиним», в фамилии Шульжика видел «что-то воровское», считал, что тот вообще ничего не написал. Из писателей нашего цеха ценил только Снегирёва и Сергиенко; ну, вроде и меня. Говорил, во всяком случае. Хотя, думаю, при этом имел в виду мою ценность как собутыльника. Остальных вообще не считал писателями. Кстати, когда заходил разговор о литературе, он вспоминал только великих классиков, при этом беззастенчиво сравнивал их с собой; частенько и у великих находил погрешности (работал под Льва Толстого).

Повторюсь: последние годы Коваль мало кого читал (как и многие из нас, за исключением Мазнина и Мезинова), но, естественно, в институте перелопатил немало классики. Как-то мы с ним, как всегда, потихоньку набирались в Пёстром. Внезапно появился мой друг и неплохой знакомый Коваля – Борис Воробьёв. Накануне Воробьёв читал мне свои последние стихи и один, написанный ещё в студенчестве, – про пиратов. Эта «пиратская» вещь меня потрясла, и я попросил Воробьёва прочитать Ковалю. Воробьёв долго отнекивался, потом всё же сдался. Когда он закончил, Коваль надул губы:

– Так ведь это Киплинг!

– Ну да, – опустил голову Воробьёв.

А я, невежда, словно провалился в чёрную дыру.

Коваль открыл мне глаза на многих литераторов. До него я, идиот, верил всем. Один мне говорил: «Я написал отличную вещь», другой: «У меня попадание в яблочко!» Коваль раскрывал книги этих говорунов, читал вслух пару строк и громил, выпятив губы:

– Слабый текст! Нет напряжения! Нет подтекста! Нет айсберга! На кой хрен это читать!

Когда началась перестройка (точнее, разрушение), литераторы-евреи вышли из Союза писателей и организовали свой – «Апрель». Понятно, первыми туда ринулись Яхнин, Кушак, Мориц и целый рой других. Коваль вступил тоже, и мне сразу вспомнилось его стихотворение «Когда-то я скотину пас...» (а у Мориц – «Ненавижу вороньё...»), а у Окуджавы – «Русский Иван приедет на танке...»). Такое не мог на-

писать истинно русский писатель. И ещё вспомнился Пушкин – «И не навидите вы нас. За что ж?» Правда, позднее Коваль сказал мне:

– На кой чёрт я пошёл в этот «Апрель»?!

В те годы многие писатели быстренько «перестроились» и занялись прибыльным делом: одни взялись катать детективы, другие сколачивали собственные издательства и печатали конъюнктурные книги, третьи ударились в бизнес (Холин продавал автомашины, Ватагин – квартиры, Г. Поздняков открыл кафе, Ю. Вигор – книжную лавку).

Как-то выпивали с Ковалём в ресторане ЦДЛ, к нам подсаживается Кушак (он к тому времени стал трезвенником и открыл издательство «Золотой ключик»). Коваль обращается к Кушаку:

– Ну, теперь ты поэт или кто?

– Бывший поэт, – промямлил с усмешкой Кушак.

– Ну вот, Лёньк, теперь стало ясно, кто писатель, кто издатель, кому один х..., что делать. Ты ведь, Юрк, и о пионерах писал, а мы с Лёнькой никогда о них не писали. На кой хрен это надо...

В другой раз Кушак, встретив нас, когда мы выходили из ЦДЛ, бросил мне:

– Спаиваешь классика?

На улице Коваль разразился:

– Му...к Кушак. Не понимает, что мы с тобой единомышленники. Что ты мой друг. Это как постоянная, устойчивая величина. Его зло берёт, что мы пишушие, а он-то функционер.

Как-то Мезинов, который работал в издательстве «Мистер Икс», где издавал эротическую литературу, предложил нам с Ковалём писать сексуальные рассказы.

– Заплатим, как Пушкину, по высокой статье, – объявил. – Ты (обращаясь ко мне) в своих искренних рассказах приближаешься к сути дела, но никак не можешь перейти внутренний барьер, ограничитель, некоторое стеснение. А ты (обращаясь к Ковалю) просто запиши свои устные сексуальные истории (такая серия у Коваля была).

– Если заплатишь, как Пушкину, запишу, – заржал Коваль.

Само собой, за это предложение мы не ухватились, и дальше разговоров дело не пошло. Я и не пытался перейти «внутренний барьер» (на этот счёт имею некоторые принципы), а Коваль тогда заканчивал «Сур-Вьер», и ему было не до рассказов.

Коваль считал, что он, как гений, вправе развивать чужие темы, которые, на его взгляд, он может сделать лучше. Так, он спокойно перекроил «Кошку» Сетона-Томпсона, взял «летающую голову» из «Барона Мюнхаузена», и куски у Зощенко («Борьба борьбы с борьбой») – один к одному заимствованы у него), и «Чайник» – перепев Олеси, и в «Куролесове» ныряние в лужу и выныривание – из Аксёнова. Он без зазрения совести мог слямзить у литератора удачную реплику, словесную находку – в приятелях он видел подмастерьев, которые делают заготовки для него, мастера. Однажды мне говорит:

– У тебя в повести «Все мы не ангелы» (не опубликована) герой советует сделать чучело из своей любимой и везде таскать с собой. Такую тему, дурак, проговорил вскользь! Смотри, что я сделал, – и он протянул мне рассказ «Красная сосна».

Как-то я сказал, что пишу об экологии, о том, «какая была бы планета без людей: зелёные леса и луга, голубые озёра. Правда, кто бы тогда оценил эту красоту?»

– О, это я у тебя украду! – засмеялся Коваль. – Как хочешь, но украду! (Не знаю, использовал или нет, но хорошо, что прямо сказал «украду», некоторые это называют «позаимствовать»).

– Коваль срывает цветы в чужих палисадниках, – сказал Мазнин, имея в виду не только чужие мысли, но и жён друзей.

Как-то сижу в компании еврейских поэтов И. Фаликова и Д. Чкони; подходит сильно выпивший Коваль и, демонстрируя свою авторитетную силу, ни с того ни с сего:

– Вы оба бездари! Занимаетесь не своим делом! А вот с вами действительно талантливый человек. И чего ты, Лёнька, дурак, с ними сидишь?

Я уже говорил: Коваль всегда завывал меня, да и в тот момент главным для него было лягнуть поэтов – обоих он терпеть не мог. Когда дело касалось литературы, он громил и своих соплеменников, ну а мне нарочно делал рекламу, потому что меня никто не знал (как взрослого прозаика). Однажды, прочитав мой рассказ «Заколдованная», позвонил ночью:

– Ну ты, чёрт, довёл меня до слёз... Наташка считает тебя самым печальным писателем. (Наверняка жена и подсунула ему рассказ, сам-то он вряд ли потратил бы время на чтение.)

А свои книги Коваль мне подписывал: «...самому смешному, а следовательно – истинному человеку в мире», и «...самому печальному писателю на свете» и прочее. Вот и разберись, каким он считал меня на самом деле – «самым печальным» или «самым смешным», «пишущим, как он» или вообще никаким. Кстати, по поводу «самого печального» я напомнил ему:

– Когда Есенин прочитал свои стихи императрице, она сказала: «хорошие стихи, но очень грустные». Что ответил поэт? «Такова вся Россия!»

– Понимаю императрицу, – хмыкнул мой друг. – Есенин скучноват. Над моими изысканными стихами она посмеялась бы. И возможно одарила бы орденом.

Теперь-то я знаю, что к оценкам друзей (да и критиков) прислушиваются только начинающие авторы, а для зрелых литераторов эти оценки – пустой звук, ведь уже каждый сам себе судья. Потому, уверен, и на мои оценки друзья плюнут.

Беспорно, Коваль был незаурядным, разносторонне талантливым, и я не меньше других ценю его лучшие качества и лучшее из того, что он сделал, но не собираюсь утаивать и худшее.

– Твой «Суер-Выер» – антирусский роман, – сказал Мазнин Ковалю, когда мы выпивали в сильнейшем составе (ещё был Мезинов). – И евреи его раздули... Чего скрывать, тебя евреи слишком превозносят.

При всех нас они вдрызг разругались. Они и раньше пикировались, обменивались уколами, но обычно Коваль гоготал:

– Напиши об этом, едрёна вошь. Я не против. Напиши!

Но на сей раз Коваль разорался, как торгаш на рынке:

– И чего вы сюда меня пригласили?!

Ничего себе заявочка! Его никто не звал. Сам подсел. И должен считать за счастье, что сидит с друзьями. Совсем поплыл от своего величия. Обозвав Мазнина «завистником и бездарем», он долго сопел, пытел, отдувался. Это тяжёлое оскорбление не соответствовало действительности. В самом деле, многие стихи у Мазнина слабые, но ведь есть несколько отличных, и потом у него другой дар – он незаурядный преподаватель, и лучше его литературу мало кто знает. А завистник – совсем неточность, это Коваль выпалил сгоряча, лишь бы побольней уколоть старинного (ещё по институту) товарища. Именно Мазнин, будучи редактором «Малыша», пробивал первые

книжки многих детских писателей (в том числе и Ковалёв), и сколько он ухлопал времени на взрослых поэтов и прозаиков?! Я не знаю в ЦДЛ человека, который дал бы Мазнину больше, чем он ему. И уж совсем гнусно выглядит позднее брошенная Ковалём фраза о Мазнине:

– Вот что значит полукровка!

Кстати, в конце той постыдной ссоры Мазнин сдрейфил, пошёл на попятную, стал просить прощения у Ковалёв. А напрасно, ведь был абсолютно прав (спустя пару дней он это понял и уже требовал сатисфакции).

– Коваль не любит своих героев, – говорил Мазнин, – он любит себя. Пишет и как бы смотрит в зеркало.

Я полностью согласен с Мазниным и привёл его слова, потому что сам не смог бы сформулировать лучше оценку романа и самолюбования Ковалёв в «Шамайке», «Лодке», «АУА». Я ему по-дружески говорил:

– Убери эти строчки. Ты что, страдаешь нарциссизмом?

А он:

– Ни фиги! Пусть останутся.

Каждый раз, написав новую главу «Суера-Выера», Коваль звонил мне, мы встречались и за выпивкой устраивали «чтиво». Читал Коваль блестяще. Всё, что я потом говорил, можно свести к одному слову: чепуха.

– На кой чёрт тебе это? Ты вошёл в литературу «Чистым Дором», «Недопёском». Это прекрасные вещи, они навсегда останутся в литературе. Не порть свой образ, не выходи из него.

– Ты не прочувствовал, едрёна вошь, – бурчал Коваль. – Это гениальная, божественная проза.

Что обидно, к «Суеру» Коваль пришёл через «Лодку», несмотря на то, что «Суера» начал писать ещё в институте в соавторстве с Мезиновым (и, кстати, нигде не упомянул об этом, как Маршак с «Чижом» «забыл» о Хармсе, а Заходер – о Милне). «Лодку» Коваль писал (по его словам) десять лет, и, насколько я помню, в первых вариантах не было ни плавающих покойников, ни летающей головы, ни желудей, когда героя зацеловывает Клара (это он вставил позднее). Повесть прекрасная, здесь и говорить нечего, но последние вставки явно лишние, они попросту выпендрёж.

Что для меня необычно – Коваль начинал с модернистских стихов; затем, не без наставлений Митяева, начал писать прекрасные

рассказы: «Алый», «Картофельная собака»; после чего написал, на мой взгляд, свои лучшие вещи: «Чистый Дор», «От Красных Ворот», «Недопёсок», очерк о Шергине, «Лодку», но под конец жизни вновь ударился в формализм.

Как-то я на своём «запорожце» подвёз убежавшего от хозяина жеребёнка и написал об этом рассказ.

– У меня тоже есть рассказ о жеребёнке, – заявил Коваль.

Позднее я прочитал этот опус: «...клеверище прошуршивало... О чём говорить с клевером? Скажешь глупость... пронзительный жеребёнок... Как жизнь? – спросил мужик. – Да вот, иду к станции, – ответил я». И это он называл «божественной прозой». Сказать, что это плохо, – отвесить Ковалю комплимент. Такие глупые выкрутасы недостойны писателя, который написал «Чистый Дор».

Коваль заслуженно слыл мастером формы, и в лучших работах он это подтверждал. Но давно известно, что форму подсказывает содержание, а когда всё делается ради формы, страдает содержание. Читая свои вещи, демонстрируя знание языка, Коваль говорил:

– Каждый рассказ должен быть стихотворением в прозе.

Именно так и выглядят его сюжетные вещи, но короткие рассказы – всего лишь домашние заготовки, их Шульжик удачно называл «стихотворениями в позе» и добавлял:

– Я таких могу написать сотню за вечер.

Коваль был необыкновенным человеком – это яснее ясного (иначе мой очерк о нём так не распух бы). Самые привычные вещи он расцветивал необычным взглядом (умел выбрать необычный угол зрения и связать эти вещи с остальным миром). Это чувствовал каждый с первой минуты общения с ним. Как-то мы сидели в ЦДЛ. За соседним столом потягивал вино молодой литератор, какой-то студент литинститута. Он долго пожирал Коваля глазами, потом подошёл и обратился к нему с вопросом, как писать.

– Бери сто грамм, сейчас объясню, – засмеялся Коваль.

Парень вернулся с водкой, и Коваль быстро выдал:

– Пиши, что видишь, но представь, что там твоя душа... Ну давай, прочитай что-нибудь своё. Последнюю строку. На чём ты поставил точку. В последней строке вся суть произведения, поверь мне.

Однажды Коваль позвонил мне необычно рано, часов в шесть утра.

– Давай встретимся!

– Что случилось? – спрашиваю.

– Ничего. Просто обняться. Ну и, понятно, посидим под небом (открытое кафе на Никитской).

Ну кто, кроме Ковалья, мог так сказать?

Много раз Коваль говорил мне:

– Надо тебя окрестить. У меня есть знакомый батюшка в церкви на Соколе (повторяю: Коваль в какой-то степени стремился отгородиться от своих еврейских корней и принял православие).

Коваль подарил мне крестик, но я всё оттягивал момент приобщения к религии, говорил, что окончательно к Богу не пришёл, «не пробился», – мямлил что-то невразумительное.

– Не мне, а тебе в аду жариться на сковороде, – смеялся Коваль. – Учти, я свои грехи замолил, а ты, е... мать, никак не хочешь свои замолить. Ну никак. Я, конечно, за тебя походатайствую перед апостолами, но здесь, сам понимаешь, мои возможности крайне ограничены. Посему, пока не поздно, пойдём в церковь. Слушай, что я говорю...

Старина Коваль был моим другом, единомышленником и постоянным собутыльником. Не припомню случая, чтобы после моего звонка он не отложил бы свои дела и не встретился бы со мной. И, когда бы ни позвонил он, я спешил к нему на встречу. Да, собственно, последние годы нам и созваниваться было не нужно – расставаясь, мы просто оговаривали время встречи на следующий день.

Обычно встречались в ЦДЛ, а когда его летом закрывали – в открытом кафе у Никитских Ворот. То кафе представляло собой обычную забегаловку на четыре столика под деревьями и палатку, где наливали водку, давали горячие сосиски и сигареты. В летние дни кафе пустовало, ну разве что два-три интеллигентных алкаша или влюблённая парочка восседали на стульях. Мы приближались к шестидесятилетнему возрасту, но не сдавались – жёстко отзывались на все события, поносили нововведения в ЦДЛ и новых русских и, само собой, обсуждали каждую проходящую женщину. Те наши выпивки в кафе «под небом» – последнее, что я вспоминаю о друге.

Только два раза мы с Ковалём не встретились (по моей вине), и теперь, когда Ковалья нет, я сильно жалею об этом. Первый раз он позвонил из Малеевки.

– Приезжай, а то и поговорить не с кем. Переночуешь у меня.

– А собак с кем оставляю? Без них не могу приехать. А с собаками, сам знаешь, нельзя, да и они плохо переносят дорогу.

Через час он перезвонил:

– Приезжай! Договорился. Сажай Челкаша и Дыма в свою машинешку и приезжай.

– Юрк, говорю же тебе – собаки плохо переносят дорогу. Дым-то ничего, а Челкаш, сам знаешь, совсем старьёй. До своего участка-то два-три раза останавливаюсь, вывожу его отдышаться, а тут Малеевка!

И чего не поехал, идиот? Ну вышел бы с собаками лишних два раза.

Спустя года три-четыре я не поехал с ним на Нерль. Его машина была в ремонте, и он просил отвезти его в деревню.

– Пока едем, поговорим, – уговаривал меня. – Сам знаешь, наши с тобой разговоры – существенная часть нашей жизни.

Причина у меня была уважительная: мой старый драндулет совсем разваливался, и без мелкой поломки я редко доезжал до своего участка (70 км), а тут предстояли 250 км только в один конец, но всё-таки рискнуть стоило. Ну сломались бы, ну дотянули бы нас на тропе – лишнее приключение даже скрасило бы поездку, ведь стояла отличная погода, а общение с Ковалём всегда было необыкновенным.

Теперь-то я отправился бы с ним и старым Дымом даже пешком. И не только на Нерль, а и дальше.

«ТАЁЖНЫЙ ВОЛК»

Неподражаемый друг мой Геннадий Снегирёв на одной фотографии, молодой, в экипировке таёжника, стоит у лодки; за плечом – ружьё, в руке – спиннинг; на небритой физиономии – ухмылка. На другом снимке Снегирёв – старый, обрюзгший, мордатый, с мешками под глазами и улыбкой во все... три зуба. Хотя какой улыбки?! Он никогда не улыбался, только скалился. И, само собой, никогда не смеялся, поскольку вечно пребывал в нервной раздражительности (у него было только два выражения лица: сумрачности и ожесточения). От него, безрассудного, опасного чудака, все постоянно ожидали какой-нибудь выходки. И зануда он был, каких поискать, – всех чихвостили, одёргивал – так что дружба с ним являлась сплошной мукой. В лице Снегирёва было определённое благородство, но оно никак не про-

являлось; наоборот – он имел вид бомжа, замашки полоумного, словарь уголовного.

Со Снегирёвым я познакомился – ужас как давно – полвека назад, в середине пятидесятых годов, в период скитаний по Москве в поисках жилья и работы (мы с ним сразу сошлись на любви к гончаровскому «Фрегату Паллада»).

Внешне Снегирёв от меня, бродяги, мало чем отличался (выглядел таким же оборванцем), но – кто бы мог подумать – уже достиг невероятных высот: препарировал чучела птиц в Зоологическом музее и страшно гордился, что, бросив школу после шестого класса, несмотря на отсутствие полноценного образования, уже издал книжку о животных (как мне казалось, это была аккуратная, прямо-таки дистиллированная проза с подтекстом-головоломкой).

Он жил у трёх грохочущих вокзалов у первой жены, взбалмошной особы, которая свою грязную, захламлённую квартиру называла «богемным клубом». Поскольку я не подходил под категорию богемных, но прилепился к Снегирёву, она считала меня чем-то вроде балласта, чёрного спутника их семьи и, по-моему, не знала, как от меня отделаться (она всех мужчин делила на «с полётом» и «без полёта»; Снегирёва считала «с большим полётом», а меня – «вообще не способным летать»). Отношения у супругов были диковатые. Как-то прихожу, а они составляют списки, кто больше имел любовных связей – вот сумасшедшая парочка!

– У меня в два раза больше! – торжествующе объявляет жена Снегирёва, дурёха.

Видимо, Снегирёв не пережил такого позора, потому что вскоре разошёлся с женой-блудницей, но к этому времени выпустил ещё пару книжек и от Союза писателей получил квартиру на Малой Грузинской.

Снегирёва считали шизиком, человеком, которым движет таинственная болезнь и он находится у неё в полном подчинении. Подобный образ нашего героя не смущал, наоборот – он постоянно раздувал свою славу «чудака с большим приветом». К примеру, корчил из себя законченного алкаша и сумасбродного наркомана; врывался в Детгиз и, запыхаясь, бормотал молодым редакторшам:

– Старухи, налейте стакан!

Его успокаивали, но он морщился, хлопал дверью; в редакции шептались:

– Гений! Гений!..

Снегирёв то и дело придумывал всякие мифы: рассказывал странные, маловероятные истории вроде той, как он в комнате устроил аквариум: зацементировал пол и напустил воды, но перекрытия не выдержали, и вода затопила нижнюю квартиру. Ему предстояло раскошелиться на нешуточный ремонт, но, когда пришли из жэка подсчитывать ущерб, выяснилось, что в затопленной квартире проживала директор антикварного магазина, которая сильно проворовалась. Ну и, понятно, Снегирёва, не только освободили от ремонта, но и дали денежную премию «за содействие в раскрытии злостного преступления».

С годами ловчила Снегирёв всё больше входил в образ сумасшедшего, даже через знакомого психиатра умудрился выбить инвалидность третьей группы и пенсию.

– Лишние деньги не помешают, – объявил мне, моментально справляясь со своим таинственным недугом. – Но главное, не забребут, когда поливаю власть.

Вот так. Такой расчёт, такая хитрость. Что касается власти – он только и думал, как бы ей насолить, хотя та власть печатала его, как никого другого (у него были миллионные тиражи), давала ему квартиры, выделяла стипендии, оплачивала командировки.

Однажды звонит:

– Приходи, дело есть!

Дверь мне открыла совершенно голая девица с полусонным взглядом. Я попятился, подумал, ошибся квартирой, но нагая барышня повернулась, вильнула задницей и спокойно бросила:

– Проходите, Гена вас ждёт.

Снегирёв сидел на шкафу в халате и курил кальян – трубку величиной с саксофон. Увидев меня, слез со шкафа и с наигранной бодростью протянул сосуд с зельем:

– Затянься!

– Да ну тебя к чёрту! – отмахнулся я. – К чёрту!

– Чего ты заладил! Затянься, говорю. Лёгкая травка-дурка.

Я затянулся.

– Ну как? – спрашивает Снегирёв.

– Никак. Немного в голову ударило, и всё.

– Вот-вот. То, что надо. Картины красивые видишь?

– Ничего не вижу.

– Сейчас увидишь. Только пригуби вот это, – он протянул одеколон «Кармен». – Чукчи его называют «коньяк-баба».

– Вот ещё! Как это можно пить?!

– А ты попробуй! – с похмельной настойчивостью повысил голос Снегирёв. – Евтушенко – и тот пил.

Я глотнул и поморщился. А Снегирёв, довольный, развалился в кресле и обнял девицу, которая, надо отдать ей должное, уже что-то накинула на себя.

Повторяю, подобные штучки Снегирёв выкидывал, чтобы произвести определённое впечатление и упрочить слух о своём помешательстве, но, забегая вперёд, скажу: в конце концов он, голубчик, доигрался – под старость в самом деле немного спятил: – всерьёз возомнил себя экстрасенсом и шаманом.

Что в Снегирёве действительно выглядело странным, так это двуликость, ведь шокирующие выходки он позволял себе только среди друзей, а на собраниях и в редакциях вёл себя, ушлая лиса, как надо, нормальнее многих. Я не раз был свидетелем его перевоплощений: только что размахивал руками, цедил блатные словечки («шакал рваный!», «замочу суку!»); иногда выдавал и длинные матерные выражения – минуты на две), и вдруг – спокойный голос, почти интеллигентная речь. (Почти – потому что слово интеллигентность к нему, расхлябанному, не подходило ни с какого бока, да и он терпеть его не мог и слыл борцом с интеллигентами – ненавидел в людях то, чего ему не хватало.) Кстати, он носил обтрёпанную одежду не столько от безденежья, сколько ради протеста против всякой эlegantности, эстетства, а в застолье частенько устраивал свистопляску – в пику «разным помешанным на правилах этикета». Эти перевоплощения были не отдельными всплесками, они являлись его образом жизни.

Кто-то из художников сказал:

– Снегирёв как Мандельштам. Тот тоже слыл чокнутым, но галоши в дождь надевать не забывал.

А. Барков и вовсе считал его «пробивным»

– ...Пробивал свои рукописи дай бог как!

Женившись вторично на серьёзной женщине, Снегирёв перешёл на менее зрелищные номера: продавал друзьям настойки – как бы из золотого корня.

– Вылечивает всё, – говорил, – от шизухи до импотенции.

А мне, мошенник, признавался:

– Главное – внушить. Наливаю воды, кладу любую ветку – и готово: помогает. Всё вот от чего, – он стучал по голове.

И действительно «помогало» – об этом говорили Я. Аким, А. Митяев, художник В. Перцов.

Позднее Снегирёв «освоил» более сложное врачевание и уже корчил из себя лекаря широкого профиля. Когда у меня открылась язва желудка, он, кретин, взялся за лечение современным методом: выпучив глаза, стал махать перед моим носом руками и, похоже, сместил моё энергетическое поле; во всяком случае, стены вокруг меня покосились. Не успел я прийти в себя, как он врезал мне в живот. Я скорчился от боли, а он авторитетно заявил:

– Теперь пройдёт!

Но язва не прошла. Зато в другой раз он спас меня от радикулита: обхватил сзади под рёбрами, приподнял и, встряхнув, повалил на пол. Я ушиб колено и локоть, но боль в спине прошла.

Прочитав мои первые очерки, Снегирёв похвалил их и, как бы активизируя мои способности, забубнил:

– Пиши, это доброе дело... Ты как пишешь? Я начинаю и не знаю, чем закончу, куда вынесёт (прямо как Бунин). Главное – с самого начала взять верный тон, а дальше всё может повернуться неизвестно как, как Богу угодно... Неси свои рассказы в Детгиз. Они там все суки, всего боятся, слишком советские (он-то всегда был на позициях диссидентов. Как и Коваль, кстати). Но меня печатают. И ты отнеси им рассказы, скажи, мне понравилось. Если надо, напишу рецензию (я не просил, сам предложил, и это звучало многообещающе).

Я пришёл в издательство (ещё задолго до того, как меня стали печатать в «Мурзилке»), оставил очерки и передал слова Снегирёва, но когда через месяц явился вновь, меня встретили усмешкой:

– Снегирёв сказал, что не знает такого.

Вот так обстояли дела, так у меня сразу выбили почву из-под ног. Кто-то нормальный, кто-то ненормальный, но этот трюк Снегирёва выглядел гнусовато – да что там! – он оказался редкостным гадом, просто плюнул мне в душу. Естественно, он не увидел во мне потенциального конкурента – ещё чего! Какой там конкурент! Он уже известный, а я всего лишь ученик. Просто на кой чёрт ему кому-то покровительствовать, за

кого-то ручаться, брать на себя ответственность; но какого хрена послал меня в издательство? Спьяна, что ли? При встрече он, хитрюга, жалко юлил, выкручивался, изображал почётное отступление: ссылался на «затмение», «разыгравшуюся шизуху», «напился с Глоцером» (мерзкий тип из радиокомитета), молол ещё что-то, но, понятно, чем многословней ложь, тем меньше в неё веришь. В конце концов он бросился к столу, на каком-то листке написал хорошие слова о моих очерках, «Завтра отнесу», – сказал (и вроде действительно отнёс), но трещина между нами долго не затягивалась.

Снегирёв выпивал со всеми подряд (в их районе его знала каждая собака). У него на кухне можно было встретить профессора и водопроводчика, актёра и нищего – и эта кутерьма не затихала, один персонаж сменял другого, соседи называли его квартиру «проходной двор». По словам Снегирёева, он был знаком со всеми знаменитостями и даже с ворами в законе. Только что не говорил, что дружит с Папой Римским. А на стенах его комнаты висели фотографии: он с патриархом, с Паустовским, Маршаком, Чуковским... И снимки: он на верблюде, на олене, у собачьей упряжки, у чума, у костра...

Снегирёву давали командировки в Туву, на Командорские острова, Камчатку; он много знал о таёжных рыбаках и охотниках и для нас был вторым Пржевальским. Всех, кто напрашивался к нему в спутники, он безжалостно отвергал.

– Тайга это вам не Подмосковье. Вас там мошка сожрёт... Таёжные реки порожистые, чуть оступился, всё – отдал Богу душу... Вон Коваль всё липнет ко мне, навязывается. Говорит, возьмём направление от Михалкова, закажем вертолёт, наймём катер. Хочет поехать, как начальник. Не понимает, осёл, что там начальство не любят. С ним говорить никто не станет... Пусть лучше сидит в своём Переделкино и не рыпается. Тоже мне кореш!..

В самом деле, Коваль частенько выпендривался, катал в командировки с шиком, но и Снегирёв кривил душой – будучи в Игарке, остановился не в стойбище, а в гостинице, в одном из двух люксов.

В быту я не раз замечал – Снегирёв не может вбить и гвоздя. Как-то приехал к нему на своём драндулете «москвиче», который заводился, только когда его разгоняли (я всегда ставил машину на возвышении, чтобы легче было толкать). После разговора о том о сём мы решили сгонять в мастерские художников.

– Давай разгоним, – сказал я Снегирёву, когда мы вышли из дома, – я на ходу вскочу и заведу. Налегай изо всех сил!

Открыв дверь, я навалился на машину, но она еле сдвинулась.

– Толкай сильнее! И быстрее перебирай копытами! – крикнул Снегирёву, но «москвич» с трудом протащился пару метров.

«Что за чертовщина? – думаю. – Под горку вдвоём не можем разогнать!» Обернулся, а тюфяк Снегирёв стоит, полуобернувшись к моей драгоценной колыхаге, стоит в балетной позе: пятки вместе, носки врозь – и упирается в багажник двумя пальчиками. Такой ключевой момент. И это таёжный волк! Я крепко выругался и сразу вспомнил, что и раньше замечал полную неумелость, нерукастость своего друга. Он имел широкие плечи и часто бахвалился, что в юности занимался боксом, но внешне выглядел совершенно неспортивно, как-то квадратно; он не ходил, а двигался рывками, как заводной истукан, на нём даже одежда висела мешковато, словно под ней не мышцы, а деревянный каркас. Позднее профессор Лебедев, с которым Снегирёв был в Туве, сказал нам с художником Лосиным:

– Генка показывает фотографии: он на олене, на лошади, рядом с убитым медведем – всё это липа. Он ни на что не способен. Он словно сделан из досок. Абсолютно беспомощен в тайге. Я с ним намаеялся. Больше ни за что не поеду. (Я сразу вспомнил воспоминания лётчика, который летал с Хемингуэем над Испанией – он называл писателя не иначе как «фанерным героем».)

Несмотря на это безрадостное известие, Снегирёв, несомненно, как никто, знал животных (не зря общался с таёжниками), его захватывающие истории мы слушали, разинув рот, но в этих историях было немало выдумки.

Вслед за редакторшами и некоторые литераторы осторожно называли Снегирёва гением, а его прозаические миниатюры – чем-то вроде бриллиантов, в которых автор экономно расходует художественные средства. К чести моего друга, надо признать – подобные слова он решительно отметал.

– Какой на х... гений! – морщился. – Гениев сейчас нет и долго не будет... А то, что Паустовский обо мне написал в предисловии... это я сам написал... Был у него в Тарусе, мы распили бутылку, он сказал: «Пиши сам». Я и написал, а он подписался.

Гением Снегирёва называли особо душевные, но не слишком сведущие в литературе люди. Некоторые знатоки, вроде поэта Мазнина,

считали, что его работы – обычные зарисовки природы, наблюдения натуралиста, где полно информации, но начисто отсутствуют образы; что Снегирёв подражает Пришвину и Бианки, только у первого – философия, а у второго – сюжет, у Снегирева ни того ни другого не найти; что язык его слишком убогий, как у неандертальца, – из двухсот пятидесяти тысяч слов словаря Даля Снегирёв обходится двумя сотнями, и те выдаёт, как азбуку Морзе.

– Русский язык богат красками, и только идиот использует короткие фразы без прилагательных, наречий, – говорил Мешков, тоже умудрённый в вопросах литературы. – Чего бояться длинных предложений, надо только умело ими пользоваться.

– Через два десятка лет Снегирёва никто читать не будет, – заявлял Мазнин.

– Снегирёву тексты отделявают редакторши, – говорил всезнающий А. Барков, – иначе они выглядели бы бледно.

В защиту Снегирёва скажу: несмотря на бедный арсенал слов, детали в его коротких рассказах всё-таки вырисовывают чёткое изображение, достоверность; он безусловно самородок – мастерски, вроде бы с небольшим усилием, малыми средствами создает экспозицию. Не знаю, как у него, чёрта, это получается, но в его прозе чувствуется пространство (прямо по Гоголю – «за словами открывается пространство»). Другое дело – где нравственность? Что за культ охотников? И как он, молодчик, не заметил варварское истребление тайги и зверья?! Творческий человек не может спокойно смотреть на то, что происходит с его страной, не заявлять о своей позиции – мы все в ответе за то, что творится вокруг нас.

Одно время в Детгизе перестали издавать многих прозаиков нашего поколения (как бы случайно – всех русских). Издавали только Кушака, Яхнина, Ковалю. У некоторых писателей в том издательстве вообще не вышло ни одной книжки, в частности, у Цыферова и А. Иванова. А выбора не было; в «Детском мире» издавали только дошкольную литературу, а в «Советской России» – юношескую. Пишущие для подростков оказались в трудном положении. В конце концов они подписали письмо (составил Мазнин) в Комитет по печати с жалобой на редакторов Кантора, Арона, Либет. Мы со Снегирёвым тоже поставили подписи; Снегирёв хотел «вставить клизму власти», я в основном руководствовался обидой за Цыферова. Когда

начался скандал, Коваль (нет чтобы хотя бы промолчать) нахраписто отчеканил нам:

– Я не дам Карла и Лёлю в обиду. Я буду с вами бороться (со своими товарищами! – ну не подлец?)

Снегирёв поступил не лучше. Он увёртливо выдал в издательстве двойную ложь:

– Я был пьян. Не помню, что подписывал.

Но, как Мазнин узнал позднее, он, негодяй, вспомнил всех, кто подписывал(!) – приложил нас мордой об стол. Такая у него была подвижная мораль, такие он совершал перебежки, виражи. После того случая у него сразу вышло подарочное издание, а нам, подписантам-бунтарям, всё вышло боком – нас ещё лет десять не печатали.

До пенсии Снегирёв выпивал прилично. Бывало, встречу его в ЦДЛ, он сразу:

– Как думаешь, сколько во мне сидит?

– Стакан.

– Балда! Пол-литра не хочешь?! (Он явно преувеличивал).

– Ну уж, – хмыкал я. – Ты свалился бы. А так идёшь, как по струнке, и взгляд осмысленный.

– Не веришь? Иди спроси у... (он называл какой-нибудь талантище, с которым поддавал). – Мы ж немного попели (это он-то, которому медведь на ухо наступил!). Знающие люди говорят что? Почему на Руси, выпивая, поют? Чтоб хмель выходил вместе с песней, понял?! (При сказку «знающие люди» он употреблял как шаманское заклинание.)

В последнее посещение ЦДЛ (незадолго до «реформ») Снегирёв наклюкался вдрабадан – так, что опрокинул стол, за которым мы сидели с молодыми литераторами. Он, старый зануда, и до этого печального момента вёл себя безобразно: орал, пулял матом, всех одёргивал – портил нам вечер, но, тем не менее, молодые люди взирали на «классика» с благоговением. Ну а после того, как он рухнул на стол и вместе с бутылками и закуской полетел на пол, мы, старики, начали его отчитывать:

– Давай, мол, кати домой! Хватит буяннить! (Мы сильно расстроились из-за загубленной выпивки).

Но странное дело – молодые люди стали смотреть на нас с укором, а их уважение к Снегирёву многократно возросло; они как бы

говорили нам: гений имеет право на любые поступки, а вы, похоже, ему просто завидуете.

О сподвижниках резкач Снегирёв отзывался бесцеремонно и круто, только что не бил их кувалдой:

– Берестов? Слишком литературный. Его не интересует жизнь людей, ему на всё наплевать...

– Толмаков (художник) из кожи лезет вон, хочет быть оригинальным, дурак...

– Козлов? Не сказки, а пастила. Малиновый звон запутался в оранжевых яйцах слона...

– Сапгира и Холина надо замочить. Они же были надсмотрщиками в лагере. И подбирают дружков по национальности. Дурь! Ну мой отец был евреем, и что?! А я православный. Главное – язык, на котором говорит и мыслит человек. (Думаю, дело не только в языке, надо ещё пропитаться русской культурой).

– Алексин – гнида, коммунист... Вылизал задницы всех секретарей горкома. Я ему говорю: «Ну, ложись перед ними на пол и распластайся звездой...» Алексин и Михалков – дельцы от литературы, им главное – ордена, заграничные поездки. Начальники!..

– Устинов. Хороший художник, но работает под дурачка, думает, не видно...

Естественно, всё это он бубнил за спиной главных героев – такой был смельчак. Ну а ко всем незнакомым литераторам был нетерпим, при первой же встрече выискивал у них недостатки и петушился по каждому поводу. Написав это, чувствую – все злые духи из меня вышли, остались одни добрые. В заслугу Снегирёву надо причислить то, что он никогда не выпячивался, не лез во власть, а выступая (например, на выставках), был лаконичен:

– Давно здесь не собиралось столько хороших людей. Предлагаю закончить выступления и всем пойти выпить. Там и договорим...

В середине восьмидесятых годов писателям для застройки выделили участки в Истринском районе. Снегирёв не взял (у него был дом в деревне), а я взял. Место было болотистое (куда же ещё писателей запихнуть – пусть осушают; другое дело – члены ЦК: тем пожалуйста – в сосновых борах, на берегу Москвы-реки); на моём участке то и дело появлялись гадюки – с ними воевал соседский кот (и всегда побеждал). Снегирёв сказал мне:

– Не вздумай убивать гадюку! Приползут другие – отомстят как пить дать.

– Не верю, – хмыкнул я. – У Брэма ничего не написано.

– Ты Брэма читал, а я со знающими людьми общался, – вскричал Снегирёв. – Но, если цапнет, сразу пей кагор. Две бутылки. И собак своих пои.

Повторюсь, Снегирёв немало знал про животных (здесь он был мастак) – его устные рассказы о том, как молодые бегемоты играют с хвостами крокодилов и те их не трогают (боятся многотонных мамаш) или как совокупляются киты и осьминоги, до сих пор пересказываются в компаниях как анекдоты. Но дома Снегирёв никогда никакой живности не держал – такой любитель животных. Ну и, понятно, Снегирёв имел немалые знания в области растительного мира. Когда я решил посадить на участке ёлки, он дал мне дельный совет:

– Прежде чем выкапывать дерево, пометь, какой стороной оно стоит к солнцу, понял? Потом так и сажай. Иначе не приживётся. Я знаю, что говорю.

В семидесятых-восьмидесятых годах чета Снегирёвых зажила припеваючи: они получили большую квартиру в Астраханском переулке, их дочь удачно вышла замуж (оба хорошие художники), Снегирёв каждый год издавал несколько книг (за одну получил диплом Андерсена, но не задрал нос), Литфонд постоянно давал ему длительные командировки, выписывал безвозмездные пособия (за ними и за гонорарами ездила его жена, «чтобы Генка не пропивал деньги»). Он немало получил от коммунистов, но, как я уже говорил, то и дело костерил их. Еще когда жил на Малой Грузинской недалеко от зоопарка, частенько цедил:

– Коммунисты довели зверей до голодухи. По ночам они воют – ужас! А птицы подлетают к домам, воруют жратву с балконов.

С перестройкой, как и многие из нас, оказавшись на мели, Снегирёв ополчился на «демократов».

Однажды я сломал ногу и, будучи в гипсе, изнывал от безделья. Хорошо, выручил мой друг, издатель Валерий Шашин – предложил иллюстрировать сразу три книжки Снегирёва, с оговоркой, что издательство переживает не лучшие дни и гонорар выплатит только по выходу книжек. Я всегда соглашался на любые условия, а здесь просто безмерно благодарил друга.

Несколько месяцев я корпел над рисунками, как одержимый, и всё это время мне названивал Снегирёв – выспрашивал, когда он получит деньги. Нет, он не подгонял меня в работе – он хотел, чтобы я надавил на издателя. В сотый раз я объяснял ему, тупице, что издательство еле держится на плаву, просил не давить на Шашина, подождать, но всё без толку – он, старое корыто, настырно продолжал «бомбить» меня и всё сомневался: стоит ли печататься за небольшие деньги, хотя это было его десятое переиздание и в то время, когда вообще ни у кого ничего не выходило. Ну не старый осёл? Честное слово, в некоторые моменты у него появлялась лёгкая дебильность – да что там! – он становился тупой, как бревно.

К сожалению, издательство Шашина рухнуло, и книжки не вышли. Благодородный издатель всё же смог выплатить нам со Снегирёвым небольшие деньги. Рисунки я раздарил приятелям, а со Снегирёвым мы отметили наше «сотрудничество» в ЦДЛ. За столом он захрипел:

– Демократы строят бандитский капитализм. Но кто они, демократы-то? Бывшие коммунисты и комсомольские вожди! Перекрасились, и всё. Суки! Им всё припомнится на Страшном суде.

Здесь необходимо пояснение. Многие детские писатели в зрелом возрасте ударились в религию: Кушак, Мешков, Коваль, А. Иванов; даже окрестились члены партии Мезинов и С. Иванов – возможно, чтобы попасть в рай. Снегирёв всегда серьёзно относился к религии: молился, соблюдал посты, ездил к священникам в Загорск и Оптину пустынь. Под старость он вообще отошёл от мирской жизни и общался только с церковными людьми, в основном со старцами, и писал только о странниках и православных обрядах. (И заранее приобрёл новый костюм, чтобы предстать перед Богом в приличном виде.)

К семидесяти годам Снегирёв превратился в развалину, в борова огромных размеров – объёмом с пивную бочку – и с каждым годом всё больше раздавался в ширину; при такой комплекции он стал ещё неотёсанным психованным чурбаном, трухлявым пнём. Как я уже сказал, у него было не всё в порядке с головой, но это не мешало ему незадолго до смерти сделать святое дело – написать книжку для детей «Божий мир». Этой последней книжкой он, бесспорно, увековечил себя и перед Богом замолил все грехи, а перед друзьями и подавно.

КОГДА СТАНУ МИЛЛИОНЕРОМ...

Прославленный друг мой Эдуард Успенский в жизни суетник, каких поискать, и, когда смотришь на его фотографии, вроде он и там дёргается и кричит:

– Главное, мужики, больше писать, пробивать свои вещи, лезть наверх, утверждаться! (Такая чертовщина!)

Маленький, носатый, вертлявый, Успенский не пьёт (хотя вроде когда-то выпивал, и не слабо), и не курит, и за женщинами особо не волочит, ну разве что изредка (хотя заглядывается на них частенько), и, понятно, близкими друзьями мы никак быть не можем, но всё же считаемся друзьями, хотя за сорок лет, что знаем друг друга, виделись не более сорока раз – в среднем по разу в год. Так что, скорее, мы приятели.

Что касается женщин – в молодости и зрелом возрасте Успенский всё же за ними ухлёстывал, – прозаик Анатолий Членов мне не раз говорил:

– Мы с Эдиком развлекаемся с девочками. Присоединяйся к нам!

В ЦДЛ Успенский заглядывает редко – только по делам. Подозреваю, он презирует нас, алкашей и трепачей. Собственно, чего подозревать – вот вспомнил, пожалуйста! Я позвонил ему – надо было в чём-то помочь обществу защиты животных. А он, не дослушав:

– Лёнька, не морочь мне голову. Делай сам, не ленись. Потрать на это денёк, поменьше выпьешь в ЦДЛ, здоровей будешь.

– Что ты мелешь? – говорю. – К тебе прислушаются, у тебя имя, а я для них ноль.

– Пойми, я разрываюсь на части, – отвечает. – Мне надо сделать то-то и то-то. А ты все вечера напролёт просиживаешь в ЦДЛ. Удивляюсь, кстати, когда ты пишешь? – дальше он чётко обозначил, куда надо пойти и что кому сказать, и заключил: – Если надо подписать, я всегда готов, ты знаешь.

Вот так! Он давал понять, что всеильные, масштабные не занимаются мелочами, что для него всякие разговоры на отвлечённые темы – досадные помехи, что его бесценные мозги настроены на великие дела.

Успенский вечно спешит, носится, словно пришпоренный, словно у него сзади ракета; не говорит, а выдаёт пулемётные очереди

(не успеешь переварить одно, как он уже шпарит другое); не может спокойно посидеть, поговорить с приятелями (даёт понять, что его время дорого стоит), даже не приезжает на похороны друзей – не хочет лишний раз тревожиться, эгоист, себялюб, негодник. Хотя – каких друзей?! У него только партнёры, ведь дружба – это нелёгкая ноша, дружить-то надо уметь, то есть жить не только собственной жизнью, а Успенский своё жутко плотное время не собираетсЯ транжирить попусту, он «делает дела»; он, напористый – да что там! – бешеный до истеричности, – весь в делах; он как бы говорит: «У меня божий дар, и я должен быть жесток».

В творческом котле Успенского чего только нет: с ураганной скоростью он пишет стихи, песни, повести, пьесы, рассказы, сказки, учебники, теле- и радиопередачи и выступает как ведущий, при этом балаболит не умолкая и даже поёт (такой охват; у него страшная ненасытность, и, понятно, он гребёт деньги лопатой). Но при такой всеядности он не очень-то следит за качеством текста; у него получаются механические сцепки между эпизодами, некая скачущая проза, а часто и просто потребиловка, низкопробные однодневки (например, сценарии на телевидение он пишет со скоростью звука – ну и с такой же скоростью они лопаются).

Ещё будучи студентом технического вуза, Успенский участвовал в КВН и, считая себя ценным «весёлым и находчивым», по его словам, – никогда не ездил на уборку урожая, а недавно по телевидению с гордостью заявил:

– Все студенты поехали на целину, а я отказался.

В литературу, как он сам говорит (опять-таки по телевидению), его «впихнул» Б. Заходер, а помогли З. Герд и К. Смирнова. Но ещё раньше на радио его пристроил Литвинов (и ещё парочку «своих» – Лившица и Левенбука – они вели «Радионяню»).

– Юморок у Успенского невысокого класса. Успенский с самого начала встал на путь саморекламы, – сказал требовательный к литературе Марк Тарловский.

С этим нельзя не согласиться, и скажу больше – Успенский и его компания не имеют ни самоиронии, ни чувства меры (последнее качество начисто отсутствует у большинства «богоизбранных», зато самовосхваления – хоть отбавляй!). Успенский – блестящий пример того, как человек небольших способностей благодаря деловой хватке,

настырности, связям и скандалам стал известным, кричаще богатым и пользуется незаслуженной славой.

В начале перестройки прыткий Успенский, проанализировав ситуацию, быстро смекнул, что к чему, и организовал собственное издательство «Самовар», и хотел строить завод по производству бумаги из макулатуры (ему явно тесно в литературном пространстве, да и в любом другом) – в то время он параллельно судился с кондитерской фабрикой и с агентством авторских прав – выбивал из них деньги, воевал с Комитетом по печати из-за больших налогов и с Комитетом госбезопасности, который «подложил взрывное устройство» под его машину, – такая у него могучая сила и скандальная известность; он производит впечатление человека, способного сделать невозможное. Скандалы для него – образ жизни, он взахлёб трезвонит о них при каждой встрече и получает от них прямо-таки мальчишеское удовольствие. Недавно по телевидению на вопрос ведущего: «Что принесло вам известность?» – гордо, любуясь собой, заявил:

– Скандалы! Я боец! Пока своего не добьюсь, не успокоюсь... Я никого не простил, всех негодяев помню поимённо. (И это в шестьдесят пять лет! Он готов всё и всех смести на своём пути.)

Понятно, многие талантливые конфликтны, но Успенский, горячий, всеведущий ум, явно перебарщивает. Кстати, не могу понять, почему Успенский судился с фабрикой, неужели за слово чебурашка? Но ведь это слово зафиксировано ещё Далем. Уж если на то пошло, судиться за этикетки должен художник, который нарисовал куклу. Кстати, недавно какой-то музей (то ли в Саратове, то ли в Воронеже) обнаружил у себя истинного деревянного Чебурашку и показал его по телевидению. Это стало сенсацией. Работники музея собираются подать на Успенского в суд.

У нашего персонажа всегда прорва обширных планов, он, обротистый, своё дело знает чётко, знает, что будет делать завтра, послезавтра, через месяц, – у него адская творческая жадность, боевой дух – он, шизик, готов делать всё, охватить весь мир, а для этого ему явно не хватает одной жизни. Одни называют его баламутом, скандалистом, пронырой, настырным дельцом, другие – борцом за достойное существование (не наше, общее, а только своё); одни считают его творчество эстрадными хохмами, анекдотами, другие – ярким социальным юмором.

В рассказах Успенский обыгрывает любое сообщение по радио или заметку в газете, где говорится о дурацких сторонах нашей жизни; в детских рассказах(!) откликается на все политические события, вворачивает всякие новшества: «прикольно», «обратился к Лужкову» (думает, тем самым создаёт современность!).

– Ему главное в литературе – показать кукиш власти, – сказал Мазнин и, похоже, попал в точку.

В самом деле, в своей злости к властям этот летописец доходил до абсурда. В «Пионере» печатал повесть «Гарантийные человечки» – так в ней было (если меня не подводит дырявая память) что-то вроде: «Красные человечки сидели за красным столом и ели красные мозги». Такая политическая подоплёка.

С Успенским мы знакомы давно: как я уже упомянул, лет сорок – пожалуй, с тех пор, когда он ещё работал инженером. Первое, что он сказал мне при знакомстве:

– Не думай, я не еврей. А то, что мой брат в Америке, – это ничего не значит.

– Всё его поведение и творчество говорит об обратном, – усмехались наши общие знакомые.

Кстати, почему-то среди его приятелей – люди только одной национальности: Остёр, Лившиц, Левенбук, Камов, Танич, Кушак... Имея в виду это «элитное» сообщество, один из моих друзей как-то заметил:

– Плохие люди всегда объединяются, а хорошие, как правило, разрознены.

Недавно то ли брат Успенского, то ли его знакомые евреи присмотрели для него дом в Бостоне. По слухам, уговаривают его перебраться туда. Кстати, когда заходит разговор об эмиграции, я вспоминаю слова Пушкина (передам вольно): «Многое в нашем отечестве меня не радует, но я никогда его не променяю ни на какое другое».

Вторым делом он спросил, сколько я зарабатываю (не что пишу, а именно сколько зарабатываю), и сообщил, что у него получается больше и скоро будет ещё больше. Потом сказал, что его стихи лежат в Детгизе и попросил позвонить Роману Сэфу, чтобы тот дал положительный отзыв. С Сэфом мы приятели с большим стажем – познакомились, ещё когда я вернулся из армии, а он из лагеря, где сидел, по его словам, за антисоветскую деятельность, но если я ещё долго топтался на месте, то Сэф сразу (понятно, через «своих») рванул

к успеху и к моменту моего ходатайства за Успенского уже считался величиной (ясно, дутой). На мой звонок он ответил то, что, по сути дела, и должен был ответить:

– Лёня, дорогой! Ты напрасно печёшься об Успенском, он и так прёт, как танк. Если мне понравятся стихи, я так и напишу, если нет – зарублю (к сожалению, это был последний порядочный жест Сэфа; в дальнейшем он полез во власть и только и думал о своей карьере).

Спустя некоторое время в журнале «Детская литература» я сделал рисунок Крокодила Гены, которого Успенский тогда написал. Видимо, рисунок Успенскому пришёлся по вкусу – вскоре я узнал, что он рьяно настаивал в «Весёлых картинках», чтобы именно я иллюстрировал его вещи... Тогда у нас была общая компания, где мы встречались и болтали о всякой всячине...

Всё это было в нашей молодости. С тех пор, благодаря невероятной энергии и пробивным способностям, Успенский и пошёл в гору, закончив триумфальным взлётом – собственным издательством, где издал десять томов(!) своих сочинений. Но, как сказал тот же Мазнин, и я с ним совершенно согласен, из этих десяти томов надо составить один со стихами и повестью «Про Дядю Фёдора» – остальное так, чепуха, можно забраковать как мусор – пусть это ест моль. Это остальное – «игровая» литература, которая просто веселит и не несёт никакой смысловой нагрузки. Между тем, как известно, дети через игру познают мир, и серьёзный писатель не может это не учитывать; другими словами, здесь одними хохмами не обойтись.

Ну как поставить рядом живописного Крокодила – Чуковского и безликого Гену – Успенского? И вообще, пустая развлекабельность не в традициях русской детской литературы. Всяким приколом и смешинкам далеко до жизненных, подлинных вещей наших классиков. Как говорил поэт Одоевский, талант – это поручение предыдущих поколений (отвечаю только за смысл); и тот, кто отмахивается от предшественников, не может считаться истинно русским писателем, так я думаю.

Как-то я прочитал Успенскому свой рассказ «Праздники», где герой-мальчишка огорчён, что в году всего один день рождения, и стал выдумывать себе праздники.

– Хорошо, – сказал Успенский. – Только надо короче: жаль, что день рождения только раз в году... Вообще, я люблю тебя почитать, всегда настраивает...

Через неделю у его приятеля Тимофеевского появилась известная песня. Такое действо: состряпал песню – и никаких гвоздей! Ничего не хочу утверждать, но странное совпадение.

Когда бы я ни встречал Успенского, он, очумелый попрыгун, куда-то нёсся, его постоянно ждали и там и сям – прямо разрывали на части этого маленького стремительного человечка («еврейчик-живчик», «ястребок», – говорили о нём художники).

По словам Успенского, ему вечно кто-то мешал, вставлял палки в колёса; он, как и Коваль, повсюду с выражением глубочайшей серьёзности говорил, что его зажимают. Между тем у них напечатано всё – абсолютно всё, что они написали; их издавали (и издают) больше всех из нашего поколения. Зажимали! Что тогда говорить о Цыферове, и Сергиенко, и нас с Мазниным, у которых половина написанного лежит в столе?!

В своё время Успенский с Ковалём ходили к секретарю Союза писателей Ильину, чтобы тот помог им издаваться за границей(!). Ильин помог.

Успенский жаловался не только на редакторов, но и на плохие условия для работы (хотя кроме квартиры и мастерской имел дома на Клязьме и под Переяславцем). А ведь настоящий мастер ни на что не жалуется – писать-то можно и за кухонным столом, и во дворе на лавке (Хемингуэй, как известно, писал и в кафе.)

Как-то случайно напоролся на Успенского на улице, и он сразу задёргался, словно у него случился приступ эпилепсии:

– Пробиваю свои книги в Финляндии, делаю мультфильм, работы полно. Извини, бегу...

В другой раз мы встретились в поликлинике; я лечил язву желудка, он пришёл за справкой для покупки оружия.

– Дом на Оке под Рузой строю (третий!), – сообщил Успенский. – Вот хочу ружьё купить... (Для охраны?)

– Сам строишь дом-то? – спросил я.

– Ну как сам?! Рабочие делают под моим руководством. Трачу на это время.

Как-то, ещё во времена нашей молодости, я взял у Успенского немало денег в долг (совсем сидел на мели), потом звоню ему: могу отдать – говорю.

– Отдай секретарю Толику. У меня дел по горло, не могу с тобой встретиться.

Я отдал деньги его секретарю (известно – связанному с КГБ), но при встрече Успенский меня спрашивает:

– Ты деньги Толику отдал?

Это спрашивает он, богатейший из богатых моих дружков. И что? Какую-то ничтожную сумму (на два блока сигарет).

– А-а, отдал, ну хорошо. Нет, я ничего. Просто так спросил.

Я уже сказал, что суматошный Успенский не говорит, а выдаёт тьму нервных, обрывочных фраз (слова наскაკивают друг на друга, некоторые он вообще проглатывает), за этим угадывается разбросанность его характера, ведь в манере говорить как нельзя лучше проявляется весь человек. Например, Снегирёв был немногословен, и, несмотря на его выходки, всегда чувствовалась основательность его натуры. Цыферов говорил спокойным, ровным голосом, что означало душевную уравновешенность. Ну а цветистые речи Мешкова выявляли художественного оригинала – это уж точно. Повторюсь: в говорильне Успенского явно проглядывает его суетливость, вечная мельтешня, вокруг него постоянно какая-то лихорадочная атмосфера. Возникает вопрос – такие люди могут создавать что-то капитальное?

Безусловно, Успенский – пройдоха, ловкач и скандалист, всё его поведение рекламное, публичное. Не лез бы на телевидение, не вёл бы дурацкие передачи с анекдотами, не выпячивался бы, сидел бы на даче, тихо, без шума писал бы стихи – остался бы в памяти неплохим детским поэтом, а так больше останется шоуменом. Ко всему есть что-то противное в людях, которые постоянно лезут на публику и к власти (Успенский видит себя в кресле Михалкова), ведь большой мастер, как правило, скромнен.

Как-то ко мне в изостудию Успенский привёл свою дочь, сам уселся на стол, начал балагурить с детьми – это он умеет, знает массу загадок и развлекалок (одно время, вслед за Чуковским, собирал детские перлы); он прирождённый воспитатель – этого у него не отнимешь, в общении с детьми проявляются его неплохие качества. И здесь его словесный набор как нельзя кстати. На нашу выставку детских рисунков он привёз три свои книжки, поднял их над головой.

– Одну подарю самому смелому из вас, вторую – самому умному, третью – самому талантливому.

К нему полетела вся студия.

Так же, как с детьми, Успенский неплохо общается с животными, которых во множестве держит за городом (его дача настоящий Нонев ковчег). Бесспорно, дети и животные – некоторая (но не существенная) часть его жизни. Жаль только, что в творчестве он пошёл не по пути Носова и Бианки, а открыл что-то вроде детского филиала КВН. Впрочем, такова его природная суть.

Успенский уже глубоко немолодой – попросту старый гриб, а всё суетится (его старческая болтливость перешла в нахальство), вокруг него прямо кипящий, бурлящий воздух (и как выдерживает такой бешеный темп?), а внутри его постоянно горит костёр (и чем только поддерживает пламя?), но, сколько бы он ни пробивал своего Чебурашку (на конфетах, зубной пасте) – это мертворождённый образ, полужверюшка без характера (так же, кстати, как и Мурзилка, – с детства не могу понять: кто такой?). У меня, может, начисто отсутствует воображение, но за долгие годы работы в «Весёлых картинках» и «Мурзилке» я не раз просил собратьев объяснить мне, что это за персонажи, – внятного ответа не получил. Ну разве можно Чебурашку сравнить с Буратино, Винни-Пухом или любым героем Андерсена? Уж если на то пошло, железный Самоделкин намного жизненнее плюшевого полужверька. Не говоря уж о поросёнке Фунтике Шульжика. Когда я об этом сказал Кушаку, он заерепенился, разорался:

– Эдик сделал великое дело: создал новую куклу! И дети её приняли. Детям-то лапшу на уши не навешаешь!

Навешаешь, и ещё как. Всему нашему простодушному народу навешали. Давно известно: «Если человеку всё время говорить, что он свинья, рано или поздно он захрюкает». Детям можно вдолбить что угодно, зарядить их на любую деятельность, им нравится всё, что ни покажешь. Вот сейчас, пожалуйста, – динозаврики, черепахи-монстры, Барби – и дети уже забыли Доктора Айболита, Конька-Горбунка... Ну разве можно сравнить добродушную куклу-матрёшку с какой-то ледяной, погрязшей в роскоши секс-Барби? (как говорит кукольница Л. Юкина, «матрёшка – дочь для ребёнка, а Барби – тётка, у которой ребёнок – прислуга»). Понятно – коммерция, навязывают американские ценности, их образ жизни. Европейцы давно поставили американцам барьер, а у нас рай для разных шустрых прохиндеев.

Да ну ладно, о чём я говорил-то? О Чебурашке. Сама кукла ещё ничего, но это заслуга художника. Так же, как «Ёжик в тумане» и «Че-

репах, лежащая на солнышке» – заслуга режиссёра и композитора, а не Козлова. Сами по себе эти сказки абсолютно ничего не несут – ни сюжета, ни нравственной идеи – бестолковщина, одним словом, но дети поют эту чушь – «... и на солнышко гляжу».

Не так давно молодой литератор Валентин Постников, сын моего друга, продолжающий его дело (пишет «Новые приключения Карандаша и Самоделкина»), напечатал в газете статью «Кто придумал Чебурашку?». Успенский отомстил по полной программе: в очередной книжке «Похищение Чебурашки» поместил Постникова в сумасшедший дом и сделал из него доносчика.

Кстати, по словам Постникова, прежде чем выступить перед детьми, Успенский ставит три условия: чтобы заплатили тысячу долларов, чтобы собралось не менее ста детей и чтобы встречу показывали три канала телевидения (переплюнул Алексина!).

Перед последней Олимпиадой Успенский тихой сапой через «своих» пробил Чебурашку как эмблему наших спортсменов(!). Увидев это диво, болельщики возмутились:

– Одно дело – наш медведь, другое – какой-то не наш зверь. Вот потому наши и плохо выступают.

– Не удивлюсь, если Успенский пробьёт Чебурашку на герб, – пошутил я в ЦДЛ.

– Так он предлагал, – вполне серьёзно сказал Кушак.

– Ему осталось только Чебурашку наклеить на презервативы, – усмехнулся Шульжик.

Недавно по третьему каналу телевидения одна из журналисток сказала:

– За этой мягкой игрушкой скрывается предприниматель со стальными мышцами!

Поэт Владимир Степанов говорит:

– У всех сказочных героев есть родина и родители. Буратино и Чиполлино из Италии, их отцы – папа Карло и Чиполлоне; девочка Элли – из Канзаса, дочь фермеров Джона и Анны. А кто такой Чебурашка? Его из какого-то тропического леса привезли в ящике с апельсинами. Герой без родины, без родителей!

Понятно, благодаря мультфильмам Успенский имеет оглушительную известность, но опять вопрос – не кощунство ли из народных сказочных героев (Бабы-Яги, Соловья-разбойника, Чёрта) делать

перевёртышей – этаких положительных героев? (Естественно, с умыслом). Так можно переиначить и остальное: сделать из Емели нового русского и посадить его в «мерседес», клонировать Колобка. Можно раздраконить и зарубежную классику: припать ногу Оловянному Солдатику, написать продолжение Дюймовочки, где она стала Гулливершей... – дальше можно не перечислять. Впрочем, многие уже этим занимаются. Всем компиляторам я говорю: придумывайте свое, оставьте великих авторов в покое.

Недавно Успенский выступил против засилья американских комиксов; я уж подумал – он печётся о детях, оказалось – освобождает пространство для своих персонажей.

– Надо пропагандировать наших сказочных героев, – говорил он, но позднее пояснил, каких – не истинно народных, а кого он сделал из них.

Сейчас, когда телевидение захватили олигархи-преступники, экран наводнили пронырливые трепачи; они восхваляют друг друга, раздают друг другу премии, травят анекдоты, устраивают дурацкие шоу, болтают о всякой чепухе – что придёт в голову. Кстати, болтают часами, а вот дать выступить Солженицыну (не говоря уж о патриотах) или показать классический спектакль – нет времени.

Понятно, вездесущий попрыгунчик Успенский не остался в стороне от такой кормушки (его нос сразу улавливает, куда дует ветер) и через «своих» (Швыдкого, Новожёнова) получил целую передачу «В нашу гавань заходили корабли». Собственно, это очередной балаган на НТВ, пустозвонство, очередная еврейская тусовка, эстрада с кривлянием и псевдоэмоциями, где друг другу подпевают комплименты, но Успенский к этому фиглярству относится серьёзно до смехотворности и не упускает случая покостерить всё русское и наше прошлое – «страна была вся в решётках» (!)

– Передача была бы ничего без Успенского, – говорит Шульжик. – У него нет обаяния. Он ведёт «Гавань», как секретарь парткома. Они там все похожи на старушек, играющих в куклы.

– Наша передача живая, все остальные дохлые, на нашем фоне они кажутся покойниками, – говорит с экрана Успенский.

– Эти передачи вредны, – с пафосом говорит Мазнин, – они снижают эстетическое чувство (нет чтобы просто сказать: «Чертовня! Режет слух!», а он сам этой фразой убивает всякие эстетические чувства).

Но все дружки Успенского (понятно, из числа «своих») так и норовят показать свои рожи на экране и упрашивают его, чтобы пригласил на это дешёвое наигранное веселье, а он им, зарвавшись:

– Записывайтесь в очередь!

Это же он, недоступный, распираемый самодовольством (а после каждой передачи его звёздная болезнь обостряется), заявил в ЦДЛ при мне и А. Макарову, после чего огорошенный журналист (с немалым самомнением) возмутился:

– Он и раньше вёл себя, как гад. Помню, он только вступил в Союз писателей, а я уже давно в нём состоял, – встретил его здесь, а он: «Ты пришёл взять у меня интервью?» Вполне серьёзно, представляешь?!

Недавно в своей передаче Успенский заявил:

– Да, я писал о пионерах, но кормиться-то надо было.

Вот такой торгашеский подход к искусству. Получается, платили бы больше – написал бы и не только о пионерах... Один из кумиров Успенского и его приятелей – Галич, который, как известно, писал и советские, и антисоветские стихи, – говорил то же самое: «Так ведь жить-то надо!» Такая хамелеонская позиция. И понятно, безнравственные люди не могут насаждать нравственную культуру. Кстати, Нагибин однажды признался, что тоже писал всё, что надо, лишь бы платили:

– Мы в газетах писали чёрт знает что, а они это за чистую монету принимали... Берут – хорошо, дают деньги...

Теперь, когда деятельность Успенского дала пышные всходы и вокруг него колоссальный грохот, он заважничал, к нему не подступиться; приятелям, которые не могут быть ему полезны, он только издали кивает с надменным величием. Да ему и не до приятелей, он теперь в других сферах. Недавно, для рекламы своей «Гавани», пригласил в неё Горбачёва, и тот припёрся и пел какую-то чертовню (и это президент! Впрочем, плебейство Горбачёва проявилось ещё раньше, когда он рекламировал пиццу). После чего Успенский представил свой новый проект – «Советы профессора Чайникова» – и самоуверенно, до наглости (а он всегда уверен в победе), заявил:

– Это будет лучшая передача на телевидении! (Ясно, это будет очередная развлекательная дешёвка «своих»).

И невдомёк нашему персонажу, что он и его дружки-острословы уже надоели, что их трескотня ничего, кроме отвращения, не вызывает, что телевидение это не одесский базар, не толкучка в Бердичеве. А от

их самовосхваления просто тошнит. Нормальный человек с годами предъявляет к себе строгий счёт, а помешанный на своей необыкновенности каждый свой опус рассматривает как творение свыше.

Несколько лет назад Успенский начал раскручивать своё «Простоквашино» – пробивать этикетки на молочные продукты; по телевидению заявил:

– Пишу новое «Простоквашино», хотелось бы побольше в нём похулиганить(!). Когда стану миллионером, буду ставить свои мультфильмы! (Не детским домам помогать или бедствующим детским писателям. Такая животная тяга к богатству.)

Вот что значит не русский писатель! Можно ли представить, чтобы Чехов раскручивал «Каштанку»?

По слухам, сейчас от рекламы своих героев Успенский зарабатывает по миллиону долларов в год. Наверняка так оно и есть, запросы у него ого какие! В прошлом году открыто, на всю страну, опять-таки по телевидению объявил:

– Выступал по зарубежному радио. Мною заинтересовались китайцы (японцев он уже оккупировал). Надеюсь им понравится. Представляете, какие тогда будут тиражи?! Миллиарды! Это серьёзно!

Успенский от своих планов не отступает ни на йоту и наверняка из миллионера превратится в миллиардера – может, тогда немного успокоится. Но вряд ли – обычно люди, ставящие подобные цели, не успокаиваются и делают всё, чтобы приумножить свои богатства.

Ещё до «реформ» Успенский заявил:

– Когда мы победим(!), я стану министром культуры. Буду курировать литературу. А Марк Розовский займётся театрами.

Немудрено, что сейчас наш герой – на телевидении главная фигура. Кстати, долгое время я думал, что успех зависит от умения и обстоятельств, то есть – от мастерства и случая, оказалось – в большей степени от знакомств, пробивной силы, саморекламы и прочего. Особенно это заметно сейчас, когда появилась тьма «звёзд» кино и эстрады, «академиков телевидения», а звание «Народный артист» дают всяким шоуменам.

Хоть убейте меня, но лучшее, что написал Успенский, это статья в защиту собаки «За что убили Трезора?» Статья блистательная – предметная и чёткая. Кстати, из нашего героя вышел бы классный журналист, ведь его суть – публичность, и то, что он сообщает в про-

зе, – удел журналистики, а не литературы. Яснее ясного: в прозе автор должен вызывать сопереживание, участие, а если он только ловко изображает переживание, но сам при этом остаётся равнодушным, он всего лишь имитатор и никаких чувств не вызовет.

Конечно, тот «символический том», который наскрёб Мазнин, останется в детской литературе, и от некоторых выступлений Успенского останется удачный образ затейника, но ведь ему, непомерно тщеславному, этого мало. Похоже, он замахнулся на премию Андерсена и вообще считает, что ему должен принадлежать весь мир. Ну не случайно же его так раскручивают, создают ему громоподобную известность? И неужели он, уже пожилой мужик, всерьёз считает себя писателем первой величины? Неужели не испытывает неловкости оттого, что его так афишируют? Честное слово, никак не пойму, где у таких субъектов чувство меры, скромность, совесть – то, что отличает подлинные таланты. Ну почему никуда не лезли детские писатели Виктор Голявкин, тот же Снегирёв?

Повторюсь: мы с Успенским старые приятели, между нами никогда не было никаких размолвок, и я очень хочу о нём, паршивце, как о писателе сказать добрые слова, подыскиваю их со страшной силой, напрягаюсь до посинения, но, хоть тресни, не нахожу. Поэтому, вслед за Мазниным, и хвалю всего лишь «единственный том», а точнее – несколько страниц из того тома. В сущности, это не так уж и мало, если вникнуть.

Ну а как о человеке, об Успенском каждый может судить сам – он не вылезает с экрана телевизора (на всю страну рассказывает, как он за своего Чебурашку уже воюет с Америкой!), и, само собой, – у него полно поклонников и поклонниц. Я помню, как в ЦДЛ одна дамочка с телевидения с гордостью заявила мне, что была любовницей Успенского. Впрочем, может, она и заблуждалась – в ЦДЛ чего только не услышишь от разных экзальтированных особ. Например, однажды нам с Яхниным какая-то девица то же самое объявила касательно Евтущенко – объявила с восторгом, причмокивая, давая понять, что это были лучшие дни в её жизни, и внезапно радостно вскочила: «Вон он пошёл!» – и показала на совершенно другого человека.

Недавно мой друг, оператор телевидения Анатолий Жижин, рассказывал:

– На работе сталкиваюсь с Успенским. В своей группе он на всех орёт. Диктатор! Как-то его спрашиваю: «Вы знаете Леонида Сергеева?» А он дословно, клянусь: «Знаю, знаю. Все эти ребята(!) были высокие, красивые, но потом в ЦДЛ спились!»

Вот такая звёздная высокомерная спесь. Оказывается, он, мерзавец, давно поставил на мне крест. Ему невдомёк, что я не только пью водку и не только катаю такие, как этот, очерки, но и за последние годы написал десятки рассказов. Пусть в стол, но написал. Понятно, он считает личностями тех, кто издаётся, мелькает на экране, хотя и о них отзывается гнусно.

Как-то Яхнину на телевидении предложили вести детскую передачу; узнав об этом, Успенский пришёл к телевизионным начальникам (самым высоким), заговорил их насмерть и заграбастал передачу себе; о Яхнине бросил небрежно:

– Не знаю такого писателя (хотя прекрасно знал, они вместе начинали).

А спустя некоторое время через знакомых передал Яхнину привет – похоже, как издевательство.

Недавно молодые поэты поехали на дачу к Успенскому. По телефону он сказал:

– В посёлке зайдёте в магазин, спросите у продавщицы: «где живёт Успенский»? Она покажет.

Продавщица показала, но прежде заставила купить бутылку французского вина – «Так писатель велел», – объяснила.

С полчаса Успенский втолковывал молодым людям «что и как писать», а выпив вино, махнул рукой:

– А теперь вытряхайте. Я устал.

В ЦДЛ я не раз слышал:

– Ради своих целей Успенский пойдёт по трупам приятелей.

Но, понятно, теперь нашему герою дорога расчищена, ему никто не дышит в затылок, и он царит и властвует в детской литературе и победоносно шествует к славе – громкой, всемирной. Впрочем, его слава уже перемахнула через океаны и два раза обогнула земной шар. Сейчас он хочет получить премию Андерсена (хотя и ловчит, по телевидению объявил: «Премия нужна не мне, а стране»). Его дружки организовали шумную кампанию в поддержку этих устремлений. Возможно, получит и тогда наверняка поставит новую цель – править всем миром.

Недавно от правительства Москвы Успенский получил собственный офис недалеко от Павелецкого вокзала. Теперь у него своя киностудия, где он собирается выпускать собственные мультфильмы, но опять скандалит, опять судится – на этот раз с художниками, которые справедливо считают, что он им платит меньше, чем следует.

И последний его номер: убедил кого-то из «своих» олигархов учредить дорогую премию для детских писателей. Награждение провёл в огромном клубе, с помпой. Из десяти номинаций все десять отдал «своим» (никому не известным «писателям», даже какой-то эмигрантке из Америки). Он хотел «купаться в овациях», но получил жалкие хлопки «группы поддержки».

Успенский напоминает мне воздушный шар, который постоянно надувается, – вот только как бы его не разорвало от собственного величия. И как он, миллионер, не понимает, что оставить после себя хорошие дела и добрую память ценнее, чем монумент на престижном кладбище.

СОЛНЕЧНЫЕ СТИХИ

Редкостный друг мой Игорь Мазнин на большинстве фотографий (а их у меня целая пачка) – сама приветливость, доброжелательство. К Мазнину все тянутся – так велико его обаяние. Из всего нашего уходящего поколения он больше всех вызывает доверие. Высокий, полноватый, неторопливый, улыбчивый, с располагающим голосом, он обволакивает своей мягкостью, магическим спокойствием, вселяет душевное равновесие, в любой компании выступает в роли миротворца. Входя в писательский клуб, я вижу его сразу, сколько бы народа там ни сидело, – над ним прямо-таки светится воздух, сразу становится ясно – он в клубе значительная фигура. Светящийся над башкой воздух – находка Яхнина, её он ляпнул мне на день рождения спяна, в приступе высоких чувств; этот воздух (возможно, алкогольные пары) я переадресовываю Мазнину – к нему он подходит больше, вокруг него действительно какой-то тёплый микроклимат (одно время наш герой обзавёлся дополнительной мужской атрибутикой: отпустил бороду, усы, и, понятно, его притягательность возросла). Как известно, во многом успех в жизни

заключается в умении расположить к себе людей. В этом плане мой друг зашёл далеко.

Мазнин умеет нравиться всем, для каждого находит нужные слова (разумеется, приятные), но именно это и настораживает. Ещё в молодости я заметил – подобные люди не так уж искренни, как кажется, и сделал вывод: тот, кто всех подряд гладит по головке, любит только себя. В ЦДЛ он частенько направо-налево отвешивает комплименты, а потом наедине с тобой может всех, кого нахваливал, отругать по первое число. Такая петрушка. Короче, Мазнин такой же «святоша» и беспредельный эгоист, как все мы, только одни из нас знают свои пороки, а другие нет; он из числа не знающих. Собственно, сейчас, в старости, когда он прочно замкнулся в своём домашнем мирке, его вселенское любвеобилие сияет особенно ярко.

А был Мазнин прекрасен – держался невозмутимо, выдержанно, внимательно слушал собеседников; только когда речь заходила об искусстве, становился голосистым неумным воителем: сам себя заводил (на манер Гитлера и Муссолини), спешил щегольнуть эрудицией и ослепительной фантазией; в запале, для большей убедительности слов, засучивал рукава рубахи, обнажая татуировки на руках (какие-то мотивы с иероглифами и змеями), давая понять, что у него огромный жизненный опыт и он общался не только с писателями.

Выступая, он не забывал соблюдать тонкости застольного этикета: отодвигал от края стола рюмки, красиво раскладывал бутерброды, убирал под стол пустые бутылки, а закуривая «Беломор», выпускал дым не в лицо собеседников, как некоторые, а в потолок, да ещё разгонял его рукой, и время от времени относил пепельницу с окурками на подсобный стол и брал чистую (он патологический аккуратист и чистюля).

В настрое Мазнин попросту околдовывал нас, его мысли раскачивались по невероятной амплитуде, а неожиданные образы заставляли почёсывать затылки; за столом, на небольшом пространстве, он создавал роскошные храмы и прямо рвался в поднебесье – это он, безумец, делал мастерски. Вот только, когда расстанешься с ним, храмы рушились; от его зажигательных лекций оставались обрывки фраз, какие-то строчки, но ничего конкретного – так он умел затуманить мозги. Кушак говорил:

– Игоря надо записывать на магнитофон.

Верно, надо было – но слушать запись, предварительно выпив водки, не иначе, ведь его порывы хороши только в определённой атмосфере. Это я понял позднее, когда он напечатал статью в журнале «Детская литература». Статья выглядела обычным застольным сумбурным потоком, но изложенным на бумаге.

– Бред сумасшедшего, у автора в голове каша, – грубо сказал Приходько.

Я сказал бы – словесный винегрет. Неужели Мазнин не понимает, что писать обо всём – значит, писать ни о чём? Кстати, в следующем номере журнала какой-то сибирский писатель врезал Мазнину на полную катушку, спокойно и обоснованно раздолбал его. Но, снова скажу: во время дружеской попойки Мазнин был прекрасен, заговаривал нам зубы как надо. Теперь-то я часто вспоминаю того искромётного моего друга и думаю – его уже никто не сможет повторить.

Не так давно мы с ним выпивали в «подвале» (нижнем буфете), вдруг кто-то сказал, что в Малом зале вечер поэта, нашего хорошего знакомого; мы с Мазниным решили выступить. Войдя в зал, Мазнин поднял руку и попросил слова. Он, как всегда, говорил блестяще. Я, дожидаясь своей очереди, стоял у входа. С последнего ряда демонстративно поднялся П. Синявский, слабый поэт и угрюмый человек; направляясь к выходу, он бросил мне:

– Мазнин напился, гад, как...

Я вступился за друга:

– Ты и трезвый так не скажешь, – и начал ему рассказывать про Наполеона, которому жаловались на выпивки двух его генералов, а он отчеканил: «Узнайте марку вина, которое они пьют, и раздайте другим генералам, чтобы они так же хорошо воевали».

Не дослушав меня, Синявский вышел из зала.

Раньше, при коммунистах, Мазнин чересчур сгушал краски:

– Мы жили под страхом, точно в железных коробках, и ещё неизвестно, какому поколению больше досталось: предыдущему, уничтоженному войной, или нашему, с искорёженными душами?

Такого рода громоподобные сентенции кое-кто рассматривал как поджигательные заявления и провокацию, считая Мазнина стукачом (например, редакторша Н. Постникова, которая проработала с ним в «Детском мире» много лет). Это, конечно, дурацкое утверждение, но кое в чём мой друг перегибал – не так уж ему и «досталось». Всё-таки

он окончил престижный вуз, работал в издательстве, от Дома дружбы умудрился съездить в Тунис и Марокко, когда мы о поездках за границу и не мечтали, и сборники стихов выпустил одним из первых, и жил в большой, прекрасной квартире со стеллажами книг от пола до потолка, и по машине они с Кушаком купили одни из первых... правда, Кушак в первую же поездку врезался в стену дома, и от такого горячего поцелуя машина превратилась в консервную банку (хорошо, что сам уцелел), а Мазнин и вовсе не прокатился ни разу – пока оканчивал автошколу, его машину раздели (сняли колеса), после чего он продал своё сокровище.

Временами и сейчас Мазнин является в ЦДЛ не с лёгким сердцем и на чём свет стоит кроет уже «демократов»:

– Негодяи! Агенты Америки. Все их реформы проплачены из-за океана. Американцы вбухали миллионы долларов, чтобы привести их к власти, но это им не поможет, скоро всех скинут, вот увидите.

Иногда его переполняют и личные обиды:

– Мало того, что не издают мои книжки – в «Премьере» вышел сборник, где под моими переводами стоит фамилия Берестов. Больше никаких дел с ними иметь не буду.

Мазнин окончил педагогический институт; пока учился, подрабатывал истопником, поскольку жил с матерью (отец погиб в финскую войну); после института преподавал литературу в каком-то техникуме, где слыл самым любимым преподавателем. Уже в зрелости мы с ним не раз на улице встречали его бывших студенток; они бросались к нему на шею, целовали, называли талантливым, гениальным. А он, всегда такой уверенный в себе, вдруг впадал в застенчивость: краснел, похлопывал по карманам куртки, разыскивая папиросы и спички, и бормотал:

– Да что вы! Всё это – чепуха, как и многое другое на свете.

Кстати, насчёт уверенности Мазнина я загнул: он уверенно болтал о всякой всячине, а, когда дело касалось его творчества, наоборот, был крайне неуверен в себе – то и дело напрашивался на комплименты (в основном у женщин), искал поддержки в заблуждении на свой счёт:

– Вам понравилось, да?.. Правда, пушкинские строчки?

И женщины нахваливали его, как ребёнка или слабоумного старичка.

Он частенько напоминает, что и родился в один день с гением русской словесности (и пишет, как Пушкин – лёжа на тахте); возможно, он

не прочь повторить слова Маяковского: «После смерти будем стоять почти что рядом – на “М” и на “П”»; не знаю, помнит ли он реплику Есенина – мол, между вами «НО».

А что касается педагогического таланта Мазнина... уж если он нам запудривал мозги, то чего говорить про молодёжь? Наверняка их светлые головы он нагружал под завязку.

Когда мы познакомились, Мазнин работал редактором в «Детском мире», всюду писал стихи и был семьянином-пуританином. Он сразу меня поразил блестящим знанием истории России, и не той, которую я знал по учебникам, а той, которую он откопал в спецхране «Ленинки» и которая была скрыта от широкой публики. В сравнении с глубоко начитанным книголюбом и коллекционером Мазниным (он вечно копался у букинистов, прямо въедался в книги, смаковал абзацы, словно напитки) я оказался полным невеждой (к своему стыду, даже мало читал классиков – так уж сложилось в моей жизни) и политически безграмотным лопухом. Мазнин всерьёз взялся за моё литературное образование – выдавал книги из своей домашней библиотеки. У него была (и есть) большущая, потрясающая библиотека, и он, в отличие от многих литературных людей, щедро раздавал книги. На моих глазах не раз говорил совершенно незнакому человеку:

– Как, вы это не читали?! Непременно прочитайте, это потрясающая вещь! Завтра же вам принесу.

И никогда не забывал своих обещаний, несмотря на то, что книги не всегда возвращали. К сожалению, в полосу безденежья Мазнин за бесценок распродал множество редких книг, но и то, что осталось, впечатляет.

В литературе Мазнин имел на меня нешуточное влияние, оздоравливающее воздействие. Во-первых, о чём бы ни заходил разговор, он всё переводил в литературные понятия, ко всему имел свой подход; во-вторых, открыл мне латиноамериканских прозаиков; в-третьих, чихвостил меня, как никто другой, всячески раздувал мой «оглушительный неуспех»:

– Ну ты и поганец! Учудил!.. Здесь эти строчки не лезут. Это как неверная нота... Ну так же нельзя... Здесь глухота и явные разъёмы... Здесь находка лежит на поверхности, надо отбросить: если тебе сразу пришла в голову, значит и другим придёт...

Бывало, раздолбает меня, потом передохнёт, заметит, что я сник, и почувствует прилив великодушия:

– Ну, конечно, рядом с нашей массовой чертовнёй это прозвучит, но я-то тебя сравниваю с лучшими образцами в этой области, подхожу к тебе, каналье, с высокой меркой. А хочешь быть как все – пожалуйста, не переделывай. Дело твоё, оставляй всё как есть... Сейчас полно ремесленников, а у тебя, мерзавца, есть интонация и искренность, и это важно. От этого щемит сердце, а сделанностью только восхищаешься (вот так – поругает и похвалит, вроде отвесит дружескую оплеуху)... Сейчас у всех подтексты, погружённые сюжеты. Тексты нужны, а не подтексты!.. Все эти нетленки быстро истлеют; только потрясут воздух, а оставят след червя на коре... Сейчас, перед лицом ядерной катастрофы, творческие люди растерялись, повернулись к семьям, копаются в себе. Вечные проблемы войны и мира, личности и общества отошли на дальний план. Потому и нет крупных полотен, романов...

Я привязался к Мазнину, и ходил за ним, как за поводырём, и слушал его, развесив уши; можно сказать, благодаря ему поумнел на голову, как бы окончил общеобразовательный университет. Оборачиваясь назад, вспоминаю, что Мазнин почти всегда громил меня, и это шло мне на пользу – я подрихтовывал свои писания, и они становились удобоваримей; но иногда он выдавал мне смертельные характеристики, после которых, не скрою, я сильно расстраивался. Например, когда я начал писать рассказы для взрослых, он, гад, врезал мне:

– Куда ты полез? Твой удел – чирикать воробьём, а ты решил запеть иволгой! (Вот так сразу поставил меня на место.)

Крайне редко я слышал от Мазнина слова одобрения – опять музыкального свойства, типа:

– Есть просто звук, а есть звук с вибрацией. У тебя с вибрацией.

А на моё шестидесятилетие в Нижнем буфете ЦДЛ Мазнин, словно патриарх, встал с рюмкой водки и гаркнул:

– Тихо! Я буду говорить!

Он произнёс впечатляющую речь (разумеется, с патетическими замысловатостями) о значении литературы в наше время, закончив словами Лескова: «Мы не продавались ни за какие деньги». Обо мне сказал всего одну, но сильную фразу:

– Лёнька никогда не служил жёлтому дьяволу!..

Понятно, и ругательства, и похвала особенно врезаются в память, ведь их слышишь не каждый день. Например, мои рассказы о животных поэт В. Устинов назвал «милосердной прозой», а редактор И. Жданов эти же рассказы – «схемами». Бывает, на тебя выливают коктейль из противоположных понятий. Как-то поэт Ю. Шавырин сказал мне:

– Пишешь длинно и всё разжёвываешь, но вообще интересно. И фамилия у тебя хреновая, возьми псевдоним.

А мой друг поэт Эдуард Балашов, как мне передали, отругал меня «за безбожье», но назвал «скрытым гением». (Ясно, он так не считает, просто склонен к мощным выражениям.) Короче, литераторы швыряют копья направо-налево, совершенно не заботясь о жертве, а в тебе потом эти копья сидят, как занозы.

Мазнин, бесспорно, яркая индивидуальность, ключевая фигура в отряде детских писателей, фигура – та ещё! – но одним особенно резко отличается от всех – своей филантропией. Он постоянно кому-то помогает, покровительствует молодым и даже возится с явными графоманами. Когда у него появляются деньги, он тратит их, не считая, и тратит красиво: ему ничего не стоит купить костюм рабочему ЦДЛ Пал Палычу, отдать незнакомому человеку гонорар, который получил за вышедшую книгу (Воробьёву); бывало, выпьет – и каждому встречному суёт десятки-двадцатки. Когда пьяный водитель разбил мой «москвич», не кто иной, как Мазнин, бросил нашим общим друзьям клич – «Надо скинуться Лёньке хотя бы на поддержанную машину».

Ко всему, Мазнин совершил почти подвиг: откопал в библиотеках десятки репрессированных и забытых литераторов. Ну а с теми, кто добился высот, у него особый разговор – они не дождутся от него потока хвалебных слов, в лучшем случае – пару фраз, зато сполна услышат критики. Он ругал и Чуковского, и Маршака:

– Чуковский был злой старик. Никого не любил: ни детей, ни писателей. А Маршак... Если у Маршака отнять английскую поэзию, от него ничего не останется.

Особенно его раздражают популярные поэты-эстрадники – их он называет «шушерой», а пародистов – «паразитами на теле автора» (художник Л. Токмаков выражается ещё резче: «Пародисты – трупоеды, которые выискивают огрехи авторов»). Но, как ни странно, Мазнин хвалил Хармса, называл «Маяковским в детской литературе».

Много лет Мазнин был примерным мужем и заботливым отцом и не зря слыл счастливецом. Но вдруг на него посыпались удары судьбы: жена совершила проступок, и он ушёл из семьи (позднее вернулся, но, понятно, всё уже было не то), внезапно умер старший брат, за ним – мать; дочь не поступила в институт, вышла замуж, но вскоре вернулась домой с ребёнком. Потом Мазнин где-то раскритиковал литературных генералов (в том числе С. Михалкова) и евреев (хотя сам наполовину еврей), и его перестали печатать, но он из породы стойких, не сломался.

Я помню похороны его матери... Мы приехали в подмосковную деревню на берегу Москвы-реки. День был солнечный, жаркий. Покойную должны были отпевать в церкви, и, в ожидании священнослужителей, мы с Мазниным закурили и прошлись по деревне.

– Здесь полдеревни носит мою фамилию, – сказал он. – Здесь прошло моё детство. По этому дубу я лазил мальчишкой, в этом пруду удил карасей... На этом месте почтальон вручил мне похоронку на отца.

Мы подошли к палисаднику, где какая-то старуха, дальняя родственница Мазнина, рвала цветы для покойной.

– А вот отсюда мой дед стрелял в царя, когда тот плыл на пароходе, – сказал Мазнин, но старуха сразу на него шикнула:

– Тише ты! Разве ж об этом можно говорить!

Мы свернули на кладбище, и Мазнин, кивая то налево, то направо, подробно рассказывал об умерших родственниках.

– А сюда положим мать, – он показал на свежевырытую могилу. – А рядом место для меня... Есть люди, которые чуть ли не со дня рождения готовятся к смерти и никогда не забывают о ней, и попусту не тратят ни минуты, и пекутся о своём здоровье, стараются продлить жизнь. Смешно! Ведь всё живое должно умирать в своё время.

Мазнин всегда жил на износ, не экономил ресурсы здоровья, смоллил папиросы, глушил водку – делал всё, чтобы сократить жизнь. После смерти брата и матери вообще впал в крайность: составил завещание, привёл в порядок архив – ясно, это было подведение итогов, настрой на тот свет (я всё боялся, что он и гроб себе закажет, и начнёт думать, как бы покрасивей уйти из жизни). Однажды в застолье спрашивает:

– Вы знаете, где лежат умершие поэты?

– На кладбище, где ж ещё? – усмехнулся поэт Владимир Дагуров.

– Не-ет. Они лежат в искривлённом пространстве.

И такие загадки задавал Мазнин. В те дни он то лихорадочно писал стихи, то ударялся в романтические приключения и устраивал их одно за другим, торопливо, как бы навёрстывая упущенное. Случалось, увидев мельком какую-нибудь женщину, совсем терял голову и, забросив всё, уезжал, сумасшедший, с ней в Таллинн или Ригу.

– Вот чудо! – восклицал. – Встречаешь незнакомую женщину, и она кажется совершенством, и сразу отдаёшь ей душу!

Как-то выходим из Пёстрого зала, прилично нагрузившись, направляемся к гардеробу, а там две наши окололитературные дамочки, которые только что сидели за нашим столом, кидают монету – кому провожать Мазнина.

– Да вы что, – говорю, – поделить не можете?

– Но ведь он гений! – в один голос отвечают дамочки.

Кажется, в тот же вечер и сам Мазнин, идиот, это подтвердил:

– Все вы дерьмо, а я гений!

Слово в слово повторил бессмертное изречение Авсарагова – они, недоумки, словно сговорились. И что на него нашло? До этого бережно относился к друзьям – для каждого находил добрые слова, а тут вдруг с чего-то накрутил себя, и его занесло – я прямо содрогнулся от его выпада. Позднее он немного понизил себя в табели о рангах:

– В детской литературе в первом ряду Чуковский, Маршак, Барто... Во-втором Берестов, Токмакова.. Мы в третьем ряду – Кушак, я, Коваль, Яхнин (нас с Тарловским не упомянул – видимо, по этой классификации мы в четвёртом ряду, а может, и ещё дальше, болтаемся где-нибудь в конце табели).

Как-то в вагоне метро мы с Мазниным разбирали чью-то рукопись (ехали в ЦДЛ). На «Баррикадной» выходим, Мазнин останавливается, оборачивается.

– Смотри, какая женщина сидела напротив нас.

Я смотрю – действительно, симпатичная особа смотрит нам вслед, улыбается. Мазнин машет ей, зовёт с нами. Двери закрываются, состав отходит, женщина всё смотрит на нас, улыбается.

– Эх! – вздохнул мой друг. – А ведь она могла бы изменить всю мою жизнь.

Что удивляло – Мазнин, осёл, не мог влюбиться в нормальную женщину – непременно в какую-нибудь несчастную, с изломанной судьбой. Такой была немка Валентина, вертлявая редакторша с телевидения,

которая слишком придавала значение украшениям – они, по её словам, «несли эстетическую функцию». Она невероятно гордилась своим происхождением, постоянно искала повод блеснуть эрудицией и не говорила, а вещала какие-то фразы из сентиментальных романов и пыталась читать свои стихи, но Мазнин, молодец, её останавливал. Как-то нам пояснил:

– Жена Пушкина тоже писала стихи, но Александр Сергеевич говорил ей: «Читать твои стихи не буду, свои-то надоели».

Нервная, раздражительная немка то и дело падала в обморок, и Мазнин постоянно вызывал неотложку. Только однажды я заметил, что она попросту ловко имитирует обмороки. Почему-то они случались с ней каждый раз, когда Мазнин подолгу разговаривал с другой женщиной.

Потеряв голову от этой пустозвонки, Мазнин поступил честно (если здесь уместно это слово): привёз её домой знакомить с женой и дочерью (кстати, и в этом эпизоде немка хороша: для чего поехала – непонятно). Жены Мазнина дома не было, а дочь, узнав, в чём дело, фыркнула и ушла в другую комнату. Мазнин взял костюм и книги и переехал к немке. Мы, его друзья, естественно, обрушились на него с негодованием и требовали, чтобы он вернулся в семью.

– Тоже мне, моралисты! – громыхал Мазнин. – И кто мне это говорит?! Отпетые гуляки! Мерзавцы! (Этим словом он одаряет только близких друзей и произносит его смачно, растянуто, роскошным баритоном). Ну ясно: лучшие радетели нравственности – бывшие бабники и разные председатели обществ трезвости, вроде С. Гагарина (никчёмный прозаик) – бывшие алкаши! Пошли вы на х...! Жена моя – дура и предательница. Она, как жена Гёте, не прочитала ни строчки из всего, что я написал. Мерзавка! А Валя меня сразу оценила... По-настоящему меня может оценить только такая женщина – тонкая, интеллигентная... У нас отношения на высоком интеллектуальном уровне. К тому же я наконец-то встретил хорошую собутыльницу, – с улыбкой добавлял он.

В те дни жена Мазнина по телефону звонила то мне, то Тарловскому:

– Что вы его выгораживаете?! Он сумасброд, псих ненормальный!.. Может два дня пролежать, отвернувшись к стене!..

А то и похлеще:

– Что вы его оправдываете?! Это такая двуличная сволочь! Он обо всех вас такое говорил!

Надо сказать, подобные многосложные и яркие романы – существенная часть нашей жизни, и я не собираюсь их скрывать (позднее и себя выверну наизнанку, устрою себе самосуд), но и особенно смаковать их не стану; к тому же эти романы были так давно, что уже не вызывают раздражения даже у наших жён, а другим и вовсе не интересны; я рассказываю о них только для того, чтобы вновь ощутить атмосферу того времени.

Почти каждый вечер я выпивал с Мазниным и Кушаком в ЦДЛ, а после его закрытия мы шли к Пал Палычу, рабочему ЦДЛ (колоритнейший выпивоха), благо он жил в двух шагах. Или нас приглашали к себе какие-нибудь любительницы поэзии. То было замечательное время – его нельзя втискивать в очерк, оно тянет на целый роман.

Жена Мазнина – злая особа с лицом кинозвезды. Она работает литературным редактором (и вроде неплохо знает русский язык, поскольку несколько раз в компании по делу поправляла высказывания мужа); казалось бы, она должна понимать, что творческим людям необходимо общение с друзьями, но она не понимает и всеми силами делает из мужа затворника, обедняет его жизнь. Стоит кому-нибудь из друзей позвонить, как она сразу бестактно:

– А зачем Игорь тебе? А его нет, и, когда будет, не знаю (но в трубке слышен голос Мазнина).

Мне иногда строго добавляла:

– Как он с тобой встретится, обязательно напьётся и попадёт в историю. С тобой связаны одни неприятности.

По словам Авсарагова, она называла меня «законченным алкоголиком». Хотя, когда ей была нужна моя помощь (чтобы я на своём драндулете перевёз их на дачу или принял внучку в изостудию), в её голосе звучали почти ласковые нотки.

Не друзьям – просто знакомым мужа она может отчеканить:

– И не звоните больше! (Чтоб не разрушали их тихое счастье).

Недавно Штокман рассказывал:

– Я позвонил просто узнать самочувствие Игоря, поговорить, а она, не зная, кто я, хамски отчитала меня и швырнула трубку. Что за стервозность?!

Жена оберегала Мазнина от случайных романов и выпивок, тряслась над ним, детиной, как клуша над цыплёнком; когда у него случались загулы, разыскивала его, притаскивала домой, отпаивала

травмами, ставила компрессы. Бывало, приезжала в клуб и уговаривала Мазнина ехать домой, а если он не соглашался, садилась рядом и незаметно, страшно морщась, выпивала его водку, чтобы ему поменьше досталось. Она заботилась о нём по-настоящему (что похвально), только напрасно грубила его друзьям, наивно, по-бабьи считая, что они спаивают её «Игоряшу». Между тем он накачивался с кем угодно: около дома у ларька с местными забулдыгами, на вокзале с транзитниками и бомжами, при этом всем читал стихи. Известно: если человек хочет выпить, он выпьет, а не хочет, насильно ему в рот не вольёшь.

Позднее жена Мазнина свыклась с тем, что муж время от времени заводит любовницу, а в него внезапно вселился комплекс вины.

– С женой и любовницей сложность одна – два раза приходится ужинать, – шутил Шульжик. – Ведь если не поешь дома, жена заподозрит неладное.

Но Мазнин терзался тем, что обеих женщин делает несчастными. Мы-то, его друзья, были уверены в обратном: что и жена, и любовница высасывают из него все соки. В конце концов Мазнин выбрал лучший вариант – снял комнату и в уединении написал неплохие стихи.

Последней возлюбленной, актрисе-неудачнице Неле – смазливой девице, приехавшей из провинции, Мазнин обставил квартиру, собрал библиотеку. Он совсем потерял голову от актрисы (называл её «цветком на пляшущей воде»): возил её в Прибалтику и на юг, устроил на съёмки фильма, написал для неё пьесу. До Мазнина актриса была никто, с ним приобрела известность, но эта перемена не прошла даром – в её отношении к Мазнину появилась небрежность, некое превосходство: она упрекала его за то, что он «топчется на месте» и за полгода написал «всего два стихика», – известное дело, какой бы горожанкой ни стала девица из провинции, рано или поздно проявится её суть, Золушки бывают только в сказках.

Однажды мы собрались у актрисы, так она, крохоборка, для выпивки на стол поставила одноразовые бумажные стаканы, в то время как в шкафу красовалась дюжина хрустальных рюмок.

Как-то в клубе в пик своего разрушительного настроения эта штучка вообще выкинула плебейский номер – отчитала официанта за «чай с чайнками» и, хлопнув дверью, ушла.

– «Два стишка» – это ладно, а вот «чай с чайнками» – это дело серьёзное, – горько усмехнулся Мазнин.

А я вспомнил, как неделю назад зашёл в ресторан «Минск», где руководителем ансамбля был мой приятель, пианист Борис Акимов. Мы взяли по рюмке водки, сели за оркестрантский столик, и в этот момент в ресторане появилась делегация американцев во главе с Фордом.

– Они подписывают какой-то контракт с нашими деятелями, – объяснил мне Акимов. – Каждый вечер у нас ужинают.

В тот раз американцам, как всегда, накрыли стол на десять персон, а их пришло двенадцать. Метрдотель растерялся, засуетился – «Что ж делать?» – спрашивает. А один американец – высокий, седой – «Чепуха, – говорит, – сейчас всё устроим» – и пододвинул стол, стоящий рядом; пошёл на кухню, притащил тарелки, вилки.

– Кто это? – спросил я у Акимова.

– А это и есть Форд.

«Вот что значит настоящая, врождённая культура, – подумалось. – Они опускают разные условности и выше всяких чайнок».

Все наши любовницы уже в прошлом, и за давностью времени мы говорим о них спокойно. Иногда и в компании с жёнами не держим язык на привязи, ударяемся, дуралеи, в романтические воспоминания, приукрашивая события и подтрунивая над собой. Жёны в курсе всего и принимают нас такими, какие мы есть, только посмеиваются над нами, старыми бабниками.

Много в чертяке Мазнине отличных качеств; например, однажды, будучи выпивши, на вечере памяти Барто он бросил вызов сильным мира сего, бесстрашно сказал правду в глаза и Михалкову, и Алексину (по делу прочистил их, да так, что сам испугался своей смелости), после чего Кушаку приходилось всячески оправдывать его перед литературной властью.

Ещё раньше Мазнин примкнул к поэтам В. Лазареву и Т. Глушковой, занимающим антиссионистские позиции (хотя Лазарев сам еврей, он боролся с еврейской корпоративностью; в частности, воевал с поэтами-песенниками Пляцковским, Резником; но позднее всё же эмигрировал в Израиль). Понятно, за эту праведную деятельность многие евреи повесили на Мазнина ярлык «антисемит», что жутко далеко от истины – на самом деле он антиссионист.

В Мазнине силён дух противоречия. Стоило мне похвалить какого-нибудь литератора, как он разделявал его под орех (он умелец по этой части); если я начинал ругать, он восхвалял до небес. Я уже говорил: при советской власти он открыто поносил партию; взяла власть «демократы» – стал костить «демократию»:

– Ленин и Сталин всё-таки были созидателями, а эти разрушители.

В мою изостудию ходила дочь Мазнина, а позднее и внучка. В свою очередь, Мазнин ко мне относился как к своему ученику. Ему очень не понравилось, что меня стали печатать во взрослых издательствах. Он даже буркнул:

– Хорошо писал, мерзавец, пока не почувствовал себя мастером.

Он, дурень, совсем сбрендил – хотел, чтобы я и в пятьдесят с лишним лет оставался подмастерьем, не чирикал больше, чем он позволит. Сам-то он почти остановился (за последние годы мало чего стоящего написал – ударился в политику), а мы все, хоть и со скрипом, но всё-таки двигались вперёд. Теперь-то он, старый брюзгач, – только подобие того великолепного бунтаря Мазнина. Теперь он не разглагольствует о своей гениальности – ударился в другую крайность:

– Пусть я не написал ничего значительного, но я никому не делал подлостей.

Говорят, стихи Мазнина – так себе, «дребедень», и после него мало что останется.

– В какой-то степени Мазнин – дилетант в литературе, – как-то сказал М. Тарловский.

Ну, ясно, в высшем смысле Мазнин не творец. Он начитан, прекрасно чувствует слово, звук, интонацию, он блестящий редактор, но своего, самобытного выдал – кот наплакал: несколько тонких книжек стихов, написал две пьесы с Шульжиком, либретто оперы «Похищение луны» (шла в Большом театре), пьесу для театра зверей Дуровой (специально для своей актрисули; там была роль лесной Дианы, девушки-лекаря зверей, но эту роль хапнула старуха Дурова – играла девушку, да ещё в полупрозрачном платье! И главное – не платила Мазнину за песни, которые использовались в спектакле) – за сорок лет работы всё это не ахти какой багаж, зато Мазнин многим, очень многим дал мощный творческий заряд (по сути, он любого может вдохновить на подвиг – такова сила его убеждений). Для меня он, без преувеличений, – катализатор духовной энергии. Так что он напрас-

но занимается самобичеванием. Но уж таковы старческие причуды. У Мазнина одни, у каждого из нас другие.

Однажды Мазнин сообщил, что мой рассказ вставили в учебник для третьего класса «Родное слово» (да ещё – умора! – вроде между Пушкиным и Тургеневым).

– Теперь разбогатеешь, – сказали в ЦДЛ дружки. – Учебники издают миллионными тиражами.

Но только я размечтался, куда потрачу богатство, как меня охладил Мазнин:

– Не разбогатеешь. За учебники не платят.

Не так давно в издательстве «Алтей» Мазнин пробил своё стихотворение (отдельной крохотной книжкой) и предложил мне сделать иллюстрации. Во главе издательства (как и во многих других новоиспечённых) стояли супруги-дельцы, далёкие от литературы, книга для них была обычным товаром. Понятно, они смотрели на иллюстрации как баран на новые ворота. Вначале просили поменьше цвета, чтобы книга была дешёвой, потом побольше цвета, чтобы была продажной. Я переделывал два раза, без договора и аванса, ради Мазнина, но, когда издатели захотели увидеть и третий вариант, сказал:

– Закажите кому-нибудь другому.

Зная, что моё решение окончательное, Мазнин вдруг насел на меня: и рисунок не по теме, и цвет не тот (и какая муха его цапнула?) – долдонил о том, в чём мало смыслил; выслуживался, остолоп, перед «хозяевами»; старался выглядеть требовательным автором. Он готов был стереть меня в порошок, предать нашу дружбу ради каких-то торгашей, не понимал, туполобый, что они попросту не хотят его печатать (в конце концов эту книженцию так и не напечатали). В общем, вёл себя довольно стервозно, и, когда мы вышли на улицу, я всё ему выложил.

– Ну ладно, не сердись, – обнял меня этот хитрец. – Ну завёлся я немного, что ж с того?!

Он умеет, гад такой, успокоить (с обезоруживающей улыбкой), всё свести к пустяку (выйти сухим из воды), ведь уже давно приготовился распрощаться с этим миром (к «архиву» добавил письма), он и выпивает-то с каким-то безнадежным отчаянием, а потом ночами корчится от болей, стонет, хрипит (не раз ночевал у меня, и я знаю, о чём говорю); дня три-четыре приходит в себя. Мы уже стараемся

не выпивать с ним, запойным, чтобы он так сокрушительно не болел, хотя и сами после выпивки глотаем таблетки, ведь уже на всех навалились болезни. Но он-то нам больше нужен, чем мы ему, – он-то генератор идей в нашей компании.

Теперь старый лис Мазнин начинает издали; звонит и вздыхает:

– Я тут должен съездить в издательство, кое-что отвезти, получить небольшую денежку, но пить не будем. Только по чашке кофе. Просто посидим, поговорим, давно не виделись...

Встречаемся у метро, и он – жалобно так, словно мальчишка, шмыгая носом:

– Зайдём в магазинчик, купим бутылочку пивка. Всего одну... или по одной...

Заходим, он говорит продавщице про пиво и, немного помявшись, тише добавляет:

– ...И бутылку водки.

Напоминаешь ему про уговор, говоришь, что выпьешь с кем угодно, только не с ним, что не можешь брать грех на душу, а он успокаивает:

– Всю пить не будем, только мерзавчик, самую малость, по грамм-мульке, даю слово...

Естественно, в ЦДЛ заводится, подсаживается то к одним, то к другим – ему все рады (это называется «Игорь пошёл по столам» или «пошёл странствовать»). Прячь не прячь от него бутылку – он своё наберёт и уже, развесёлый, «строит храмы». И, даже будучи сильно пьяным, говорит прекрасные вещи и чисто, его язык никогда не заплетается, и голова работает как надо, а выходя из ЦДЛ, отмечает каждую красивую женщину, по-прежнему в каждой видит чудо – подходит, приглашает в наш клуб...

Случалось, выпивши, Мазнин попадал в переделки. Однажды в загородном кафе Голицыно нагрубил собутыльникам, его избили, и он долго отлёживался в больнице. В другой раз грохнулся и сломал руку. А то и вовсе выкинул номер: жена заперла его в квартире, чтобы не ездил в ЦДЛ, но, если он на что намылился, его не остановить – он, тучный (стокилограммовый) и малоспортивный, решил прыгнуть с балкона (со второго этажа), свалился, как мешок с мукой, и повредил позвоночник – месяца два ходил в корсете. Такой отважный мужичок.

«Демократы» поставили нас в трудное положение; теперь, бывает, мы с Мазниным сдаём бутылки, чтобы купить курево, а недавно мой

друг в библиотеке «Ленинке» решил выпить стакан чая с бутербродом, ему не хватило денег, и он протянул буфетнице жетон на метро. Вот до чего нас довели! В середине «реформ» Мазнин ещё хорохорился, уверял, что всё изменится, что «демократы» долго не продержатся. Я спорил с ним:

– Продержатся! Ведь просто так власть не отдадут. Пока во власти и около неё не видно ни одного порядочного человека.

– Всё изменится, вот увидишь, – повторял Мазнин. – А мы с тобой молодцы: не продались, не заигрывали с властью, остались самими собой.

Последнее время старикана Мазнина мучают больные ноги, давление; его некогда могучее тело стало дряблым, рыхлым, и, повторяю, от прежнего бунтаря, всезнающего оракула и оптимиста только и осталась его улыбка, но и она уже тусклая.

Год назад, с наступлением нового века (надо же! – мы дожили!) мой старый друг внезапно выдал скептическое пророчество:

– Уже точно ничего не изменится. Всё! Издам свои взрослые стихи и больше писать ничего не буду. Останусь писателем прошлого века.

Ничего себе заявочка! Останется писателем прошлого века! Да останется десяток фамилий, не больше; остальные сгинут, как засохшая трава. Вот фокус – уже старый мерин, а никак не избавится от тщеславия. И потом «больше писать ничего не буду» – можно подумать, писал (за все последние годы только и сделал пьесу для кукольного театра, да и ту с Тарловским, при этом заявил соавтору: «Теперь утру нос Сергееву», что прозвучало каким-то жалким самоутверждением). Кстати, взрослые стихи он собирается издать за свой счёт; этих стихов у него с полсотни; кое-что мне читал – неважнецкое (ведь теперь у меня к нему такие же требования, какие были у него ко мне тридцать-сорок лет назад).

И всё же, хочется верить, что Мазнин взбрыкнёт и что-нибудь напишет – ну, если не стихи, то современную историю России (не зря же столько лет собирал материал) или воспоминания о встречах с замечательными людьми, – и этой прозой утрёт нос многим прозаикам. Кто знает, может, втайне и пишет.

Конечно, и теперь наши редкие встречи с Мазниным проходят за насыщенными разговорами, но, хоть лопни, меня гложет ностальгия по семидесятым-восьмидесятым годам, когда он был нашим идейным

вдохновителем, когда он, неугомонный, бурлил, и от него раскалялся воздух, когда казалось – уж он-то точно может осчастливить весь мир. Помнится, тогда ради встречи с ним я забрасывал самое романтическое свидание. Собственно, я и сейчас выбегаю из дома по первому его звонку, а вот от него, чёрта, частенько слышу:

– Давай на следующей неделе, дела, да и плохо себя чувствую...

В самом деле, ему тяжело – мучают болезни, да ещё приходится сидеть с правнуком, которому чуть больше года. Но всё же мог бы изредка выбираться к друзьям, тем более что по большей части занимается ерундой: с ещё большим усердием, чем раньше, влезает в политику (читает газеты, делает выписки), смотрит по «ящику» все футбольные матчи. Как-то мне сказал:

– За последние пятьдесят лет у нас было два гения – футболист Стрельцов и постановщик опер Покровский.

Такой странный набор, точнее, вычурный ляп.

Год назад Мазнин составил и издал за счёт спонсора ценный сборник «Православная поэзия», а за собственный счёт – свои детские стихи. Время от времени он копается в домашней библиотеке – отбирает стихи для сборников разных издательств, зарабатывает на ремонт квартиры, хотя когда-то был свободен от бытовых забот и написал, обращаясь к жене: «... мы только и сможем с тобой унести своё отстучавшее время». Недавно заявил:

– Если б не собаки, вообще не выходил бы из дома (у него, как и у меня, две собаки).

Похоже, Мазнин настроился оставшиеся годы провести за рабочим столом, за телевизором, газетами и болтовнёй с женой. И это бывший мятежник, душа компаний, поэт с фантастическим обаянием! Что ж получается – начинал жизнь, думая о всём человечестве, а заканчивает в заботах о домашнем уюте? И неужели он не понимает, что в нашем возрасте общение с друзьями – наиглавнейшее занятие, что нам его, старого хрыча, сильно не хватает? Боится выбираться в ЦДЛ? Боится, напьётся и потом будет чувствовать себя поганом? Но мы-то тоже не железные, у нас тоже болит всё, что может болеть, болезни наваливаются угрожающими темпами. Он не встречается даже с Шульжиком, который не так часто бывает в России, а ведь когда-то они вместе снимали комнату и в соавторстве писали пьесу, и вообще крепко дружили. Буквально несколько дней назад Шульжик сказал мне:

– Я уже несколько лет не виделся с Игорем. Вчера позвонил ему, договорились встретиться в ЦДЛ, он не пришёл.

– Игорь уже лёг в гроб, – безжалостно заявил журналист Сергей Шмицько.

Думаю, Мазнин просто стал мало дорожить дружбой с нами, ведь если бы ему позвонил Куняев или Евтушенко, он понёсся бы к ним, как вздрюченный конь. И ещё думаю, в нашем друге произошел какой-то надлом; и не только потому, что перевернулась вся наша жизнь, и даже не потому, что у него был успех, деньги, какое-никакое положение в литературе, а сейчас ничего этого нет, но и потому, что он как поэт не забрался на ту вершину, которую себе наметил; не то что он разуверился в себе, но всё же понял – для той вершины у него силёнок маловато. Хорошо, если я ошибаюсь и, повторюсь, втайне он катает что-нибудь этакое, а с друзьями не встречается, чтобы не срываться и успеть закончить свой титанический труд.

В заключение приведу свой отзыв для журнала «Детская литература» на последнюю книгу Мазнина. Эта заметка не напечатана – (журнал перестали выпускать), я написал её совершенно искренне – то, что думаю.

Есть люди крайне редкого дара, которые даже в пасмурные дни за облаками видят солнце, другими словами – не сгущают неприятности и в трудном положении не впадают в уныние. Но главное, они заражают окружающих оптимизмом, вселяют в них надежду на лучшее. Такие люди и в творчестве делают акцент на положительное в мире, что, как известно, гораздо труднее, чем подчёркивать отрицательное. Этим даром отличается поэт Игорь Мазнин.

Среди литераторов молодого поколения сейчас немало последователей формалистического метода; на фоне этих эпатажных выкрутасов особенно выделяются безыскусные стихи Мазнина, истинно детского поэта, который пришёл в литературу не для самоутверждения, а по призванию, исключительно из-за любви к детям, природе и животным. Именно поэтому его стихи несут добро (восторг перед красотой природы, радость открытия, весёлое озорство). И не случайно во многих его стихах присутствует солнце – как же без него жизнелюбу, поэту со светлым взглядом на жизнь!

Сейчас, во время разбойничьей демократии, детскую литературу заполнили всякие динозавры, монстры, вредные советы, которые

дают ребёнку ложные ориентиры и несут разрушительную энергетику. Сейчас немало литераторов, которые приспособились к новым обстоятельствам. Одни, уподобляясь эстрадникам-массовикам, выдумывают всякого рода развлечения. Другие делают адаптации, выжимки – беззастенчиво кромсают классику. Мазнин остался верен себе, остался продолжателем традиций великой русской поэзии для детей, гуманной и высоконравственной.

Мазнина вообще можно назвать хранителем классического наследия. Будучи в высшей степени литературным человеком, он собрал недюжинную коллекцию детской литературы. Одно время даже выпускал журналы «Ванька-встанька», «Славяне», где печатал забытые и малоизвестные стихи наших знаменитых предшественников. В последней книге «Удивительный слон», которую Мазнин издал за свой счёт, собрано почти всё, что поэт написал для детей. Перечитывая стихи, нетрудно заметить, что Мазнин не просто литератор, овладевший некоторым ремеслом, – он поэт, создавший свой мир. Его стихи узнаваемы, а за строфами виден добрый, искренний автор. Уверен, что стихотворения «Посмотри, как день прекрасен...», «Как я счастлив...», «Ходит дождь по переулку...», «Зимний день» должны быть представлены во всех детских энциклопедиях.

ЧОК! ЗАМЁТАНО!

Мой поразительный друг Юрий Кушак на фотографии вроде бы улыбается, но глаза холодные – такая сложная игра чувств на лице вызывает некоторое замешательство. Кушак от трёх жён имеет наследников (все ходили в мою изостудию) и общается с ними (одно время его последняя жена Анна собирала у себя бывших супругов с детьми – и жёны, и дети меж собой находились в дружеских отношениях; бывало, собирались и без главного героя). Одни жёны считают Кушака талантом и эгоистом, другие демонизируют – называют негодяем и гением, но все носят с собой его фотографию и сходятся в одном: у него характер твёрдый, как чугун, в словах бронза и сталь, и внешне он похож на Бельмондо (надо понимать – имеет смертельную красоту).

Мы познакомились лет сорок назад, это было – страшно сказать! – в прошлом столетии. Как-то Мазнин, ещё работая в «Детском мире», сказал мне:

– Сейчас познакомлю тебя с поэтом Кушаком. Я ему уже говорил о тебе. У вас много общего. Сейчас поедем в пивбар Домжура, он там отмокает, ждёт нас.

Как только мы спустились в подвал-пивбар, от шумной компании отделился невысокий человек, действительно похожий на Бельмондо. Он обнялся с Мазниным, а мне крепко пожал руку.

– Я видел твои работы и много слышал о тебе, – сказал низким поставленным голосом (магия его голоса действовала безотказно; особенно на женщин – те просто балдели).

У нас оказались схожие биографии: мы были одногодками, оба помнили войну и эвакуацию, в одно и то же время служили в армии, одновременно связали свою жизнь с литературой, и наши пути не раз пересекались в квартирах неформалов, но так вышло, что раньше не познакомились; мы в один год женились и, словно сговорившись, через три года развелись. Выясняя всё это за пивом, мы смолили сигареты, и Кушак рассказывал:

– У меня отличная дочка – Наталья. По воскресеньям навещаю её к ней. У них дача... Как-то приезжаю с последней электричкой. Устал жутко... думаю, переночую на террасе, а утром схожу с дочкой в лес... И надо ж! На станции она встречает меня с приятелями... Да!.. А ведь я для дочери кто? Волшебник! Могу сделать чудо!.. А среди её приятелей стоит Вовка-шкет. Он ни во что не верит... «Пап, сделай чудо, – говорит Наталья. – Вовка не верит, что ты можешь». Я чувствую, они уже давно обо всём переговорили. И на карту поставлено много – вера Натальи... «Чудеса, – говорю, – так просто не валяются. Это редкая штука». Вякаю что-то. «Ха-ха», – усмехается Вовка. Заело меня. «Чок! – говорю. – Сейчас я устал, а завтра... утром будет вам чудо. Только чтоб рано встали, по рукам?!» И что думаешь?! Я не поленился, с первой электричкой покатил в зоомагазин, купил аквариумных рыбок, привёз в полиэтиленовом пакете, залез на дерево в лесу, привязал к суку. Потом ещё конфеты положил под грибы... В семь утра идём с Натальей будить Вовку... Открывает его мать: «Он спит», – говорит и смотрит на меня, как на бандита... Ну а видок у меня был тот ещё!.. Ну тут Наталья заступилась: «Это мой папа», – говорит. Так... Вышел заспанный Вовка... «Пойдём

чудо смотреть», – говорю. Пришли на поляну, а там! Солнце всходило и переливалось в пакете, а рыбки играли!.. Я сам-то смотрю – чудо!

Вот так Кушак сразу и околдовал меня. Но через пару месяцев я прочитал книгу Разумневича, где один к одному была описана эта история. При встрече спрашиваю у Кушака:

– В чём дело?

А он, стиснув зубы:

– Значит, слизал, гад, у меня!

До сих пор для меня загадка – кто у кого украл.

Одно время мы с Кушаком виделись ежедневно, благо жили на соседних улицах в районе «Водного стадиона». Он приходил ко мне, я – к нему, или мы встречались в ЦДЛ, вели жаркие споры о литературе, смотрели по телевизору футбольные матчи, играли в шахматы, ну и, само собой, встречались с женщинами.

В те годы Кушак неделями не работал, долго раскачивался, ждал вдохновения, но потом за один присест выдавал серию стихотворений. Его творения литераторы воспринимали по-разному; одни считали их «классными», другие – «заурядными, проходными», третьи говорили, что в них «есть сделанность, но нет лица». Кушак – профессионал, ничего не скажешь, зрелый мастер. Помню, он одновременно писал стихи, тексты песен, делал переводы – и всё на уровне, как надо. В период работы выглядел отрешённым от всего земного. Зайдёт в клуб для короткой передышки, но слушает рассеянно, отвечает сбивчиво, невпопад. В такие дни был небрит, небрежен в одежде, угрюм; на всё окружающее смотрел как на преходящую суету, мелкие трепыхания. Потом, закончив работу, появлялся гладко выбритый, наутюженный, с улыбкой и пронизательным взглядом; друзьям отпускал острые словечки, с женщинами был щедр, снисходителен, великодушен. В такие дни он без усталости крутил романы; в «Литературной газете», где он одно время работал, его звали «бабукладчик».

О своём детстве Кушак не очень-то распространялся, но сообщил, что в школе был секретарём комсомола – «всем давал втык»; как многие еврейские подростки, рано начал писать – «в каждом еврее сидит писатель»; вспоминал, как мать привела его в театр и сказала:

– Смотри, это сам Михоэлс! Запомни: ты видел великого артиста! («Михоэлс как актёр полный ноль», – говорили мне знакомые известные актёры).

– Мы жили в постоянной нужде, – говорил мой друг. – Вернулись из эвакуации, из Ташкента, отец с матерью развелись, и я и братья вечно кочевали из одного дома в другой. Месяц поживём у отца, месяц у матери. Так что я и не знаю, что такое дружная семья... у меня с детства дух скитальца.

О юности Кушак рассказывал подробней: служил на Северном флоте, на крейсере «Иосиф Сталин», с Н. Рубцовым и С. Шмитько; на стеле павшим морякам в Мурманске выбиты его стихи... Недолго учился на журфаке, потом три курса в литинституте, вместе с теми же Рубцовым и Шмитько... – он говорил неторопливо, весомо, тщательно взвешивая слова, читал наизусть стихи Рубцова. (До этого я два раза участвовал в застолье с Рубцовым. Вначале он держался тихо, даже деликатно, но после второй рюмки стал заносчивым, самоуверенным; обрывал говоривших, слишком громко читал свои стихи – вроде ошалел от славы, которая уже тогда витала вокруг него. Патриоты называли его «вторым Есениным», русофобы – «поэт татуировок».)

Кушак любит Хемингуэя – и не только его манеру письма, но и культ силы, воспеваемый мастером (одно время даже занимался боксом; догадываюсь – чтобы постоять за себя, если обзовут жидом: для него национальность – крайне болезненная тема; собственно, он и сам подтверждал, что подростком много дрался).

Понятно, в молодости Хемингуэй для всех нас был кумиром, но сейчас, в старости, трудновато понять воспевание корриды, охоты в Африке, ведь на суперменов молятся восторженные девицы, а детскому поэту (как гуманисту) это вроде бы не к лицу. Тем не менее, Кушак верен своим привязанностям; на манер папаши Хема экономно использует слова, выдаёт обрывистые («с айсбергом») фразы; его ключевые выражения – «у меня к тебе есть разговор... с этим напряжёнка... с этим полный порядок... это очевидно... это наглость... это хамство... это любопытно... это дивные строчки...».

У него во всём чёткость: чёткие мысли и внятное их изложение, чёткие работы с меткими деталями, чёткие характеристики людей, только отношения с женщинами неотчётливые. За всеми жёнами до брака Кушак ухаживал красиво, мужественно, без сантиментов; если и посвящал им стихи, то выражал чувства сдержанно, давая понять, что совершает подвиг и вообще объект любви ему нужен только как импульс в творчестве. Через два-три года совместной жизни жёны

Кушака называли его «свирепым, ворчливым» или ещё хлётче – «деспотом, который только и знает полеживать, почитать книжки, пописывать вирши, а на семейные заботы ему наплевать».

Эти дурёхи не понимали, что вышли замуж за поэта, а не за водопроводчика, что чтение – тоже работа писателя. Ну а как добытчик Кушак вообще выглядел лучше многих – у него регулярно выходили книги, и в деньгах он никогда не нуждался.

Каждый развод с очередной женой добавлял Кушаку седых волос. Однажды я помогал ему переезжать на новую квартиру и заметил – в быту он совершенно беспомощен; я вешаю люстру (вывернув пробки), а он:

– Тебя током не долбанёт?

Ясно, поэту не обязательно быть мастером на все руки, но смешно, когда мужик, служивший на флоте, не знает, в какую сторону крутить гайку, а чтобы поменять выключатель, вызывает электрика.

С жёнами, повторюсь, у Кушака отношения двусмысленные. Не раз его четвёртая жена, толстуха Елена, по прозвищу Дюймовочка, звонила мне:

– Этот подонок у тебя ночевал? Наверняка были с бабами?!

А в ЦДЛ она говорила:

– Он гений!

– А мы? – как-то робко вставил Тарловский.

– А вы... вы просто талантливые.

С пятой женой (тоже Еленой, но не толстухой, а стройной, доброжелательной женщиной) Кушак пару лет прожил мирно, но после первой же ссоры собрал за столом ЦДЛ бывших любовников жены (литераторов) и пригласил её, и весь вечер злорадно-мстительно посмеивался над неловким поведением своей благоверной – устроил жестокий спектакль. Правда, позднее об этом пожалел:

– Глупо ревновать к прошлому, спрашивать женщину о её прошлом, всё равно не скажет правду.

До пятидесяти пяти Кушака редко кто видел трезвым, он постоянно дымился от спиртного и выглядел опустившимся бродягой, который по случаю заглянул в ЦДЛ сообразить на троих. Бывало, не просыхал неделями; водка прямо-таки властвовала над ним; правда, он никогда не вырубался (частенько и бравировал своим пьянством, укреплял репутацию алкаша; ему нравилось слышать: «Еврей-выпивоха – ред-

кий случай»; он доказывал, что причастен к спиртному так же, как большинство русских литераторов).

Между его женитьбами мы с ним не раз устраивали загулы с девицами; то я приводил каких-нибудь (более-менее приличных, говорю не хвалясь), то он (как правило, каких-то невзрачных). Как-то приглашает к одним страховидным «интеллигенткам» (в комнате грязь, пустые бутылки, окурки). Я не эстет, но нечистоплотные лахудры у меня всегда вызывали брезгливость. После первой рюмки с «интеллигентками» говорю Кушаку:

– Ну их к чёрту, пойдём отсюда.

А он, идиот:

– А мне чем хуже помойка, тем лучше (действительно, в запойные дни его лучшими собутыльниками были бомжи на вокзалах, а любимым пейзажем – трущобы, – такой сдвиг в мозгах).

Понятно, в период загулов Кушака приличные люди с ним не общались, ведь когда человек падает, частенько от него и друзья отворачиваются.

Случалось, по несколько недель Кушак жил у Ольги, посудомойки ЦДЛ, и всё это время беспробудно пил, а дочь Ольги (моя ученица) приносила в изостудию от него записки: «Привет!» – и внизу солнце, тонущее в море, – условный призыв, чтобы я спасал его, помог унести ноги.

Но влюблялись в Кушака и другие женщины. В изостудию водила дочь одна переводчица, красивая женщина средних лет. По её словам, у неё был прекрасный муж: доктор наук, мастер спорта по горным лыжам; она жила в сталинском доме, имела роскошную дачу, машину, но в любой момент (даже ночью) бросала всё (даже дочь) и ехала к моему пьяному другу.

В конце концов бравада пьянством у Кушака приняла культовый характер, а потом и перешла в глухую зависимость от зелёного змия. Как-то он, пьянчуга, даже загремел в милицию; дежурный, заполняя акт, спросил:

– Кем работаете?

– Я поэт, – важно заявил наш герой.

Дежурный записал: «Мания – поэт». Слово «мания» Кушака не испугало, но всё же он решил подлечиться и по благу устроился в больницу на Шаболовке (в курортное отделение с лечебными ваннами

и направленными душами). Я навел его (кстати, я ездил в больницы и к Яхнину, и к Приходько, но когда сломал ногу и несколько месяцев ковылял на костылях, они ко мне не наведались, а ведь я жил один с двумя собаками, и стояла зима; теперь, под старость, всё это вспоминается – известное дело, все старики обидчивые). И вот, в больнице, Кушак мне говорит с всплеском радости:

– Здесь есть одна классная баба. Лечит нервишки.

Так «романтично» он и познакомился с предпоследней женой Анной. Потом от этой жены я спас его башку. Мы в ЦДЛ выпивали с какими-то девицами, внезапно влетает она.

– Грязный развратник! – и трах! – тарелку об пол.

Берёт вторую и замахивается, коза, над его головой. Я подставил руку – потом с месяц не мог держать карандаш.

С Анной Кушак прожил четырнадцать лет. Это была сумасшедшая семейка – последние годы у них шла настоящая война, неуравновешенная Анна устраивала жуткие побоища – временами мы просто удивлялись, что наш друг ещё не покойник.

– Я не могу жить один, – говорил Кушак, изобразив безмерное отчаяние, и, после развода с Анной, связался с ещё более чокнутой Юлей и долго не знал, как от неё избавиться.

Кушак – первоклассный актёр: то и дело корчит из себя литературных героев, чаще благородных и справедливых (есть актёры от природы, а есть обученные; он – из тех, кто от природы). Он может построить тёплые глазки, что-то нежно прошептать, а может изобразить ледяной взгляд и процедить слова страшным тихим голосом.

Обладая редкой, звериной интуицией и цепкой наблюдательностью, он моментально улавливает слабость человека и бьёт без промаха. К малознакомым людям подозрителен, частенько видит в них стукачей и проводит зондаж – проверяет провокационными, плохо пахнущими заявлениями, что выглядит довольно гнусовато. Как-то, ещё когда мы только познакомились, бросил мне лакмусовую бумажку:

– Не спрашивай, кто сказал. Ну якобы ты капитан КГБ.

Я усмехнулся:

– Почему не майор? По возрасту уже вполне мог быть.

Кстати, слово кэзэбэшник Кушак употребляет не только в прямом значении, иногда и для оскорблений, вместо слов идиот, кретин.

Позднее Кушака занесло в другую сторону. Он хмуро заявил мне:

– Думаю, ты встречаешься с Ленкой (с одной из его жён, с которой он перед этим развёлся).

Он наверняка был уверен, что это не так, но, будучи подозрительным и ревнивым (как все эгоисты и бабники), на всякий случай бросил пробный шар – решил проверить мою реакцию.

Кстати, подобным художественным методом воспользовался и Шульжик, когда однажды ему втемяшилось в башку, будто я кручу роман с его знакомой. Дешёвые штучки идиотов! За кого они меня принимали? По себе, что ли, мерили? Мне и своих женщин хватало – со своими-то не успевал разбираться (то одна, то другая сыпали обвинения, упрёки). А на подружек друзей (тем более всяких бывших жён) я всегда смотрел только как на приятельниц, не в пример многим из нашей команды, особенно Ковалю и Сергиенко. Не скрою, были случаи, когда меня кадрили бывшие жёны и подружки друзей, но я сразу ставил барьер. Так что если и есть у меня что-то положительное, так именно это; в чём в чём, а в этом моя совесть чиста.

Бывает, приятелям Кушак говорит то, что они хотят слышать, но всегда имеет заднюю мысль. Вроде бы искренне интересуется их жизнью, расспрашивает:

– Как дела? Над чем работаешь?

И, когда его посвящают в личные планы, почти с неподдельным энтузиазмом подогревает эти устремления, но в глубине души большинство приятелей (не друзей!) считает дураками и бездарями. Такие невинные забавы. Сколько раз я слышал его хвалу посредственности. Прочитает кто-нибудь слабые стихи, а он, дубина, беззастенчиво цедит:

– Отлично!

Как-то я не выдержал:

– Что ты всем лепишь «отлично»?! Ведь прекрасно видишь – это муть. Получается, тебе всё до лампочки... И вообще, как можно вселять надежду в человека, не имеющего к литературе никаких способностей?! Его ведь ждёт страшный удар.

– Понимаешь, не могу обижать, – вроде бы с большой горечью начал оправдываться Кушак. – Вы с Игорюней (Мазниным) можете, а я ну никак (между тем прекрасно понимает, что говорить комплименты – дело нехитрое).

Договариваясь о чём-либо с Кушаком, непременно услышишь:

– Чок! Замётано! – и подведёт. Даже в издательствах.

Однажды ему говорю:

– Что ты всех надуваешь?

Он зашмыгал носом:

– Да, понимаешь, загудел. Но тебя-то я никогда не подводил.

Такое слабое утешение (но позднее и мне досталось, и крепко).

Показателен эпизод с его дружком-песенником миллионером Пляцковским, противным типом, который своими песенками заполонил весь эфир и действительно имел миллион рублей, да ещё немало бриллиантов и драгоценных камней, которые скупил на всякий случай (если придётся уезжать в Израиль), но никогда никому не предложил даже чашки кофе. Кушак с ним одновременно вступал в Союз писателей и, в ожидании решения приёмной комиссии, они сидели в Пёстром зале. Появилась секретарша Инесса и объявила:

– Вас, Юра, приняли, а вас, Миша, отложили до следующей книжки.

Кушак изобразил немыслимое страдание, набычился:

– Это несправедливо! – гаркнул, вскочив со стула; и ещё раза два крикнул о несправедливости, пока Пляцковский (он уже заранее принёс бутылку водки в сумке, но, узнав о крахе надежд, так и не поставил на стол) не одернул его:

– Юра, остановись! Радуйся, что тебя приняли.

Кушак – первый лицемер среди моих друзей. Примеров туча, хотя бы такой: сидим на каком-то вечере, наш президент Р. Сэф молотит что-то протокольное, Кушак шепчет нам с Тарловским:

– Ромка, гад, себе делает карьеру. Для других и пальцем не пошевелит (что абсолютнейшая правда – за всё время царствования никому ничем не помог).

В этот момент Сэф говорит:

– Слово имеет Кушак.

Наш иезуит встаёт:

– Рома, дорогой, ты так много делаешь для всех нас... Если бы не ты... (мы с Тарловским чуть не подошли от смеха).

Кушак всегда старался прилепиться к классикам (понятно, сильные мира сего): долгое время обхаживал Кассиля; после его смерти заигрывал с Барто; после её смерти прыгал вокруг Михалкова – ему постоянно нужны покровители. Николай Красильников говорил:

– Кушак не просто так лънёт к Михалкову. Он хочет, чтобы тот передал ему власть над всей детской литературой.

С Я. Акимом у Кушака долгое время были натянутые отношения. Аким не раз говорил мне:

– Твой Кушак поступает подло с женщинами, не хочу даже говорить о нём (хотя сам далеко не святой).

Сейчас у них отношения более-менее сносные. Недавно Кушак на вечере Акима произнёс (как бы с густо замешанным чувством):

– Яшенька, дорогой, прочитай моё любимое стихотворение... Это хрестоматийно, я часто его повторяю... (Мы с Тарловским опять чуть не надорвали кишки).

И даже на вечере памяти С. Иванова далеко ушёл в сторону – полчаса постыдно изливал свою любовь Акиму.

– Если так лизать задницу, можно и покорять её, – сказал Шульжик.

Вот такая искусственность и фальшь у нашего друга, такое двоедушие, такая чертовщина! С одной стороны – он всё сечёт, интуиция у него, как у женщины; с другой – ловкач, дурачивший нас. Как-то прочитал одну мою вещь и несёт:

– Сейчас только Юз (Алешковский) и ты можете по-настоящему долбануть нашу систему (ни много ни мало!).

Ну не дешёвый трюк?! Я-то прекрасно знал, что Алешковского он считает выдающимся (представляет как «народного любимца»), а меня – так себе, – ну, с небольшими способностями. Кушак, олух, считает себя умней своих друзей – это его существенная большущая ошибка, самообман. Его схемы, подыгрыши раскусить несложно, даже самые вероломные, – на них попадаются только простаки – нас, матёрых, такими штучками не возьмёшь.

Но иногда Кушак поступает как образцовый друг. Он первым напечатал Тарловского в «Литературной России» и всячески опекал его, когда тот появился в Москве; хлопотал за Мазнина, убеждал чиновников в Комитете по печати, что «отличного поэта не издают»; не раз отбивал нападки на мои рукописи со стороны рецензентов.

Как-то в Пёстром на меня ополчились двое приятелей – распекали за то, что все вечера чешу языком в ЦДЛ и выпиваю со всеми подряд. Кушак твёрдым жестом остановил этих субъектов:

– Выпьем за минуты, когда Лёнька работает!

А уж что он плёл нашим женщинам, и представить трудно. Случалось, познакомлюсь с какой-нибудь красоткой, приглашаю её в ЦДЛ,

она смотрит на меня недоверчиво, нехотя соглашается. Придём в клуб, а там Кушак. Я знакомлю его со своей случайной подружкой, отхожу к буфету, а, когда возвращаюсь к столу, женщина уже сияет и смотрит на меня влюблённо и нежно. Со временем я так привык к этим магическим превращениям, что, появляясь в клубе с незнакомками, сразу выискивал Кушака и, если его не было, как правило, терпел поражение, поскольку не очень-то утруждал себя ухаживанием, вернее, делал это без вдохновения.

Но однажды и со мной Кушак поступил отвратительно. В те дни я познакомился с Ириной, которая прекрасно знала литературу (позднее она призналась, что её бывший муж – романист А. Русов). Первым делом я, понятно, пригласил новую знакомую в ЦДЛ и по пути расписал своих друзей так, что у Ирины загорелись глаза. В кафе из друзей восседал только Кушак, но он-то мне и был нужен. Оказалось, он уже знал мою подружку – вместе не раз бывали в Домах творчества. «Тем лучше», – подумал я и, спокойный за свой дальнейший роман, направился к буфету. Вернулся минут через пятнадцать – на Ирине не было лица. Кушак неожиданно сослался на дела и холодно распрощался.

– Что произошло? – недоумённо спросил я.

– Не знаю, что и сказать, – растерянно проговорила Ирина. – Вы говорили – он ваш близкий друг... Это не так... Вы заблуждаетесь...

– Что он сказал? – допытывался я.

– Не могу вам это передать...

– Нет уж, выкладывайте всё начистоту, не хватало ещё начинать отношения с недомолвок.

Негодяй Кушак успел наговорить много; суть всего – я не тот человек, за которого она меня принимает, я не способен на серьёзные отношения, и вообще: она, такая умная, интеллигентная женщина, достойна мужчины типа своего известного мужа, а встречаться с такими, как я, для неё позорно.

Вот так гнусно он и поступил, как будто давно имел на меня зуб. Его слова потрясли меня, я точно получил инъекцию яда. Повторяю: такое он отчебучил только однажды, но такие вещи не забываются – и не в злопамятстве дело – просто хорошее воспринимается как должное (иначе, мол, и не могло быть), а плохое (такого рода) выглядит дикостью. И главное, ладно бы он надрызгался – так нет, был трезв как стёклышко. Короче, наши с Кушаком отношения стали зыбкими, ненадёжными.

Спустя несколько дней, чтобы загладить вину, Кушак пригласил нас с Ириной к себе, но и там, налив глаза, выглядел хамом в одежде добродетеля – покатил на меня бочку, ляпнул – «наглецам всегда везёт», после чего мы с Ириной хлопнули дверь.

А через неделю этот прохвост звонит:

– Лёнька, милый, родной, выручай! У брата машина не заводится... Ну что ты в самом деле! Ты же мой друг... – и прочее.

Понятно, в нашем отечестве личности сложновато сохранить складистый характер (если он есть от природы), трудно быть мягкосердечным, добреньким – слишком много раздражителей, но и носить с собой ведро с ядом не годится.

Однажды мои рассказы решили издать в «Советской России»; об этом я на радостях разболтал всем друзьям. Вскоре встречаю Кушака, и он, как всегда, чеканными фразами, с преувеличенным вниманием ко мне сообщает:

– Был в «Советской России», сказал, «хорошо, что печатаете Сергеева, он отличный прозаик».

Через несколько дней в издательстве мне всыпали по первое число:

– Если мы печатаем вас, это не значит, что мы должны печатать и ваших друзей. Напрасно вы им всё рассказываете о своих делах. Приходил Кушак, сказал: «Почему Сергеева печатаете, а меня нет?»

Такую неуклюжую акцию отмочил мой друг. С годами он вообще озлобился (возможно, от выпивок), чуть что – выпускал колючки, исходил желчью, всё чаще говорил друзьям гадости (похоже, под старость всё плохое в нас становится ещё хуже); даже умудрился испортить день рождения Н. Постниковой, отравил нам весёлый настрой, когда, словно громыхало бандит, без веской причины набросился на Приходько – припомнил его давнюю рецензию на Успенского.

– Это хамство! Это издевательство! – орал, как психопат, готовый разорвать, уничтожить несчастного критика.

Тоже мне борец за справедливость! Да и кто ему дал право судить других? И потом, что за менторский тон, что за свирепое отношение к друзьям?! Что он давит на нас?! Он что, совсем безмозглый? Не понимает – на вибрации голоса далеко не уедешь? Так и хотелось его обрезать – не рычи, выпивала! Но в чём он нас, шестидесятилетних, хотел убедить? У нас у всех уже давно сложившиеся взгляды и убеждения. Выскажи своё мнение, но не навязывай его другим,

не оскорбляй тех, кто думает иначе. Он бурлил в стакане воды и, как сказал Шульжик, «напоминал царька, в царстве которого всего двое: жена и тёща». А что касается Успенского – вон он издал в своём «Самоваре» десятитомник, и книги лежат на прилавках несколько лет, никак не разойдутся.

Кушак всюду бурно прославляет Успенского, тот для него – писатель номер один (общаясь с ним, он считает, что прикасается к великому), а мы просто его, Кушака, литературные собутыльники. Себя Кушак давно вообразил классиком (правда, с маленькой буквы). Барков рассказывал:

– В сорок пять лет Кушак в Каминном зале прикрикнул на молодых литераторов: «У вас ещё сопли не просохли!» А меня принимал за «своего» и говорил что-то в том смысле, что русские – «некультурные, с ними трудно работать», и отдавал на перевод стихи евреям... Меня часто принимают за еврея. Недавно иду к сыну мимо синагоги. Один тип подходит, берёт под руку, картавит: «Поднимайтесь на второй этаж, там все ваши проблемы будут решены». «Я русский», – говорю. «А-а, ну тогда извините». (Кстати, Цыферов в шутку называл Баркова «домашний антисемит», что было далеко от истины – Барков дружил с В. Драгунским, И. Ольшанским и многими другими.)

В пятьдесят лет голос Кушака ещё больше окреп, он уже называл Мазнина слабым поэтом, Яхнина – графоманом, о Шульжике отзывался как о хорошем писателе, который «не реализовался», а о Тарловском – как об «изначально талантливом», который «уже ничего не напишет, он кончился».

Однажды, когда мы все уже подходили к пенсионному возрасту, Приходько предложил выпить за меня, сказав что-то в том роде, что я неплохо пишу и прочее. Кушак сразу расшумелся:

– Одну минуточку! Это, знаете, в Алма-Ате есть памятник местному поэту, они его боготворят, забывая, что есть Пушкин.

– Ну не пей за меня, ничего страшного, – пропыхтел я. – А вот Марк (Тарловский) за меня выпьет.

Тарловский оказался в сложной ситуации – понятно, Кушак, как соплеменник, ему ближе, чем я, но он всё же пригубил водочку.

Можно за многое ругать Кушака, ни в грош не ставить его привязанности, но нельзя не признать его литературного таланта – здесь в него трудно бросить камень; у него наберётся целая охапка не мо-

гучих, но сильных стихотворений. Такие, как «Ветла», «Первый снег, как первоклассник», «Ищет клоуна щенок», «Приглашение на уху», «Про белых и бурых медведей» (некоторые его стихи я иллюстрировал в журналах). Этими вещами старина Кушак, бесспорно, увековечил себя и может умирать спокойно. Но с годами у нашего героя угасла творческая энергия; издавая одну книжку за другой, он ничего нового в них не привносил и вообще, казалось, писал без особого воодушевления, выезжая на одной технике.

– Это не рост, а размножение, – буркнул Тарловский.

– Как ты точно сказал, – артистично опустил голову Кушак.

Формально литературный вес Кушака по-прежнему оставался на приличном уровне, но только за былые заслуги.

– За Юрой тянется шлейф, – вздыхали редакторши Детгиза, переиздавая его книжки.

Часто собственные стихи Кушак писал после того, как делал чьи-либо переводы. Например, сделал по подстрочникам азербайджанца З. Халила, нам показал и хрипло проголосил (как всегда, в жёстком, атакующем стиле):

– От Халила ничего не осталось. У меня получились совершенно самостоятельные вещи. Надо бы на обложке ставить две фамилии.

– Что ты несёшь?! – возмутился Мазнин. – Как можно! Ведь ты от чего-то оттолкнулся.

– Тут всё моё! – Кушак читал свои последние стихи – на мотив тех, которые переводил. Такой инструментарий.

К пятидесятилетию Кушака его знакомая из издательства «Детский мир» через родственницу – главу Комитета по печати Т. Куценко – пробила нашему другу книгу в десять авторских листов. Стихов и переводов Кушак набрал только на половину книги и попытался быстренько написать несколько рассказов (для массы). Первые два рассказа показал Тарловскому. Тот прочитал, поморщился и отговорил новоиспечённого прозаика писать «изложения».

В начале перестройки Кушак бросил сочинительство (выдохся) и организовал при ЦДЛ частное издательство «Золотой ключик». Естественно, первым делом издал «ближайших»: Г. Балла, Сапгира, Ламма. Параллельно занимался коммерцией, переправлял сигареты «Мальборо» из Голландии (от своих братьев) в Азербайджан. Потом и сам съездил в Амстердам, а вернувшись, с усмешкой сообщил мне:

– Представляешь, каждому еврею-эмигранту ни за что платят деньги. Можно не работать. В принципе, туда можно просто ездить за деньгами.

Как-то со своими издательскими сотрудниками Кушак таскал книги мимо Нижнего буфета; вдруг увидел меня, сидящего в углу и уже изрядно принявшего.

– Помоги! – бросил. – Заработаешь на бутылку (он прекрасно знал о моём затянувшемся безденежье и бил в самую уязвимую точку моей души, но выдать такое можно было только опустившемуся бомжу).

– Подлец! – сморщился Шульжик, который в это время стоял у стойки буфета и всё слышал. – Тем самым он оскорбил и меня, ведь ты мой друг.

Эти слова выглядели слишком театральными, и Шульжик немного сгладил свой промах, добавил более удобоваримое:

– Я в гробу видел его жидовские штучки.

Кушаковская подачка на бутылку стала для меня последней каплей. С того дня я обходил его стороной. Мы не разругались, просто отдалились друг от друга. Но оказалось, не так-то легко зачеркнуть годы дружбы. Всё чаще я вспоминал прошлое: наши с ним долгие разговоры о литературе и многочисленные застолья, когда он нахваливал меня друзьям, и совместные романтические приключения, когда он возносил меня перед женщинами, и наши шахматные баталии, и его свадьбы, и мои дни рождения, и как он защищал меня перед критиком Грудцовой, и перед Авсараговым, и А. Розановым, который чего-то брякнул в том смысле, что я вообще ничего стоящего не написал. Вспоминал, что именно Кушак познакомил меня с Г. Плесецким, В. Сургановым, со всеми юмористами. Короче, отменные поступки Кушака по отношению ко мне перекрывают его негодяйство. Что и говорить, он был хороший друг, пока не завязал с выпивкой (а завязал не потому, что имеет зверскую силу воли, – просто болезни прищучили, и он сдрейфил; наверно, вовремя, ведь для него это была прямая дорога на кладбище).

Кстати, вот ещё эпизодик – недавно звонит из своих Снегирей мой ближайший друг Дмитрюк:

– Дядь Лёнь! (он всегда меня так зовёт, на манер учеников изостудии). Может, приедешь, уберёшь у нас на участке... листву там, ветки? Мы уже часть убрали, но мне надо делать макет книги... Хо-

рошо заплатим. (Он с женой уже десяток лет бесплатно живёт на даче великих танцоров В. Васильева и Е. Максимовой – фактически работают сторожами, зрителями за собаками. Молодцы, что не гнушаются никакой работы, но всё-таки им, личностям, быть обслугой как-то не к лицу.)

Я, понятно, отказался. Но через месяц он звонит снова:

– Дядь Лёнь! Катя отдала мне машину, но надо подкрасить крылья... Может, сделаешь? Заплатим... У меня срочная работа, да и сам не смогу (это говорит художник!).

Помочь в ремонте – дело другое, я всегда – пожалуйста, но подкрасить – извините... Вот таким теперь воспринимают меня некоторые дружки. Похоже, под старость у них совсем крыша поехала. Я переживаю, что мой любимый друг вкалывает на кого-то, а он считает себя управляющим имением (хозяева приезжают крайне редко), хвастается здоровым образом жизни на природе и каждый год отдыхает за границей. Ради бога, живи как хочешь, но меня в эти игры не втягивай. У меня, извини, есть своя, пусть маленькая, но гордость. И есть свой крохотный участок, где я сам хозяин и ни от кого не завишу. Ну да ладно, бог с ним, моим Дмитриючиной!

Вернусь к Кушаку. В конце концов бизнесмен из него не получился, и с издательством он прогорел. Сейчас, в старости, Кушак седой, бородатый, с набрякшими мешками под глазами, но трезвый, деловой, говорливый, как никогда, окружённый «известными и нужными»; он отъелся, подобрел, злость уже не разъедает его душу; у него постоянно звонит мобильник, он раскатывает на новой «девятке» (ему её подарил приятель за то, что Кушак через знакомых – а он всё делает через знакомых – пристроил его дочь в Тель-Авивский университет). Сейчас он купается в славе – каждый месяц презентации в ЦДЛ, выступает по телевидению – осуществляет «проект» (постоянно упирает на это дурацкое слово): составляет пятьдесят томов сатиры и юмора – размахнулся широко, благо «проект» пробил «сам» Новожёнов – теперь всесильный телеведущий (бездарный словоблуд); в «проект» запихнул только «своих» и «весь эстрадный мусор», как сказал сатирик Егоров. Тем не менее, Егоров попросил меня передать Кушаку свои две книжки, которые я иллюстрировал. Я позвонил Кушаку, объяснил, что некоторые вещи Егорова мне понравились, что у него можно

кое-что выбрать, но он печатался под псевдонимом, потому его фамилия не на слуху.

– Не знаю такого, – промычал Кушак. – Да и, понимаешь, не я решаю (врал!).

– Я же тебе говорю, что он печатался под псевдонимом. Ты посмотри его книжки; если ничего не подойдёт, так и скажешь.

В те дни Мазнин помогал Кушаку как составитель – копался в библиотеках. Кушак его спросил про Егорова.

– Не знаю такого, – промямлил Мазнин. – Лёнька хочет напихать своих друзей.

Опять: знаю – не знаю! Ну не придурки?! Вконец оборзели! Смотрят на имя, а не на текст. Да ты, балда, вначале почитай, а потом говори! Как после этого их считать серьёзными литераторами? Когда они меня просили посмотреть чьи-либо рисунки, я что, спрашивал имя автора?! Мне плевать на имя и чей это сынок. У нас полно дутых имён. Главное – какие работы: стоящие или слабые. Так что в этом эпизоде и Кушак, и Мазнин – оба хороши; за подобную гнусность их следовало бы приложить и покрепче, тем более что Егоров вскоре умер.

Кушак издаёт Войновича, Арканова, Жванецкого, Раскина, Вишневского и прочих, которые не вылезают из телестудий и несут на всю страну местечковое хохмачество и пошлость (их еврейские тусовки, прославление друг друга и анекдоты напоминают игру в солдатики взрослых счастливых идиотов), но Кушак издаёт их отдельными томами (по пятьсот страниц). Вспоминаю, как телеведущий Якубович (теперь народный артист – умора!) объявил:

– Нас посетил великий юморист нашего времени!..

«Кто ж войдёт? – востропнул я и уставился в телевизор. – Неужели Марк Твен восстал из гроба? Или Карел Чапек, или Джером?» Появился Арканов. «Ну, – думаю, – совсем спятили». Понятно, тот со своей ложной многозначительностью начал вещать какую-то галиматью.

Но что я хочу от Кушака, если он даже не собирается читать Владимира Дагурова, над «Мурашками» которого смеются все литераторы в ЦДЛ. Наверно, мы ничего не смыслим в литературе, один Кушак смыслит. В своём «проекте» – «Клуб “Двенадцать стульев”» – даже не упомянул лауреата этого клуба Александра Жукова, но издаёт двухтомник хохм Жванецкого. Интересно, в его пятидесяти томах будет хотя бы парочка русских авторов?

Что касается Дагурова. Когда-то, ещё в молодости, мы у него собрались с девицами, и Кушак, разглядывая стены комнат, где красовались фотографии Дагурова (он выступает на каком-то вечере, он в Испании...), шепнул мне: «Квартира графомана». А между тем в литературу Дагурова ввели Смеляков, Боков, Слуцкий... Уже тогда Кушак был резкач тот ещё, уже тогда имел беспощадный взгляд на вещи и многих припечатывал к стенке, но за глаза. А в глаза, наоборот, давал высокую оценку: «О да! Первый класс!» – при этом вставал в позу наставника и демонстрировал своё величие. Каждому ясно: друг-лицемер опасней врага – от того хоть знаешь, чего ожидать. Так что надо не «комплименты друг другу говорить», а правду. Если вникнуть, в дружбе правда и справедливость важнее всего. Это я ему и выложил года три назад в нашей компании. Он заорал:

– Всё ты врешь, как всегда!

У меня прямо вскипела кровь.

– Приведи хоть один пример, когда я соврал.

И он, клеветник, сразу заткнулся. Кстати, в то время он расходился с шестой жёнущкой и вечно ходил вздрюченный, и срывал своё хреновое настроение на друзьях; разрядится – и чувствует себя получше; а друзья по инерции грубят тем, кто попадает под руку, – получался эффект домино. Попутно замечу: в молодости Кушак был косноязычен – дальше некуда – измучает, пока подберёт слова, а сейчас разошёлся – чешет, как по написанному, не остановишь. Я приму немало из обвинений Кушака, соглашусь, что весь состою из недостатков, имею кучу пороков, но обвинение во лжи решительно отвергаю. Да что разводить канитель! Пусть найдёт в этом очерке хотя бы строчку вранья (наоборот, о многом умалчиваю).

Кстати, я не вру не потому, что такой уж праведник, просто знаю: рано или поздно проболтаюсь. К тому же ещё в молодости заметил: стоило мне соврать в одном, как приходилось врать и в другом, одна ложь тянула за собой и другую. Так что в зрелости сказал себе – хватит! И стал лепить в глаза всё, что думал, чем нажил себе немало врагов. Кто-кто, а уж Кушак-то это знает, и нечего меня несправедливо шпынять. Я понимаю, в тот день он был взвинчен и хотел побольней меня уколоть. Ну что ж, он достиг цели. Его поклёп, как отравы, расстроил мои нервы. Такие у нас стариковские счёты друг с другом.

Справедливости ради надо отметить: временами Кушак демонстрирует редкую беспристрастность (даже «своим»). Так, ещё в нашей молодости он дал по морде М. Дейчу (считал его стукачом; тот – ярый русофоб – попросту еврейский фашист – действительно тайно записывал некоторые разговоры на магнитофон), а когда мы оказались в компании с пустозвоном П. Аркадьевым (Шенкером) и они стали въедливо подковыривать друг друга, Кушак изобразил брезгливую гримасу (словно съел крокодила) и шепнул мне:

– Этот твой Пашка не еврей, он жид.

Был случай, когда Кушак завернул работу своего близкого дружка В. Владина (точнее – заставил переделывать, а тот не вытянул). Наконец, не так давно избил Сэфа. Они не поделили один коммерческий тираж, и каждый выдвинул мне свою версию. Я поверил Кушаку. Сэф, повторяю, за всё время своего царствования никому ни в чём не помог, но хорошо погрел руки на властном кресле (выбил немалые деньги в Комитете по печати для издания самого себя). Женившись на «француженке» (литовской еврейке), он подолгу жил в Париже, а в Москве по большей части пробивал себе место в ЮНЕСКО да изредка председательствовал на вечерах молодых поэтов (вёл их здорово – умно, не перетягивая одеяло на себя, в этом он мастак).

Временами Кушак беззастенчиво перегибает. Ну, к примеру, неужели он, прекрасно чувствующий слово, всерьёз считает Ю. Алешковского выдающимся писателем? Каждому здравомыслящему литератору ясно: всё, что написал его кумир, не стоит одного рассказа Шукшина или Распутина. Кушак скажет, что это разные жанры. Да, разные, но в сатире и юморе есть Искандер – действительно великолепный мастер. А у Алешковского и Войновича не юмор, а насмешка над русским народом. (К примеру, чего стоит вариант гимна России Войновича?! Это как же надо ненавидеть страну, в которой живёшь, чтобы написать такое?!) Их злобствование сродни копанью в помойке. Разве можно, к примеру, поставить рядом Швейка и Чонкина? (Как известно, Твардовский назвал роман Войновича «халтурой»). Разве Твен, Джером, Гашек опускались до мата «Николая Николаевича» и «круговорота дерьма в природе»? Если Кушак всерьёз считает всё это ценностями, то ему не просто «иногда изменяет вкус», как говорит Тарловский, – у него вкусик вообще сильно хромает. Или я ни черта не понимаю в литературе.

Всё же думается, Кушак в силу «исторической солидарности» возносит «своих», а в глубине души прекрасно знает – из современников по большому счёту выдающимися можно назвать Астафьева, Распутина, мощно пишут Белов, Е. Носов, прекрасный юмор у Искандера, а Арканов с Гориним и Шендерович с компанией – просто острословы, а всякие Добужские, Раскины, Вишневские – балаболы, трепачи с набором одесских хохм, которых дальше заводских клубов пускать нельзя.

Хорошо сказал литератор Михаил Шаповалов:

– Творчество большинства литераторов-евреев – один длинный анекдот.

Пробив свой «проект», Кушак немного успокоился, размягчился, но, будучи от природы конфликтным, резким, всё равно время от времени заводился. Кто-нибудь заговорит о наших старческих болезнях и обратится к нему:

– Как твоя язва? (Желудка).

А он огрызается:

– Всё ждёшь, когда я загнусь, да?

Или спросишь:

– Как твой «проект»? Сколько томов уже выпустил?

А он нахраписто:

– Уже десять вышло, и три в типографии. А ты уж обрадовался, что я прогорел, да?

Ну, в общем, свихнулся на подозрительности и по-прежнему выливает желчь, правда, уже разбавленную.

Сейчас у него полно дел: кроме «проекта» (где он, как требовательный глава, то и дело меняет работников), презентаций и телевидения на него насаждают жёны, законные и внебрачные дети (одному надо помочь с деньгами, другого куда-то пристроить – здесь он молодец, отличается от тех, кто считает, что дети и внуки должны расти сами по себе, как трава), да ещё развод с Анной и размен квартиры – от этой беспорядочной суеты он частенько чувствует себя поганом, впадает в депрессуху. Тем не менее он один из немногих моих друзей, о которых можно сказать, что он процветает – не так пышно, но всё же достаточно ярко. Кушак купил новую квартиру, «девятку» поменял на дорогую иномарку, но ничего не пишет. Как-то «свой» Левитин заказал ему стихи

к «Голому королю», но всё, что сделал наш друг, перебил актёр Л. Филатов, который, понятно, сделал лучше.

Полгода назад, когда я проводил изостудию, Кушак, седая борода, заглянул в клуб, мы спустились в Нижний буфет и проговорили пару часов. Он рассказывал об отдыхе на Кипре, о своём «проекте» и всё спрашивал:

– Может, выпьешь чего?

– Ты здорово разбогател? – хмыкнул я.

– Разбогател, Лёньк.

– Подкинул бы работу Тарловскому.

– Ты о нём не беспокойся. Он в порядке. И он, и Мазнин неплохо у меня зарабатывают составителями. Они на меня не в обиде.

Это похоже на правду; я уже говорил, что Мазнин хочет издать сборник своих взрослых стихов и как-то сообщил мне:

– Сборник обойдётся в пятьсот долларов. Кушак обещал половину оплатить.

В буфете я буркнул Кушаку – вот, мол, Егоров умер, а ты его так и не напечатал. И не вставил в сборники Дагурова, Жукова, Резникова (последний, кстати, рвал и метал: «Я шестнадцать лет отработал в «Стульях», а Кушак и его жидовская компания отовсюду выкинули меня»). Кушак, пытаясь закончить сцену в свою пользу, стал неуклюже оправдываться:

– Вон на фотографии (всей редакции) виден Резников, а Дагуров даже не здоровается...

Нашёл довод – не здоровается! Работа поэта и твои личные отношения с ним – разные вещи. Кушак бормотал что-то мутное, что и некоторые его дружки недовольны – одного мало вставил, другому дал мало билетов на презентацию... И вдруг, ни с того ни с сего, как бы продолжая разговор с самим собой (с ним такое бывает), заключил:

– Пойми, в каждом еврее есть комплекс (он не уточнил какой – неполноценности, или превосходства, или вины за теперешнее издевательство над русским народом).

Я начал было поносить олигархов, но он понял меня с полуслова:

– Не бери в голову. Вся эта пена спадёт, всё встанет на свои места. Подожди, и тебя снова будут издавать. Твои «Утренние трамваи»...

Возможно, он так думал искренне, я не знаю, но это выглядело всего лишь поверхностным утешением другу, который оказался на

обочине нового времени. А между тем ещё большее утешение нужно самому Кушаку. Хорошо, что у него появилось дело, что он купается в «проекте», но ведь он ни черта не пишет.

Спустя неделю Кушак снова заглянул в изостудию:

– Пойдём посидим в Пёстром.

Мы сели за стол, и он, с грустноватой улыбкой:

– Надо же, когда-то мы отсюда не вылезали...

Его охватила ностальгия по нашей молодости... И ещё через неделю он зашёл... Он, старый, вдруг стал говорить со мной с теплотой в голосе, словно наконец вышиб из себя дух зла. Может, я ошибаюсь, но почему-то мне кажется, он испытывает что-то вроде вины за чересчур распоясавшихся евреев у власти, а скорее – ему немного неловко, что он на вершине успеха, а я в заднице. Но, может, всё это мои старицковские домыслы. Что безусловно – теперь он всё чаще употребляет выражение «еврей без всякого жидовства», а на шестидесятилетии Тарловского подтрунивал над своим еврейством (рассказывал, как обманывал деда-раввина – делал вид, будто знает идиш); но что важнее – на следующий день позвонил юбиляру и в адрес всех, кто накануне присутствовал, отвесил комплименты; в том числе в мой адрес:

– Лёнька сказал замечательные слова... Меня охватила ностальгия по прежним временам (говорю со слов Тарловского).

Кое у кого с Кушаком всегда были дружелюбные, почти родственные отношения, кое у кого приятельски-устойчивые, а у меня многоступенчатые, сплошные подъёмы и срывы: то залпы ругани, то дружеские излияния; то крайние, непримиримые взгляды, когда мы балансировали на грани ссоры; то полное единодушие, без всякого притворства, когда я был уверен в прочности нашей дружбы. Я долго не знал, он мой жуткий друг или прекрасный враг, но догадывался – полностью своим для Кушака не буду никогда (он даже когда-то, лет тридцать назад, сказал мне: «Зачем тебе такой груз?»).

Недавно мы встретились на поминках художника Рубена Варшавова; обнялись, вновь ударились в нашу молодость, и Кушак, и я без всякой утайки поведали о своей теперешней жизни... – и я подумал: нас слишком многое связывает, мы вместе прожили трудные времена, и пусть наши отношения нельзя назвать основательной, капитальной дружбой, но всё же они больше, чем просто крепкое товарищество.

Любопытное свидетельство – у Кушака (как и у Яхнина) нет ни одного русского друга (я – это так, по необходимости, да и по большому счёту не очень-то и близкий). Ответственно заявляю – у него все близкие друзья одной национальности: Успенский, Камов, Новожёнов, Арканов, Владин, Шендерович, Факторович (у Яхнина – Балл, Червинский, Соловейчик, Вальшонок) – такая сплочённая клановость, такой междусобойчик. Причём они в любой ситуации поддерживают друг друга, всё разыгрывают как по нотам; похоже, им ни о чём и не надо договариваться – у них солидарность на генетическом уровне. А уж если кому грозит опасность, со всей Москвы мгновенно съезжаются десятки «своих».

Кстати, вспомнил – вот странно! – но и у Шульжика и Ватагина русских друзей нет (кроме меня). Так и хочется спросить эту братву – почему вы за шестьдесят с лишним лет не удостоили дружбой ни одного русского? Неужели не встретили равного себе? Или попросту их за людей не считаете? Только у Тарловского в Куйбышеве был русский друг – прозаик Евгений Лазарев.

– Он был мне дороже друзей-евреев, – говорит Тарловский, и я ему верю.

И наконец, совсем недавно мы с Кушаком случайно встретились в ЦДЛ; немного поговорили за столом, и вдруг он оживился и, совсем как в наши прежние лучшие годы, сказал:

- Знаешь что, а давай поедem ко мне! Выпьем, поговорим!
- Ты же не пьёшь.
- С тобой немного выпью.

На его роскошной машине мы подъехали к его дому (недалеко от Светлого проезда, где я когда-то жил, где до сих пор стоит гараж, который я продал его брату), Кушак зашёл в магазин, купил водки, закуску...

Мы вспомнили всё, всех ушедших друзей, всех наших женщин. Вспоминали и удивлялись, что, несмотря на беспорядочный образ жизни, постоянные выпивки и злостное курение, мы всё ещё живы. Проговорив почти до часа ночи, мы обменялись книжками (я подарил Кушаку свою, которую издал за свой счёт, он мне – четыре тома «Сатиры»); затем Кушак проводил меня до метро и мы тепло попрощались. Почему-то я подумал, что так хорошо мы вряд ли ещё когда посидим.

Заканчивая о Кушаке, одно могу сказать точно: он прежний – беспринутный поэт, опухший от пьянок, всегда с «новыми строчками» –

был для меня намного интересней и дороже, чем нынешний – трезвый, деловой, процветающий издатель. Я помню наши ежевечерние застолья, когда он читал стихи и я завидовал его вдохновению и мастерству; помню, как, выпивая, он никогда не терял голову и, сколько бы мы ни говорили, всё не могли наговориться; помню, как с закрытием ЦДЛ мы шли к Пал Палычу или ехали к каким-нибудь женщинам... Это было замечательное время; мы уже далеко ушли от него, и сейчас я с трудом вспоминаю всякие размолвки и обиды (вспомнил всего три-четыре эпизода за сорок лет, что мы знаем друг друга), а всё хорошее проявляется выпукло и ярко – оно неисчерпаемо, его не втиснуть в рамки очерка, оно достойно повести. Помню точно: в те дни, даже после крепкой попойки и бессонной ночи, рано утром, расставаясь с Кушаком, мне было грустновато – всё казалось, мы мало поговорили. И почему-то каждый раз, когда я брёл домой, на пустынных улицах стояла тишина, которая обычно бывает после праздника.

«ВСЁ, ЧТО МОЖНО КУПИТЬ ЗА ДЕНЬГИ, СТОИТ ДЁШЕВО»

Известный друг мой Леонид Яхнин на большинстве фотографий смотрится шикарно, ничего не скажешь, – взгляд пронзительный, ухмылка – всем своим видом он даёт понять, что для него нет загадок в этом мире. На одном из последних снимков он и вовсе выглядит важной шишкой: стоит, выпятив пузо (раздулся от собственной значимости), двумя пальцами подкручивает усы, смотрит спокойно, как и подобает преуспевающему писателю, человеку большого ума.

Кстати, из дюжины героев этих очерков чисто внешне Яхнин больше всех похож на писателя (даже немного на Фолкнера, а курит так же много, как Марк Твен), а меньше всех похожи мы с Тарловским (меня, уже говорил, принимали и за посыльного, и за водопроводчика, а вечный хандрун Тарловский больше смахивает на незадачливого школьного учителя или на безработного музыканта). Получив диплом Андерсена, Яхнин задрал нос (похоже, решил, что и в самом деле создал шедевры) и высокомерно заявил мне:

– Я известный, хе-хе, меня все знают, а тебя, Сергеев, никто не знает, – и дальше, воодушевившись, в наступательном стиле: – Сейчас

полно издательств, надо бегать по ним, предлагать себя, а ты никуда не ходишь, только пьянствуешь в ЦДЛ.

На следующий день он понял, что перестарался, до него дошло, что мне, старому хрену, как-то уже поздно бегать по издательствам, и если меня никто не знает за столько лет работы в литературе, то теперь в неё и соваться нечего, что я попросту прожил зря. Он позвонил с повинной, сказал, что наболтал спьяна. Изворотливый хитрюга! Он много не пьёт и никогда не бывает пьяным (слишком любит себя и бережёт), только болтает – «вчера так напился» и прочее – тоже мне выпивала! Сразу говорю – с искренностью у него напруг. Но, понятно, то, что он, гусь, позвонил, уже ему жирный плюс. Кушак, например, нахамит, но никогда не извинится – всегда считает себя правым. Я ни разу от него не слышал «я не прав».

Со старым беззубым ворчуном Яхниным мы знакомы не один десяток лет и одно время крепко дружили – лет двадцать, не меньше. Мы не были одного покроя, но наши взгляды на многое совпадали, нам нравилось одно и то же в искусстве (здесь понимали друг друга с полуслова), в один голос чихвостили и нахваливали товарищей по цеху, а уж когда заводили разговоры с женщинами, против нашего тандема было трудно устоять, не зря же нас считали крупными специалистами в этих делах.

Ещё будучи студентом архитектурного института, Яхнин занялся поэзией; больше, конечно, крутил романы, но всё же успевал пописывать и стихата. После окончания института он два года работал в проектной мастерской и, по его словам, принимал участие в создании Зеленограда – то есть, как молодой творец пошёл семимильными шагами в гору, и ему уже светили всякие премии, но он почему-то сбежал с той горы и полностью переключился на литературу (некоторое время в нём архитектор боролся с писателем, но потом Яхнин посчитал путь писателя более выигрышным).

Бесспорно, Яхнин – мощная фигура; он выдумщик, у него врождённое чувство слова и трезвый, расчётливый ум. Это сочетание – способностей и практичности (а о его деловой хватке, умении приспособливаться к новым требованиям и вкусам ходят легенды; у него редкое чувство момента – он, как паук, мгновенно улавливает колебание паутины) – сразу же дало результат: с оглушительной скоростью он выпустил несколько книжек сказок, и его приняли в Союз писателей.

Вскоре «мастер момента» нашёл собственную жилу – югославских поэтов – и начал делать подстрочники по словарю, но позднее познакомился с югославкой, которая была замужем за русским, намурлыкал ей что-то, влюбил в себя, и полгода она сидела над его текстами.

В двадцать пять лет Яхнин женился на сокурснице по институту и после рождения сына некоторое время являл собой пример добропорядочного семьянина. (По словам Мазнина, в то время, используя набор приёмов, прямо-таки штамповал сказки; некоторые печатал под фамилией жены.) Когда мы познакомились, он уже был в разводе и скитался по чужим квартирам, переезжал от одной крали к другой, причём у одной оставлял книги, у другой – одежду, поскольку покидал женщин внезапно, во время ссор. Закуривал и улепётывал. Вслед ему летели его вещи.

– Я как ящерица, – объяснял мне. – Лучше оставить хвост, но уцелеть самому.

Раз в неделю Яхнин навещал бывшую жену и сына и ежедневно звонил им, справлялся о самочувствии и делах вообще.

– Что ты названиваешь? – не раз возмущалась его бывшая благоверная. – Хочешь вернуться в семью – возвращайся, а нет – так перестань нас терзать. И вообще, отдай ключи от квартиры и без звонка не появляйся. Я тебе что, соломенная вдова?! Я ведь могу кого-нибудь пригласить к себе.

Она была права – обормот Яхнин вёл себя как собака на сене: возвращаться в семью не собирался, но и свободу жены стеснял, пока она не завела поклонника. Но ещё раньше Яхнин устроил гражданский брак с Луковниковой (секретаршей писательской организации) – эта штучка вцепилась в него, как пиявка. Знающие люди говорили, что благодаря этой особе Яхнин и стал переводчиком югославской литературы и с её помощью получил членский билет, а потом и влез во власть детской секции (из ящерицы превратился в крокодила).

Когда Яхнин ушёл от Луковниковой (это было верным решением), мы стали встречаться почти ежедневно. В то время его, как и меня, не тяготило одиночество, но если я считал наше положение идеальным, то Яхнин придерживался мнения, что оно, это наше положение, – некое абсурдное совершенство. То есть, с одной стороны, он как творческий человек не может, чтобы «женщина вечно маячила» в квартире и «стояла за спиной, когда работаешь» (он справедливо

считал, что день без работы – потерянный день); с другой – «глупо трястись над своей свободой, и всё же неплохо, когда кто-то заботится о тебе, разгружает быт и прочее». Короче, он пришел к компромиссному решению и время от времени заводил удобную сожительницу, но в загс, молодчина, не спешил.

– Жениться в нашем возрасте сложно, – объяснял разным праведникам. – Нужна совершенная женщина, которую хорошо знаешь, с которой общие интересы, привычки, а это насकोком не случается, только в совместной жизни, – и, обращаясь ко мне, добавлял: – Если уж в молодости не могли ужиться с женщинами, то сейчас и подавно.

– А по-моему, хорошо, что мы разделились с жёнами, – пыжился я. – Теперь можно серьёзно заняться работой.

– Зачем нам жёны? – откликнулся Яхнин. – Нас до сих пор кадрят женщины. Недавно еду в автобусе – одна юная девица прямо пожирает глазами. Я уж и кепку снял, показываю ей лысину, а её ничего не останавливает, всё смотрит, улыбается и шепчет свой телефон...

Яхнин постоянно вешает на друзей свои проблемы (чаще всего надуманные). Стоит кому-нибудь заикнуться о безденежье или о плохом самочувствии, как он, не дослушав, скривившись, начинает плакаться:

– Ой, а у меня вчера там болело, сегодня здесь, – и дальше полчаса рассказывает про свои семнадцать болезней, про «скорбные листы» в поликлинике; ему всегда кажется, что его болезни тяжелей, чем у других (на жалобы о болезнях он, нытик, тратит половину жизни).

– Береги себя, ведь за твоим здоровьем следит весь мир, – сказал я как-то.

Мой друг рассмеялся и тут же переключился на свою «вдрызг больную» мать. Лет тридцать он сообщал, что его мать еле ходит. За это время многие из нас похоронили не только матерей, но и сестёр, и братьев, а мать Яхнина прожила почти девяносто лет. Однажды, когда ей было под восемьдесят, она попросила меня отвезти её в поликлинику (оказалось, надо только перейти улицу). Я «перевёз» её на своём драндулете сто метров, и она сразу без очереди в регистратуре:

– Ой, милые, еле стою.

На обратном пути она стала ругать вторую жену Яхнина и нахваливать первую и, совершенно забыв, что «еле передвигает ноги», довольно резво влетела по лестнице на третий этаж, я с трудом за ней попевал.

Со слов Яхнина я знаю, что и его отец был «вдрызг больной».

– Отец в своё время занимал приличную руководящую должность, но его никогда не покидало чувство страха, – говорил Яхнин. – Они с матерью всегда говорили шёпотом. До сих пор, что ни скажу, прикладывают палец к губам и кивают то на телефон, то на соседей... Они вдрызг больные. На нервной почве у отца отнялась одна нога, мать почти не видит... Ходят по поликлиникам, поддерживая друг друга... А вот тётка – сильная личность. Десять лет провела в лагерях, но не сломалась. Заезжает к отцу с матерью, приободряет...

Справедливости ради отмечу: когда у самого Яхнина заболело сердце и я навел его в больницу, он держался стойко и, когда выписался, курить не бросил (бросил только в шестьдесят шесть лет). И, несмотря на то что ему нельзя поднимать тяжести, помогал нам перевозить Воробьёва на новую квартиру – добросовестно таскал связки книг.

Кроме жалоб на болезни, Яхнин может часами рассказывать о своей личной жизни, о том, что написал и где его напечатали, и никогда не спросит: «Как ты-то?»

Яхнина отличают деловитость, настойчивость, он всеяден, берётся за любую литературную работу, ему всё равно, что делать, лишь бы платили деньги; он так и говорит: «Что надо, то и сделаю». И делает; ловко, всё, что ни закажут. Без души, но гладко, как ремесленник. С равным успехом он мог бы работать директором какой-нибудь фабрики; и, возможно, если б предложили торговать картошкой за бешеные деньги, не задумываясь забросил бы литературу. Как-то мне сказал:

– Я могу работать кем угодно, кем заставят обстоятельства.

А позднее признался:

– Я делаю халтуру. Делаю честно, но меня интересуют деньги.

Мне нравится его способность к выживанию, но невольно думаешь – может, он просто не угадал своё призвание; может, он в литературе по ошибке? Повторяю, по большому счёту литература для него – возможность зарабатывать деньги, и вообще жизненный успех сводится к материальным ценностям. Он никогда не говорит о нравственной идее, эстетических принципах, не испытывает радость от сделанной работы, если она не напечатана и за неё не получен гонорар.

Яхнин оккупировал все издательства (в них заходит, как в собственную квартиру, чуть ли не открывая двери ногой); он пишет пьесы,

сценарии, стихи, прозу, песни, статьи, рецензии, выпускает пластинки с песнями на свои стихи, переводит со всех языков (не зная толком ни одного): что ни назовёшь – он уже переводит – и, конечно, делает адаптации, на которых давно набил руку. Например, из «Фауста» – двадцать страниц для детей, и со стихов на прозу(!). Автор наверняка перевернулся в гробу.

Делая имитации, Яхнин нашмалял сотню книг, перелопатил такие вещи, как «Алиса», «Тартарен», «Уленшпигель», «Мюнхаузен»... Даже замахнулся на Библию для детей и, нет никакого сомнения, сделает, и неплохо, с точки зрения компиляторства – не творчества, а сноровки. Если копнуть его писанину поглубже, то сразу заметно – наш герой пытается поднять неподъёмный для него вес. В этом он напоминает некоторых юмористов из «весёлых и находчивых» (типа Жванецкого, Измайлова, Вишневского, Задорного) – эти остряки неплохи в компании как массовики-затейники, но беспомощны на листе бумаги, что и понятно: в компании – собеседники, и, если уже есть настрой на веселье, многое кажется смешным (всё дело в моменте: ты уже раздулся и, чуть уколи, – лопаешься), но попробуй рассмешить читателя без всякого настроения. Эта задача не всем по силам.

Ну а чисто авторские вещи Яхнина рыхлые, сырые, без огонька – всего лишь случайные эпизодики – какая-то мельтешня. Однажды накатал роман на десять листов – опять тьма разрозненных кусков, умильных картинок от фонаря. (И как не видит – ведь вроде со вкусом у него всё в порядке, и как рассказчик в застолье многим даст фору?) В общем, уверен: серьёзные вещи (рассказ, повесть, не говоря уж о романе) – не для Яхнина, его ниша – акварельные зарисовки, подтекстовки, но в основном, конечно, адаптации – на них он собаку съел.

Из своих средних литературных способностей Яхнин выжал максимум, даже забрался на олимп и теперь сверху поучает коллег по перу (в частности, Тарловского). Всё благодаря тому, что Яхнин так подаёт свои сочинения, что и впрямь кажется – перед нами шедевр. Как известно, большинство теперешних редакторов не очень-то сведущи в литературе, и, естественно, авторитет Яхнина в издательствах довольно высок (молодым авторам эти редакторы говорят: «Он у нас ведущий, старайтесь делать, как он»).

Самое нелепое, Яхнин и сам убеждён в своём высоком мастерстве; как-то отчитал Тарловского, который тоже делает адаптации:

– Марк, ты испохабил Марка Твена (тот пересказал «Принц и Нищий»). Пойми, пересказчик – это умелец, который из большого яйца делает перепелиное!

На самом деле Тарловский относится к работе добросовестней и всё делает на порядок лучше Яхнина (просто не может делать плохо; как он говорит, «мне самому должно нравиться то, что делаю, в моих строчках должно быть какое-то тепло»). Приходько успокоил Тарловского:

– Ну что Лёня? Он милый мальчик, но он же архитектор. Его опусы не заслуживают серьёзного внимания.

В издательствах Яхнин требует больших тиражей, твёрдых обложек, крупных гонораров – такой у него подход, такое обрамление своих литературных трудов. По словам Ишкова, который с Яхниным работал в издательстве «Армада», у нашего героя один принцип: «нет разговора без договора»; и что весь смысл его жизни – в деньгах, и сам Ишков приветствует подобную меркантильность.

Редакторши издательства «Малыш» мне не раз жаловались:

– Твой друг прилип как банный лист, приезжает каждый день, у всех уже сидит в печёнках; директор говорит: «Да заключите вы с ним договор, чтоб только оставил нас в покое. Замучил меня».

А уж художников Яхнин донимает – страшно смотреть: в каждый рисунок «вносит коррективы», ведь считает себя профессионалом (два-три беспомощных рисунка красуется на его стенах). Как-то говорит с притворным безразличием:

– Меня пригласили на телевидение вести передачу. Отказывался два месяца, всё же уговорили.

Позднее приятельница поэта В. Дагурова, редактор телевидения, нам сказала:

– Яхнин нас достал. Целый год добивался передачи. И куда лезет на экран с его-то нервным тиком?! (Он частенько дёргается и гримасничает, словно ему под рубашку залез жук). Не знаю ни одного мужчину, ни одной женщины, которые хорошо отозвались бы о вашем Яхнине. Страшный зануда.

Такой получился номер с телевидением. Над этим посмеялись бы в племени дикарей, не то что в ЦДЛ.

В другой раз Яхнин сообщает нам с Ковалём:

– Перевёл «Алису в стране чудес», – и дальше хвастается, какие стихи там настряпал.

– Ну не лучше Бори (Заходера) ты сделал, – взревел Коваль.

– Лучше! – не моргнув, возвестил Яхнин.

Позднее Тарловский сказал:

– В его Алисе сплошные полоумные фразочки. Это всё равно что в торт воткнуть гвоздь.

Яхнин работает много и быстро; за день может написать штук пять коротких сказок, за три дня переводит книжку (по подстрочникам), за пару недель – роман; понятно, при такой скорости его уровень письма высоким не назовёшь.

Конечно, дело не в скорости. Достоевский говорил: «Всё великое делается экспромтом». У них, у гениев, наверно, так и есть. Пушкин «Графа Нулина» написал за одну ночь. И Гершвин «Голубую рапсодию» сочинял не дольше. Лавренёв за тридцать часов написал «Сорок первый». Чехов говорил, что каждый рассказ пишет не больше одного дня. С другой стороны, Иванов двадцать лет писал «Явление Христа народу», и Толстой двенадцать раз переписывал «Войну и мир» – какой уж тут экспромт! Ну то есть у каждого своя творческая скорость, свои затраты.

Долгое время я думал: если Яхнин сбавит обороты, умерит страсть к деньгам, из-под его пера потекут отличные вещи, и свои, нестандартные, с интересной фактурой, но недавно понял – не потекут. Он, дуралей, давно встал на путь заколачивания денег; он как заяц, который бежит меж лучей от фар и не может прыгнуть в сторону; хотя наверняка уже накопил чемодан деньжат... Однажды этот финансовый бог вполне серьёзно выдал лозунг:

– Чем больше денег, тем дольше живёшь.

Очевидно, имел в виду калорийное питание, здоровый отдых и прочее. Такая самоцель. Он, грамотей, не понимает, что «деньги – это дорога в ад», как сказал вождь полинезийцев. Повторяю: удел Яхнина быть мастеровитым обработчиком чужих материалов, так уж он скроен. Это не так уж и плохо, если вдуматься, даже почётно – вон японцы: берут у наших умельцев самоделки и превращают их в шедевры, а то и американские разработки доводят до совершенства, да ещё делают их компактней, ведь они, как никто, ценят пространство.

Некоторые писания Яхнина – образец откровенной халтуры (не грубой графомании, а подделки первого сорта). Собственно, Яхнин и сам как-то признался, что на работу в «Армаде» смотрит как на подённую:

– Мне звонит редакторша: «Вы там имена перепутали. Вначале одно имя, потом другое». А я ей: «Ну исправьте», хе-хе... У них лежит штук пять моих переводных книг. И детских, и по философии. Главный редактор говорит: «Больше не приносите». А я думаю, надо сделать задел, пока они не рухнули.

Такая предусмотрительность, такие коммерческие соображения, так он подстраховывает себя, делает запасы.

Ну а гонорары Яхнин выбивает жёстко, с мощной энергией, если задерживают – багровеет:

– Свою зарплату получать не забывает?! Со мной нельзя так разговаривать! (Он, самолюбивый, считает себя лучшим сказочником, живым классиком).

Яхнин – находчивый, оборотистый – своего не упустит, и что плохо лежит подберёт. Как-то при нём Дмитрюк говорит мне:

– Дядь Лёнь, специально тебе приберёг сюжетики, – и рассказывает о стороже кладбища.

Пока я раскачивался, Яхнин издал в Детгизе книжку, где использовал историю Дмитрюка.

Наша общая приятельница Элла, после того как сделала вместе с Яхниным книгу, сказала мне:

– Я всё перевела, а он даже не упомянул мою фамилию. Слов не подберу! Вот что значит еврей...

Деньги Яхнин носит в кошельке и достаёт их трясущейся рукой; он не обмывает свои книги, не отмечает свои дни рождения (хотя чужие не пропускает) и даже зажал шестидесятилетний юбилей. Правда, он и не скрывает свою скупость, честно признавался мне:

– Я жадный.

Такая откровенность, конечно, похвальна, но он, старый дурень, не догадывается, какую память оставит о себе, когда окочурится, распрощается с жизнью. Это ему, умнику хренову, не приходит в голову, это для него непосильная интеллектуальная задача. Дожил до седых волос, но так ни черта и не понял или совсем растерял остатки разума.

Со стороны прижимистость Яхнина смешна. Он не поленился – снял в квартире радиоточку, чтобы не платить лишние тридцать копеек, и без всякого стыда сообщил мне об этом. Он покупает яблоки на Киевском рынке («там дешевле») – и не лень ему катить на другой конец Москвы? А мне говорит: «Надо каждый день съедать по яблочку»), курит

короткую «Приму» – «так выгодней». Скряга, куркуль, крохобор, чёрт бы его побрал! За свою жизнь он ни разу не отгрохал женщине букет цветов – в лучшем случае пару мелких цветочков (какой-нибудь «куриной слепоты»); не пришёл к друзьям с бутылкой – всегда с каким-то пузырьком меньше четвертушки («вот, достал спиртяшки у знакомых»); ни разу не купил блюдо бутербродов – если что и притащит с собой, то какой-нибудь «паштетик» размером с пачку сигарет. Это самое большее, на что он, жмот, способен. Так и мельтешит, старый хрен, «довёл инстинкт самосохранения до абсолюта», по выражению Шульжика.

Мазнин и Кушак могли просадить весь гонорар – Яхнин в день выплаты в ЦДЛ не появляется. Кстати, Козлов пошёл ещё дальше Яхнина – подвозит друзей на своей машине и берёт с них деньги «на бензин». Ну, Козлов ладно, он слегка тронутый (попросту с придурью), и мне не друг – только приятель, но Яхнин-то – один из ближайших! Неужели он, идиот, не понимает, как омерзительна его пламенная страсть к деньгам. Повторяю, какой он после этого умник?! Ведь ясно – ум человека прежде всего в умении смотреть на себя со стороны, да желательно объективно.

Ну вот, отколошматил Яхнина, и стало полегче. Что ещё сказать о нём, старикашке? Вот вспомнил. Когда меня перестали печатать в детских издательствах, он поступил по-дружески – выступил в «Малыше», сказал обо мне добрые слова, настроил И. Токмакову на благосклонный лад, и та выдала:

– Да, Сергеева надо печатать.

Как-то бывшая жена Кушака, кобылица Дюймовочка, презрительно фыркнула мне в лицо:

– А что ты написал? Ничего стоящего!

– А «Утренние трамваи»?! – набросился на неё Яхнин.

– Ну подумаешь! Всего одну книжку!

– А этого мало? – вскричал Яхнин, и я понял – нанесённое мне оскорбление он воспринял как настоящий друг, точно плюнули ему в душу.

Он защищал меня и от других нападков – дальше, может, вспомню; защищал не раз и не два, и это ему, несомненно, на небе зачтётся.

Из всей нашей писательской братии Яхнин больше всех уважает Успенского и Ковалю. Однажды выпивали с Ковалём и тот, как всегда, вначале отпустил в мой адрес дежурное:

– Лёнька пишет, как я.

Потом похлопал и Яхнина:

– А ты пишешь сердцем.

Яхнин весь зарделся:

– Спасибо, Юр! (Для него эта похвала значила много).

А между тем Коваль, старый филин, лицемерил – он никогда не читал Яхнина больше одной строчки: «Не могу читать, очки слабоватые» – выпячивал губы и подмигивал мне.

Со слов Яхнина, я знаю – он был отличным баскетболистом, перво-классным бегуном, отменным пловцом (плавает он действительно здорово); наверняка у него были и другие спортивные достижения, хотя сейчас, глядя на его бесформенную фигуру, в это трудно поверить – сейчас он попросту развалина. Впрочем, для молодых людей все мы теперь – жалкое зрелище; они не могут представить нас подтянутыми, с крепкими мышцами, горящими глазами; им кажется, что мы никогда и не были молодыми. Обидно до чёртиков, ведь мы отлично помним себя в среднем возрасте, когда ничего не болело и мы не знали, что такое усталость, когда делали «стойки» на каждую симпатичную женщину и они не оставляли нас без внимания. Не оставляли, и ещё как! В те годы, несмотря на неустроенность и всякие передряги, в нас кипела жажда жизни, и будущее представлялось вечноцветущим садом. Да что там говорить! Только расстраиваться.

Чуть ли не в сорок лет Яхнин стал собирать издательские договоры для пенсии – умора! При этом постоянно жалуется на безденежье, но я-то думаю, имеет пару сберкнижек, на которых лежат немалые суммы. Бывает, начнёт хныкать:

– Не знаю, как дожить до гонорара.

А я ему сразу:

– Сними с книжки!

– Там уже ничего нет.

– Сними с другой! Не жмись!

В ответ этот шельмец только хихикает:

– Все мы нищие, хе-хе.

А потом забудется и сообщает, что на книжной ярмарке от «Армады» у него десять(!) книг. И сразу ясно – за них он получил кругленькую сумму, то есть стремительно разбогател. Я долго наивно

ждал, что однажды Яхнин соберёт друзей, закатит щедрую пьянку, каждому из нас отгрохает по дорогому подарку (мне не помешала бы новая малолитражка, надоело возиться со старым драндулетом). Но разве от Яхнина дождёшься таких жестов, он всё копит, выгадывает – похоже, планирует в скором времени перебраться куда-нибудь на курорты Испании.

Сын Яхнина – верзила, отслуживший в армии, но Яхнин постоянно держит его под крылышком; даже когда сынку бахнуло тридцать, ежедневно звонил и уточнял:

– Что ел? Разогрел ли кашку?..

Кстати, когда его отпрыска забирали в армию, Яхнин нажал на военкомат и добился, чтобы сыночек служил в Подмоскovie, а позднее приезжал в воинскую часть, узнавал у начальства, не слишком ли перегружают заданиями его чадо.

Сын – заносчивый тип; поступил в архитектурный институт (с помощью отца, разумеется, – там в дирекции его сокурсники), но с начала перестройки стал художником – делал откровенно шарлатанские работы, полнейшую муть («Яичница» – жёлтое пятно на двухметровом полотне; или «Свобода» – звезда за колючей проволокой), но «художника» раскручивали всякие дельцы от искусства, доставали оплачиваемые в валюте халтуры (например, расписывать агитационный самолёт «демократов» на выборах). Вначале Яхнин поджимал губы:

– Ничего не понимаю в его работах. Этот концептуализм... И надо же, мы в его возрасте ничего не имели, а у него своя выставка, буклет, мастерская, иномарка, катает в Финляндию...

Потом, когда на сынка посыпались деньги, Яхнин стал всячески превозносить его:

– Он живёт в Италии на вилле... Он один из самых известных на Западе... Галерейщик продаёт его картины за тысячи долларов... Иначе нельзя, надо держать марку фирмы...

Сейчас его сынок уже соучредитель сразу трёх оформительских фирм и наверняка вскоре станет одним из заправил столичного бизнеса – ну, то есть переплюнул отца во сто крат. Вот такие дела, такие птицы эти Яхнины, такой у них хищный нрав. Кстати, с начала перестройки сразу стало ясно – для кого литература – смысл жизни, а для кого – способ безбедно жить. Прозорливый старикашка Яхнин, в страшной тревоге, сразу заявил:

– Если мне перестанут давать работу в издательствах, пойду контролёром в метро. Я уже узнал, они неплохо получают.

Он, находчивый, с острым нюхом, старый хрыч, всегда знает, когда и куда сделать крен, и уже заранее организывает своё будущее. Вообще вся жизнь Яхнина похожа на некий график, где его благополучие круто прёт вверх.

Яхнин трусоват. Как-то после выпивки мы с Ковалём садимся в мою машину, чтобы ехать в мастерскую к художнику Стацинскому, а Яхнин тянет:

– Не-ет, не поеду, у меня дела, надо ещё кое-что сделать.

– Ладно, – говорю, – садись, доедешь с нами до метро.

– Да нет... я дойду...

– Боишься! – заключил Коваль. – Лёнька – и поддатый отлично водит. Я с ним ездить не боюсь.

– Если и гробанёмся, в неплохой компании будешь лежать, – хмыкнул я.

– Не-ет, не поеду...

Поступал Яхнин и гнусовато, при этом прикидывался простодушным, будто всё делал без злого умысла. Будучи членом бюро детской секции (влез, прохиндей, туда неспроста – какая-никакая власть, – он всегда старался крутиться в верхах; сейчас и вовсе зам. президента Сэфа), он на собрании в числе вновь принятых в бюро вместо Мезинова назвал кого-то из «своих» (сделал вид, что его не заметил, пока в зале не раздались возмущённые крики.)

– Ах да! – спохватился (и это он, крайне осторожный, который всё заранее взвешивает и прикидывает, у которого никогда не бывает запоздалых реакций – только мгновенные).

Нам-то с Мезиновым (и не только нам) сразу стало ясно: чётко продуманный ход, работает под рассеянного, бесхитростного дурачка – он и его ансамбль разыграли дерьмовую мизансцену (с дальними планами – прибрать к рукам всю деятельность секции). Считается, что к гнусным поступкам человека подталкивает страх, но, судя по этому эпизоду, не только он.

Яхнин, bestия, подленько так прятался от меня, пьяного, когда был со своим другом юристом из Воронежа, чем нанёс мне страшную рану. Был случай, когда у раздевалки ЦДЛ, пока я прощался с друзьями, одна пожилая еврейка взяла мою связку книг (перед этим я заходил

в книжную лавку и закупил для приятеля два десятка книг – и как бабёнка их подняла?) и потащила к выходу, опираясь на руку мужа. Яхнин всё видел, но не остановил воровку (друг называется!), а мне сказал:

– Сергеев, твои книги уносят, хе-хе!

Когда я догнал похитителей, дамочка как ни в чём не бывало поставила книги на стол дежурной и с невероятной прытью ретировалась (кстати, эти супруги были не случайными посетителями, а членами СП).

В другой раз я пригласил в ЦДЛ двух девиц, взял бутылку вина, жду, когда подойдёт мой друг, чтобы, как обычно, заговорить девицам зубы и двинуть ко мне, или к Воробьёву, или в мастерскую Яхнина. Он появляется, здоровается, идёт к буфету.

– Бери всем кофе! – даю ему наказ.

Он скорчил злую гримасу и отмочил на весь зал:

– Что значит «бери»? Вот ты и бери! А может, у меня денег нет!

Он взял кофе только себе, подсел и поставил меня в идиотское положение (а себя тем более). Даже если у него действительно не было денег (что маловероятно, да и кофе стоило пятнадцать копеек), он мог взять четыре чашки в долг, ведь буфетчицы – наши приятельницы, или отозвать меня и объяснить, что к чему, – да полно вариантов – он выбрал открытое жлобство.

После этого номера любой нормальный человек больше не устраивал бы с ним подобных романтических встреч, а я, бесхребетный, всё ему простил. Больше вроде ничего не припомню – все-таки чаще он поступал как истинный друг: и когда отбирал у меня деньги, чтобы я всё не пропил, и когда был строг с настырной женщиной, которая затягивала меня в брак, и когда устраивал выставку моих работ в Архитектурном институте, и когда приглашал нас с Тарловским на вечера, которые он вёл, – вернее, на застолья после этих вечеров, и когда написал хвалебное предисловие к моей книжке в издательстве «Белый город» (которая так и не вышла), и когда помогал выбрать название сборника моих рассказов. Не кто иной, как Яхнин, устроил мой юбилейный вечер. После моего шестидесятилетия звонит:

– Готовься! Я договорился.

– Зачем? Не стоит! – начал я канючить. – На этих вечерах сидишь, как на собственных похоронах.

– Перестань, Сергеев! Хороший повод нам всем собраться, – отвечает. – Собственно, ты нам и не нужен. Выставим твою фотографию, а ты сразу иди в буфет.

Многие годы по вечерам мы просиживали в клубе за бутылками водки и чашками кофе; чаще всего вчетвером: Мазнин, Кушак, Яхнин и я. Наши затяжные разговоры начинались с литературы. Мазнин, который читал абсолютно всё, называл новые сборники и по памяти цитировал отрывки из них. А мы тут же наперебой расхваливали или громили авторов.

Потом Мазнин ударялся в общие рассуждения о литературе, заводился, строил «храмы». К примеру, говорил что-нибудь эдакое:

– На технику письма обращают внимание профессионалы, а для читателя главное сопереживать, эмоционально возбудиться, сжиться с героями. Сейчас все пишут, но где интонация, полутона, нюансы?! Всё дело в нюансах! (Я слушал Мазнина разинув рот и мучительно думал – есть в моих работах «нюансы» или нет?)

Что и говорить, в застолье мы нешуточно подпитывали творчество друг друга. После второй бутылки переключались на политику, и за столом начинался некий бодрящий ужас.

– Эти, у власти, – гниды! – цедил, стиснув зубы, Кушак и дальше, не стесняясь в выражениях, обрушивал беспощадную критику на нашу систему (в такие моменты в нём прямо бушевало чёрное пламя).

Яхнин подливал масла в огонь, добавлял драматизма в разговор:
– Чем хуже, тем лучше, хе-хе.

Словно мазохист, он веселился в предвкушении катастрофы (понятно, развала системы, а не гражданской войны, да ещё, не дай бог, погромов). Яхнин никогда не был патриотом и радовался, даже когда наши проигрывали в футбол. Точно так же Ленин испытывал радость, когда Россия проиграла войну Японии. Эти две радости не так уж и далеки друг от друга, ведь у них общая суть, между ними пролегает невидимая (на генетическом уровне) связь.

Так вот, мы поносили систему (я тоже что-то вякал – то, что касалось вождей), но вступал уже поостывший Мазнин и спокойно всё расставлял по местам. Вооружённый основательными знаниями, он вычислял события наперёд и предсказывал нам вполне сносное существование:

– ...Что вы молотите о преимуществах Запада! Да там даже любовь стала коммерческой. И пока в России есть хоть одна женщина, которая отдаётся по любви, мы непобедимы!

Понятно, после этого мощного пророческого заявления мы резко меняли тему разговора и под третью бутылку говорили только о женщинах. Этому разговору мы придавали немаловажное значение; по времени он продолжался гораздо дольше других разговоров и всегда имел на нас благотворное воздействие. Сейчас, когда мы уже пожилые, наши беседы проходят по той же схеме, только в обратной последовательности, и, конечно, женщинам мы уделяем меньше времени, а после второй бутылки говорим о юности и подробно о наших болезнях (до третьей бутылки дело не доходит – уже не те возможности организма).

Естественно, здесь мои всплески памяти обрывочны и взгляд на друзей субъективен – кто-то видит их совершенно другими. Прекрасно! Пусть опишут свой взгляд, а меня выставят на посмешище. Но, хоть убей! – всё, что здесь катаю, готов повторить под присягой.

В первые годы нашего общения Мазнин с Кушаком ещё были женаты и после закрытия клуба спешили домой, а мы с Яхниным приглашали каких-нибудь «любительниц искусства» в мастерскую Яхнина – в конце концов его скитания закончились, и знакомая скульпторша сдала ему мастерскую. У него, как и у Кушака, всюду знакомые: скульпторши и редакторши, врачи и юристы, завотделами книжных магазинов; Кушак даже приятельствует с министром культуры, а Яхин – с судьёй Конституционного суда! Ясно, при таких связях можно творить чудеса; эти крепкие цепочки действуют по принципу «ты – мне, я – тебе», как некое перекрёстное опыление.

Мастерская находилась недалеко от ЦДЛ и представляла собой огромный сырой запущенный подвал (во время дождей мы с Яхниным делали обводные канавы, чтобы его не затопляло) с невероятным количеством гипсовых бюстов вождей коммунизма. Это было впечатляющее зрелище – за посетителями мастерской из-под толстого, как войлок, слоя пыли постоянно следили десятки холодных глаз.

– Неплохо твоя скульпторша зарабатывала в своё время, – сказал я своему другу, когда впервые увидел гипсовое кладбище. – Ведь эти идолы стояли даже в банях.

– Их делал её отец. Сама-то она приличный скульптор. Занимается керамикой. Всё хочет прийти с кувалдой и разбить вождей, но я отговариваю. Со временем они станут реликвией, будут стоять целое состояние.

Яхнин обитал в прокуренном закутке, который примыкал к мастерской и был буквально напичкан поломанной и расшатанной мебелью. Двери подвала не закрывались, и к Яхнину заглядывали все, кому не лень: местные алкаши, желающие «излить душу», и загулявшие полуночники, разные интеллектуалы и, конечно, завсегдатаи клуба. Яхнин гордился подвалом, называл его «оазисом культуры», «филиалом клуба ЦДЛ», «бюро добрых советов», но иногда сокрушался:

– Вчера приходили одни, позавчера другие, всё съели, выпили... За месяц прокутил огромную сумму... (Никак не мог подняться до высот, когда об этом не жалеют.)

– Не зуди! Американцы говорят: «Всё, что можно купить за деньги, стоит дешево». Зато тебе будет, что вспомнить, – успокаивал я его, но он не ценил моего заключения, хотя сейчас вроде катает мемуары о нашей «подвальной» жизни.

С женщинами Яхнин говорит тихо, вкрадчиво, прямо убаюкивает, при этом, как бы налаживая контакт, поглаживает их – вначале по лопаткам, потом и ниже – здесь у него технология отработана; при мне по телефону, без всякого стеснения, своеобразно выражал свою любовь:

– Целую твой мизинчик!

Я-то знаю все эти головоломки. Как-то Яхнин увлёкся юной художницей Ольгой и ради красного словца ляпнул:

– Что ты хотела бы, милая? Мне хочется что-то сделать для тебя!

– Давай съездим в Прибалтику, я никогда там не была, – попросила художница, и Яхнин сразу начал жаловаться: «Много работы, больная мать...» А мне объяснил:

– Я прикинул, на билеты придётся потратиться, да ещё гостиница...

Ну не злодей в маске обаятельного добрячка? Эх, если бы Яхнин отнесился к деньгам весело! Тогда на нём висли бы все женщины, а так некоторые из них сразу замечали его прижимистость и морщились.

Кстати, когда Яхнин встречался с юной Ольгой, я в ЦДЛ познакомился с американской бизнесменкой Кристой, которая выглядела лет на пятьдесят. Яхнин уничижительно посмеивался:

– Если американка выглядит на пятьдесят, будь уверен: ей все семьдесят, хе-хе... Женись на ней, Сергеев, она богатенькая... Уедешь в Штаты, заживёшь припеваючи, а я к тебе в гости прилечу. Билеты, надеюсь, оплатишь, ведь у тебя будет уйма денег...

Понятно, эти наши ненаглядные смотрелись чересчур контрастно – как мамаша с дочкой (Яхнин, страшно довольный, говорил – «как бабуса с внучкой»).

В другой раз я крутил с одной угловатой спортсменкой – сексуальной ведьмой с чугунным задом, а у Яхнина в это время появилась стройная галерейщица, которая с утра до вечера вращалась в кругу художников (ей даже некогда было убираться в квартире – она нанимала домработницу); галерейщица была в два раза симпатичней и в три раза умней спортсменки, и, ясное дело, сравнивая наших подружек, Яхнин опять надо мной подтрунивал.

Бывало и наоборот. Однажды мой друг привязался к хромоногой дамочке-врачихе, а я – к студентке с точёной фигурой, и, понятно, тут уж у меня были возможности подпускать шпильки. Но чаще мы встречались с подружками одного покроя и равных способностей, и тогда наш квартет выглядел гармонично. Помню одних в шляпах, как церковные колокола... Впрочем, о чём я?! Не хочу в это углубляться.

Несколько лет подряд посетители клуба видели Яхнина и меня в обществе женщин. Скажу без хвастовства – у нас было полно романов; вот только все мои – какие-то обычные, без озарения, а у Яхнина – все с волшебством (он умеет их расцветить красотами, всё-таки способный, чёрт!). И что странно, в то время Яхнин выпивал не меньше меня и не меньше имел романов, но я слыл пьяницей и неутомимым бабником, а он – трезвенником и святошей. Несмотря на все мои достоинства и его недостатки, именно такими и слыли. Понятно, в те годы многие осуждали нас.

– В вашем возрасте одинокий мужчина – тот же волк, – говорили. – Ваша охота за женщинами – от трусости. Это боязнь одиночества, некое самоутверждение.

Мы только усмехались, догадываясь, что большинство этих моралистов попросту лопаются от зависти, а остальным не собирались объяснять, что мы давно стали эгоистами и не способны на уступки, необходимые в семье, не терпим обязанностей и всякого ограничения свободы, а главное – эти идиоты не понимали, что впереди нас

ждут идеальные женщины, с которыми мы, возможно, и распишемся; так что теперешние наши приключения – всего лишь прелюдия к небесному счастью.

Особенно нам завидовал и проявлял глубочайший интерес к нашим романтическим делам Тарловский, который большую часть времени торчал дома и выполнял капризы больной матери; иногда забегал в ЦДЛ, но выпивал крайне редко (и, в отличие от нас с Яхниным, ярых курильщиков, никогда не курил). Как-то развесёлый Яхнин бросил ему историческую фразу:

– Марк! Вот ты себя бережешь, а что ты будешь делать, когда мы все умрём, и ты останешься один?

А я подумал – в самом деле страшновато, и втайне позавидовал Яхнину за его глобальный взгляд на жизнь, за то, что его посещают такие умные мысли.

Понятно, в те годы, годы нашей с Яхниным крепкой дружбы, нас связывали не только женщины, у нас на многое были общие взгляды, и наши разговоры были по-настоящему откровенными, мы ничего не скрывали друг от друга. Мы ходили на выставки, ездили на моём «москвичонке» за город к друзьям – то было замечательное времечко.

Вспоминаю, как Мазнин предложил нам съездить к его другу фотографу Виктору Тобельскому на Рузское водохранилище, как нас радушно встретило всё семейство фотографа: и дети, и собаки, и кошки, и козы. Тот солнечный день был насыщен весельем, интересными разговорами... и кажется – он был совсем недавно, а с тех пор прошло двадцать пять лет.

Однажды Тарловский рассказал, как с Мазниным писал пьесу для кукольного театра. Потом я начал нахваливать пьесы Шашина.

– Я тоже мог бы написать пьесу для взрослых, – сказал Яхнин. – Но мне уже пятьдесят три; пока её пробью, будет пятьдесят восемь, есть ли смысл?

Такие рассуждения. Но в те же дни он влюбился в девицу из Ленинграда – полухиппи-полупоэтессу – и, в урагане страсти, чуть не решил на ней жениться. Тарловский возмутился:

– Да она тебя бросит через два года!

– Ну и пусть! – беспечно откликнулся Яхнин. – Зато целых два года буду счастлив! (И такая непрактичность на него нападала – такой он многогранный.)

В конце концов Яхнин получил квартиру в Медведково и сразу где-то подцепил некрасивую, молодую, какую-то молевидную Таню, которая стала часто приезжать к нему делать уборку, готовить; незаметно она въехала в душу Яхнина, и он привык к этой безликой бабёшке.

– Я для неё первооткрыватель, – прочувственно говорил мне. – Наши с тобой бабы в клубе всё видели, всё знают, их ничем не удивишь, а эта только придёт – «Ой, какая у вас модная рубашка!», «Ой, какое печенье! Никогда такого не ела!».

Молевидная прямо молилась на Яхнина – кажется, даже поставила его портрет рядом с иконой, но Яхнин не очень-то радовался этому поклонению.

– Знаешь, – делился со мной, – когда тебе двадцать пять и в тебя влюблена какая-нибудь девица, тебе жуть как приятно, а когда за пятьдесят, не очень-то приятно, если не можешь ответить взаимностью... Конечно, я мог бы из неё вылепить нужную мне женщину, но ведь потом-то она меня бросит, старого и немощного. Я, кстати, иногда подумываю о нашей старости. Плоховато будет, когда никто не подаст стакан воды. Говорят, в нашем Союзе собираются строить дом для престарелых...

– О чём ты говоришь! – отмахнулся я. – Как-нибудь сами о себе позаботимся. Да и нам не грозит старческая немощь – раньше загнёмся. Мы все издёрганные.

Яхнин начал жаловаться на болезни, сильно преувеличивая свои страдания (считает себя самым больным из всех литераторов). Я только развёл руками:

– Пока можешь завязывать шнурки на ботинках, считай, ты в порядке.

Страх Яхнина перед одинокой старостью в конце концов привёл его в загс – он женился на молодой (моложе его на двадцать четыре года) и, под стать ему, деловой женщине. В это же самое время я встретил одну особу (моложе меня на шестнадцать лет) и она переехала ко мне.

– Всё, Сергеев! – сказал Яхнин. – На этих женщинах и остановимся. Нам с тобой уже под шестьдесят, искать других поздно (это выглядело жестом отчаяния).

Вот так, одновременно, мы и похоронили планы на совершенную спутницу в старости. Правда, я ещё какое-то время трепыхался, думал, что наше новое сожительство – всего лишь временная ритуальная жертва,

после которой мы окунёмся в действительное счастье, но где там! – уже через три года я всё пустил на самотёк, и мечта о счастье отодвинулась на такое расстояние, что стала трудноразличимой, а теперь, спустя семь лет, и вовсе уже еле маячит где-то у горизонта. Но всё же маячит! И я готов к последней попытке догнать это самое счастье. А у Яхнина, знаю точно, уже ничего не маячит, и, когда я, с некоторым прискорбием, говорю ему о своей сокровенной мечте, он только усмехается.

Сейчас я думаю – самым огорчительным и несправедливым в жизни является то, что люди, у которых особенно много общего, редко встречаются друг с другом, чаще не встречаются вообще, даже если живут в одном городе, в одном районе. Так складываются обстоятельства – не подворачивается случай.

Моя сожительница относится ко мне не очень-то уважительно (понятно, за что уважать безденежного литератора, которого нигде не печатают?). К примеру, разыграется моя язва желудка или прихватит почки – она сразу:

– Это всё твои пьянки. Доконаешь себя. Ложись в больницу, пока не поздно!

Как-то у меня страшно скакнуло давление, она вызвала неотложку; когда врачи, сделав укол магнезии, уехали, я говорю:

– Надо же, что-то, а давление у меня всегда было в норме.

– Всё когда-то бывает в первый раз. Ещё не то будет, если не брошишь пьянки.

– Хочешь сказать, что это начало конца? – спросил я и, с потугой на юмор, добавил: – Только и ждешь, когда я окочурюсь, чтобы завладеть моим богатством.

– Каким богатством?! Этой хибарой и машиной-развалюхой? Да и ты ведь уже всё в завещании оставил внучке!

– А у тебя и моей дочери свои прекрасные квартиры. Да и завещание я написал задолго до знакомства с тобой...

Так и пикируемся на мелком бытовом уровне.

Яхин, в свою очередь, довольно быстро пришёл к выводу, что ему повезло, что он встретил лучшую из столичных женщин. Теперь они неразлучны, квартиру превратили в мини-издательство (приобрели компьютер, принтер) и поставили дело на поток: клепают книжки одну за другой, с каждым годом наращивая темп. Счастья им и огромного благосостояния!

Но перед этими глобальными событиями Яхнин побывал ещё в одном загсе. Однажды, когда мы с ним засиделись в ЦДЛ, к нам подсел Сергиенко.

– Вот что! Есть одна интеллигентная богатая женщина. Когда-то мы вместе учились в МГУ. Можем сейчас поехать к ней. За Яхнина я спокоен – он хитрый, умеет себя вести, а ты, Сергеев, веди себя прилично, не напивайся, не ругайся.

Богатая интеллигентка встретила нас, выгуливая пуделя, и как бы между делом протирала свою «Волгу». Её звали Марина. Сергиенко говорил, что на их курсе она была самой красивой, но я увидел женщину не очень-то выразительной внешности, скорее – обычной, неприметной; как позднее сказал Тарловский, «пыльца красоты с неё давно слетела». Она жила с дочерью, студенткой-первокурсницей, в большой, хорошо обставленной квартире.

Яхнин сразу запал на эту Марину, завертел хвостом и стал смотреть на неё, как паук на муху; вкрадчиво (в своей манере), с преувеличенной заинтересованностью начал выспрашивать у хозяйки о картинах на стенах, книгах на полках; та с готовностью подробно всё объясняла. Я поставил на стол бутылку водки, которую мы притащили, по-простецки спросил, где стаканы, – Сергиенко показал мне кулак и уединился в соседней комнате с дочерью хозяйки (стало ясно, для чего нас прихватил). Мне долго не надо было приглядываться к этой Марине, я сразу понял – она цепкая бабёнка и расставит сети моему другу как надо.

Понятно, Яхнин не лыком шит, и, как ни заманивала его к себе богатая интеллигентка, он долгое время удачно увиливал от последнего шага (довёл барышню до исступления; она даже спросила у Сергиенко, уж не импотент ли он). Но в конце концов Яхнин сдался (подобно многим мужчинам, и он поглупел в женских сетях). Вскоре он переехал к богатой интеллигентке Марине, чуть позже они расписались. В загсе я был свидетелем с его стороны, и, честно скажу, мне было жаль отдавать Яхнина в руки хищницы Марины.

Спустя некоторое время я зашёл к ним и ахнул – мой друг выглядел бледной тенью прежнего Яхнина; неумолчный говорун превратился в молчальника, только безропотно поддакивал супруге, чуть не прыгал перед ней на задних лапках. А она уже вовсю распрямилась – небрежно отдавала команды по домашнему хозяйству, да ещё ворчала:

– Он так много ест, просто ужас какой-то!

Позднее она жаловалась нам с Сергиенко:

– В машине ничего не смыслит – куда ему! И права не хочет получить. Прожил два года, а денег не принёс ни копейки (такие светские монологи).

Как раз в это время в издательстве «Кристина» Яхнин сандалил одну книжку за другой, заколотил двадцать тысяч (деньги к нему прямо сыпались с неба, он еле успевал их собирать), всё складывал на сберкнижку – на случай, если его брак развалится. К этому была небольшая предпосылка: однажды он увидел, как Марину провожал друг её первого мужа, и, прощаясь, они поцеловались далеко не дружеским поцелуем. Большой ревнивец Яхнин закатил Марине скандал и ушёл от неё на целых три дня. Потом она доказала ему, что поцелуй всё же был дружеским, и их семейная жизнь наладилась, но со стороны представлялась пресным зрелищем.

В начале «реформ» богатая интеллигентка Марина навсегда улетела в Америку (возможно, чтобы стать ещё богаче, но, как позднее выяснилось, ничего не добилась). Она звала с собой и Яхнина, и на некоторое время он ударился в раздумья; говорил: «Лучше там коробки таскать, чем ждать, когда здесь тебе выпустят кишки» (ему, паникёру, уже мерещилась гражданская война, погромы). В те дни он (за компанию) уговаривал эмигрировать и Тарловского – «великим писателем можно стать и там».

А Марина в это время уговаривала родителей Яхнина, но те сразу твёрдо отказались. В конце концов, выбирая между женой и родными, Яхнин выбрал отца и мать. Я вздохнул с облегчением – снова он был свободен, и наш холостяцкий тандем заработал с прежней мощью. Хотя нет, загибаю – немного сбавили обороты, ведь нам уже пошло на шестой десяток.

Долгие годы мы с Яхниным дружили и никогда не касались национального вопроса (если он освежит свою память, то подтвердит – я ни разу не употребил слово еврей – это и понятно, ведь воспитывался в интернациональной среде). Только однажды сам Яхнин мимоходом лягнул стихи поэта-еврея Л. Яковлева, зато безудержно нахваливал остальных «своих» (Червинского, Соловейчика, Вальшонка, Балла...) Крайне редко он отмечал кого-нибудь из русских авторов. Тогда я не придавал этому значения, и, когда началась криминальная револю-

ция, был уверен, что старик Яхнин одним из первых осудит сионистов (оказалось, сионизм – реальная сила, и немалая). Кто, как не он, должен был это сделать?! Чёрта с два, не тут-то было! Он заявил, что всё идёт нормально, в порядке вещей, что сионизм – безобидная штука, всего лишь – «желание иметь свою родину» (почему тогда в ООН его приравнивали к фашизму?) Короче, Яхнин стал оправдывать «богоизбранных» негодяев, захвативших власть (он и так-то молодчик языкастый, за словом в карман не полезет, но, если что не по нему, трещит без умолку, до посинения, заговаривает напрочь, не даёт вставить слово).

– Подожди, дай сказать, – остановил я его в тот вечер, когда над нами появилось чёрное облако, и мы впервые заговорили на эту тему, и он перебивал меня, как только я открывал рот. – Почему сейчас по всем каналам телевидения открыто издеваются над русским народом? Называют «неполноценным», «быдлом» и прочее. Ты что, этого не слышишь? Почему никто из известных евреев не заступится за русских? Один Тополь...

– Тополь – подонок! – почти вскричал Яхнин. – Не хочю о нём говорить!

Видимо, «подонок» – потому что тот обратился к олигархам: «Теперь, когда мы впервые в России взяли власть (писатель ошибся – второй раз), не надо испытывать терпение русского народа... Не жидитесь, делитесь с русскими...» Наверняка Яхнин не читал открытое письмо Тополю Ростроповича: «Дорогой друг! Я восхищён вашим мужеством...» Понятно, мнение маэстро весомей мнения Яхнина.

Что ещё я сказал?

– ...И раньше евреи часто спекулировали на том, что их притесняют. Во всяком случае, наши общие друзья-евреи всегда жили гораздо лучше, чем Сергиенко, Цыферов. И ты жил лучше, чем я.

Яхнин вспыхнул:

– Да ты знаешь, что меня не приняли в университет?! А я окончил школу с золотой медалью!

– Не ври! – бросил Шульжик, который подсел к нам (в его лице я получил некоторое подкрепление). – В наше время медалистов принимали без экзаменов...

Мы с Яхниным продолжали пикироваться, но Шульжик, оказавшись меж двух огней, сумел вывернуться:

– Я русский, но с детства наслушался слова жидёнок. С другой стороны, никогда не будут любить народ, который считает себя выше других...

Заговорили о Мазнине. Яхнин сразу скривил губы:

– Не хочу о нём говорить! Он антисемит! (А когда-то Мазнин первым издавал его книжки, и они дружили не один десяток лет).

Такая заварилась каша. Короче, в тот вечер я с горечью понял – в этом вопросе мы с Яхниным никогда не договоримся; понял, что он никогда не поднимется выше интересов своей национальности.

Позднее Мезинов сказал Тарловскому:

– Сергеев нашёл с кем говорить о евреях (он-то ещё в парткоме привык дипломатично обходить подобные темы; он-то знал, с кем о чём можно говорить).

Самое неприятное, трепло Яхнин в тот же день обзвонил всех своих знакомых и объявил им, что я антисемит; потом понял, что занимается чертовнёй, струсил, позвонил мне, начал изворачиваться: никому, мол, ничего не говорил, это Тарловский всем растрезвонил. Тарловский в свою очередь всё свалил на Мезинова... У этих склочников началась душеспалательная возня.

Через пару дней мы с Тарловским зашли в ЦДЛ, увидели за столом Балла с Кушаком; Балл сразу мне объявил:

– А Яхнин сказал, что ты стал антисемитом.

– Да нет! – вступился Тарловский. – Он против Березовского, Гусинского...

– А-а! – протянул Кушак. – Ну тогда я тоже антисемит.

Вот такие в ЦДЛ бывают омерзительные разговоры. Кстати, Яхнин (да и Мезинов с Тарловским) считает, что мои взгляды на национальный вопрос – влияние Мазнина (нашли себе ложное утешение). Не понимают, старые дураки, что у меня есть и своя башка на плечах и вообще в нашем возрасте, если сам к чему-то не придёшь, чёрта с два кто изменит твои взгляды, тем более таким упрямым, как я. А прийти к определённым взглядам несложно, достаточно посмотреть наш телевизор – там ежедневно видны перекошенные от злости лица «демократов»; они открыто презирают нашу страну, оскорбляют наш народ. Вне всякого сомнения, евреи сами виноваты в антиеврейских настроениях, а антисемитизм – ответная реакция на распоясавшихся сионистов. Такое горькое рассуждение, такой неутешительный вывод.

В общем, целый месяц мы с Яхниным не созванивались, только через Тарловского узнавали друг о друге (понятно, оба переживали размолвку – куда деть предыдущие годы дружбы?); потом всё же раздался звонок от Яхнина:

– Давай встретимся, у меня есть немного выпить (нашёл хороший повод; хотя мог бы и сказать: «Надо объясниться, мы что-то не поняли друг друга»).

Мы встретились в Нижнем буфете нашего уже захиревшего клуба, он достал пузырёк, я взял бутерброды; после первой рюмки, чтобы прийти к общему, сгладить разногласия, я вернулся к прежнему разговору, но Яхнин сразу дал понять, что у него прочные взгляды и он их не меняет:

– Не хочу об этом говорить!

А о чём говорить, как не о том, из-за чего мы разругались? Ведь известно – не оглядываясь назад, не найдёшь дорогу вперёд. У меня, например, был к Яхнину серьёзный вопрос – если у нас существовал антисемитизм, почему среди композиторов и режиссёров лишь единицы – русские, а на эстраде и в детской литературе их вообще нет? Яхнину пораскинуть бы мозгами; неужели не ясно – недомолвки в серьёзных вопросах исключают настоящую дружбу. У нас была прекрасная возможность всё расставить по своим местам, назвать вещи своими именами, но Яхнин, старый таракан, увильнул от разговора – завёл болтовню о малосущественных вещах, и мы разошлись, каждый при своём. Смех с горечью! Два старых лысых чёрта, захмелевших, пропитанных табаком, не смогли найти общий язык.

Понятно, мне по-настоящему жаль, что Яхнин стал таким упёртым радетелем еврейских интересов. Я думаю, допусти его сейчас к власти, он отыграется на русском народе за всё, завинтит гайки до упора; ну, может, только таким, как я, бросит кость – разрешит что-нибудь напечатать. Э-хе-хе, неприятно об этом говорить, очень неприятно.

Мы с Яхниным по-прежнему считаемся друзьями, но, естественно, наши отношения немного покорёженные, у каждого на душе остался – ну не булыжник, конечно, – камешек. Теперь, на завершающем этапе нашей жизни, мы встречаемся – на выставках, на днях рождения и похоронах друзей, хотя, признаюсь, иногда я с теплотой вспоминаю то время, когда мы встречались ежедневно и нас связывало единогласие, общность взглядов не только на литературу, но и на многое

другое – мы просто мыслили одинаково и часто в один голос говорили одни и те же слова – это было потрясающе, это было.

Повторяю, те годы взаимопонимания не зачеркнуть, я с удовольствием прожил бы их заново. Не случайно и сейчас, касаясь житейских вопросов, я советуюсь не с кем-нибудь, а именно с Яхниным – он знает ответы на все вопросы. Его опыт, знание людей, острый ум и участие в моей жизни многого стоят.

Собственно, теперь, на седьмом десятке, мы все встречаемся редко ещё и потому, что нет-нет да скручивают болезни (хорошо, что ещё терпимые, не добавилось бы мучительных, смертельных) – одного изводит радикулит, у другого отнимаются ноги, третьего замучило давление, четвёртого аденома – все как один разваливаемся, наступила расплата за нашу потрясающую жизнь.

Заканчивая очерк о Яхнине, надо отметить – за долгие годы нашего общения он никогда меня не дурачил; немного хитрил, что-то умалчивал, но явно не дурачил, в отличие от других друзей-литераторов. Я уже говорил, как Снегирёв надул меня в Детгизе, а Кушак – в «Советской России». Недавно позвонил Альберт Иванов:

– Ну ты скрытный! Я пришёл в «Олма-пресс», сказал: «Надо печатать Сергеева, у него есть рассказы о животных», а они говорят: «Он у нас премию получил».

Позднее в издательстве мне сказали, что вначале Иванов узнал про премию, а потом заикнулся про мои рассказы. Оказалось, он уже три года там печатал свои рассказы о животных, но обо мне не вспоминал. Как и Яхнин, кстати, но Яхнин хотя бы просто скрывал, а Иванов и скрывал, и врал – выставял себя таким благодетелем.

– Что ж ты хочешь, он хитрец – тот ещё! У него же мать – еврейка, – пояснил мне А. Барков.

И, справедливости ради, надо Яхнина, старую калошу, погладить по лысине, но прежде ударюсь в небольшое рассуждение. Я заметил: в творческой среде восхищение работами товарищей – удел талантливых, уверенных в себе, а не очень талантливые или закомплексованные, или зацикленные на себе – равнодушны к работам других (некоторые и вовсе с радостью отмечают чужие недостатки, промахи). Так вот, эта черта – восхищение – начисто отсутствовала у Снегирёва, и у Цыферова, и у Постникова, и, конечно, у С. Иванова, Сергиенко, Ковалёва (эти восхищались собой); и, вне всякого сомнения, отсутствует

у Успенского – здесь и говорить нечего. А вот к чести Яхнина надо сказать – он умеет восхищаться работами друзей без всякой зависти. Стариканы Кушак и Шульжик тоже умеют (если расчувствуются), но Яхнин выражает своё восхищение неподдельно, от всего сердца – в этом я абсолютно уверен, это он демонстрировал не раз.

И ещё я знаю точно – когда один из нас двоих «заснёт могильным сном», другому взгрустнётся.

ТАЛАНТЛИВЫЙ АВАНТЮРИСТ

Ошеломляющий друг мой Валерий Шульжик на фотографии Геры, как и большинство моих дружков, улыбается. И улыбается во весь рот на любительских снимках, которые сделал я, – особенно лучезарно на последнем, где стоит, облокотившись на очередную машину, которую пригнал из Кёльна на продажу, – стоит и скалится во всю широченную физиономию. Он, старый хряк, явно доволен жизнью.

Шульжик – самый остроумный и щедрый из моих друзей и самый талантливый авантюрист (с замашками разбойника) из всех, кого я знал. Французы говорят: «Авантюрист – человек с жаждой жизни». У Шульжика этой самой жажды – хоть отбавляй! Непоседа, азартный балагур, раблезианец, неиссякаемый рассказчик, знаток анекдотов, он может весь вечер, без передыха, развлекать компанию (без всяких домашних заготовок); может выкинуть экстравагантный номер – на улице упасть на колени перед какой-нибудь красоткой. Вокруг него прямо-таки электрическое поле юмора (его хлёткому юмору позавидовали бы и англичане; хотя нет – у них юмор утончённый, а у нашего героя грубоватый). Рядом с ним, расточительным к своему таланту, особенно жалко выглядят (и без того жалкие) разные эстрадные масовики вроде Измайлова, Задорнова – недаром кое-кто из них даже записывает за Шульжиком его ослепительные остроты (бездарный пошляк Измайлов умудрился своровать и у Тарловского целый рассказ «Лукоморье»).

Сейчас Шульжик – колоритный импульсивный старикан, прошедший огни и воды, – пузатый, лысый, с огромным носом-рубильником на круглой ряхе, а в молодости был похож на актёра Бурвиля.

Тарловскому Шульжик говорил предельно просто:

– Представь себе, Марик, как ни странно, но я не еврей.

А мне объяснял подробней:

– Моя мать – украинка, неграмотная женщина, работала официанткой, была контрабандисткой, возила спирт из Китая... А отец – поляк, был интеллигентен, работал авиамехаником, с фронта вернулся израненный и вскоре умер...

Когда в компании русских литераторов заходит разговор о национальности и я говорю: «По словам Успенского и Шульжика, они русские», литераторы поднимают меня на смех:

– А их эстрадное хохмачество?! И вся их деятельность?! Достаточно посмотреть, как они пропихивают свои книги в издательства!

Барков говорил прямо:

– Я был с Шульжиком в командировке в Германии. Так он там крутился только среди евреев, танцевал и пел еврейские песни. И здесь, сами знаете, он общается только с евреями, даже с Алексиным писал пьесу. И всячески расхваливает Межирова, а этот картёжник, будучи пьяным за рулём, сбил насмерть актёра из театра Станиславского, но евреи помогли ему избежать суда и эмигрировать в Америку.

В детстве Шульжика, по словам его сестры, звали «еврейчик»; в юности он наслушался про «еврейскую морду», и сейчас, повторяю, многие уверены – он еврей («практичный, настырный», «а как нахваливает своих, даже международного спекулянта Сороса», «а эмиграция в Германию?»). Шульжик ловко пользуется своей внешностью: с евреями он еврей, с русскими – русский, с поляками – поляк, с немцами – немец. (По словам Баркова, Шульжик говорил ему: «Саша, нам, русским, очень тяжело», а потом приходил к Алексину и говорил, что он еврей и его нигде не печатают.) Шульжик, точно камбала, мгновенно вписывается в окружающую среду, ведь является профессиональным актёром (в армии служил в ансамбле и был конферансье, позднее, окончив эстрадное училище, изображал вторую голову Тянитолкая во Владивостокском детском театре и считался лучшей Бабой-ягой на Дальнем Востоке).

Сейчас Шульжик уже не меняется – в любой компании открыто поддерживает евреев, и если раньше всяких Измайловых считал «полными бездарями», то теперь называет «профессионалами», а Кушака, которого когда-то громил за «жидовские штучки», теперь при встрече горячо обнимает; ну и особенно превозносит Синельникова (о котором

точно сказал литературно одарённый сын Шульжика Игорь: «Всего лишь из числа начитанных поэтов»). Такой зажигательный момент, такие устойчивые взгляды у нашего чужестранца. Недавно мы собрались в его отличной квартире на Фрунзенской набережной, где вид из эркера на Москву-реку, мосты, Ленинские горы (уезжая в Германию, он сдаёт свои апартаменты и за «вид» берёт дополнительную плату). Мы собрались, и наш хозяин, красочно расписывая, назвал своих гостей – супругов из Израиля. Затем кивнул в нашу сторону:

– Наш классик Яков Аким... Самый известный из молодых юмористов Вишневский... Ну а Сергеева представлять не обязательно (в том смысле, что я ничего из себя не представляю и вообще в их еврейской компании случайно; такой юморок).

Зато в нашей узкой компании может и польстить мне с наигранной серьёзностью:

– Давайте выпьем за действительно настоящего писателя, – и поднимет рюмку за меня.

Вот так: то обухом по голове, то на пьедестал.

Я уже говорил: мы познакомились заочно, в середине шестидесятых годов, когда Шульжик ещё жил в Хабаровске, а Постников предложил мне иллюстрировать книжки его детских стихов (до сих пор помню некоторые наизусть, а «Жил да был бегемот», считаю, должен войти в Детские энциклопедии). Позднее, перебравшись в Москву с женой и сыном, энергичный Шульжик сразу вошёл в комиссию по драматургии (при министерстве культуры) и в комиссию (при Союзе писателей) по распределению жилья, автомашин и талонов на продукты питания. Понятно, у этих кормушек сидели одни прохиндеи из числа «богоизбранных». Шульжик откровенно и грубо их припугнул, заявив, что знает про их махинации (в частности, Рейжевского, которому место было в тюрьме, а не в руководстве писательского Союза), и, само собой, быстро получил и квартиру, и машину, и мешок талонов (уже тогда он везде со всеми держался раскованно, свободно, без всяких провинциальных комплексов). Но и обосновавшись в столице, мой друг не терял связь с Хабаровском, и я по-прежнему иллюстрировал его книжки (одну – с пьесами).

Здесь необходимо отступление. Каждому ясно: в детской книге писатель и художник – соавторы, и в этом деле главное – попадание, общность взглядов и вкусов, что и приводит к хорошему результату.

Но так бывает не всегда. Случается, художники, олухи, лезут в текст, говорят, что «иллюстративно», что «не иллюстративно», где не мешало бы сократить, добавить... Некоторые писатели руководствуются заповедью Заболоцкого: «Любите живопись, поэты» – и любят так, что навязывают, остолопы, своё в оформлении, настаивают на переделках, а особенно остолопистые – и на замене художника. И это при том, что и те, и другие не новички в общем котле. Идиоты! Полные идиоты и настырные невежды! Среди писателей этим отличаются Успенский, Кушак, Козлов. Иногда что-то вякает Мазнин. Но все рекорды бьёт Яхнин – повторяю, этот гусь просто мучает бедных художников: въедливо рассматривает (чуть ли не на просвет) каждую загогулину, ежедневно спрашивает про каждый штрих и мазок (считает, главное не товар, а его броская обёртка).

Я вспоминаю послевоенные скромные издания (на жёлтой газетной бумаге) Пушкина, Гоголя, Лескова и гневно осуждаю вылазки своих, как бы взыскательных, на самом деле нахальных дружков. Они, старое дурачье, дожили до пенсии, но не усекли, что большинство художников мало смыслят в технике литературного письма, а писатели, как правило, ничего не петрят в тонкостях оформления. Но вот самоуверенные болваны! – и те, и другие считают, что смыслят и петрят, и ещё как! Я уж не говорю о том, что мастера должны доверять друг другу. Предложил тебе писатель иллюстрировать его рассказы – считай за честь и бережно относись к тексту, а если ты писатель – подписывай рисунки не глядя, будь благодарен, что твой текст расцветил мастер, дал своё (может, отличное от твоего) видение.

Вот сейчас вспомнил, как Коваль в ресторане ЦДЛ высказывал недовольство Рубену Варшамову за рисунки к «Шамайке», бурчал долго, нахраписто, ведь считает себя мастером живописи (вот и делал бы сам! – кстати, иногда пробовал – получалась фигня.) Варшамов отбивался, как мог, а я встречал – вворачивал приблизительно то, что сказал выше. Мы чуть не разругались; хорошо, что на столе стояла бутылка – она в конце концов разрядила обстановку. Самое смешное – всё это не преувеличения, это голая правда.

Теперь вернусь к Шульжику. В отличие от всей вышеперечисленной братии он поднялся над самим собой. Когда я сделал его первую книжку стихов, он сказал:

– Рисунки хорошие, но обложка так себе (обложка действительно была плохой, но в то время лучше я и не мог сделать).

В следующий приезд из Хабаровска Шульжик обнял меня:

– Знаешь, наши художники убедили меня, что обложка нормальная. Зря я наговорил тебе глупостей. Больше никогда не буду лезть в оформление. Я понял: писатель и художник смотрят на одни и те же вещи по-разному.

Шульжик обременён излишними талантами, он многогранен, как десятиборец. В молодости со знакомой художницей спускался на лодке по таёжной реке (когда я слушал его обжигающие рассказы об огромных порогах, огромных тайменях и прочих огромностях, мои походы по рекам средней полосы казались детскими забавами; хотя наверняка в его рассказах было полно и выдумки, – скорее всего, он такой же таёжный турист, как Снегирёв, ведь настоящий мастер виден издали, а наш герой на своём дачном участке выглядит далеко не мастеровитым; больше того – кажется, у него вообще руки растут не из того места).

В то же время Шульжик учился на Высших литературных курсах, с эстрадниками делал новогодние представления во Дворце съездов, Доме работников искусств и Доме кино (и сейчас делает и, чтобы получить такие заказы, подключает всеильных знакомых). В зрелости он писал прозу, стихи и пьесы (одно время с Мазниным); параллельно строил дачи, точнее, строили рабочие под его присмотром (одну дачу в товариществе писателей, другую в товариществе актёров – и там, и там состоял в поселковом правлении), и гонял на машине между участками, и всё подбивал меня купить в складчину списанный речной трамвай (где-то в Хабаровске), перегнать его к нам, на Истринское водохранилище, чтобы отдохнуть на широкую ногу, – вот коммерческая голова!

И сейчас, в старости, мой мордатый друг не угомонился; даже наоборот – всё сильнее раскручивает свой созидательный маховик, хотя временами театральным жестом хватается за сердце, при этом путается, забывает, в какой оно стороне, ведь здоров как бык (пожалуй, он единственный из моих дружков, который долгое время даже не знал, что такое простуда).

Шульжик, как никто, заботится о часто болеющей жене: достаёт редкие лекарства, выписывает массажисток; заодно и свои мышцы

приводит в порядок, хотя, повторяю, у него здоровье, как у беловежского зубра, ведь он не курит и старается много не выпивать, но всё же выпивает, даже за рулём.

– У меня принцип, – говорит с бравадой, – я за рулём пью.

Каким-то непонятным образом он, всеядный шустряк, успевает читать все новинки, смотреть все телепередачи. Раньше летом выкраивал время, чтобы со знакомой слетать к морю и с приятелем прокатиться на собственном катере по Ново-Мелковскому отрезку Волги; теперь с женой гоняет на машине во Францию и Испанию. И, разумеется, по вечерам забегает в ЦДЛ, чтобы пообщаться с собратьями по перу (как же без них?), и при этом щедро, с показной небрежностью угощает всех знакомых и незнакомых. Он легко и красиво транжирит деньги (особенно на людях), всем даёт в долг – «о чём ты говоришь?!» – и тут же вроде забывает об этом. Честное слово, от него исходят мощные жизненные заряды – после общения с ним я становлюсь каким-то активно-вздрыченным, мне хочется что-то делать, только что именно, никак не могу сообразить.

Шульжик небрежно относится не только к деньгам, но и к вещам.

– Я хочу тебе что-нибудь подарить, – театрально говорил на даче (наши участки находились в одном товариществе). – Бери это или то (отдавал немного поломанные складные стулья или временами работающий телевизор).

– Тебе надо съездить в Истру? О чём ты говоришь! Да вот ключи, садись в машину и кати... Тебе нужны семена цветов? Бери сколько надо.

Шульжик небрежно относится и к своим вещам, и к чужим. Например, в посёлке на Истре возьмёт запасное колесо от машины у моего брата – «Завтра верну!» – бросит – и исчезнет на пару недель, а брат не может выехать с участка. Случается, он небрежен и к друзьям:

– Попозже позвоню! – скажет мне – и не позвонит.

Для него такие обещания – просто отговорки. Отмахнётся, и дело с концом. В таких вещах ему надуть – раз плюнуть. «Замотался», – потом скажет и начнёт лепить полуправду-полусказку (здесь у него особо быстрый ум) – этим его балаболством я сыт по горло. Понятно, у него дел невпроворот, он везде нарасхват, но, надо сказать, в серьёзных вещах он меня никогда не обманывал.

Кстати, так же наплевательски относятся к своим обещаниям Кучаев и Штокман, а вот Яхнин, молодец, никогда не забывает своих

обещаний. Но что там друзья! Шульжик небрежен и ко времени – живёт сегодняшним днём, никогда ничего не вспоминает, не бережёт прошлое – редчайший случай среди стариков, – похоже, считает, что впереди у него длинная жизнь. Такой бестолковый, оголтелый старикашка!

Перебравшись в Германию, Шульжик стал оттуда привозить чуть поломанный антиквариат.

– Понимаешь, какая штука, – пояснил мне, – немцы зажрались и выбрасывают красивые вещи, а у нас ведь это ценность.

Действительно, кое-какие амфирные штуковины он использовал в своей даче, а чтобы посмеяться над друзьями, на видное место выставил старую доску от сгнившей баржи – говорит: «От фрегата «Паллада».

Друзьям на дни рождения Шульжик дарит надбитые статуэтки и вазы, треснутую деревянную резьбу, а Тарловскому, который не очень-то разбирается в старине, – сломанный диктофон, – вероятно, как намёк, что ждёт от него новых произведений. Друзья недоумевают:

– И чего он, барахольщик, дарит всё сломанное, неработающее? Ему что, лишь бы отметиться?

Между тем подарки Шульжика со значением – хорошая вещь, даже сломанная, всё равно вещь, а мне на дни рождения он не раз преподносил и то, что если не на вес золота, то и на дороге не валяется. И однажды подарил метафору, а я ему «маринованных зябликов» для «Фунтика».

Но делает наш друг и сомнительные презенты – для рабочих, которые возводят его очередную дачу (на этот раз по Ярославскому шоссе), и для нас привозит немецкий спирт; понятно, у рабочих глотки лужёные, а вот мы с Ишковым однажды от этого «гостинца» отравились (сам-то Шульжик пьёт только коньяк и вермут).

Кстати, вспомнил: Мазнин наряду с королевскими подарками (редкими книгами) тоже может всучить барахло. Как-то речь зашла о компьютерах, и он предложил мне взять свой старый (первый советский), который когда-то купил дочери, – «работает», сказал, но выяснилось: игрушке место на помойке – два мастера отказались чинить.

Как-то Шульжик сделал инсценировку «Бременских музыкантов» в Ермоловском театре, и вскоре появилась рецензия: «Отличная режиссура, декорации, музыка... Отлично играют актёры... хорошие

стихи Мориц...» Об авторе пьесы упомянули лишь то, что он «не испортил сказку». По словам Шульжика, он только посмеялся, но злые языки утверждают, что он судился с поэтессой. Возможно. Если дело идёт на принцип, он не отступит, докажет недоказуемое, он оратор что надо, всегда найдёт мощные доводы. А уж тот, кто его надул в крупных денежных делах (при продаже дачи, машины) – а такое случалось на моей памяти, – тот спокойно жить не будет: наш герой своё возьмёт, будьте уверены. Соседу по даче, с которым они что-то не поделили, он сказал просто:

– Твой дом деревянный, а такие хорошо горят!

Когда он гнал очередную машину из Германии, где-то в Польше на него «наехали» рэкетеры; он и глазом не моргнул – спокойно достал пистолет и наставил на бандитов:

– Ну что, ребята, будем говорить или разъедемся?!

Вот такой крутой экземпляр, прямо герой боевика! А по-моему – шизик. Ну нормальный человек станет играть в такие игры, устраивать шальные выходы? Кушак рассказывал:

– Шульжик везёт нас с Игорем (Мазниным) с дачи, останавливает гаишник, придрался к чему-то, явно хочет срубить деньги. Шульжик дал ему в морду, впрыгнул в машину – и мы ходу. В машине Шульжик говорит: «Сейчас подъедем к посту, скажем: вымогал взятку». Входим на пост, Шульжик эти слова говорит дежурному майору, а тот: «Этого не может быть!» Ну нам с Игорем ничего не оставалось, как кивнуть – намекал, мол...

Дело замяли – писатели всё же! Но ясно, когда-нибудь разухабистый Шульжик доиграется. Я ему, чокнутому громиле, не раз это предсказывал, а он знай усмехается:

– О чём ты?! Всё нормально, хоп!

Что и говорить, в авантюрной гонке за благополучием Шульжик не только гробит свой талант, но и играет с огнём и, бывает, ставит друзей в неловкое положение. Так случилось, когда он перебрался в Москву и его прищучили за фиктивный брак, – тогда друзья должны были подтверждать, что он с липовой женой «вёл совместное хозяйство». Но это ещё цветочки. По паспорту внебрачного сына Шульжик пытался проверить рискованную аферу и тем самым сильно подвёл парня. Никак не могу понять, зачем ему, таланту, золотой голове, нужны все эти острые ощущения, ведь он одной литературой может прилично зарабатывать?

Всё-таки у него в крови что-то от грабителей с больших дорог, не зря его ближайший друг Сергей Дитятев называет его авантюристом-раздолбаем.

Есть у Шульжика пьеса для детей «Последний маленький солдат», в ней завоеватель у покорённого народа забирает звёзды с неба, скатывает и уносит дорогу... Эти детали действуют на детей сильнее всяких назидательных слов. Повторюсь: я не очень сведущ по части детской драматургии, но всё же могу отличить хорошее от плохого. К тому же иллюстрировал две пьесы Шульжика (в его книге). Так вот, мне кажется, его пьесы – именно то, что ребёнку нужно, – в них кроме нравоучительной идеи есть элементы игры, неожиданные повороты и, конечно, юмор.

Шульжик блестяще выступает перед детьми; перед выступлением заранее покупает рыбок в аквариуме, кролика и затем на сцене, как фокусник, срывает накидку со своих подарков и преподносит живность в качестве призов (миниатюра «Кролик за пазухой»).

Я уже говорил: через «своих» Шульжик получает крупно оплачиваемые заказы – пишет сценарии новогодних представлений во Дворце спорта и творческих Домах – подобную халтуру он делает мастерски, здесь его никто не переплюнет. Но недавно рассказывает со слабой имитацией гнева:

– Встречаю молодого детского поэта (кажется, Усачёва), чувствующего себя классиком, и говорю, что не раз делал новогодние представления, а он: «Когда вы делали?» Я объясняю, а он: «Ну теперь это делают профессионалы». Вот так. За нами идут самоуверенные ребята.

Человек широких взглядов и масштабных дел, Шульжик эмигрировал в Германию (говорят, «по еврейской линии»; сам Шульжик объясняет – «пригласили преподавать русскую литературу»), но российское гражданство оставил.

– Хлопая дверью, всегда надо иметь ключ, чтобы можно было вернуться, а то ведь могут и не пустить, – подмигивает мне – и уже несколько лет мотается из одной страны в другую.

Трудно понять конечную цель этого прохвоста, отчаянного искателя приключений, пожирателя пространств, но я знаю точно – если он станет таким же всемогущим и богатым, как Успенский, то и нам немало перепадёт, ведь он натура широченная.

В Германии первый год чете Шульжиков пришлось помытариться. Хозяева какого-то замка наняли их присмотреть за своими хоротами

на время отъезда. А хозяйство у тех немцев было немалое: оранжерея, лошади, павлины... Пока Шульжики занимались цветами, лошади вытоптали лужайку для гольфа – пришлось дёрн заделывать, травинку к травинке; затем куда-то исчезли павлины – их, истощённых, обнаружили через неделю на крыше замка и еле привели в чувство; в довершение всех бед сын Шульжика поехал на машине хозяев в соседний городок за продуктами и по возвращении врезался в ворота замка – помял и машину, и изгородь. Расплачивались за ущерб весь следующий год.

Ну а потом посредством недюжинной энергии и практицизма Шульжик провёл несколько комбинаций и открыл фабрику по разделке и копчению рыбы; цены заломил немалые, но на вопрос, почему так дорого, отвечал: «А я копчу её на горном дубе» (на самом деле жёг ящики из-под фруктов).

Освоившись в роли бизнесмена, ненасытный Шульжик расширил поле деятельности – начал перегонять в Россию подержанные машины. Одновременно четырём немцам, студентам университета, читал лекции по российской словесности, а русским эмигрантам (из числа неприкаянных) объяснял, как облапошить эмиграционную службу, налоговую полицию и таможду. Такой воротила! Я же говорю: он авантюрист высокого класса, уровня знаменитых пиратов (да и внешне на них смахивает). Он мог бы писать блестящие приключенческие романы, но выкраивает время только на книжки для детей. Иногда ещё на пьесы и сценарии. Да, собственно, занятия литературой для него – всего лишь незначительные проигрыши, чтобы заполнить окно в коммерческой деятельности.

Однажды мы с Мазниным тихо выпивали в Пёстром (денег наскребли всего ничего). Выпивали и беседовали о том о сём, а в соседнем зале (на веранде) широко гуляла компания. Внезапно оттуда вышел Шульжик – поддатый, красный, как мясник; увидел нас, подошёл, обнял.

– Пошли со мной. Чего вы здесь сидите с пустыми рюмками? Там всего навалом. Киногруппа отмечает фильм «Срочно... секретно... Губчека». Сценарий мой.

– Неудобно, мы ж там никого не знаем.

– О чём вы говорите? Я всё оплатил, – и приволок нас в зал, предплатил, усадил рядом с собой: – Пейте, копайте, не стесняйтесь!

В зале сидели актёры, режиссёр – человек тридцать; среди них десяток красоток – все уже нахлестались – будь здоров! Шульжик толкнул тост за главную героиню (как он объявил – уже десятый по счёту), и, когда сел, я спросил:

– Она известная актриса?

– Какая актриса?! О чём ты говоришь?! Жена режиссёра, оформлена у нас бухгалтером.

– А остальные красотки? – в один голос поинтересовались мы с Мазниным.

– Танцовщицы. Съёмки были в Сибири. Два месяца. Директор сказал: «Умрём со скуки. Введи в сценарий варьете, возьмём с собой девушек!» Я ему говорю: «Какое варьете в гражданскую войну?!» А он: «Введи, введи!»

На съёмки следующего фильма поехали в Среднюю Азию. Режиссёра и Шульжика (как сценариста) принял сам всесильный Рашидов (фильм должны были снимать по его книге).

– Поезжайте по республике, посмотрите, как мы живем, – сказал вождь.

Две недели их возили на правительственных машинах. Понятно, кутили по-купечески, пили и обжирались до обмороков. Правда, Шульжик успел пролистать роман «писателя» и, не найдя в нём ничего стоящего, набросал отсебятину, а любовную историю взял из другой книги Рашидова, но, когда сообщил об этом автору, тот заявил:

– Нет, о любви – для другого фильма.

Рашидовский фильм планировали представить на Ленинскую премию, но произошли известные события, и Шульжик не стал лауреатом и миллионером. А жаль. С его размахом и нам перепало бы немало – я же говорю: он щедрый, как никто.

Ясное дело, в ЦДЛ Шульжик – первый солист, остролов и насмешник – приложит, так приложит, здесь его талант очевидней очевидного. Приведу несколько показательных примеров:

– Сюсюканье, а не сказки, – говорил он о сказках Козлова и Яхина. – То, что они пишут, я могу писать левой ногой и километрами. Оба графоманы.

– Юдахин даже на смерти сына спекулирует (тот издал четыре книги стихов, посвящённых сыну).

– Кушак – ремесленник... А вот Домбровский, ребята, гений!

М. Арбатова выпустила книгу, где перечислила несколько своих поклонников. Шульжик откликнулся сразу:

– Она думает, что на её бюст должны сбегаться мужчины со всей Москвы, что и Наполеон завоёвывал Москву ради её бюста, но, не найдя её, повернул назад...

Кто-то из наших общих друзей задерживался на мой день рождения. Шульжик ему звонит:

– Ты уже не посещаешь бедных литераторов на рабочих окраинах?

А в застолье, когда чья-то подружка спросила меня: «Почему вы не женитесь?», Шульжик ей объяснил:

– А он, как и его собаки Челкаш и Дым, не привязывается к особам женского пола, встречается с ними одноразово.

В другой раз звонит мне:

– Не могу дозвониться, ты где болтаешься?

– Да в магазин ходил, – отвечаю.

– Ты что, уже так разбогател, что ходишь по магазинам?

А уж если видел меня в ЦДЛ с женщиной, непременно кидал что-нибудь этакое:

– Не слушайте его! Вчера он то же самое говорил другой! – потом закажет официанту салатницу овощей, шампанское, подсядет к нам и отвесит в мой адрес похвальные горячие слова.

Но однажды и я его разыграл. Мы застольничали у меня на участке под деревьями. Шульжик, как всегда, был великолепен – компания подыхала от смеха, только моя приятельница Елена смутно улыбалась и не произносила ни слова (плохо себя чувствовала).

Шульжика заело:

– А почему девушка всё время молчит? (Девушке было уже за сорок).

– А она иностранка (у неё действительно необычная внешность). Ни слова не понимает по-русски! – ввернул я. – Удобно! Можно выражаться как вздумается, пнуть матерком.

– Правда, что ли? – усомнился мой друг.

– Она испанка, – гнул я своё, и дальше намолол ещё что-то.

И Шульжик попался на удочку – решил за ней приударить и стал объяснять, как опутает её в роман; когда особенно разошёлся, Елена засмеялась:

– Не тратьте время, у вас ничего не получится!

В детских издательствах пошли сплошные адаптации. Тарловский из «Принца и нищего» сделал двадцать страниц, из «Буратино» – пять подтекстовок под рисунками.

– В следующий раз издатели будут просто давать ребёнку поле-но, – отреагировал Шульжик.

Он мог притащить в ЦДЛ какую-нибудь провинциальную газету и расхвалить совершенно неизвестного поэта или беспощадно разгромить самого известного.

– Ким Мешков? Ну какой он драматург? Если б не его жена, режиссёрша, его никто и не знал бы...

Когда же Коваль, изображая взыскательного мэтра, сказал:

– Занимаешься коммерцией, едрёна вошь! Но что ты написал? Ничего не знаю...

Шульжик обиделся не на шутку:

– Если ты не знаешь, это не значит, что я ничего не написал. Ты почитай, потом будем говорить.

Недавно Шульжик сполна отомстил Ковалю, заявив:

– Я поехал выступать перед детьми. Зашёл в магазин, купил десять своих «Фунтиков» по сто двадцать рублей. Рядом лежал роман Ковалья по двадцать пять рублей. Никто не брал.

Яхнин характеризовал нашего героя пожёстче Ковалья:

– Шульжик умный, у него отличный юмор, но пишет дерьмо.

Вот так старикашки и палили друг в друга. И сейчас палят, да ещё с большим натиском.

Поскольку в ЦДЛ компании чётко делятся на евреев и неевреев (а теперь ещё и на «демократов» и «патриотов»), всяким непримкнувшим, умеренных взглядов, вроде меня, приходится туговато (сидишь с одними – косо смотрят другие – идиотизм!). Шульжик в еврейской компании рьяно ругает «патриотов», среди «патриотов» поругивает евреев, а в смешанных обществах старается быть «объективным».

И, ясно, каждую компанию расцвечивает анекдотами (их знает невероятное множество) и крепким юмором, не стесняясь в выражениях и при незнакомых людях. Некоторые (Шашин, Ишков) считают, что его здоровый цинизм часто переходит в пошлость (так же считал Сергиенко). Соглашусь: он, старый прощелыга, иногда даёт маху, но лично меня это не коробит. И потом его топорные штучки как-то органично вплетаются в его образ непосредственного «папаши».

Кстати, частенько он сам улавливает, когда переборщит, и тут же выдаёт что-нибудь «интеллигентное» из жизни Пушкина или Гоголя, и сразу компания на него пялится, как на немыслимого эрудита.

Ницше говорил: «Человек изобрёл смех, потому что много страдал», но юмористы, которых я знаю, жили и живут в полном благополучии, без всяких страданий. Шульжик – один из них.

Мой фантастический друг общается не только с литераторами и предпринимателями. Однажды мы с ним в ЦДЛ выпили – я лично, Шульжик поменьше – был за рулём.

– Давай подброшу тебя до Сокола, – предложил он, когда мы вышли на улицу.

Но не успели мы отъехать, как сзади засигналил «мерседес».

– Я сейчас, – кинул Шульжик, притормозив.

Я ждал его минут пятнадцать, чуть не задремал. Вышел, смотрю – он стоит в кругу кавказцев с тяжёлыми подбородками.

– Ну ты ещё долго будешь болтать с этими бандитами? – посмеиваясь, брякнул я.

Возникла мёртвая пауза. Затем Шульжик, ужасно нервничая, заговорил:

– Это мой друг, писатель. Это у него шутка. Он так называет друзей, – и подтолкнул меня к машине. – Иди, я сейчас!

Он вернулся через минуту, отдуваясь, плюхнулся на сиденье.

– Ты совсем спятил! Они ж в самом деле бандиты. Сказали: «Этого сразу замочить или потом?» Один из них Отари Квантришвили. Я его оформил своим секретарём. Мне надо для дела.

Я не занервничал – вот ещё! – наоборот, взглянув ещё раз на дружок моего друга, почему-то почувствовал себя сильным и очень порядочным (вот пьяная голова!).

Э-хе-хе! С кем только не общается мой друг, бесшабашный удалец и мошенник, бегущий по острию ножа, болтающий об идеалах и одновременно занимающийся нелегальным бизнесом. Кушак, Яхнин, да и многие другие экономно расходуют свой талант, а Шульжик свой транжирит бездумно, направо и налево; его жизнь – какой-то рваный бег к непонятной цели.

Повторяю: он уже старый чёрт, а всё не утихомирится, всё геройствует; он мужичок редкой закваски, в нём идёт постоянное брожение, у него энергии – хоть отбавляй! Словно Карлсон, он летает по городам

и странам, живёт одновременно в Кёльне и в Москве, в Германии имеет цех по переработке рыбы, а его филиал – в Подмоскowie; из Германии, повторяю, пригоняет машины – туда везёт картины уличных художников (агитирует и меня «заняться копиями» – только этого мне не хватало на старости лет!). И корчит из себя крутого: катает с пистолетом, рассказывает, как воюет с рэкетирами...

Такой разухабистый храбрец! В Кёльне Шульжик воспитывает внучку, в Москве для детей пишет приключения своего знаменитого поросёнка Фунтика и опять, неугомонный, строит – на этот раз третью дачу. (Две предыдущие продал, чтобы отдать долги сына, талантливого парня, которому долго не везло в личной жизни; сейчас-то купается в счастье. Кстати, у них с отцом сложные отношения: то ругань – «Ты что – козёл?» – «Нет, это ты козёл!» – то братство с лёгким подтруниванием друг над другом.) К слову, многих из нас наши дети не радуют (в том числе и внебрачные, которых мы умудрились заиметь), но внуки радуют всех без исключения.

Однажды на последней дачной стройке Шульжика мы отмечали его день рождения, вернее – только посетили стройплощадку, а обмывали событие на соседней, роскошной, но чересчур эстетской даче его соседа и друга конферанса Сергея Дитятева, с которым он ещё служил в армейском ансамбле. Дитятев (настоящая фамилия Блюмин) сильно уступает нашему другу в острословии, но имеет огромный запас смешных историй, вроде той, как антисемит администратор филармонии Хабаровска частенько ворчал: «Что вы всё повторяете – Блюмин, Блюмин?! Вот у вас же есть хороший конферанс Дитятев!»

Тот вечер на даче был прекрасен во всех отношениях, вот только Дитятев со своим болезненным отношением к чистоте перебарщивал: постоянно вытаскивал тарелки из-под носа и бежал их мыть – прямо не расставался с тряпкой и щёткой. Но особенно запомнилось купание в лесном озере – таком прозрачном, с такими изысканными растениями, что казалось, в нём водятся золотые рыбки. К сожалению, вскоре Дитятеву пришлось продать дачу, чтобы компенсировать ущерб соседям по дому – делая евроремонт в своей городской квартире, он сильно затопил нижние этажи, – но с этой потерей он расстался спокойно, чуть ли не весело – как и Шульжик, он смотрит на мир широко. Ох уж эти богатеи! – разве их можно понять?!

В другой раз мы с Тарловским застольничали в недостроенных «балках» Шульжика, но от хилого интерьера вечер не стал менее впечатляющим. Наш друг, как всегда, блистал: чихвостил рабочих, которые не столько строили его дом, сколько разворовывали материалы и пьянствовали (как и на предыдущих двух дачах, но в нашем товариществе я хотя бы присматривал за его строительством), при этом красочно расписывал махинации и увёртки работяг (ведь сам был отменным комбинатором), прошёлся по нашим общим дружкам, читал «Последние приключения Фунтика»... Кстати, я думал, ему всё даётся легко – не тут-то было – его рукопись представляла собой длиннущую гармошку с заплатками-вставками и сносками-клапанами.

Сейчас на «Фунтика» у Шульжика договор – он должен написать десять книжек; когда они выйдут, у него будет целое собрание сочинений. Половину он уже написал – как всегда, мастерски. В книжках полно смешных ситуаций и диалогов, жаль только, нет той поэзии, которая была в его стихах, не говоря уж о блоковской «дальней идее». И жаль вдвойне, что он этого не понимает, хотя для блезира и отмахивается с преувеличенной небрежностью:

– А-а, это лишь коммерция! (Но делает всё, чтобы рекламировали Фунтика с помпой, и выбивает приличные денежки за своего героя, и собирается издавать журнал «Фунтик». По этому поводу я сказал:

– Ну тогда мы с Марком Тарловским работой будем обеспечены.

– Ага! – бросил Шульжик. – Вы будете разносить журнал по киоскам.

Долгое время Фунтика и его друзей рисовали супруги Солины, но недавно Шульжик с ними разругался и отдал тексты другим художникам, которые немного использовали прежние образы (приодели их в новые одежды); затем появилась статья: «Руки прочь от Фунтика!» Теперь наш герой ходит по судам, пишет грозные статьи на Солиных (совсем как Уолт Дисней, который воевал со своими художниками.)

Сейчас мой друг бесцеремонно кромсает классику, пишет про «Доктора Ай Боллита» (!), где вместо Бармалея – «Бармен На-лей» (!). Этот вольный коммерческий пересказ он считает самостоятельным произведением, и с радостным блеском в глазах читает мне один игровой эпизод за другим, и невдомёк ему, что эти его выдумки мало чем отличаются от легковесного юморка «цеховиков»-эстрадников.

Естественно, я злюсь на него и жду, когда он, дедок, остепенится, перестанет искать приключений на свою башку, и начнёт писать не от

случая к случаю, а постоянно, и напишет что-то в духе своих ранних вещей. Наверно, не дождусь, ведь он, тронутый, встал на путь, с которого не сворачивают. И как ему, умнику, не жалко тратить время на борьбу за благополучие – всё необходимое-то у него давно есть. Ведь в нашем возрасте уже ясно – ни одно богатство не стоит того, чтобы на него ухлопывать жизнь. Вспоминаю, лет десять назад он мне говорил:

– Надо ж! – у нас с тобой разный уровень жизни (в смысле доходов; это он ещё мягко сказал; обычно о безденежных отзывается категоричней: «У него ведь в руках пусто»), но одинаковый образ жизни (понятно, не совсем одинаковый, но близкий).

Чуть позднее в нашей компании бросил на меня густую тень:

– Мы все хитрецы, все играем в жизни, но Лёнька нас всех перехитрил (мол, пьянствовать пьянствует, но дело знает чётко – втихую накатал сотню рассказов; и мы, мол, потратили массу сил, чтобы пробить книги, а он спокойненько напечатался за свой счёт).

Шульжик, конечно, преувеличивал мои способности, и вот ему моя гневная отповедь: никакого ловкачества здесь нет, я никогда и не скрывал, что пишу в перерывах между выпивками, а особенно об этом не болтал, потому что особенно и не спрашивали, да и, в сущности, хвастаться нечем. Что касается издательств, он сам говорил: «Сейчас литература никому не нужна»; а в журналах, как и прежде, надо иметь знакомых. Да и как-то глупо и бессмысленно в нашем возрасте обивать издательские пороги – естественно, встанет вопрос: почему мы вас не знаем? Если вы за тридцать-сорок лет писательства остались без имени, то какого чёрта припёрлись на старости лет? Ну а как я напечатался за свой счёт, уже говорил – когда разменял квартиру и получил доплату.

Последнее время мы чаще встречаемся втроём: Шульжик, Тарловский и я; выпьем в Нижнем буфете, поговорим пару часиков, и Шульжик прощается:

– Всё, хоп! Я поехал. Дела!

– Куда ты всё несёшься? – как-то буркнул я и дальше, в духе чёрного юмора, решил пошутить: – Учти, в нашем возрасте каждая встреча может быть последней!

– Когда ты умрёшь, мне будет грустно, – откликнулся наш до- блестящий друг. – Без тебя ЦДЛ – не ЦДЛ, – и подмигнул Тарловскому.

Шульжик особенно артистичен в обществе женщин; слабый пол, задыхаясь, верещит от его хохм и анекдотов, которыми, повторюсь, он нашпигован под завязку. Женщины считают его самым весёлым и остроумным. Мужчины тоже так считают, даже те, кто «со странностями». Шульжик рассказывал:

– Отдыхал у моря. По пляжу ходил кавказец, красавец-брюнет. Отдыхающие женщины пожирали его глазами и стонали от избытка чувств. Но брюнет не обращал на них внимания, а вот мне отвесил комплимент: «Какой сладкий пупсик!»

В отличие от многих литераторов, которые при женщинах стараются не упоминать о своих жёнах, Шульжик всегда говорит о своей Вере с теплотой:

– Она выдающаяся женщина, ведь тридцать лет терпит меня... Она единственная женщина, которая всё ещё верит, что я буду богатым.

Но главное, он фонтанирует и среди литераторов, многие из которых трясутся над словесными находками и уж если использовали что-то из моей болтовни, то что говорить про блистательный юмор Шульжика. Его без зазрения совести записывают! А он, широкая натура, как истинный талант, посмеивается и щедро, направо и налево, продолжает рассыпать остроты, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Только однажды проворчал:

– Кто ж за литератором записывает?! Вот олухи!

В самом деле, некоторые совсем спятили – записывают за приятелями прямо за столом. И вообще в ЦДЛ в порядке вещей воровать друг у друга сюжеты, мысли, словесные находки.

Бывает, в домашней компании мы затаедем какую-нибудь песню, и на Шульжика нахлынет сентиментальность.

– У меня слуха нет, но давайте споём вот эту... Только начнём тихо... Ой, какие слова! Это Виктор Боков... Ой, а это место!.. – гримаса высокого душевного подъёма появляется на его физиономии, из его глаз только что не текут слёзы.

Кстати, у его жены Веры прекрасный слух и голос, но в компании она поёт редко – ей не дают распеться наши голосистые и настырные подруги.

Недавно Шульжик сказал мне:

– Поздравь меня! Я вступил в Союз художников!.. Швыдкой выделил нам с Эдиком (ясно, с Успенским – с кем же ещё?!), полмиллиона

долларов на студию мультфильмов. Лужков дал помещение в центре (у Павелецкого вокзала, почти на Садовом кольце). Оформили на меня как мастерскую, чтобы не платить за аренду. Пришлось вступить в Союз художников. Теперь я искусствовед! Теперь прихожу в Союз и говорю: «Когда устроите выставку моих картин?»

Всё это он выпалил с иронией, без всякой рисовки, доказывая, что самый короткий путь к успеху – это авантюра. Он молодец – умеет на всё смотреть со стороны.

«Мастерскую» Шульжик и его сын превратили в прекрасный офис (евроремонт обошёлся в сорок тысяч долларов) и теперь выпускают детские книги немислимыми тиражами. Да ещё заключили с канадской фирмой договор, по которому на всех школьных принадлежностях будут использованы Фунтик и его приятели – это тоже немислимые тиражи и, естественно, баснословный доход.

Я рад за семейство Шульжиков, ведь они мои закадычные друзья. И знаю точно – сколько бы они ни заработали, они всё быстро и красиво потратят. Только напрасно они связались с Успенским, ведь рано или поздно с ним непременно разругаются; у них уже какие-то трения из-за денег.

Общаться с Шульжиком всегда интересно и радостно. Когда он звонит: «Давай встретимся», я только спрашиваю: «В котором часу?». «Как скажешь», – слышу в трубке. «Может, в пять?» – говорю. И он сразу: «Хоп!»

Что странно – я видел его, старого проходимца, всяким: весёлым и грустным, серьёзным и беспечным, видел разъярённым и даже плачущим (в тот день он казался Карлсоном, у которого сломался моторчик – он расставался с подружкой, навсегда улетавшей в Америку), но, когда думаю о нём, – возникает только смеющаяся физиономия, и я слышу:

– Всё нормально. Рад тебя видеть!

Иногда добавляет:

– У меня в России только два друга – ты и Мазнин!

Я догадываюсь, то же самое он, хитроланец, говорит своему старому другу Дитятеву, но всё равно меня распирает от собственного величия.

Что мне особенно нравится в одержимом старикашке Шульжике, так это внешне лёгкое, чуть небрежное отношение к своему творчеству

(понятно, он рисуется, работает на публику, но делает это мастерски). Большинство детских писателей с невероятной серьёзностью (почти благоговейно) говорят о своих работах; можно подумать, создают бессмертные вселенские творения. Шульжик смотрит на писательство для детей как на радостное занятие, весёлое хобби, которым можно заниматься, когда нет более серьёзных дел.

– Всё, что мы сделали, – говорит он с долей игривости, – теперь лишь кладбище старых кораблей.

А между тем его Фунтик никогда не умрёт, и рано или поздно ему поставят памятник как одному из лучших литературных героев. Ну а сам уникальный Шульжик уже при жизни стал исторической фигурой.

ВОИНСТВУЮЩИЙ ЛИТЕРАТОР

У преданного друга моего Леонида Мезинова на фотографии прямо-таки ослепительная улыбка (он вообще самый улыбчивый из моих дружков). Если кто и умеет заразительно растягивать рот и оглушительно хохотать, так это именно он – зальётся так зальётся и потом долго отдувается, снимает очки, размазывает умильные слёзы. Его смех начинается, как сухое потрескивание велосипедного моторчика, затем переходит в тархтенье мотоцикла и завершается рокотом трактора. Под напором этих звуков трудно устоять – даже самые мрачные собеседники тоже начинают гоготать; а те, кто до этого собачился, прикусывают язык, и на их физиономиях появляются виноватые ухмылки.

Но уж если Мезинов злится – прёт, как грузовик, скрежещет зубами и пуляет матом, словно стучит отбойным молотком. Сильный, горячий, взрывной характер, человек крайностей, он не терпит всякой половинчатости и не ждёт, когда судьба его куда-то направит, – сам её направляет; вот только ещё не умеет расправляться со временем – годы на его внешность накладывают след.

Отличительная черта Мезинова – он, забросив все свои дела, спешит на выручку к попавшим в беду. Не случайно художник Леонид Бирюков, создав «Общество Леонидов» (наподобие «Иосифовичей» Ковалёва), первым пригласил в него Мезинова. Бирюков сказал:

– Есть метеоритный поток Леониды. В нём крупное небесное тело Мезинов, а уж потом идут Л. Леонов, Л. Ленч...

Я тоже болтался где-то в хвосте этого потока, рядом с инженером Леонидом Доменовым, которого самолично затащил в общество и поручился за него. В «обществе», кроме названия, ничего не было – нас связывали выпивки.

Внешне Мезинов – человек-скала, мастодонт, – плечи развернуты, голова массивная, неподвижная, как у сфинкса, и двигается он важно, весомо, словно закован в бронзу. Он всегда гладко выбрит, подтянут, благоухает дезодорантами, ничего лишнего не говорит (о таком мужчине мечтает каждая женщина), но, будучи нервным и вспыльчивым, мгновенно откликается на все события, любой разговор; с ходу нарушает спокойствие компаний; если раскошегарится, становится языкастым, молотит – не остановишь, воздух раскаляется от его говорильни, и, бывает, сгоряча принимает непродуманные, судорожные решения. Мезинов – гипертоник (уже в сорок лет лежал в больнице) и страдает клаустрофобией.

– Ты не представляешь, что со мной творится в метро, если останется поезд, – как-то сказал мне. Такая впечатлительная натура.

Мезинов не курит и выпивает в основном по праздникам, главный из которых – встреча с друзьями. Раньше у него этих праздников было с десятков в месяц, теперь – один-два, и часто не с друзьями, а с женщинами. Такой поворот.

Мезинов – сын лётчика, генерала, Героя Советского Союза, и ему от отца перешла военная выправка, хотя он и не служил в армии. И не только выправка, но и мужественность (внешне он настоящий завоеватель, склёпанный из железа), и командирский тон, и победоносный дух – он как бы продолжает дело отца в литературной среде и не случайно был парторгом Союза писателей. А в юности в пединституте возглавлял студенческое сообщество и тягал штангу, чтобы подчеркнуть и приумножить свою силу. Позднее, работая в НИИ, опять-таки ходил в предводителях (с таким же успехом в то время он стал бы главарём благородных разбойников вроде Робина Гуда, а в теперешнее воровское время, если бы не возраст, возглавил бы отряд народных мстителей). Что и говорить, у него была интенсивная молодость и сейчас бурная старость.

Раза два я встречал Мезинова на площади Дзержинского – он размашисто, рассекая воздух, шёл из самого ЦК. Я догадывался – там он отчитывался, получал инструкции; и никак не мог взять в толк – на кой

чёрт ему, литературному человеку, всё это нужно, на что он, дубина, тратит своё драгоценное время? Здесь уместна вставка: наблюдая за партийными начальниками, я заметил, что они чувствуют друг друга на расстоянии, им не надо ни о чём договариваться – они единомышленники и понимают собратьев с полуслова; у них такая же общность, как у известной национальности.

Сейчас я подумал: у Мезинова отец – генерал авиации, у Ковалья – генерал МВД, у Козлова – генерал КГБ... – не слишком ли много генеральских сынков стали писателями? И какие у этих домашних мальчиков были благоприятные условия! Прямо скажу: тем, у кого тяжёлый жизненный опыт, кто кожей прочувствовал разные невзгоды и «сам себя сделал», это не очень нравится, ведь всё должно даваться через трудности.

Как известно, многие литераторы увлекаются водочкой (в том числе и для внутренней свободы). Партийным деятелям тоже не чуждо это пристрастие, то есть Мезинову приходится отдуваться за тех и за других. У него в парткоме, за бюстом Ленина, всегда стояла поллитровка водки (он выпить не дурак, но знает меру). Бывало, заглянешь к нему – а там заседают какие-то дурошлёпы-стариканы (некоторые спят); Мезинов гримасами даёт понять, что уже закругляется и через десять минут разгонит синклит «мухоморов». Ну а потом, ясное дело, он доставал бутылку, и уже заседали мы. Чаще всего он, Коваль и я; при этом, несмотря на немыслимую власть, с нами Мезинов держался буднично и просто.

Как я уже сказал, после окончания пединститута Мезинов работал в НИИ на Соколе. И там был главным заводилой – сколачивал агитбригады, ездил по деревням с концертами (он немного играл на гитаре).

После НИИ Мезинов работал редактором в издательстве «Детский мир», затем – ответственным секретарём в журнале «Отчизна». В те годы он иногда подкидывал мне работу – я делал рисунки к детской странице. Однажды Мезинов протянул мне несколько стихотворений:

– Проиллюстрируй на страничке. Это моё. Если что не понравится – не стесняйся, откладывай.

Дома я прочитал стихи, и они мне понравились все – действительно понравились абсолютно все его густые (в смысле окраски) стихи, и вроде бы сделанные на скорую руку, без следов усилий, правда, с двумя-тремя ничтожными погрешностями; чтобы разместить их

на странице, я сделал меньше рисунков. Вот так Мезинов относился к своим стихам. И никогда не читал их своим друзьям, в отличие от других поэтов.

Он написал всего одну книжку; понятно, с багажом в десяток стишат слово «поэт» к нему можно прилепить с натяжкой (с другой стороны Бальзак вроде писал: «По большому счёту каждый писатель – автор одной книги», – у классика это более складно выражено); тем не менее Мезинов слыл глубоко литературным человеком; для него литература была даже не профессией, а образом жизни. Он работал то штатным редактором, то составителем разных сборников, писал статьи и рецензии – в этих последних особо нажимал на меру ответственности за то, что происходит вокруг нас. И правильно нажимал, ведь, в сущности, эта мера и определяет талант художника, насколько я понимаю. Другими словами, нельзя быть безразличным к несправедливости в стране, каждый должен бороться со злом вокруг себя.

Свою малую плодовитость как стихотворца Мезинов объяснял своеобразно:

– Мне приходится зарабатывать деньги, содержать семью, кормить собак. Легче всего сидеть дома, пописывать стишата да просиживать штаны в ЦДЛ за стаканом водки или, как Сергиенко, валяться на диване, щипать девочек...

Это не красило нашего героя, и звучало неубедительно, и выглядело оправданием своего хилого творческого потенциала. Во-первых, вся семья Мезинова состояла из него и жены; во-вторых, кто-кто, а он знал, как «легко пишутся стишата»; в-третьих, на кой чёрт взвалил на свои могучие плечи дурацкий груз, зачем пошёл, тупица, в парторги – его что, туда тянули за уши? Лучше б писал стихи. Когда я всё это ему выложил, он, боевой, психанул и гаркнул:

– Я пошёл в партком, чтобы вас же, дураков, поддерживать! Хотел навести порядок в Союзе! (Неужели, мол, тебе, лопуху, не ясно – на мне лежала историческая ответственность!)

Это, конечно, благородно, но для истинного поэта не лучшее занятие, да просто пустая трата времени. Не знаю, что мог партком, но известно, что в него ходила жена Юрия Качаева, жаловалась на А. Вознесенского за то, что тот украл у её мужа «Юнону и Авось». (Действительно, книга Качаева вышла в шестидесятом году, а мюзикл в семьдесят втором – и Вознесенскому хватило наглости по

радио сообщить: «Никто из советских писателей не взялся за этот сюжет».

Жена Качаева возмущённо позвонила на радио, но ведущий передачи поэт А. Дементьев стал юлить: «Сюжет лежал на поверхности, как и «Ромео и Джульетта». Короче, партком ничего не сделал. Да и вопрос: насколько искренен порыв Мезинова – «поддерживать вас, навести порядок»? Думаю, Мезинов кривил душой (в моей родне не было ни одного члена партии; ещё в детстве отец с матерью объяснили мне, что в неё вступают для карьеры).

Повторюся: у Мезинова врождённая тяга к властвованию, вокруг него постоянное силовое поле. Он ведь не всегда говорит с друзьями смешливо-размягчённо – случается, если что не по нему, переходит и на диктаторский тон, давая понять, что его слово – последнее, и оно как печать. Он всех поучает, навязывает своё мнение (иногда с тяжёлым взглядом, грубым голосом с залпами ругани), давит, пока не выдохнется. У него, прямолинейного, самовлюблённого дуrolома, начисто отсутствует самокритичность; себе он всё прощает и не допускает мысли, что может быть не прав. Хотя нет, вспомнил – однажды, когда я отметил его менторские замашки, он кивнул и потупился, опустив глазки:

– Это у меня есть, – и заржал медной глоткой: мол, подумаешь, один крохотный недостаток – сущий пустяк, у вас-то вон сколько, и чудовищных, вы кровососы, а я – сама чистота, часть природы.

Что касается власти, одно время у Мезинова появилась заветная мечта – возглавить издательство «Малыш» (он, плечистый, был лучшим кандидатом на эту должность, работал бы, как бульдозер, ну а для подчинённых установил бы драконовскую дисциплину); всё шло к тому, что он вот-вот сядет на трон, и мы, его дружки, уже потирали руки – теперь-то начнётся новая жизнь, наши книжки будут выходить одна за другой, как сосиски, но в последний момент Мезинова обскакал И. Рыбин, бездарный комсомольский выкормыш, жена которого работала в самом ЦК! (По последним слухам, этот Рыбин уже развалил издательство, правда, успел выпустить несколько своих книжек, вступить в Союз писателей, купить новую квартиру и всё такое.)

С одной стороны, Мезинов всегда был открыт и искренен, когда говорил о политике, литературе, друзьях и собаках, – говорил без обиняков, вполне определённые вещи, в сильных выражениях; с другой –

скрытен, когда дело касалось его партийной деятельности, отношений с женой, родственниками и женщинами (с женщинами – понятно, здесь ему жирный плюс, но с остальными – малопонятно.) Только спустя много лет я познакомился с его замечательным ироничным братом (копия актёра Ж. Вильсона) и с его сестрой, о которой он вообще редко упоминал; мы мало знали, каким образом он переходит с одной работы на другую и о его болезни – высоком давлении, от которого он часто пребывает в нервном состоянии.

Сейчас, в старости, мой друг наконец открыл свою загадочную душу нараспашку – ударился в другую крайность, исповедуется перед нами, словно перед священниками. Оказалось, он всю жизнь живёт под страхом за судьбу старшего брата (бывшего военного) – одинокого, сильно пьющего, опустившегося; не раз вызволял его из милиции.

– Вздрагиваю при каждом ночном звонке, думаю – нашли его с пробитой головой, – говорит Мезинов.

Мне он рассказывал, как неприглядно, не по-геройски умирал его героический отец, и даже приоткрыл завесу над своими любовными похождениями.

Что ещё удивляет в Мезинове, так это внезапные перемены: только что безудержно смеялся, и вдруг – зло сомкнутый рот и холодный взгляд сквозь стёкла очков (у него болят глаза, и он носит затемнённые очки). Ему перейти из одного состояния в другое – раз плюнуть; вокруг него даже меняется воздух – то лёгкий, разряжённый, то плотно сжатый, с электрическими разрядами. Разговаривая с Мезиновым, надо быть начеку: парочка неосторожных слов – и в нём, психопате, зреет ярость, потом ещё парочка мягких слов – и он расплывётся и ржёт.

Что и говорить, с нервишками у нашего друга дела обстоят плохо-вато. Случалось, в нём прорывалась какая-то застарелая злость, и его внезапная грубость переходила в хамство. Так, на день рождения Тарловского, когда все наши были в сборе и уже, прилично приняв, над чем-то смеялись, он, восседая между виновником торжества и Шульжиком, вдруг сверкнул глазами, скорчил желчную гримасу и пошёл в атаку – точно взбесившийся слон, начал топтать «демократов» (по делу, естественно, только не вовремя) и резко, с вызовом закончил:

– Сейчас время всяких Шульжиков, время изворотливых, ухватистых!

Это было как гром среди ясного неба. У Шульжика нервы тоже не стальные, но он не полез в бутылку – лишь красочно изобразил не-

годование, всячески показывая, что сдержанность на оскорбления не слабость, а, наоборот, – признак внутренней силы, но тут вмешались мы и замяли дело.

И недавно, на мой день рождения, Мезинов, дурья башка, сделал смертоубийственный выпад – вновь окрысился на Шульжика: ему, поддатому и раскалённому, не понравилась шутка про секретаря парткома и что «у Тарловского вытягивается лицо, когда у друзей выходят книжки», – он, раздолбай, не справился с лавиной своих чувств и начал бушевать, пулять матом (при женщинах), и вновь нам пришлось улаживать конфликт – с трудом уладили, но Мезинов ещё долго отдувался, сопел, кряхтел, не мог восстановить душевное равновесие.

Такие сложные типы мои дружки, такие горячие головы – из-за чепухи накручивают себя, на пустом месте создают миражи и буйствуют, отчаянно сражаются с этими самыми миражами. Можно сказать, вся их жизнь – сплошной боевик с редкими перемириями, но с многочисленными любовными приключениями.

С начала перестройки, когда литераторов перестали печатать, я оказался в полном безденежье и влез в долги, Мезинов выручил меня – дал проиллюстрировать книжку стихов для детей, но расплатился со мной довольно странно. Вначале твёрдо объявил:

– Деньги получишь недели через две.

Обычно он предельно точен, а здесь прошло два месяца(!), но звонка нет (потом-то он говорил, что никакие не два месяца, а три недели, но те, кто бывал в полном безденежье, мне поверят, ведь в таком положении считаешь каждый день). Я позвонил ему:

– Лёш, – говорю, – ты хотя бы дал знать, до какого числа задержи-ваешь деньги, я ведь кредиторам дал слово, что верну в день, как мы договорились. Если что в издательстве не клеится, скажи, как есть.

– Пошёл ты туда-то! – отчеканил сумасброд Мезинов (похоже, у него прямо вскипела кровь). – Когда будут деньги, тогда и выплачу, а работу больше не получишь.

Так и сказал, неврастеник чёртов! И чем вздумал меня пугать? Да я всю жизнь без заказной работы, только перепадает от случая к случаю. И вообще мы уже не в том возрасте, когда можно чем-то запугать друг друга. Я понял, что у него в издательстве дела неважные, но не понял – почему не сказать: так, мол, и так, – чего на мне-то срывать злость? Не скрою, я разозлился на него, неотёсанного дурилу.

Через десять дней (а я всё считал эти проклятые деньки, всё упрашивал кредиторов подождать чуть-чуть) мы случайно встретились в ЦДЛ (Мезинов шёл в ресторан, я – в Нижний буфет за своей соточкой, которую мне буфетчицы давали в кредит, благо вместе с ними получал зарплату – мизерную, за изостудию).

– Привет! Привет! – мы обменялись рукопожатиями, и каждый направился в свою сторону; внезапно Мезинов, как бы вспомнив что-то, окликнул меня, вытащил из кармана брюк стодолларовую купюру. – Вот возьми половину гонорара.

Как-то нехорошо это выглядело – вроде я вот так, между делом, получил подачку. Так деревянно он, считающий себя «тонким», поступил.

У него бывают заскоки, когда он отбрасывает всякие нюансы в общении и рубит сплеча. Но иногда и сглаживает ситуацию «тонкостями». Помню, своей разгромной рецензией довёл В. Разумневича до слёз. Тот причитал:

– Зачем ты это написал? Ну сказал бы при встрече, зачем писать? Как ты мог! Что я тебе плохого сделал?! Ты сломал всю мою жизнь!

– Ну что ты, в самом деле, успокойся! – миролюбиво проговорил Мезинов. – Не бери в голову. Что за обиды? Рядовая внутренняя рецензия, её никто и не увидит.

Нам-то, их друзьям, было ясно – Мезинов просто решил показать себя жёстким, требовательным критиком. (Кстати, после этой рецензии он сразу занял место Разумневича в парткоме!) Ладно, пойду дальше. О чём я говорил-то? Память иногда отшибает. А, ну да, о своём гонораре. Оставшийся гонорар я получил вскоре как и подобает – Мезинов позвонил, мы встретились, отметили совместную работу, и мои стариковские упрёки почти улетучились; они улетучились бы совсем, если бы он сказал: «Знаешь, я тогда был на взводе, так что не держи зла» – или что-нибудь в этом духе, выразил бы хоть частичную повинность, но он, дуботряс, ничего такого не сказал – не хватило мозгов и душевности.

Этот эпизод – единственный неприятный за всю нашу многолетнюю дружбу; он, если употреблять литературные красоты в духе Мешкова, как баллон с ядовитым газом в саду, благоухающем розами. Понятно, обиды я не держу – всякое бывает, наверняка в те дни Мезинов просто ходил раздражённый, ну и нервишки подвели, с каждым случается, тем более с такими горячими мужиками, как он.

Старине Мезинову я показывал все свои первые рассказы, и он, тёртый калач, поднаторевший в правке (читает всё, от корки до корки), долго валандался с моими бумажками, а потом воспламенялся и обрушивал на меня ураганную ругань с непотребной лексикой:

– Где ты, идиот, видел таких баб? – горланил с испепеляющим взглядом. – Не рассказ, а х... Такую тему запарол!

Давил на меня страшно; бывало, пригвоздит к позорному столбу и доволен, болван. А мне каково? Становилось не просто невесело, я испытывал какое-то внутреннее умерщвление. Ну а после моих исправлений Мезинов на полях черкал: «Это другое дело. Неплохо, даже хорошо».

Что обидно – прочитав мою первую повесть «Утренние трамваи» (единственная вещь, которую я тогда написал не только ради забавы, но и вложил в неё душу), Мезинов прислал мне нечто вроде рецензии (с потугой на энергичное стихотворение в прозе – на него напало вдохновение), где явно просматривался вопрос: на кой хрен всё это написано?

Мезинов прочитал повесть ещё в рукописи, а поскольку я безоговорочно верил ему и всё принимал буквально, сразу посчитал, что потерпел сокрушительное поражение: запихнул свой «душевный труд» в дальний ящик и несколько месяцев бумагу не марал. Но потом мать всё же уговорила меня отнести рукопись в издательство. «Трамваи» вышли в «Молодой гвардии» и понравились всем, кто их читал (книжку даже перевели на английский язык и ещё раз переиздали).

Кстати, позднее травленный зверь Приходько по всем статьям громил у меня то, что мне казалось удачным, а нахваливал явную чушь. Такая неразбериха. Ну, короче, теперь, под старость, я продолжаю выслушивать отзывы друзей, но уже не разинув рот, как раньше; иногда даже защищаю своё «детище». Это, естественно, раздражает моих «рецензентов», они повышают голос, рвякуют на меня – похоже, ханурики, настроились до конца наших дней учить меня уму-разуму. (Вот если бы и к себе относились так же беспощадно!)

Теперь-то я понимаю – им самим ещё есть чему поучиться, вспомнить заповедь Гоголя: «Сначала образуй себя, потом учи других». Между тем я и сам уже почти безошибочно чувствую, что получилось, а что нет. Жаль, поздновато этому научился, когда уже накатал кучу ерунды. И жаль друзей, которые корпели над моей писаниной – за

что им, само собой, огромнейшая благодарность! Ну а чужие произведения теперь я оцениваю очень просто; спрашиваю себя – могу так или нет? Если точно знаю, что не могу, считаю вещь талантливой.

Как и у всех нас, у Мезинова есть несколько примечательных особенностей. Первая заключается в том, что он поддерживает всех несчастных, неудачников, проталкивает тех, кого не печатают, кто сидит без работы (обеспечивал работой не только меня, но и Мазнина, и Тарловского), но, если кто-то преуспевает и о нём прожужжали все уши, – начинает его ругать (повторяю, по этой части он мастер; разделявал под орех С. Иванова и Успенского, и Сергиенко, но последнего и хвалил). Как-то он жёстко разбирает (по косточкам) Ковалю, а я возьми и брякни:

– Лёш, уж ты не завидуешь ли ему?

Он, истерик, пульнул в меня матом и тем самым продемонстрировал свою слабость. Мы сидели с В. Перекатовым, и тот подмигнул мне, давая понять, что вопрос не лишён основания. Когда же я чихвостил Ковалю за формализм, Мезинов рьяно бросался на защиту.

Вторая особенность Мезинова заключается в его умении годами дружить с женщинами. Приводил женщин в ЦДЛ и со смешком наблюдал, как мы развлекали их, потом спокойно уводил. Он работал на контрасте. Бывало, мы заливаем что-то женщинам (в том смысле, что мы золотые мужики), а Мезинов молча посмеивается, подмигивает своим подружкам – вот, мол, болтуны, и как я хорошо смотрюсь на их фоне, верно? Внешне, может, я и суровый, но душа у меня добрая. Со мной не пропадёте, а эти заведут вас неизвестно куда... Под конец вечера мы уверены – женщины сражены нашей говорильней наповал, но, понятно, они уходят с Мезиновым, да ещё шепчут ему:

– Господи, как надоели эти трепачи.

Представляя нас своим подружкам, Мезинов вначале выдавал пару лестных фраз, потом что-нибудь такое:

– Вон, видите, столик? За ним последнее время набираются Сергеев с Ковалём. Как ни зайду, они уже пол-литра усидели и дымятся, рассказывают друг другу то, что я уже пять раз от каждого слышал, ха-ха... Но надо отдать им должное – каждый раз рассказывают по-новому...

– Тебе лишь бы напиться с бабой да затащить её в койку, – говорил Мезинов мне, когда я сломал ногу и два месяца ковылял на костылях и ни одна женщина не навестила меня. – А надо ухаживать за ними,

иногда звонить, – дальше он красочно развил эту тему и договорился до того, что «вообще лучшая любовь – это дружба».

В самом деле, говорю ещё раз, он умеет дружить с женщинами; правда, стоило одной из его любовниц, поэтессе, увлечься более молодым поэтом Хлебниковым (чванливым, мерзким типом с дребезжащим голосом), как Мезинов в эмоциональном порыве обложил её отборным матом. То же самое произошло с другой его пассией, редакторшей, которая вышла замуж.

– Все они б..., – сказал он, раздираемый ревностью и злостью.

Казалось бы, должен был радоваться такому повороту в судьбе женщины, а он, кретин, оскорбился. Получается – будьте при нём всю жизнь и забудьте о своей личной жизни. Такое широкое толкование отношений с женщинами, такая эгоистическая мораль. Здесь он мало чем отличается от Мешкова, Сергиенко и Коваля. Им бы стать мусульманами. Многие мужики – собственники, но не до такой же степени.

Повторяю, недавно Мезинов всё же нарушил обет молчания относительно своих романов – его прорвало, и он похвастался, что имеет сразу трех молодых любовниц, потому на встречи с нами у него времени в обрез. Действительно, двух его девиц я видел, но три – это он преувеличивает: нарочно, чтобы вызвать у нас жгучую зависть. Ну а если это правда, мог бы подумать и о друзьях – сказать своим девицам, чтобы привели подружек. Хотя вспомнил – он никогда не устраивал совместных приключений, ведь выступает перед девицами в роли положительного героя, и мы, греховодники, никак не вписываемся в его спектакли; ну разве что в ЦДЛ можем его оттенить в лучшую сторону – об этом я уже говорил. Возможно, Мезинов поступает правильно, ведь серьёзные отношения и кутёж – несовместимые вещи.

Частенько в компании он вообще не знакомит со своими девицами, чем ставит и их, и нас в идиотское положение. Лично мне начхать на его подружек, но не называть людей, с которыми сидишь за столом, попросту свинство. В такие минуты думаешь – есть ли у него элементарная культура или он законченный дровокол?

Третья особенность Мезинова – он так же крепко, как с женщинами (даже покрепче – можно сказать, капитальной), дружит с мужчинами; он редкостный, надёжный друг, для него мужская дружба – большая неизмеримая ценность (как известно, такие люди – на вес золота).

Когда Приходько и Анатолий Панков попали в больницу, он тут же обзвонил нас, потащил навещать друзей. После смерти Панкова приезжал к его жене, помогал по хозяйству. Когда я был в гипсе, он регулярно, два раза в неделю, приезжал, выгуливал моих собак. А сейчас время от времени ворчит:

– Ты умерь с выпивками-то. Подумай о здоровье... Ты для нас дорогое лицо, ты нам нужен...

Что и говорить, он – настоящий, заботливый, основательный друг, на него можно положиться на все сто процентов. Он единственный, кто ежегодно приезжает на могилы друзей, поминает их за четвертинкой самогона. Я помню, как мы с ним поехали за город, в санаторий, где после больницы долечивался Панков. Взяли выпивку, закуску, но больного не застали – он укатил с какой-то медсестрой в город (кстати, любовь вылечила его быстрее, чем лекарства). Мы сели на скамью под соснами и хорошо выпили за здоровье друга, и, понятно, поговорили обо всём на свете.

Но однажды Мезинов дал маху. Договорился со своим приятелем В. Беккером (бизнесменом, отпетым бабником и хитрюгой) ехать на похороны С. Иванова в Пушкино. Беккер подъехал на машине к условленному месту и прождал около часа. В Пушкино Беккер говорил:

– Разминуться мы не могли. Исключено. Я три раза повторил, где именно.

Мезинов так и не появился, хотя никто не мешал ему приехать на электричке (как все мы). Позднее он сказал нам с Тарловским:

– Пошёл этот Беккер на х..! Больше никогда не буду с ним договариваться, – но минуту спустя чуть тише добавил (дословно): – Очень надо ехать с ним в машине... водит хреново... Да потом возвращаться с ним пьяным...

Такой внятный убедительный шаг. Не знаю, что понял Тарловский, а мне стало ясно – Мезинов просто решил не ехать (меня не проведёшь!). Я вспомнил – он всегда недолюбливал Иванова (а вот на похороны Панкова и Приходько приехал первым, хотя добирался на электричке из неблизкого Кучино).

Такие у нас стариковские замысловатости. Поразительно другое – как некоторые наши дружки (не только Мезинов в этом случае, но, бывало, и С. Иванов, и Коваль, и частенько Кушак с Шульжиком) втирали очки нам, старым, битым-перебитым?! Уж в чём в чём, а в людях-то

мы разбираемся как надо. Пустячный пример – Коваль объявился в новом кожаном пальто, Сергиенко сразу начал докапываться:

– О-о, ты прибарахлился! Сколько стоит пальтишко? На какие шиши купил?

– Подарили, – протянул Коваль.

– Врёшь! Кролик сказала, что купил в Германии!

– От вас, чертей, ничего не скроешь! – загоготал Коваль.

Он-то умел свою ложь свести к шутке, недоразумению; это касалось и его книг – всегда скрывал, где выходит очередная, а когда его разоблачали, опять:

– От вас, чертей, ничего не скроешь! Ну ровным счётом ничего, едрёна вошь!

А вот остальные вышеперечисленные брательники по слабости ума доказывали своё враньё с таким напором, что от неловкости проглотить язык. И попробуй усомниться – покатыт на тебя бочку, а то и оскорбят. И как, бараны, не понимают: темнить в нашем возрасте – дохлое дело; мы чужих-то видим насквозь, а их, родных, знаем как свои пять пальцев.

Ещё одну особенность Мезинова (вернее, странность) я заметил, когда однажды мы отмечали его день рождения (он, Тарловский и я). ЦДЛ был закрыт, и мы обосновались в кафе Дома журналистов. Распив бутылку фирменного самогона жены Мезинова (Тарловский и я ещё засадили по бутылке пива), мы расслабились, ударились в лирические отступления, воспоминания, и внезапно на глазах могущественного Мезинова появились слёзы:

– Я ведь совсем не такой, как вы думаете... Совсем не такой, – он хотел сказать ещё что-то, но смолк.

Это было довольно неожиданно, как удар молнии. Мы привыкли видеть Мезинова весёлым, уверенным в себе – и вдруг... Он прямо утонул в своих сентиментальных чувствах.

Кстати, подобное я слышал и от своего друга Бориса Воробьёва.

– Что вы знаете обо мне?! – заявил этот деятель после трёх десятков лет дружбы!

Кем себя считают Мезинов и Воробьёв, понять трудно, но что это за дружба, если у тебя есть вторая, скрытая от друзей жизнь? Такие у нас мелкие стариковские обиды. Хотя далеко не мелкие! Что ж получается? Ты отдаёшь всю душу, а получаешь половину?!

Недавно, когда мы с Тарловским выпивали в Нижнем буфете, Мезинов отмочил ещё один номер – заявился с девицей и даже не подошёл к нам, только издали кивнул. Похоже, наш редкостный друг под старость решил всё своё дружелюбие отдавать только женщинам – всё никак не нагуляется, кутила. Хотя что я! Вон Мазнин просто-напросто открестился от друзей и замкнулся в своей конуре, а старый морской волк Воробьёв наплевал и на друзей, и на Москву – продал квартиру и укатил в родную Тверскую область. Такое старичьё!

Ладно, пойду дальше, вернусь к стихам Мезинова. Я уже говорил – среди литераторов моего уже совсем немолодого поколения немало героев, которые пришли в детскую литературу по большей части потому, что в наше время только в книгах для детей разрешалась определённая доля формализма, символов. В работах таких ловкачей попадают целые россыпи бьющих в глаза словесных находок, что само по себе неплохо – они обогащают язык и интересны профессионалам; изощрённые критики (всякие книжные черви) называют это литературщиной, я называю «фигурным катанием в литературе», но детям-то от этих фокусов ни холодно ни жарко, они попросту многое не поймут в таких книгах. Как ни рассуждай, главным в литературе остаётся образ, сюжет, а в детской – ещё и нравственные понятия о вечном противоборстве добра и зла, плюс элемент игры и юмора и, конечно, простота изложения.

Среди молодых литераторов сейчас тоже немало формалистов; в их чрезмерной отделке текста видна стеснённость, натужность, зависимость от заданной формы, да и просто желание повыпендриваться. Их упражнения – некий протест против штампов и вызывают только рассудочный интерес, но не чувства. Сейчас, когда идёт идеологическая война, умышленно насаждаются всякие страшилки, ужастики, вредные советы, импровизации на тему, и, ясное дело, подтексты. Но прав Мазнин – где тексты?! Да и вся эта писанина уже была, и от неё мало что осталось. А вот «Каштанка» и «Белый пудель» останутся навсегда.

В противовес всяким фокусникам, Мезинов – несгибаемый традиционалист; его стихи подкупают безыскусственностью, он выбирает самые простые изобразительные средства, сознательно отказывается от всяких внешних эффектов (хотя наверняка мог бы их напихать, ведь начинал когда-то с Ковалём «Сур-Вьер»), тем не менее, его строч-

ки – без всякой воды и умильных сантиментов. Жаль, что он, старый чёрт, давно ничего не пишет. Повторюсь, когда-то написал десяток стихов и с тех пор победоносно топчется на месте.

– Ты поэт-любитель, – сказал ему Приходько; похоже, так оно и есть.

Мезинов – настоящий патриот (руководствуется призывом Блока: «Нельзя быть вне политики») и со страшной силой переживает распад СССР, теперешнее историческое безумие в нашей стране, но, в отличие от многих, которые лишь скрежещут зубами, он действует, обличает и воюет: помогает, чем может, патриотическим изданиям, собирает материалы о преступной деятельности «демократов» (как и Мазнин, делает вырезки из газет) – думаю, вскоре эти материалы использует для летописи теперешнего открытого грабежа. Недавно рассказывал, как побывал в городке Железнодорожном на выступлении детей в каком-то захудалом клубе:

– Несчастные дети и воспитатели на свои деньги шили костюмы, сколачивали декорации, репетировали в неотопливаемом клубе, а местные власти пришли в мехах, бриллиантах. Дали детям грамоты, сволочи! Ни один гад не подумал отремонтировать клуб, помочь детям деньгами. Зажрались, гады! Их всех надо к стенке ставить! – он сжал кулаки, прямо рвался в бой, готовый переломать кости местным властям.

Попутно замечу: большинство моих дружков в той или иной степени интересовались жизнью отечества, только Сергиенко и Ковалю было на всё начхать – они отрешились от всего и купались в собственном мирке, – оба смутно представляли, где какие страны находятся и как там люди живут, ничего не петрили в технике, лишь краем уха слышали, что существуют какие-то науки, классическая музыка, джаз, и никогда не смотрели спортивные передачи, даже Олимпийские игры.

А Мезинов, повторяю, остро откликается на всё, интересуется буквально всем. Ну а для заработка он всегда вкалывал составителем в разных издательствах, и сейчас выполняет черновую работу – редактирует всякие рукописи. Но недавно поверг меня в шок, заявив, что «за приличный гонорар» собирается писать книгу о Кобзоне (Тарловскому даже сообщил: «Если получится, отремонтирую дачу»).

Как известно, популярный певец является рьяным «демократом» и мафиози (как и его дружок Розенбаум); за связь с криминалом и денежные аферы Кобзона не пускают ни в одну западную страну;

мне противно упоминание о подобных людях, а Мезинов, дурень, собирается корячиться над их воспоминаниями, увековечивать их. Такая беспринципность – ещё одна теневая сторона души моего за-кадычного дружка.

Кипучий Мезинов никогда не сидит без дела – у него внутри прямо стальная пружина. Ещё в начале перестройки он устроился ответственным секретарём в издательство «Мистер Икс», которое выпускало эротическую литературу (как он, глубоко церковный человек, решился на это «богопротивное действие» – опять-таки для меня загадка; уж если ты ради денег идёшь на такое дело, какого чёрта осуждаешь тех, кто тоже берётся за всё, что ни предложат, – Яхнина, Шульжика? Что за двойной подход?!). Разумеется, Мезинов сразу стал снабжать работой Тарловского; предлагал и Мазнину – тот сделал пару вещей, потом отказался.

– Вот ещё! Продаваться за какой-то грязный секс! Зачем мне маться?

Но Мезинов с Тарловским считали, что любую работу можно делать хорошо – Генри Миллер-то классно писал!

– Просто у Игоря маловато опыта в этой области, – смеялся Мезинов. – Он только учитель, а Марк (Тарловский) – увещеватель.

После «Мистера Икса» Мезинов работал в журнале «Амазонка», где тоже пропагандировались непуританские ценности.

Есть у Мезинова ещё кое-какие поразительные черты. Однажды совершенно серьёзно, без всякой иронии, объявил:

– Вчера был на заседании правления Союза. Собрались сливки(!) литературного общества: Михалков, Алексин...

В другой раз пригласил нас с Тарловским на вечер Акима, который он вёл (вернее, благородно пригласил на фуршет после вечера). И что мы услышали? Кондовое, протокольное разглагольствование нашего друга – казалось, он ведёт очередное партийное собрание; ни одного живого слова не произнёс. В Нижнем буфете выдавал зажигательные речи, а тут – на тебе! – бесцветный поток. Стушевался, что ли? Но ведь все были свои. Ну восседал ещё Михалков, что ж с того? Личность не меняется от окружения. Вообще, мы с Тарловским испытывали стыд за нашего «слишком правильного» друга.

И Аким – хорош гусь! «Прочитаю вам два своих стихотворения», – заявил и начал рассусоливать: пока не прочитал два десятка(!) – не

успокоился. Как можно так мучить друзей-литераторов, тем более когда на столах выдыхается водка и стынет закуска?!

Впрочем, здесь Мезинов с Акимом не одиноки. Приходько вёл мой вечер – выбрал самый дурацкий рассказ, уткнулся в него и минут двадцать (целую вечность для сцены) гундосил, а ведь он бывший эстрадный конферанс и должен чувствовать аудиторию. Ни черта не чувствовал! Не случайно критик Всеволод Сурганов не выдержал и шепнул нам с Тарловским:

– Да ведь он дурак!

Правда, позднее и Мезинов, и Приходько реабилитировали себя. Первый с блеском выступил на моём шестидесятилетнем юбилее и на вечере памяти Ковалёва в их родном институте, а Приходько показал, что такое школа эстрады на вечере поэтессы А. Заде-шах. Слушая тогда их, краснобаев, в меня закралось подозрение – уж не нарочно ли они устраивали занудство раньше? Мезинов нёс ахинею, корчил из себя серьёзного докладчика, чтобы Михалков понял, кому может передать власть, а Приходько разорялся, чтобы не дать возможность высказаться другим, ведь был жуткий себялюбец и ревнивец и считал меня своим «открытием».

Чтобы закончить тему вечеров, скажу: всегда, при любой публике, прекрасно выступали Ковалёв и Мешков; выше всяких похвал выступают Мазнин и Шульжик; неплохо – Кушак и Яхнин, да и остальные, с некоторыми оговорками, за исключением Тарловского – он не выступает перед взрослыми, только перед детьми. Я не спрашиваю его почему, знаю заранее, что он скажет:

– Да ну, зачем? О чём говорить, и так всё ясно.

Я далеко отошёл от Мезинова... Что ещё о нём сказать? Вот вспомнил. Как-то самый замечательный из его друзей (и самый требовательный к себе, дотошный читатель и критик, от которого мне не раз доставалось) Панков, пригласил нас на свою дачу, которую он, рукастый, построил самостоятельно. Это была отличная вылазка на природу. Мы выпивали и пели под гитару военные и послевоенные песни; жена Панкова Татьяна готовила одну закуску за другой; в середине застолья мы с Панковым искупались в ледяном ручье-речушке (Мезинов почему-то не полез в воду), потом вернулись за стол и до двух ночи вновь пели под гитару. Жаль только, мой пёс Дымок неважно себя чувствовал (сказалась

долгая тряска в машине и новая обстановка); успокоился, только когда мы с ним уснули в обнимку.

И вспоминаются мне три поездки к Мезинову на дачу в Кучино, где на участке высятся раскидистые деревья, в старом доме красуется русская печь и, по словам Мезинова, на чердаке по ночам бродит домовая, а в другом строении, небольшом срубе из кругляка (гладкотёсаной сосны), где стоит крепкий древесный настой, мой друг устроил рабочий кабинет.

Главные обитатели дачи – четыре собаки, одна забавней другой. А главная ценность в доме – патефон и коллекция пластинок с довоенной и послевоенной песенной классикой (забытые прекрасные проникновенные вещи, любой из нашего поколения понимает – это немислимое богатство, все мы балдеем от этой музыки). Под эти песни у русской печи отлично пьётся лёгкий, но сногшибательный самогон жены Мезинова Валентины (она щедро делится рецептом, который я предлагал ей положить в швейцарский банк), а на закуску как нельзя лучше идут свежие овощи прямо с грядок (опять-таки заслуга супружницы Мезинова).

Мы выпили прилично и произнесли десятки тостов (Мезинов отмечает все социалистические и церковные праздники, даже мусульманские; и сам придумал День домового, водяного и лешего – ему всё равно, что отмечать, лишь бы был повод, а это, как известно, дело нехитрое: как писал Бёрнс, «для пьянства много есть причин»).

Что и говорить – загородный дом Мезинова наполнен особой теплотой. В память о моём первом посещении участка, Мезинов подарил мне огромную чугунную трофейную печь с жаровней, которую его отец привёз из Германии (теперь она украшает мой участок).

Второй раз я прикатил в Кучино с приятельницей. В этот приезд Мезинов показал мне вторую свою коллекцию – собрание журналов послевоенных и «застойных» времён (он дотошный собиратель всего, что касается истории нашей страны; сейчас, когда оплёвывается наше прошлое, эти журналы – весомое доказательство лжи «демократов»). Кстати, Мезинов бережно хранит и переписку с друзьями (у него есть письмо Ковалева сорокалетней давности!); и он много лет ведёт дневник.

– Записываю каждый день, – говорит. – И хочу записать на магнитофон голоса друзей: в любой момент включил – и выпил с ними... Ну, и для потомков.

Голоса друзей – это, конечно, причуда, а вот на его дневник можно возложить определённые надежды (он единственный из всех моих знакомых, кто его ведёт.) Вообще-то те, кто ведут дневник, мне кажется, не столько полнокровно живут, сколько следят за своим развитием, да ещё уверены – прочитав их записи, все ахнут, поражённые умом и талантом авторов, и будут терзаться, что недооценивали своих современников. Но, думаю, Мезинов – исключение; наверняка в дневнике он отображает наше время, а это задача не из простых; возможно, там раскроется как незаурядный прозаик, ведь, повторяю, одна небольшая книжка стихов – слишком слабое творческое наследие. Впрочем, недавно мой друг признался, что заканчивает повесть о всех собаках, которые у него были и есть, а уж наших четвероногих друзей он знает прекрасно и, без сомнения, выдаст что-то бессмертное.

Так вот, во второй мой приезд мы вновь, под пластинки и отборные овощи, распивали самогон, а потом прошлись вокруг озера, где по утрам Мезинов бегаёт трусцой, сбрасывая лишний жирок; и мой друг пилил меня:

– Тебе тоже надо заняться бегом. Все вечера просиживаешь в ЦДЛ. Смотри, на кого ты похож – весь прокуренный, зелёный, сутулый... Вы с ним будьте потвёрже, покруче, – дал совет моей приятельнице. – Его надо приструнить, а то совсем распоясался.

В противовес Мезинову, его жена Валентина говорила мне только приятные слова и очень тихим голосом, а перед отъездом нарвала нам огромный букет цветов и насобирала целое ведро слив. Валентина вообще является примерной женой и воплощает в себе лучшие черты славянок – жертвенность и кротость (чем и подобрала ключик к суровому характеру мужа). Я помню, кто-то нахваливал жену Приходько – мол, тихая, скромная, на что Приходько возразил:

– Нет, моя Нина далеко не тихая, может разбушеваться ого как! А вот Валя Мезинова действительно тихая.

В третий раз нас с Тарловским Мезинов пригласил на дачу отметить свой день рождения. Так получилось, что мы с Тарловским опоздали (сели не на ту электричку), и Мезинов сорок минут ждал нас на платформе. Я увидел его из окна вагона, когда состав уже притормаживал, – он, храбрец, стоял с непокрытой головой под морозящим дождём, на холодном ветру, с сумкой через плечо (этот его образ ещё долго маячил передо мной). Мы обнялись, Тарловский

стал извиняться за опоздание, я – ругать кассиршу, которая указала не ту электричку.

– Да ничего, ерунда, – засмеялся Мезинов, протирая мокрые очки. – Я знал, что вы приедете, и ждал бы ещё долго.

Потом мы шли по шоссе, и Мезинов, показывая особняки новых русских, ругал на чём свет стоит власть «демократов», которые «вместе с криминальным миром поделили всю промышленность». В порыве праведного гнева заявил:

– Ничего, придут наши – всех их стрелять будем! – и засмеялся радостным мстительным смехом, уже предвкушая кровавое зрелище (мне сразу померещилось – он тащит наперевес автомат).

Потом обрушился на власть коммунистов:

– И среди них подонков хватало. Те, кто был наверху, тоже поворовали немало. Сволочи!

Досталось и всему русскому народу за пассивность, безмолвие; и молодым литераторам, которые плотным косяком идут за нами и изгаляются над доверчивыми ребячьими душами, начисто забыв, что такое совесть. Мы с Тарловским поддакнули: я разнёс циников телеведущих, Тарловский заявил, что «секс, порнография стирают прелесть тайны отношений».

– Сейчас выживает не талантливый и умный, а негодяй, который наплевал на все церковные заповеди! – резко бросил Мезинов и внешне заочно заключил: – Одна радость – друзья! – он вновь засмеялся – на этот раз своим заразительным, многоступенчатым смехом.

Когда мы вошли в дом, он уже стал прежним, каким бывал по большей части с друзьями, – иронично улыбчивым; открывая консервы, приготавливая овощной салат, уже отпускал шуточки, подтрунивал надо мной и Тарловским, покрикивал на собак, которые крутились у стола.

Борец за справедливость (с немалым опытом и инквизиторскими замашками), суровый лидер нашей старой гвардии, судья всему и всем – вот должность Мезинова в нашем клане. Понятно, никто ему эту должность не давал – он, настырный, сам её заграбастал и понёс на своих мощных плечах, но, надо сказать, действует на этом посту решительно, круто и по большей части справедливо.

Мы со старинной Мезиновым из одного теста, у нас полное взаимопонимание в разговорах о литературе и нашей «демократии», схожий взгляд на друзей и, конечно, родство душ в отношении к собакам –

мы оба собачники со стажем, оба любим Д. Даррелла и передачу Н. Дроздова «В мире животных». Всякая любовь – лучший показатель человеческой души; наша с Мезиновым любовь к животным показывает, что наши души гуманные, тонкие, благородные, возвышенные и так далее, только почему-то наши дружки, идиоты, этого никак не хотят понять и смотрят на нас как на чёрствых людей.

Время от времени мы с Мезиновым помогаем обществу защиты животных: он даёт книги на выставки-продажи дворняг, я написал статью в защиту бездомных животных; Мезинов подкармливает собак малоимущих соседей, я отвожу корм пенсионеркам, которые держат десятки животных (им также помогают писательница И. Ракша и бывшая секретарша Коваля И. Скуридина). Несколько раз общество просило меня отвезти больных животных в ветлечебницы, а однажды поручило собрать подписи писателей в защиту животных. Подписали все, к кому я обращался (человек сто), но три писателя отказались: Б. Рахманин, В. Мирнев и А. Макаров. Первые двое – поскольку «безразличны к этому», третий слишком ценил свою подпись.

– Не подписываю коллективных писем, – заявил мне.

С того дня этой троице я не подавал руки, а Мезинов назвал их подонками. Кстати, интересный факт: ни у одного из этой троицы нет друзей, и, кроме работы, все их интересы сводятся к женщинам; у нас же с Мезиновым друзей полно.

Что касается женщин, то они у Мезинова всё же находятся на втором плане (у меня так и вовсе на третьем); так что не случайно психологи вывели – если мужчина держит собак, он ценит дружбу больше любви. Да и как её не ценить, если любовь бывает безответной, а дружба такой не бывает, и всякая любовь рано или поздно кончается, а настоящая дружба – до гробовой доски. На этот счёт имею и другие свежие мысли, но о них не хочу распространяться, слово «любовь» у меня давно стоит поперёк горла – об этом уже говорил в очерке о женщинах.

Можно в чём угодно обвинять таких, как Мезинов (бывших убеждённых коммунистов), но в одном не упрекнуть – они любят наше отечество, в отличие от «демократов», которые его ненавидят и всегда готовы из «этой» страны уехать в «свою», историческую (во время «реформ» сразу стало ясно, кто есть кто, ведь именно в сложные моменты человек проявляет лучшие и худшие качества).

И как литератор Мезинов истинно русский, не в пример «русскоязычным» (всяким Аксёновым, Войновичам, которые пишут на русском языке, но прикидывают, как это будет звучать на английском) – у этих «западников» нет чувства родины, духа Тургенева, Чехова, Аксакова, Гончарова. Аксёнов, который теперь братается с преступником Березовским, недавно заявил:

– Мы стали людьми мира (после «Метрополя»).

Это надо понимать – людьми без родины; между тем давно известно – нет вненационального искусства. С Аксёновым я раза два-три сидел в ЦДЛовской компании. Он держался как самовлюблённый пижон, не скрывающий своих русофобских взглядов (наш народ называл «стадом»), как патологический ненавистник России («сталинского детдома», как он говорил.) И всё, что я у него читал, выглядело желанием пооригинальничать (особенно «В поисках жанра».) Не зря его пропесочил В. Конецкий, назвав «гражданином мира с американским паспортом».

Как правило, хороших людей и окружают хорошие друзья. У Мезинова их немало: кроме литераторов, это и физик В. Перекатов, которого уже упоминал, и инженеры Валерий Катков, Геннадий Павлов, и другие – все личности те ещё! – без всякой червоточины, умники, с настоящим мужским обаянием и, разумеется, пьющие; о них как-нибудь отдельно напишу, если не подведёт дальняя память – ведь уже и ближняя даёт сбой.

Есть у Мезинова ещё один друг – Николай Красильников, поэт и прозаик, долгое время живший в Ташкенте (его родители волжане из Кинешмы) и только недавно перебравшийся в Подмосковье. Мезинов говорил мне:

– У тебя в Ташкенте есть почитатель. Он расхваливал твою книжку «До свиданья, Аметьево!» и мне сказал: «Как? Ты знаком с самим Леонидом Сергеевым? Разве он ещё не умер?»

Мезинов познакомил нас во время приезда Красильникова в Москву, лет десять назад. Помню, мы выпивали в ЦДЛ, и Красильников рассказывал, как нелегко русским в Узбекистане (уже началась перестройка и националистические всплески), что планирует перебраться с женой и сыновьями в Россию... Понятно, нашим властям наплевать на соотечественников в ближнем зарубежье. Пьяный вождь рывкнул:

– Россия большая, всех примем!

Но пальцем не пошевелил, чтобы помочь людям. А «правозащитники» вообще подлецы. Орут о правах человека в Чечне, но молчали, когда там русских выгоняли из квартир, насиловали, убивали. И сейчас молчат, когда в бывших республиках закрывают православные храмы и русские школы, заставляют инородцев учить местный язык, не принимают на работу, вместо паспорта дают какую-то справку. Кстати, и в Подмосковье Красильникова с семьёй всё ещё не прописали (несмотря на письмо Михалкова), откровенно требуют взятку!

– В эмиграционной службе одни евреи, – рассказывал Красильников. – Говорят открытым текстом: «Две тысячи долларов – и вы получите гражданство». Мне, русскому, надо доказывать, что я русский. Ну а кавказцам за деньги тут же дают паспорта.

Я не понаслышке знаю, каково находиться в чужой среде, – тринадцать лет прожил в Татарии, но даже тогда, в гораздо лучшие времена, с трудом принимал другую культуру. У меня было много друзей-татар – они такие же люди, как все, но я так и не смог выучить их язык, не смог запомнить ни одной их песни, не понимал, почему на праздник (в двадцатом веке!) делают жертвоприношения... Татария замечательна по-своему, но там – хоть убей, я всегда чувствовал себя чужаком, меня всегда тянуло на родину. Видимо, всё-таки правомерно понятие о несовместимости культур. Необходимо добрососедство, а не искусственное совместное проживание – это против природы, как ни крути (ведь у всех свои традиции, обычаи, и все хотят их сохранить).

Что Татария! – я даже в Европе чувствовал себя не в своей тарелке, несмотря на потрясающий прогресс и высочайший жизненный уровень в тех странах. Из Франции и Англии меня тянуло в мою нищую Россию. Такой уж я дуралей: как кулик, не могу без своего болота...

Киплинг говорил: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись». Я не расист, но думаю, было бы лучше, если бы каждый жил на своей родине, чтобы одна этническая община не навязывала другой свою культуру – пожалуйста, приезжай как гость. Ну, ещё когда общины небольшие и растворены в государствообразующей нации, это куда ни шло; это даже придаёт многоцветие стране, но, когда какая-либо община главенствует над коренным народом, это уже не лезет ни в какие ворота. Не случайно в Европе уже ширятся движения против эмигрантов.

А что творится у нас? Дальний Восток всё больше заполняют китайцы, Ставропольский край – чеченцы, Тверскую и Саратовскую области – дагестанцы (многие ведут себя нагло, не просто как новые хозяева, а как завоеватели); в Московской области уже полтора миллиона азербайджанцев (вся торговля под их контролем; Лужков омусульманил и Москву), а русских из ближнего зарубежья не очень-то прописывают (как Красильникова). Если дело и дальше так пойдёт, скоро наша страна будет другой, уже не Россией.

Кстати, много лет евреи кричали, что их не выпускают на историческую родину, а теперь, когда ворота открыты, почему-то не очень спешат в Израиль; понятно, теперь они захватили власть в «этой» стране и могут наживаться, облапошивать доверчивый народ («паразитировать на нём», по выражению Мазнина), а в «своей» стране не очень-то развернёшься – там все ушлые, их не проведёшь. Наверно, в Израиле, среди своих, евреи такой же народ, как все народы; но, проживая в других странах, они пытаются эксплуатировать инородцев, всюду протаскивают своих, стараются занять главенствующее положение, выгодные должности (разумеется, в массе своей, не все). Сейчас, на примере России, это видно отчётливо, даже чересчур отчётливо.

Так вот, в тот давний приезд Красильников подарил мне свою книжку для детей; прочитав его рассказы, я испытал облегчение, словно вышел из душной комнаты на солнечную улицу, словно после выставки абстрактной живописи, несущей разрушительную, злую энергетику, увидел умиротворяющие пейзажи Шишкина. Рассказы Красильникова продолжают традиции русской детской прозы (конечно, они окрашены колоритом Средней Азии, иначе и не может быть, ведь экспозиция, атмосфера – основа прозы). Это особенно важно сейчас, в период засилья западной массовой культуры: всяких черепах-каратистов, монстров, космических воинов. Уже многие страны в панике – то и дело говорят о нервном истощении детей от монстров, а наши дельцы от искусства выпускают их со всё нарастающим валом.

На фоне этой чертовни рассказы Красильникова выглядят настоящим откровением; в них вечные простые истины, и проводится понятная ребёнку мысль: делать добро необходимо не только потому, что приобретаешь друзей, но и потому, что собственная жизнь

наполняется смыслом. Читая эти рассказы, я чувствовал: совершенно незнакомые люди становились мне близкими знакомыми – ведь, в сущности, заботы и мечты большинства простых людей на земле одни и те же или очень схожи.

Закрыв книжку, я вновь, спустя сорок лет, побывал в Средней Азии, и ностальгия по нашей, ещё совсем недавно великой, стране растебила душу, а злость к «реформаторам» вспыхнула с новой силой.

Красильников крепкий и по-настоящему искренний прозаик и, несмотря на сложные условия, каким-то странным образом сохранил светлый взгляд на жизнь; общаясь с ним, я думаю – всё не так уж и плохо, если ещё есть такие люди, и, кто знает, может, всё повернётся к лучшему.

Опять я о себе да о Красильникове разошёлся, а ведь надо закончить о старом песочнике Мезинове. Хорошо хоть спохватился, а то ещё неизвестно, куда бы занесло, – склероз, что ли, крепчает? – потому и очерки получаются сумбурными. А то, что много болтаю о себе, – ну куда денешься – воспоминания о других по касательной задевают и тебя, и здесь трудно оставаться в тени; да и зачем прятаться, если на фоне дремучих приятелей можно показать свой светлый образ?

Ну а Мезинов, Мезинов... Всё чаще его мучает давление, и глаза стали совсем никудышными – при чтении снимает очки и водит носом по страницам, но о Божьем царстве при нём лучше не заикаться – сразу обрежет, он собирается стать долгожителем, у него ещё навалом всяких планов.

Сейчас он сдаёт квартиру (понятно, не от хорошей жизни), а сам с женой и собаками обитает на даче, правда, обзавёлся мобильным телефоном – ему, деловому, без связи с городом никак нельзя. Перед его отъездом мы договаривались встретиться, но он замотался с делами, и вот уже больше двух месяцев, как не видимся, – для нашей дружбы огромный срок. Мне его, старого зануду, сильно не хватает. Надо же! – только поставил точку, как он позвонил (почувствовал, что думаю о нём):

– Приезжай! Выступишь в местной школе, сделаешь богоприятное дело, тебя давно ждут. Потом посидим у меня, выпьем, поговорим, послушаем пластинки. Приезжай один, никого не бери, ну их всех на х... Обнимаю тебя и жду!

«НЕ ОТ МИРА СЕГО»

Впечатлительный друг мой Марк Тарловский занимает чуть ли не половину моего фотоальбома. Во-первых, он любит сниматься, а, во-вторых, последние годы мы с ним часто выезжаем на мой участок, и каждый раз я щёлкаю его (обычно вместе с собаками). Но на всех моих снимках Тарловский серьёзен или задумчив, а вот на единственной фотографии Геры улыбается – правда, как-то робко, смутно, виновато; можно подумать, перед нами – этакий застенчивый субчик, с бледными чувствами и чистой, красивой душой; но мы-то, друзья Тарловского, знаем, каков он ангелочек, – его чувства далеко не бледные, и, если что-то не по нему, ошетинится и орёт будь здоров! – тараторит, псих, не даёт вставить слово, да ещё размахивает руками! Душа, конечно, у него красивая, но не очень – не заповедник красоты уж точно; и вокруг своей души он воздвиг сплошной забор – попробуй загляни!

Я нарочно оставил очерк о Тарловском под конец, потому что он самый вдумчивый из обоймы детских писателей и вообще стоит в стороне ото всех, как некое реликтовое растение. Мне иногда кажется, что он весь завёрнут в плотную оболочку или вообще живёт в параллельном мире. Прямо скажу – говорить о нём, недотёпе, трудновато; и не только потому, что после смерти Ковалея и Сергиенко он стал ближе других и с ним связаны последние, самые осознанные годы, но и потому, что он растяпа, темнило и прохвост одновременно. Взять хотя бы его отношения с женщинами. Его тянет к ним со страшной силой (потенциально он сексуальный гигант), но, когда доходит до дела, теряется – и сразу в кусты.

Он был женат всего полгода... и давно, ещё до армии. (Говорю с его слов, может, это и легенда, ведь ему наврать – раз плюнуть. Хотя что я молочу? Как раз соврал-то он всего дважды – об этом позднее.) Так вот, Тарловский только что вышел на пенсию, но до сих пор живёт бобылём; и за все эти десятилетия у него было только два романа, по месяцу каждый. Такая насыщенная личная жизнь – предмет насмешек друзей.

– У меня всё ненормально, – уныло говорит этот изгой и мучается – часто впадает в хандру, а то и в глубокую депрессию.

Друзья не раз знакомили его с женщинами, но у одной ему не нравится одно, у другой – другое, а если не к чему придраться, начинает взвешивать, прикидывать:

– А что будет потом? Что дальше? Да и деньги у меня бывают от случая к случаю...

Он хочет распланировать всю оставшуюся жизнь, идиот. Боится промахнуться.

С одной стороны, его жутко тяготит одиночество (он им насытился вдоволь и готов выть от тоски), дурацкое положение, в котором он находится, с другой – он и пальцем не пошевелил, чтобы изменить это самое положение; он словно опавший лист, плывущий по течению реки. И даже не лист, а дохлая рыба. Смотрит на женщин тускло, безразлично, и они, понятно, это чувствуют. Только взглянут – и сразу:

– С ним беда!

– С чего вы взяли? – допытываемся мы.

– Это сразу видно, – отвечают.

И попадают в точку. Ведь у них, у женщин, интуиция; даже у самых деревянных. Такие дела... И жалко его, дураля, и злость берёт, когда слышишь, как он мямлит:

– ... Она как-то не так на меня посмотрела. А если мы с ней не подойдём сексуально? А если подойдём, то как сойтись характерами? А если она начнёт меня раздражать?

Вот такой безмозглый типчик, ударенный Фрейдом. Бывало, не успеет познакомиться с женщиной, а уже обсуждает свои тревожные предчувствия, какие-то непредсказуемые последствия, то да сё. А в снах видит идеальную женщину, с которой «великое родство душ». Похоже, для него мечта о любви дороже любви в реальности. Короче, он никак не разберётся в своих чувствах, и тут нечего говорить – с ним всё ясно: он, отщепенец, загнётся в одиночестве. Хотя нет, не в одиночестве, но об этом дальше.

Тарловский пассивный, осмотрительный; он не совершил ни одного решительного поступка (и не только решительного – вообще никакого), даже к морю рискнул съездить всего два раза; первый – после того как мы чуть ли не насильно впихнули его в поезд (и это при том, что его знакомая гарантировала жильё и питание у своей матери), второй раз – с Кушаком (тот уговорил его отдохнуть в своих владениях под Очаковым).

Даже когда я зову его с собой на участок, он закатит глаза к потолку и мнётся, вяло тянет:

– Не знаю... Ну, как тебе сказать... Вообще-то можно... Никогда не скажет: «Поеду» или «Не поеду». Такой своеобразный голубь, домосед, которого не выкуришь из квартиры.

– Живёт, как устрица в раковине, – говорит Мезинов. (А я вспоминаю Чехова: «Огромное счастье – не считать себя необыкновенным и жить так, как живут все».)

Когда в ЦДЛ мы обсуждаем чьи-либо стихи или рассказы, Тарловский сидит, точно сонная муха; если спросят его мнение, благоразумно промолчит или уклончиво, обтекаемо промямлит:

– Я не могу сказать, что это плохо...

И опять-таки никогда не скажет в глаза: «Мне нравится то-то и то-то, а это не нравится». Зато за глаза сандалит без умолку; всех чихвостит и грубых (правда, точных) слов не жалеет. К примеру, за выпивкой в нашей команде происходит всякое – случается, громим друг друга – Тарловский загадочно помалкивает, никогда не назовёт вещи своими именами (хочет для всех быть хорошим – и нашим и вашим), а потом каждого обзванивает и кроет остальных (в основном по делу), но чего стоял в стороне, когда надо было занять чёткую позицию?! Хитрый, чёрт! Иногда за столом прямо бесят его умалчивания, сдержанные высказывания и попросту неискренность. Когда я за это его ругаю, он бестолково оправдывается:

– Я не всегда говорю то, что думаю.

Бывает, за столом он вообще делает вид, что дремлет, но ко всему прислушивается.

– Марк, не спи! – говорит Шульжик. – Ты хотя бы изредка поднимай руку, чтобы мы знали, что ты жив!

Давно известно, самое сложное в жизни – общение людей друг с другом; инертность и замкнутость Тарловского отталкивает от него не только женщин, но и приятелей – те частенько звонят мне:

– Давай встретимся, только приходи один, без Марка, что ты его всюду с собой таскаешь?

А по телефону у нашего героя язык длинный. Может часами обсуждать, кто какой, кто с кем, – сплетник он первостепенный. Понятно, у него нет своей жизни, вот он и живёт чужой. Справедливости ради надо отметить – печали и радости друзей он переживает искренне, совершенно искренне, почти как свои. А это многого стоит. Обычно как? Дружья лишь участвуют в жизни друг друга: поговорили о твоих

проблемах – и забыли; полностью жить твоей жизнью может только мать, хорошая жена, собака и крайне редко друг. Тарловский подходит к этим избранным ближе всех нас.

Одно время Тарловскому подыскивал подружку Яхнин, пока не плюнул на это дело и не сбавил неприкаянного мне, сказав:

– Я с ним мучился, теперь ты помучайся, хе-хе!

Но и у меня ничего не получилось. За это время он потерял как минимум трёх отличных женщин. И не жалеет, гад. Настроил себя на то, что из этих сожительств ничего хорошего не вышло бы.

– Да ты попробуй, балда! – возмущался я. – Бросайся в омут, а там видно будет – может, выплывешь счастливым. Бабы отличные, и вторились в тебя, поверь мне, я знаю, о чём говорю. Учти: сейчас пролетают твои последние лучшие годы, «теперь или никогда», как говорил Штольц Гончарова.

Но разве его, замороженного, прошибёшь! Каждому ясно, в любовных делах инициатива должна исходить от мужчины, а он, дурак, ждёт, когда женщина бросится ему на шею, разденет и уложит с собой в постель.

– Не в этом дело! Ты ничего не понимаешь! – канючит и зыркает на девиц, распяляет фантазию, мечтает о совершенной красотке.

Он, видите ли, тонкий, ранимый, мечтательный, ему надо влюбиться в женщину, привыкнуть к ней – он ведь не мы, террористы. Он и внешне холёный красавчик (да ещё изображает ангела) – ему, одинокому романтику, жить бы в позапрошлом веке, но он живёт в нынешнем и мог бы быть посовременней. Кстати, так я думаю теперь, а много лет назад тоже был сентиментальным (не таким, как он, но всё же был), даже сказал ему:

– У нас с тобой много общего.

Об этом он напомнил мне недавно:

– Мы выпивали в ЦДЛ и по дороге к метро много говорили. Потом ты сказал эти слова и вошёл в вагон. А я стоял и ждал – обернёшься или нет? Ты обернулся и помахал мне рукой...

Но меня-то жизнь побила, и я стал крепче и жёстче, а Тарловский так и остался задумчивым хилым романтиком (но только внутри – внешне-то как раз здоровяк). Хотя Яхнин считает наоборот:

– Марк только внешне нежный, тихий, а внутри жёсткий, мраморный.

Давно известно, у каждого в жизни немалый выбор возможностей – не всем хватает отваги рисковать. Меланхолик Тарловский никогда не рискует, а потом хнычет:

– Завидую вам. У вас столько прекрасных впечатлений.

Тарловский был сильно привязан к матери и жил, только чтобы радовать её. Мать с детства расписала всю его жизнь наперёд. Школу он окончил в Орле, а после того, как семья переехала в Куйбышев, поступил на историко-филологический факультет пединститута, но, по его словам, за пять лет учёбы не записал ни одной лекции – сидел и думал о своём. Позднее его отец, в результате хитроумной комбинации, добился перевода в Москву.

Тарловский жил с родителями замкнуто; зарабатывал, рецензируя рукописи, отвечая на письма в «Пионере», изредка выступал перед детьми. Он был таким положительным странным великовозрастным мальчиком, немного скованным, зажатым от постоянных переживаний за самочувствие матери. (Она не работала, ссылаясь на головные боли и расшатанные нервы – целыми днями лежала и читала книги. Её отец, дед Тарловского, как-то сказал: «Иди работать, сразу нервы станут крепче!» А отец Тарловского советовал сыну снять комнату и жить отдельно, поскольку «мать отрицательно влияет на твою психику». Но Тарловский не послушал отца – это была его роковая ошибка.)

Когда нашему герою исполнилось тридцать семь лет, внезапно погиб его отец (поехал на автобусе в Можайск за молоком, на дороге произошла авария; все отделались травмами, а он погиб). Тарловский испугался, что трагедия доконает мать, и сказал ей, что отец в больнице; целый год по воскресеньям он убивал время в моей изостудии, а матери говорил, что ездил в больницу.

Повторюсь: как большинство сыновей в еврейских семьях, Тарловский был сильно привязан к матери, но если Яхнин, когда его мать заносило, мог раздражённо бросить: «Мам, перестань! Ну что ты говоришь ерунду!», то Тарловский закидоны и капризы матери сносил безропотно, только втихомолку скулил и плакал. В конце концов мать догадалась о гибели отца Тарловского, но до её смерти они так и играли в эту чудовищную игру. Целых тринадцать лет! Я помню то время: по вечерам он влетал в ЦДЛ и каждые десять минут бегал звонить матери, а вскоре и вовсе попрощался с нами:

– Ей плохо!

Мать постоянно говорила ему:

– Тебе надо общаться с друзьями, с девушками.

Но стоило ему на час отлучиться и позвонить домой, как слышалось:

– Приезжай скорей, мне плохо!

Это была какая-то патологическая привязанность, какая-то дикость. Своей звериной любовью мать губила сына, закабалила его, делала из него неврастеника (постоянные нервные перегрузки сжигали его, временами он находился на грани помешательства), а когда окончательно слегла, попросту приковала к своей постели (бывало, вообще никуда не отпускала, вцепившись в его руку). При всём том мать была в полном сознании и прекрасно понимала, что калечит родную душу. Как-то даже сказала:

– После моей смерти ты будешь танцевать.

Короче, вместе с собой мать-эгоистка забрала в могилу и многие годы сына (ему уже исполнилось пятьдесят лет).

После её смерти Тарловский вздохнул с облегчением и немного ожил, но совсем немного – ведь как бы заново открывал мир, открывал с увесистым камнем на душе. Но годы шли, а ничего в его исковерканной жизни не менялось; чувство неполноценности, борьба с самим собой довели его до бессонницы. Недавно сказал мне:

– Я прожил свою жизнь в вялотекущем депрессивном состоянии, как под наркозом.

Он так и не состарился в свои шестьдесят лет и выглядит таким законсервированным, целомудренным пожилым мальчишкой, пловцом в канале без воды.

– Марк решил проблему бессмертия, – посмеиваясь, сказал Яхнин.

Тарловский мучается от одиночества и богатых сексуальных фантазий (мечтает об огненной любви) и ничего не хочет менять – никак не может выйти из своей внутренней тюрьмы, победить скуку, погасить разлад с самим собой. Ко всему страдает, что ему не пишется, но так и не возьмётся за пьесу, которую когда-то начал писать (вначале хочет устроить личную жизнь), и каждый разговор начинается со вздоха:

– Настроение хреновое...

Очень точно сказал Шульжик:

– Марк живёт в вечной мерзлоте.

А я злюсь на него, задумчивого, мягкотелого, нерешительного, закаменелого, но ещё больше – на его чудовищную мать, которая может вызвать только жалость пополам с презрением.

Временами Тарловский поступает как полный остопоп: ни с того ни с сего в нём вдруг разыгрывает ребячество, и он общается с молодыми литераторами, которые годятся ему в сыновья, – те кадрият школьниц, и он что-то смущённо вякает; с юными девами они катаются по дачам, выпивают, танцуют (на эти сборища его не надо уламывать), а потом наш друг по несколько дней не выходит из дома и по телефону плачется:

– Зачем мне всё это надо? Чего поехал?!

Опять процитирую Шульжика:

– Мы все заканчиваем с женщинами, а Марк только начинает.

Тарловский живёт от одного застолья до другого – помнит дни рождения всех друзей и их жён, все даты похорон и поминок (у него сногшибательная память); за неделю до события всех обзванивает, напоминает, а накануне подробно выясняет, кто будет, что возьмёт – и всё с невероятной серьёзностью, словно предстоит военная операция.

В застолье оживляется, сыпет анекдоты, не прочь попеть, но вдруг начинает спрашивать:

– Сколько времени? Который час?

Я долго его одёргивал:

– Ну, куда ты спешишь?! Не успели сесть, уже думаешь о времени! Тебе что, с нами плохо?

– Да не в этом дело! Просто хочу узнать время. Хорошо, что ещё не так много, ещё можем посидеть...

Он оттягивал момент расставания, и когда этот момент всё-таки наступал и мы прощались, резко сникал:

– Ну вот и всё. Теперь соберёмся только... – с глубоким вздохом он называл следующую дату.

Он во всём видит печальную концовку. Заметит листву на деревьях – о, появились листочки... а потом завянут и опадут. Заметит мальчишку – вон ребёнок бегает, радуется... а скоро состарится и незаметно умрёт.

Несмотря на свою меланхоличность и живописные мечтания об идеале, случается, в нашей мужской компании Тарловский здраво рассуждает о жизни, и тогда трудно поверить, что он всего лишь теоретик среди нас, прожжённых практиков. Некоторые из наших дружков (чаще всех Яхнин) от него неуважительно отмахиваются:

– Марк, с тобой можно говорить о литературе, но о жизни, ради бога, не чирикай!

Его все учат жить: Яхнин, Кушак, Мазнин (считают его романтиком, который только и смотрит на облака). Чего греха таить, одно время и я старался, дул в общую дуду, пока «демократы» не посадили нас в дерьмо (мы оказались фактически нищими) и нам с Тарловским пришлось подрабатывать на развозке книг – два раза в неделю (в общей сложности полтора года); вот тогда-то я и понял, что и Тарловскому есть чему меня поучить (в смысле знания людей). Но об этом позже, а сейчас о том, как он реагировал на своих «учителей».

Однажды у Яхнина был серьёзный роман с юной поэтессой из Ленинграда. Тарловский возмущался:

– Зачем он ей нужен?! Такая разница в возрасте! Она его бросит через пару лет. А он, дурак, говорит: «Ну и пусть, зато два года я буду счастливым». Ну не осёл?! И он ещё чему-то меня учит!

– Правильно говорит Яхнин, – останавливал я негодование «теоретика». – Я полностью на его стороне и точно так же поступил бы. А ты всё ждёшь совершенство.

– Да ладно тебе! Не в этом дело! Помолчи! Ты ничего не понимаешь! – распалялся Тарловский – и дальше втолковывал мне свои «расчёты» на будущее, но меня-то, тёртого, в этом вопросе чёрта с два переубедишь.

Другое дело – литература. Здесь у Тарловского почти безупречный вкус, чувство слова и немалые знания. Здесь спорить с ним опасно – расшумится, забудёт. Кстати, именно он, вслед за Мазниным и Ковалём, открыл мне глаза на многие «творения» друзей. Когда мы только начинали, я всех считал талантами, почти не читая. Говорили: талант, и я верил. Позднее Мазнин с Ковалём многих расставили по местам, а завершил их дело Тарловский. Он брал книгу «таланта», дотошно, придирчиво копался в ней, показывал мне «мелкотравчатые» строчки, всякие «фитюльки», и... я сразу сникал – «талант» оказывался с далеко не убедительными способностями.

Что и говорить, Тарловский крайне требователен к литературе – ему подавай только стилистическое совершенство. Некоторые утверждают, что истинный талант всегда великодушен, снисходителен и нахваливает вещь, если в ней есть хотя бы крупинка замечательного; что выискивать погрешности и ругать – удел посредственности. С этим трудно согласиться, поскольку «истинные таланты» частенько выдают дежурную похвалу (от безразличия, ведь зациклены на себе), а как

раз благодаря дотошности «посредственностей» можно сделать вещь лучше. Впрочем, об этом, вроде, я уже говорил.

Здесь сделаю небольшое добавление. Каждому ясно, многое из того, что в молодости приводит нас в восторг, с годами становится малоинтересным, ведь у нас уже появились другие критерии. Если говорить о детской литературе, сейчас мне трудно перечитывать даже Голявкина – вижу, как это сделано (всякие нарочитости, многозначные диалоги); под старость вообще тянет к простоте, ясности, естеству. Забегая вперёд, скажу: лет в пятьдесят я сделал ещё более скорбное открытие – что многие мои друзья реализовывали свои таланты через знакомых и втайне от меня планомерно организовывали свою известность.

Но вернусь к Тарловскому. Благодаря ему я понял, что Рейн и Синельников «всего лишь книжные поэты», а Юдахин и Ковда, и десятки им подобных «наляпают что-то и думают, что это поэзия, а там нет глубины познания мира; да они вообще не поэты». Кое-кто называл Бродского гением, кое-кто графоманом (А. Калина); я помалкивал, думал – чего-то не понимаю, и вдруг Тарловский всё поставил на свои места:

– Всего лишь холодная изошрённость.

Правда, позднее об этом забыл и уже говорил, что «у Бродского есть хорошие стихи».

– Бродский – негодяй, – говорил Барков. – Он писал, что Шолохову дали Нобелевскую премию, потому что в Швеции СССР разместил заказы на строительство судов. А студентам Сорбонны заявил: «Большой поэт живёт там, где больше платят».

Но иногда Тарловский перегибал: как-то всех «деревенщиков» назвал «дачными писателями, которые эксплуатируют деревенские словечки».

Коваль почти всех считал слабыми талантами; пробежит пару строк – и вешает ярлык; Тарловский вникал в суть. Разумеется, он промывал кости автору за его спиной, а в застолье, как я уже говорил, помалкивал или тянул:

– ...Ну, как тебе сказать?

И то слава богу, ведь многие друг друга нахваляют, грубо льстят, не испытывая при этом никакой неловкости. В ЦДЛ это в порядке вещей. (Забывают Куприна: «Бойся похвалы друзей».) Г. Балл постоянно талдычит:

– Надо друг друга хвалить.

– Ну да, – зло смеётся Мезинов. – По Окуджаве – «давайте говорить друг другу комплименты». Большую глупость трудно придумать.

Бравый старикашка Мезинов вообще частенько хлёстко ругает нашу интеллигенцию – не может ей простить, что в своё время, когда надо было выходить на улицы и протестовать, она «скулила на кухнях под безнадёжные песенки Окуджавы».

Шульжик – молодец: когда ему поют дифирамбы, резко обрывает болтовню; и это не какая-то там природная скромность – это чувство ответственности за то, что делаешь. Его способ я давно взял на вооружение.

В глаза говорят то, что думают, Мазнин и Шульжик (иногда говорили Приходько и Коваль), остальные помалкивают или выкручиваются как могут.

Тарловский за долгие годы нашей дружбы ни разу не сказал, где у меня в рассказах удачно, где отвратительно. Как все мы (за исключением Мазнина и Мезинова), он почти не читает друзей и, понятно, что он мог мне сказать. Может, когда-то что-то пролистал и вlepил о моих писаниях по первое число в разговоре с Кушаком или Яхниным. Хотя сейчас вспомнил один случай. Как-то Мазнин поругивал (как всегда, по делу) мой рассказ «Тот самый чудак», и вдруг Тарловский, спяна, наклонившись к столу, тихо (скорее, самому себе) обронил лёгкий, почти невесомый комплимент:

– Это мой любимый рассказ.

Может, мне померещилось (я тоже уже набрался), ведь дожидаться такого от Тарловского никогда и не надеялся – он крайне осторожен в оценках. (Если бы я раньше знал, что этот рассказ ему понравился, я попытался бы сделать его лучше.)

Что касается «учителей» Тарловского, которые, кстати, старше его всего на три-четыре года, то все они (и я долгое время) натаскивали «мечтателя» только в житейском плане, в литературном «учителем», скорее, нужно считать его. Во-первых, его задолго до всех нас приняли в Союз писателей после прекрасной книжки «Вперёд, мушкетёры!». (Там в тексте лёгкость, каждое предложение летит, и кажется – всё сделано без натуги.) Во-вторых, повторяю, он, как никто, требователен к словам – можно сказать, сверхтребователен. И глубоко начитан (пересказывает по памяти целые куски из клас-

сики). Мы все, кроме Яхнина, слушаем развесив уши. Яхнин обычно прерывает Тарловского:

– Ой, Марк, только не цитируй! (Считает это дешёвым позёрством).

Как ни странно, в бытовом разговоре среди литераторов полно ко-рвостей, сора, метких, но не к месту, слов, не говоря уже о матерных словечках (и целых предложениях), Тарловский тоже вворачивает крепкую ругань, но органично, чётко дозировано. Вообще у него образцовая речь, и он подмечает все неточности в разговоре друзей, контролирует их, словно цензор, следит за чистотой произносимых фраз, цепляется к каждому слову; если что коробит, морщится и одёргивает:

– Не то слово!

Не понимает, балда, что без словесного сора уже не живой разговор, а диалоги для сцены, так же, как человек без недостатков выглядит куклой – об этом уже говорил.

– Представляешь! – страшно обеспокоенно как-то обращается ко мне. – Яхнин сказал, что искренность – не обывателя, а художника – это та же сентиментальность. Как тебе это нравится?! Ведь это совершенно разные вещи!

В другой раз, страшно возбуждённый, сообщает:

– Я сказал Яхнину, что Токмакова плохо перевела одну вещь, а он сразу набросился на меня: «Она профессионал! Она не может сделать плохо!» Ну что это такое?! Он, дурак, не понимает, что ремесленник и профессионал – это не одно и то же, что ремесленник может сделать всё правильно, но скучно, как школьное сочинение, а профессионал скучно не сделает. Я ничего не говорю, Токмакова – профессионал, но в данном случае поступила как ремесленник.

Я согласился с разбушевавшимся другом и вякнул что-то в том плане, что, действительно, профессионал привык всё делать на совесть. Но Тарловский ещё долго возмущался, пыхтел, не в силах справиться с разгулом чувств, и всё подбирал слова – как всегда, безошибочные, выверенные. Он вообще не говорит, а произносит; чуть что:

– Я неточно выразился, – и поправляется.

Иногда его «правильность», щепетильность к словам раздражает, ведь он даже поход в магазин рассказывает, как мольеровский монолог. Но, случается, выдаёт и каламбуры типа:

– Конец света для каждого наступает самостоятельно. (Вероятно, хотел сказать «отдельно».)

Надо отметить, «учителя» Тарловского (и Кушак, и Мазнин, и особенно Мезинов) по возможности подкидывали ему работу: литературную обработку разных произведений-«полуфабрикатов», пересказы-выжимки – в этом он мастак; не случайно Яхнин, несмотря на обширные связи (он оккупировал тучу издательств), ни разу не предлагал Тарловскому пересказывать или адаптировать сказки – похоже, боится конкуренции. Хотя нет, однажды сосватал в издательство «Кристина», но как сосватал-то? Сказал:

– Сходи, тебя же там знают.

Тарловский страдает избытком эмоций и, как многие тонкие, уязвимые люди, крайне чувствителен к обидам – попросту жутко обидчив; копит и помнит обиды много лет, можно сказать – он весь нашпигован обидами. Иногда обижается по делу. Одно время он с месяц жил на два дома: с родителями и с нашей общей приятельницей – секретаршей писательского Союза Аллой. Однажды Кушак подходит к романтической парочке и бросает:

– Ну ты, Алка, отличница! Сделала из Марка полноценного мужика. До тебя он ничего не мог...

Был случай, когда Мазнин с Кушаком не пришли на похороны его матери, хотя накануне обещали и Тарловский на них рассчитывал (они, видите ли, зашли выпить в ЦДЛ и набрались). Ясно, поступили по-свински, гнусно.

А Яхнин однажды и вовсе отмочил номер:

– Представляешь, – рассказывал мне Тарловский, – мать умерла, сижу без денег, а Яхнин звонит и, изменив голос, говорит: «Тарловский, вы получили денежную премию!» – и гогочет: – «Ты что, меня не узнал?»

Яхнин умник, но и у него случаются проколы. Спустя несколько дней мы выпивали в ЦДЛ, и Тарловский пошёл в туалет. Яхнин ему вслед брякнул:

– Что, пошёл мамочке звонить?

Мы на него зашикали, и он стушевался:

– Язык мой – враг мой.

Особая нелепость – Тарловского обидела поэтесса (и теперь издатель) С. Пшеничных, в общем-то замечательная женщина. Тарловский (по рекомендации Кушака) нанялся к ней подрабатывать – таскать книги, а она искала сподвижника, товарища по издательскому делу,

на что мой безынициативный друг не подходил ни с какого боку. Однажды Тарловский начал ей рассказывать, как Кушак помог ему в начале литературного пути.

– ...И тем самым искалечил вам жизнь, – заключила Пшеничных. – Быть может, вы стали бы хорошим директором завода (это он-то, с педагогическим вузом!)

Но в большинстве случаев наш ненормальный герой обижается на чепуху, при этом имеет вид младенца, у которого отняли соску. Яхнин, который не упускает случая посмеяться над Тарловским (а то и пошпынять его в полушутливом тоне), как-то выпалил:

– Марк! Не строй из себя молодого! Это смешно. Ты через пару лет выйдешь на пенсию...

– Ну зачем он это сказал? – позднее жаловался Тарловский. – Зачем напоминает мне про возраст, ведь я и сам прекрасно знаю, что ненормально прожил. И говорит с какой-то радостью, хихикает.

– Брось! – успокаиваю я его. – Он тебя любит и переживает за тебя. Ну немного относится к тебе снисходительно, иногда не принимает тебя всерьёз.

– Ты думаешь, он о тебе говорит только хорошее?!

– Догадываюсь.

– То-то и оно.

– Но я к этому отношусь спокойно, а ты заводишься. Ты чересчур впечатлительный, как кисейная барышня.

В другой раз Тарловский мне поплакался:

– Представляешь, Яхнин мне говорит: «Не знаешь Пьецуха! Эх ты, деревня!» Ну не дурак? А сам, между прочим, не знает французского прозаика Виана... А вчера были у Постниковой, и, представляешь, я что-то сказал, а Яхнин сразу захихикал: «Хорошо, что Бог не дал мне таланта говорить пошлости».

– А что ты ляпнул? – поинтересовался я.

– Ну как тебе сказать... Да ничего особенного... Ну, что-то неудачное, но зачем это раздувать, при всех делать из меня посмешище?!

– Ничего страшного, чепуха, – сказал я. – Если ты себе позволяешь корректировать других, почему это не может Яхнин?

– Не о том речь! Ну что ты, в самом деле! – повысил голос Тарловский. – Ему доставляет радость говорить мне всякие гадости.

Как-то Шульжик в нашей компании сказал Тарловскому:

– Марк, ты в «Северных сказках» допустил ляп – кисет повесил на проволоку. В фольклоре проволока! Современный материал, ха!

В тот же вечер Тарловский мне позвонил:

– Ну надо же! Эти сказки я переводил двадцать лет назад, и он всё помнит! И с какой радостью заметил мой промах!..

В другой раз в компании Шульжик, как всегда, работал на публику и (не с бухты-барахты, а к месту), обращаясь к девицам, без всякой задней мысли, пошутил:

– Хотите жить в крайней нужде – выходите замуж за Тарловского.

– Ну зачем он меня унизил? – опять жаловался Тарловский. – Чтобы подчеркнуть, что у него полно денег, а у меня их нет?

– Перестань пороть ерунду! – раздражённо бросил я. – Совершенно безобидная шутка. Что ты заводишься?! Тоже мне, одуванчик! Мне он и не такое говорил. Он же беззлобно...

– Да ладно, не морочь мне голову! – тянул Тарловский. – Вот ты не понимаешь. Ему доставляет удовольствие уколоть. Всё-таки в нём есть какая-то пустоватость. Он беспринципный циник. Демонстрирует небрежность к друзьям. Друг для него – объект для насмешек.

Недавно Тарловский сидел за столом с Кушаком и его спонсором Матвейко. Как всегда, Тарловский с сонной физиономией слушал «коммерческий» разговор друга и спонсора. Внезапно Матвейко предложил «поговорить» в ресторане и обратился к Тарловскому:

– Марк, пойдёте?

– А Марика-то зачем? – удивился Кушак.

– Ну не гад? – потом поделился со мной Тарловский.

Сложные отношения у Тарловского и с критиком Штокманом. Будучи полунемцем, да ещё выходцем из баронов, Штокман немногословен, держится важно, с достоинством, на его лице печать глубокой умственной работы, размышлений о смысле жизни – всем своим видом он даёт понять, что в его жилах не зря течёт голубая кровь (он и внешне скульптурен – помесь Геббельса с Д. Лондоном). Подходя к столу друзей в ЦДЛ, Штокман неторопливо снимает пиджак, вешает его на спинку стула, присаживается, закуривает трубку и некоторое время холодно осматривает будущих собеседников, но, по мере потребления алкоголя, его взгляд теплеет, он становится всё более разговорчивым и под конец застолья превращается в неумолчного тамаду. Несмотря на аристократическое

происхождение, он пьёт всё подряд (но особенно любит «кровавую Мэри», а ещё больше «перцовку») и отлично владеет отборным русским сленгом.

Я уже говорил: в шестьдесят лет Штокман начал писать рассказы и сейчас их катает один за другим. (Последний – «Трава моего детства» – напечатала «Литературка», после чего его пригласили на «Народное радио», где восторженные читатели засыпали автора звонками. Кстати, название рассказа – переиначенное название моего старого рассказа «Трава у нашего дома»; говорят, и какая-то рок-группа поёт «Трава у дома», но на меня не ссылается. Прочитав другой мой рассказ, «Мой великий друг», Штокман тут же написал «Мой бедный друг». «Я не ворую», – говорит. Правильно – переиначивает. И не только названия, но и кое-какие мои находки и словечки коварно похищает. И не только мои – у Ю. Казакова «позаимствовал» находку из рассказа «Арктур – гончий пёс».)

Сейчас Штокмана всю печатают «Наш современник», «Дружба народов», «Наша улица», газета «Московский литератор»; его выдвинули на «Букера» (но не дали, черти). Я рад за друга (тем более что он считает – именно я подтолкнул его к прозе и даже «настроил» на темы «Зубовского бульвара» и «Лесного озера»), но от этого успеха у моего дражайшего друга (и во многом единомышленника) закрылся черепок; я даже ему сказал:

– Смотри, не чокнись на своей популярности.

– Не дали премию! – возмущался он. – Да они там все повязаны, дают только «своим». А на премию Казакова даже не выдвинули, гады! А мой рассказ «Дальнее облако» – типичная казаковская проза (рассказ действительно хороший).

Недавно Штокман спросил у Тарловского:

– Что пишешь?

– Да так, делаю адаптации, – протянул наш герой.

– А своё не хочешь написать?

– Нет.

Критик и прозаик поморщился и безжалостно изрёк:

– Это конец! – и смачно чмокнул губами, вроде выдал смертельный поцелуй, убивший несчастного Тарловского наповал.

Как-то Штокман завёл с Тарловским тяжёлый разговор о расстреле парламента (с Тарловским, который нельзя сказать, что совершенно

аполитичен – он в курсе всего, но ему глубоко начхать на жизнь страны – устроить бы собственную жизнь).

– Там и с той, и с другой стороны были негодяи, – только и протянул мой друг с разбитой судьбой.

– Ну это вы так считаете, – резко бросил Штокман.

– Ты уже со мной на «вы»? – усмехнулся Тарловский, не понимая, что Штокман имел в виду евреев.

– А я иногда забываюсь, – схитрил полунемец (у него стойкая неприязнь к «богоизбранным», и он жутко обижается, когда в его фамилии слышат что-то еврейское).

Не знаю, как считает Тарловский, но, по-моему, у нас с ним крепкая дружба – можно сказать, особое братство; хотя не обходится и без трений. Например, он мне все уши прожужжал про никчёмный эпизод, который не стоит и выеденного яйца. Однажды мы с Ковалём выпивали в Нижнем буфете и вдруг явился он, козлёночек.

– Странное дело, Марк! – сказал я. – Обычно тебя сюда и калачом не заманишь, но, когда я встречаюсь с Юркой, ты непременно тут как тут. И как чувствуешь?!

– Что ты этим хотел сказать? – потом вопил мой друг. – Что я вам помешал, да?! И ведь часто такой бред несёшь!

Я доказывал ему, что неуклюже пошутил, что он прекрасно знает – я не только друзей, но и просто знакомых зову за наш стол, тем более его, которого всегда рад видеть и которого сам когда-то познакомил с Ковалём – всё впустую. Уж если он, дико мнительный, себя накрутил, его не переубедишь – гиблое дело, здесь уже его странность явно переходит в шизуху.

Вообще мне от него достаётся больше, чем ему от меня, так я думаю. Чуть ли не раз в неделю он раздражённо трещит:

– У тебя жуткий недостаток – ты недоверчив, как не знаю кто. Чуть что – это идиотское «не может быть!». Всё ставишь под сомнение, даже очевидные вещи. Ведёшь себя как дурак.

– Что есть, то есть, – соглашаюсь. – Бывает, находит. Но всё ставить под сомнение – вроде черта учёных. Может, во мне погиб крупный учёный, как ты считаешь?

– Это черта дураков и сумасшедших! – ещё больше раскаляется мой друг и делает вид, что готов меня треснуть. – И что прямо бесит – ты не доверяешь тем, кому надо доверять, и доверяешь тем,

кому не надо. А потом разочаровываешься, как глупец, делаешь запоздалые открытия. Тебе начнёшь что-нибудь рассказывать, а ты всё выстраиваешь по-своему, выдумываешь ситуацию. Тебе что-то втемяшится в башку – ни за что не вышибешь, – и дальше совсем из другой оперы: – Пойми, я объективен, а ты нет.

Вот такие у него горькие взбулькивания, так близко к сердцу он, малахольный, и принимает ерундовые обиды и коллекционирует их в памяти, а она у него, я уже говорил, дьявольская (будто магнитофон в голове), но несколько однонаправленная, как у многих, у кого мозги набекрень. Он помнит не только все даты, но и телефоны (даже женщин друзей, с которыми те встречались десять лет назад); помнит, в какой день, в какую погоду произошло то или другое событие и кто что при этом сказал. За сногшибательную память Тарловского надо занести в Книгу рекордов Гиннеса, а за его чувствительность и ранимость – в Красную книгу.

О телефоне Тарловского разговор особый – он единственный из моих друзей имеет аппарат с определителем (и даже видак – смотрит все фильмы, знает всех западных актёров – опять-таки живёт чужой жизнью). Кое-кто из наших общих приятелей жалуется:

– Звоню Марку – не снимает трубку, гад. Я попросил позвонить знакомую, он увидел новый номер – сразу отозвался.

А. Булаев рассказывал:

– Сиж у Марка, звонит телефон, он подбегает, смотрит на появившийся номер, соображает, кто звонит, начинает метаться – снять трубку или нет? Понятно – с этим надо выпивать, с тем просто не хочется говорить...

– Всё это бредни! – протестует Тарловский. – Я не успеваю снять трубку, а не перезваниваю, потому что номер не всегда появляется.

Такой у него капризный телефон, особенно в момент депрессухи у нашего героя; потом он приведёт в порядок мозги – телефон снова работает как надо (в этом я тоже иногда убеждаюсь).

Между делом не мешает сказать несколько слов о Булаеве, которого упомянул, и о Доменове, о котором говорил раньше, – двух бывших инженерах, усатых стариках с дряблыми лицами, двух узколобых типах с убогими душами, воспринимающих мир только как бело-чёрный. Не стану скрывать – этих алкашей и пустозвонов именно я когда-то сдуру затащил в ЦДЛ, и они там прижились. (Ясно, прежде чем вводить

в «общество» этих старых придурков, их следовало обтесать.) Булаев и Доменов – гоголевские персонажи (первый – типичный Ноздрёв, второй – копия Манилова). Когда они набьют брюхо и начинают что-нибудь болтать, можно подохнуть от смеха – не от юмора, а от их клинической глупости и бедного словарного запаса.

Скуповатый толстяк, говорун, любитель острых ощущений, Булаев (внешне похож на Тартарена) постоянно хвастался своей «грот-мачтой до колена» и что стал спать с женщинами с четырнадцати лет и сейчас (в шестьдесят) может с ними спать по пять раз за ночь (возможно, именно поэтому женщины зовут его ласково «Буланчик»). Булаев как герой тянет только на пару абзацев. Он первостепенный скряга, хотя всю жизнь работал во властных сферах (последнее время крупным начальником в СЭВе) и обогатился, по его словам, как надо.

– Сыну уже тридцать, и за все эти годы Булаев ему не дал и рубля. Ты же знаешь, какой он жмот, – говорила мне его первая жена, сестра моего друга.

Я-то знал. Он частенько бахвалился, что на одной книжке у него пятьдесят тысяч долларов и на другой не меньше (после развала страны он работал директором горнодобывающей фирмы, а его третья жена возглавляла несколько мебельных магазинов), но когда я попросил у него на несколько дней триста долларов, которые я нёс в типографию и которые у меня стащили, он отказал, да ещё брякнул:

– Ты ездил за границу, а на книги денег нет!

Если уж Булаев потратится на свой день рождения, то потом долго перечисляет, сколько заплатил за водку, бутерброды. Если что делает для друга, потом трезвонит: «Подарил за столько-то, угостил за столько-то».

Большую часть жизни Булаев скрупулёзно, дотошно следил за своим питанием: солёное и сладкое не употреблял, по утрам ел только «творожок», на ночь пил фруктовые соки (понятно, о своём здоровье особенно пекутся те, чья жизнь не представляет никакой ценности для общества.) Сейчас-то, в старости, он наворачивает всё подряд и за троих.

Старого вруна и тупицу Доменова мне критиковать крайне трудно – он мой друг с детства (с Казани), а, как известно, в детстве друзей не выбирают, дружат с теми, кто живёт рядом; и ему простительно всё, но не помешает и его немного пропесочить. Внешне Доменов

напоминает страуса – маленькая голова и массивное туловище. Как ни странно, в детстве маленькая черепная коробка моего друга вмещала обширные знания: Доменов читал и коллекционировал книги о полководцах, мореплавателях и путешественниках. Уезжая в столицу учиться, он отвёз свою коллекцию к бабке в деревню, но, когда через пару лет вернулся, от книг остались одни обложки – из страниц бабка делала кульки для продажи ягод. Наш книголюб так расстроился, что больше никогда ничего не читал.

Долгие годы Доменов носил в кармане три проекта: дачи, машины и яхты, которые собирался строить (такой имел веер интересов); время от времени вносил в проекты изменения, но до пятидесяти лет так ничего и не построил. Затем его охватила бредовая идея строительства плавучей гостиницы, которая тоже так и осталась идеей. (Только в пятьдесят пять лет он всё же построил дачу; И. Вирко и я помогли ему в поте лица.) Ну а самое смешное – Доменов всегда завидовал сексуальному Булаеву и до самой пенсии задавался вопросом – можно ли удлинить своё мужское достоинство? А нас с Вирко поучал:

– Ванну не принимайте, ведёт к импотенции. Баня – это вообще смерть. Только тёплый душ.

Позднее, женившись на красивой проститутке, он выдал перл:

– Я только сейчас понял, какая тяжёлая жизнь у женщин (и это на седьмом десятке!). Так жалко их (но женился всё же не из жалости).

Вот такие маньяки эти Булаев и Доменов, оба с одним-единственным мужским талантом (остальные так глубоко зарыты, что никак не проявляются). Но, естественно, рядом с этими ограниченными типами мы выгладим немисливо умными, особенно сейчас, в старости, когда они сосредоточились на удовольствиях: побольше пожрать и выпить, подольше поспать. Избавиться от этих прилипал невозможно. Коваль не раз мне говорил:

– Напиши о них роман. И так и назови: «Булаев и Доменов».

Пойду о Тарловском дальше. Он не жадный, но страшно экономный: продукты покупает только на рынке (всегда знает, сколько стоит картошка и огурцы и сколько они стоили тридцать лет назад и при царе); варит борщи, солит рыбу, готовит холодцы, что-то маринует, квасит – хозяйствует, одним словом; плотно поесть – для него дело святое. Нередко мне говорит что-нибудь такое:

– Түшёнү капусту надо есть тёпленькой; не горячей и не холодной.

Тарловский никогда не покупает выпивку и закуску в буфете ЦДЛ (там с наценкой) – бегаёт в магазин. Наши буфетчицы ворчат, если выпивку приносят с собой, и, когда у нас появляются деньги, я тащу Тарловского к буфету:

– Надоело выпивать из-под стола. Выпьём по-человечески, а то ещё бегать куда-то.

Но он решительно останавливает меня:

– Подожди! – и начинает сложнейшие расчёты в голове (у него прямо бухгалтерский ум). – Давай я лучше сбегаю в магазин.

Конечно, он прав – глупо транжирить деньги, чтобы через пару дней влезать в долги; он экономит от нашей бедности, но мне кажется, что, и разбогатев, Тарловский не стал бы покупать водку в буфете, если на соседней улице её продают вполтину дешевле. С другой стороны, иногда он предаётся мечтам:

– Если бы я стал богатым, я каждому из друзей дал бы много денег.

Я знаю точно, он сделал бы это. Мне, например, подарил бы новенькую машину, ведь мы с ним замучились чинить мой старый драндулет.

Тарловский не трус (сколько бы я ни выпил, едет со мной на машине), но на самолётах не летает и осторожен до смешного. Как-то в лесу, недалеко от моего участка, поднялся сильный ветер.

– Пойдём домой, – буркнул мой друг, с опаской поглядывая на шатающиеся деревья, – а то ещё какое повалится и прильёт, – он красочно рассказал, как в Куйбышеве рухнувшая сосна убила его приятеля.

Каждый в жизни совершает ошибки и временами поступает как поганец. И Тарловский может отчебучить номер. Не раз он зазывал меня с женщинами к себе, но я так ни разу и не воспользовался его гостеприимством. И вот однажды, когда мы с ним выпивали в ЦДЛ, к нам подседа наша общая знакомая Ольга – молодая, красивая, неглупая, но чересчур увлекающаяся женщина (я в шутку её опекал, как папаша, а ей нравилось изображать мою дочь; кое-кто верил, что так и есть на самом деле; ну а Тарловский всегда неровно дышал к ней). Но в тот день красотке надоела наша игра; выпив вина, она решила склонить меня к более близким отношениям и зашептала, достаточно громко, чтобы слышал Тарловский:

– Ты давно мне нравишься. Давай разочек переспим. И больше не будем, – и обратилась к Тарловскому: – Приютишь нас?

Это был сильный шаг. Мямля Тарловский, как всегда, начал юлить:

– Не знаю... надо позвонить домой... если б заранее... Помявшись, он всё же подошёл к телефону и сделал вид, что разговаривает с квартиранткой; потом вернулся, красный, словно вывалился из ванной:

– Ко мне нельзя.

– Врёт, негодяй! – громко сказала наша распалившаяся особа.

Я не огорчился, поскольку не очень-то и настраивался на приключение, но понял, что мой друг действительно мелко врёт. Позднее он и сам в этом признался (всё-таки совестливый, чертяка); а я к этому времени был особенно рад: слава богу, пронесло – подумал – и мы с Ольгой остались друзьями; ещё неизвестно, кем мы стали бы после поездки, ведь она была не только молодой и красивой, но и взбалмошной, потерянной, отчаянно пьющей; она вызывала не только симпатию, но и жалость, и наверняка пришлось бы с ней нянчиться, а у меня и своих забот хватало.

Не так давно Тарловский подвёл меня и с книгами. Я издал за свой счёт сборник повестей и весь тираж (полторы сотни пачек) должны были привезти на грузовике к моему дому. Тарловский обещал помочь перетащить книги, но даже не позвонил (а я рассчитывал на него); когда же я до него дозвонился, он нагрубил мне и швырнул трубку (пьянствовал с соседом – совсем как Кушак с Мазниным когда-то, но им этого не простит никогда, а себя оправдывал железным голосом).

Правда, двумя годами раньше, когда умер мой пёс Дым, я позвонил ему в шесть утра, и он поднял трубку! (Обычно на ночь телефон отключает – он, нервный, часто страдает бессонницей). И что самое удивительное – я не успел произнести ни одного слова, как он крикнул:

– Лёньк, это ты?! Что, Дым умер?!

Это была мистика. Конечно, он знал, что мой четвероногий друг плохо себя чувствует, но чтобы так сразу всё понять! Такая у него волшебная интуиция! Он приехал, мы отвезли Дыма в наш посёлок и закопали в лесу, рядом с могилой моего прежнего друга – Челкаша.

Как-то сидим с Тарловским в ЦДЛ, к стойке подходит Кушак и издал бросает Тарловскому:

– Что взять?

– Ничего не надо, – мотает головой мой «утончённый» собутыльник.

– Если так хочет, пусть возьмёт нам по сто грамм, – говорю, – чтобы мы с тобой лучше прочувствовали нашу встречу.

Тарловский обращается к Кушаку:

– Ну вот он(!) просит(!), – кивает на меня, – чтобы ты взял по сто грамм.

– Ну что за штучки? – возмущаюсь я. – «Он просит!»! А почему не можешь сказать «возьми нам»?

Вот так умывает руки мой дружок, всё сваливает на других, а сам увиливает, отскакивает в сторону – вроде, он и ни при чём. И это не единичный случай, могу привести ещё с десяток. Потом-то он будет выкручиваться: «Не так выразился» – и прочее, но мне от этого не легче.

Как-то, поминая С. Иванова, я посмеивался над его стремлением к власти. Тарловский меня осадил:

– Перестань смеяться над ним! Он уже покойник. Ты ругаешь и Ковалю! Хотя, вообще-то, я понимаю, – оправдывая меня, он ударился в рассуждение: – Ты злишься, что они рано ушли. Это защита от потери.

В компании Тарловский перемигивается, перешёптывается со «своими» (с Кушаком, Ватагиным) – думает, делает это незаметно. Ох уж эти шептуны! О чём они шепчутся, нетрудно догадаться – то, что не для ушей другой национальности. Попробуй при нём ругнуть евреев – разорётся, не остановишь, изничтожит в прах. Даже в нём, лучшем из моих друзей-евреев, в котором, по словам Шашина, «нет жидовства», национальная жилка чрезвычайно сильна. Здесь он недалеко ушёл от Яхнина. Ругай кого угодно, но «богоизбранных» не смей – они неприкасаемые. Тарловский крайне ревностно относится к своей национальной принадлежности. Стоило мне похвалить актёра Зельдина, как он бросал:

– Кстати, еврей!

Когда мы с Воробьёвым ругали русских (цитировали Некрасова – «Варвары! Дикое скопище пьяниц!»), Тарловский, посмеиваясь, кивал и потягивался, как бы разогревая мышцы; когда же Штокман обругал евреев – среагировал чересчур болезненно, вскочил, заорал:

– Что ты этим хочешь сказать?! – и сжал кулаки, как бы добавляя словам большую весомость.

Как только заходит речь о «демократах» и их вождях, которые, как известно, все евреи, Тарловский опять вскипает:

– При чём здесь евреи?!

Действительно, ни при чём – всего лишь устроили два переворота в России (последний – на наших глазах). И, конечно, случайно в правительстве Гайдара нет русских, и случайно все олигархи – евреи,

и случайно всё телевидение в их руках, и случайно с экранов и со страниц газет обливают грязью русских. Считать всё это выдумкой может или полный дурак, или подлец, а поскольку Тарловский ни то ни другое, – значит, сознательно выгораживает «своих» (его выдаёт слишком поспешный выкрик, чересчур стихийная страсть, с которой он рвётся в бой). Я был уверен, что именно он (не Коваль, не Кушак, не Яхнин) открыто и честно назовёт вещи своими именами (за что уважал бы его в сто раз больше), но где там! – он по-прежнему шушукается. А я вспомнил своего знакомого, философа М. Мамардашвили, который незадолго до смерти сказал:

– Если грузинский народ выберет президентом Гамсахурдию, я пойду против своего народа.

Как-то по поводу телепередач я заметил Тарловскому:

– Вспомни, я всегда ругал русских коммунистов, стоящих у власти, почему же ты молчишь, когда видишь, что творят евреи, когда по телевидению русофобская истерия?!

Он состроил злобную гримасу и, обходя подводные камни, повторил слова Яхнина:

– Не хочу говорить на эту тему!

Такая у нас искренняя дружба с запретными темами.

Не так давно мы с Тарловским выпивали в ЦДЛ, и я распекал свой народ:

– У русских подпорчен генофонд, ведь столько лет уничтожали самых лучших, полтора миллиона эмигрировало после революции, и сейчас, особенно в провинции, русские – жалкое зрелище, полуспившиеся люди, процветает воровство.

Тарловский соглашался, поддакивал:

– Всё правильно.

А спустя несколько дней, позвонив ему, я начал прорабатывать евреев; Тарловский стал огрызаться – не просто всё переводил на себя, а встал на защиту всего еврейства. В конце концов я сказал, что евреи сами виноваты в появлении антисемитизма (процитировал еврейского исследователя Лурье).

– Так говорят все антисемиты! – заорал Тарловский и швырнул трубку.

Почему-то её не швырял, когда я пробирал русских! И это он, который на каждом шагу заявляет:

– Я объективен, а ты нет.

Получается, Куприн был прав: «...У нас, в России, можно обругать царя и даже Бога, но попробуй-ка еврея!»)

Но надо отдать должное Тарловскому: когда дело касается литературы, он громит всех, невзирая на национальность: «Юдахин не поэт, а рифмоплёт», «у Кушака с Яхниным приспособленческая психология»; и не только литературы: «Розовский с маленькими способностями», «Постникова говорит, что она из дворян, на самом деле обыкновенная еврейка»...

Однажды Мазнин, всегда опекающий Тарловского («У каждого антисемита есть любимый еврей», – смеётся критик Павел Уляшов, цитируя Гоголя), рассосоливал тему национальностей:

– Марк, ты в Израиле пропадёшь, тебя евреи съедят (имел в виду, что тот не от мира сего).

А у Тарловского и в мыслях не было уезжать. В отличие от «потенциальных эмигрантов» (и тех, у кого двойное гражданство), он не представляет свою жизнь вне России, хотя, как и Кушак с Яхниным, никогда не был патриотом. Рядовой пример: он интересуется футболом и теннисом, но я ни разу от него не слышал – «наши спортсмены», всегда – «они», «эти». Недавно сказал:

– Я хотел бы, чтобы Сафин и Кафельников проиграли, а ты, наверно, хочешь, чтобы они выиграли?

А во время чемпионата мира по футболу заявил В. Постникову:

– Хочу, чтобы Россия проиграла.

Я никогда не слышал от друзей-евреев ничего положительного о нашей стране и русском народе в целом. Никогда, ни от кого! Пусть я сдохну – не слышал! Совершенно очевидно: если бы им предложили тёплые места за границей, они, не раздумывая, укатили бы (не зря при Сталине через «своих» в Америке пробивали Крым под Еврейскую республику). И возможно, даже Тарловский, поколебавшись, укатил бы, но при гарантии, что место будет очень тёплым и он будет иметь вдоволь денег, что будет жить среди русскоязычных и в него без памяти втюрится женщина небесной красоты, совершенной души и прочих совершенств; ну, может, он поставит ещё одно условие: изредка приезжать сюда, чтобы навестить родственников в Орле, оставшихся здесь «своих» и, хочется думать, чтобы повидаться со мной.

Самое обидное, я никогда не делил друзей на евреев и неевреев (как большинство советских людей), а мои дружки, оказалось, делили, и ещё как! Я не совсем уж болван, и конечно, и раньше чувствовал – всё что-то не то, всё как-то не так, но только во время криминального переворота, когда еврейские лидеры обнажили свою суть, для меня сразу всё встало на свои места. Раньше у евреев я видел только отсутствие чувства меры в проталкивании и возвеличивании друг друга (некоторые из них ещё утверждают, будто они ведущие во всех областях, не случайно в ЦДЛ продаётся книга «Великие евреи»), на что смотрел с усмешкой, но теперь вдруг чётко увидел страшное – врождённую (у некоторых лютую) ненависть к России.

Это внезапное прозрение – сильнейший из ударов, который я получил за последние годы, запоздалое открытие, которое многим было ясно давно, а до меня дошло только под старость, от него не могу очухаться до сих пор.

Говоря о ненависти, я имею в виду не только евреев, захвативших власть, банки и телевидение – понятно, эти образованные негодяи просто преступники, – и не только расплясавшихся сейчас в искусстве евреев – те в массе бездарные дельцы, – я говорю о друзьях-литераторах, моих друзьях. Их, бывших борцов за справедливость, словно подменили. Где их былой напор? Притихли, суслики. Молчат, – чёрт бы их подрал! – словно оглохли и ослепли. Знай каждый обстряпывает свои делишки. Похоже, считают, что всё в порядке вещей, ничего страшного не происходит, – мы, мол, таланты и должны править бал, а русские, за некоторым исключением, – быдло и должны знать своё корыто... Ни один из моих друзей-евреев не осудил вакханалию зла! Ни один не выступил в защиту русских!

В общем, чего шушукаться в «своих» компаниях, множить взаимные обиды, претензии? Самоочевидно – проблема есть, и нечего увливать, надо разобраться беспристрастно. Или мы никогда не договоримся, поскольку у нас разные взгляды на жизнь, полная несовместимость?

Возьмём для начала простые вопросы: почему в русской детской литературе всего лишь единицы русских писателей? Неужели евреи так талантливы, а русские бездарны? Почему именно сейчас, во время разгула «демократии», большинство писателей-евреев процветает, а русских почти не издают? Печатают собрания сочинений Успенского, Ковалёва, всяких Остёров и Вальшонков. На книжных развалах полно

книг А. Иванова, Яхнина, Ламма, Л. Яковлева, Кушака, но за пятнадцать лет «реформ» не появилось ни одной книжки Голявкина, Цыферова, Старостина, Алексеева, Красильникова (по одной вышло у Мезинова, Сергиенко и меня). Неужели мы совсем уж никудышные литераторы и нашим рукописям место на помойке?

Ладно, вернусь к Тарловскому. Он, «небожитель», немало времени уделяет своей внешности (по утрам отжимается, накачивает мускулы гантелями) и не упустит случая побахвалиться силой – потягаться с друзьями в жиме руками, а на природе – позагорать, показать женщинам свой торс. И вообще он, балбес, страшно гордится своим молодежым видом. Как-то М. Михалков (брат вождя писателей) дал ему тридцать пять, на что Тарловский вполне серьёзно сказал мне:

– Он не разглядел. Может, на сорок я и выгляжу, но, конечно, не на тридцать пять.

– Марк, ты и в гробу будешь молодым, розовощёким, – смеётся Яхнин.

Тарловский страшно огорчается, когда друзья упоминают его возраст (о своей пенсии и вовсе говорит шёпотом). Не дай бог брякнуть об этом при девицах – обидится смертельно. Недавно он пошёл на рынок и некоторое время пялился на яблоки – купить или не купить?

– Что, дедуля, запомнил? – спросила пожилая продавщица.

Наш герой покраснел, стыдливо переспросил:

– Неужели я выгляжу как дедуля? – и поплёлся домой, сникший (из дома позвонил мне, жутко расстроенный).

В другой раз, опять на рынке, у продавщицы не было сдачи, и она сказала Тарловскому:

– Возьмите два сырка.

– Я не ем, – буркнул наш герой.

– Возьмите своей бабушке, – предложила продавщица, не подзревая, какую рану наносит моему другу.

Но Тарловский был счастлив, когда в метро его остановила контролёрша:

– Молодой человек! Покажите-ка! – и рассмотрела его пенсионное удостоверение.

Как-то я обронил:

– Обломов говорил: «В шестьдесят и надо выглядеть на шестьдесят».

– Что ты этим хочешь сказать? – вспыхнул мой друг.

Я понял, что дал маху, задел его болезненные струнки и замаял тему. Вот такой ненормальный типчик мой восприимчивый, уязвимый друг.

Ну и, само собой, он страшно печётся о своём здоровье (чуть где кольнёт или просто заслезятся глаза – паника), причём считает себя знатоком медицины, ведь немало лет просидел с больной матерью; если кого из нас прихватит, сразу выдаёт рецепт. Мне частенько говорит:

– Надо верить в лекарства, а ты не веришь.

Но мы-то в основном лечимся проверенным дедовским способом – водочкой.

Тарловский не курит и не испытывает особого пристрастия к спиртному, но под хорошую закуску может прилично принять на грудь и потом держится получше многих из нас – во всяком случае, только благодаря ему меня пару раз пускали в метро (и, кстати, тогда он заботливо провожал меня до моей станции).

Я уже говорил – в подпитии Тарловский любит попеть (как же без музыки, без пения, ведь он возвышенная натура!), но, как многие, не обладающие хорошим слухом, голосит слишком громко и звонко, и гонит мелодию (хотя для писателя поёт не так уж и плохо). Кстати, по утрам у него отстаивается сочный басок, днём он разговаривает уже баритоном, к вечеру переходит на тенор. Помню, мы с ним, поддатые, возвращались с дачи Шульжика, катили в дождь на моём драндулете и пели песни военного времени и арии из оперетт.

В другой раз, помню, мы вышли из кафе на Воровского – он, прозаик Э. Просецкий и я; подогретые выпивкой, обнялись и, двинув в сторону Арбата, затянули что-то лирическое – получился музыкальный коктейль, я то и дело цедил Тарловскому:

– Тише! И не спеши!

А Просецкий (прекрасный баритон с абсолютным слухом) только улыбался. Великодушно, заразительно.

Повторяю, наш герой любит демонстрировать свои вокальные данные и когда-то слушал классическую музыку, а вот на живопись смотрит как баран на новые ворота. Однажды Яхнин, он и я ходили в Третьяковку; мы с Яхниным глазели во все глаза, а наш друг отсиживался на диванчиках; ни на картины, ни на зрительниц даже не взглянул – был весь в своих мечтаниях; понятно, Яхнин не упустил возможность посмеяться над ним.

Как-то Тарловский по глупости, дурачась с молодёжью в очередной раз (поехал с парнями и девушками на дачу), порвал связку руки, и страх перед операцией полностью лишил его сна (до этого хоть как-то спал урывками). А тут ещё Шульжик подлил масла в огонь:

– Если уж он двумя руками ничего не делал, то одной и подавно не будет.

Эти шуточные слова окончательно доконали беднягу, он чуть не слёг в постель. Надо сказать, что «неполноценная рука» (так выразилась медсестра, где он проходил обследование) стала для Тарловского действительно трагедией, ведь он был чемпионом ЦДЛ по реслингу и страшно гордился своей непобедимостью.

Одно время Тарловский носил шляпу (единственный из моих друзей), пока всё тот же Булаев не взялся за его внешний вид, не привёз на вещевой рынок, где они купили Тарловскому куртку, джинсы, водолазки, кроссовки. Теперь мой друг одет модно и выглядит как иностранный турист – хотя нет, на это не тянет, – скорее, на пожилого спортсмена, у которого ещё остались силёнки, или на музыканта-неудачника, оркестр которого разогнали, или на какого-то деятеля из министерства культуры, временно оказавшегося не у дел.

Нелишне отметить, что Тарловский – неумеха (способен только приготовить еду; даже достиг некоторого совершенства в приготовлении селёдки) и нескладёха: вечно что-то задевает, опрокидывает, роняет, разбивает, теряет (пошёл за грибами, взяв мой драгоценный перочинный ножик – естественно его потерял); он жутко рассеян (может накрыть кастрюлю крышкой от сахарницы, потом её вылавливает половником) – короче, он рассеян и неуклюж, как Бетховен. Он отвратительно ест – как дикарь (без вилки – руками, набивая полный рот, устраивает обжираловку, словно десяток лет голодал и хочет наесться на всю оставшуюся жизнь); вдобавок, повторяю, у него плебейская привычка – шептаться в компании (такая тухлая интеллигентность у этого интеллигентного красавчика), показывать пальцем на людей; может о сидящих за столом ляпнуть в третьем лице (правда, тут же поправится) и многое другое может, а главное, как говорит его квартирантка Оксана, – «у дяди Марка унылый дух» (Мезинов просто называет его «унылым Осликом»). Но надо признать: Тарловский – чистый человек, и, в отличие от нас, циников, ещё может смущаться (особенно если услышит комплимент о своей внешности

от женщины), и с прекрасным откровением умеет слушать... – чуть не сказал «друзей» – незнакомых людей, и женщин, конечно.

Как-то совершенно незнакомая ему женщина слишком разговори-лась о литературе, и мы начали на неё шикать (понятно, сами любим потрепаться), но Тарловский горячо подал голос:

– Продолжай! Ты мне нравишься!..

Но друзей слушает не так внимательно; бывает, начисто отключает-ся и сидит, словно пришибленный. В этом и сам признавался мне:

– Многие обижаются, когда говорят мне что-то, а я думаю о своём. Некоторые злятся – «ты чего не слушаешь?» А я с детства такой. Я не-глупый и чуткий, но вот... такой.

Да, вот такой он – субчик, витающий в облаках! И видит себя со стороны, и мучается от своих странностей. Честное слово, иногда он напоминает лунатика, который случайно оказался среди нас и никак не очухается от своих красочных снов. Шульжик в компании то и дело его одёргивает:

– Марк, не спи!

И он сразу встрепенётся, нахохлится:

– Да перестань! Не болтай ерунду! Я всё слышу.

По правде говоря, не всё. Например, в компании ему что-то гово-ришь – он вроде слушает, но краем уха улавливает разговоры соседей, кивает в такт их словам, а то и выдаёт неожиданный смешок, а тебе отвечает невпопад. Приходько ему говорил:

– Насколько ты внешне спокойный (на самом деле вялый), на-столько внутренне нервный.

Недавно сидим в Нижнем буфете: Шульжик с женой Верой, Тарлов-ский, я и наш приятель – композитор из Новосибирска Вадим Орло-вецкий (персонаж с немалым самомнением, обладатель роскошной шевелюры). Теперь обычно собираемся в облегчённом составе, без Кушака и Яхнина – тем, деловым, не до бесцельных встреч; изредка к нам присоединяется Мезинов – у того тоже дела, свидания, да собаки, и живет за городом; ещё реже заглядывает в ЦДЛ Мазнин – он, как я уже говорил, не хочет заводиться, теревить душу, хотя и ссылается на изношенные органы – как будто мы здоровеем день ото дня. Так вот, Шульжик, выдав пару неотёсанных анекдотов про «голубых», начал болтать о наших девицах, с которыми мы крутили когда-то, потом вильнул в сторону:

– Всё в прошлом, всё в прошлом. Из нас уже надо делать фарш.

– Ничего не в прошлом, – усмехнулась Вера. – Ты и сейчас волочишься за девками.

– Давайте сыграю вам своё последнее, – вовремя объявил Орловецкий и направился к пианино.

– Эх, – вздохнул Шульжик, – завидую тем, кто может вот так подойти к инструменту и что-то сыграть. И завидую знающим иностранный язык.

– А я тем, кто много путешествует, – сказал я, имея в виду чету Шульжиков.

Тарловский промолчал, но я догадался – он завидует молодым, ведь частенько мне говорит:

– Эх, было бы нам сейчас на тридцать, ну хотя бы на двадцать лет меньше!.. – и дальше вспоминает нашу молодость, размышляет, что неплохо бы всё начать заново, но не повторяться, а по-другому прожить эти «тридцать или хотя бы двадцать лет». (Понятно, в такие моменты мечты уносят нас на небо.)

Необходимо сказать несколько слов о квартирантке Тарловского Оксане. Наш герой знал её ещё девчонкой: она была дочерью подруги его матери, приехала из кубанской станицы поступать в институт и завоёвывать столицу (внешне она очень даже привлекательна); остановилась у «дяди Марка» на месяц, но задержалась на... десять лет.

Все друзья Тарловского были уверены – у них «полноценный секс», на самом деле у них сложились странные отношения и без всякого секса. С одной стороны, Тарловский привязался к неприкаянной особе (за это время она окончила институт, но работала то официанткой, то продавщицей, сменила дюжину любовников, но так и не вышла замуж и, разочаровавшись во всём, ударились в религию – вначале ходила в церковь Христа, теперь – в баптистскую церковь). С другой стороны, Тарловского раздражали легкомыслие и глупость этой провинциалки.

Без сомнения, в первые годы Оксана сыграла положительную роль в его жизни – ввела в круг молодёжи, своей весёлой взбалмошностью постоянно тормошила нашего отшельника, и в конечном счёте сделала из него почти семейного мужчину (полудруга-полуотца-полунаставника), и была не прочь стать полноценной сожительницей, но Тарловский, вольная пташка, на это не пошёл – понятно, он мечтал о другой женщине.

Позднее, когда Оксана обманулась во всех своих ожиданиях и жила в столице по привычке, ограниченно и бесцельно (подрабатывала, нянча ребёнка подруги), когда её вера в Бога приняла нездоровые формы (она не носила джинсы, не смотрела телевизор, только зубрила Библию и молилась – совсем, бедняга, свихнулась, – да ещё всячески пыталась в это вовлечь нашего друга – только этого ему не хватало!) – понятно, такая квартирантка уже обедняла жизнь Тарловского и, главное, ущемляла его свободу – он не мог пригласить к себе женщину (когда жил один, тоже не приглашал, но хотя бы имел эту возможность и надеялся, что встретит идеальную женщину и пригласит).

В то время, когда Оксана уезжала погостить к матери, наш герой скучал по ней (в такие дни его нельзя было оторвать от тахты и телевизора); бывало, расхандрится так, что заболевал. Ну, в общем, складывалась занимательная ситуация – ещё одна причина душевных мук моего чокнутого дружка. Всё шло к тому, что именно с Оксаной он и закончит свои последние драгоценные годы, но, разумеется, это было бы лучше, чем их заканчивать в одиночестве.

Как только эта Оксана появилась у Тарловского, некоторые его дружки стали её беззастенчиво кадрить – по телефону, в отсутствие главного героя (Ватагин, Булаев, Приходько) – хороши дружки! – другие (Кушак, Яхнин) встревожились – как бы она не облапошила «доверчивого простофилю Марка». Особенно бушевал Яхнин:

– Марк, не хотел тебе говорить, но Оксана – б... подзаборная. Гони эту штучку, пока не поздно! Вот увидишь, она приведёт к тебе какого-нибудь чеченца, родит от него, а тебя из квартиры вытурит! Учти, если это случится, я тебя к себе не пушу! (Эта последняя фраза звучала особенно сильно.)

Яхнин паниковал зря (позднее он, вроде, это понял). Оксана, ясно, не ахти какой подарок, но она не подлая; у неё даже есть хорошие качества, но Тарловский достоин лучшей женщины – как, впрочем, и многие из моих дружков-женатиков – все они жуткие типы, но их жёны – вообще чёрт-те что, хотя внешне все смазливые бабёнки.

Короче, спустя десять лет Оксана съехала от Тарловского – сняла комнату в другом районе, но только потому, что в один из её отъездов к матери он пустил других квартирантов – русских молодожёнов из Средней Азии. Эти молодые люди замечательны во всех отношени-

ях, и для Тарловского они настоящий подарок. С Оксаной наш друг остался в приятельских отношениях.

Тарловский может быть застенчиво-деликатным, когда дело касается его гонораров, может незаметно смахнуть слезу, если услышит хорошее печальное стихотворение (так случилось, когда пьяный поэт А. Шавкута с болью прочитал «Когда б ты знала...»), но главное – он, старый чёрт (хотя слово «старый» к нему не очень подходит), чаще других бывает справедлив.

Я уже упомянул некоторые странности Тарловского, не мешает отметить ещё пару-тройку его заскоков. В ЦДЛ он, как Цезарь, может одновременно есть, пить, слушать и говорить (иногда ещё не проглотив, с набитым ртом), при этом замечает, кто вошёл и вышел из зала, что творится за другими столами, а то вдруг отключится от разговора, закатит глаза к потолку и бормочет что-то своё – вроде разговаривает с Богом.

Помимо этого, поражают неотёсанные поступки этого впечатлительного «вечного юноши». Много лет у него жил спокойный одноглазый кот Нельсон; когда ни придёшь, он нежился на тахте. Помню, как-то сказал Тарловскому:

– Когда смотрю на Нельсона, вспоминаю его тёзку адмирала и его слова: «Я сделал всё, что хотел сделать». А ведь мы с тобой никогда этого сказать не сможем. Слишком много времени потратили впустую.

– Я-то уж точно, – обречённо-уныло вздохнул мой друг. – Ты хотя бы жил интересно, а у меня вообще одна тоска.

Так вот, когда появилась Оксана, я заметил – Нельсон всё чаще сиротливо сидит на балконе у ящиков (позднее Тарловский признался, что Оксана в раздражении кидает в кота спичечные коробки). Однажды мы с Тарловским поехали ко мне на участок; по пути я спрашиваю:

– Как Нельсон?

– Да он уже месяц, как пропал, – спокойно, словно речь идёт о картошке, говорит мой друг. – Наверно, где-нибудь умер. Он ведь старый был.

Вот так. И это при том, что мы созванивались чуть ли не ежедневно – и он ничего об одноглазом дружке не говорил (и позднее никогда не вспоминал); оказалось, это для него незначительная утрата – подумаешь, какой-то кот! – не до него, голова-то забита бабами (такое отказываюсь понимать).

Недавно на похоронах Приходько сердобольный Мезинов подобрал промёрзшего щенка (стоял мороз), засунул его за пазуху и подошёл к нам с Тарловским.

– Марк, возьми до марта. Потом заберу его на дачу (повторяю, у Мезинова на даче четыре собаки, а у меня две, и старый Дым парализован – приходится носить его на руках).

– Не-ет, – попятился наш друг.

– Возьми! – настаивал Мезинов. – Через пару месяцев заберу. Ты же знаешь, моему слову можно верить.

– Нет, нет, и не говори, – отвернулся Тарловский. – Это серьёзное дело. Никуда не уедешь (можно подумать, уезжает! Его в ЦДЛ-то еле вытащишь).

– Если уедешь, оставишь мне, – сказал я и тоже стал уговаривать упряма – мол, любовь можно проявлять не только к женщине, что пёс доставит ему немало радости, развеет унылость и прочее, но этот эгоист сразу полез в бутылку:

– Оставь меня в покое!

Здесь необходимо подробнее остановиться на Приходько, который крепко дружил с Тарловским, а со мной приятельствовал (он был на год старше меня и называл нас снисходительно-ласково: «Марик, детка», «Лёничка, дорогой» – как бы подчёркивал, что мы оба с дуриной). Я уже несколько раз по ходу очерков упоминал о нём, сейчас самое время попрощаться с ним навсегда. Он умер недавно от инфаркта, его доконал диабет. Лет пятнадцать он стойко переносил недуг и, в отличие от нас, частенько ноющих о своих болезнях, никогда не жаловался на самочувствие, и вообще, если чем и делился с друзьями, так это радостью.

Я помню, как мы приехали в Переделкино к Мезинову (он обитал в Доме творчества по путёвке), и после выпивки Приходько, расписывая какую-то историю, сделал себе укол инсулина, сделал как бы между делом, словно проглотил таблетку от кашля, и продолжил рассказ. Он был журналистом, сотрудником «Московской правды» и чуть ли не ежедневно выдавал статьи (даже накануне смерти, почувствовав недомогание, дописал статью, попрощался по телефону с Тарловским и только после этого отправился в больницу), но эту работу выполнял в основном ради денег, а душа его всегда находилась в литературе. Как литературовед, переводчик с польского и критик он увековечил

себя во многих книгах, а начинал и вовсе как поэт, выпустив несколько стихотворных сборников (откровенно низкого качества).

Приходько был нервным, раздражительным, самолюбивым; в компаниях больше говорил, чем слушал; не дай бог кому-то ещё разговориться – сразу перебивал (на мой день рождения Дагуров начал читать свои стихи, так он демонстративно вышел из комнаты).

Приходько слыл патологически сдвинутым на женщинах – действительно, он разглядывал каждую, ни одну не пропускал (кадрил даже дочерей невестки); понятно, помешательство такого рода прощательно (за исключением дочерей невестки), но ведь он ещё и постоянно муссировал тему секса; трудно было понять, что стоит за этой вечной озабоченностью: ненасытность гиганта или неудовлетворённость слабака, когда желания перевешивают возможности, но в любом случае от его сексуальной болтовни вяли уши (он даже ЦДЛ рассматривал как сексуальную приманку для женщин).

Ещё когда Приходько работал конферансье, произошёл смешной случай. На гастрольях после концерта артисты «расслаблялись» среди поклонниц. Приходько сидел рядом с какой-то девицей, гладил её руку и, по его словам, «был на седьмом небе». Но с неба пришлось спуститься: раздался хохот, и Приходько заметил – все уставились на него. Оказалось, наш герой гладил руку парня, который обнимал девицу с другой стороны.

В компаниях, повторяюсь, Приходько старался быть гвоздём программы; чтобы всех поразить, то и дело вставлял крепкие матерные словечки – ему хотелось выглядеть непосредственным, остроумным, но часто получалось пошловато и глупо. Похоже, он так самоутверждался, поскольку внутренне был не очень-то уверен в себе. Здесь он напоминал (правда, отдалённо) всяких утончённых эстетов, которые пытаются ругаться матом, но делают это неуклюже и не к месту; иногда эти эстеты обходятся без мата – всего лишь бросают слово «го...о» для эпатажа (А. Битов по телевидению на всю страну).

И вкус Приходько имел разбросанный (временами, казалось, у него в голове мешанина) – он писал о Бунине и Чарской, о Блоке и Саше Чёрном и, как я уже говорил, считал Холина гением (кстати, именно поэтому его похвалу я никогда не воспринимал всерьёз, даже испытывал неловкость, ведь ценен отзыв талантливого мастера, а не кого попало). Но ещё раз сфокусируюсь на его положительных каче-

ствах. Он очень многим помогал в литературе, помогал совершенно бескорыстно, когда его об этом и не просили, и, что немаловажно, будучи евреем, активно пробивал русских, что среди литераторов его национальности довольно редкое явление. Как-то об одном поэте-еврее сказал мне:

– Ты за него не волнуйся, у него найдётся много толкателей. Подумай лучше о себе, тебе нужен попечитель.

Однажды Тарловский позвонил ему и стал рассказывать, как мы ездили ко мне на участок и как я свалился с крыши дома, разбил лицо... Приходько его прервал:

– Марик! Оставь Сергеева в покое!

– Ну не идиот? – потом кипятился Тарловский. – И с чего?

Но я-то догадывался – с чего, ведь за глаза Приходько никому не позволял меня ругать – это он оставлял за собой.

Приходько был человеком невероятной работоспособности. В его комнате негде было присесть: на столе, тахте, стульях – всюду лежали стопки журналов и книг. Он читал все новинки, составлял сборники и писал к ним предисловия и строчил очерки (часто малоинтересные, затрапезными словечками; на мой взгляд, лучшие – о своих предках); в некоторых очерках его нет-нет да и заносило на любимую эротическую тему. Бывало, читаешь – всё идёт более-менее неплохо, но под конец он вдруг вернёт что-то с клубничкой, и эта дикая приправа всё перечёркивает. Такой у него был странный вкусик, такой односторонний талант.

О детских литераторах Приходько писал статьи в журнале «Детская литература», а о их юбилеях непременно сообщал в своей газете и для каждого находил добрые слова. О себе и своей работе говорил редко и неохотно; я ни разу от него не слышал, что он талант и прочее – ну то есть он не обольщался на свой счёт; даже однажды обезоруживающе просто заметил:

– У меня скромное дарование. (Хотя, по словам Баркова, как-то ему сказал: «Я для Либет написал книжку стихов – закачаешься!»)

И никогда в компаниях он не читал своих стихов (чужие – часто и с удовольствием, свои – никогда). Это отличало его от многих литераторов, которые так и норовят тебя помучить своими виршами, да ещё голосисто, настырно (не станешь слушать – могут и толкнуть в бок). Ну ладно: на творческих вечерах – пожалуйста, отводи душу

перед почитателями, они будут только рады, но пожалей собратьев в компании – им отдохнуть бы от своих писаний, переварить бы свою чехарду слов. И поэты – ещё куда ни шло, но ведь, бывает, и прозаики устраивают чтения в литературных компаниях. Недавно на дружеской встрече в журнале «Наша улица» Штокман объявил:

– Прочитаю свой рассказ, – и начал рассусоливать что-то скучное.

Я крепился минут пятнадцать, потом незаметно выскользнул в коридор перекурить, благо сидел у двери; возвращаюсь, а Штокман всё гундосит; в помещении шум, один болтает с соседом, другой листает газету, третий откровенно морщится, глядя на тещу, а тот и не думает закругляться.

– Тихо! – кричит – и держит в руках ещё страниц десять.

Впрочем, куда меня занесло? Хотел-то всего лишь отметить профессиональную скромность Приходько. Э-хе-хе! Вроде бы к старости уже пора набраться мудрости и ничему не удивляться, а я всё удивляюсь; вроде бы пора понять грань, отделяющую жизнь от смерти, а я всё не пойму; никак не могу смириться с тем, что несколько дней назад говорил с человеком, а сегодня его уже нет, и больше мы не увидимся никогда.

Со смертью Приходько я потерял не только товарища, но и заступника: он был одним из немногих, кто хвалил моё писательство (даже считал, что я пишу не хуже Драгунского; понятно, я не заслуживаю такого комплимента). За неделю до смерти, в честь приезда Красильникова, Приходько пригласил к себе Мезинова, Тарловского и меня – «устрою мальчишник», сказал, хотя следовало сказать «старикашник», ведь мы все давно пенсионеры. Он основательно подготовился к встрече: нарезал салатов, накупил дорогой водки (перед этим звонил Тарловскому, дотошно выпрашивал, какую лучше сделать закуску, хватит ли четырёх бутылок); в застолье был весел, трогательно предупредителен:

– Тебе здесь удобно?.. Попробуй вот это и то!..

Как всегда, пытался юморить, экспромтом завязывал наши словечки в строфы (временами удачно), только когда разговор зашёл о нашем поколении, вдруг погрузнел:

– Мы приходим в один мир, а уходим из другого (было непонятно, что имелось в виду – перемены в обществе или наши изменившиеся взгляды).

Позднее, когда мы разошлись, он позвонил Тарловскому и сказал с обидой:

– А за меня так и не выпили!..

Вернусь к Тарловскому, к его жизни в Куйбышеве. Он начал писать рассказы ещё в институте (подражал М. Твену), а продолжил в армии, где служил со своим студенческим другом Евгением Лазаревым. Служба у них была райская – они время от времени пописывали рассказы в областную газету и даже забегали к родителям Тарловского, благо те жили в трёх остановках трамвая. Лазарев был немного старше Тарловского, уже издал книжку прозы и считался профессиональным литератором; именно он сыграл ключевую роль в судьбе нашего героя – не только благословил на литературные опыты, но и дал ценные советы по технике письма, а позднее помог издать книжку.

С подачи Лазарева первые рассказы Тарловского попали в «Литературную газету» к Кушаку; тот их напечатал и прислал гонорар (невиданный для солдатика) и восторженное письмо. Когда Тарловский появился в Москве (его отец к этому времени стал заметным деятелем в Радиокомитете), Кушак встретил его по-братски, познакомил с Кассилем (тот и пробил Тарловскому книгу в Детгизе и впихнул в Союз писателей). И в дальнейшем Кушак всячески поддерживал нашего героя: отдал его рассказы Приходько, который работал в «Вожатом», познакомил с «нужными» людьми... Даже когда Тарловский забросил сочинительство, Кушак говорил ему:

– Я единственный, кто в тебя верит.

В последующие годы Кушак продолжал опекать Тарловского (ценил его как обработчика чужих текстов), но уже не верил, что тот напишет что-то своё:

– Марк был безумно талантлив, но теперь только пересказчик. А ведь был творцом.

Книжку Тарловского «Вперёд, мушкетёры!» нахваливали многие литераторы (горячее всех мы с Кушаком), только Сергиенко выдал автору небрежно:

– Ну что я могу сказать? Ты умеешь грамотно складывать слова (в те дни Сергиенко упивался успехом своего «Оврага», который наводнил книжные прилавки, и он не собирался ни с кем делиться славой).

Понятно, столь снисходительный отзыв нешуточно возмутил Тарловского; он его запомнил на всю жизнь и, спустя несколько лет после смерти Сергиенко, сказал:

– Костя был страшно самолюбив, это мешало ему объективно оценивать работы других.

К сожалению, «Мушкетёры» – первая и последняя книжка Тарловского, его головокружительный взлёт, после которого у моего друга угас творческий запал. Он ссылается на семейные обстоятельства, изолированную жизнь с больной матерью, расстроены нервы, но каждому ясно, что это отговорка, ведь художник и в трагедии черпает материал для работы (пожалуй, писателю даже необходимы беды и поражения).

Долгое время я был уверен: мой друг втайне катает роман, но потом выяснилось – он, бездельник, не писал даже рассказа. Надо смотреть правде в глаза – по сути дела, у Тарловского творческий резервуар оказался маловат. Конечно, и одна хорошая книжка стоит десятка средних, но как-то обидно, что он больше ничего не написал. Уж кто-кто, а он должен был.

Вообще-то он пытался. Боясь повторить «Мушкетёров», пытался что-то сделать в другом ключе; вначале рассказ, потом пьесу, но так ничего и не закончил. Временами читал классиков, чтобы взбудиться, встряхнуться, но ничего не помогало; в конце концов наш первосортный фрукт перезрел и завял. В дальнейшем он только работал литературным мастером: правил чужие слабые рукописи, делал адаптацию классики. Например, из объёмистой книги «Принц и Нищий» – тонюсенькую брошюрку. (Такое бережное отношение к любимому писателю.) Разговаривая с ним по телефону, я возмущился:

– Как можно так кромсать классику?

А он:

– О чём ты говоришь?! Там есть вода.

– Так в этой воде и всё дело!

Он не поленился, прикатил ко мне, привёз Марка Твена и свою адаптацию.

– Вот смотри, здесь это явно лишнее, замедляет повествование, можно спокойно сократить...

– В этом лишнем всё дело, – взъерепенился я. – Что происходит?! То Шварц и Горин перекраивали чужие вещи, потому что своего ничего не могли написать, теперь ты с Яхниным. Пересказы, адаптации надо запретить, оставить все произведения в оригинале. Ни один автор не согласится, чтобы его кромсали. Оставьте классиков в покое, пишите своё. Вы что, творческие импотенты?

Тарловский тоже разошёлся, привёл примеры:

– Алексей Толстой сделал шедевр из «Пиноккио», у Чуковского «Айболит» лучше «Доктора Дулиттла», Волков прекрасно сократил «Волшебника из страны Оз», – и пошёл, и поехал...

Я настаивал на своём – не перелопачивать чужие произведения, какими бы несовременными они ни казались:

– Ведь переписывать картины никому не приходит в голову! А сейчас доходит до идиотизма – корёжат пьесы Чехова, «осовременивают», переключают на новые ритмы старые (наши любимые) песни, придают дикие формы Римскому-Корсакову, Чайковскому!.. Помню, когда ещё работал в театре Маяковского, сделали оптимистическую концовку в пьесе «Трамвай “Желание”». Уильямс прибил бы постановщиков!..

Тарловский доказывал своё, говорил о «Бароне Мюнхгаузене», «Робинзоне Крузо», не понимал, что Толстой и Чуковский всё-таки были выдающимися мастерами, а чтобы ему, Яхнину и всяким Гориным прикасаться к текстам классики, надо быть достойными этих текстов. Я твёрдо стоял на консервативных позициях, и мы никак не могли договориться. Кстати, насчёт адаптаций-выжимок самый веский аргумент, убивший бы моего друга наповал, я, туго соображающий, придумал, когда Тарловский уже уехал, – следовало бы ему сказать: «А что ты запоёшь, если я из твоих «Мушкетёров» сделаю три страницы?!»

Ну, в общем, тогда я считал себя абсолютно правым, но недавно всё же одной ногой встал на позицию Тарловского (даже не ногой – одним пальцем). Я приехал к нему, и он между делом показал мне страницу подстрочника какой-то иностранной сказки. Текст был совершенно беспомощным. Собственно, его и текстом-то нельзя назвать – на бумаге были просто обозначены герои – я никогда ничего не смог бы выжать из этого набора слов, а мой друг протянул мне страницу своего пересказа – и я ахнул. Честное слово, это была волшебная страница.

В искусстве я много раз сталкивался с чудом. Первый раз ещё в детстве, когда рассматривал репродукции с картин: Куинджи «Ночь на Днепре» – луна светилась! И «Неизвестная» Крамского – с какой бы стороны к ней не подходил, красавица смотрела мне прямо в глаза! (Позднее я узнал, что это известные факты). Перебравшись в Москву, я часто бывал в Третьяковке и музее Пушкина, где десятки картин так будоражили меня, что временами я ощущал озноб. А великая музыка, которую в то время я крайне редко, но всё же слушал, чуть ли не доводила меня до слёз и спасала в минуты отчаяния. В те же годы

меня потрясли некоторые фильмы итальянских неореалистов и, само собой, наши классики литературы, которых я открывал в «Ленинке». Ну а потом я работал в театрах, и чудеса на меня так и сыпались, как яблоки с дерева: это и Ю. Яковлев в «Идиоте» (после этой роли он попал в больницу с нервным истощением), и балет «Спартак»...

Что касается современных художников и писателей, то их в полной мере я смог оценить, только когда сам начал иллюстрировать, а затем и писать детские книжки, – у современников была масса потрясающих, диковинных вещей, которые вызывали изумление и восторг. Но с годами моя восторженность сильно приугасла, я стал въедливо копаться в произведениях современных авторов и всё реже видеть чудо. Но иногда всё-таки видел. Приведу первое, что приходит в голову.

Лет пятнадцать назад, когда я жил на Кронштадтском бульваре, у меня появилась знакомая, художник-анималист «Мультфильма» Катя Залетаева. Молодая, чрезвычайно талантливая, она по памяти рисовала абсолютно всех животных (даже экзотических) и в различных позах. Она только взглянула на моих собак, взяла огрызок карандаша, обмакнула в тушь – и прямо на обоях, не оборачиваясь и больше не посматривая на моих лохматых друзей, размашистыми штрихами изобразила их в натуральную величину, и каждого со своим взглядом, своим характером. Я разинул рот – второй раз столкнулся с такой зрительной памятью (первый раз в юности, когда художник Саша Камышов рисовал людей по памяти). С тех пор, кто бы из художников ко мне ни заходил, все ахали. О не художниках и говорить нечего. Позднее, съезжая с квартиры, я вырезал собачьи портреты.

В те же годы в ЦДЛ я часто общался с Отто Голубенко, губастым толстяком с седой шевелюрой и прозрачными глазами, у которого сильно болели ноги – он ходил вразвалку. Пыхтя и отдуваясь, Голубенко подходил к нашему столу и сиплым голосом, сразу по-деловому, выдавал:

– Водку пить будете? – и доставал пузырёк с настойкой из каких-то трав.

Он когда-то учился в Гнесинке, считался полулитератором, полуфилософом, дотошным книжным червём, который откапывал какие-то сенсационные материалы вроде того, что Левитан нанял хулиганов, которые избили Чехова, после чего в дневнике записал, сколько заплатил, чтобы «поколотили Антошку». Подобными историями Голубенко

был напичкан под завязку и преподносил их без всякого оживления, как рядовые случаи, вот только рассказывал неважно (его дикция оставляла желать лучшего, некоторые слова я разбирал с трудом).

Голубенко жил одиноко в полуподвальной квартире на Беговой; время от времени заводил любовниц, но жениться не собирался «ради душевного спокойствия». Иногда, чтобы продолжить пьянку, мы из ЦДЛ заваливались к Голубенко, и он почти из ничего (пары сосисок, луковицы, нескольких картофелин) приготавливал полную сковороду роскошной закуски, при этом все его действия, как у каждого истинного профессионала, были удивительно просты и красивы. В середине застолья наш хозяин брал гитару, и мы становились свидетелями чуда – он виртуозно играл великих композиторов Латинской Америки, и все пьесы – в огненном ритме самбы. Помню точно: моё сердце готово было выпрыгнуть из груди (без всякой скидки на алкоголь) – так сильно он играл.

Недавно мы встретились вновь. Голубенко сообщил мне, что последние вещи Паустовского писала его жена, что Горбачёв и Ельцин в Америке стали масонами, показал новые философские трактаты, которые собирался издавать за свой счёт; на мой вопрос, играет ли, надул губы и покачал головой:

– Не играю. Живот мешает.

Он в самом деле стал ещё толще – как бочка на сорок вёдер.

За последние годы я почти не сталкивался с чудом – ну, может, два-три раза, да вот ещё страница Тарловского, из-за которой, собственно, и развёл эту тягомотину. Ясно – он не чудотворец, но налицо превращение рахитичного текста в отличное произведение. К сожалению, через несколько месяцев Тарловский дал мне прочитать пару страниц своего пересказа «Приключения Нильса», и там в каждом абзаце был явный ляп; когда я об этом заикнулся, мой друг стал выкручиваться, рьяно доказывать, что всё нормально и лучше сделать невозможно. В таких вещах он не «унылый», а упрямый осёл. Однажды Мазнин сказал ему:

– Ты мог бы стать большим писателем, но у тебя одни отзывы, а порывов нет. (Между тем у него есть порывы, и довольно бурные, – в спорах с друзьями.)

Заканчивая о писательстве Тарловского, надо сказать – по большому счёту мы с ним одинаково понимаем литературу, здесь у нас

почти всегда полное единодушие; да и на многое другое мы смотрим одними глазами. Например, на религию:

– Неверующим сложнее, чем верующим, – говорит мой друг, – ведь в Библии есть ответы на все вопросы. (И я безоговорочно соглашаюсь с ним.)

Ну что ещё сказать о моём странном друге? О его литературных способностях я уже говорил – они очевидны, а физические (внешне) – ещё очевидней. Что ещё? Может быть, то, что его образ зависит от окружающей среды. Сам по себе он чистый флегматик, но, когда впадает в депрессию, становится меланхоликом; с друзьями он чаще всего сангвиник, а с девицами бывает и холериком. Вот такое многообразие, такая буря переживаний, чувств и всего такого...

О себе он говорит:

– У меня высокая возбудимость, после которой наступает апатия, тягостное состояние.

Литературные заказы Тарловский выполняет медленно: долго раскачивается, настраивается на работу, ведёт тяжёлую борьбу со словами, мучается, что ради денег перелопачивает безграмотные тексты, роется в библиографии, но прекрасно знает – даже если бы у него была куча денег, он не принялся бы за сочинительство, поскольку давно потерял уверенность в себе как писатель. Да и как уйти в сочинительство, когда не даёт покоя потерянная, изломанная личная жизнь, когда отчаяние уже давно стало хроническим, ведь с каждым годом всё меньше остается времени, чтобы изменить свою ущербную участь. И, соответственно, всё чаще он, издёрганный, закомплексованный, впадает в уныние. Я тереблю его изо всех сил: без него не хожу ни в какую компанию (познакомил его с сотней знакомых), не уезжаю на участок – где особо не поваляешься в гамаке (надо вкалывать хотя бы для проживания: носить воду, запасать дрова, топить печь, готовить, чинить старую машину, чтобы обратно добраться до города) – и Тарловский не отлынивает, корячится вместе со мной.

Теперь он не выглядит белой вороной, и на участке не только загорает на раскладушке, и вообще смотрится не как изнеженный цветок, а как нормальный мужик (особенно если там присутствуют женщины). Без всякой похвальбы скажу: я заземлил Тарловского больше, чем все его дружки, вместе взятые.

– Он духовно взбодрился, у него даже появилось православное мышление, – сказал Мезинов (такой интересный фактик; пусть его попробуют опровергнуть Кушак, Яхнин и другие).

Ну а сам я приобрёл искреннюю мужскую дружбу, более искреннюю и крепкую, чем с другими перечисленными здесь писателями. Во всяком случае, повторюсь, такой её считаю и, хочется верить, такой её считает и Тарловский. Я знаю: когда дам дуба, многие начнут меня проклинать и оплёвывать, но знаю также – Тарловский меня защитит; пусть немного и осторожно, но защитит.

Само собой, в нашей компании мы не только пикировались, но и, в подпитии, расточали друг другу похвалу; не стану кривить душой, я тоже кое-что приятное слышал. Недавно, прилично нагрузившись, мы вышли из ЦДЛ, ещё добавили в стекляшке у «Баррикадной», потом гурьбой вошли в метро и на платформе стали прощаться. Мы с Тарловским, обнявшись, отошли в сторону и я сказал ему, что-то в том роде, что люблю его, нерасторопного чудака; в ответ он выдавил что-то в том же духе и добавил:

– Мы сами ещё не знаем, сколько ты для нас значишь.

Всё это можно считать побочными эффектами пьянки, точнее – бреднями, но по пути к дому я почувствовал себя фигурой – задрал голову и стал считать звёзды; Бог меня наказал – я врезался в какой-то пень, шмякнулся, разбил локоть и колено.

Мы с Тарловским особенно сдружились несколько лет назад, когда на моём старом «жигулёнке» развозили книги по торговым точкам. В то время «демократический» ураган уже набрал обороты, строители капитализма разрушали всё, что можно разрушить, а такие, как мы, боролись за выживание... Мы встречались по утрам у издательств, загружали пачки книг и катили в Дом художника на набережной – там оставляли половину пачек, остальные везли в киноцентр на Пресне, или на Поклонную гору, или ещё куда-нибудь, куда направят наши работодатели.

Конечно, было обидно, что мы, двое уже немолодых людей и, хочется думать, не самых худших литераторов, оказались на обочине жизни и занимаемся чёрт-те чем только для того, чтобы заплатить за квартиры и купить продукты. Мне было обидно вдвойне, ведь вновь работал шофёром и грузчиком (никогда не думал, что в шестьдесят лет снова начну шоферить и грузить) – тем

же, кем начинал в Москве сорок лет назад, и вновь, как когда-то, шастал по столовым, только теперь имел крышу над головой и машину-драндулет. Получалось, что я прожил жизнь почти зря. Недовольство собой, ощущение своей ненужности и чувство одиночества особенно сблизили нас с Тарловским. За то время мы лучше узнали друг друга и, несмотря ни на что, в памяти совместная работа осталась солнечными деньками, а наша дружба стала по-настоящему крепкой.

В те дни Тарловский был необычно оживлённым, прямо спешил выговориться. Рассказывал, как учился в пединституте и на последнем курсе проходил практику в сельской школе, как служил в армии... Но чаще – о своём детстве в Орле, о родственниках. Его детские впечатления были живописны, яркие, и он преподносил их талантливо, но чувствовалось – это всего лишь запоздалый отзвук его былой литературной деятельности.

Не раз и не два я убеждал его, закоренелого лодыря, всё записать, взывал к совести – мол, хотя бы ради памяти близких людей, ведь теперь никто и ничто не мешает...

– Да ладно! При чём здесь это?! Ну что ты, в самом деле! – вздыхал Тарловский. – Раньше пытался, даже что-то получалось, потом забросил. Не до этого было: сам знаешь, что такое больная мать. Бессонные ночи, медсёстры, лекарства... А теперь нет сил... Честно говоря, я потерял интерес к писательству. Да и кому сейчас это нужно?

Такая драма писателя. И всё же, всё же, почему-то мне кажется: Тарловский пробудится, встряхнётся, напишет ещё одну книгу. Ну хотя бы для того, чтобы выплеснуть своё возмущение по поводу этих поверхностных и корявых очерков, чтобы доказать, что я топорно и гнусно описал наших общих друзей (особенно его, разумеется), что всё не так просто, что каждый сложнее, загадочней и прочее (а он и вовсе непонятый, неоценённый)...

Ясно одно: молодые литераторы (из числа постмодернистов), которые придут нам на смену, будут посмеиваться над нашими работами (как это делается сейчас со многими писателями предыдущей эпохи), но, думается, и тогда найдутся люди, которые будут читать «Вперёд, мушкетёры!», и они поймут, что поколение, к которому принадлежал Тарловский, тоже кое-что умело.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я вскользь упомянул дюжину своих сумасшедших дружков, которые называют себя детскими писателями; на самом деле нашли себе лёгкую работёнку – знай себе записывай, что в башку придёт. Понятно, все эти субчики разные, но и общего у них хватает – у всех исключительная тяга к спиртному, все первостепенные трепачи, все помешаны на женщинах, и все они не похожи на людей с деньгами, крепко стоящих на земле, даже сказочно богатый Шульжик и богатый сногшибательно, до неприличия – Успенский. И ещё несколько совпадений: у всех у них начисто отсутствует самоирония, все они абсолютно не способны к физическому труду и ничего не петрят в технике (кроме Постникова). Они пишут о детях и животных, но не живут со своими детьми, и большинство из них никогда не держало животных (кроме Мезинова и Мазнина) – вот ещё! заботиться о ком-то! Себялюбцы несчастные!

Также большинство из этих оболтусов не могут отличить доску от горбыля, отвёртку от стамески, зато с закрытыми глазами, по запаху, скажут, в каком стакане водка, в каком самогон; и все, как один, неуживчивые, невыдержанные психопаты – да, повторяю, попросту тронутые. Одни из них испытывают нездоровую любовь к деньгам, другие – страшное, до безумия, желание прославиться – из этих так и прёт самомнение, «особый» взгляд на вещи, принципы, которые они отстаивают с пеной у рта. Старые бунтари! Всё никак не угомонятся. Казалось бы, чего нам теперь-то, на седьмом десятке, полыхать, о чём спорить, что делить – так нет, собачимся, и ещё как! Что поде-лаешь – у всех сильно шалят нервишки, да и вокруг слишком много раздражителей. Слишком много!

Почему я оставил истинные имена? Думаю, всё зашифрованное, общее, размытое ни к чему не обязывает и легко опровергается, а от напора фактов не очень-то улизнёшь – если же мои дружки начнут их оспаривать, я выложу им то, о чём здесь умолчал, о чём и вспоминать-то противно, – пусть тогда попробуют отвертеться.

Давно известно: каждый человек – неповторимый мир; таких, как мои друзья, никогда не было и не будет – похожие найдутся, но именно такие – никогда. Яснее ясного, по этим поверхностным записям нельзя составить полные портреты героев очерков – мало

ли как поступает человек в некоторые моменты или что скажет в раздражении, с досады, будучи выпивши, но в то же время его слова и поступки не зачеркнёшь.

Я описал честно всё, что вспомнил, и местами долбанул дружков; но, конечно, хорошего с ними было несравнимо больше, чем плохого, и если об этом сказал мимоходом, то только потому, что хорошее мы воспринимаем как должное, а от того, что омрачает дружбу, хочется избавиться. Ко всему, я уже слишком много потратил энергии, чтобы показать их низменные поступки, и у меня просто нет сил, чтобы их хвалить. Да и зачем их, чертей, хвалить? – ведь на их отрицательном фоне особенно высвечивается мой положительный образ.

Кстати, у дружков ко мне претензий не меньше, даже на порядок больше... Ну, в общем, мы все хороши. А главная глупость – мы до сих пор остались идеалистами – всё хотим, дуралеи, видеть людей безгрешными, прекрасно понимая, что таких нет.

Что касается творчества моих полоумных дружков. Повторюсь, я лишь высказал своё мнение, на которое не обязательно обращать внимание. (Наверняка кое в чём я и ошибаюсь.) В конце концов у каждого своя вершина, и время покажет, кто есть кто, тем более что сейчас в искусстве сплошная неразбериха – одни таланты подстраиваются под новую вкусовщину, другие в загоне (они попросту не нужны массовой культуре), и всюю гремят те, кому вообще не следует высовываться.

Известно, в каждом всего намешано: и добра, и зла, высокого и низкого, и, сколько ни дружи, никто никого до конца не узнает. Да что там! Сами себя-то толком не знаем, иногда такое отмочишь, потом сам удивляешься. Я думал, под старость всё будет ясно – чёрта с два, во многом ещё больше запутался. Всё оказалось сложнее, чем думалось. Например, я до сих пор не знаю, что лучше: цивилизация, комфорт и всякие неограниченные удовольствия или первобытность, минимальные удобства и примитивные, но чистые обычаи? Не знаю, должен ли художник давать людям надежду, мечту или должен заземлять их, чтобы достойно встречать жестокости жизни? Не знаю, почему, несмотря на великие произведения искусства, мир не становится лучше, и можно ли быть счастливым, когда вокруг столько несчастных? И многого другого не знаю.

Надо признаться – эти очерки я не всегда писал со светлой головой, потому они и получились убористыми, лоскутными. Но всё же я не-

пременно дам их прочитать каждому из дружков, чтоб они, гаврики, увидели себя со стороны и перестали дурить друг друга, и, повторюсь, наконец говорили в глаза то, что с таким жаром молотят за спиной.

Понятно, теперь в меня полетит немало камней, кое у кого зачесутся руки накатать и обо мне что-нибудь этакое. Ради бога! Вперёд, стариканы! Мне не привыкать к нападкам. Тем более что здесь можно развернуться, ведь некоторые считают меня не только пьяницей и бабником, но и грубым типом, с отвратительным характером, и вообще чокнутым, но пусть попробуют вспомнить случай, когда я поступил как подлец.

Впрочем, Мезинов в своих дневниках уже, видимо, черкнул обо мне гадости, а Яхнин настроил точно. При расставании со второй женой он попросил меня отвезти ей ключи от квартиры. Я отвёз, но после тирады мерзостей о бывшем муже ключи полетели мне в лицо с многозначительной концовкой:

– Ты ничего не знаешь! Он обо всех вас втайне написал как о подонках! Если б ты прочитал, не стал бы его защищать! И не считал бы другом.

И жена Мазнина как-то проговорила:

– Он обо всех вас такое говорит! Такое!

Ох, эти жёны! Что только не сделают, чтобы поссорить друзей! Иногда я думаю: а Тарловский всех нас перехитрил – живёт себе спокойненько один и посмеивается над женатиками. Я знаю, некоторые блюстители нравственности будут меня обвинять за то, что я упомянул женщин друзей. Но, во-первых, эти женщины гордятся, что встречались с моими друзьями; во-вторых, я не назвал их фамилий и не смаковал подробности; в-третьих, я уже говорил: наши похождения давно ни для кого не секрет (в том числе для наших жён); в-четвёртых, моих друзей нельзя представить без романтических приключений – они были бы не они; ну а в-пятых, всё это теперь кажется чепухой.

Я хотел поделиться воспоминаниями об умерших друзьях, думал: выскажусь – и забуду о них, чертях, они перестанут терзать мою душу, но сейчас понимаю – у меня ничего не получилось. И что странно, ведь они частенько поступали, как негодяи, но почему их так сильно не хватает?

А о здравствующих дружках-приятелях стал строчить по инерции, решил припомнить нашу молодость, ну и вывести этих невыносимых

остолопов на чистую воду, показать их истинное лицо (живых-то не грех поругать – они могут ответить). Так что, повторяю, наверняка теперь они окрысятся (ведь даже от Т. Вульфа отвернулись родные и знакомые, досталось также и С. Моэму). Хотя всё, что здесь накатал, говорил им, шизанутым, и в глаза. И вообще я уже в том возрасте, когда особенно не задумываешься, какое впечатление произведут твои слова, гораздо важнее сказать правду.

Да и, чего скрывать, мы ведь и раньше распускали язык – и ещё как! – со стороны подумаешь – готовы растоптать, прибить друг друга; известное дело – никто так сильно не ругается, как близкие друзья. И понятно, при этом вылетают крепкие словечки, но неосознанно, в пылу (в ссоре надо разделять случайное от истинного), а по большому счёту нас связывает многое пережитое – ведь мы вместе прошли долгий путь, и конечно, – наши лучшие годы, годы нашей молодости. Так что никуда нам друг от друга не деться, приходится терпеть и не держать зла, ведь новых друзей уже не завести.

Вот и Шульжик говорит:

– Нас осталось мало, и мы в одной корзине воздушного шара – выбрасывать уже никого нельзя, иначе не вернёшься на землю.

Да и ругаемся-то мы теперь без всякого огня, скорее, по привычке. А расставаясь, обнимаемся.

Заканчивая, выдвину предположение: возможно, когда-нибудь моих дружков, этих дьяволов, назовут легендарными фигурами, золотым фондом детской литературы конца двадцатого века, а те, кто с ними общался, будут считать себя счастливцами. Если такое произойдёт, завещаю эти очерки сжечь, чтобы они не бросали тень на великих людей.



Пшеничный А.



Сергеев В.



Силкин В.



Бояринов В.



Афанасьев А.

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

**Неважно, сколько лет в твоей жизни,
важно сколько жизни в твоих годах**



Глобюк С.



Искандер Ф.



*Иванов-
Таганский В.*



Казakov Ю.



Сибирцев С.



Шорохов А.



Лофиченко А.

Памяти друзей и приятелей

Авсарагова Б.
Агibalова В.
Алешина В.
Алимова Б.
Андреева Л.
Афанасьева А.
Ашкенадзе Г.
Белозерова И.
Белоусова В.
Брагина А.
Браславского Л.
Бритаевой Н.
Бруни И.
Бузылева И.
Буланова В.
Бухарова Ю.
Ворфоломеева М.
Варламовой Т.
Варшамова Р.
Васильева Н.
Васинского А.
Вдовина В.
Воробьева Н.
Голицына И.
Голубенко О.
Голубина В.
Гольдяева В.
Гольцмана Я.
Голявкина В.
Григорьева В.
Григорьева Р.
Гулая И.
Гуревича Б.
Данильцева Л.
Дробышева В.
Дроздовской М.
Дувидова В.
Дудина Ю.
Дульского П.
Дьяченко В.
Егорова А.
Жданова И.

Зауриха А.
Зотова Б.
Иванова С.
Истомина В.
Камышова А.
Карпова А.
Качаева Ю.
Клименюк Л.
Ковалю Ю.
Козлова С.
Коновалова В.
Копейко Ю.
Копецкой Г.
Коркина В.
Корсунской И.
Котенко Н.
Куклеса И.
Кудашовой Н.
Курганцева М.
Лебедева Л.
Лупенко А.
Любосветова Д.
Макарова В.
Маслова Ю.
Мешкова К.
Миля Л.
Минькова А.
Мирского В.
Митяева А.
Михайлова Л.
Молодякова В.
Молоканова Ю.
Монетова Ю.
Монина Е.
Мякушкова Ю.
Нагаева И.
Новикова Б.
Осипова В.
Осипова Л.
Панкова А.
Панкратова Ю.
Передельского И.

Пермякова А.
Петрова В.
Пивоваровой И.
Поливанова Ю.
Постникова Ю.
Приходько В.
Пчелинцева Б.
Пшенецкого Н.
Рахманина Б.
Резникова В.
Романовой М.
Самолюка В.
Сапгира Г.
Сафронова А.
Северверстова Ю.
Семенова И.
Сергиенко К.
Сидорова И.
Сквирского В.
Снегирёва Г.
Соловьева Ф.
Солянова Ф.
Сотника Ю.
Стацинского В.
Старостина А.
Степанцева Б.
Стрелкова В.
Тарасова А.
Теслера О.
Токмакова Л.
Толмачева Е.
Тороповой И.
Трифоновой В.
Тюрина Р.
Файкина Ф.
Фатюшина А.
Филатова Г.
Халатова Н.
Храменкова А.
Храмова Е.
Цыбина В.
Цыферова Г.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ

Ну, вот и всё. Вот и везут меня на кладбище. Ещё немного – и моя душа вознесётся на Тот Свет, в мир, где мне уготовлен огромный всепожирающий костёр – расплата для отъявленных грешников. А катафалк-то у меня – позорище! Это надо ж такой отгрохать – допотопный, выдавший виды грузовик! И где только мои дружки раздобыли такую колымагу? Еле фурычит, расплёвывая копоть, и дёргается, точно ей дают пинка. А дружки, олухи, хоть бы что – откинули борта кузова, выставили меня на всеобщее обозрение, а мне подмигивают: видал, мол, мы все притопали, вся наша команда, да ещё какие пышные похороны тебе закатили.

Старые забулдыги! Совсем офонарели, устроили дешёвую показуху! Не могли раскошелиться – заказать нормальный катафалк – решили сэкономить. Знаю я их, алкашей! И уж денёк могли бы выбрать похуже. Ну не глупо ли запихивать в землю человека в такую погоду? Вон вчера дождь поливал, так нет, не повезли – им было лень по грязи шлёпать. А сейчас – раннее утро, но солнце уже шпарит вовсю, и на небе ни облачка, и ветерок плотный, хоть трогай на ощупь. Да что говорить – чувствуется, начинается денёк что надо! Только мне какво в такую погоду лезть в могилу?! Сами-то дружки намылились в пивную, что в конце улицы, – её только открыли, оттуда тянет свежим пивком и креветками; для них выпивка – основа всякого события, даже ничтожного, а тут такое дело! Вот и суетятся – на них прямо напала деловитость. Обычно и пальцем не шевельнут сделать что-нибудь для друга, а сегодня картинно, работая на зрителей, поправляют гроб, нарочито строго поучают шофёра:

– Вези осторожно, не торопись, а то ещё свалится с кузова. Да и спешить некуда, весь день впереди. Приличный навар обещаем.

Они пошли накачиваться пивом, отмокать после вчерашней предпоминальной поддачи, а страшилище-грузовик оставили в десяти шагах от морга; меня окружили зеваки, на лицах – блаженное любопытство, шепчутся обо мне, как о ящике с картошкой, без всякого, хотя бы формального сожаления... А что сейчас молотят мои соседи?

– ...Это тот жилец со второго этажа. Житья от него не было. У него ж сотня дружков перебивала. Как нальют глаза, горланят песни на весь дом! Он своё взял. Свою бочку выпил. А уж баб у него было! Этот уж точно в ад попадёт!

Давайте, давайте, перемывайте мои кости! За свою жизнь я и не такое слышал; сколько комьев грязи летело в меня – и не счесть! Надо же, и сейчас надругаются и бросают камни в мой гроб. Ещё немного – и выкинут на помойку мою мебель-развалюху, растащат остальное барахло, и ничего не останется от меня, но вот – всё палят в мою сторону. И чего им надо? При жизни я не так уж им и досаждал. Подумаешь, иногда собирались у меня дружки, ну и что? Другие бы радовались, а эти завидовали. У нас ведь полно завистников, так и стремятся влезть в чужую жизнь. Но хоть сейчас оставьте меня в покое. Я сам выложу всё о себе, всё низкое и порочное, всё, что принесло мне славу злостного курильщика, пьяницы и бабника и для кого-то – бесшабашного, для кого-то – сумасшедшего чудака. Да и мне не до вас; мне есть чем заняться, и время терять нельзя. Я должен рассказать: и то, что пережил сам, и что не успели досказать мои умершие близкие – в могилу-то надо сходить пустым, после исповеди и покаяния, сбросив весь мешок болей и раскаяний.

Теперь-то я могу высказать всё, что не мог говорить, будучи живым, ведь при коммунистах о нашем прошлом была узаконенная ложь – они установили жёсткие правила игры, и попробуй в эту игру не играть! В то время правду говорили шёпотом да в кругу семьи, а на людях – одни без зазрения совести несли враньё, другие, стиснув зубы, молчали. Изовравшиеся имели тёплые места и кучу привилегий – они крепко держались за кресла и, чтоб уцелеть, душили всякую правду (посмотрю, как их на небе пригвоздили к позорному столбу). А молчальники, понятно, боялись преследований.

Теперешнее поколение усмехнётся – так, мол, и надо вам, баранам, за вашу трусливую немоту, – но хотел бы я посмотреть на этих смельчаков в то время. Теперешнее поколение не знает, что такое страх, но почему-то сейчас не слышно их выступлений против разгула «реформ». Или они не видят, как беснуются «демократы», как разрушают и грабят страну? Для них что, «демократические» вожди – неприкасаемые идола, сидящие где-то в поднебесье? Неужели не ясно: они – преступники, которые осатанели от власти и денег?! Но большинство теперешних храбрецов молчит. Только старики и бунтуют, но опять-таки в своём кругу, ведь сейчас свобода слова – для одних «демократов». И телевидение, и газеты в их руках. И попробуй заикнуться об этом – повесят клеймо «фашист», «краснокоричне-

вый», испачкают – не отмоешься. А то и упекут за решётку – немало тому примеров. Вот и получается – в нашем отечестве безнаказанно говорить правду можно только в последней исповеди.

Понятно, верующим – тем, кто исповедался, кого хоронят по православному обряду, с отпеванием, – легче улететь с земли, а каково таким, как я, некрещёным безбожникам? Что, если таким греховным душам без панихиды нет места в другом мире и они застревают где-то между небом и землёй?

Вообще-то, можно сказать, я православный в душе, ведь для меня духовные ценности всегда были важнее всяких денег, и в жизни я руководствовался своей совестью, а, как известно, совесть не что иное, как проявление Бога.

Сейчас, взлетая над землёй, оглядываясь на свою жизнь с огромной, неимоверной высоты, я думаю – многовато дней вмещает в себя человеческая жизнь и в то же время маловато. Я мог бы болтать о своей жизни несколько дней подряд, а могу её всю уместить и на трёх страницах. Вроде бы – ну что интересного в одной-единственной заурядной жизни, мимолётной по земным меркам? Мелочь, пылинка в огромном мире, а надо же! – своя неповторимая судьба, поскольку нет и двух существ, абсолютно похожих; и получается – каждый из нас некое звено в цепи генетических наложений, притом – незаменимое, поддерживающее природное равновесие. И каждый для самого себя – некий центр мироздания, и его смерть – естественна и необходима для жизненного пространства тем, кто идёт на смену. А для покойного, само собой, вместе с ним угасает и весь мир.

Даже если просто перечислить вехи одной судьбы, получится хроника определённого отрезка жизни, а если припомнить подробности, то воссоздаётся и атмосфера того времени. Но что удержала память? Как выделить главное из обыденных будней, сумбурной череды событий? И с чего начать? Кто ж вспомнит, когда впервые увидел этот яркий мир, пёстрые пятна? Услышал первые звуки, произнёс первое слово?!

...Мать говорила, когда я родился, стояла редкая для осени теплынь, и травы пробивались сквозь асфальт, и в городе были мириады разноцветных бабочек. И надо же! Они и сейчас кружат над катафалком, только одноцветные, чёрные. И откуда взялись, эти траурницы?!

Ещё мать говорила, что, едва научившись ходить, я начал убежать из дома... Смутно помню те предвоенные годы: подмосковную станцию

Правду, десяток деревянных домов, источенных короедом, сияющее чистотой небо и лес, стеной подступавший к посёлку. Глядя на лес, я испытывал и восторг, и ужас, но при первой возможности пролезал сквозь дыру в заборе и улётывал в чащу. Не знаю, что двигало мной: зов предков – тянуло на деревья – или просто жгучее любопытство. Я носился по опушке в высоких травах, среди цветов, разноцветных жуков и пучеглазых лягушек – открывал новые миры; у ручья лепил зверей из глины – что, по сути, в каждом детстве начало творчества...

А в посёлке, помню, чтобы прибавить острых ощущений, забирался на заборы и водостоки, в дверь не входил – лез в окно, приучал себя преодолевать препятствия – в дальнейшем это пригодилось, когда пробивался в Москве, когда не успевал преодолеть одну стену, как возникала другая...

Сейчас время для меня застопорилось, и я словно бегу назад по высохшему руслу реки. Река исчезла и унесла в небытие всю мою жизнь. Странно, но перед смертью я всё чаще возвращался в детство. Как ни крути, а у взрослых – постоянные раздумья, напряжение, самоконтроль, а в детстве, даже нашем, военном и послевоенном, всегда было место беспечности, небольшим радостям. Это и понятно, ведь в детстве у нас боги-покровители – отец и мать, а кто у взрослого? Да ещё у неверующего?

В памяти годы войны – разрозненные, обрывочные картины, окутанные туманом, что-то полуразмытое, на грани света и тени, что-то еле мерцающее, ускользающее от взгляда. Эти картины и раньше возникали передо мной, непреднамеренно, случайно; их, без ощутимых потерь, не восстановить. Прошлое представляется огромным резервуаром, в котором вроде бы масса накоплений, но вот – надо же! – сейчас, что ни зачерпну, всё процеживается сквозь какое-то сито, остаются всего два-три эпизода, точно горстка отфильтрованного песка. Получается, вся моя жизнь – цепочка незначительных событий, мгновение в беспредельных переплетениях человеческих судеб, но мгновение – моё! – вместившее в себя счастливые открытия и разочарования, приобретения и потери, радости и горести.

Помню бомбёжку в первые дни войны, когда тряслись в кузове грузовика на Ярославском шоссе; машин встала, мы спрыгнули на землю и попрятались в кювете; въехали в столицу – повсюду дикие толпы, скупали спички, соль, мыло; во дворах – бомбоубежища,

ящики с песком, чтоб тушить зажигалки, у подъездов указы – всем сдать радиоприёмники.

Помню эвакуацию на восток – вагоны брались штурмом, вещи и детей совали в окна. Заводчанам отца предоставили товарняк. Не успели отъехать – ещё одна бомбёжка: рёв пикирующих самолётов, грохот пуль по крыше; часть состава сгорела. Потом около месяца, с долгими простоями (пропускали воинские эшелоны, спешившие на Запад), катили в прокопчённом от «буржуйки» вагоне, сквозь дверные щели назад убегала земля, клочья дыма от паровоза; наконец встали на окраине Казани.

Жили в продуваемом бараке на улице с мёрзлой, закостенелой грязью; узнали, что такое голод, вши, болезни, похоронки... и чердаки – наши детские пристанища, и свалки, где мы находили всякие «ценные» штукорины, и столовая при госпитале, куда бегали «нюхать запахи» и от куда посудомойки время от времени выносили картофельные очистки – мы их распахивали по карманам и в бараке жарили на «буржуйках»; спали на полу под «телогрейками» – обкладываясь бутылками с горячей водой. Но были и игры: «расшибалка», «махнушка» и футбол – мячом служила шапка-ушанка, набитая газетами. Став взрослым я вспоминал барак как самое печальное место на свете. Впрочем, всякое прошлое, даже прекрасное, с годами выглядит немного печально.

Через два года мать привезла нас с сестрой в Москву... Помню комнату бабки с вынутым для растопки печи паркетом, маскировки на окнах, заклеенные газетой стёкла, железные «ежи» на Крымской площади, прожектора и зенитный расчёт на набережной, серебристые колбасы – воздушные заграждения над домами, выставку трофейной техники в Парке культуры и отдыха, пленных немцев, которых вели по Садовому кольцу, ночные воздушные тревоги, когда все бежали с одеялами в метро и досыпали на платформе.

Помню, как ходил в школу с сумкой от противогаза и по дороге собирал осколки зажигалок, и как на большой перемене «по личному распоряжению товарища Сталина» выдавали бублик и чай. После школы заглядывал в котельную к бабке, где она работала истопником; бабка совала мне для нашей печки полено, завёрнутое в тряпье от посторонних глаз – за полено можно было схлопотать и «десятку»...

Немало всего происходило в военной Москве, но многое забылось, точно исчезло под слоем зыбучих песков.

К концу войны вернулись в Казань... Вспоминаю общагу из жухлого кирпича, лестницу со сломанными перилами, полы из грубых досок, по которым сновали мыши, керосиновые лампы с длинными нитями копоти, мучнистые болтушки «кулеш», супы из солёных огурцов и моллюсков (соседи однажды сварили ворону)... В школу ездили на колбасе трамваев или цеплялись железными крюками за кузова «студебекеров» и скользили по обледенелым колдобинам. Классы не отапливались, занимались в пальто, писали на обёрточной бумаге, один учебник выдавался на троих, и этот учебник, по уговору, передавался из рук в руки, и никто никого не подводил. Общие лишения тех лет спланивали нас, вселяли ответственность за свои поступки. Может, поэтому больше всего и запомнились мои первые друзья, плохо одетые, полуголодные мальчишки, и наши клятвы в «дружбе до смерти».

Война закончилась, но мы ещё долго прятали на чердаках каски и патроны (они валялись на окраине), мастерили самопалы, начиняли их серой от спичек и свинцом и стреляли в воображаемых врагов.

Родители пытались вернуться на родину, но отца не отпускали с оборонного завода. Мама испытывала особую тоску: – Даже птицы возвращаются к местам гнездовий. И днём и ночью летят...

А потом в школе выдали новенькие учебники, тетрадки с промокашками, чернильницы-непроливайки, появился школьный хор и многочисленные кружки, где любой мог выбрать увлечение по наклонностям – кружки объединяли, заражали общей целью. Ну а пионерские лагеря – вообще одно из лучших воспоминаний.

После войны наша семья переехала на разъезд Аметьево, в посёлок, затерянный среди железнодорожных веток, оврагов и полей с лебедой и полыньёю. Мимо посёлка мчались скорые поезда, поезда моего детства; мчались, не останавливаясь – ещё бы! – ничем не примечательный полустанок (всего шесть домов), а мне особенно дороги те места, ведь там в нашей семье ещё всё было более-менее благополучно и это были лучшие моменты нашей жизни... Теперь-то там обмелевшие реки, заросшие тропы, выцветшее небо; что-то стёрто с земли, что-то перестроено; сколько ни блуждай, уже не отыскать наши дома и посельчан, да и в памяти остались незначительные расплывчатые эпизоды.

Понятно, это ненадёжные воспоминания – они словно тёмные закутки, которые светлеют с восходом солнца, когда, напрягая память,

можно увидеть отдельные картинки, вплоть до мельчайших подробностей; зажмурившись, закрыв глаза, можно даже вернуть запахи того далёкого времени...

Зимой посёлок заносило снегом; поезд пронёсся, пассажиры его и не замечали – так, два-три окна мелькнувшие в сугробах. Я и сейчас вижу те огромные пухлые сугробы, колючую бахрому инея на деревьях и проводах, и сейчас вдыхаю морозный сверкающий воздух... Я вижу на пригорке подростка – он смотрит на проносящиеся поезда. Вглядываюсь – что за бредовая расстановка?! – это же мой двойник! Как и я когда-то, он читает названия городов на вагонах, рассматривает мелькающих в окнах пассажиров... Мальчишка подходит ко мне, говорит, что мечтает занять складную бамбуковую удочку, перочинный ножик с несколькими предметами, коньки на ботинках, велосипед – мечтает, о чём я мечтал когда-то.

Мой подростковый возраст – пора головокружительных вопросов, ошибок и потерь. Но, естественно, это неизбежные ошибки, а потери мелкие в сравнении с тем, что я терял позднее, да и как без них? Что такое тогда опыт? Я разговариваю с собой-подростком, бормочу что-то невразумительное, но точно знаю: вновь проживать свою жизнь не хочу. Немного другую не откажусь, а вновь свою – не хочу.

...Ну вот и освежилась моя похоронная команда; дружки взбодрились, раскраснелись, покачиваются; подошли, закуривают; почти неподдельно волнуясь, болтают обо мне, расчувствовались – вроде даже всплакнули, а про себя, черти, наверняка думают: «Нам-то ещё рановато на небеса, мы-то вознесёмся, когда из Лёньки уже вырастут ромашки»... Дай Бог вам пожить подольше!

Наконец шофёр хрипло посигналил, и тронулись. Впереди громахает грузовик, за ним в облаке выхлопного газа вышагивают мои субчики – все трое. Больше никого... А где же все приятели? Сколько их было! И куда подевались, черти? Понятно, ходить на похороны не очень-то приятное занятие, но всё же могли бы оторвать задницы от стульев, выкроить времечко.

Кто там ещё плетётся сзади, что за катавасия? А-а, это ж окрестные дворняги! Они-то меня любили по-настоящему, ведь я подкармливал их, прятал в котельных при облавах, выкупал у собаколовов. Прощайте, лохматые ребята!

А солнце уже припекает. Небо чистое, звонкое, раскатистое – прямо-таки лучистый денёк, и яснее ясного – вот-вот наступит жарища. Уже слышны голоса идущих на работу, на Волоколамском шоссе открыли шашлычную – оттуда доносятся запахи жареного мяса и картошки. Мои дружки-прохиндеи обмениваются понимающими взглядами, подходят к шофёру:

– Давай, шеф, прижмись к тротуару. Горло надо смочить. И куда ты так гонишь? Еле поспеваем. Подожди, передохни, а мы зайдём вон туда, пульс восстановим.

Они напрямик направились в шашлычную. И это только начало. Они выпивохи – те ещё! Ни одну забегаловку не пропустят, будьте уверены.

Каждый знает, у нас на всё привилегии, а на похороны тем более: вождей хоронят у Кремлёвской стены, заслуженно и незаслуженно известных – на Новодевичьем кладбище, за взятки – на кладбищах в черте города, а разных кузнечиков вроде меня – на окраине – в Митино. Там пустыри, и места всем хватит. Но мне-то всё равно, где лежать, – какая разница? И потом, чем дальше меня повезут, тем больше успею припомнить.

...По гороскопу я Скорпион (понятно, характер дрянной), родился в год Крысы – то есть барахольщик и всё тащу в дом (вот только мало чего донёс). Привязываюсь к месту жилья, не люблю менять обстановку и одежду – как верблюд, который брыкается, когда ему хотят поменять ношу.

Наследственность у меня – что надо! Отец – алкоголик, мать – сумасшедшая, но такими их сделали суровые годы, которые выпали на долю того поколения, а изначально они были здоровее многих и заложили в своих детей крепкую основу. К тому же дай бог всем быть такими больными, как они.

Отец покончил с собой в сорок четыре года и для меня навсегда остался молодым. Но и став старше его по возрасту, даже в старости, я всегда ощущал его присутствие и во всём подражал ему, и постоянно обращался к нему за советом, по нему сверял свои поступки – он всегда был моим строгим судьёй... Смутно помню: кажется, иногда он хвалил меня, но – хоть тресни! – не могу вспомнить его похвалу, а вот его горькие слова на мои отвратительные поступки помню отчётливо.

– Эх ты! Кто ж так поступает! – скажет и, махнув рукой, отойдёт.

Когда я вспоминал хорошее между нами (а хорошего, конечно, было немало), вспоминал и эти слова – они, как пощёчина, обжигали лицо.

Именно от отца, а не от учителей и не из книг (до двенадцати лет я, балбес, ничего не читал) – именно от отца я узнал о настоящих жизненных ценностях: трудолюбии, доброте, честности. Помню, отец говорил:

– К успеху идёшь долго, и без труда, усидчивости здесь не обойтись.

Он на собственном примере доказал – тот, кто привык работать на совесть, в любом деле выкладывается полностью. Отцу были свойственны постоянство, ровность, надёжность – то, что начисто отсутствовало у меня. Так бывает, так бывает.

Отец научил меня разбираться в садоводстве и огородничестве и в разных механизмах, дал мне основные уроки в строительном ремесле и приучил ценить работу других, беречь любое изделие мастеров... С раннего детства (с трёх лет) отец брал меня в грибные вылазки и на рыбалки с ночёвкой у костра, прививал любовь к природе и животным.

Отец выпивал (рано остался сиротой, на фронте погибли все его друзья), но, даже будучи сломленным человеком, утратившим веру в себя, он выходил из больницы и выдавал блестящие инженерные решения в своём конструкторском бюро.

Последние годы отцу казалось, что он тянет семью назад; не раз он ложился в постель с бритвой, но на последний шаг долго не решался... Помню день, когда впервые увидел его с лезвием. Мы уже жили в Подмосковье, куда перебрались в конце пятидесятых годов. Я приехал домой поздно вечером. Отец лежал на диване, прикрытый старым одеялом; заметил меня и что-то спрятал под подушку. Откинув край одеяла, я увидел у него в руке... бритву; рядом лежал пустой флакон «Тройного одеколona». Я содрогнулся.

– Ты что, совсем сошёл с ума?! – крикнул, отнял у отца бритву, спрятал его очки, убрал из дома всё острое.

Наутро уговорил отца поехать в абрамцевскую больницу (мать в то время работала проводником и неделями находилась в рейсах). День был летний, солнечный. Мы шли от станции по дороге среди горячего хвойного леса. Я, идиот, говорил с отцом запальчиво, резко, ругал его за пьянство. Отец угрюмо молчал, только изредка безнадёжно оправдывался:

– Понимаешь, у меня нет воли, не могу бросить пить.

Вернувшись из поездки, мать взяла отца домой; некоторое время он, тихий, замкнутый, ездил на работу, но, как только мать отправилась в новый рейс, запил, и снова ложился в постель с бритвой.

Однажды я не выдержал:

– Ты нарочно, что ли, нас терроризируешь?! Чтобы нянчились с тобой?! Сколько можно издеваться?! Ты слабак и трус – не можешь бросить пить! Лучше уходи, оставь нас в покое!

Это надо ж такое сказать больному отцу! Начитался Хемингуэя, двадцатилетний кретин! В то время я был уверен, что пьянство отца – какая-то дикая затянувшаяся игра, что отец вот-вот одумается, перестанет за бутылки выносить из дома вещи (и находились люди, которые за бутылку водки брали костюм или настенные часы), я хотел подстегнуть самолюбие отца, как бы напомнить ему про великий удел главы семьи, о поддержке, в которой мы, его сыновья, больная дочь и жена, нуждаемся; что сейчас, в переломный момент, когда мы, наконец, перебрались совсем близко к родине и уже всё налаживается, он должен взять себя в руки. Где мне, дураку, было знать, что отец сам нуждался в поддержке, обижался, как ребёнок, и по ночам плакал. Надо было обнять больного отца, поговорить с ним, сказать, что мы его любим и он нам нужен. Что стоило провести с отцом два-три дня?! И, кто знает, может быть, я сохранил бы ему жизнь...

Через день из поездки вернулась мать и велела попросить у отца прощения. Я не успел этого сделать (отец был на работе) и уехал с приятелем бродяжничать по югу страны. А когда вернулся, отца уже не было... Как известно, церковь осуждает не только самоубийц, но и тех, кто подтолкнул человека к последнему шагу. Так что нет мне прощения! Везите меня на костёр!

После смерти отца я много терзался, запоздалое раскаяние не давало мне покоя, я испытывал и боль, и жалость, но и – какой-то идиотизм! – гордость за него, что он всё-таки поступил как незаурядная личность... В ту осень я не раз находил в палисаднике отцовские записки – четвертинки и флаконы – и размышлял: «И зачем он это сделал?! Плюнул бы на мои хамские слова. И неужели не понимал, что я хотел совсем другого? И почему не подумал о матери, о брате и сестре?» Я смутно догадывался, что самоубийство – страшный, но лёгкий способ решения всех проблем, но сколько боли родным до-

ставляют такие поступки! Только через несколько лет, безнадёжно запоздало, я осознал, что отец был по-настоящему болен.

Отец похоронен на окраине сельского кладбища в деревне Рахманово. Так получилось, что я долго не навещал могилу отца, а когда спустя много лет поехал в Рахманово, места захоронения не нашёл. Разыскал служащих в местной церкви, но они сообщили, что у них регистрация участков не производится, а самоубийц, как принято в православии, хоронят за границами кладбища... Вторично мы поехали с братом; он указал приблизительное место – в день похорон ему было тринадцать лет, и он мало что помнил, да и кладбище сильно заросло, могилы без присмотра рассыпались, кресты и надписи поржавели, обломались – всё пришло в запустение среди бумажных и железных цветов.

Я начал поиски сослуживцев отца, бывших на похоронах; одного нашёл – совсем дряхлый старик – он указал более-менее точное место среди десятка еле различимых холмов со стёртыми временем таблицами. На каждом из холмов я прикрепил записки для посетителей кладбища с просьбой сообщить фамилию покойного. Круг поисков сузился, но большего добиться не удалось... Прах отца покоится где-то в квадрате одной сотки, среди высоченных деревьев и кустов бузины.

Последние годы отец часто мне снился: то мы с ним договариваемся встретиться на какой-то пригородной станции под Казанью, а на какой именно, не могу вспомнить – выхожу на каждой, но его нигде нет; то вдруг узнаю, что мать всё придумала о его самоубийстве, что он – однолюб! – просто ушёл к другой женщине; я разыскиваю его: еду в Казань, узнаю, что он, как и прежде, работает на заводе, жду его у проходной, и мы встречаемся – я, уже старый, и он, молодой; я уговариваю его вернуться, а он, небритый, уставший, серьёзный, молча смотрит на меня и уходит, без единого слова в своё оправдание...

Несколько раз во сне я видел отца улыбающимся – он шёл с работы и издали замечал меня; я подбегал к нему, и мы обнимались; после долгой разлуки он совсем не изменился; наконец-то я говорил ему всё, что не успел сказать при жизни, просил у него прощения, а он только улыбался... Гремел будильник, я отчаянным усилием пытался удержать сон, но отец уже отдалялся и исчезал в дымке.

Боль за отца – самое страшное мне наказание; эта боль, как ничто другое, многие годы сжигала мою душу. Я вспоминал, как в детстве,

в Аметьево, подводил отца. Он любил перед работой пройтись по опушке ближайшего леса, пособирать грибы; часто мы ходили вдвоём. Однажды я пообещал ему, что утром встану во что бы то ни стало, но не смог пересилить себя. Два раза отец будил меня, но какой там! – я и слушать ничего не хотел – отнекивался и с головой залезал под одеяло. Мать в таких случаях говорила:

– Ты мужчина или тряпка?! Грош цена мужчине, если он не держит свое слово.

А отец уговаривал меня:

– Ну, может, всё же пойдёшь?

Уходя на работу, отец оставлял нам с сестрой записку: полить грядки, окучить по два-три ряда картошки. Сестра всё делала добросовестно, как учил отец: грядки поливала из лейки, чтобы не размывать корни растений; прежде чем окучивать картошку, пропалывала сорняки; я плескал воду из ведра, сорняки просто заваливал землёй – всё равно отец не увидит; какие там грядки, картошка, когда ребята уже гоняют мяч!

Помню, когда мать с сестрой лежали в больнице, отец несколько дней подряд приходил с работы выпивши, да ещё искал сочувствия у поселчан, рассказывал, как всё плохо складывается в нашей семье. Меня это раздражало, я не понимал, что отцу нужна поддержка, что он сам уже серьёзно заболевает. Однажды он, нервно покуривая, разговаривал с соседями у забора; заметив меня, подозвал, но я махнул рукой, огрызнулся. Перед сном отец подрагивающим от обиды голосом спросил меня:

– Ты почему нагрубил отцу?

Мне не хватило духу сказать правду, я поступил как последний негодяй:

– Ничего не нагрубил. Тебе показалось.

Помню, как отец уговаривал меня не бросать институт, но я бросил и сам пришёл в военкомат, чтобы отправили в армию. Помню, как на проводы пригласил двух приятелей, отец купил вино, закуску, но, когда мы выпили, я, дуралей, высказал отцу недовольство – мол, мало купил вина. Отец обиделся и ушёл в другую комнату работать за домашним кульманом.

Вот так огорчал и обижал отца. А сколько обижал и грубил матери! Прийти бы сейчас к ним с повинной, да не встречу их на небесах, они-то наверняка в раю.

...Но что ж так солнце нестерпимо палит! Повисло надо мной и плавится, и никак не вырваться из этого огнедышащего марева. А духота-то! Воздух вязкий – меня точно укутали одеялом. И гроб раскалился, как сковорода. И от листвы, и от асфальта бьёт жаром. А эти черти дружки оставили меня киснуть на солнцепёке! Не догадались, бес-толочи, в тенёк драндулет поставить... Но вон вроде идут. Шмыгают носами, побрякивают, угощают друг друга сигаретами. Их уже пошатывает, по стакану засадили, не меньше, я-то их знаю. Ну вот, поехали дальше. Всё так же за машиной маячит пьяная компания, плетутся собаки; прохожие останавливаются, глазуют на процессию. Ещё бы! Такое не каждый день увидишь. Развалюха-грузовик, гроб с каким-то жмуриком, за ним припечаленные забулдыги – ковыляют, отдуваясь, от них валит не пар, а дым; они то и дело спотыкаются, разморённые жарой и водкой...

Друзья мои! Друзья мои! Друзья! Я смотрю на вас – старые черти, морщинистые, беззубые – отборная обойма, хорошие товарищи мои. Собственно, всё, о чём я сейчас говорю, это для вас, это прощание с вами. Другим-то плевать на мою смерть, а с вами я был в одной упряжке, и мы сверстники – кому, как не вам, понять меня, ведь нас связывает не один десяток лет. И сколько всего было! В любое время дня и ночи, без всяких звонков мы заваливались друг к другу – так можно входить только в дом самых близких – и, не поморщившись, доставали пузырёк, варганили закуску... Вспомните, черти, наши прекрасные разговоры! И простите меня, если что было не так... И простите за эту бессвязную исповедь, моё последнее занудство... Зато сегодня у вас хороший повод набраться как следует... Жаль, что последние годы мы редко собирались. Семьи, дети, внуки, работа, проклятые будничные дела и болезни забирали всё время, и уж некогда было нам повеселиться, как когда-то. И сегодня-то вы встретились из-за меня. А когда ещё соберётесь, кто знает! Может, только – когда повезут одного из вас вслед за мной. Так и разбросает нас всех по разным кладбищам, разным могилам.

Ну, слава Богу, потянул ветерок; кажется, тучи находят. Сухая пыль оседает мне на лицо. Мы подъезжаем к Кольцевой дороге – там, на развилке, должна быть забегаловка; мои дружки, само собой, убыстряют шаг.

...Я вспоминаю метро «Водный стадион» и маленькую квартиру на четвёртом этаже; самого дома не вижу – один балкон в воздухе, и на

нём мать; улыбается, машет мне рукой; рядом наш пёс Челкаш – растянул пасть, вертит хвостом.

– Ой, Лёсик! – восклицает мать, встречая меня.

Она наливает суп, расспрашивает о семье, работе, находит простые выходы из моих запутанностей, приободряет:

– У тебя всё получится, вот увидишь!

А о себе только одно:

– У меня всё хорошо.

Особенностью матери была её искренность, неиссякаемый оптимизм, способность к выживанию в любых условиях, к пониманию других и к бескорыстному добру. Скольким людям она помогла – и не счесть! Даже совершенно незнакомым людям. Её щедрость и милосердие подчёркивали все. Спросите моих друзей – они подтвердят, они-то прекрасно её помнят.

О жертвенности матери к нам, детям, и не говорю – даже во сне она боролась со страхом за наши судьбы.

С детства мать приучала нас к спорту: плаванию, волейболу и лыжам; несмотря на постоянную бытовую неустроенность и нужду, водила нас в театр и цирк и всячески поддерживала наши увлечения рисованием и музыкой – именно она открыла нам великие произведения искусства. У неё, одарённой от природы, из-за жизненных обстоятельств не было возможности раскрыть свои способности, и она делала всё, чтобы у её детей были эти возможности.

Когда мать входила в комнату, казалось, вместе с ней врывался сквозняк. Непоседливая, взбалмошная, противоречивая, она всех заражала своей энергией и даже в самых безнадежных ситуациях не теряла самообладания. Судьба обрушила на мать страшные удары, от которых любой мужчина зашатается, а она выстояла, и улыбка, как символ несгибаемости, никогда не исчезала с её лица. Многие завидовали её оптимизму (и даже внешности), посмеивались над её странностями, смелыми, необычными поступками; некоторые называли её «чокнутой», «полоумной»; кое-кто попросту издевался над ней...

Да что там! – у нас ведь всегда травили тех, кто отстаивал своё «я». Но мать выстояла, и её пример поддерживал меня в трудные минуты; она вселила в меня, быть может, самое ценное – жизнестойкость, умение выжимать максимум из своего положения.

После самоубийства отца улыбка матери потускнела, после гибели моей «заколдованной» сестры (она решила «полетать» и бросилась вниз с нашей лоджии на Кронштадтском бульваре) – стала смутной, усталой. К семидесяти годам, после инсультов, когда мать часто заговаривалась, гримасы на её лице лишь отдалённо напоминали прежнюю лучезарность, но ничто не сломало её дух – она и умерла с улыбкой.

Яснее ясного – чтобы иметь свободу духа, надо быть личностью... Мать всего добилась самостоятельно, без всякой поддержки; она – единственная женщина, кто в нашем захолустье изучил стенографию и машинопись, и, несмотря на множество преград, вернулась на родину, добилась прописки, а позднее и квартиры.

Она никогда ни перед кем не унижалась и всю свою жизнь отстаивала справедливость, а когда ей было плоховато, вспоминала светлые минуты жизни – их было немного, но всё-таки они были. В общем, такие сумасшедшие, как мать (а у неё действительно иногда бывали нервные срывы и даже сдвиги разума, и однажды она недолго лежала в больнице), занимают в мире особое, возвышенное место. Я догадывался об этом ещё при её жизни, но окончательно понял, когда она умерла, когда с её смертью и мне открылись ворота на Тот Свет.

Последние десять лет мы прожили вместе; те годы оказались самыми спокойными; наконец-то мы имели хорошую квартиру и всё необходимое в быту; я неплохо зарабатывал, иллюстрируя книги, и, вместе с пенсией матери, нам хватало для «среднего уровня жизни», мы даже два раза ездили в Крым.

Пока мать была здорова, я не знал забот – наша квартира всегда сверкала чистотой, у нас всегда был хороший обед и ужин; мать выгуливала Челкаша, перепечатывала мои рассказы. Потом всё резко изменилось. Мать скрутили болезни, и мне всего досталось сполна. Бывало, придёшь домой и не знаешь, за что братья. Приходилось одевать мать, менять ей простыни, выслушивать её бред. Случалось, сдавали нервы, я запихивал мать в её комнату, орал на неё – приближал, негодяй, смерть больного, беззащитного человека. Всё думал – у неё временное умопомрачение, и силой взывал к разуму; не понимал, глупец, что есть непоправимые состояния, неизлечимые болезни (особый идиотизм – я просмотрел у матери инсульт). Сотню раз давал себе слово сдерживаться, но постоянно его нарушал.

– Хотя бы не делала того, чего нельзя делать, – ворчал себе под нос, но со стороны видел низость своих поступков.

Когда мать окончательно парализовало, до меня наконец дошло, что она уже не поправится, и я стал более-менее заботливой сиделкой: обмывал мать, менял её бельё, но и в те дни, когда одолевала усталость, бывало, проявлял жёсткое раздражение и говорил матери грубости. На костёр меня! На костёр!

Я вспоминаю, как подростком рисовал натюрморт – яблоки, груши... а потом сожрал все фрукты, и мать презрительно фыркнула:

– Тебе не стыдно? Даже не угостил сестру с братом! Эх ты!

Вспоминаю, как во время скитаний в Москве писал матери злые письма, чтоб выбиралась из захолустья, пока вслед за сестрой не заболела и вся семья. Но что мать могла сделать, если отца не отпустили с оборонного завода? И позднее, уже в Ашукино и в Ховрино, я обвинял мать во всех наших бедах, не понимал, кретин, что всему виной была война. Случалось, мать не выдерживала:

– Господи! И в кого ты такой родился? Учти: первое, что я скажу женщине, которая отважится быть твоей женой, что она выходит замуж за чудовище.

Ей не пришлось это говорить – такой дуры не нашлось; вернее, нашлась, и даже не одна, но больше двух лет со мной никто не протянул (в гражданском браке).

Помню, как ворчал, когда мать на последние деньги отвозила сестре в больницу фрукты и сладости:

– Нина может подождать до полочки, а мы еле наскребли деньги на хлеб.

Идиот! Не понимал, что для сестры встреча с матерью – единственная радость, а без фруктов ей просто не выжить.

Друзья помогли мне похоронить мать, но во время поминок у нас, уставших, произошёл срыв – мы развеселились сверх всякой меры. Всё началось с того, что появился мой ближайший друг Валерий Котельников – он только вернулся из командировки и приехал прямо с вокзала. После третьей рюмки он сказал:

– Ольга Фёдоровна любила весёлую музыку, – подошёл к пианино и мы затанули любимые песни матери.

Дальше – больше: кто-то сплясал, кто-то стал мериться силой... Это была разрядка после напряжённого дня, но, понятно, со стороны мы

выглядели придурками. Борис Воробьёв долго сидел насупившись, в конце концов его прорвало – он ударил кулаком по столу.

– Вы что, совсем спятили?! Человек умер, а они топают, гогочут!

Он ушёл, хлопнув дверью, а мы стали оправдываться друг перед другом и перед матерью. Когда друзья разошлись, я заметил – на подоконниках завяли все наши домашние цветы.

Сразу же после смерти матери я не до конца осознал потерю, но с каждым днём мать всё больше напоминала о себе – снилась мне здоровая, жизнерадостная: я видел, как она гуляет с Челкашом у озера или развешивает бельё на балконе и поёт. А иногда мать бесшумно переступала порог комнаты и смотрела на меня с немым укором или, виновато улыбаясь, просила прощения за то, что доставила мне столько хлопот, и спрашивала, как мне теперь, намного ли легче живётся? Она по-прежнему светилась, но уже каким-то отражённым светом.

Став старым, я перед собой оправдывался: всю жизнь несущий тяжёлый крест – больные родители, сестра-инвалид, неврастеник брат (с кратковременными, слава Богу! – раз в год, затмениями), дочь с диагнозом депрессии (наверняка наследственной) и даже пёс Дым страдает эпилепсией. Какой-то рок! Попробуй такое выдержать! И как сам от такого окружения не спятил?! (Впрочем, друзья давно считают и меня чокнутым).

Но, как бы я ни оправдывался, моим выходкам нет оправдания; не случайно последние годы прошлое тянуло меня назад, мучительные угрызения совести, чувство вины перед родителями не давали покоя, по ночам во сне я разговаривал с ними, просил прощения; редкий день засыпал спокойно, чаще – жестокие воспоминания наваливались и душили так, что из глотки вырывался стон, а то и крик (соседи стучали в стену, мои собаки тревожно скулили, пытались меня разбудить.) И случалось, там же, в ночном забытьё, я убеждал себя, что всё случившееся – всего лишь страшный сон, и утром, когда проснусь, увижу отца и мать живыми... – я цеплялся за последнюю возможность уйти от реальности... Быть может, хоть этим откровением немного замолю свои проступки, своё бесчестье.

А родные... родные давно меня простили... Вот и сейчас вижу отца и мать: они стоят, воскресшие, у своих могил, молодые, улыбающиеся, в увядших цветах, а за ними река, и вдоль реки цветут вётлы. В самый неподходящий момент встречаю родных! Такой мутный праздник!

Мы смотрим друг на друга, и мне не верится, что я старше их. Они совсем молодые, а я старик с лицом в морщинах – не лицом, а маской из скомканной бумаги. Я подхожу к ним, пытаюсь что-то сказать и не слышу своих слов... А они отдаляются, прощаются со мной долгими плавными жестами и улыбаются, улыбаются, улыбаются...

...Ну вот мы и за Кольцевой. Мои дружки, само собой, рыскают по сторонам в поисках забегаловки. Ещё не протопали и трёх километров, а уже наплели шофёру, что притомились. Вот сачки. Пусть зашибают, я не против, лишь бы не свалились раньше времени – рассчитали б силёнки да довели меня до места. Вон и шофёр вылезает из кабины, пошёл куда-то в сторону, решил размяться; на меня и не взглянул, точно везёт дрова. Но собаки-то со мной, ни одна не вернулась!

А небо затягивается тучами – они набухают, ширятся; вот и первые тяжёлые капли падают на моё ещё не остывшее тело. А вот и посыпал частый прозрачный дождь. Сквозь дождевую сетку видно, что мои дружки и не чухаются, будто так и надо, чтоб меня заливало водой. Нет, всё же подходят, прикрывают меня крышкой... Заурчал движок, задёргался кузов, рвануло – покатили дальше, прямо под дождём.

По небу полосонула молния, шарахнуло так, что меня подбросило, и сразу рухнул ливень. Поблизости, как назло, ни одного укрытия.

Вот уже и дорога превратилась в мутный поток с водоворотами, кажется, меня везут по дну реки; и что за чертовщина – на стенах домов водоросли, ракушки, водяные цветы. Мои дружки словно призраки из влаги: барахтаются в воде, озираются, ищут любую зачуханную забегаловку – обсохнуть, согреться водочкой, на худой конец – наливкой. Сразу протрезвели, гаврики! А погоду поносят – дальше некуда! И не шевельнут мозгами – гроза-то вроде прощальный салют в мою честь.

А это что ещё? Дружки пытаются забраться в кабину!.. И вроде уместились – не пойму, каким образом, ведь все не из худеньких!.. Но куда свернул шофёр, дубина?! Вот упёрлись в какой-то тупик. Не хватало ещё здесь остаться! Я представляю – давно стоит ржавая колымага с истлевшим ящиком, и по мне ползают муравьи... Нет, пятились задом, чуть собак не придавили. Шофёр, осёл, ни черта не соображает. Надо же шарахнуть в дерево! Тесно ему, видите ли, на улице; развернуться не может. И опять не туда покати.

Дьявольская ситуация: блуждает мой гроб по пустынным, залитым водой закоулкам. Мокрые собаки бредут за грузовиком. Дружки в ка-

бине матерятся, костят небо последними словами, и невдомёк им, что неспроста они плутают – какая-то неведомая сила даёт мне отсрочку.

Но вот, наконец, разобрались, выкатили на высокое место; шофер приткнул грузовик к закусочной-стекляшке; дружки один за другим исчезают за дверью. Подплывают собаки, отряхиваются, залезают под грузовик.

...Ну что ж, надо дальше выворачиваться наизнанку; пора припомнить и остальное своё низкое, позорное. Многих, очень многих я обижал в жизни, но больше всего родных. Я в неоплатном долгу не только перед родителями, но и перед сестрой и братом. В детстве измывался над странностями «заколдованной» сестры, называл её «жирной», шпынял брата...

Помню, однажды приятель дал мне на полдня велосипед; брат уходил в школу и попросил не отдавать машину до его возвращения. Я пообещал, но, накатавшись вдоволь, вернул велосипед приятелю, причём сделал это беспричинно. Само собой, прибежав из школы и узнав, что я вернул велосипед, мальчишка расплакался...

В юности, когда у сестры обнаружилась шизофрения, помню точно – на людях стеснялся её. Ну а брата вечно поучал, с диктаторскими замашками пытался сделать из него своё подобие (хотя ему во многом и помогал).

До зрелого возраста я усложнял близким и без того нелёгкую жизнь и, понятно, принёс им немало переживаний. Всё из-за отвратительного характера, невыдержанности, махрового эгоизма, а попросту – из-за слабоватых мозгов. На людях ещё сдерживался, а дома распоясывался – дальше некуда. И плохое настроение, и злость от неустроенности и разных неудач – всё вымещал на родных, придирался к каждой чепухе. Болваном, вот кем я был. Понятно, как многие вспыльчивые, неуравновешенные, быстро отходил; наору, разряжусь – и лезу просить прощения. А близким-то какво?!

В каком грехе ещё признаться?.. Ну ясно, не зачеркнёшь моего «геройства» как охотника. Первой моей добычей был дятел(!). Подростком я, идиот, решил похвастаться перед приятелем меткостью и выстрелил в птаху, даже не зная, какую она представляет ценность. Тогда же на реке убил змею; она грелась на солнечной отмели –и, только разглядев, понял, что лишил жизни красавца ужа. Чуть позднее утопил трёх котят нашей кошки (что считалось в порядке вещей в нашем

посёлке), застрелил кролика и поросёнка. К счастью, в дальнейшем мои трофеи исчислялись только двумя голубями и тремя утками – к двадцати пяти годам я одумался и забросил охоту навсегда, утопив в озере все принадлежности.

Помню, будучи бездомным и безработным в Москве, изредка ночевал у тётки. Однажды из Казани приехали мои приятели-художники Александр Солдатов и Валерий Осипов – они решили поступать в институт, но провалились и на пару дней оставили свои работы у тётки. Алкоголичка тётка взяла из папок два эскиза и повесила на стену. Я знал об этом, но скрыл от приятелей – подумал, что в ворохе работ они ничего не заметят. Такой был идиот! Позднее, правда, написал им покаянное письмо, но они не ответили. И правильно сделали.

В те годы скитаний по столице от безденежья я часто занимал у приятелей деньги, но всегда вовремя отдавал; иногда перезанимал, но все долги погашал чётко (к этому приучил отец). Только для двух человек я так и остался должником.

Первый – студент Борис (забыл его фамилию), с которым встретился в библиотеке «Ленинке»; у него я занял всего-то на обед и сигареты, но долго не мог отдать. Спустя лет пять мы случайно встретились на улице, и надо же! – хоть провались на месте! – но и в тот день я оказался без гроша. До сих пор помню его убийственную усмешку...

Со вторым – художником Алексеем Чухниным из Ярославля – мы вместе поступали во ВГИК (оба неплохо сдали экзамены, но нас не приняли); целый месяц мы жили в общежитии на Яузе и за это время крепко сдружились. После экзаменов студент того института Анатолий Лупенко, с которым я был знаком ещё раньше по «Ленинке», уговорил меня занять деньги у Чухнина и съездить в Ленинград.

– Потом подработаем и вышлем ему в Ярославль, – сказал.

Только спустя какое-то время до меня, тугодума, дошло, что этот Лупенко попросту трепач, да ещё жмот, хотя и был единственным сыном богатых родителей (вскоре он умер от пьянства). Ну а тогда мы заняли у Чухнина деньги на билеты и укатили в северную столицу... В Москве я перебивался случайными заработками и при первой возможности хотел расплатиться с Чухниным, но не нашёл его адреса. В дальнейшем не раз знакомые ярославцы пытались его разыскать, но и у них ничего не получилось. Прости меня, Алёша!

В те же далёкие годы я со студентом-физиком Александром Шульгиным на попутных машинах ездил по южному побережью, и, помню, где-то в Планерском к нам подсел местный алкаш, колоритный старикан – копия актёра Антони Куина. Умный, ироничный, он искал собеседников и не скрывал, что был бы благодарен за стакан вина, а я, идиот, начал ему грубить, да ещё пристыдил – мол, не опускайся, возьми себя в руки, устройся работать... Такой был дурак, начисто лишённый «милости к падшим».

Не так давно поехал в изостудию, выскочил из дома и заспешил к метро. На полпути меня окликнули:

– Синьор! Не найдётся закурить?

У подъезда на скамье сидел пожилой небритый мужчина с хорошим, располагающим лицом; судя по его усталому виду и пиджаку, который он держал в руках, и рядом стоящему чемодану, – приезжий. У меня были сигареты, но я замотал головой – боялся опоздать к ученикам. И куда спешил? Ну подождали бы ребята, ничего страшного. А в мужчине чувствовалась личность; может быть, разговор с ним стоил десятка уроков рисования. И сколько я так отмахивался от людей! Вот вспомнил ещё.

Лет в тридцать возвращался с юга на своём старом «москвичонке»; где-то под Ростовом в полной темноте тянулся за вереницей машин. Внезапно на обочине увидел бородатого парня с рюкзаком, он тянул руку. Я проскочил его, но вполне мог притормозить. «Возьмёт кто-нибудь ещё», – подумал и стал смотреть в зеркало заднего обзора. Машин катило немало, фары высвечивали одинокую фигуру, но никто не останавливался. И я вспомнил, как сам не раз топал с рюкзаком по шоссе и проклинал шофёров попутных машин. Что ещё вспоминается?

В нашем доме на Светлом проезде жила одна смешная девчужка – нос острый, глаза раскосые. Ей было лет семнадцать-восемнадцать, а мне на десять больше. Кажется, мы немного симпатизировали друг другу, но чисто по-дружески, просто ради любопытства. Однажды она завела собаку – молодого кобелька эрделя; тот пёс ко всем лез играть, но это я понял позднее, а когда впервые столкнулся с ним (девчужка выгуливала его без поводка), пёс бросился на меня с лаем. Я подумал – хочет цапнуть и попытался дать ему ногой по морде.

– Ну зачем вы так? – проговорила юная хозяйка собаки, и мне стало жутко стыдно.

Теперь-то я безошибочно прочитываю все мысли собак, наперёд угадываю их намерения, но тогда... И всё равно моим отвратительным пируэтам нет оправдания. Понятно, после этого девчушка проходила мимо меня с презрительной гримасой. Мы встретились в вагоне метро спустя лет пять-семь, когда и она, и я уже жили в других районах; она стояла с мужчиной моего возраста, они обнимались далеко не дружелюбно. В какой-то момент она заметила меня, но даже не кивнула и, чтобы подчеркнуть свою любовь, ещё ближе прижалась к своему спутнику и поцеловала его. Дай Бог ей счастья!

Раз уж заговорил о собаках, расскажу и о своих дружках – Челкаше и Дыме. Однажды, когда мы с матерью уже жили на Кронштадтском бульваре, заболел наш пёс Челкаш. Я привёз его в ветлечебницу и занял очередь к врачу. Внезапно появилась молодая пара с собакой в наморднике; минув очередь, молодые люди подошли к кабинету врача и постучали в дверь. Я возмущился – почему вне очереди? Молодые люди пробормотали что-то и даже не взглянули в мою сторону. Вышел врач, я к нему с претензиями – здесь всё по знакомству, что ли?

– Извините, но это не рядовой случай, – спокойно сказал врач. – Это бешенство.

И только тут я заметил безумные глаза собаки и растерянность и отчаяние на лицах её хозяев. И вновь испытал жуткий стыд.

Второй мой пёс – Дым – прожил огромную жизнь, шестнадцать с половиной лет; можно сказать, был патриархом собачьего племени. Но в последний год, после инсульта, у него парализовало задние лапы, он стал плохо соображать, ходил под себя и, случалось, кусал меня. Некоторые советовали его усыпить, говорили: «Он же мучается!» Но об этом я и слушать не хотел – все должны умирать своей смертью. Да и не очень он мучился – у него был отличный аппетит, по три-четыре раза в день я выносил его во двор и, поддерживая полотенцем за задние лапы, выгуливал среди деревьев; и мыл его в ванной, а на ночь укладывал на мягкой подстилке рядом со своей тахтой, и гладил – ну, в общем, ухаживал, как за старым членом семьи. А у него, повторяю, бывали заскоки, и он меня кусал до крови. Два раза я сорвался: однажды отшлёпал его полотенцем, второй раз надавал по морде...

Он умер тихо, ночью, в полудрёме-полусне (как умирают святые, хотя был далеко не святоша), только немного застонал перед тем, как

испустить дух. Я похоронил его честь честью (на опушке леса, около своего участка, рядом с Челкашом) и помянул не раз и не два, но те случаи, когда лупил его, больного, ничего не соображающего, терзали мне душу все последние годы. Как-то я вычитал: «Все псы попадут в рай», но для меня ясно – нет ни рая, ни ада, всё это придумали на земле; но есть успокоение, успокоение от тягот жизни и болезней.

Собственно, что я здесь перечисляю свои мелкие проступки, ведь поступал и более отвратительно. К примеру, бывало, в компаниях ЦДЛ, как последний трус, молчал, когда надо было врезать правду в глаза, назвать вещи своими именами; здоровался с людьми, которых считал негодяями, – при встрече хотел молча пройти мимо, стискивал зубы, но, поравнявшись, невольно кивал, а то и (бесхребетный болван!) пожимал протянутую руку. Всего лишь двух-трёх навсегда послал куда подальше, а надо было с десятков, не меньше.

Да что там! – на моей совести полно тёмных пятен. Только в шестьдесят лет, разозлившись на себя, порвал со всеми, кто вызывал неприязнь, и даже с теми, кто не был единомышленником и считал себя «человеком другой культуры» (западной), при этом каждому сказал в лицо, что о нём думал. Ясно, нажил немало врагов, зато очистил своё пространство.

...Везут, везут меня по улицам жизни, вернее, по одной улице длиною в жизнь – везут к последнему приюту. Вон на том чердаке в молодости провёл две ночи, и в том подъезде ночевал; недоедал, промокал, за какую только работу не брался. Вон склад, где после армии работал грузчиком, вон фабрика и труба с молниеотводом – его я ставил; в те годы, помнится, случалось, не было и пятака на метро, и тогда топал через полгорода на своих двоих... Вон почта – там шоферил, развозил по вокзалам посылки, вон конструкторское бюро, где работал чертёжником... Вон больница, где лежала сестра и куда мы с матерью ездили по воскресеньям в течение многих лет... Вон фотоателье, где снимал клиентов, за ней театры – в одном малярничал, в другом писал декорации...

Вы, мои дружки, в это время оканчивали институты, уже занимались литературой, вовсю крутили романы, а я познавал законы улиц, обзаводился столичными приятелями, осваивал разные профессии. Понятно, зря ничего не бывает – вроде за те годы я научился более-менее разбираться в людях.

Как далеки те бесприютные годы, но они всю жизнь напоминали о себе в снах. В мучительных снах: то не имею прописки и прячусь от милиции, то мокну под дождём, никак не найду ночлег. После армии меня, по недосмотру паспортистки, прописали у тётки постоянно (потом-то спохватились, переписали на «временно»), но, можно сказать, в столице я зацепился случайно, и часто в снах видел – ошибка открылась и меня арестовывают. И наяву, случалось, в непогоду вспоминал своё бродяжничество и думал о теперешних бомжах (своё жильё я заимел лишь в сорок с лишнем лет!); в солнечные дни вспоминал больницу сестры и думал о тех, кто там находится годами, а то и всю жизнь. Что и говорить, мои молодые годы оставили глубокие рубцы.

В подростковом возрасте цыганка нагадала мне короткую жизнь; понятно, все гаданья – шарлатанство, но я бессознательно всегда торопился жить, и жил неорганизованно, на износ, тратил себя без оглядки, варварски относился к здоровью. И сколько натворил глупостей! Потому и ненавижу себя за бездумные траты, за то, что мало воевал с самим собой.

Что странно, в период скитаний я почти не болел. До возраста Христа и не знал, где какие органы. Выезжал за счёт крепкого организма. Но разрушить-то можно всё. В конце концов и я приобрёл полный набор болячек: ревматизм, язву желудка, потемнение в легких, потерял половину зубов, поседел, полысел, по утрам мучил кашель, по ночам бессонница. «Ничего, – думал, – будут денежки – отогреюсь где-нибудь в Крыму, подремонтируюсь».

Но дальше – больше: старые болезни перешли в хронические, да ещё появился целый букет новых: остеохондроз, радикулит, давление. Бывало, скручивало не на шутку – не мог вздохнуть полной грудью, или прихватит – всё тело ломит, и боль – хоть на стену лезь. А тут ещё сам добавил: от курева полетели бронхи, от выпивок – почки, печень. И зрение ухудшилось, и сердце стало барахлить, да ещё сломал ногу...

Ну да что хныкать! Пора сказать о главном – о работе. А говорить-то, собственно, не о чем, здесь вся и загвоздка. Ну не сделал я ничего значительного, ничего не прибавил к опыту человечества, не скрасил его бытие, не совершил никакого подвига, так – потрепыхался в своём аквариуме, и всё. Ну как я жил? Молодость ухлопал на прописки и дурацкие работы, чтобы только протянуть от зарплаты до зарплаты. Позднее, когда наладил быт и нашёл своё место в жизни (стал гра-

филом), начал навёрстывать упущенное, да тут же ударился в пьянки с друзьями и авантюрными женщинами.

До пятидесяти лет не припомню случая, когда в течение месяца работал безвылазно, напряжённо. Бывало, посижу три-четыре часа и вскакиваю. А если и переработаю лишний час – считаю, совершил почти героическое. Вот болван! А ведь от природы не был совсем уж безголовой чуркой и, может, если б взял себя в руки, сделал бы что-нибудь ценное.

Впрочем, может, и не сделал бы, кто знает! Ведь в искусстве нужны не только голова и сердце, нужна ещё самодисциплина, чтобы оградиться от жизненных соблазнов. А её-то у меня и не было никогда. Понятно, раз полез в искусство, должен сделать что-то такое, чтобы мир после тебя стал хотя бы чуть-чуть лучше, чтобы в нём стало поменьше зла. Мне это не удалось.

Ну а вне искусства кое-что полезное я всё же сделал: на заработанные деньги отправлял мать и брата на отдых к морю, двадцать пять лет вёл изостудию – учил ребят рисовать; нескольким людям помог устроиться в Москве, подыскал им работу; двум приятелям предоставлял жильё, трём помогал строить дома, многим чинил машины... Что еще? Ну лечил и пристраивал бездомных собак, уберёг двоих друзей от самоубийства (Валерия А. – «Петровича» и Игоря Б.) и откачал девчужку, утонувшую в море. И ещё одну спас, которая хотела броситься под электричку. И это, пожалуй, всё. Больше вроде похвастаться нечем. Маловато для целой жизни. Ясно, мои грехи намного перевешивают мои добрые дела, ведь перечислил первое, что пришло в голову, а, если пораскинуть мозгами, наберётся целый воз проступков.

Смешно, но настоящее я всегда рассматривал как некую прелюдию к будущему. И серьёзную работу, и крепкую семью откладывал на потом. И вдруг в шестьдесят лет понял – никакого будущего не будет, что лучшие дни катастрофически быстро прожиты и что так нелепо и закончится моя жизнь.

Как многие провинциалы, я хотел пробиться в столице, занять жильё, купить машину; дальше планировал построить катер и дом на природе. И в конце концов (что довольно странно) всё это осуществил, но – кто бы мог подумать – через десяток лет всё это «богатство» для меня потеряло ценность. В самом деле, ну что радоваться, к приме-

ру, квартире в сорок лет? Позарез нужна хотя бы крохотная комната в юности. А я в юности скитался по подвалам и чердакам. Всё надо получать вовремя. И комнату, и работу, и дружбу, и любовь...

Ну а потом «демократы» устроили переворот, и такие, как я, стали никому не нужны – об этом уже говорил. Наверно, можно было походить по издательствам, поклянчить оформительскую работу у знакомых, но я никогда ничего не просил, знакомствами не пользовался – на этот счёт у меня имелись кое-какие принципы. Короче, последние годы жил только на пенсию (изредка подрабатывал на разгрузке книг) и вернулся к тому, с чего начинал: обедал в забегаловках, одевался как студент из общаги; случалось, сдавал бутылки, чтобы купить сигареты – в общем, прошёл ведьмин круг.

О чём надо сказать, так это о том, что я всегда жил двойной жизнью – реальной и воображаемой. Вспоминая детство, представлял солнечный край, приветливых соседей, а жил в захолустье на полустанке, среди нищеты. Родных представлял здоровыми, весёлыми, а они были больными. Воображал себя студентом, но, по сути, им был всего полгода, а потом меня не приняли ни в один институт. Мечтал о чистой романтической встрече, венчание в церкви, а прожил два года с глупой женщиной без всякого венчания. В зрелом возрасте хотел иметь дом на берегу водохранилища, хорошую машину, яхту и на участке много всяких животных, а заимел всего лишь летнее жилище с железной печуркой, старый «москвич» и фанерную лодку-самоделку, а из животных – только собак и кошку. Но главное, хотел иметь красавицу жену, пять-шесть детей, внуков – ведь счастье именно в крепкой семье, а её-то у меня и не было. И виноват только сам, хотя вечно прикрывался обстоятельствами.

Многие мои мечты так и остались мечтами: хотел поплавать на паруснике, но так и не довелось; хотел съездить на лыжную турбазу (ведь был неплохой лыжник), но не съездил; мечтал побывать в Ирландии, Исландии и Новой Зеландии, но так и не побывал.

...Ну вот и кончился ливень; вновь появилось солнце. Солнце! Мне всегда его не хватало – как назло, вечно обитал в подвалах и на первых этажах, куда свет не проникал. И вот теперь мне воздаётся сполна. В квартиру на Кронштадтском бульваре, где мы с матерью жили, солнце тоже не заглядывало – окна выходили на север. Но однажды я проснулся... от солнца! Открыл глаза от бьющего в лицо нестерпимо яркого

света! Подумал – ядерный взрыв или ещё какая-нибудь чертовщина, подскочил к балкону и не поверил глазам – солнце всходило напротив окон. Выбежал на улицу, но светило уже переместилось на обычное место – оказалось, дом просто на минуту развернул подземный ток воды, ведь наши дома стояли на болоте. Говорили, раньше они вообще крутились, как корзины в луже, потом фундамент укрепили. Укрепили, да, видно, не очень... В тот день умерла мать.

И вчера, когда у меня остановилось сердце, денёк начинался как нельзя лучше: в столе я нашёл деньги, которые когда-то положил в заначку и забыл; позвонил приятель, пригласил вечером распить бутылочку; в окно влетели бабочки-лимонницы и устроили в комнате хоровод. Одно к одному все приметы везения – и вдруг на тебе!

...Дружки вываливаются из забегаловки – уже засадили будь здоров! Пошатываются, смахивают пот, топают устало, тяжело, словно тащат бочки с водой; плятятся на грузовик и, кажется, только сейчас всерьёз почувствовали, что им не хватает меня живого.

– Ладно, поехали! – машет шофёр, и мой траурный экипаж двигается с места.

С улиц вода сошла, и некоторое время стоит мутная тишина, от влажных деревьев, от домов и асфальта валит пар, но вот уже улицы вновь оживают, бурлят. Мы сворачиваем на грунтовую дорогу – впереди городская окраина.

Нас обгоняет мальчишка, бегущий верхом на палке – осоловело счастливый, скачет по улице, бросил взгляд на катафалк – что там громыхает? – и отвернулся. Остальные и вовсе не замечают: и та бабка, выбирающая овощи, и старикан, читающий газету на стуле перед домом, и те подростки во дворе, лопающие арбуз... Как же теперь дороги эти бытовые картинки! Я смотрю на арбуз и представляю астраханских крестьян на бахче, которые под палящим солнцем грузили этот арбуз на телегу, и грузчиков, которые таскали арбузы на баржу, и речников, везущих баржи по Волге, и пьяненького шкипера в рубке, увешанной вяленой рыбой... Я их всех отлично знаю, ведь всегда находился в жизненной гуще – чего-чего, а этого у меня не отнимешь. Вот, пожалуйста, катафалк проехал, а по следам прямо на глазах прорастает трава. Не случайно ведь это!

Я умер, а ничего не изменилось, жизнь продолжается и прекрасно обходится без меня... Из-за поворота выскочил трамвай, промытый

дождём, ярко-красный, с блестящими цифрами на боку, звенит, раскачивается, пружинит, катит по рельсам, рассыпая искры. Люди едут по своим делам, на последней площадке целуется парочка. Я представляю, как сейчас один мой приятель корпит над картиной, другой стучит на машинке, третий звонит на работу – просит отгул: никак не может расстаться с собутыльником; ещё двое устроили во дворе перекур, чешут языками. Остолопы! Давно уж поинтересовались бы, куда я пропал, узнали бы, что сыграл в ящик, да пришли б проводить. Где там! А может, и прослышали про мою кончину, выдали по дежурной фразе:

– Неплохой был мужик. Ну, как говорится, пусть ему земля будет пухом, – и тут же забыли обо мне.

Я не в обиде, поскольку давно ко всему готов. И давно выкинул из головы все наши размолвки. Теперь мне просто невдомёк, чего мы не могли поделить, чего сотрясали воздух, толкались локтями? Жизнь-то – короткая штука, и надо было щадить друг друга, хотя бы изредка вспоминать о смерти, спешить делать добрые дела.

...Ну вот и выехали на окраину. Дорога стала ухабистой, как стиральная доска: меня так и подбрасывает. По краям потянулись деревянные дома, сады, огороды с чучелами – пугала трещат вертушками, гремят склянками, жестяными банками – прощаются со мной, – безмозглые истуканы и те соображают больше, чем мои приятели, – я о тех, которые сейчас просиживает штаны в нашем клубе. Они без умолку трепяся о всякой ерунде, и уж женщины ни одной не пропустят – будьте уверены. Но неужели было трудно прийти проводить меня?! Сколько мы торчали в клубе, и вот получаю – они не выбрались на мои похороны.

Я только сейчас заметил – около меня нет цветов. Что ж это получается?! Эти обормоты дружки ни одного цветка мне не притащили. Я уж не говорю о нормальном катафалке или об оркестре. Жмоты! Не могли скинуться. Как будто я каждый день загибаюсь.

А солнце шпарит сильнее прежнего. Слева вдалеке перелески и где-то там Москва-река... Я вижу белопесчаный пляж, загорающих девиц и женщин. Они смотрят на меня и не печалются, даже улыбаются. Не смеются – улыбаются. Все, как одна, красивые до жути!..

Под старость я обнаружил – красивых женщин становится всё больше, но они меня уже не замечали... Прощайте, красавицы, и про-

стите за всё! Теперь я принимаю все ваши обиды и упрёки, ещё немало – и за них отвечу по первое число...

Женщины, женщины, сколько вас было! И вот надо ж, ни одна не идёт за моим гробом!.. Вообще-то, так и должно было случиться; правильно сделали, что вычеркнули меня из своей жизни. Я ведь к вам особенно не привязывался, считал – главное, чтобы женщина вписывалась в мою жизнь, но при этом её не баламутила... Но помню вас всех. Вот вы все стоите передо мной. На самой длинной улице моей жизни. Одни насмешливо усмеваются – «так тебе и надо, старый чёрт!» – эти давным-давно меня забыли. Другие и раньше отворачивались от меня при встрече, теперь и вовсе смотрят укоризненно, осуждающе. Третьи – безразлично, и только две-три тревожно...

Женщины! Меня всегда к вам тянуло – ну разве я виноват, что таким родился?! Говорят, все таланты волочились за слабым полом, дайте хоть в этом примазаться к талантам...

Я метался от одной женщины к другой, всё искал «свою, совершенную»; и ухлопал массу времени в погоне за счастьем. А потом оправдывался перед собой – «если б не женщины, сделал бы гораздо больше». Чепуха! Теперь-то знаю точно: сделал то, на что был способен...

Конечно, женщины потрепали мои нервишки, но всё же, признаюсь, бывало, дарили радостные минуты. Я влюблялся в голос, в походку, в умение слушать и умение говорить; влюблялся в красавиц и уродин, в маленьких – прямо лилипуток – и в высоченных, как жирафы, в пышных, необъятных и тонких, как жерди, разных возрастов и национальностей. Одни из них, обнимая меня, разглядывали обоим и говорили о своих женихах, другие закрывали глаза и теряли речь, третьи бросались на меня, как тигрицы, и, когда их страсть доходила до кипения, кричали так, что сбегались соседи...

В молодости от бездомности я тащил своих подружек в парки, в лес; в зрелости, когда жил с матерью, уединялся с ними в машине и мастерских друзей – да, собственно, что перечислять, здесь и так всё ясно.

Несколько лет назад я решил вернуть прошлое и целый день гонял на машине по городу, объезжал места былых свиданий. И – надо же! – увидел многих своих женщин – такими же молодыми и красивыми, как когда-то. Только они уже встречались с другими мужчинами...

Признаюсь, от многих былых свиданий у меня остались светлые воспоминания – известное дело, прошлое (романтического свойства) всегда кажется лучше настоящего.

...Всё осталось позади, мы уже подъезжаем к моему пристанищу, уже видны корявые тополя, мрачная ограда, и крематорий, и гулкая пустошь за ним. Шофёр прибавил газу, мои дружки еле успевают – всё же прилично назююкались, да и измучились – столько протопали! Запыхались, но не окликнут шофёра, не осадят – уже поднадоела церемония.

Грузовик встал около пруда, забитого травой и тиной. Подковыляли дружки, загалдели, засуетились. До этого еле держались на ногах, а тут вдруг очухались, стаскивают меня с кузова, тащат на руках через цепкий кустарник и проволочную траву, подносят гроб к могиле и останавливаются, бормоча последние слова, шмыгая носами, вздрагивая; громко завывали собаки. Потом на секунду всё смолкло. На эту секунду застыла струя воды в канаве, замерли в воздухе бабочки-траурницы... Сейчас опустят мой гроб, и всё снова оживёт, закрутится, завертится, но эта секунда – моя, для прощания с этим миром. Она есть у всех...

Меня уже опускают в могилу, уже засыпают, засыпают – обрушился настоящий камнепад!

– Эй, постойте! Ну куда вы так заспешили, черти?! Друзья называются! Скорей бы сбегать меня и в кабак допивать!.. Подождите! Ну что вы, в самом деле?! Что за спешка?! Я ведь ещё не всё досказал. Ещё не вспомнил друзей, с которыми не один год ходил по речкам на лодках, и лазил по горам, и попадал в разные переделки, не упомянул умерших друзей. Ещё не поделился тем, что хотел, но не успел сделать, не сказал о выставках, на которые ходил с друзьями-художниками, и о джазовом клубе, куда меня проводили друзья-музыканты, и о многом другом не сказал... Ну да прощай, этот мир! Жестокий и благодушный, отвратительный и прекрасный! И вы, друзья, прощайте! И зла на меня не держите. И простите, что сегодня доставил вам хлопот. До встречи на небесах!



Каледин К.



Небольсин С.



Луконин С.



Лигутин В.



Тарпара А.

НЕБОЖИТЕЛИ ПОДВАЛА

**Друзьям-стариканам, моей золотой обойме,
последним солдатам Великой страны. От их имени
прошу прощения у молодых людей за то, что мы
не смогли отстоять Советский Союз**



Бобров А.



Казначеев С.



Юшин Е.



Аушев В.



Широков В.



Трапезников А.



Штокман И.

Как известно, в Доме литераторов бывали все писатели: от Горького и Алексея Толстого до советских классиков, но в разбойничьи девяностые годы «демократы» – всякие журналисты с телевидения, захватили вначале Дубовый зал Дома, затем знаменитый Пёстрый зал и наконец прибрали к рукам фойе. Писателям оставили только подвальный буфет.

Конечно, можно жить в просторной квартире или даже в особняке на морском побережье, но видеть лишь вещи, которые тебя окружают. И можно ютиться в подвале без окон, но видеть весь небосвод и морское пространство, и ширь лугов, и лесные массивы, и ощущать радости и боли всех людей, живущих на земле.

Эти очерки о моих друзьях-стариканах, завсегдатаях Нижнего буфета ЦДЛ. Для многих наш подвал – всего лишь логово старых пьяниц, но для кого-то – пристанище философов, романтиков, волшебников слов.

ИЗБУШКА

Великие произведения потому и великие, что понятны всем.

Л. Толстой

Каких только прозвищ не бывает. Особенно впечатляют прозвища в среде боксёров: Кувалда, Гуляющий Мертвец, Хладнокровный Убийца. В среде литераторов поэтесса Татьяна Глушкова тоже давала меткие прозвища: Юрий Кузнецов – Вурдалак, Станислав Куняев – Крокодил, а Эдуард Балашов – Избушка. В самом деле, Балашов, этот вечно сияющий крепыш, в молодости располагал к себе, создавал атмосферу теплоты; у каждого, даже слабого поэта, находил «прекрасные строчки», ко всем женщинам относился по-дружески, без всяких сексуальных поползновений. Понятно, некоторых особ это задевало. Так, поэтесса Лариса Васильева однажды сказала Балашову:

– Я сегодня видела сон – будто мы с тобой в постели. Ты был великолепен. Может быть, нам осуществить этот сон наяву?

Будучи семьянином-пуританином, Балашов ответил шуткой:

– Но мне-то этот сон не снился.

Как-то (опять-таки в молодости) наш герой выпивал в компании литераторов (Кожина, Передреева, Шкляревского); в полночь, когда водка кончилась, его и Шкляревского, как «молодых», послали за бутылкой в ночной ресторан. Перед входом в заведение Шкляревский снял плащ и бросил его Балашову – держи, мол, я сейчас! Он исчез за дверью, но через минуту показался вновь – его за шкирку выталкивал метрдотель со словами:

– Пошёл вон отсюда! Поэт!

Когда же вошёл Балашов, метрдотель отдал ему честь и вызвался принести бутылку. Так было велико обаяние нашего героя.

Балашов и теперь, на восьмом десятке, демонстрирует чарующее дружелюбие; когда спускается в подвал, от его улыбки на широченной физиономии становится светлее. Но теперь у него случаются зигзаги настроений – внезапно он мрачнеет:

– В ЦДЛ много посредственностей. Одни, как ракушки, налипающие на корабль, замедляют наш ход вперёд. Другие идут не по вершинам, а по ущельям.

Теперь Балашов общается только с теми, с кем «определённый уровень сердечности». К примеру, избегает общения с поэтами Сергеем Гловюком и Сергеем Агальцовым.

– Для Гловюка я много чего сделал, – объясняет нам с презрительной гримасой. – Даже вылечил от серьёзной болезни. Достал литий, он попил, и всё прошло. А он, гад, не пригласил меня на съезд славянских поэтов в Твери. Предатель!

Древние римляне говорили: «Выслушай другую сторону». Я выслушал Гловюка:

– Не знаю, помог ли мне литий, ведь мне всё же сделали три операции. На предыдущие съезды в Твери я приглашал Эдика, а в тот раз он, вроде, и не собирался ехать. А насчёт предательства – уж Эдик помалкивал бы. Когда ему сделали шунтирование, я приезжал в больницу, учил его ходить, а когда меня оперировали, он ко мне не наведалься. Но я на него не обижаюсь, а он, видишь, затаил злость.

– Агальцову я отделявал стихи, – возвещает Балашов, – а когда у него вышла книжка, он спрашивает: «Вам её подарить?» Ну не гад?!

Недавно поэтесса Наталья Чистякова составляла сборник восьмистиший. Балашов сказал ей:

– В одном сборнике с Агальцовым не буду. Или он, или я!
Чистякова пожертвовала молодым поэтом.

Особенно Балашов не любит поэта Владимира Дагурова, потому что тот «каждый год выпускает по книжке, но ни разу не поставил бутылку». Ясно, подобные обиды для обычного человека не стоят выеденного яйца, но для таланта масштаба Балашова – смертельное оскорбление. Давно подмечено, что многие старики обидчивы, как дети, но Балашов явно перебарщивает.

Теперь молодых поэтов Балашов с воодушевлением чихвостит, называет «слабенькими талантами», «травой, которая думает, что заслоняет деревья». Или: «Думают, что сидят на деревьях, а на самом деле копошатся в траве». Кое-кому говорит:

– Всё это не поэзия. Надо через видимое показывать невидимое – вот в чём дело! Хватаетесь за дальнее, а упускаете ближнее.

Теперь у Балашова, доцента литинститута, прозвище Профессор. За тридцать лет работы со студентами он настолько вошёл в роль всезнающего мудреца, что частенько поучает и своих друзей-стариканов.

– Запомните, никто не умирает! – толкует нам. – Наш дух материализуется, мы переходим в других людей. Высокий дух вечен. Вот в чём дело! Соображать надо! Ни хрена не знаете! Сапоги! Валенки!

Меня Балашов в шутку называет «пропащим человеком» и постоянно пилит:

– Брось курить!

Особенно его раздражает мой атеизм:

– Атеист тащит за спиной мешок пыли! Пойми, Бог – это высшие силы справедливости.

Я возражаю:

– Какой справедливости, если, к примеру, на самую бедную страну Гаити обрушивается землетрясение и погибает двести тысяч человек?! За что такое наказание? А постоянные войны, когда гибнут невинные?

– Тупое невежество! – взрывается Балашов.

– Не невежество, – обороняюсь я и привожу слова Толстого: «Кто научился размышлять, тому трудно верить». И Хэмингуэй говорил: «Все думающие люди – атеисты». Не случайно Великий князь Святослав (отец Владимира) заявлял: «Христианство – уродство есть». И Жюль Ренар писал: «Христианство – ересь еврейских проповедников». И многие учёные считали религию величайшим обманом.

В заключение, вроде не совсем точно цитирую Набокова: «Я остаюсь безбожником с большой душой в этом мире, копошащим богами».

Иногда у Балашова случаются заскоки и он может сморозить нечто из ряда вон выходящее. Например, мне говорит просто чудовищные вещи:

– Твоя Альма (моя собака) ждёт, когда ты её убьёшь(!) Она будет счастлива. Любовь – это смерть!

Балашов давно ударился в буддизм и частенько вообще улетает в Шамбалу, а нам посылает чёткие наставления:

– И на краю могилы надо догонять звёзды... Крайне важна предсмертная мысль, она будет сопровождать нас в следующей жизни.

Я, как неисправимый безбожник, пытаюсь вернуть Профессора на землю, ссылаюсь на Чехова, Мечникова, Павлова, говорю, что после смерти ничего нет, что вера в загробную жизнь от боязни исчезнуть навсегда. Меня поддерживает поэт Владимир Сергеев. Суть наших выступлений примитивна, но правдива: божественное происхождение человека раньше объясняли от незнания. И почему мы должны поклоняться иудейскому Богу, верить иудейским апостолам? И случайно ли сейчас особенно рьяно о Боге твердят «демократы» (как агрессивны по телевидению всякие сионисты, всякие сванидзе, максимовы, резники, гозманы, пивоваровы) – не потому ли, что религиозными людьми легче управлять, что, наконец, православие вообще рабская религия – над народом издеваются, а он молчит, ждёт Божьей помощи. И не очень-то и дорожит своей жизнью, ведь его ждёт «царствие» на небесах.

– Многие верующие агрессивны потому что у них нет доказательств существования Бога, – говорит Владимир Сергеев, ещё больший безбожник, чем я, и даже больший, чем Стендаль.

– Ни хрена не понимаете! Сапоги! Валенки! – воинственно кричит ломовым голосом Балашов. В такие минуты профессорская улыбка уступает место грозной гримасе, «избушка» превращается в огнёмётный дзот.

За сорок лет, которые я знаю Балашова, я ни разу от него не слышал мягких слов: «по-моему», «мне кажется»; тем более не слышал: «возможно, я не прав». Его не покидает чувство своей исключительности, он постоянно возвышает себя над нами и вещает категорично, не допуская других мнений:

– Нельзя выдавать негатив – только позитив! Нельзя писать воспоминания – это всё равно, что идти вперёд, повернув голову назад. (Не понимает, балбес, что для пожилых людей воспоминания – большая ценность, что, наконец, оглядываться назад необходимо, чтобы видеть, как продвигаешься вперёд.)

В своё время требовательный критик Вадим Кожин втиснул Балашова в двенадцать лучших поэтов России. В те годы Балашов действительно писал прекрасные стихи (один «Артобстрел» чего стоит! Даже если бы он больше ничего не написал, этой вещью он навсегда оставил своё имя в литературе. А он ещё написал «По стихии снега еду», стихи о матери и о детстве), но потом заразился книгами Блаватской и увлёкся Востоком. Позднее он познакомился с рериховцем Валентином Сидоровым, несколько раз ездил в Монголию и Индию, и даже (с его слов) встречался с Далай Ламой, что у многих вызывает сомнение. В результате этих сильнейших впечатлений Балашов (опять-таки по его словам) окончательно «перешёл на другой мыслительный уровень». Само собой, его стихотворчество приняло новый смысл и новую форму.

Дальше Балашов организовал «Общество друзей Блаватской» и в Малом зале ЦДЛ стал вести «клуб Рериха», «ререхнулся», – как говорили недоброжелатели. Но через шесть лет в среде «просветлённых» людей началось брожение: у некоторых появилась гордыня, они возомнили себя людьми высшего порядка. Балашов распустил «блаватских» с наставлением: «Не языками чесать, а находить единомышленников среди знакомых и действовать». (Надо понимать – делать всё, чтобы бестолковый русский народ пропитался восточной культурой.)

Сейчас наш герой усиленно создаёт что-то вроде партии «Мир через культуру» с конечной целью – «бороться за самую высокую власть». Мы горячо поддерживаем эти наполеоновские планы, ведь если Балашов достигнет цели, и нам кое-что перепадёт. Огорчает другое – Профессор уже далеко отошёл от традиций русской поэзии и всю кропает медитации, и «шаманит» – всех пытается заразить «глубинным дыханием Востока».

Летом мы иногда собираемся в кафе «Авакадо» на Чистых прудах, недалеко от дома Балашова. То кафе – пять столиков под раскидистыми липами – Балашов называет «кусочек рая». Он там свой – ему разрешают приносить с собой водку, закуску. Он садится за один и тот

же столик (тянет на мемориальную доску). Как-то наш драгоценный друг принёс огромный, написанный от руки, том и многозначительно заявил:

– Здесь семь тысяч афоризмов и медитаций. Их напечатают после моей смерти. Это будет открытие!

Среди его вирш было нечто захватывающее:

«Если ты не знаешь Восток, ты мёртвый человек»

«Все пути ведут к одной вершине, к единому непроизносимому Слову».

«Энергия духа в гостях у вечности».

И было каламбурное:

«Никто не в силах написать лучше другого, но в силах написать лучше самого себя».

И совсем непонятное:

«Жизнь живёт не ради себя, а ради неведомого ей всего. И всё себя ищет. Ищет в себе. Ищет уже найденное. Ищет утаённое. Когда не ищем ничего для себя, тогда и находим себя».

И, конечно, было красивое:

«Проза поднимает мёртвых, а поэзия даёт им крылья».

«Одно стихотворение способно усмирить шторм или зажечь звёзду». (Это перепев Гумилёва: «Словом останавливали солнце, словом разрушали города». Кстати, и некоторые другие сентенции Балашова – переименование древних мыслителей, а медитации – повтор мудрецов Востока.)

Многим не нравится такое художественное видение мира. Некоторые, слушая Балашова, подмигивают друг другу, крутят пальцем у виска, вздыхают:

– И это говорит человек, окончивший технический вуз!

Кое-кто за спиной Балашова называет его «сумасшедшим» и даже «дураком, от стихов которого можно охренеть». Я называю его «гением парадоксов». Мне нравятся его ранние стихи – да что там «нравятся»! Считаю их великолепными! В них чёткость мысли и накал чувств. А какая чистота исполнения – ничего нет лишнего! Но в медитациях Балашова я ничего не понимаю. Ровным счётом ничего. Но когда говорю ему об этом, он усмехается:

– Высокая поэзия – это огонь, её нельзя трогать грязными руками. Ты ещё не поднялся до понимания высочайшей поэзии.

– Видимо, уже не поднимусь, – удручённо вздыхаю.

– Поднимешься, если очистишься от всякой дури, – смеётся Балашов и снисходительно добавляет: – Ты хотя и безбожник, у тебя бывают божественные мысли.

Большинство литераторов называют медитации Балашова «дурью», «бредом», но некоторые (Владимир Сергеев, Леонид Чекалкин) считают поэта классиком, а Игорь Блудилин так просто называл «инопланетянином» и носил с собой диктофон – записывал ошеломляющие мысли Профессора.

Временами Балашова распирает немалое самомнение, точнее – у него случается приступ величия, ему кажется, что он почти достиг совершенства. Как-то, дурачина, объявил:

– С пространством я уже разобрался, осталось разобраться со временем. Я знаю будущее на пять тысяч лет вперёд!

Это заявление вызвало бурное возмущение среди литераторов, многие из которых тоже считают себя выдающимися, а некоторые втайне и гениальными. Послышались возгласы:

– Самообман! Философ-самоучка! Ты что, один во вселенной?!

Самолюбивый Балашов не терпит тех, кто не разделяет его устремлений в небо (для меня, скрепя сердце, делает исключение). И не терпит в застолье чрезмерных говорунов (Дагурова, Казначеева, Соляника), поскольку сам любит солировать, причём серьёзные изречения о литературе перемежает сексуальными шуточками (как правило, когда в компании находятся женщины). Ляпнет какую-нибудь непристойность и гогочет громче всех. Как в нём соседствуют возвышенное и низменное, трезвый взгляд на реальность и безумные фантазии, как уживаются Христос с Буддой – тема для пытливого исследования.

Разумеется, в подвале между обществом мужчин и женщин Балашов отдаёт предпочтение последним.

– От мужиков пахнет конюшной, а от женщин – цветами, – говорит. – Наступила эпоха женщин, они будут править миром.

Ясное дело, женщины слушают его разинув рот, а мужчины отмахиваются, отпускают едкие колкости. Я говорю Балашову, что женщин нельзя допускать к власти, у них отсутствует логическое мышление.

– Учти! – вспыхивает он. – Ты в следующей жизни будешь бабой. Страшной! И тебя никто не будет тра... (Такие у Профессора «изысканные» выражения.)

– Да нет, – говорю я. – Поскольку мы с тобой ругаем евреев, в следующей жизни оба будем евреями.

Среди литераторов в порядке вещей насмеяться над обладателями всяких званий и премий. Балашов один из первостепенных насмешников. А о себе говорит:

– Мне не нужны никакие премии, мои стихи уже в космосе.

Возможно, его стихи уже в космосе. И даже на других планетах. Но что ему «не нужны премии» – врёт, ведь отдал свои книги Михаилу Мартышкину на выставку в Париже и на конкурс в Московскую писательскую организацию, и не останавливает своего друга полковника-поэта Леонида Чекалкина, имеющего связи со всеми и всюду, который организывает ему Госпремию. Мне даже поясняет:

– Теперь премия – шесть миллионов. Если получу, куплю дачу.

Попутно замечу, несколько лет назад Балашов уже покупал сборный дом в Прибалтике, но на таможене его изъяли. А как наш герой пробивает рецензию В. Крамаренко на свою книгу «Алатырь»! При каждой встрече, надувшись, говорит Виктору Пронину:

– Ну когда Огрызко напечатает рецензию? Сколько можно тянуть! Забери её, отдадим в другую газету!

Вот такой хитрец. И это несмотря на то, что на эту книгу уже написали три рецензии: Ступина, Блудилина, Артюх. Кстати, получив премию за «Алатырь», Балашов потратил её с размахом: часть денег отдал редакторше книги, на большую часть устроил нам пышное застолье. (Одарил шампанским и буфетчиц, и гардеробщиц.) И на следующий день продолжил шиковать, но вдруг притворно припечалился и шепнул мне:

– Эта премия испортила мне биографию. (Он ведь всегда подчёркивал, что у него нет никаких премий. Ясно, за этим стояло: «Я достоин самой высокой награды, после мой смерти спохватятся!» На самом деле у Балашова есть медаль от Зюганова, а поэт Силкин говорит, что лично вручал ему медаль Суворова.)

Как-то Балашов обеспокоенно сообщает мне:

– Представляешь, читаю стихи одной ученицы, а там сплошной секс. Вот сумасшедшая непосредственность!.. Читаю стихи другого ученика, а там ляп. «А это что такое?» – спрашиваю. А он: «А мне так небо подсказало». Вот, гад, куда полез! А ведь в неточностях сидит

дьявол. (Я же говорю – Профессор считает небо своей сферой, и всех подряд туда не пускает.)

Однажды кто-то из поэтов сокрушённо сказал:

– Что-то не пишется.

Балашов тут же отчеканил:

– Когда не пишется, надо копать себе могилу, ха-ха!

В компании наш друг постоянно что-нибудь рассказывает, у него в запасе тьма забавных случаев:

– Однажды был у Глазкова (поэта). Заигрались в шахматы. Я говорю: «Мне пора домой, жена ругаться будет». «Сейчас дам тебе справку», – говорит Глазков и пишет записку: «Он был не у б...й, а у порядочных людей», ха-ха!

Мне от Балашова достаётся при каждой встрече. Когда-то я сказал, что всю жизнь хотел встретить тургеневскую женщину. Теперь Балашов изгаляется:

– Если Сергеев увидит женщину без томика Тургенева, она его не интересуется, ха-ха!

Заметит какую-нибудь толстуху, у которой слишком много всего спереди и сзади, и мне сразу:

– Вон твоя, тургеневская, ха-ха!

– Я уже на женщин смотрю, как на деревья, – отшучиваюсь.

– Тебе надо пить мою наливку с сельдереем, – смеётся мой друг. – Сразу поднимается энергия, и не только она, ха-ха!

Семинар Балашова окончили сотни поэтов. В основном поэтессы. (На двадцать студенток приходится один студент.) Многие из студенток выглядят, как манекенщицы. Похоже, мэтр набирает студенток не по таланту, а по внешности.

Однажды Балашов затащил меня на свой семинар. Я думал, буду свидетелем, как он шлифует таланты, выращивает их, как цветы в горшках, а что услышал? Сплошное восхваление Профессора, целые поэмы, гимны в его честь. Даже мне стало неловко. А Балашов – ничего, сидит, слушает, улыбается, дурачина.

В другой раз он вёл свой «клуб Рериха» и какой-то залётный поэт стал читать что-то отвратительное: как чеченка кормит голубей, а «русский мордovorот закрывает ей рот» и вокруг смеются солдаты-федералы. Надо было выгнать этого русофоба, а Балашов опять сидит, улыбается. Получается, что он только с нами, стариканами, боец, а на людях овечка.

Балашов частенько противоречит сам себе. Например, костерит последними словами преподавателей своего литинститута:

– Чему могут научить Есин, Николаева, Баранова, Ростовцева?! Ни хрена не знают, ничего не умеют!

Но стоит Владимиру Личутину, Александру Боброву или мне в шутку заявить, что литинститут давно пора закрыть, что нигде в мире не учат на поэтов и прозаиков, никому не выдают диплом «литератора», как на нас сыплются оскорбления:

– Вы тупые! Ни хрена не понимаете!

Такой улыбчивый Профессор, так деликатно он расправляется с несогласными. Иногда я думаю: Балашов столько наоскорблял друзей, что вряд ли его без покаяния примут в свои чертоги Христос или Будда.

Что касается студентов Профессора, то он неплохо устроился: одна из его выпускниц (парикмахерша) стрижёт его, другая (массажистка) делает ему массаж, третья (редакторша) пробивает его книги в издательствах, четвёртая (жена бизнесмена) спонсирует эти книги. У Балашова есть своя певица, которая выступает на его юбилеях и презентациях книг; своя врачиха, которая ездит с ним на всякие форумы – вдруг мэтру станет плохо; и есть особая почитательница – дамочка из администрации президента – иначе говоря, Балашов имеет поддержку и на самом верху. И есть свой секретарь – полковник-поэт Чекалкин, о котором уже упоминал. Чекалкин заказывает машину, чтобы Профессора отвезли в Переделкино, организывает встречи с врачами и нужными людьми, и, как я уже сказал, пробивает ему Госпремию.

Несколько слов о Леониде Ивановиче Чекалкине. Спокойный, предельно вежливый он отличается более горячим дружелюбием, чем Профессор (доброта от него прямо струится), а его сумасшедшее обаяние сражает с первой минуты общения. Не случайно именно он сглаживает все споры в подвале. Большой, губастый толстяк с тихим, убаюкивающим голосом, он улыбается абсолютно всем, всех готов заключить в объятия, всех внимательно выслушивает, загрустивших – приободряет, отчаявшихся – успокаивает, и всем обещает помочь: найти врача, устроить на работу, уладить конфликт. По его словам, у него «свои люди на самом высоком уровне».

Как-то я пожаловался ему, что на моём участке соседка спилила деревья.

– Соседку накажем, – поспешно заявил Чекалкин. – У меня приятель замминистра МВД.

– Да сойдёт кто-нибудь и пониже чином, – вставил я.

– А пониже у меня нет, у меня все такого уровня.

На моей памяти Чекалкин никому из наших знакомых так и не помог, но это не важно – искреннее желание помочь равносильно помощи.

Родители Чекалкина из Вятской области; отец – генерал, служил в Монголии, где и появился на свет наш герой. Чекалкин вслед за отцом стал военным, бывал в Афганистане, имеет ранения и награды, но никогда не хвастается своими подвигами. И не хвастается, что он профессор социологии и академик. И тем, что отдал свою «девятку» Детскому фонду, и создал там библиотеку. Такой чемпион скромности. Но что особенно похвально – он не обижается на колкости друзей. Чаще других над ним подтрунивает Профессор. Бывает, и грубит ему, а нам объясняет:

– С военными надо говорить на их языке. Другого они не понимают.

Тучный Чекалкин часто болеет, и тогда садится на диету и с нами не выпивает (но приносит бутылку, то и дело всем подливает водку, произносит тосты, следит, чтобы мы выпивали до дна). О болезнях наш герой знает абсолютно всё; постоянно нам втолковывает, что и как лечить. Иногда, ссылаясь на «приказ главного командования» (жену), Чекалкин с неделю сидит дома и потом появляется обновлённый: его живот исчезает, морщины разглаживаются, на лысине появляются волосы.

Чекалкин издал двадцать три сборника стихов – в них есть качественные вещи, но много средних, проходных, где полно красок, эмоций, но технически строчки не отделаны, а многим стихам попросту не хватает концовок. Короче, у Чекалкина чистые чувства, но их выражение хромает; он не достиг высокого мастерства, но подобрался к нему довольно близко. Правда, когда ему говорят о погрешностях, он, в отличие от большинства поэтов, согласно кивает и в следующий раз приносит новый вариант (или читает его по телефону). А когда дарит свои книжки, не без юмора поясняет:

– Если вам что-то не понравится, претензии к Профессору, он отделивал мои стихи.

Вернусь к Балашову. Профессор обидчив до чёртиков. Но главное, у него бывают провалы памяти. Многие годы он недолюбливал поэта

Анатолия Парпару за то, что тот якобы когда-то (лет тридцать назад) не напечатал его стихи. Но недавно за наш стол присел Парпара и, во время разговора о поэзии, вдруг, обращаясь к Профессору, сказал:

– Знаешь, Эдик, меня ничем не удивишь, но ты однажды удивил. Я не злопамятный, но помнишь, когда ты приносил стихи в «Москву» (журнал, где Парпара работал), я тебя печатал. А когда я принёс стихи в «Совпис», два редактора были «за», а ты зарубил. (Это было тридцать лет назад. Такая незлопамятность, такая затаённая обида!)

Балашов заёрзал на стуле, что-то забормотал, потом всё же попросил прощения. На следующий день мы выпивали без Парпары, и я сказал, что накануне первый раз услышал от Балашова извинение.

Профессор насупился:

– Ничего я не извинялся! Всё ты врешь!

Но спустя пару дней позвонил:

– Да, я действительно у него просил прощения, но знаешь почему? Был день прощения! Соображать надо!

Между тем дело происходило поздней осенью, а Прощёное воскресенье, как известно, бывает весной. Такой ловкач наш друг, всегда хочет выйти сухим из воды.

Недавно Балашов признался мне:

– Представляешь, под старость у меня отшибло память. Сегодня всё утро искал три диплома своих студентов. Завтра надо выступать на их защите. Ничего не нашёл. Звоню на кафедру, говорю: так и так. А там смеются: «Эдуард Владимирович, вы вчера уже выступили». Представляешь, склероз!

– У меня такое тоже бывает, – успокоил я друга.

Балашов счастливек – у него прекрасная жена, переводчица с английского и французского; они часто ходят в театр и консерваторию. Кстати, заметив где-либо фортепьяно, Балашов не упускает случая продемонстрировать нам сонаты Бетховена и постоянно напоминает нам о своей музыкальности (ещё в суворовском училище был запевалой), а последнее время сочиняет на синтезаторе небольшие музыкальные пьески и каждое утро играет их мне по телефону. Одну из пьес посвятил мне. Однажды позвонил в шесть утра:

– Сейчас сыграю тебе на ночь «колыбельную для Леонидия».

– Но сейчас-то раннее утро, я ещё сплю.

– Правда? Ой, а я думал, вечер. Потерял счёт времени. Ладно, спи.

– Да уж теперь не усну. Играй!

В другой раз звонит:

– Вчера проиграл пару своих сочинений композитору Овчинникову (они приятельствуют).

– Ну и что он сказал? – спросил я.

– Это лучше, чем пить водку, – засмеялся мой друг.

– Ты, конечно, обиделся? – осторожно поинтересовался я.

– Да нет. Теперь я то же самое буду говорить студентам, когда они напишут плохие стихи.

Один сын Профессора – музыкант (играет на альте в Большом театре), другой – рабочий сцены в театре, но сколотил самостоятельную музыкальную группу. Недавно счастье Балашова приумножилось – он стал дедом; внучка добавила ему новые радости.

В быту у Балашова немало особенностей: спать он ложится рано, спит на подушке с гречкой (возможно, во сне набирается какой-то энергии или через подушку держит связь с космосом), встаёт рано и идёт на Чистые пруды с диктофоном, который ему подарили сыновья; прогуливаясь по аллеям, наговаривает на диктофон бесценные мысли. Мобильник, который ему тоже подарили сыновья, с собой не носит, чтобы жена не контролировала его местонахождение.

Балашов рассеян – дальше некуда: вечно теряет портфели, сумки, кепки, очки, но никогда не забывает сказать что-нибудь восторженное о своей жене – он считает её ангелом на земле и питает к ней глубокие чувства, что редкость в нашей стариковской компании. Несмотря на немыслимую любовь к жене, наш герой не упускает возможность провести вечер в женском обществе, а когда в подвале появляются его ученицы, непременно знакомит их с нами. Но самых красивых не знакомит – сразу уводит в ресторан.

В плюс Балашову можно записать его щедрость – в застолье он наш главный спонсор.

Балашов родился в Мариуполе; отец погиб на фронте в начале войны; мать (старшую медсестру в госпитале) с сыном эвакуировали в Душанбе, где она вторично вышла замуж за солдата с простреленными ногами (после войны он прожил недолго). Мать отдала сына в суворовское училище. Дальше у нашего героя насыщенная жизнь – он недолго курсант военно-морского училища (сам подал заявление об отчислении, чтобы поступить в Бауманский институт,

а окончив «Бауманку» – инженер авиационного КБ (во Внуково работал на тренажёре для лётчиков, за что был награждён именными часами.) Бывший регбист (по его словам, у него «левая рука нокаутирующая»), он никогда не курил и выпивал только в молодости, и вдруг в шестьдесят лет у него остановилось сердце. Шунтирование вернуло ему жизнь. При выписке оперировавший его врач Брант сказал:

– Для хорошей работы сердца каждый день выпивайте сто граммов красного вина или коньяка. (Позднее, когда мне терапевт в поликлинике сказала: «Бросьте курить и выпивать», я привёл эти слова Бранта, и в ответ услышал: «Что ещё может сказать врач-еврей русскому поэту?»)

Балашов начал пить вино, с каждым днём увеличивая дозу. Спустя год заявил, что от вина болит желудок, и перешёл на водку и наливку собственного изготовления: в трёхлитровой бутылки настаивает водку на сельдерее, чесноке и перце с добавлением мёда. И этот рецепт не утаивает, наоборот – всячески рекламирует и делится им с каждым встречным. Его «сельдереевка» (мы называем её «балашовка») пользуется огромным спросом в подвале, но Балашов угощает ею только женщин и нескольких самых близких друзей, истинных ценителей напитков; остальным даёт только попробовать.

Мы с Балашовым выпиваем почти каждый вечер (всегда с тостами – тост заряжает напиток энергией.) Когда закрывают ЦДЛ, идём в кафе у метро «Баррикадная», или в «Авакаду», или в кафе «У Лебедева» на Никитской («На бережок», – говорит Балашов, хотя там нет никакого водоёма). В застолье мы вначале говорим о литературе. Балашов начинает с отличных здравых мыслей, вроде таких:

– Литературная работа сродни стрельбе из лука. Нужные слова – те же стрелы, попадающие в мишень. Но надо попадать точно в десятку.

Немного захмелев, Балашов ударяется в пространственные рассуждения:

– Сердце – это Кремль, полный тайн. И самые почётные гости в нашем сердце – наши мысли...

Или:

– Лукавство от дьявола. Он улетел, но наследил... Улетел из России. Сейчас он на Сатурне. Так что Россию ждёт благоденствие.

Под конец Балашов и сам улетает в небо и выдаёт маловероятное:

– Каждый перед своим рождением подсказывает родителям своё имя и знает, что ему пошлёт судьба, что его ждёт в жизни.

Или вообще запредельное:

– То, что ты имеешь, – не имеешь. Все твои мысли – не твои.

Сейчас я думаю, что даже безумство в стихах Балашова западает в душу, одни строчки заставляют взглянуть на свою жизнь с неимоверной высоты, другие вызывают мурашки, озноб, третьи – вспышку радости.

Мы с Балашовым знакомы с семидесятых годов. Я увековечил его в повестях о собаках и в повести «До встречи на небесах!». Он посвятил мне стихотворение «Вожак» в книге «Алатырь» и как-то сказал мне:

– Наш профессор в литинституте Лев Скворцов говорит о тебе студентам: «Он неоценённый писатель», а я ему говорю: «Я его ценю, этого достаточно».

К сожалению, после сложной операции, последнее время у Балашова пропала «близкая» память, правда хорошо сохранилась «дальняя», то есть, ему проще вспомнить Отечественную войну, чем друга, с которым утром говорил по телефону.

Балашов настоящий патриот России. Он презирает всех западников, ненавидит «демократов», Белый дом предлагает переокрасить в чёрный, а телевидение закрыть вообще. И всем объясняет:

– Искусство должно быть позитивным, созидательным, а не отрицательным, разрушительным, которое насаждают иудеи. Они ведь лунные люди, у них всё отражённое.

Нашу страну Балашов называет «солнечной», а русских – «солнечными людьми».

– Запомните! – вразумляет нас. – Когда начнётся таяние ледников и затопит многие континенты, Россия примет другие народы, спасёт мир от гибели.

Талантливый поэт, тонко чувствующий слово, философ и проповедник, наставник молодёжи, борец за справедливость, неугомонный спорщик, насмешник, фантазёр и чудака, звезда подвала – всё это Эдуард Владимирович Балашов.

ЛЕШИЙ

Дорога к другу никогда не бывает длинной.

Кит. поговорка

Седая лохматая шевелюра и седая, бесформенная, жёлтая от курева борода, старомодные очки, мешки под глазами и нос картошкой – вот портрет Юрия Куксова, самого колоритного, самого смешного, самого бедного поэта-старикана. Глядя на него, невысокого, тщедушного, сутулого, вечно выпившего, кое-кто может подумать, что перед ним этакий дремучий бомж. Между тем Куксов – тонкий поэт, прекрасно знающий литературу, и что особенно важно – он бесхитростный, откровенный, сохранивший и в старости детскость.

«Леший», «Болотный житель» – называют его подвальщики, что и понятно – он по профессии инженер лесного хозяйства и четырнадцать лет работал в болотистых лесах Сибири и Севера. О тех годах напоминают его скрюченные пальцы правой руки, беззубый рот и большая, с дыню, паховая грыжа, которой Куксов гордится:

– Она меня избавляет от женщин. Они мне предлагают любовь, а я говорю: «А у меня грыжа. Если б не она, у нас была бы жаркая любовь».

А перед нами хвастается:

– В молодости в экспедициях я был ого! На Севере у меня среди чукчей и эвенков полно детей.

У него и в Москве четверо детей и четверо внуков – вся эта орава, плюс он с женой, невеста сына и овчарка Эльза Францевна, ютятся в малогабаритной трёхкомнатной квартире. Оба его зятя (один молдаванин, другой грузин) не хотят жить в тесноте и снимают жильё. А старший сын, будучи студентом пединститута, в 85-м году перешёл границу с Финляндией, добрался до Швеции, окончил там университет, женился на исландке с ребёнком и теперь живёт в Америке. Из-за этого отважного сынка самого Куксова не раз вызывали в КГБ. (Иногда сын пишет из Америки, присылает фотографии: на фоне добротного особняка толстый мужчина в очках, рядом жена, взрослые дети – все улыбаются, явно довольны жизнью.)

Бывая в экспедициях, Куксов делал походные записи о природе и животных, о встречах с геологами, охотниками и рыбаками – впо-

следствии использовал эти записи в стихах и очерках. Понятно, одно дело – умение подметить то, что скрыто для поверхностного взгляда, другое – умение выражать увиденное так, как до тебя не выражал никто. Для этого нужен талант. В подвале всем ясно – у Куксова недюжинный талант. А он вроде об этом и не знает; по-простецки так говорит:

– У меня целый чемодан набросков. Я просто их отделываю и всё.

Несколько лет Куксов работал в газетах: «Подмосковные известия», «Губерния», «Крестьянская Россия», но, после переворота 91-го года, когда газеты закрыли, наш герой подрабатывал на дому корректором.

Куксова отличает невероятное любвеобилие. Когда он выпьет, он обнимает всех нас, его друзей, и малознакомых литераторов, и случайных посетителей подвала, и буфетчиц Лиду и Раю, и посудомойку Машу, на которой «женится бы, если б не грыжа». Нас всегда встречает радостным возгласом:

– Привет, мой друг! Прекрасный поэт! (Или прозаик!)

Или:

– О-о! Кого я вижу! Друг мой! – и, обращаясь к присутствующим: – Он пишет, как Рубцов! (Или как Паустовский!)

Он совершенно искренне завывает друзьям. Ясно, подобная щедрость свойственна лишь настоящим личностям.

Как-то выпиваем втроём: Пронин, Куксов и я; в какой-то момент наш седой бородач отправился в туалет. Проходит минут двадцать – его всё нет. Мы забеспокоились, поднялись наверх и в холле увидели сцену: Куксов среди группы людей тискает какую-то пышную дамочку и, обрушивая на неё весь пыл своей любви, восклицает:

– Клава! Сколько лет не виделась! Как я рад встрече!

Внезапно к нему решительно подходит строгая девица и отчеканивает:

– Мужчина! Вы ошиблись! Это делегация англичан! Я переводчица и прошу вас немедленно удалиться!

Вот так вот. Но что нас с Прониным удивило – пышная дамочка, которую Куксов тискал, совершенно не сопротивлялась объятиям нашего друга, даже наоборот – радостно льнула к нему. Похоже, порывы Куксова приняла за горячее русское гостеприимство. Кстати, Куксов любит толстухек с грузным задом.

– У женщины должен быть приличный запас килограммов в области груди и бёдер, – посмеиваясь, говорит нам. – Она должна

быть объёмная, как контрабас. Когда я работал в газетах, знаете, как определял талант женщины? Приносит она рукопись, а я говорю ей: «Повернись!» И если большая попа, печатаю её материал... А наш главный в «Губернии», знаете, как принял меня на работу? Спросил: «Как ты относишься к футболу?» Я говорю: «Никак». «А к женщинам?» – спрашивает. Я пожал плечами. «Ну, хотя бы выпиваешь?» – спрашивает. Я говорю: «Само собой. Ведь нужна разгрузка тем, кто работает на износ». Сразу меня принял... Но сюда, в подвал, я прихожу не только ради выпивки, но и чтобы приобщиться к великому.

После этих слов наш друг напевает и танцует «чучу».

Чрезмерное дружелюбие Куксова иногда приводит к печальным последствиям. Однажды зимой они с Прониным поехали к Пронину в Немчиновку. Сошли с платформы, купили в магазине выпивку и закуску и, чтобы согреться, решили выпить по глотку на «стоячке» – столике у магазина. Выпили, и тут Куксов увидел за соседним столиком двух бомжей с бомжихой.

– Какая женщина! – воскликнул наш друг, вероятно, чтобы просто сказать приятное женщине.

– Не лезь! – сказал Пронин.

Но Куксов, в порыве высоких чувств, направился к бомжам и повторил свои восторженные слова. В следующую минуту один из бомжей врезал поэту кулаком, и наш бедный друг оказался в сугробе. Этот досадный эпизод не отразился на общем настрое Куксова – по пути к дому Пронина он по-прежнему улыбался всем встречным, отпускал комплименты, желал «хорошего дня». Недалеко от дома Пронина увидел собак у пакета с какой-то едой и возликовал:

– Какие собачки!

– Не лезь! – опять предупредил Пронин.

Но Куксов был уверен, что уж собаки-то оценят его вселенское любвеобилие и, подойдя к своре, раскинул руки:

– Какие собачки!

Один из псов обернулся и цапнул за ботинок несчастного Куксова.

Каждому ясно: нельзя любить всех, ведь вокруг немало негодяев. Я даже думаю: тот, кто говорит, что любит всех, по-настоящему не любит никого. Куксов, естественно, этого не говорит, и у него, любвеобильного, случаются вспышки ненависти. Как-то пьяный парень

пытался поговорить с ним, долго приставал с какими-то дурацкими вопросами; Куксов несколько раз отгонял настырного типа, наконец не выдержал:

– Пошёл от меня на х...! – и замахнувшись, яростно рывкнул: – Не зли меня, а то убью!

Однажды и мы испытали на себе его гнев. В тот вечер мы распекали всяких ерофеевых, быковых, устиновых и прочих еврейских литераторов, которые расплясались и не вылезают из «ящика». Куксов молча морщился (он дружил с Казаковой и Киксманом), но, напившись, когда мы уже расходились по домам, расшумелся:

– Надрели вы мне все со своими разговорами! Скорее бы уехать от вас в леса! – и, обложив нас матом, направился к метро. Правда, на следующий день всё начисто забыл и полез к нам обниматься.

Кому от Куксова достаётся, так это литературным чиновникам, к ним он постоянно настроен враждебно и честит их последними словами. И к слабым поэтам относится без всякого дружелюбия (исключая своих дружков-полковников ФСБ), и ругает их на чём свет стоит, правда, в их отсутствие. Ну, а «демократов» громит при всех:

– Это враги России. Был бы у меня автомат, я бы их всех!..

Что касается полковников, то их Куксов натаскивает в поэзии, нянчится с людьми, у которых маловато способностей к литературе. И всё ради выпивки, которую те обильно поставляют поэту. Ради выпивки он готов общаться с кем угодно. Не случайно Пронин говорит:

– Когда Куксов приходит в подвал, он сразу направляется к столу, где стоит бутылка.

Неразборчивость в собутыльниках – жуткий недостаток нашего друга.

Однажды Виктор Пронин спросил у Виктора Крамаренко:

– Что ты сделаешь, если тебе дадут миллион долларов?

Крамаренко стал перечислять:

– Куплю дочерям шмотки, жене шубу, кое-что в дом...

– Я куплю половину Коктебеля, – заявил Пронин. – Буду там отдыхать, писать романы...

– А я стану издавать газету, – встрял в этот качественный разговор Куксов. – Буду печатать своих друзей.

От такого благородного плана оба Виктора стыдливо потупились. Возможно, просто сделали вид, ведь оба актёры те ещё!

В застолье, после третьей рюмки, Куксов обычно закрывает глаза и, склонив голову, засыпает. Эту его фирменную позу иногда повторяют и некоторые литераторы – такое явление мы называем «синдром Куксова». Чаще других им страдает поэт-бард Александр Жуков, но, в отличие от Куксова, который спит крепко (роняя очки и посапывая), Жуков во сне всё слышит – то и дело встряхивается и обрывает говорящих:

– Не болтай чепуху! (Глухой на одно ухо, во сне он всё прекрасно слышит.)

Куксов самобытный поэт, продолжатель традиций Тютчева, Плещеева, Есенина; он «природный» до корней волос, его стихи пропитаны жаром лесных полей, сыростью дождей, дымом костров, запахами хвои, папоротников, грибов и ягод. Читая его стихи,ходишь в лес, словно в храм – с такой любовью показана красота растений и животных, и заново открываешь привычное:

*То в ромашку, то в кашку влюбляюсь,
Самой малой букашке дивлюсь.*

Но это не просто восторженная любовь – для Куксова в природе всё священно, всё представляет огромную ценность. Он проводит чёткую мысль: природа слишком хрупка, и к ней надо относиться крайне бережно и заботиться о «братьях наших меньших», среду обитания которых всё больше нарушает человек.

О себе Куксов пишет предельно просто:

*В этой жизни, в общем-то негладкой,
Мне, скажу, отлично повезло –
В том, что я делил судьбу с палаткой,
Пни ворочал и держал весло.
В том, что не замыслил святотатства,
Жил, как говорится, налегке,
Потому что всё моё богатство
Скромно помещалось в рюкзаке.*

В стихах Куксова о природе видно – его поэтическое «я» не стороннее, а прямо-таки вживлённое во всё, что произрастает в воде, стелется по земле, тянется ввысь. Проще говоря, Куксов заземлённый поэт, и потому его стихи обладают живительной силой. У него есть

и гражданские, и философские стихи, и иронические («Петух»), и любовные («Чёрная шляпа»), но лучшие – о природе, «в них настоящая поэзия, высшее сгущение речи», – как говорит Балашов.

Отец Куксова из деревни Куксово под Тамбовом (известный столяр, написавший несколько книг по столярному ремеслу). Сам Куксов вырос в Москве, но зов предков постоянно тянул его на природу, и при каждом удобном случае он выбирался за город. И, естественно, после школы поступил в лесотехнический институт.

Куксов, как никто, знает лес и все травы, и цветы, и, когда на него наваливаются болезни, лечится не «химией», а настойками из трав. И нам от всех болезней выдаёт травяные рецепты.

Мне особенно близки стихи Куксова. Ещё в детстве отец приучил меня, входя в лес, бережно относиться к каждому дереву, помнить, что хозяева в лесу – животные, а мы – гости. У нас с Куксовым вообще много общего: мы оба пьяницы и заядлые курильщики (он говорит: «мы с тобой такие же заядлые курильщики, как Бунин и Рахманинов»), оба любим животных и природу нашей средней полосы (даже в одно время, ещё не зная друг друга, бродили по лесам реки Великой у Алоли). Мы оба любим всё жизненное, естественное; всё реальное – наше, всё абстрактное для нас лишено смысла.

Здесь сделаю отступление. В нашей стране всегда шло бездумное «покорение» природы, а сейчас идёт просто-напросто варварская вырубка лесов и отстрел животных (только в этом году на Камчатке убили более ста медведей, а под Хабаровском около трёхсот, в том числе – медведиц с медвежатами). Между тем в Китае за вырубку леса сажают в тюрьму, а за убийство панды или тигра охотника ждёт смертная казнь (как результат – за последние годы ни одно животное не убили). В поездках по стране я видел, как в Краснодарском крае для мебельных фабрик Румынии спиливают трёхсотлетние пихты и бук, как из-под Хабаровска вывозят в Китай реликтовый кедр, а на Севере нефтяники так уродуют тундру, что ей уже никогда не восстановиться. В Карелии дело обстоит получше, но, сравнивая обустроенность местности скандинавами и наши соседние территории с убожеством построек и свалками, приходишь к горькому выводу – мы не достойны своих пространств.

Сейчас «новые русские», осатанев от денег, строят особняки в сосновых борах, на берегах водохранилищ и даже вокруг жемчужины

Сибири – Байкала. Власти на словах борются с этими владениями, а на деле сами живут во дворцах в заповедных зонах. Как известно, рыба гниёт с головы. Хочется верить, что когда-нибудь к власти придут истинные патриоты нашего Отечества, которые положат конец беспределу.

У Куксова опубликовано более 500 стихотворений в районных, областных, всесоюзных газетах, и вышло пять книжек стихов. Правда, книжками эти брошюры можно назвать с натяжкой. Между тем поэт давно заслужил хорошего сборника в переплёте. И вот, наконец, к 70-летию нашего друга, благодаря поэту-издателю Вадиму Рахманову, у него вышло достойное избранное. Вместе с Владимиром Бояриновым и Виктором Прониным я тоже принял некоторое участие в издании этого сборника. Совсем небольшое участие, о котором можно было бы и не упоминать, но о чём стоит упомянуть, так это о том, что теперь он выглядит франтом (я отдал ему куртки и свитера моего покойного брата). Впрочем, и об этом можно было бы не упоминать; просто мне хочется примазаться к Куксову как к необыкновенному человеку, но признаюсь – я это делаю неуклюже.

В отличие от большинства поэтов, Куксов никогда не читает своих стихов (если только его не уговоришь), чужие декламирует часто, радуется каждой хорошей строчке, расхваливает автора – иногда сверх меры. Но я ни разу не слышал, чтобы он хвалил свои стихи. Больше того, если кто-то найдёт у него неудачную строку, он тут же соглашается и, шмыгая носом, со смущённой улыбкой кивает, как бы извиняясь за свой промах. А если кто-то начнёт его хвалить, сразу, без всякой рисовки, отмахивается:

– Перестань! Всё это чепуха! А вот у Есенина (или Некрасова)... – он вдохновенно цитирует классика.

В эти минуты он испытывает внезапное озарение, момент счастья, от него исходит мощь, как от некоего бурлящего кратера, мощь, заряженная убеждённостью и восторгом. Этим восторгом он, как никто, заражает окружающих. На это, по-моему, способны только особо одарённые, предельно искренние люди.

Известно, что недооценивать себя так же вредно, как и переоценивать. Заниженная самооценка Куксова есть не что иное, как требовательность к себе. Именно поэтому его стихи (технически) сделаны безупречно, без всяких ухищрений и оригинальных словечек – всё

просто и ясно. В его стихах почти нет выдумки, но много жизни. Каким-то загадочным образом Куксов находит новые краски для описания нашей природы, но главное – во всех его стихах чувствуется чистая душа автора, любовь к тому, что он впитал с детства. И чувствуется ностальгия по уходящему укладу сельской жизни, в которую врывается разнузданная современность, и боль за деревни, которые умирают в результате деятельности «демократов». (За последние 20 лет погибло 46 тысяч деревень!)

Повторюсь, Куксов крайне серьезно относился к творчеству и слушается ругает нас:

– Отношение к делу это религия. А вы расслабились, перепутали жизнь и творчество.

В оценке литературных произведений я стараюсь избегать превосходных степеней, но Куксова называю самородком, одним из лучших поэтов нашего поколения семидесятилетних. Некоторые не согласны со мной, говорят, что Куксов «деревянный», «неинтеллигентный». Эти умники считают, что интеллигентность – это одухотворённость, воспитание, образованность. Между тем это прежде всего состояние духа, в основе которого лежит гуманизм, а его-то Куксову и не занимать. Всё-таки большинство подвальщиков считают нашего друга талантом.

Квартира Куксова заставлена старой мебелью, ящиками и коробками; чтобы пройти из комнаты в комнату, надо протискиваться меж шкафов, полок, вешалок с одеждой, стопок книг. У нашего друга нет даже своего стола – он пишет на стиральной машине, а спит, скрючившись, на крохотном диване, на котором может уместиться только его овчарка. От бытовой неустроенности и безденежья в семье вечно раздоры. Жена пилит Куксова за то, что мало подрабатывает и много выпивает. Понятно, многие поэты хотели бы, чтобы жена говорила не о деньгах, а об ангелах, и к стихам мужа относилась бы как к святому (таких женщин мало, но они есть.) Куксов не из этих дуралеев, но считает, что его жена всё же перегибает палку, и часто приходит в подвал расстроенным:

– Дома всё надоело! Вчера опять поругался со своей. Я стал отчитывать внучку за то, что попробовала наркотики. Отругал и дочь, что не следит за подростком. А жена набросилась на меня: «Успокойся! Заткнись! Она вообще не твоя дочь!» Вот так! И я вспомнил, как в экспедициях она с начальником надолго уходила в лес... А ведь верность

в женщине главное... Всё надоело! Было б куда уйти, сегодня ушёл бы. С собакой.

В другой раз он показал нам заявление жены о разводе:

– Вот нашёл на подоконнике!

Чтобы мой друг не думал, что он один в таком положении, я поделился своими неприятностями:

– Вчера пришёл выпивши, а моя выдала: «Всё! Это последняя капля! Завтра от тебя ухожу!»

– Ушла? – поинтересовался Куксов.

– Да нет, – говорю, – сегодня заболела. Бог наказал.

Куксов облегчённо вздохнул:

– Моя сегодня тоже тихая. Про заявление и не заикается... Но вообще скажу тебе – в семье у каждого должен быть свой угол, своя комната, чтобы отдыхать друг от друга.

Несмотря на ненависть к жене, получив премию имени Платонова, Куксов отдал деньги супруге «на отдых». Кстати, когда мы обмывали его награду, он даже не показал нам медаль, и никогда её не надевает, а вот значок погранвойск и зелёный китель «Лесной службы России» надевает всегда в День лесника. И в «День лешего» надевает (как гласит поверье, в этот осенний день хозяин леса осматривает свои владения: вся ли листва опала, вся ли живность попряталась в норах.) Куксов в подвале посматривает: все ли выпили в его честь.

– В зелёном кителе он вылитый леший, будто только вылез из болота, – смеются подвальщики.

Однажды весной Куксов звонит:

– Приезжай! Пойдём в лес (рядом с его домом). У меня есть бутылка вина, пиво, помидоры.

Когда я приехал, он окликнул свою красавицу-овчарку Эльзу Францевну (её родители каких-то королевских кровей) и мы направились в лес. Он привёл меня на уже обустроенную поляну, где берёзовый пень служил столом, поваленное дерево – сиденьями. Вся поляна была усеяна цветущими одуванчиками, над ними порхали лимонницы.

– Здесь все удобства, – торжественно сказал Куксов. – Располагайся!

Он развёл маленький «туземский» костёр, я выложил на пень припасы друга и водку и колбасу, которые прихватил с собой... День был отличный, сквозь молодую листву просеивалось солнце, вовсю распевали птицы. Мы выпивали, закусывали (на природе всё вкус-

нее – срабатывает магия воздуха), говорили о литературе, о нашем военном детстве и испытывали радость от общения друг с другом (не зря Сент Экзюпери подобное общение называл «роскошью».)

– Вот интересно! – сиял Куксов. – Для мальчишки спичечная этикетка огромная ценность, для дамочки с Рублёвки – норковая шуба, дорогая иномарка, а для нас с тобой – бутылка водки, пиво, лёгкая закуска... на природе.

Дальше мы сравнивали жизнь при социализме и теперешнюю при «демократах», и уже испытывали горечь от разрушенной страны.

– «Демократы» плюют нам в лицо, обливают грязью наше прошлое, – говорил Куксов. – Такое впечатление, что мы с ними жили в разных странах.

Потом Куксов рассказывал о своих экспедициях, рассказывал восторженно, как о самом интересном времени в своей жизни. Я слушал друга и думал: «Такие, как он, особая порода русских. В городе у него суета, житейские неурядицы, а там, в таёжных лесах, – свобода, походная романтика... И понятно, почему сейчас он мысленно возвращается туда, ведь мы живём не там, где находимся, а там, где наша душа».

В какой-то момент я взглянул на нас со стороны: два пьяных старичка ругают настоящее, вспоминают прошлое... К сожалению, в старости, кроме спокойствия и мудрости, есть что-то жалкое. А ещё когда скручивают болезни! Хорошо, что никто не видит нас беспомощными. Хотя, Балашов говорит: «Бог видит!»

Куксов не раз сообщал:

– Брошу Москву к чёрту, буду жить на природе!

И вот в прошлом году он осуществил свою мечту. Как-то звонит по мобильнику и ликующим голосом сообщает:

– Я в Псковской области! Недалеко от знакомой тебе Алоли! Охраняю покинутую деревню. Яблок, грибов, ягод – тьма...

Слышимость была плохая, я так и не понял, от кого он охраняет деревню, но порадовался за друга, что он живёт в своей среде. Позднее выяснилось, что он охраняет не всю деревню, а только дом своего бывшего шефа по «Крестьянской газете», будто шеф раз в неделю заводит ему продукты, сигареты, выпивку...

Через год Куксов вернулся, похудевший, но по-прежнему полный мальчишеского задора: безумолчно рассказывал нам о соснах и елях, которые подступают к избам, о том, как в мелкий дождь бродит по

лесу, а в жару обливается из родника, как с начала зимы расчищает тропы, колет дрова и топит печь.

Рассказывал о кабанах, бегающих меж домов, о двух эках, которые живут в соседней деревне и два раза наведывались стрелнуть у него курево, о том, что ночью, выходя в туалет, пуляет из ружья в воздух – вдруг рядом волки, о телевизионной тарелке и восьмидесяти передачах, которые не очень-то и смотрит – больше сидит за ноутбуком, готовит две книжки стихов и сборник очерков с фотографиями (он делает отличные снимки природы). Чувствовалось, в глуши он истосковался по общению с нами, но говорил, что скоро обязательно уедет снова «в леса» и настойчиво звал нас к себе, обещал «баньку и закуску прямо с грядки»; чем больше он хмелел, тем красочней расписывал наше будущее житьё на природе. В самом деле, почему бы не съездить? Ну что такое пятьсот километров? Пустяк. Не зря же китайцы говорят: «Дорога к другу никогда не бывает длинной».

Он уехал, а мы в подвале снова скучали по нему, старому чертяке, очкастому бородачу, простодушному жизнелюбу, нашему Лешему – Юрию Васильевичу Куксову.

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК

*Нет ничего лучше старых
друзей и старого вина
англ. поговорка*

Могучий ум, гигант прозы, глыба, лысый, с седой хэмингуэевской бородой и почти прозрачными глазами, мастер, который прямо-таки упивается своим могуществом, – таков Виктор Пронин, самый знаменитый из обитателей подвала. К выступлениям в застолье Пронин относится, как к тронным речам, держится артистично и говорит умно, живописно. Начинает тихо, медленно, издали, тщательно подбирая каждое слово, повода в воздухе рукой. Обычно его слушают развесив уши, но случается, кто-то вставит слово. Пронин тут же рявкает:

– Тихо! Я говорю! – и зло смотрит на осмелившегося его перебить, и нервно чешет щетину на щеках. Затем, выдержав паузу, продолжает.

Случается, кто-то ещё раз вставит слово или, не дай бог, два слова, – Пронин багровеет, взмахивает руками – готов прибить открывшего рот.

– Ну продолжай! – в сокрушительном порыве кричит на весь подвал: – Ты всё знаешь! Продолжай! Я замолкаю!

Его, разбушевавшегося, уговаривают продолжить выступление, клянутся, что будут слушать предельно внимательно, но он ещё долго сопит, пыхтит, фыркает, строит ужасные гримасы, не в силах побороть яростный гнев, потом всё же смягчается и продолжает.

Понятно, со стороны это его бешеное негодование выглядит не очень-то пристойно, даже обескураживающе, ведь в старости надо уметь управлять своими чувствами. Он, видите ли, нервный, с тонкой душой, а у нас что? Не нервы, а проволока, а души вообще нет? Распоясался старикашка! С девицами воркует, как голубок, а с нами волкодав.

Между тем сам Пронин почти никогда никого не слушает. Стоит кому-нибудь начать что-либо рассказывать, как он поворачивается к соседу (а чаще к соседке) и болтает без умолку. Если же его одёрнешь, ссылается на глухоту. Но что я заметил – в разговоре Пронин, подражая Наполеону, частенько всё переспрашивает у говорящего, хотя вроде всё прекрасно слышал, и пока доверчивый собеседник повторяет свои слова, он, каналья, обдумывает ответ и выдаёт едкую остроту. Он первостепенный острослов. И актёр высокого полёта, любитель покуражиться, полукавить. Кстати, его любимыми словечками являются: «шаловливость», «кураж», «лукавство», «глумливость» – ими напичканы все его произведения. Такая утончённость.

Всё же некоторых Пронин слушает (Личутина, Бондаренко, Устинова), а меня – особенно, даже, чертяка, кое-что записывает за мной. (По старой журналистской хватке он не расстанется с блокнотом и авторучкой.) Балашов говорит:

– У Пронина голова с крышкой. В компании всё туда складывает, а дома вытряхивает на бумагу.

Недавно у Пронина вышел четырёхтомник. Он, конечно, радовался, но всё же с некоторым сожалением объявил мне:

– Я ведь и пятый том подготовил, но прижимистые издатели не захотели печатать.

– Думаю, в пятом томе всё, что ты записал за мной, – с потугой на юмор заявил я.

Мой друг рассмеялся:

– Да ничего я за тобой не записываю. Я записываю своё.

Своё-то своё, но ведь от чего-то оттолкнулся. И почему это «своё» появляется именно в тот момент, когда кто-нибудь что-то интересное брякнет? Мы прекрасно знаем, что опытный литератор любую чужую находку (или мысль) преобразует в свою. Пожалуйста: поэт Александр Жуков – берёт высказывания великих философов и зарифмовывает, получается вроде компиляция, а вроде нечто новое.

Владимир Гусев называет это «почтительным плагиатом». Кстати, Гусев и сам в застолье то и дело достаёт блокнот и кое-что записывает за приятелями. И Вячеслав Пьецух этим страдает, даже частенько переспрашивает, что тот или иной литератор сказал. Ну кто ж записывает за литератором, ведь он уже использовал в работе то, что говорит. Или использует. Такие таланты, как Балашов, лишь усмеваются:

– Записывайте! Я это дарю. У меня такого полно.

Но некоторые (обычно малоталантливые) только скажут пару фраз, как сразу прикрывают рот ладонью:

– Ой! Что-то я разболтался. Вы ведь, гады, это украдёте. (А у них и красть нечего.)

Всем литераторам, которые записывают за приятелями, надо просто покупать сюжеты, как это делали Марк Твен и Джек Лондон.

Бывает, Пронин не по делу набрасывается на приятелей. Так, однажды В. Огрызко (любитель скандальных материалов) напечатал в своей газете резкую рецензию на издательство Вадима Рахманова. Свой отзыв Пронин продиктовал ему по телефону, но Огрызко добавил отсебятины, чем позднее возмутил Пронина – он даже настоял на опровержении. При встрече Рахманов высказал Пронину своё недоумение и хотел было показать положительные рецензии на издательство (он к встрече подготовился основательно). Но Пронин вскипел:

– Ты чем недоволен?! От тебя что – ушла жена?! Тебя что – обокрали?!

И невдомёк ему было, как Рахманов переживал незаслуженную обиду. Ясно, Пронин вспыльчивый, но всё-таки мог бы быть посдержанней и так не заводится. Подобные вспышки никого не красят, тем более его, известного прозаика, можно сказать, «короля прозы», яркую личность подвала.

Как-то мы разговорились о политике и Пронин сказал:

– Путину надо вкачать двадцать процентов крови Сталина. (Имел в виду, что тяжёлые времена требуют жёстких мер.)

– Пятьдесят, – вставил я.

Позднее Рахманов, развивая эти мысли, поделился со мной:

– Эх, накачать бы Пронину побольше доброты, был бы отличный мужик.

– А если ещё подкачать скромности и самоиронии, ему вообще цены не будет, – хмыкнул я. – А что нам с тобой надо подкачать, как думаешь?

– У меня всего в норме, – засмеялся Рахманов. – А тебе надо вкачать собранность. Ты разгильдяй.

Что правда то правда, я несобранный, безвольный: не могу бросить курить, хотя уже задыхаюсь и давление мучает; не могу остановиться в выпивках – кто бы ни позвонил, забрасываю все дела и бегу; прежде чем сесть за работу, долго раскачиваюсь; бывает, месяцами вообще не сажусь за стол. И самое гнусное – успокаиваю себя, думаю: успеется, наверстаю, а время, между тем, летит с огромной скоростью, моё последнее золотое времечко.

Так вот, о Пронине. Само собой, в большинстве случаев в подвале он весел, остроумен, подтрунивает над приятелями. Да и обстановка в подвале – почти домашняя – располагает к доброжелательности, откровению. И, кстати, после своих «вспышек», бывает, Пронин звонит мне на следующий день и тихим голосом сообщает:

– Я там вчера, вроде, немного взбрыкнул, но ведь это ничего, правда?

Но к незнакомым литераторам, если таковые отваживаются подсесть за наш стол да ещё начинают трезвонить, Пронин беспощаден:

– Книжку на стол, потом будем говорить!

Ещё больше, чем в подвале, Пронин известен в Коктебеле. Можно сказать, там, после Волошина, он самый знаменитый литератор. Местный поэт Георгий Мельник посвящает ему стихи, а знакомая Мельника, владелица частной гостиницы, один номер всегда держит свободным – для нашего героя. Другой коктебельский приятель Пронина – Слава Лошко в своём кафе «Богема» над одним из столиков установил полку с детективами Пронина; на столике всегда стоит картонка: «Занято». Говорят, все эти атрибуты выставляются к приезду Пронина, а как только он уезжает, убираются.

В Коктебель Пронин ездит по два раза в год, «чтобы похудеть на пять килограммов и написать нового «Бомжару», и добавлю от себя – чтобы повидаться со своей взбалмошной подружкой поэтессой Натальей Дали (бывшей ученицей Балашова, имеющей троих детей), у которой в Коктебеле живёт мать. Обычно Пронин возвращается с юга ещё более располневший и, в зависимости от того, как протекал его роман с горячей сударыней, – хмурым и раздражительным или умильно-радостным. Большинство подвальных завсегдатаев считают привязанность Пронина к Наталье сумасбродной любовью. Одно время и я дул в эту дуду, говорил нашему герою:

– Твоя Наташка всем грубит, ведёт себя вызывающе, а ведь к женщине не относятся так, как она себя ведёт. Вот твоя предыдущая гражданская жена Танька женщина твоего уровня. Симпатичная, интеллигентная и, говорят, как прозаик сильная. У великого мужчины должна быть великая женщина, – в шутку добавлял я.

– Если хочешь знать, Наташка порядочней Таньки, – угрюмо про-износил Пронин.

Как ни странно, но вскоре я заметил, что задиристость Натальи нарочитая, некое прикрытие неуверенности в себе, что в некоторые минуты, выпив, она впадает в задумчивость и в её глазах появляется глубокая печаль (похоже, понимает, что только в Коктебеле она королева, а в Москве – обычная провинциалка). Как-то мы сидели в подвале с Балашовым и Куксовым. У соседнего стола Наталья разговаривала с подругой; к ним подскочил один развязный поэт, начал что-то тараторить, одновременно обнимая Наталью и так и сяк. Потом она подошла к нам, и Балашов отчитал ученицу:

– Что ты позволяешь ему гладить себя по заднице! Дала бы ему по морде!

– Да? – вскинула глаза Наталья, быстро подошла к нахальному поэту и вlepила ему пощёчину. (После этого случая её стали звать «неприкосновенная».)

С Прониным меня познакомил прозаик и критик Игорь Штокман – лет пятнадцать назад в Нижнем буфете, и с того дня мы постоянно встречались, говорили обо всём на свете и всё ближе узнавали друг друга. Мы почти одного возраста, оба провинциалы, которые долго пробивались в Москве, обоим лет десять не печатали; оба лысые и седые, оба не выговариваем «р» и когда разговариваем, вроде

передразниваем друг друга; оба большие любители выпивки, но Пронин не курит, а я заядлый курильщик. Позднее я сказал Пронину:

– Никогда не думал, что под старость у меня появится новый друг.

На моё семидесятилетие Пронин вернул мне эти слова от своего имени. А недавно, на моё 75-летие, произнёс длинную речь; будучи навеселе (мы с ним заранее приняли), разыграл целый спектакль, после которого ему хлопал весь зал. В череде смешных эпизодов, признавшись в любви ко мне, он сказал:

– ... Лёня Сергеев Госпремию давно заслужил. Хемингуэй говорил: «Нет лучшей похвалы писателю, чем сказать – он хороший писатель». Лёня Сергеев хороший писатель. Он простодушный... Я тоже хороший писатель. Я тоже простодушный, – он рассмеялся. (Мой друг никогда не упустит случая похвалить себя, он мастер саморекламы.)

Как известно, с годами повышаются требования к людям, и встретить единомышленника крайне сложно. Мне повезло – с Прониным у меня полное единство взглядов на всё: на либералов и их «демократию» (всех чубайсов, немцовых, сванидз, хакамад, кохов он называет «швалью»), на литературу, на наших друзей и приятелей, на женщин. Я готов подписаться под всем, что он пишет, и всем, что говорит.

– Ты мой единомышленник, у нас много общего, но у меня характер лучше, – как-то я сказал ему.

– Хуже! – громко заявил мой друг. – Намного хуже!

Одно время Пронин не расставался с фотокамерой и, будучи профессиональным фотографом, часто снимал завсегдаев подвала, при этом заявлял, что является лучшим портретистом. Его работы действительно отличались высоким качеством. За прошедшие годы у меня накопилось немало снимков моего друга: групповые портреты нашей компании в подвале, перед ЦДЛ, у пивного ларька на Баррикадной, у Пронина в Немчиновке и с десятков моих портретов; два из них Пронин разместил на своей выставке, причём на одном я пьяный, мрачный (этот отвратительный портрет Пронин назвал «отличным»). Что странно, именно этот снимок и стащили с выставки – то ли в порыве восторга от мастерства фотографа, то ли как доказательство моего истинного лица.

Пронин из Днепропетровска. В школе учился плохо. Окончил горный институт, но работал фотокорреспондентом в газетах «Знамя юности» и «Днепр вечерний». Всё же горный институт он окончил

не зря – будучи специалистом по камням, с завязанными глазами, на ощупь, определяет, какой камень в украшениях женщин, чем приводит дамочек в восторг.

После женитьбы (на симпатичной сотруднице «Днепра») и рождения дочери Пронина захлестнул романтический порыв, он решил катануть на Дальний Восток. Кроме этого порыва, он решил прилично заработать (тогда ещё получали «северные и восточные»). По студенческому билету брата, чтобы меньше платить за проезд, наш герой уехал на Сахалин и устроился работать в газету «Сахалинская правда». Позднее к нему присоединилась жена с ребёнком.

Они прожили на острове два года. За это время Пронин написал множество очерков и повесть «Тайфун», которую послал в несколько московских издательств. Ответ пришёл только из журнала «Человек и закон»: неожиданно автору предложили должность редактора отдела литературы. Островитяне вернулись на родину, обменяли квартиру в Днепропетровске на дом в подмосковном Одинцово и начали новую жизнь.

Их жильё представляло собой ветхую избу; по словам Пронина, от щелей в стенах на полу играли солнечные зайчики. Выпадали дни, когда из-за безденежья Пронин собирал пустые бутылки и покупал хлеб, молоко. Но вскоре в Одинцово началось строительство многоэтажек; избу снесли, и семейству Пронина дали новую квартиру (к этому времени у них родились ещё две дочери).

Десять лет Пронин проработал в журнале, познакомился со многими московскими литераторами, но главное, набрался детективных сюжетов на всю оставшуюся жизнь. Затем его пригласили в журнал «Огонёк». От известного, самого многотиражного журнала, он ездил в командировки на Дальний Восток. Оттуда привозил очерки и заметки в записных книжках – впоследствии этот материал использовал в романе «Особые условия». Как-то, в подвале, Куксов всем объявил, что за этот роман Пронин получил Госпремию. Пронин промолчал. Так и пошло – «лауреат Госпремии». Но однажды Пронин мне признался – он получил всего лишь премию «Лучший роман о рабочем классе». Такие дела. Кстати, Балашова все называют Профессор – на самом деле он только доцент. Чекалкина все зовут Генерал – в действительности он полковник. И что мои дружки завывают друг друга, к чему это художественное преувеличение?!

В те годы Пронин неплохо зарабатывал, даже купил машину, но однажды на скользкой дороге попал в аварию; сам отделался ушибами, но его жена попала в больницу с серьезными переломами.

Спустя некоторое время власти Одинцовского района выделили многодетной семье Пронина участок для строительства собственного дома. Участок находился в соседнем посёлке Немчиновка. В те дни Пронин напечатал в газете «Правда» статью о знакомом предпринимателе в Днепропетровске. Владелец двух кирпичных заводов что-то там нарушил, и ему грозила тюрьма. Пронин его спас. В благодарность мастер кирпичных дел пригнал в Немчиновку три вагона своих изделий, бригаду строителей и фуру провизии для них – кур и гусей. Строители взялись за дело с размахом и через полгода отгрохали двухэтажный особняк. Пронин с дочерьми переехал в новое жильё (жена осталась в Одинцово – с тех пор они жили раздельно). Две дочери вышли замуж; постепенно особняк заполнился зятьями и внуками нашего героя.

Кроме владения в Немчиновке у Пронина есть земельный участок и дом в деревне Гривна под Козельском (когда-то с отцом купили), но он никак не удосужится его оформить на себя. Правда, дом, вроде, уже спалили.

Пронин – мастер детективного жанра, наш Жорж Сименон. Его детективы – психологические романы с лирическими отступлениями и философскими размышлениями. Его телевизионный сериал «Гражданин начальник» и особенно фильм «Ворошиловский стрелок» знает вся страна, то есть наш друг уже имеет пропуск в бессмертие. Последнее время Пронина всё чаще приглашают на телевидение, он всё больше превращается в телезвезду. Случается, мы используем его известность в наших общих интересах. Например, в каком-нибудь кафе нет мест, мы сразу выдвигаем вперёд нашего друга, объясняем администрации, кто перед ними, и нам тут же выделяют стол.

В Нижнем буфете не всем нравится известность Пронина. Так, Балашов говорит:

– «Ворошиловский стрелок» – безнравственная вещь, христианство отвергает месть. Надо было, чтобы суд оправдал негодяев. Читатели поняли бы всю мерзость системы.

Из всего написанного Прониным мне больше всего нравится книга рассказов «Выигрывать надо уметь». Все рассказы – первоклассные;

два-три – не буду мелочиться – мощная проза, шедевры. Как-то я сказал своему другу:

– На кой чёрт ты пишешь детективы?! У тебя отличные рассказы. И услышал в ответ:

– А на хлеб-то надо зарабатывать. У меня ведь три дочери, четверо внуков, зятя работают от случая к случаю...

Пронин в свою очередь советует мне сделать суперобложки к моим книгам с газетной бумагой:

– У меня есть отличный художник. Он ко всем моим романам делает обложки. Он много не возьмёт, а твои «кирпичи» будут иметь продажный вид... Ты не раскручен – вот в чём дело. Тебе бы рекламу, ты был бы известен, как я, ха-ха! (Он всегда смеётся, когда превозносит себя.)

Пронин настоящий друг: когда у меня умер брат и я решил продать его квартиру, он остановил меня:

– Не продавай! Слушай меня. Я тебе дам две тысячи долларов, приведу бригаду знакомых рабочих, они отделают квартиру, и будешь сдавать её. Думаешь, я на детективы живу? Да за них платят по тысячи за роман. У меня квартира на Войковской, её сдаю!

Так получилось, что я не воспользовался его королевским предложением.

У Пронина немало известных знакомых: режиссёр Говорухин, чемпион мира по шашкам Гантварг, художник Rogozin, работник Совета Федераций Юдин, чиновница в Министерстве культуры; есть знакомые предприниматели, директора заводов, полицейские, издатели – да что там! – он даже бывал у Брежнева в доме и, по его словам, варил вождю гречневую кашу.

Балашов считает, что у Пронина есть дружки и в криминальном мире. Это, конечно, домыслы нашего странного поэта, но то, что в голове романиста постоянно крутятся детективные сюжеты, – это факт. Бывает, кто-нибудь рассказывает захватывающую историю своих отношений с женой; только дойдёт до ключевого момента – развода, как Пронин торопливо вставляет:

– Ты что, её убил?

Когда я рассказал ему, что соседка по даче спилила мои деревья, он, не раздумывая, отчеканил:

– Слушай меня! Значит так. Возьми топор и сруби её яблони. А лучше спали её дом.

Такие шутки мастера. Но вернусь к его друзьям.

Самая глубокая и прочная дружба у Пронина с Виктором Крамаренко, прозаиком-мистиком. Крамаренко лысеющий, полнеющий молодой человек, с большими, светлыми глазами, которые, вроде бы, выражают наивно-детский зачарованный взгляд. Доверчивые думают – перед ними большой ребёнок. На самом деле этот субчик первостепенный насмешник. Постоянно вворачивает в разговор шпильки, подковырки, выставляет нас такими недоумками, при этом, притворно вскинув брови, невинно вопрошает:

– Как? Разве, дядько, не так?!

Такой злодей под маской добродетеля.

Когда-то Пронин крепко дружил с его отцом (они вместе начинали в журналистике); после смерти Крамаренко-старшего Пронин перенёс свою привязанность на его сына. Они каждое утро перезваниваются, обсуждают новости, свои произведения и, ясное дело, переминают нам кости. Не кто иной, а именно Крамаренко-младший в своё время говорил нашему герою, что у Натальи Дали горячая цыганская кровь и что он с ней намучается. Пронина ничто не остановило, он ослеп от красоты и молодости Натальи, и вот уже лет десять его жизнь напоминает гигантские качели – то радостные взлёты, то горькие падения. Собственно, всё это он описал в романе «Божья кара».

Многие осуждают бурные отношения Пронина с Натальей, говорят, что «рано или поздно эта кукла угробит классика».

– Зато у них насыщенная жизнь, – говорю я этим праведникам, и дальше провозглашаю нечто захватывающее: – Все по-настоящему талантливые женщины – стервы. И может ли быть спокойное счастье у двух личностей – им и жить вместе трудно и ещё труднее расстаться. Сумасшедшую любовь всегда сопровождает страдание. И вообще не бывает сильной любви без жертв.

После этих торжественных слов праведники затихают.

Несмотря на то, что Крамаренко моложе Пронина на двадцать лет, в их тандеме он главенствует: в подвале опекает Пронина – следит, чтобы тот не «перебрал», не опоздал на электричку, не забыл завтра сходить в какое-то издательство, кому-то позвонить. Крамаренко делает вёрстку произведений Пронина, развозит тираж его «Банды» по магазинам – в общем, выступает в роли его советника и оруженосца.

Крамаренко ругает и Пронина, и меня – по его словам мы «слишком длинно пишем». Я в ответ ругаю его за чрезмерную мистику в рассказах. Пронин при этих разговорах деликатно отмалчивается, но, думаю, втайне на моей стороне.

Ещё один друг Пронина – Равиль Домаев, темноволосый красавец с тёмными глазами, мягкими манерами и тихим голосом. Домаев психолог и гипнотизёр. По слухам, он лечит многие болезни, но гипнотизирует только «чувствительные души» (ясно, в основном, женские). Ко всему, Домаев занимается прозой. Уже первым рассказом «Волк» он сделал заявку на серьёзную литературу. Затем в общих сборниках у него вышли «Игроман», «Я – твой Сон», «Язычник» – в каждом из этих рассказов крепкий сюжет и бережное отношение к деталям. Домаев говорит, что, кроме рассказов, написал пять романов, но почему-то их никому не показывает.

Вернусь к Пронину. Иногда наш герой привязывается к сомнительным людям. Так, ещё в журнале «Человек и закон» он сдружился с детективщиком Леонидом Словиним, которого я знал, как хитреца и прохиндея, напускавшего на себя какую-то ложную многозначительность (литература для него была не жизненной целью, а средством заколачивания денег.) В восьмидесятые годы Словин одним из первых уехал на свою историческую родину. Недавно приехал на несколько дней издать очередной детектив (в Израиле они не очень-то нужны), заглянул в Нижний буфет и подсел к нам с Прониним, спросил, что мы пишем. Когда он собрался уходить, я протянул ему свою последнюю книгу. Он долго крутил её, нюхал, потом вернул мне:

– Не могу взять. Понимаешь, в Израиль могу взять только двадцать килограммов.

Даже Пронин оторопел:

– Ну как же так?!

Стоит ли говорить, как я был унижен и оскорблён.

Есть ещё два странных персонажа, которые, как балласт, прилипли к Пронину, – оба безмозглые, хотя и корчат из себя чёрт-те кого. Ясно, эти чёрные спутники обедняют жизнь нашего друга, как пиявки высасывают из него последние соки. Им-то лестно маячить рядом с мэтром, но каково ему терпеть этих никчёмных типов? Правда, один из них (Геннадий Саянов) знакомит Пронина с нужными врачами, а другой (Леонид Бабанин из Ханты-Мансийска) зазывает в свой город,

устраивает выступления на телевидении, катает на своём катере по Оби – так что Пронин терпит их не совсем бескорыстно. К тому же на фоне этих типов он выглядит ещё величественней.

К счастью, Бабанин редко приезжает в Москву, но Саянов таскается за Прониным постоянно. Я называю его «телохранителем», хотя на эту должность он никак не тянет – восьмидесятилетний, тощий, сутулый, глаза рыбы, выпученные, не пальцы, а холодные щупальца. Но главное – за всю жизнь этот балбес не написал ни строчки, хотя и называет себя литератором и бахвалится, что многим известным авторам именно он подсказал сюжеты. Он, «монументально глупый», кому-то что-то подсказал!

Бабанин – хрипатый, сипатый невзрачный сибиряк, богатый мужичок, живущий с размахом: захотел полетать – купил вертолёт, решил поплавать – приобрёл катер (размером с два грузовика), взбрело в голову стать писателем – накатал три романа (и издал за свой счёт), вздумал прославиться – прошёл пешком от своего города до Москвы. Таков этот «чужестранец». Земляки не принимают Бабанина всерьёз, а власти относятся к нему с неприязнью. Чтобы утереть им нос, Бабанин приглашает к себе Пронина – как столичную знаменитость.

Два года назад пригласил Пронина с Куксовым. Их встретили, как иностранных гостей: поселили в лучшую гостиницу, устроили выступление по телевидению, банкет в ресторане. Кстати, на банкете в Куксова влюбилась местная прокурорша (в его вкусе – обладательница впечатляющих женских достоинств), даже спела поэту романс «Лишь только раз бывают в жизни встречи...». К большому огорчению прокурорши, Куксов уснул во время её пения.

– Отправлю его в тюрьму! – заявила обиженная женщина и предложила Пронину поплавать в бассейне гостиницы.

В воде, хвастаясь своими размерами, она и так и сяк вертелась перед знаменитым москвичом, намекала на своё «одинокчество». Чем закончилось их плавание, Пронин умалчивает.

В свою очередь Куксов, проснувшись, отправился в свой номер, но по ошибке вошёл в чужой, где спал какой-то пьяный миллионер – из его карманов на пол вываливались пачки тысячных купюр.

– Ты небось прихватил пару тысконок, – усмехнулся Пронин на следующее утро.

– Перестань! – возмутился Куксов. Будучи бедным, но предельно честным, он не понимал подобных шуток.

Мы с Прониным отмечаем всех симпатичных женщин. И не только в нашем литературном клубе, но и по пути к метро «Баррикадная» по улице, которую Пронин называет «самой красивой в городе». Ничего там красивого нет, но по ней ходит много девушек (недалеко находится финансовая академия.) Девушки не обращают на нас никакого внимания.

– Даже не смотрят в нашу сторону, – как-то сказал я. – Хотя бы проявили заинтересованность, улыбнулись бы.

– А ты что, хотел, чтобы они на тебя, старика, бросались?! Ишь чего захотел! – выдал Пронин, но глубоко вздохнул и опустил голову.

Мы замечаем женщин и в кафе «У Лебедева» на Никитской, и в «Рюмочной» на улице Герцена, и в Домжуре, и в «Авакадо». И, само собой, выпивши, всегда заговариваем с женщинами в метро, благо едем пару остановок в одном направлении. Особо приветливым дарим свои книжки, надписываем телефоны, но ни одна ни разу ни ему, ни мне не позвонила. Бесчувственные! Пренебрегают нами, стариками. От этого очень грустно. Очень. Самое горькое – в старости быть одиноким. Понятно, мы старые, никому не нужные, наше время ушло. Правда, втайне я подумываю – а может, судьба мне ещё пошлёт «тургеневскую» женщину. Пронин, вроде, тоже подумывает, что встретит красотку типа Наоми Кэмпбел (не зря же о ней частенько упоминает), возможно, даже представляет, какие чудеса секса продемонстрирует ему эта чернокожая бестия.

На входе в ЦДЛ одно время дежурила охранница – блондинка лет тридцати пяти. Каждый раз, покидая наш клуб, мои дружки отвешивали ей комплименты, а я, прикладывая руку к сердцу, говорил:

– Я оставляю здесь своё сердце, – и кивал на стойку охранницы.

Девушка всегда поджимала губы и улыбалась. Однажды Пронин повысил голос:

– Зачем ты ей нужен?! Старый, немощный!

– Буду ей рассказывать о своей трудной жизни. Она меня за муки полюбит, а я её – за состраданье к ним.

– Как бы не так! – отмахнулся мой друг и обратился к блондинке: – К нему надо присмотреться.

Девушка, как всегда, поджала губы и улыбнулась:

– Я уже присмотрелась.

Когда мы направились к метро, Пронин сказал:

– Ну даже если ты и закрутишь с ней. Пройдёт год, а дальше что? Тупик!

Я согласился.

В другой раз нашей общей с Прониным редакторше, молодой, красивой женщине, будучи навеселе я сказал:

– Если бы ты была постарше лет на десять, а я помоложе лет на двадцать, у нас был бы ослепительный роман.

Пронин опять выступил:

– Никакого романа у вас не получилось бы. А вот со мной вполне возможно.

Немчиновка – дачный посёлок сразу же за кольцевой дорогой. У Пронина больные ноги (он делает себе уколы) и часто до платформы доезжает на «жигулях», оставляет машину на пятаке у магазина и в Москву едет на электричке. Всего двадцать минут. Особняк Пронина представляет собой двухэтажное строение (в подвале можно играть в футбол). А на втором этаже сразу два кабинета нашего друга: в одном пишущая машинка, в другом – компьютер и на шкафу чучело полярной совы (подарок Бабанина, несмотря на то, что эта птица занесена в Красную книгу). Что бросается в глаза – рабочие столы писателя стоят не у окон, в которые лезут ветви яблонь, а упираются в глухие стены.

– Переставь, – посоветовал я. – Свет должен падать с левой стороны. К тому же пространство за окном распаляет воображение.

– Я без всякого пространства его распаляю, – усмехнулся мой друг. – Виды за окном меня только отвлекают.

В комнатах на полках красуются собрания сочинений Пронина (с переизданиями томов двести!). Книги друзей, прочитав (в основном пролистав), Пронин относит в подвал. Парочка моих книг всё же стоит на полках – возможно, они выставляются перед моим приездом. На стенах в коридоре рисунок, резьба по дереву и чеканка Пронина. Он мастер на все руки, даже называет себя «мастером самогонварения» (во всяком случае, со знанием дела написал рассказ «Багульник», и, вроде, в подвале его дома действительно стоит «змеевик»). Говорит, что «написал и немало стихов», но никому их не показывает – вероятно, хочет издать и сразу прибить всех поэтов.

(Кстати, у меня два десятка книг Пронина – большинство с надписями: «Победы тебе на всех фронтах!» У меня его книги стоят на полках на видных местах.)

Вокруг пронинского особняка несколько огромных старых яблонь, меж них бродит кот Пронина, который, как я заметил, ночует и столуется в основном у соседей. Собачонке Татошке повезло больше – у него на террасе будка, но зимой там холодновато. Как я понял, животных Пронин не считает членами семьи и держит их как игрушки для внуков. Нельзя не отметить: если в ЦДЛ мой друг частенько выходит из себя, то в домашней обстановке спокойный, тихий, мягкий.

Свой семидесятилетний юбилей Пронин отмечал по-царски: в холле особняка его дочери накрыли столы на пятьдесят человек. Выпивки было – хоть залейся (одного коньяка привезли из Днепропетровска два ящика), и закусок наставили с избытком. Был предусмотрен и отдельный стол с початой бутылкой и бутербродами – «чтобы скрасить ожидание опоздавших». Юбиляру надарили кучу подарков; самый впечатляющий – огромный крест на зелёной ленте (постарался Саянов – привёл чиновника какого-то русско-немецкого общества). У Пронина и до этого было немало наград: «Заслуженный работник культуры», медаль им. Шолохова, значок «Трубка Шерлока Холмса», значок издательства ЭКСМО как автору ста произведений. А недавно на Украине ему вручили орден Николая Второго и произвели в генерала-лейтенанта Казачьих войск. Пронин показывает нам своё фото в генеральской форме и поясняет:

- По Украине на поездках у меня бесплатный проезд!
- Но однажды, вздохнув, печально заметил:
- Жаль, Нобелевскую премию не дают детективщикам.
- Зачем тебе она? – хмыкнул я.
- Как зачем? После неё фуршет с королевой.

Такой изящный юмор, но за ним – желание заграбастать как можно больше наград. Многие литераторы уверены, что наш друг чрезмерно тщеславен. И приводят слова кого-то из великих: «В каждом столько тщеславия, сколько не хватает ума». Ну, во-первых, это ошибочное мнение. Как пример – тот же Пронин, умник из умников. А во-вторых, он не более тщеславен, чем все остальные обитатели подвала, хотя некоторые из них прикрываются ложной скромностью – мол, мне не надо никаких наград (Балашов).

Понятно, слава нашего друга, словно цунами, катится по всей стране, а у себя в Немчиновке он вообще светило. Взять хотя бы его последний юбилей. На него я отправился с прозаиком и критиком Сергеем Казначеевым. Договорились встретиться на платформе. Я сошёл с электрички, смотрю – Казначеев стоит с прозаиком Александром Барковым (а тот ещё прихватил с собой жену и сына, которых Пронин и знать не знал).

– Сколько идти до его дома? – спросил Барков.

– Километра два, – сказал я.

– Ну, это далеко, – протянула жена Баркова. – Надо взять такси.

– Берите, – сказал я. – А мы с Казначеевым прогуляемся. В этот момент с пятака, где стояли легковушки, частник-«бомбила» крикнул:

– Вам куда?

Я назвал улицу. «Бомбила» кивнул, и семейство Барковых полезло в машину. Позднее Барков рассказал:

– Как только шофёр узнал, к кому мы едем, страшно удивился:

– К самому Виктору Алексеевичу?! И денег с нас не взял.

Спустя два года мы в Немчиновке отмечали день рождения Пронина. На этот раз на участке, среди яблонь, и небольшой компанией – человек десять. В ту осень весь участок был усыпан яблоками – некуда было ступить, и в воздухе стоял сладкий настой. Мы хорошо провели время за неторопливыми душевными разговорами – не то, что в юбилей, когда была праздная кутерьма, чумовой галдёж. Сколько раз замечал: чем меньше компания, тем интересней разговор.

Как-то в нашем подвале Пронин отозвал меня в сторону:

– Давай сядем в углу, – мрачно проговорил, доставая из сумки бутылку. – На прошлой неделе во время операции умерла моя жена Людмила. Давай помянем её.

Мы выпили, и он продолжил:

– Она была хорошая, красивая. Копия певицы Наташи Королёвой... Когда-то она окончила ВГИК... Мы вместе много пережили, нас многое связывает... А не жили мы вместе... Она так захотела. Одно время, помоему, у неё кто-то появился... У неё были самые красивые ноги на сахалинском телевидении... (И надо же такому случится – незадолго до смерти их ампутировали!)

Недавно, накануне Нового года, Балашов пригласил нас с Прониным на свой семинар в литинститут, «Заодно проводим уходящий год», – сказал.

Год мы проводили неплохо, а вот студенты своими стихами повергли нас в уныние – то какое-то псевдоноваторство, то какая-то цветистая чепуха, то что-то низкопробное, уровня учеников седьмого класса. Пронин не выдержал и устроил молодым литераторам разнос.

– Не надо негатива, – поморщившись, проворчал мне в ухо Балашов. – В злом настрое нет объективности. Критика – это нахождение прекрасного, а не ужасного.

– Витька жесток, но справедлив, – заявил я. – Ребятам это пойдёт на пользу.

Выпив и размякнув, Балашов подобрел:

– Вообще-то некоторых зарвавшихся студентов надо поставить на место.

Как я уже сказал, у Пронина вышло две сотни книг. Сейчас он пишет очередной детектив из серии «Бомжара». При встрече я спрашиваю:

– Ну как, твои герои уже, наверно, уколошили друг друга?

– Да нет, – мотает головой, – ещё только тра...я.

Одновременно мой друг готовит пятитомник «Записок на полях криминальных романов» – его многолетние наброски в записных книжках. Один том уже вышел, я прочитал его с интересом и сказал Пронину:

– Ты встал на одну ступень с Жюль Ренаром.

– Повыше, – усмехнулся он. – Эти мои записи надо читать постоянно, как Библию.

– Но в твоих записях Куксов – не Куксов. Он никогда так не говорит, – сказал я. – Он проще, естественней. А у тебя – какой-то мудрец-философ.

– А я нарочно сделал из него Козьму Пруtkова. Использовал свои ценные мыслишки. Но вообще скажу тебе – нам всем нужен хороший редактор.

Многие хвалят «Записки», уже вышли три хвалебные рецензии, но вдруг начинающий литератор Евгений Белозёров сказал:

– В них нет доброты. И вообще на всё надо смотреть с большей высоты.

Пронин, естественно, замечание Белозёрова всерьёз не воспринял.

Кстати, «Записки» Пронин выпустил в издательстве «У Никитских ворот», которое возглавляют сёстры, молодые красавицы и умницы Олеся и Мария. Пронин сразу влюбился в них. Охваченный любовным

пламенем, он постоянно торчит в издательстве, выпивает с сёстрами вино, целует им ручки, щёчки, никак не разберётся в своих чувствах – какая нравится больше. Я посоветовал ему жениться сразу на обеих. А сёстрам говорю:

– Что вы сделали с моим другом? Он краснеет, бледнеет, заикается, не ест, не спит. Вы колдуньи! Вам мало молодых авторов, которых вы уже сразили наповал?!

Сёстры только улыбаются. К Пронину они относятся с величайшим почтением, называют по имени-отчеству (ссорятся, когда решают, кому из них работать с его книгой), а меня называют «дед Лёня, который пишет сердцем».

Пронин работает, как бульдозер. Как-то мне говорит:

– Сегодня написал двадцать семь страниц.

Я подивился – для меня это мировой рекорд. Я пишу одну, от силы – две страницы. А уж если напишу три, считаю, совершил подвиг. Больше того, признаюсь, я долго настраиваюсь на работу (иногда даже для этого включаю музыку, и случается, не настроившись, вообще ухожу из дома). А Пронину не нужен никакой настрой, он как истинный профессионал заставляет себя работать. И, по его словам, заранее знает, чем закончит рассказ (или роман), и даже – сколько в нём будет страниц – то есть объёмно видит всю ненаписанную вещь! И, не в пример мне, в Нижний буфет Пронин приходит не каждый вечер.

– Я могу на спор написать роман за один месяц, – однажды заявил наш друг в подвале.

Никто спорить с ним не отважился. Каждому было ясно – пишет. Я завидую работоспособности своего друга. В самом деле, нам надо спешить, ведь впереди осталось мало времени. Да и болезни прищучивают. Но всё-таки немного времени у нас осталось. Мы ещё сможем написать что-нибудь стоящее, ещё не раз поучаствуем в наших подвальных сборищах и, кто знает, может быть, ещё встретим «совершенных» женщин. Ну хотя бы один из нас – пусть не я, а мой друг, легендарный Виктор Алексеевич Пронин.

АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Нет истины там, где нет любви.

Пушкин

Двенадцать лет назад известный поэт, мой стариннейший друг и постоянный собутыльник Валентин Устинов основал «Академию поэзии»; себя, понятное дело, назначил президентом. Первые годы «Академия» занимала небольшое помещение у Красных ворот, сейчас имеет несколько комнат с евроремонтом в доме напротив ЦДЛ. Очень удобно – когда закрывается Нижний буфет, Устинов предлагает нам «добавить» в его хоромах. Разумеется, предлагает только самым близким.

Седой, с густой, в завитках, гривой, усатый, с набрякшими веками, внешне Устинов похож на русских первопроходцев. Неторопливый, немногословный, сдержанный (всем ясно, что у этого мужика внутри железный стержень), в компании он внимательно, с улыбкой, всех выслушивает, но, если кто-то употребит матерные словечки, жутко морщится, словно его укусила кобра (у него, видите ли, тонкая душа – он по матери из каких-то благородных Михельсонов). Мой друг первостепенный хитрец – всё видит, всё слышит, всё наматывает на ус, но в споры не вступает. Только когда дело касается поэзии, становится говорливым и жёстко, чеканя фразы, отстаивает свою позицию. Случается, в азарте кое-кому и нагрубит, но под конец смягчается и, в знак примирения, отвесит комплимент с наигранной искренностью. В умении играть на слабостях людей он непревзойдённый актёр – частенько говорит литераторам то, что они хотят услышать.

Устинов родился в городе Луге Ленинградской области. В четыре года лишился матери. В начале войны его, детдомовца, эвакуировали в Кировскую область. В 47-м году его отца (водолаза) арестовали, и через два года он умер в лагерном лазарете под Салехардом. Мальчишка жил то в детдоме, то в Вольной горке у тётки (о ней всегда вспоминает с теплотой). В 14 лет приехал в Ленинград, окончил ремесленное училище и работал токарем на Балтийском заводе. Отслужив в армии, влез в райком комсомола (наверняка с прицелом на большую власть) и заочно учился на журфаке Ленинградского университета.

Дальше у него сногшибательная карьера: в 65-м году, как собкор Архангельской газеты «Правда Севера», он направлен в Ненецкий округ. Позднее назначен завотделом журнала «Север» в Петрозаводске.

В 77-м году «северянин» переехал в Москву, окончил Высшие литературные курсы, работал зам. главного редактора журнала «Наш современник», стал секретарём Московской писательской организации (всё-таки добился власти – такая блистательная жизнь!)

Устинов издал более двадцати поэтических книг, считается живым классиком, имеет немало наград, в том числе орден Знак почёта и орден Дружбы народов. По количеству регалий Устинов не обскакал Пронина, но его награды более весомые. В пятьдесят лет он называл себя «первым поэтом России»; теперь скромно ставит себя в тройку лучших.

Наш герой был четыре раза женат, имеет четверых взрослых детей («Не считая внебрачных», – как говорит его старший сын Денис); всем жёнам, после развода, оставлял квартиры, в результате сейчас, на восьмом десятке, по его словам, «оказался бездомным» (он особенно нажимает на это слово, подчёркивая своё бедственное положение).

На самом деле он имеет временное жильё в Домах творчества: одну комнату во Внуково, где живёт с пятой женой Мариной (крайне своенравной, стихийной особой по прозвищу Ведьма; у неё взгляд волчицы, сурово сдвинутые брови, сжатые губы, над верхней губой пробиваются усы), а когда поругается с ней, переезжает в другую комнату – в Переделкино. Долго свободой он не наслаждается – через неделю-другую на машине приезжает Марина и увозит его во Внуково. Так продолжается лет двадцать. Недавно она его снова увезла, а на следующий день он вернулся в Переделкино с синяком под глазом.

– Опять поругались, – сообщил приятелям.

В прошлом году Устинов вернулся из Крыма и сказал мне:

– У нас там была компания: я с Мариной и Пронин с Натальей. (Как ни странно, обе конфликтные барышни сразу сдружились). Но потом все разъехались, и я недельку с таким удовольствием побыл один. Так хорошо отдохнул, пописал... дурацкие стишата. Лёньк, могу я позволить себе пописать дурацкие стишата? – с долей кокетства спросил мой друг.

– Можешь, конечно. Ты своё дело сделал.

– Почитай! – он протянул мне листы бумаги с написанными от руки стихами. (Он доверяет мне, а я ему.)

На мой взгляд – все стихи были лучшими из всего, что он написал за последнее время. Но всё-таки я нашёл несколько корявостей. И вот что значит истинный талант! – он не спорил, не ерепенился, внимательно просмотрел строчки и, согласившись со мной, тут же всё исправил.

– Понимаешь, – сказал, – я стихи не отделявал. Но, согласись, в них есть основа. Ведь из «ничего» не сделать прекрасную вещь, как ни старайся – должна быть основа.

– Ясно, ни один мастер из камня не сделает бриллиант.

Лет тридцать мы с Устиновым встречаемся в ЦДЛ: то ежедневно, то раз в неделю, то раз в две недели; встречаемся вдвоём и в компании; всегда выпиваем, курим, разговариваем обо всём на свете. У нас крепкая дружба, при каждой встрече мы обнимаемся, даже если расстались всего-то накануне. Обнимемся, и мой друг поясняет присутствующим:

– Он талантлив почти как я!

Как-то с некоторым вызовом Устинов мне объявил:

– Я буду жить до ста лет. У меня большие планы, надо ещё написать три поэмы, два сборника стихов... Наследственность у меня хорошая – бабка прожила девяносто лет.

– Но бабка, наверняка, не выпивала и не курила, – вставил я.

– Точно, – засмеялся мой друг, но всё же продолжил отстаивать свой недюжинный генетический потенциал: – Всё равно проживу сто лет. Поэт должен жить долго. (Как Мюнхаузен он на каждый день планировал подвиг – написать что-нибудь великое.)

Бывает, после выпивки Устинов остаётся ночевать в своей «Академии». Однажды прихожу, а он лежит на диване вдрызг больной, весь красный, перевязанный шарфом.

– Третий день лежу, – хрипит. – Температура под сорок. И никто не заходит, никому я не нужен. Хорошо, что ты пришёл.

Я решил поправить его самочувствие и предложил выпить водки, которую прихватил заранее. Но он был так плох, что отказался. Я выпил две-три рюмки и всё пытался его прибодрить – ты, мол, здоровяк, таких всякими простудами не завалишь; давай, мол, крепись, выкарабкивайся, ты нужен не только нам, но и Отечеству. А он продолжал жаловаться:

– И никто за три дня не зашёл. Даже не позвонил, не поинтересовался, как я? Жив ли?

Чтобы он отвлёкся от мрачных мыслей, перед уходом я оставил ему книжку про своих собак, при этом важно заявил:

– Думаешь, почему я редко болею? Сплю с собаками! Они ведь излучают лечебную энергию.

А на следующий день встречаю своего друга в ЦДЛ – он бодр и выглядит, как огурчик: в глазах задорный блеск, под усами усмешка.

– Представляешь, всю ночь читал твою книжку, не мог оторваться. А утром абсолютно выздоровел! Чудо какое-то, честное слово!

– Ничего удивительного, – хмыкнул я. – Всё в порядке вещей. Так что, если ещё раз болезнь прищучит, сразу звони – привезу собак, полежишь с ними минут десять, и всё как рукой снимет.

Позднее Устинов написал: «Люблю Лёню Сергеева – за его душу, за его талант, за его прозу, за его «собак», кои спасли меня, продлили мою жизнь. Я этого не забуду никогда». Привожу эти слова не для того, чтобы подогреть самолюбие (хотя, чего утаивать, от них испытываю некоторое самоуважение, тем более что только теперь, в старости, стал слышать похвалу, до этого меня чихвостили все, кому не лень), но в основном – чтобы возвеличить своих собак.

Устинов автор множества прекрасных стихотворений, написанных мастеровито и легко, как будто без усилий, на одном дыхании; в них прямо-таки видится невероятная цветастость эпитетов, которые наращиваются с каждой строфой и в конце концов создают яркую мозаичную картину, нечто феерическое. Можно только догадываться, какой накал чувств, диапазон эмоций при этом испытывает наш друг, до какого возбуждения себя доводит, чтобы видеть описываемое в цвете, ощущать в звуках и запахах. Память цвета, звука, запаха дана не каждому!

Мозаичность видна и в фольклорных стихах Устинова (типа «Сокрушение»), и в его балладах, и сонетах, и в исторических поэмах – эпических полотнах, и в лирической поэме, и в поэме о детстве. И в последнем сборнике поэм «пятикнижье» – «Песчаный свиток».

– Эти поэмы я писал всю жизнь, они – лучшее, что я написал, – говорил Устинов с победоносной улыбкой.

В те дни в подвале он много шутил и смеялся. Я всё время старался быть поближе к нему – рядом с ним чувствовал себя причастным

к его успеху, ведь когда-то мне, одному из первых, он читал отрывки из этих поэм.

Что и говорить, Устинов – сильный мастер. И многие в восторге от его работ. Но не все. Кое-кто называет некоторые его стихи «ёлками с мишурой», а поэмы – «слишком длинными». К чести Устинова скажу – он и сам признаёт, что у него есть слабые стихи (на такое признание способны только сильные, по-настоящему талантливые личности). Однажды в нашей компании он прочитал своё стихотворение: «Сливы цветут сливово, вишни цветут вишнево...» Я сказал ему:

– На фиг ты читаешь эту слабую вещь?

– Слабая, Лёньк, – кивнул. – Но Жуков написал на эти стихи песню. И, понимаешь какое дело, я других наизусть не помню.

Он, конечно, хитрил, садовая голова. На самом деле у него зверская память. На моё семидесятилетие, без запинки, по памяти минут двадцать читал свою поэму. То же самое продемонстрировал на юбилее поэта Михаила Мартышкина. Он вообще саморекламщик почище Пронина – только что не говорит: «Называйте меня великим». И читает свои поэмы при каждом удобном и неудобном случае. Например, если ведёт вечер какого-нибудь поэта, под конец обязательно обрушит на слушателей свою поэму. И зал недоумевает: чей вечер – поэта или Устинова?

Острослов Балашов, посмеиваясь, говорит:

– Поэмы Устинова – болтология, которой заговаривают зубы, чтобы они не болели. А поэмы Зульф리카рова, наоборот – чтоб заболели. У них слишком много украшательств. Блок их называл «завитушками вокруг пустоты».

Понятно, Профессор высоко ценит Устинова, но не упустит случая уколоть его. Он вообще язвит увлечённо и страстно. Но попробуйте подшутить над ним – разорётся, нагрубит. Я, вроде, об этом уже говорил.

Кое-кто считает, что Устинов отгородился от современности, что у него нет гражданских стихов – одна лирика. Действительно, мой друг почему-то избегает разговоров о «демократах», о том, как разрушается Россия. «Наше дело – творчество», – уклончиво говорит он. Надо понимать – «пусть всё будет, как будет». Я не припомню стихов Устинова, где была бы боль за умирающее Отечество. И это у «державника», как он себя называет! Зато у него полно стихов о женщинах. О них он пишет особенно вдохновенно (временами

эротично) – здесь он достиг исключительной поэтичности и живописности.

– Своим «Оком вселенной» ты обогатил русскую литературу, – однажды сказал я ему. – Но у тебя, на восьмом десятке, какие-то запоздалые открытия в женщинах. Это смешно.

– А я, Лёньк, понимаешь, не бабник. Я на всех своих женщинах был женат. (Естественно, скромничал, ловкач, преуменьшал свои победы.) Я, понимаешь, избирателен, когда дело касается женщин. Иногда смотрю на какую-нибудь неприступную красавицу и думаю: «А ведь она уже надоела кому-то, и мне надоела бы».

Тем не менее в стихах Устинов призывает: «Любите женщины меня сегодня, завтра будет поздно». А говорит «не бабник». Бабник! Да ещё самолюблённый. Одно время Устинов стал писать прозу («напишу самый красивый рассказ о любви»), но быстро понял, что двум богам служить трудно, что это удел гениев, и вернулся к своему основному призванию.

В нашей компании, после изрядной выпивки, Устинов непременно запекает казачью песню. У него хороший баритон, от его гортанных переливов литературные дамочки теряют сознание, но, возможно, лишь делают вид, что теряют – просто хотят понравиться мэтру, чтобы он напечатал их стихи в альманахе «Академии». Альманах еле сводит концы с концами, и составителям приходится печатать авторов за деньги. Поэт Валерий Аушев шутливо называет «Академию» «хитрой конторкой», а Балашов – «увядший сад», хотя оба прекрасно понимают, что в наше разбойничье время издаться можно только за свой счёт.

И всё же кое-кто издаёт книги без всяких денег, да ещё получает приличные гонорары – через могущественных знакомых. Есть и те, кто ради денег пишет откровенно коммерческое чтиво. Устинов никогда ничего подобного не писал – только то, что шло «из души». Но недавно всех удивил: выдал огромную восторженную статью о стихах Ивана Переверзина, председателя Литфонда. И сразу получил дачу в Переделкино. Такие дела.

Узнав, что я пишу «Небожителей», Устинов разволновался и объявил, что тоже, пожалуй, вновь займётся прозой, тоже опишет обитателей подвала, и на этот раз сделает серьёзное историческое исследование. Ему есть о чём писать, он дружил со многими выдающимися литераторами (и не только с литераторами, например – с самим

Черномырдиным. Понятно, с такой силой наш герой мог бы занимать пост и повыше, чем президент «Академии»).

Он уехал в Дом творчества Переделкино, предварительно бросив курить и выпивать, и, по слухам, усердно катает мемуары. Так что у читателей будет возможность увидеть героев подвала с разных точек зрения. Наверняка кто-то даже захочет лично познакомиться с ними. Хотя и без наших писаний в подвал заглядывает немало любопытных: одни приходят, как в зоопарк – посмотреть на старых чудаков, другие хотят окунуться в богемную атмосферу, «духовно обогатиться», третьи (из числа начинающих поэтов) – чтобы познакомиться с «самим» Валентином Алексеевичем Устиновым.

Вице-президентом «Академии поэзии» является поэт Михаил Мартышкин, доблестный восьмидесятилетний старик, которого назвать «стариком» не поворачивается язык – так молодцевато он выглядит (ни разу не был у врача и не случайно носит звание чемпиона мира по волейболу среди ветеранов). Высокий, подтянутый, с неизменной улыбкой, он держится, как триумфатор: ходит стремительно (перед ним все расступаются), шумно появляясь в подвале заполняет собой всё пространство, ни перед кем не прогибается – двери начальников открывает ногой, говорит с прямоотой римлянина – резко, не признавая никаких авторитетов (ему всё равно, как воспримут его слова); от него исходит властная сила, звериная воля, он готов всех подчинить себе, всех насильно сделать счастливыми. Он прирождённый лидер в любом коллективе, в любой компании (и, разумеется, капитан своей волейбольной команды); случается, и нас жёстко поучает (ничего не поделаешь – лидер и должен быть «овчаркой»). Но, понятно, поучать нас, пытаться властвовать над нами –дохлый номер; в подвале каждый себя считает «овчаркой», а некоторые даже волкодавами. Что касается лидерства, то я заметил: лидер от природы, добившись власти, особенно не меняется, в то время как лидер «из грязи в князи» становится снобом, а то и деспотом.

К Мартышкину относятся по-разному, но все восхищаются его активностью, энергией, бешеным ритмом жизни. Некоторые называют его «Три М» (он Михаил Михайлович), и считают, что ему надо взять псевдоним, но Мартышкин гордится своей смешной фамилией (несёт её как флаг), и правильно делает. За псевдонимом обычно прячутся евреи и всякие дуралеи, стесняющиеся фамилии отца, или придурки, которые выдумывают себе нечто «благозвучное».

Мне, кстати, тоже когда-то советовали взять псевдоним, поскольку было пять-шесть литераторов Сергеевых (у всех настоящие фамилии – еврейские). И сейчас появился какой-то бард Леонид Сергеев (тоже «богоизбранный»); из-за него меня не раз спрашивали: «Это не ты написал стишата?»

В молодости Мартышкин пять лет отсидел в лагере, «отсидел по делу», – как он сам говорит (за какую-то экономическую афёру; позднее был реабилитирован). Именно в зоне Мартышкин стал писать стихи; посылал их в московские редакции и получал гонорары. Это не нравилось «ворам в законе»; однажды они вызвали поэта на разговор и злобно спросили:

– Ты что же, Мишаня, работаешь на власть?

Наш герой догадывался, что ему грозит, но вывернулся:

– Так ведь если есть возможность содрать с власти деньги, почему не содрать? На эти деньги я достаю нам табак, выпивку.

В конце концов крепкие, энергичные стихи Мартышкина заметили столичные литераторы и помогли ему выйти на свободу (в том числе мой приятель Джим Паттерсон.)

Как-то я спросил у Мартышкина:

– Миш! Но ведь в тюрьмах и лагерях наверняка есть люди незаслуженно осуждённые.

– Нет таких! – вскричал наш друг. – Все подонки! – и дальше мощно закончил: – Всех надо стрелять!

В этот момент мне подумалось: а ведь не случайно многие великие правители и полководцы были палачами – у них другой масштаб мышления.

Несмотря на всё пережитое, Мартышкин не сломался: много работал, занимался самообразованием и спортом; теперь руководит строительной фирмой (строит коттеджи на черноморском побережье для новых русских), издаёт сборники стихов. Он железный мужик, внутри у него заведённая до отказа пружина, он из плеяды непобедимых, которые если и падают, сражаются на коленях.

Понятно, такой герой – мечта любой женщины. Особы всех возрастов, без всякой наигранности, с восхищением таращатся на Мартышкина; некоторые от одного его вида хлопаются в обмороки (не придуриваясь, в отличие от слушательниц Устинова). Но Мартышкин отдаёт предпочтение только молодым барышням.

– Мы с женой прожили пятьдесят лет, – говорит. – Сейчас ей семьдесят. Я приношу домой немало денег, сыновей устроил в свою фирму. Все довольны, мы живём дружно. Ну и, конечно, у меня три молодые любовницы – одна красивей другой. Я их люблю, дарю подарки, вожу на отдых к морю, – и дальше, с широкой улыбкой нам втолковывает: – Женщин надо любить – они милашки. Я особенно люблю длинноногих с большим бюстом. Я говорю им: «У меня есть несколько тысяч долларов, не знаю, куда их потратить». Или говорю: «Последнее время поиздержался, но на книжке есть два миллиона евро» – и они меня любят сильнее. Вот так вот... Некоторые соседки говорят моей жене: «У твоего мужа должна быть фамилия Кобелини!» А жена им отвечает: «Он всё равно никого не любит больше, чем меня». И это правда. И она меня любит. Говорит: «Он управляет цунами и землетрясениями».

Всё это он, злодей, говорит без всякой похвальбы и бравады, со здоровым цинизмом. Он действительно с женщинами весел, щедр, заботлив. И всегда снисходителен к их слабостям и глупостям. Как благодетель он оплачивает аренду помещения «Академии», даёт деньги на отдых Устинову, а поэту Константину Коледину – на сборник стихов.

В нашей мужской компании Мартышкин долго не задерживается: выпьет немного коньяка, в своей обычной наступательной манере расставит всех литераторов по своим местам, пройдёт катком по поэтам (он блестяще знает поэзию – в лагере времени зря не терял) и встаёт:

– Всё, молодые люди! (Он всегда нас так называет, хотя мы моложе его всего-то на пять-шесть лет.) Я пошёл, у меня ещё куча дел, а завтра с утра тренировка.

Понятно, ему тесно в подвале, да и во всём городе. И как ему, чёрту, удаётся везде поспевать?

Иногда Мартышкин читает нам лекцию о том, что стареть надо красиво, достойно, что стариканам, вроде нас, совершенно необходимо иметь любовниц, и искренне недоумевает, почему их у нас нет. И всегда декламирует стихи великих, а нам поясняет:

– Поэзия – высшее проявление творчества, ёмкое выражение мысли и мастерства. Прозу не люблю, она себя исчерпала, все сюжеты уже перелопачены. (Понятно, это глупость. Что значит перелопачены? Совершенно неверно. Да и важен не только сюжет, но и как он выполнен.)

Мартышкин полушутя считает себя «лучшим поэтом России». У него вышло пять сборников стихов (некоторые стихи прямо-таки сгустки энергии, некие шаровые молнии). В последнем документальном сборнике «Дикий фраер», кроме стихов, есть очерки о лагерной жизни. Это дерзкая и честная книга потрясает смелостью и беспощадной правдивостью. Читая её, особенно остро воспринимаешь слова великого узника Сервантеса: «Самое большое несчастье – не-свобода».

Год назад Мартышкин побывал в Париже на выставке нашей современной поэзии. (Выставку для эмигрантов организовала дочь Ельцина, известная миллионерша-негодяйка.) Чтобы немного разбавить поэзию, Мартышкин взял и мою прозу, но, по-моему, по дороге её потерял. (Во всяком случае каждому из поэтов объяснил, куда пристроил его книгу; мне не сказал ни слова.) Встретившись с миллионершей, наш герой подарил ей своего «фрайера» и, с некоторым нахальством (или мужеством), сказал:

– Я здесь о вашем папёнке написал нелицеприятные слова (просто убийственные).

Миллионерша только пожала плечами.

Однажды Мартышкин ворвался в подвал и, без всякой улыбки, жёстко, ударяя себя в грудь кулаком, выпалил мне в лицо:

– Что ты сделал?! Что ты сделал?! Я в зоне был бугор (бригадир)! Я видел всё, но никогда не плакал. А ты, чёрт, довёл меня до слёз! Это про меня ты написал (имелся в виду рассказ «В подвале»). Я прототип твоей собаки. Это я вырвался из петли собаколовов. Я вырвался на свободу!.. Много в России хороших стилистов, но ты стилист, который раздражает сердце. И как ты смог так написать, ведь ты не сидел...

Это были самые приятные слова, которые я слышал в то время. Позднее Мартышкин написал стихотворение «Овчарка» и посвятил его мне «как знатоку собак и поэтов».

Но между нами есть и разногласие. Нешуточное. В тридцать седьмом году у Мартышкина расстреляли отца, сам он побывал в зоне, где боролся за выживание, и, ясно, никакой любви к советской власти он не испытывает. Стоит кому-нибудь заговорить о Советском Союзе, как его улыбка переходит в оскал, а холодный взгляд напоминает взгляд тигра. Он повышает голос, покрывается пятнами и, размахивая руками и нервно одёргивая рубашку, идёт в атаку:

– Империя и должна была развалиться! Всякая власть дерьмо! Не я должен работать на государство, а оно на меня! Полезли в Афганистан! Я своих сыновей не отдал в армию, не хочу, чтобы из них сделали пушечное мясо! И сейчас на государство и власть плюю! Я живу для себя и своих родных! Сейчас выйдет книга, где я всю власть припечатал! Я никого не боюсь.

Я говорю ему, разбушевавшемуся, что советский строй был более справедливым, чем то, что натворили строители капитализма. Что при коммунистах каждый год население увеличивалось на два миллиона, а сейчас за год убывает по миллиону. Без войн и эпидемий! И двадцать миллионов остались за рубежом и не могут вернуться на родину. Что, наконец, оплёвывая социализм, «демократы» плюют в лицо пожилым людям, говорят, что они зря прожили свою жизнь.

– Всякая власть – дерьмо, – зло повторяет Мартышкин, демонизируя свой образ. – Тем более сейчас, когда нет настоящего лидера, типа Александра Невского, Петра Первого. Народу не за кем идти. Как говорил Наполеон: «Побеждает стадо баранов под предводительством льва, а не стая львов под руководством барана». (Наш друг был прекрасен в своём гневе.)

Понятно, Мартышкин занимается бизнесом, живёт припеваючи, катается по заграницам, но где его боль за наш обнищавший народ? За «наш добрый народ», как говорил Пушкин?! И почему слово «патриот» у него вызывает презрение и насмешку? Это особенно непонятно, поскольку он открыто и безбоязненно в стихах громит теперешнюю власть, и, будучи умником, не может не видеть разницы между прошлыми и нынешними деятелями. Я не возвышаю коммунистов, среди них было немало тупиц и негодяев, но всё-таки, «построив себе коммунизм», они не забывали и о народе, а теперешняя власть думает только о своём кармане. И как не сравнить прежнее могущество страны и её теперешний жалкий вид?

В отличие от Мартышкина, большинство моих друзей убеждены, что развал государства не был неизбежен, что его подстроила горстка подонков и западные русофобы, и это стало величайшим преступлением века.

Недавно Мартышкин рассказал историю о десанте под Керчью, когда под огнём наступающих немцев часть десантников выходила

из окружения, а в катакомбах-лазаретах оставались пятьсот раненых и с ними добровольцы – девятнадцать девушек-медсестёр.

– Никак не могу написать стихи об этом, – дрожащим голосом говорил наш «железный» поэт. – Несколько раз пытался – не могу. Представляете, девятнадцать наших русских девушек, обречённых на смерть?

Было ясно – несмотря на геройствования, на крутой нрав и изломанную судьбу, Мартышкин сохранил и милость, и сострадание, и часто больше строит из себя супермена, чем является им. Кстати, дома с женой он выглядит ручным тигром – его жёсткий характер переплавляется в мягкий.

Один из самых активных «академиков» – составитель альманаха поэзии, издатель, поэт и бард Александр Жуков. Сухопарый, жилистый, с мужественным лицом, Жуков напоминает американских ковбоев. Но мужественно наш друг ведёт себя только с нами, его друзьями – спорит с позиции силы, напористо, до посинения, размахивает кулаками, того гляди врежет в челюсть (он в молодости занимался боксом, у него железное рукопожатие и глуховатость – кто-то на ринге заехал ему в ухо), а вот перед женщинами унизительно заискивает, ластится к ним, нежно щебечет свои стишата. И ужасно боится жены – стоит ей позвонить, сразу несётся домой. Такой подкаблучник.

– Надоели скандалы, – оправдывается перед нами. – У жены тяжёлый характер. Если прихожу поздно, кидает в коридор надувной матрац и закрывает дверь в комнаты.

Умора! Спит в коридоре, как пёс. Так что иметь мужественное лицо и крепкие бицепсы ещё не значит быть мужчиной.

Когда-то Жуков пытался поступить в литинститут, но его не приняли. Тем не менее, он начал печататься с начала 70-х годов. Именно тогда в «Крокодиле» и «Литературной газете» появляются его иронические стихи (смешные, ёмкие, чёткие). Позднее в «Библиотеке Крокодила» вышла его книга, а в «Литературке» он стал лауреатом премии «Золотой телёнок». Одновременно наш друг писал и лирические стихи, но книги лирики вышли только в 80-х годах (в «Советском писателе» и «Современнике»). Он награждён премией «Литературный Олимп» и многими медалями: им. Грибоедова, Есенина, Суворова и ещё какими-то, и что примечательно – относится к ним, молодчина, как к безделушкам, а вот свои произведения, дурачина, считает драгоценным фондом литературы.

Окончив знаменитый Бауманский институт, Жуков несколько лет работал инженером в конструкторских бюро (имеет сорок(!) изобретений и медаль «Ветеран труда»). Одно время заведовал отделом, и у него в подчинении было семьдесят сотрудников – в основном, по его словам, симпатичных сотрудниц. Но наш герой особенно романы не крутил, поскольку рано женился на очень ревнивой, «с чертовщинкой» сударыне Валентине, которая следила за каждым его шагом. И до сих пор (хотя они уже прожили вместе пятьдесят лет) Валентина держит мужа на поводке, с которого иногда спускает «заглянуть в ЦДЛ», но и тогда постоянно звонит нашему другу, выпрашивает, с кем он сидит. Наш друг, задыхаясь, лопочет, что сидит в сугубо мужской компании, передаёт мобильник кому-нибудь из нас, чтобы подтвердили его слова. И мы слышим гневный голос Валентины:

– А что там за бабские голоса? Небось с проститутками сидите?!

Такая разрушительная любовь. Несмотря на жёсткий контроль Жуков всё-таки умудряется встречаться с поэтессами, в основном с теми, чьи брошюры издаёт; правда, эти встречи носят невинный характер.

Издательской деятельностью он стал заниматься в разбойничьи 90-е годы. (Даже по линии «поддержки малого бизнеса» съездил на месяц в Америку.) Всё его издательство состоит из одного человека – его самого. Художнику, наборщику, верстальщику он просто отвозит рукопись, а когда те подготовят оригинал-макет, отдаёт его в типографию. Эта деятельность даёт ему приработок к пенсии, но ясно – и известность. Жуков издал более сотни книжек (в основном – графоманов, и только несколько способных начинающих литераторов). В его издательство очередь – и потому что он, в отличие от других издателей, устанавливает «божеские» цены, и потому что, не щадя времени, редактирует и правит рукописи. В этом он умелец. Не виртуоз, но слово чувствует как надо.

Издал Жуков и десяток своих брошюр – тонких «карманных», где собраны юмористические стихи, эпиграммы, афоризмы, переводы английских поэтов. Причём большинство своих творений Жуков печатает под своей фамилией, а некоторые («не очень удачные» – как он говорит) под странным псевдонимом Алесандро Жучинни. Эти словечки говорят о каком-то вычурном вкусе и тайных фантазиях нашего друга, но ничего не поделаешь – у каждого старика свои причуды. А нам ничего не остаётся, как звать Жукова синьор Жучинни.

Жуков – мастер малых форм, с чёткой направленностью на иронию и юмор. Но что странно – в подвале редко юморит и вообще относится к себе слишком серьёзно. Другое дело – споры. Повторюсь, в споры с нами он влезает не раздумывая, и спорит жарко, с брезгливыми гримасами, выражающими презрение к оппонентам. Он всегда абсолютно убеждён в своей правоте. Но иногда наш друг впадает в глубокую скорбь – и от трагедий (погиб старший брат, умер старший сын), и от постоянных ссор с женой (понятно, она песочит его за выпивки с нами и встречи с женщинами), и от споров с авторами, которых он правит, ведь те соглашаются только с явными промахами, а над всем остальным трясутся, как над бриллиантами (говорят: «это мне особенно дорого», «а это нравится моему мужу» и прочую ерунду).

Так как Жуков специалист по малым формам, он и во всём остальном стремится к миниатюрности: книжки выпускает карманного формата, носит маленький портфель, в котором, кроме рукописей, три пузырька (из-под лекарств): один с водкой, второй с коньяком, третий с наливкой – и закуска – пирожок, яблочко, мандаринка. (Правда, разлив пузырьки и опорожнив свою дозу, Жуков идёт к стойке буфета и возвращается с графином, в котором граммов двести нашего национального напитка.) Он и женщин любит маленьких, кукольных, таких карамелек. И даже – вот дедок! – малолеток (им дарит свои книжки с зарифмованными надписями и номером своего мобильного – с надеждой, что когда девицы подрастут, непременно ему позвонят – забывает, чудило, что к этому времени он одряхлеет).

И, само собой, Жуков преподносит свои книжки нашим женщинам. Стоит кому-нибудь из подвальщиков появиться с подружкой, как подсакивает Жуков, спрашивает у женщины, как её зовут, чем занимается, тут же сует ей свою книжку с подписью и телефоном, и, разумеется, просит позвонить. Не понимает, обормот, что тем самым поступает не по-товарищески.

Во время выпивки у Жукова на лице появляются то розовые, то красные пятна – по их цвету всегда можно определить, сколько наш друг принял на грудь. Жуков страшно стесняется изменений на лице, после каждой рюмки бежит к зеркалу; заметит, что покраснел – не пьёт, пока снова не побелеет.

Среди подвальщиков Жуков компанейский, откровенный, никогда не темнит, говорит то, что думает, и даже в спорах не переходит грань

приличия: не кричит, как Пронин, и не оскорбляет нас, как Балашов. Всё в нём прекрасно, кроме одного – он считает себя бардом, не имея на то никаких оснований – у него нет ни слуха, ни голоса. Вернее, и то и другое у него в слабоватом состоянии. Сами тексты его песен – неплохие, придраться не к чему (штуки три стали известными, в том числе убойная вещь «Ордена продаёт ветеран»), а вот мелодии все одинаковые. И ладно бы он пел их только в домашней обстановке или в узком кругу друзей – так нет, он постоянно лезет на сцену. И ладно бы исполнял одну-две вещи – так нет, пока не перепоёт весь свой репертуар, не успокаивается. Он считает свой голос – золотым голосом подвала и делает всё, чтобы усложнить нашу жизнь.

У меня пение Жукова вызывает только зевоту. Да и многие за спиной нашего барда подтрунивают над ним, хихикают, а он, вроде, ничего не замечает и что особенно нелепо – не видит себя со стороны. И все молчат, боясь ранить чувствительную душу друга. Даже музыкальный Балашов. Всё оттого, что всякую критику в свой адрес Жуков принимает в штыки. Он очень обидчив и обиды помнит долго. К примеру не пришёл на похороны прозаика Игоря Блудилина, потому что тот когда-то перенёс его выступление на следующее заседание «Литературного клуба».

Всё-таки насчёт сдержанности Жукова я загнул. Вот вспомнил: однажды мы с Устиновым высказали недовольство четверостишьем нашего обидчивого друга, и в ответ услышали нечто обжигающее:

– Вы тупые! Ничего не понимаете!

А уж заикаться по поводу его пения просто опасно. Я раза два сказал, что у него исполнительное мастерство хромает, что все его мелодии одинаковые, так он рьяно, с ожесточением набросился на меня:

– Ничего не понимаешь! Пойми, дурная голова, у меня разная тональность! У тебя глухота! Всем нравится, одному тебе не нравится! Вообще не буду с тобой разговаривать!

Мне смешно, я уверен, что такая реакция от неуверенности в себе. И чрезмерное самоутверждение от того же. Надо признать, что отдельные девицы всё-таки устраивают Жукову оваации; по словам Блудилина, просят «угостить их своей музыкой, украсить их души», а после его игры готовы на всё. Особенно им нравится его эротическая песня «Поднялось настроение и не только оно». Глядя на эти сцены, я думаю, что некоторые поэты взяли гитары исключительно для того,

чтобы девицы бросались на исполнителей и душили в объятиях. А если учесть, что стройный Жуков на сцене смотрится, как голливудский актёр, – девиц можно понять.

Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Ведь есть поэты, которые мало интересуются женщинами, а некоторые и вовсе ими не интересуются – эти субчики возомнили себя немислимыми талантищами, они безразличны ко всему, что происходит в мире, для них главное – собственное «я», всё остальное – лишь обрамление их личности. Но тем не менее иногда я думаю, что большинство мужчин вообще всё делают ради восхищения женщин.

Был случай, когда в «Академии поэзии» один профессиональный певец спел песню Б. Курочкина о матери. Это был блестящий вокал. Не успел певец закончить, как гитару взял Жуков. Я понял – наступил ключевой момент вечера. Жуков исполнил свою песню, тоже о матери (со схожими словами). Понятно, на фоне истинного мастерства он выглядел особенно бледно. Это всё равно, что после Пушкина какой-нибудь заурядный поэт стал бы читать свои стихи. Все поняли нелепость ситуации. Все, кроме нашего друга. Честное слово, я во время его выступлений испытываю страшную неловкость. А он хоть бы хны. Иногда я вообще выхожу из зала (покурить), тем более, что давно знаю все его песни наизусть. Разумеется, потом получаю нагоняй от нашего барда.

– Тебя погубит тщеславие, – говорю ему.

Жуков только кривит рот:

– Я самый скромный из вас.

Вот так мы и ссоримся – беззлобно, даже, вроде, художественно. Как можно злиться всерьёз, если нас связывает многолетняя дружба, а отношение к его пению – всего лишь мимолётное противоборство. Не случайно все свои новые стихи Жуков показывает мне и просит отметить галками, какие понравились. Потом, естественно, спорит, но кое с чем и соглашается.

– Ты, конечно, ворчун, всех критикуешь, – говорит мне, – но надо признать, часто бываешь прав.

– Не часто, а почти всегда, – отшучиваюсь я. – И на правах старшего (я старше его на два года) ругаю вас, чертей, чтоб совершенствовались, чтоб были требовательны к себе. А вы слушаете только приятные слова. Ты от меня слышал хоть раз, чтобы я хвалил или защищал свои вещи?

По большому счёту всё это я говорил серьёзно. Ещё в детстве отец учил меня не обращать внимания на похвалу, а из критики выжимать максимум. Для пользы дела.

Что касается литературного профессионализма Жукова, скажу: я не раз был свидетелем, как он корявые строчки какого-нибудь поэта моментально делал отличными. Повторюсь: как редактор он выше всяких похвал.

Само собой, в подвале многие поэты читают свои стихи. Хотя Пронин говорит:

– Хороший поэт свои стихи не читает.

А Балашов добавляет:

– Если твои уши никто не терзает стихами, ты не в ЦДЛ.

Жуков «терзает» в основном эпиграммами. Прочитает четверостишие и объясняет, что в нём смешного. На всех нас, своих друзей, он сочинил немало насмешливого, но девицам пишет только нежные послания. Прочитав эти послания, простодушные девицы могут подумать, что Жуков – этаким романтик, витающий в облаках, и, понятно, глубоко ошибутся. Мы-то знаем его напор. Недавно, обращаясь к нам, курильщикам, разорался:

– Вы все неполноценные люди! Отстальные дикари! Весь цивилизованный мир уже бросил курить! А вы здесь отравляете воздух, портите нам жизнь!

И наш герой не витает в облаках – он твёрдо стоит на земле: у него шикарная квартира, большая дача, дорогая иномарка (правда, к этим богатствам он, молодчина, равнодушен). И практичный он. Пользуясь удостоверением «Ветеран труда», каждый год катается в Дома отдыха, на остров Родос, в Крым, в Подмоскovie. Когда-то побренчал на гитаре девицам в собесе, и с тех пор получает бесплатные путёвки.

В общем, на романтика он никак не тянет. Скорее – на крупного начальника с диктаторскими замашками и сердцем донжуана. Но, несмотря на это своеобразие, у него масса достоинств: он искренен и честен, никогда никого не подводит, не лезет во власть, у него отличное чутьё на юмор, и, как я уже говорил, он компанейский, открытый – короче, мы все любим Александра Николаевича Жукова.

Ещё три поэта-академика: Константин Коледин, Валерий Аушев и Валерий Иванов обычно начинают выпивать в «Академии», но заканчивают в подвале.

Коледин, по прозвищу Партос, – высоченный здоровяк, руки и ноги – массивные, голова с ведро, лысина обрамлена седыми завитушками, на подбородке седая мушкетёрская борода, взгляд пронизательный, сродни взгляду Петра Первого. Ходит этот великан важно, переваливаясь с ноги на ногу; сидит, скрестив руки на груди, не говорит, а вещает и частенько бахвалится своими габаритами:

– В драках я выступаю миротворцем, разнимаю дерущихся.

Всем ясно – этого красавца-верзилу можно включить в список десяти самых колоритных поэтов Москвы. Будучи глубоко верующим, Коледин почти в каждом стихотворении упоминает Бога и, по-моему, втайне примеряет мантию священника. Это не мешает ему (как бы милосердному) грубовато подшучивать над друзьями (он называет нас «дедками») и крепко (матерком) ругать недругов, и при этом смеяться громче всех (после того как вставил зубы, вообще скалится по каждому поводу). Но иногда впадает в задумчивость, полностью уходит в себя и тогда его физиономия похожа на мороженого судака.

Во время войны Коледин оказался в детдоме Мурманска, а после войны – в московском детдоме. Некоторое время учился в военной школе духового оркестра (два года в Москве, один в Минске), затем сменил несколько рабочих специальностей, пока не освоил ремесло плиточника; много лет он отделявал керамикой кухни и ванны, и слыл классным мастером. (Как-то обещал мне достать плитку, но «забыл».) В те годы он дружил с отличным прозаиком Борисом Воробьёвым. Воробьёв был и моим другом, поэтому мы втроём встречались в «Пётростром зале». Мы с Воробьёвым (бессемейные) встречались часто, а Коледин (обременённый семьёй) присоединялся к нам от случая к случаю. В застолье он удачно острил, но откровением не отличался и о себе говорил неохотно, но чётко и странно:

– ...Прочитал Есенина и стал русским(?).

– ...Маяковского не люблю.

– ...Некрасова не люблю. Я против сюжетных стихов. (Значит, против многих русских поэтов, начиная с Пушкина?)

Как-то Юрий Отрешко (бывший цензор Главлита, эрудит, который так ничего толком и не написал) заявил, что все тридцать три сюжета давно разработаны, и вообще Шекспира не превзойдёшь. Коледин тут же объявил:

– Так говорят бездарности. Я всегда хотел быть первым.

– Он им стал, – считают Мартышкин и Жуков и добавляют, захлёбываясь от восторга: – Его драгоценные стихи как молитвы.

Кстати, некоторые охламоны, забросив литературу, подобно Отрешко, часто выдают фразочки: «лучше Пушкина (или Бунина) не напишешь». Коледин прав – это ширма, за которой прячут свои хилые возможности.

– И молчальников не люблю, – говорит Коледин. – Знаю я их, корчат какую-то значительность, а откроют рот – пустота. Ума-то не скроешь. Правильно говорил Леконт де Лиль: «Крепче всего запирают свои души те, у кого в них ничего нет». (Наш «Партос» начитан под завязку; особенно любит китайскую литературу.)

За прошедшие годы мы много раз выпивали с Колединым в разных компаниях: в ЦДЛ, Домжуре, в скверах, у ларьков, около метро, но о жизни своего друга я до сих пор мало, что знаю, для меня он закрытый человек, за семью замками, самая загадочная личность. Свою доблестную жизнь он окутывает плотным туманом, точнее – рассказывает о ней как-то сумбурно, вкрапляя отдельные сведения в разговор о более значимых вещах. Известно, что у него трое женатых сыновей и трое внуков, и жена «с более мужским характером, чем у него», что лето они проводят в посёлке недалеко от Рязани, куда приезжают на собственной «иномарке».

В поэзии, как и в плиточном деле, Коледин знаковая фигура, мастер высокого класса. Главное, кажется, он пишет легко, даже немного небрежно и не терпит разговоров о своих стихах – такое впечатление, что не знает, как талантлив. На самом деле, конечно, знает, и относится к литературной работе серьёзно, но не настолько серьёзно, чтобы считать себя невысказанным творцом, который затмит всё, что создано до него.

Всё-таки кое-чего в поэзии Коледина мне не хватает. Недавно я спросил у него:

– Ты пишешь о вечном, о Боге, но почему у тебя нет гражданских стихов?

– А на х... мне нужны эти граждане! – отрезал он. (Я сразу вспомнил Юрия Казакова: «У литератора должен быть нравственный долг перед народом», и подумал: похоже, мозгам Коледина это тяжело воспринимать.)

– И о родине не пишешь, – вспомнил я.

– А х... бы с ней! Тебе родина много дала? Я читал, как ты скитался, снимал комнаты за городом. И мне она ни черта не дала!

Дальше он поддал жару: с бешеным напором стал ругать «сталинизм», досталось и рядовым коммунистам. (Между тем нельзя отрывать человека от его времени. Сартр говорил: «Каждый антикоммунист – сволочь».) Объяснив себя «демократом», Коледин отчебучил:

– Литература должна быть отделена от жизни!

– Как раз наоборот, – замотал я головой. (Для меня талант, кроме всего прочего, это и ответственность за то, что происходит вокруг нас, это боль за наше разрушенное и разворованное Отечество.)

Меня поддержал поэт и бард Анатолий Пшеничный, известный, даровитый патриот России:

– Где твоя отзывчивость, где твоё сострадание к людям?

– Каким людям! Безмолвной толпе? – Коледин зло усмехнулся. – Не будите во мне зверя. Китайцы говорят: «Прежде чем дёргать тигра за хвост, посмотрите на его зубы», – Коледин хвастливо подмигнул нам и разинул беззубый рот.

В своей ненависти к «сталинизму» Коледин сродни Мартышкину, потому, кстати, у них и прямо-таки братская дружба. Похоже, общая ненависть к чему-либо связывает людей не меньше, чем любовь. Ясно, в нашем возрасте спорить бесполезно, у каждого уже чёткие убеждения и никто никого не переубедит.

Но что показательно – Коледин, отбросив всякое христианское смирение, становится жутко агрессивен, когда дело касается прошлого нашей страны. И Мартышкин от него не отстаёт. Оба взрывные, искромётные. Спрашивается, чем они отличаются от наших нахрапистых «демократов» с их лютой злобой к России? Кстати, только эти два гаврика не жалеют о развале СССР. Только они из всей братии подвальщиков.

И всё же, всё же у Коледина есть прекрасные стихи о Мещёре (где у него дача) – в них видна любовь к нашей природе. А недавно я прочитал его подборку в «Московском литераторе», где все стихи были первоклассными. Все до одного! Такой приступ вдохновения случился у нашего друга. Многие поэты заявляют, что Коледин «талантище». Он вяло отмахивается:

– Да, ладно! Чего там! Боженька всех расставит по местам.

Но слабых поэтов Коледин ругает, не стесняясь в выражениях (он невероятно жесток в вопросе профессионализма), и ругань заканчивает красиво:

– Китайцы говорят: «Совершенную вазу могут сделать только руки мастера».

Таков Константин Константинович Коледин, такая у него сложная душа, которую раздирают меж собой ангелы и дьяволы. Конечно, таким его вижу я, и, понятно, кто-то его видит другим. Некоторые говорят, что Коледин чересчур резок, безжалостен. На самом деле он, как каждый настоящий мастер, требователен к работе. Кое-кто считает, что Коледину свойственно высокомерие, не такое, как у Ю. Кузнецова и Передреева, но всё же приличное.

Коледин появляется в подвале реже всех.

– Диабет прихватывает, – объясняет. – Да времечка маловато. Всё дача, внуки, поменял машину. Да моя старуха пилит. Но главное – диабет... Старость безрадостна. Китайцы говорят: «Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже». Хм! Попробуй оставаться молодым, когда болезни скручивают.

В подвале Коледин непременно появляется с бутылкой и банкой квашеной капусты собственного приготовления, которую «не купишь ни на одном рынке». В застолье то и дело кого-нибудь спрашивает:

– Что ты сказал бы Богу, если б встретился с ним?

– Что он создал ужасный мир, – чеканит Мартышкин. – Где всё построено на страхе, чувстве опасности, ведь постоянно идёт война: в воздухе, на земле, под водой, и побеждает не талантливый и умный, а тот, у кого больше зубы. Я придумал бы что-то получше.

– Я сказал бы ему, – окликается Жуков, – что он совершил большую ошибку создав человека. Именно человек убивает себе подобных и животных, вырубает леса, загрязняет реки, губит природу. А теперь с атомными бомбами рано или поздно вообще угробит планету.

Из прозаиков Коледин всегда хвалит Воробьёва и меня (не знаю, насколько искренне) и называет ласкательно: «Боренька», «Лёничка», а узнав, что я пишу «Небожителей подвала», стал меня нахваливать вдвойне:

– Твои книги я перечитываю. Ими зачитываются дети, внуки.

Кстати, другие старики стараются от него не отстать. Раньше, что ни скажу, артачатся, спорят с пеной у рта, грубят, а сейчас кивают:

– Как это верно! Я полностью с тобой согласен, – и подливают мне водку, протягивают бутерброд. Вот ловкачи!

Прозаик Владимир Личутин постоянно напоминает:

– Учи! Я ведь тебе никогда не говорю, что я гений.

Поэт Валерий Аушев просто требует:

– Не забудь про мои добрые дела на поприще президента фонда Ломоносова!

А скромник поэт Владимир Сергеев (Пьянков) упрощает:

– Пожалуйста, обо мне ничего не пиши.

Чудаки! Всё опишу, как есть. Похвалю их, старых чертей, за добрые дела и пропесочу за отвратные.

Валерий Петрович Аушев лысый, с рыжими пучками волос за ушами, с ироничной улыбкой и прищуренным взглядом – это взгляд многоопытного мужчины, взгляд, в котором мало радости, но много боли. Общаясь с друзьями, Аушев время от времени впадает в задумчивость и вздыхает. Нам ясно – он много пережил, многое не успел сделать.

Он всегда в светлом пиджаке и отутюженных брюках, при ярком галстуке. Основная его черта – выдержка, он никогда не выходит из себя, не повышает голос, в нём есть стержень настоящего мужчины.

Аушев окончил московский пединститут, некоторое время учительствовал в школе архангельской области, потом служил на Севере, получил звание капитана, работал в газете «Правда Севера». (В Архангельске во время теракта погибла его первая жена с сыном и невесткой.) После окончания Высших литературных курсов Аушев заведовал редакцией в издательстве «Знание» (первым напечатал Белова, Личутина, Рубцова, Проханова). В 90-е годы был направлен журналистом в погранвойска Средней Азии; за раскрытие преступлений (в гробах перевозили наркотики) имеет награды. Сейчас возглавляет фонд Ломоносова и является президентом Международного союза творческих сил и полковником погранвойск. Будучи столь крупной величиной, имея восемнадцать премий, Аушев постоянно афиширует свою священную деятельность, а нас в подвале распекает:

– Вы здесь всё знаете, что надо делать в стране, но где дела?! Одна болтология! А ведь вас ждут великие дела!

После этих слов мы чувствуем, что нас действительно ждут великие дела. Конечно, не всех. Некоторых ждут дела мелковатые. Говоря о «делах», Аушев имеет в виду общественную деятельность

(приводит в пример Проханова и Лимонова), а вот собственную литературу он, по его словам, «забросил», поскольку немало его архангельских учеников погибли в Афгане, а их матери приходили к нему с претензиями, что «он воспитал в них воинов». Такое непостижимое объяснение.

– Я сломался, и двадцать пять лет ничего не писал, – говорит нам. – Потом подумал: даже сломанная ветка пытается расти. Неожиданно приоткрылась часть неба и Бог подкинул мне десяток сюжетов. Сейчас готовлю книгу новых стихов и рассказов, когда выйдет – поймёте, что к чему! (Он уже представлял день своего триумфа.) Главное – ухватиться за первую строку и тянуть остальные, как за верёвку. И пока не закончишь всё задуманное, в гроб не ложиться.

Двадцать пять лет он не писал «своего», но писал за других «вольные фантазии на определённые темы». По его словам, как «литраб» накопил тридцать книг: «Деньги нужны, ведь у меня трое внуков, их надо кормить».

С Аушевым мы когда-то вместе начинали в детской литературе. Он писал хорошие стихи, простые по форме, яркие, расцвеченные юмором; в них ничего не было лишнего, что нелёгкая задача. Но главное – он нашёл золотую середину между фантазией и реальностью, между искусственным и жизненным.

Аушев всегда принимал живое участие в наших сборищах. Я помню, как он спорил с детскими писателями-либералами, которые говорили, что у русских врождённая тупость и лень, приводили в пример литературных героев: Ивана-дурачка, Емелю на печке.

– А Конёк-горбунок и Золотой петушок?! – вспыхивал Аушев. – А Жар-птица, Царевна-лебедь и Царевна-лягушка?! «Благородная выдумка», как говорил Платон. У вас открытая ненависть к России, вас надо лишить гражданства.

В те годы Аушев всегда отстаивал справедливость и всех поражал своей обнажённой душой, он был безгранично доверчив и искренен. Позднее, от пережитого, его душа немного загубела; у него появились недоверчивость, скрытность; он не совсем закрылся и ушёл в себя, просто стал более осторожно сходить с людьми.

Меня с Аушевым связывает молодость (как забыть гордость за когда-то мощную страну, единство разных национальностей, народное ликование в праздники?).

– Я до сих пор не могу разделить страну, – говорит Аушев. – Для меня и Средняя Азия, и Прибалтика всё ещё свои, у меня там много друзей... Никакой капитализм в России либералы не построят, он чужд нам, русским. Скоро к власти придут новые люди, они вернут страну в социализм. В социализм с человеческим лицом... А западный капитализм уже в тупике. Однополые браки это ж конец света!..

Меня с Аушевым связывает не только молодость, но и знакомые художники и литераторы, которые уже давно ушли из жизни; при встрече мы всегда поминаем их, при этом мой друг с грустной улыбкой говорит:

– Может быть, и о нас когда-нибудь кто-нибудь вспомнит.

Потом встряхнётся:

– Вспомнят нашу эпоху и скажут: «Интересное было время»... Но мы ещё поживём, верно? Мы лишь слегка приуныли, но не отчаялись. Немного согнулись, но не сломались. Наше поколение всякими неприятностями не возьмёшь. Другое дело – здоровье. Оно подводит. Ну и, конечно, мы стали ворчливыми, ведь под старость всё плохое вылезает наружу.

О теперешних писателях эмигрантах Аушев отзывается презрительно:

– Они все одной национальности, прятая колонна. О чём они там будут писать, ведь там нет нашей питательной среды. Только и могут обливаться грязью Россию. Но печататься приезжают сюда, черти. Там-то они никому не нужны.

Я тоже презираю эмигрантов. И не только писателей, но и учёных, и всех молодых людей, которые, ради благополучия, уехали на Запад. И презираю олигархов, ограбивших страну и вместе с деньгами умотавших за границу. И не умотавших, но держащих свои миллионы в западных банках. И презираю наших госслужащих и разных деятелей, которые отправили свих отпрысков учиться за границу и там же купили особняки – «запасные аэродромы» на случай всяких перемен.

Лет пятнадцать назад Аушев (вместе с Мазниным) проделал огромную работу – возобновил издание журналов «Ванька-встанька» и «Славяне», где печатал забытых замечательных авторов. Позднее, как составитель, Аушев издал тридцать сборников поэзии и прозы, а теперь, в старости, занимается благородным делом: помогает издаваться малоизвестным поэтам и прозаикам, пробивает патриотические

статьи, награждает медалями истинно русских литераторов. И самое важное – пишет очерки о наших великих предках.

В «подвале» Аушев появляется редко, и что примечательно: в будние дни пьёт водку, в выходные – пиво, а в праздники – коньяк.

Несколько слов о Проханове и Лимонове, которых часто упоминает Аушев. Александр Проханов саиный публичный из писателей: беспощадный обличитель либералов, блестящий полемист (постоянно выступает в политических шоу) и автор блестящих романов, подкупающих правдивостью, откровением и мастерством – метафоричностью. Проханов редактор известной газеты «Завтра», но ему по плечу возглавить нашу страну. Как и Набоков, он в молодости коллекционировал бабочек и всё связанное с ними. В те годы, чтобы его коллекция выглядела красочней, я подарил ему книгу Жана Фабра.

С Эдуардом Лимоновым я познакомился давно, ещё когда он в основном шил мужские брюки, и лишь отчасти писал стихи. Мы встречались в мастерской художника В. Стацинского, куда каждый вечер, кроме художников, заглядывали литераторы, актёры и всякая разношёрстная публика. Лимонов приходил с женой, манекенщицей и поэтессой; оба читали стихи, манекенщица – что-то сумасбродное, Лимонов – прекрасные. Позднее он уехал за границу, писал романы и стихи, а вернувшись занялся политикой. Романы его до конца я так и не осилил, а стихи считаю одними из лучших в современной литературе. Возможно, их оценят после смерти автора.

Валерий Васильевич Иванов – противоположность Аушева; он имеет более-менее нормальную растительность на голове, улыбку не ироничную, а робкую, даже виноватую, и взгляд открытый, без всякого прищура. И, в отличие от Аушева, Иванов безразличен к своему внешнему виду: брюки не гладит, галстуки не носит, всегда небрит и выпивши; по улице идёт быстро, размахивая руками, смотрит в небо, что-то бормочет и улыбается своим мыслям – вроде, ждёт чуда или разговаривает с Богом. Он постоянно пребывает в состоянии какой-то странности, даже лёгкого помешательства. Впрочем, Чехов говорил: «Здоровы и нормальны только заурядные люди».

Иванов родился в Германии в семье танкиста, героя Союза – «в танке», как говорят шутники. Иванов – самый несчастный из поэтов: у него нет ни жены, ни детей, ни жилья (он ночует то в Доме творчества, то в «Академии»), питается урывками, но, несмотря на столь печальные

факты биографии, ни на что не жалуется, ни у кого ничего не просит и радуется всякой погоде, какой бы она ни была. И не только погоде, вообще радуется жизни и всем желает побольше радостных дней.

– Главное – личная свобода, – говорит безмятежно, расточая улыбки, всячески подчёркивая своё бодрое настроение, чувство невероятной свободы. – Деньги, богатство закрепощают. Я живу настоящим, по принципу разумной достаточности. А своим домом считаю наш подвал, я давно облюбывал это местечко. И каждый новый день встречаю новыми стихами. Книги, как Сократ, не читаю, я за живое общение.

Такой несокрушимый оптимизм, тяга к общению с друзьями, просту жажда жизни. Как всякий добрый человек, он прежде всего видит в людях (и вообще в жизни) положительное (в то время как злой человек всегда отмечает отрицательное). Больше всего Иванов любит цветы, бездомных собак и симпатичных женщин «с красивыми попами».

– На общение с женщинами мне не жалко тратить времени, – говорит.

Иванов в подвале играет второстепенную роль (как поэт он напоминает боксёра в весе пера), но по выпивке на первых ролях – я ни разу не видел его трезвым. Он больше нас всех выпивает (последнее время исключительно вино и пиво, но внушительными дозами), его считают «раздолбаем скромных способностей», «поэтом с большими тараканами в голове». (В подпитии его обуревают трудноуловимые чувства: он сам с собой разговаривает, спорит с невидимым собеседником). Нас тревожит его здоровье, а ему на здоровье наплевать – похоже, уверен, его охраняет десяток ангелов.

Надо сказать, мы все для кого-то старые пьяницы, для кого-то и вовсе законченные алкаши, но для кого-то – всего лишь «невинные любители спиртного». То же самое и в литературе: для одних мы никчёмные писаки, для других – таланты.

В своём жилище в Доме творчества Внуково, где для всех выпивох дверь открыта нараспашку, Иванов повесил американский флаг. Некоторые с негодованием спрашивают:

– Ты что, рекламируешь американский образ жизни?

– Да нет, – морщится Иванов. – Кто-то принёс, я вытираю им ноги... Америка всюду насаждает свой образ жизни, устраивает перевороты,

хочет главенствовать над миром. И заявляет о своей исключительности. Кто ж с этим согласится, кто будет их любить.

В комнате Иванова неразбериха, беспорядок, на полу в углах бумажный сор, а у потолка паутина, но сквозь оконный переплёт воздух разрезают солнечные лучи, в них плавают пылинки и сверкают радуги, множество маленьких радуг!

Иванов, как и Жуков, некоторые свои стихи распевает под гитару, но, в отличие от барда, которому нужна аудитория (и чем больше, тем лучше), исполняет свои вещи только для девиц и в интимной обстановке.

– Девицы сияют счастьем, искрятся и пищат от восторга, – говорит. – И готовы идти со мной в загс, но я-то знаю: отношения начинаются со слова «люблю», а заканчиваются словом «ненавижу». Я, конечно их всех принимаю, я человек с широкой душой, женщины – главное в моей жизни, но поэзия всё же главнее. Что поразительно: все мои романы заканчиваются впечатляюще – идёт дождь, Москва оплакивает моё расставание, а я стараюсь не плакать.

Стихи Иванов записывает на полях газет, салфетках, почерк у него корявый – порой сам не может разобрать, что написал. Если в его стихах найдут нелепость, он невозмутимо смеётся:

– Это фигура речи. Но главное-то чувствуется. Ведь поэзия – это попытка сделать мир красивей и добрей, разве не так? Поэзия – это тонкая дамочка.

Кроме перечисленных поэтов, в «Академии» числится ещё целый взвод персонажей. Кое-кто ещё представляет «Академию словесности», то есть академиком в литературе – хоть отбавляй! Впрочем, академиком телевидения ещё больше, те совсем обнаглели – раздают титулы всяким ведущим, дикторам, редакторам. Так что Балашов неправ – «Академии» далеко не «увядающие сады», а, наоборот, «пышно цветущие».

Кстати, теперь, при «демократии», за деньги можно стать кем угодно. В метро открыто продают справки и дипломы всех мастей, по телевидению показывают дельцов, которые мастачат любые документы – от звания профессора и генерала до титула князя. Говорят, и некоторые должности во власти продаются. Говорят.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КРЕПКОЙ ДРУЖБЫ

*Лучшее в жизни человека —
его дружба с другими людьми.*

Линкольн

Поэт, издатель (директор издательства «Новый ключ»), самый деятельный из стариканов и самый надёжный друг, на которого всегда можно положиться — он не подведёт, — Вадим Николаевич Рахманов. Он активный участник наших сборищ. Его появление в подвале делает нашу компанию более красочной. Он всегда в отутюженном костюме, в накрахмаленной рубашке с галстуком, гладко выбритый, с чётким пробором на седой шевелюре и аккуратно подстриженными усами — его главным украшением.

— Он некая ягода на торте подвала, — возвещает Балашов.

Благоухая одеколоном, Рахманов решительно подходит к нашему столу, достаёт из портфеля закуску — банку солёных грибов (он заядлый грибник), «кому что взять?» спрашивает и направляется к стойке. Серьёзный и требовательный, он в застолье может перебить приятеля, поучить его уму-разуму (никак не выйдет из прежнего образа большого чиновника, когда работал референтом у министра печати Ненашева). Тем не менее, все уважают Рахманова за повышенное чувство справедливости и умение держать своё слово. Но главное — за то, что он настоящий друг, внимательный, заботливый. Он ездил в больницу к Иванову, к Преловскому, к фотографу Чижову, покупал одежду Куксову, мне подарил мобильник, диабетикам привозит топинамбур, устраивает на работу тех, кто в ней нуждается, издаёт ветеранов войны, неизвестных и забытых авторов. Ему после смерти наверняка поставят памятник в его районе, ведь он имеет то, что редко кто имеет — уважение окружающих.

— Мне нравится помогать людям, — просто говорит этот благодетель.

В наше время разбойничьего капитализма, когда всё решают деньги, многие забыли, что такое порядочность и честь, не говоря уж о сострадании и милосердии, которыми всегда отличался русский народ. На фоне эгоистических интересов, всеобщего огрубления отношений, те немногие, для кого судьба других людей не менее важна, чем своя

собственная, выглядят безумцами. Благородными безумцами. Именно таким является Рахманов.

Он жил с матерью, отчимом, сестрой и бабкой в маленькой комнате подвальной коммуналки; после школы поступил в институт физкультуры (занимался классической борьбой), но вскоре в институте ликвидировали военную кафедру и всех спортсменов отправили в армию. Рахманов служил полтора года и, по его словам, «сразу в двух армиях – русской и французской». В то время Бондарчук снимал фильм «Война и мир» и воинская часть Рахманова участвовала в батальных сценах – солдаты переодевались то в форму русской армии, то в форму французской.

Вообще с армией Рахманову повезло: мало того, что служил недолго, он ещё занимался в армейском драмкружке. В одном спектакле играл немецкого офицера, который по ходу пьесы кладёт на лопатки русского бойца. Как-то после спектакля, не снимая немецкой формы, он вышел покурить на улицу, а из клуба как раз выходили зрители; дети военных, увидев «немца», закричали: «Бей фрица!» – и набросились с кулаками на артиста.

После армии Рахманов поступил на журфак университета; летом подрабатывал в археологических экспедициях Севера и Крыма. Но на третьем курсе перевёлся на заочное отделение и устроился работать в «Строительную газету».

Первый его брак был неудачным – девица из Владивостока оказалась хваткой. Рахманов сделал для неё немало: прописал у себя, устроил на работу, ввёл в круг своих друзей. После рождения сына подрабатывал везде, где только можно: работал ночным сторожем, мыл окна, редактировал рукописи, а его провинциалка, почувствовав себя москвичкой, стала относиться к мужу небрежно, а позднее, сделав сногшибательную карьеру, вообще подала на развод. С сыном Рахманов общается до сих пор, и с его тремя детьми, своими внуками.

В 73-м году Рахманов (уже работая в Правлении Союза журналистов) отдыхал в Доме творчества в Сортавале и там познакомился с местной девушкой Таисией, самой красивой в Карелии. Она была не только красивой, но и обладала прекрасными душевными качествами, в ней сочетались заземлённость жизнелюбки и сентиментальность мечтательницы. Они поженились. Сейчас у них две дочери и четыре внуки. Свою квартиру Рахманов с Таисией оставили старшей дочери, млад-

шей помогли купить квартиру, сами переехали за кольцевую дорогу. Теперь у них часть особняка, вокруг огород и яблоня рекордсменка (даёт по четыре мешка яблок), рядом лес, речка и церквушка – особо важное соседство для глубоко верующего Рахманова. Он постоянно ходит в церковь, отмечает все церковные праздники, соблюдает посты, одаряет деньгами нищих; несколько лет назад издал два роскошных фолианта – «Православные иконы» и «Русская религиозная живопись», за что получил благодарность от Патриарха.

Нелишне сказать, что в деревне Ивановской области у семейства Рахмановых есть ещё дом и большой участок с тремя надувными бассейнами для внуков. За избыточное богатство мы зовём нашего друга Олигарх. Кстати, Рахманов уделяет внукам всё свободное время, он образцовый дед, и вообще семья – его главное богатство. Недавно Рахманов пышно отметил двадцатилетие своего издательства. Во время торжества мне подумалось: «он получил от жизни всё, что хотел», но тут же Рахманов толкнул меня в бок:

– У меня большие планы на будущее, хочу закончить и выпустить свой роман в стихах, расширить издательство и открыть при нём книжный магазин, в деревне для внуков устроить пляж с песком из Крыма.

– Хочешь рассмешить Бога, говори о своих планах на будущее, – засмеялся Пронин.

Когда-то в издательстве «Новый ключ» числилось немало сотрудников, но сейчас издательство состоит из двух людей: самого Рахманова и его старшей дочери красавицы Надежды. В отличие от издателя Жукова, которому приходится отдавать рукописи наборщикам, верстальщикам и корректорам, Рахманову всю подготовительную работу делает дочь. (Я никак не могу понять, почему эти деятели сами не освоят компьютер.) Но главное отличие их издательств в том, что Жуков в основном издаёт брошюры, а Рахманов серьёзные книги в добротном полиграфическом исполнении; часть книг издаёт на гранты от Комитета по печати, где у него остались кое-какие связи, но большую часть – на деньги авторов (многие жалуются, что он «слишком заламывает цены»).

Как поэт Рахманов продолжает традиции нашей великой литературы. Для этого надо иметь определённое мужество, ведь сейчас в поэзии немало разных постмодернистских изысканий, нарочитостей, ухищрений. Многие стремятся удивить читателя новизной формы,

забывая, что главным всё-таки является содержание, что именно содержание «подсказывает» форму. В отличие от всяких формалистов, Рахманов пишет предельно просто. В его арсенале стихи для детей, историческая «Баллада об Андрее Первозванном», лирические и иронические стихи (лучший сборник «Я тоже из прошлого века»), и эпиграммы на приятелей – довольно острые шутовины.

Многие считают нашего героя слабым поэтом (в Союз писателей его приняли с четвёртой попытке.) «Я не самый лучший поэт России. – говорит он. – Но и не самый худший».

Последние годы Рахманов работает над романом в стихах. Этот роман – биография автора на фоне событий в нашем Отечестве с конца позапрошлого века до нынешний дней. Роман написан «онегинской строфой» – за что кое-кто ругает Рахманова: мол, «идёшь по вытоптанной тропе», но я думаю, что подобные вещи и надо писать таким проверенным способом.

Недавно одна старушка (автор его издательства) влюбилась в нашего друга: выучивает его стихи наизусть, приглашает в театр, иногда заходит в подвал, садится за столик в углу и с обожанием смотрит на своего возлюбленного.

– Огромный грех на любовь отвечать небрежностью, – важно говорю я глубоко церковному Рахманову, как бы добавляя в Библию новую заповедь.

– Ты, как порядочный мужчина, должен жениться на бабусе, – смеются наши дружки.

Рахманов, смутившись, идёт к буфету, берёт старушке чай, кекс, конфеты, для приличия недолго сидит с ней, потом всё же возвращается к нам. Как-то старушка подошла ко мне и, страшно волнуясь, тихо проговорила:

– Я заметила, что вы с Вадимом Николаевичем друзья. Скажите, в меня можно влюбиться?

– Конечно, можно, – торопливо брякнул я и тут же почувствовал всю фальшь своих слов.

Старушка зарделась, опустила глаза и пролепетала:

– Спасибо!

Тридцать с лишним лет, ещё со студенчества, Рахманов дружил с прозаиком и критиком Игорем Штокманом. Они были неразлучны: ходили на выставки, в театры, ездили в Крым на отдых и в Сибирь –

подрабатывать на лесосплаве. Особенно их объединяла любовь к поэзии – оба писали стихи. Вообще у них было много общего, вот только Рахманов, как Бальзак, неумеренно пил кофе, а Штокман, как Толстой, предпочитал чай. Они дружили и семьями, когда женились, что, как известно, случается редко – обычно женщины вносят разлад в мужскую дружбу. Позднее, когда Штокман оказался без работы, Рахманов взял его в своё издательство и выпустил его первую книгу (приличный «кирпич») критических статей, а во время отпусков оплачивал поездки друга (и всех работников издательства) в Египет.

Казалось бы, тридцать с лишнем лет «задушевных отношений» ничто не зачеркнёт, но вдруг лет десять назад дружба сильно разругались. Мы все были в недоумении – что случилось? Но ни Рахманов, ни Штокман ничего не говорили, только отмахивались, пробурчав что-то невнятное. Несколько раз я пытался примирить стариканов, втолковывал им, что дружба огромная ценность. Но где там! Они и слышать друг о друге не хотели. Наконец о причине ссоры Штокман написал рассказ, где показал, как его друг во время «перестройки», ничего толком не добившись в литературе, ударился в коммерцию и превратился в дельца («звереет, когда речь заходит о деньгах, а настоящий художник не должен быть дельцом»). И что вообще он, Штокман, «в культуре, знаниях намного обошёл бывшего друга». Рахманов ответил едкой эпиграммой и пояснил, что Штокман в его издательстве постоянно отлынивал от работы и «всем надоели его барские замашки».

Надо сказать, что немалую роль в разрыве друзей сыграл заместитель Рахманова в издательстве Борис Романов, который, как это свойственно людям его национальности, постоянно плёл интриги в редакции, натравлял людей друг против друга, а Рахманову мелко льстил. Например говорил:

– Тебе надо почаще везде выступать, тебе нельзя свой талант закапывать в землю. Моя жена прочитала твои стихи и сказала мне: «Вот настоящий поэт, а ты г...о».

И наивный Рахманов верил.

Игорь Георгиевич Штокман, как и Рахманов, тоже всегда выглядит безупречно, но держится несколько высокомерно. Во всяком случае, в общении с приятелями сохраняет дистанцию, давая понять, что общаться с ним – честь, и разговаривать следует уважительно,

что он имеет утончённый вкус, твёрдый характер и повышенное достоинство, и вообще являет собой незаурядную личность. Он как бы говорит: в подвале я никого не вижу равного себе, с большинством общение – не мой уровень. Возможно, именно поэтому в армии наш друг частенько сидел на «губе» – в этом он как-то признался мне, но без сожаления: «Я там читал, писал стихи». Действительно, у Штокмана хорошее образование, он начитан, и происходит из немецких баронов (об этом прямо говорит), и его внешность это подтверждает: породистое лицо – копия скульптур древних римлян, а сдержанные манеры и немногословность подчёркивают аристократическое происхождение. Правда, некоторые считают его поведение пижонством.

Подходя к нашему столу, Штокман сухо здоровается, снимает пиджак и вешает его на спинку стула, замедленными движениями закуривает трубку; в разговоре взвешивает каждое слово, держит «театральные паузы», чтобы его слова имели большее значение. Он ведёт себя так, словно постоянно смотрится в зеркало. С незнакомыми людьми Штокман особенно холоден, а если они ещё и определённой национальности, может ледяным шёпотом произнести резкость. Многие недолюбливают Штокмана за чрезмерное самомнение, за «баронство», за отчеканенные фразы и желчные замечания, но у меня с ним вполне дружеские отношения.

Мы познакомились в семидесятом году, когда Штокман работал критиком в «Литературной газете», а мои рассказы там два печатали. Его приняли в газету ещё с последнего курса журфака. Позднее он окончил аспирантуру ИМЛИ, защитил кандидатскую и девять лет работал в журнале «Дружба народов». Журнал находился в двух шагах от ЦДЛ, и, естественно, там, за выпивкой, мы и сдружились: и потому что детство провели в одном и том же месте (во дворах Крымской площади и Зубовского бульвара), и почти в одно время служили в армии, и на почве любви к Ремарку и Юрию Казакову, и нелюби к нашим либералам.

Но главное – в литературе у нас одинаковый вкус, а в жизни одинаковые принципы. Сразу скажу: среди современных критиков мало людей, которые так тонко чувствуют прозу и пишут о ней увлекательно, весомо, убедительно. Именно поэтому после «перестройки» я настроился его писать рассказы. В то время он работал в журнале «Новая Россия», а позднее – в ИТРК, где и издал первый сборник рассказов

«Дворы». В 2010 году Московская писательская организация издала его вторую книгу «До мартовских календ». Всего две книги, но в них немало первоклассных рассказов. Мне близка их ностальгическая и романтическая окраска и, конечно, нравственная позиция Штокмана. Он один из немногих наших прозаиков, которых я читаю с интересом.

На моё семидесятилетие Штокман, выступая в Малом зале, блестяще показал разницу между нынешней «демократией» и жизнью при советской власти, и закончил с горечью в голосе:

– ... У нас была совершенно другая страна, и люди были совершенно другие.

Обо мне Штокман сказал всего две фразы, но достаточно сильных:

– Проза Леонида Сергеева незамысловата и внутренне прочна, в ней есть правда и правота. Правда прожитой автором жизни, легкой, очень честной, и правота собственного внутреннего жеста, всегда видного в тексте, в интонации, вдумчивой и требовательной.

Однажды Штокман звонит:

– У тебя есть время?

– Есть, – говорю.

– Сейчас прочитаю тебе рассказ. Не очень длинный. Двадцать страниц. (Ничего себе!)

– Давай лучше встретимся в ЦДЛ, – говорю. – Дашь мне рассказ, я прочитаю дома. Я на слух не очень воспринимаю прозу. Мне лучше читать с листа.

Позднее Пронин рассказывал:

– Штокман позвонил, хотел прочитать рассказ по телефону. Я ему говорю: «Приезжай. Я сам прочитаю». Заодно сделай доброе дело: по пути загляни к Бондаренко, он отдаст мой гонорар... Штокман приехал, привёз водку и целую сумку закуски. Потратил чуть ли не весь мой гонорар... Ну мы выпили по рюмке-другой, я прочитал его рассказ. Ничего. Почти качественный... Выпили мы ещё, я вспомнил про свою Наташу. «Она сейчас гуляет по Коктебелю», – говорю. А он: «Да её там уже тр...т», – усмехается. «Это ты зря сказал», – говорю ему, дровосеку.

Да, не совсем тонко поступил наш «барон», мог бы и пощадить влюблённого старикашку.

Одно время мы со Штокманом встречались чуть ли не ежедневно: кроме ЦДЛ, бывали в Домжуре и джазовом кафе, заезжали ко мне

и к нему, благо жили недалеко друг от друга (я на Водном стадионе, а он на Речном вокзале). Когда я сломал ногу и полтора месяца ходил на костылях, он привозил мне продукты (мы были прикреплены к одному магазину и иногда получали заказы).

Жена Штокмана Наталья преподаёт музыку, и к мужу, который довольствуется пенсией, нигде не подрабатывает и большую часть времени сидит дома за столом, относится небрежно.

– Что ты корчишь из себя Хемингуэя! – как-то сказала.

Штокман не на шутку обиделся. (Перед этим у него вышли «Дворы», и он считал это чуть ли не главным событием в Москве.) В тот день он ночевал у меня, и, пока мы выпивали, время от времени звонил жене: «Не хочет ли она извиниться, взять свои слова назад?» Но его супружница и не думала извиняться.

Сын Штокмана, окончив институт, устроился работать в банк, стал получать тысячи долларов, купил себе квартиру и японскую машину, женился; а года три назад купил родителям роскошную зимнюю дачу (до этого у них была изба в деревне под Кимрами), приобрёл новую дорогую машину, а «японку» отдал отцу с матерью. Теперь Наталья возит мужа на дачу (Штокман не удосужился получить права, он далёк от всякой техники и вообще не рукастый, что вызывает у Натальи дополнительное пренебрежение к нему).

На даче у Штокмана сосед-олигарх; у него особняк с охраной, за изгородью озеро с вышкой (раньше в озере купались все жители близлежащей деревни). Уезжая, сосед оставляет Штокману ключи от участка; мой друг приходит, кивает охране, делает заплывы в озере, загорает.

После того, как сын купил дачу, Штокман стал редко заходить в подвал, похоже, ему интересней общаться с олигархом, чем с литераторами. Правда, несколько раз он звонил мне с дачи, уговаривал приехать, но меня не отпускали то какие-то дела, то болезни.

Что касается ссоры Штокмана с Рахмановым, то каждый из них по своему прав, они оба изменились, и их отношения себя изжили. К примеру, год назад Штокман присоединился к Пронину и Куксову в поездке по Ханты-Мансийскому округу. Там они разругались в пух и прах.

– Этот пижон занял лучшее место на катере, – говорил Пронин. – И вообще вёл себя так, будто выше нас всех, показал своё истинное лицо.

– Он чистоплюй. Отругал меня за то, что я не взял зубную щётку, – добавлял Куксов. – Он для похода не годится.

В свою очередь Штокман заявил, что с той компанией больше никогда не поедет (странно, что он промахнулся, обычно он просчитывает все комбинации.)

Недавно Штокман почувствовал себя плохо, страшно перепугался: бросил курить и выпивать, и теперь тщательно следит за своим здоровьем. В ЦДЛ вообще не появляется, зимой общение с нами ему заменяют два соседа, с которыми он по вечерам «прогуливается во круг дома», а летом живёт на даче.

Рахманов по-прежнему чуть ли не ежедневно приходит в подвал, но обычно вначале «по делу» – сидит в стороне с автором, книгу которого собирается издавать; через час-другой присоединяется к нам. Не дай бог при нём подсказать какому-нибудь поэту или прозаику место, где можно издать книгу дешевле, чем у него, – накричит, обзовет предателем. Понятно, ему нужны деньги: две дочери, шестеро внуков. В застолье он выпивает немного и курит теперь только электронные сигареты.

И Штокман, и Рахманов за давностью времени могли бы забыть все обиды и помириться, хотя бы ради их прекрасного прошлого. Так нет – и тот, и другой всё держат в себе злость, и с этим грузом собираются отправиться на небеса. Хотя нет, не собираются. Наоборот, уверены, что проскрипят до ста лет.

СТАРИКИ С МОЛОДОЙ ДУШОЙ

*Все должны долго жить, но
никто не должен быть старым*

Эпиграф – американская поговорка. Хорошая. Только нам она не подходит. Там, в Америке, в благополучии легко оставаться бодрячком и в семьдесят, и в восемьдесят лет, а попробуй у нас, когда приходится постоянно бороться за выживание. Да и у нас мало кто из мужчин вообще доживает до семидесяти лет, ведь средняя продолжительность жизни на десять лет меньше. Это нам, старикам, повезло, чему мы сами удивляемся. И ещё удивительней то, что некоторые мои дружки-

стариканы никак не хотят мириться со своим возрастом. Похвально, конечно, но и смешно: они хорохорятся, корчат из себя моложавых, подтянутых и без усталости ухлёстывают за девицами. А в мужской среде бахвалятся своими победами. Глядя на этих «старых петушков», слушая их победное хвастовство, вспоминается Черчилль: «Я думал, что умру от старости, но, наверное, умру от смеха». В первых рядах таких «молодцов» шествуют Мартышкин, Жуков, Иванов, о которых уже говорил, а также поэт, бард, бывший баскетболист, горячий публицист, человек мощных эмоций Александр Бобров.

Бобров высокий, с чёткими выразительными чертами лица (среди его предков – французы), артистичный, бесстрашный: открыто (в статьях) громит врагов России, готов в одиночку драться со всеми «демократами», не боясь ни властей, ни «пятой колонны» – этакий канатоходец без страховки. (Таким же бессташным был его старший брат лётчик, герой Союза, погибший в первый год войны.)

Бобров составляет сборники русских поэтов, ведёт литературную студию, преподаёт в Университете культуры и со студентами мягко, говорит ровным голосом, особенно нажимая на то, чтобы будущие литераторы не подражали ему, а «укрепляли свой голос». (Кстати, то же самое говорил студентам Юрий Кузнецов: «Надо быть самим собой, а не маленьким Кузнецовым».) Но в подвале Бобров, когда выпьет, становится громогласным, резковатым. Бывает, размахивая длинными ручищами, и грубит приятелям. Как-то вспылал:

– Вы все трусливые! Кто-нибудь из вас хоть раз сказал правду?! Хоть раз?! А Лёня Сергеев сказал!

Он имел в виду мою книгу «До встречи на небесах!», после которой проникся ко мне дружескими чувствами (позднее даже посвятил мне стихотворение.) Мне-то было приятно его слова, но каково моим друзьям? Мне стало неловко перед ними, ведь за столом сидело несколько истинно русских патриотов, не раз выражавших протест против теперешних строителей капитализма; может быть, не так смело, как он, но всё же выражали, и, ясное дело, они обиделись.

Бобров выпивает редко, но основательно. Был случай, когда они с Егором Исаевым установили мировой рекорд – в поезде до Приднестровья выпили восемь бутылок коньяка! Кстати, в то время Исаев работал в издательстве «Советский писатель» и однажды спросил Боброва, почему тот не несёт свои стихи.

– Мне ещё рано, – ответил поэт.

От такой скромности мэтр опешил.

В подвале Бобров появляется раза два в месяц и, как я уже сказал, выпив, говорит в повышенном тоне, но тему разговора всегда держит крепко, не увильивает в сторону, не смягчает накал спора. А на замечания: «Может, тебе хватит, ты уже набрался», без всякой позы загорается:

– Я пью, потому что думаю о Родине!

За этими словами (которые, кстати, надо отбивать на граните), стоит его острая боль за нашу несчастную Россию.

Каждый День победы Бобров надевает пилотку, вешает на гимнастёрку орден Сталина (вручил Зюганов) и медаль «За боевое содружество» (получил за репортажи о боевых действиях в Чечне) и идёт к Большому театру на встречу с ветеранами войны.

Бывает, в подпитии Бобров бесцеремонно пристаёт к незнакомым женщинам, которые появляются в подвале, и если сразу же не встречает радостного восторга, отходит, пуляя ругань. Я думал, в такие моменты он для женщин выглядит большим злодеем, но потом заметил – дамочки просто балдеют от одного его вида и неподготовленного натиска, но, как только приходят в себя, тянутся к нему со страшной силой, у него вереница поклонниц.

Однажды Бобров появляется, уже выпивший, плюхается за наш стол:

– Сейчас в метро закадрил одну американку. Через час сюда приедет.

Мы недоверчиво усмехнулись, но американка приехала – этакая грудастая красотка, которая, прежде чем сесть, несколько раз повернулась и так и сяк, чтобы мы лучше рассмотрели её природное изобилие. Она немного говорила по-русски, но за столом с нами почти не общалась – только с Бобровым, к нему так и липла. Трудно было поверить, что они познакомились всего час назад. Я же говорю, женщины к нему тянутся, он обладает каким-то магнетизмом. Жена Боброва (художница) ревнует мужа ко всем женщинам, даже прячет от своих подруг. Супруги вместе прожили лет тридцать.

– Жена дура! – горячо говорит Бобров. – Не понимает, что живёт с великим поэтом. Она любит стихи Андрея Дементьева.

Иногда в подвал Бобров заглядывает с закадычным другом, профессором Университета культуры Юрием Головиным; дружки крепко

выпивают и ударяются в воспоминания – как в молодости их тандем имел бешеный успех в романтических встречах.

– Я же блестящий гитарист, – смеётся Бобров. – Сбацию пару своих песен, и девица готова, испеклась.

– А я, как чародей, обволакиваю их своим голосом, – тоже со смешком выдаёт Головин. – У меня же необычный тембр голоса. По телефону все бабы балдеют.

– Но вообще-то я всем женщинам говорю одно и то же, – уже серьёзно поясняет Бобров, – мне нужна не любовница, а подруга жизни.

– Нам повезло, – вздохнул Головин. – В России самые красивые женщины. Однажды я на машине ехал по Европе. В Испании и Франции все женщины страшные; правда, француженки одеваются со вкусом. В Германии женщины невзрачные. В Польше попадаются симпатичные. Только когда въехал в Белоруссию, стали попадаться красивые. А в России все красивые.

Кроме литературных посиделок в «подвале», мы с Бобровым каждую осень встречаемся в саду Эрмитаж на джазовых концертах (как музыкант он признаёт все музыкальные формы.)

В литературе Александр Александрович Бобров оставил приличный след: 35 книг стихов, фольклора, публицистики. Он выступает и как радиоведущий, правдивый и невероятно смелый. Но что особенно ценно – он без колебаний встаёт на защиту тех, кто нуждается в защите. Он такой же негибаемый боец, как Мартышкин, но «академик» борется только за своё пространство, а Бобров за всю Россию, за всех «униженных и оскорблённых».

Ещё три поэта-старикана постоянно демонстрируют свою «молодцеватость»: Николай Соляник, Владимир Артюх и Владимир Дагуров. Прежде чем представлять эту троицу, небольшое отступление.

Как и большинство читателей, к литературе я отношусь предельно просто: интересно – читаю, неинтересно – закрываю книгу. Последнее время, прочитав два-три стихотворения (или абзаца), чаще всего закрываю. Чего мучить себя, если в писаниях нет ни ясной мысли, ни нового взгляда, ни интонации! Про язык и говорить не приходится – или бедный словарный запас и штампы, или выкрутасы, какая-то заковыристая словесная чехарда. Понятно, такую литературу назвать «художественной» может только наивный читатель, опытному книгочею (не говоря уж про литераторов) важно не только, о чём вещь, но

и как она написана. Короче, существует огромная пропасть между слабой работой и высокопрофессиональной.

Так вот, недавно Соляник попросил меня написать послесловие к его повести «Как я был оккупантом». Соляника знаю давно как поэта (слабоватого, без волшебства, в поэзии он как собака всё чувствует, но не всё может выразить), но вдруг он протягивает мне тонкую книжку прозы. Не скрою, я настороженно отнёсся к его выступлению в новом качестве – всё-таки прозаики живут на земле, а поэты на небе. Но открыв книжку, прочитал её до конца.

Повесть состоит из коротких рассказов. Как известно, написать короткий рассказ крайне трудно, ведь здесь цель – максимум выразительности и минимум средств выражения. В малой форме раскрыть сюжет, дать экспозицию и образы по силам только мастеру. За последнее время я почти не читал качественных коротких рассказов, и вот книжка Соляника. Вроде бы всего лишь незамысловатые эпизоды, зарисовки армейской жизни, но они изображены вполне зримо: воинская часть на окраине немецкого городка, сослуживцы автора, их будни, учения, «самоволки», патрули, работа в подшефном кооперативе, и местные мальчишки, и, конечно, девушки – как же без них, если вам всего-то двадцать лет! Романтические отношения автора с немкой Роз-Мари показаны без всякой слащавости, деликатно и мужественно.

Давно известно, что только через, казалось бы, малозначимые отдельные моменты можно дать целостную картину. (Как, кстати, и во всякой другой работе: большая победа состоит из множества маленьких побед.) Солянику это удалось. Его манера письма – дневниковая, доверительная, словно он беседует с близким другом (прямо по завету Горького), его письмо без всяких украшательств, лишь расцвечено юмором. (Сказывается искущённость Соляника в журналистике – он работает в каком-то правительственном журнале и раз в три-четыре месяца издаёт газету «Сокол» – о посёлке художников.)

В нашей литературе множество прекрасных произведений о войне, но очень мало об армии в мирное время. Среди этих последних «демократы» в основном издают разных негодяев с их злобным очернением российской армии (чего стоит один «Стройбат» С. Каледина!). Разумеется, это делается с умыслом – чтобы ребята избегали воинской службы (что уже, надо признать, стало нормой). В отличие от злопыхателей, Соляник показал истинное положение дел: нелёг-

кую, но интересную повседневность, в которой всегда есть место и отдыху, и развлечениям, и настоящее мужское братство, которое (знаю по себе) остается на всю жизнь, и, что особенно важно – показал гордость за свою Родину.

Успех «Оккупанта» подстегнул Соляника, вдохновил на новые подвиги, и он быстренько накопил сборник рассказов о любви (использовал свой богатый опыт в этой области), но читиво получилось какое-то натужное, вымученное, попросту – пустозвонство. Сейчас наш герой замахнулся на роман о Пушкине (говорит, что откопал неизвестные факты о романтических приключениях гения). Этот его последний порыв многие восприняли с насмешкой – куда, мол, балда, полез? Но я верю – у Соляника получится нечто интересное (он кропотливо работал над «оккупантом» – ему многое не нравилось и он постоянно переделывал текст.)

Николай Ананьевич Соляник – красавец, бабник, выпивоха и жуткий, напористый говорун, временами его невозможно остановить, как невозможно остановить водопад (не понимает, олух, что многословие убивает мысль). Говорит он громко, размахивая руками, раскалится – брызги водой, зашипит. Он нервный и постоянно пребывает в состоянии крайнего возбуждения: не ходит, а бежит, как лось. Возможно, его дёргания из-за отношений с сыном, который «никак не найдёт работу и не женится» и с женой, которые давно зашли в тупик. И Соляник, и его жена – актёры те ещё! У них полно энергии, и они не знают, куда её девать: много лет красиво обманывали друг друга – состязались, кто кого переиграет, пока дело не дошло до взаимной ненависти и урагана страстей. Такая семейная сага.

– Жена ужас как надоела, – говорит Соляник, изображая нечеловеческие страдания. – Всё время собачимся. Как разорётся, кидает на пол всё, что под рукой. «Ты психопатка!» – говорю ей, а она: «Это ты меня довёл!» Она стала толстая, в три обхвата, ленивая. Было бы куда уйти, завтра ушёл бы. Видеть её не могу...

Нам-то ясно – когда разлюбишь, всё раздражает: как одевается, как ест, что говорит. А когда любишь, нравится всё, даже если она некрасиво ходит, некрасиво спит и прочее.

Но недавно Соляник нас удивил:

– Еду в электричке, а там ходят, продают бижутерию. Ну я, чтобы немного загладить свои грехи, купил жене веер.

Стало понятно – у этой парочки среди штормов бывают и штили. Но всё оказалось сложнее. Мы-то думали – несмотря ни на что, в семье Соляник держит власть крепко. Но... Как-то я позвонил ему, попросил съездить со мной на дачу, что-то помочь там.

– Сейчас приеду к тебе, – говорит в трубку. – Записываю адрес. Только записал, слышу по параллельному телефону голос его жены:

– Никуда не поедешь со своими алкоголиками! Сиди дома!

Я был уверен – он приедет, тем более, что не перезвонил. Где там! Он оказался подкаблучником почище Жукова.

А недавно ещё крепче подвёл меня (и не только меня). Обещал прочитать книгу одного журналиста и выступить на её обсуждении. Я порекомендовал его организатору презентации Иванову-Таганскому. Но Соляник не приехал, а мне объяснил:

– Я подумал: «И без меня обойдутся». Да и книгу я не пролистал.

Такие дела. Не терплю мужиков, которые не держат своё слово. И тех, которые прыгают перед женой на задних лапах. И тех, кто, как женщины, скрывают свой возраст (Соляник и здесь отметился.) Но долго злиться на этого чудилу я не могу – он обнимет, раз пять попросит прощения, сошлётся на свой суматошный образ жизни, на взбалмошный характер, на склероз, на пьянство и стерву-жену... и я сдаюсь.

Всё же в Солянике немало положительного: от него, неугомонного, чересчур общительного, исходит зажигательная, живительная, бодрящая энергия, он растормошит любого сникшего, взбаламутит любую компанию и никогда не отказывается выпивать, никогда не юлит, говорит прямо, без всяких обтекаемостей, даже если это не нравится собеседникам. В нём есть какая-то притягательность безумца. Часто, после нашей выпивки в подвале, его, необузданного, заносит чёрт-те куда. Недавно чуть свет звонит:

– Ты жив? А я, представляешь, сел в электричку (он живёт в Ново-Переделкино), а проснулся в Нара-Фоминске. Как туда попал – ничего не помню. Глаз у меня заплыл, губа в три пальца – с кем дрался, ничего не помню... Сумки нет, а там все документы, ключи... Местные бомжи дали пива опохмелиться, дали покурить и даже деньги на билет до Москвы. Вот наш добрый народ!

Раз в год Соляник едет в Киев, чтобы навестить в доме престарелых отца-фронтовика, встретиться с братом-пьяницей, с которым «только

собачится» и, само собой, как всякий неутомимый бабник, покори-
тель женских сердец, «завести пару симпатичных подружек». Как-то
Соляник спрашивает нас:

– Знаете что ответил Толстой на вопрос: «в чём смысл жизни?»
«Чтобы жить!» Я живу на полную катушку. (Это правда: он окончил
журфак, 35 лет работал журналистом, ездил в командировки по всей
стране и имел сотню романтических приключений.)

Артюх – фрукт тот ещё! Он постоянно самоутверждается, из кожи
лезет вон, чтобы привлечь к себе внимание, понравиться. Послушаешь
его, так он был боксёром, футболистом, шофёром, актёром, режиссё-
ром, преподавателем, переводчиком, критиком. О чём бы ни зашла
речь, он тут же, захлёбываясь от радости, выпячивается, тянет одеяло
на себя: «А я...», «А у меня...» – и долго болтает с жутким украинским
акцентом. Не знаю, каких успехов он добился на других поприщах, но
стихи у него попадают неплохие. (Он может написать хорошее сти-
хотворение и может выдать очень плохое – всё зависит от его настроения.)

И рецензии на других поэтов он пишет вполне сносные, без осо-
бых умничаний и всё по сути дела. Они выглядели бы ещё лучше,
если из них убрать банальные штампы, которые Артюх, не очень
обильно, но всё же вкрапляет в текст. Похоже, он, тупоголовый, не
задумывается о том, что ложка дёгтя портит бочку мёда, – сандалит
первое, что приходит в башку. Неужели не ясно, что надо находить
незатасканные слова, а образы – живописные (и лучше неожидан-
ные, но точные). Штампы – это безвкусица, отсутствие самобытного
взгляда, по большому счёту – бесталанность. К счастью, повторюсь,
он редко вкрапляет эти самые штампы.

В застолье у Артюха нет средних оценок: или гений, или г...о. Вся
остальная литературная рать – «графоманы». Так «Куксов – г...о»,
«Дагуров – г...о», муж его бывшей жены врач и прозаик Виктор Ры-
балко – «г...о» (за эти заявления его стоило бы посадить за решётку.)
Правда, оскорбив приятелей, он на следующий день, протрезвев,
просит у них прощения.

Сам Артюх, разумеется, «великий» и «гений». Это он постоянно
вдалбливает посетителям Нижнего буфета – вроде бы шутливо, но,
возможно, и серьёзно. И частенько пристаёт к девицам, причём при-
стаёт нахально, развязно, опять-таки напирая на свою «гениальность».
Скромности, скромности ему не хватает!

Что творится в черепной коробке Артюха понять трудно. Иногда мне кажется, что он придуривается, нарочно создаёт себе скандальную славу – от неуверенности в себе. Так это или иначе, но временами он выкидывает лихие шуточки. Как-то, пытаясь всех удивить, появился со свистком и засвистел на весь зал. Понятно, его «подвига» никто не оценил, а Пронин крикнул:

– Ты что, спятил?! Иди на улицу и там свищи!

В другой раз снял с вешалки пальто приятеля, положил рядом с собой, и, посмеиваясь, стал смотреть, как приятель разыскивает свою одежду. Такие забавы старикана. Причём облагораживая свои дурацкие поступки, говорит:

– Лёгкая шутка, только и всего. А вы, идиоты, ничего не понимаете.

В самом деле, шутки у него беззлобные, на них нельзя обижаться. Ну такой уж он молодчик.

Артюх окончил киевский пединститут, девять лет работал в литейном цехе авиазавода. Позднее окончил курсы журналистики и работал во многих украинских газетах. Перебравшись в Москву, окончил Высшие литературные курсы – то есть имеет три диплома – на зависть таким, как я, не имеющим и одного.

Некоторое время Артюх работал продавцом книг на развалах.

– Купите мою последнюю книгу! – верещал. – Это потрясающая книга!» – и подписывал мою книгу с моей фотографией.

Ну ладно, выдавал мои книги за свои – у нас схожие физиономии (особенно лысины), но он таким же макаром продавал книги и Жукова. Потом отдал нам по пятьсот рублей. Я был ему благодарен, а Жуков дулся – считал, что подпись Артюха плохо копирует его загогулины.

Артюх был пять раз женат (что преподносит, как некое достижение). Первый раз ещё в Киеве. От того брака у него две дочери; одна, по его словам, «миллионерша», но почему-то эта богатая дочка не может дать ему денег на операцию (тазобедренного сустава) или хотя бы на сборник стихов. Позднее наш герой побывал ещё два раза в браке и, наконец, женился на энергичной литераторше Людмиле, которая на пятнадцать лет моложе его. Видимо, этот брак был счастливым, как результат – двое замечательных детей. Но внезапно Людмила ушла от Артюха к прозаику Рыбалко. Артюх до сих пор любит её; напившись, звонит и, сквозь слёзы, бубнит:

– Ты всё равно вернёшься ко мне! (А у неё уже двое новых детей.)

Нам жалко Артюха – старичину Владимира Григорьевича. Поэт Коледин говорит ему:

– Знаешь китайскую поговорку: «Когда всё плохо, всё проиграл, помни – победа рядом».

В этот момент, как подарок за страдания, судьба посылает ему пятую жену, женщину добрейшей души. К сожалению, она оказалась больной, и вскоре умерла. В общем, личная жизнь Артюха сложилась неудачно. Но он не унывает. Сейчас он, беззубый, хромоногий, шестидесятилетний влюблён в 26-летнюю редакторшу Марию: называет её «невестой», дарит ей цветы, посвятил ей поэму о своих немыслимых чувствах. (Недавно я отдал ему часть шмоток умершего брата, и теперь он действительно выглядит женихом.) Мы над ним подтруниваем. Некоторые, вроде Пронина, советуют:

– Вначале вставь зубы!

В плюс Артюху – он отходчивый, незлопамятный и, если может в чём-то помочь товарищу, непременно поможет. И, несмотря на инвалидность (он ходит с палкой), мужественно переносит боль в ногу – не ноет, не жалуется. Но ещё больший ему плюс – он прекрасный отец, ежедневно водит сына и дочь в спортшколы, и об их успехах радостно сообщает нам. Собственно, большую часть времени он уделяет детям, и когда пишет стихи – неизвестно. Тем не менее, пишет. И немало. Выпустил тринадцать книжек! В последней книжке «Живица» какая-то болезненная поэзия (строчки вялые, в них нет энергии). В предыдущих сборниках попадались крепкие вещи, в этом сплошная тоска. Понятно, последние годы, из-за развода, он в подавленном состоянии, а тут ещё эта неразделённая любовь к Марии! Думаю, он скоро очухается, возьмёт себя в руки и выдаст строчки крупного калибра.

Дагуров внешне уступает и Боброву, и Солянику, и Артюху, но успех у женщин имеет гораздо больший, чем вся эта троица вместе взятая, он настоящий рекордсмен по части женского пола. Невысокий, худощавый, смуглый (его отец бурят, известный поэт Бурятии), он, неутомимый гуляка, суетливый балагур, своим остроумием, постоянным заразительным весельем просто-напросто околдовывает женщин. К тому же все вышеперечисленные стариканы отчаянные выпивохи, а Дагуров выпивает крайне редко и не больше двух рюмок, хотя то и дело, скорчив болезненную гримасу, хнычет:

– Вчера так напился!

Он притворщик тот ещё, и хитрит изобретательно. Зато два раза в неделю занимается теннисом, ежедневно делает дыхательные упражнения и носит рубашки только жизнерадостных цветов. (Может быть, поэтому в семьдесят лет выглядит на сорок, совершенно не стареет, словно законсервировался.) Но главная ударная сила Дагурова – его стихи о любви, от которых женщины рыдают и смотрят на поэта, как на идола, и его четверостишья «Мурашки», от которых женщины задыхаются от смеха (после эротических, с яростным сексом «Мурашек» смотрят на него, как на дьявола, но как на обаятельного дьявола-искусителя, ведь читая «Мурашки», Дагуров обнимает то одну, то другую особу и заливается смехом.)

Понятно, стихи – старый способ обольщения, но Дагуров пользуется им эффективней всех. Кстати, его ранние стихи о любви прекрасны и звучат, как симфонии, а последние «Мурашки» – всего лишь как куплеты-развлекалки (явно его творческая сила ослабла). Он и сам это признаёт.

– Грубо говоря, останусь поэтом двадцатого века, – посмеиваясь, сообщает нам. – В жизни у каждого есть цель и есть смысл, и смысл важнее. Согласитесь: хорошие стихи, как и хорошие мелодии никогда не устареют.

Дагуров не одинок, у многих поэтов с годами в творчестве происходит перелом. У Балашова реализм перешёл в «шаманство», у Евтушенко лиризм – в политиканство, у Кузнецова художественность – в конструкции.

У Дагурова была тысяча романтических встреч (он просто помешан на женщинах, ни одну не пропустит, у каждой видит «отличные пропорции тела». Как Виктор Гюго он тискал женщин в подъездах и потаённых уголках. Коллекция женщин – его главное богатство). Во время наших прогулок он воодушевлённо показывает:

– Под этим деревом я целовался с... На этой скамье обнимал... В этом доме, грубо говоря, жила моя любовь ... («Грубо говоря» его присказка, он её лепит в каждой фразе.)

Как-то я предложил ему на эти памятные места прикрепить мемориальные таблички. Он засмеялся:

– Хемингуэй говорил: «Если ты ничего не делаешь для удовольствия, ты живёшь зря». Я для удовольствия устраиваю маленькие приключе-

ния. Часто меняю женщин, ведь счастье не бывает долгим, да и перемена – главный ключ к успеху... В мединституте, будучи аспирантом, я знал одну студентку. Это была девушка – ангел с синими глазами. Молчаливая, застенчивая, ни с кем не общалась. Много читала, занималась музыкой, рисовала, при этом всячески подчёркивала свои высокодуховные запросы. И представляешь, в постеле она изъяснялась только матом. Такая была скромница. Я обалдел...

По профессии Дагуров фармаколог, но почему-то многие литераторы считают его врачом широкого профиля: один жалуется ему на боли в животе, другой на бессонницу. Дагуров всех просит показать язык и выдаёт один и тот же диагноз:

– Грубо говоря, язык в порядке. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. (Он постоянно цитирует Есенина и, по-моему, втайне считает себя его тенью на земле.)

Дагуров два раза был женат. От первого брака у него прекрасная дочь Дана (в прошлом ученица моей изостудии), у которой уже давно своя, на редкость счастливая, семья. Вторая жена Дагурова – бывшая стюардесса Ольга последние годы серьёзно увлеклась поэзией (у неё вышло два сборника стихов). Ольга из Коломны; там у неё мать и две сестры. После тяжёлой операции Ольга уволилась из аэрофлота; в Москве преподавала английский язык, в Коломне работала во Дворце культуры – жила между столицей и провинцией, тратя много времени на электрички. Когда жена отсутствовала, Дагуров устраивал романтические приключения, пока однажды Ольга не застучала его с очередной красоткой. Наш герой уговорил жену не разводиться, но она поставила условие – «в дальнейшем жить, как соседи».

Ольга была верной женой и много сделала для Дагурова: не только заботилась о нём, но и перепечатывала его стихи, устраивала выступления в Коломне (вроде даже добилась установки его барельефа на фасаде Дворца культуры). После её смерти Дагуров припечалился, но ненадолго – уже через пару дней в подвале тискал одну поэтессу, без передыха сыпал «Мурашки» и ржал, как жеребец. И всё же запоздалые угрызения совести перед Ольгой время от времени мучили его. Он решил издать посмертный сборник стихов жены. Накопил деньги и... поехал отдыхать на пляжи в Черногорию. Когда вернулся, мы насели на него, приводили в пример поэта Льва Щеглова, который продал мебель, но издал стихи умершей жены. Дагуров оправдывался:

– Грубо говоря, так получилось. Подвернулась поездка. Ольгу обязательно издам.

И действительно, спустя год (с помощью спонсоров) издал прекрасную книгу памяти о жене, объявив свой запоздалый поступок «подвигом».

Многие недолюбливают Дагурова: одни завидуют его таланту и успеху в литературе, другие – победам над женщинами, третьи – его лёгкому, весёлому характеру. Кое-кто считает его «жмотом»: «Ни разу не поставил бутылку, даже когда у него выходят книги». А книги у Дагурова выходят довольно часто, и он издаёт их не за свой счёт, как мы, а находит спонсоров. Бесспорно, он достоин этих изданий, он один из лучших наших поэтов. И самый известный – ещё в молодости его «нянчили» Я. Смеляков и В. Боков, он выступал вместе с Евтушенко, Вознесенским, Окуджавой, Ахмадулиной. И проза у него приличная, он профессионал, ничего не скажешь. Жаль только, что в его писаниях нет разрушенной, разворованной России – всего полно, но о России ни слова. И, видимо, не случайно все его ближайшие друзья из среды «демократов». К примеру, партнёр по теннису русофоб Жуховицкий.

У Дагурова насыщенная, кипучая жизнь: командировки, выступления на всяких сборищах в ЦДЛ, ЦДРИ и МИДе, деловые и любовные свидания; у него сотни знакомых среди журналистов, эстрадников, спортсменов. Он один из немногих, кто удачно совмещает серьёзную работу и праздное времяпрепровождение. Это тоже вызывает жгучую зависть у многих подвальщиков.

Бывает, Дагуров хвастается, каким в молодости был самбистом:

– Потрогайте! – говорит, напрягая бицепсы (они у него, как поленья). Я в Свердловске занимал второе место среди юношей. Раз поехали в Минск на первенство страны, я написал родителям: «Вышел в финал. Получу медаль». Вдруг приходит телеграмма: «Бабушке плохо. Приезжай!» Прилетел, оказалось – с бабушкой всё в порядке. Грубо говоря, они просто испугались, что меня сломают в финале, ха-ха!

Частенько Дагуров приносит в подвал газеты, журналы, показывает, где его напечатали – хвастается, беснуется от радости, как мальчишка, у которого напечатали первый стишок. Его жена Ольга то и дело морщилась:

– Перестань хвалиться!

Но однажды по пути к метро я сказал ему:

– Когда загно́мся, о нас и не вспомнят.

– О тебе вспомнят, а обо мне скажут: «Был такой балабол!»

Я опешил – неужели он всерьёз таким себя считает? А потом вспомнил, как в застолье он не раз проявлял жёсткую требовательность к чужим стихам, как открыто и безбоязненно говорил поэтам неприятные вещи, и подумал: наверняка он так же требователен и к своей работе. Он – Владимир Геннадиевич Дагуров.

Ну а тем, кто чрезмерно нахваливает свои сочинения, считает себя великим и гением, не мешает вспомнить классиков:

«... Три четверти повести «Степь» не удалась мне» (Чехов).

«Сочинение было выкроено не дурно, но сшито кое-как, белыми нитками. Последняя половина книги отработана меньше первой, в ней великие пропуски, главное и важное сжато и сокращено, неважное и побочное распространено» (Гоголь о «Мёртвых душах»).

«... Это мерзкое сочинение. Я теперь похоронен и как писатель, и как человек. Во всём слова живого нет. И безобразие языка, вытекающее из безобразия мысли» (Толстой о «Семейном счастье»).

СЕРЬЁЗНЫЕ СТАРИКАШКИ

*Ищущий друзей без недостатков
останется одиноким.*

Линкольн

Признаюсь, за эти очерки я взялся, чтобы мои дружки-стариканы посмеялись друг над другом и, взглянув на себя со стороны, посмеялись над собой. Догадываюсь, что мои дружки хотели бы, чтобы я написал о них как о гениях, о людях без недостатков, с золотыми характерами. Они забыли: «Платон мне друг, но истина дороже». И здесь я стараюсь быть объективным и руководствуюсь добрыми чувствами к героям очерков, иначе не возвёл бы их в небожители. Подобные очерки сейчас пишут Устинов, Мартышкин, Косяков, Соколкин, и, ясное дело, мне от них достанется. Не знаю, что они там состряпают, но обещаю не таить на них зла, какую бы взбучку мне ни устроили.

– Сейчас время сочинительства закончилось, наступило время литературы факта, – категорично заявляет Балашов.

Но я уверен, что время сочинительства вряд ли когда-нибудь закончится, поскольку каждый открывает мир заново, а природа ни в чем не повторяется. Другими словами, каждое поколение имеет свое пространство и выражает его по-своему, по-новому. Ну а в том, что «наступило время факта», с Балашовым можно согласиться, ведь сейчас, при разгуле «демократии», сочинительство упало до невероятно низкого уровня, и серьёзные читатели всё больше обращают внимание на исторические исследования, биографии известных людей и прочее. Да и многие великие писатели считали «литературу факта» не менее важной, чем сочинительство. Толстой даже говорил: «Моя биография ценнее всех томов болтовни, которые я написал». Нечто подобное говорили У. Сароян и Ж. Ренар.

К сожалению, у нас нишу исторической литературы (в том числе и учебники на деньги Сороса) в основном занимают ненавистники России, всякие оборотистые суворовы, радзинские, быковы; они умышленно искажают факты, делают всё, чтобы очернить прошлое нашей страны. Этих «историков» выпускают огромными тиражами, осыпают премиями, рекламируют по телевизору – ельцинисты по-прежнему не сидят сложа руки. Объективную историю можно прочесть только в редких патриотических изданиях (которые, естественно, замалчиваются). Тем не менее, одному нашему другу удалось прорваться.

Высокий, с военной выправкой (прямой спиной и вскинутой головой), седобородый, короткостриженный, постоянно с сигаретой во рту, Александр Торопцев производит впечатление отставного полководца. Прозаик-историк, доцент Литинститута (ведёт семинар детской и подростковой литературы), Торопцев издал тридцать восемь книг по отечественной и мировой истории, в том числе бесценный фолиант «История войн».

– Историю надо знать, чтобы поменьше делать ошибок, – говорит он.

Также наш герой издал интересную книгу «Лесков и Ницше» (нашёл немало общего у таких разных писателей). Как Толстой и Чехов поэзией Торопцев особенно не интересуются. Он лауреат многих литературных премий, но мне больше всего нравится его небольшая книжка, которая почему-то не отмечена премиями – «Домодедовские рассказы». В той книжке всё жизненное, настоящее: сильные характеры и, главное, чёткая экспозиция – то, что втягивает читателя

в описываемую среду, заражает своим состоянием. Суть книжки Торопцев объясняет просто:

– Действительность поразительней всякого воображения.

Дед по матери Торопцева был раскулачен в селе Липецкой области, после чего с семьёй уехал в Душанбе; там родители нашего героя и познакомились, но, после рождения мальчишки, отец внезапно ушёл из семьи. Лишь спустя много лет Торопцев познакомился с отцом: случайно узнал, что они работают в одном месте (в телецентре Останкино), но их встреча произошла скомкано – у отца уже давно была другая семья и дети.

Мать с сыном приехала в Домодедово и устроилась разнорабочей на строительстве аэропорта. Общежитие давали только бездетным, и матери пришлось оставить сына у знакомых в Немчиновке. Личная жизнь у матери не сложилась, а тут ещё житейская неустроенность – мать стала пить, с каждым годом всё сильнее привязываясь к спиртному; не раз она попадала в больницы, но вылечить её не смогли – в 44 года она умерла.

У Торопцева богатая событиями жизнь, ему досталось сполна: он работал грузчиком в ГУМе и токарем на хлебозаводе, служил в армии, был бригадиром в стройотрядах (имеет 37 «шабашек» в разных концах страны). После окончания электромеханического института работал мастером на радиозаводе, а позднее инженером в телецентре Останкино.

Ещё в институте он женился на сокурснице Тамаре (умной, ненавязчивой красоты, и вообще замечательной во всех отношениях); некоторое время они жили в комнате матери Торопцева, но, когда родилась дочь, переехали в Отрадное к родителям Тамары. Вместе с родителями, братом и сестрой Тамары они прожили 25 лет, пока один из предпринимателей (бывший «шабашник») не подарил Торопцеву там же, в Отрадном, двухкомнатную квартиру. Недавно наш друг продал комнату матери и купил ещё квартиру в Куровской, «чтобы было где работать и отдыхать с внучкой».

Понятно, за долгие годы Торопцев общался с разной публикой: от научных сотрудников до простых работяг и домодедовских бандитов, то есть он накопил немалый материал для работы. Плюс ко всему он перечитал огромное количество книг и, обладая колоссальными знаниями, в любом споре кладёт соперников на лопатки.

В нашей компании Торопцев ведёт в основном серьёзные разговоры о литературе и всеобщей истории (он особенно силён по части мыслителей Востока). Говорит весомо, убедительно; к оппонентам относится с почтением, внимательно выслушивает и называет «уважаемый», но в спорах бывает идёт напролом. Подвал для него – стихийный полигон, где он проверяет свои идеи и оттачивает ораторское мастерство, и понятно, студентам уже преподносит «отшлифованный» материал.

Изучая восточную культуру Торопцев пришёл к выводу, что душу имеют не только люди и животные, но и растения, и камни. С этой целью собирается поставить опыт: принести в дом два кирпича и одному постоянно говорить грубости, другому – ласковые слова.

– Через десять лет увидите, как от моей энергии изменились кирпичи, – уверенно заявляет наш друг. – Не то что один развалится, а другой зацветёт, но изменятся точно. (Всё-таки иногда мой друг отрывается от действительности.)

Седой здоровяк, с тёмными глазами и низким голосом, Торопцев напускает на себя грозный (иногда зловещий) вид, говорит нарочито-грубовато, но тем и притягателен. Особенно к нему тянутся женщины – в нём они видят «настоящего мужика». И он старается соответствовать этому образу:

– Баба должна сидеть дома, воспитывать детей, варить борщ, а мужик должен быть добытчиком... Я не болтаю, как некоторые, а делаю.

И не случайно в его семинаре большинство девиц, которые просто балдеют от рокота голоса «настоящего мужика». Завистники говорят, что суровый преподаватель Торопцев со своими студентками устраивает тайные свидания. Я в это не верю – мне он всегда нахваливает свою жену. У меня к этим супругам давняя симпатия. И, вроде, у них ко мне.

Выпив и расслабившись, Торопцев непременно затягивает романс. К пению он относится крайне серьёзно: перед тем, как затянуть мелодию, прокашливается, принимает выигрышную позу, а во время пения, чтобы усилить впечатление, гримасничает, изображает шалопинские жесты. Иногда они с женой Тamarой поют дуэтом, и тогда балдеют не только студентки литинститута, но и мы, стариканы. У этой прекрасной парочки прекрасные дочь и внучка. Для всех нас они – эталон крепкой семьи.

Торопцев может прилично «принять на грудь» (но пиво холодное не пьёт – бережёт драгоценный голос), и долго с нами не засижива-

ется – у него «работы по горло»: одних неопубликованных рукописей 800(!) печатных листов, что приблизительно три чемодана. Но если в компании появляются женщины, наш герой домой не спешит, на общение с женщинами он времени не жалеет. Таков старикан-работяга Александр Петрович Торопцев.

Литературой факта можно также назвать повесть-хронику поэта Владимира Сергеева (его настоящая фамилия – Пьянков) «Магадан... Магадан... Магадан...» (напечатана в журнале «Российский Колокол»). Эта повесть – воспоминания бывших одноклассников магаданской школы спустя 50 лет с момента её окончания. Сергеев совершил нечто важное: разыскал своих товарищей, разбросанных по всей стране, и заразил их идеей – создать книгу очерков о жизни в далёком городе. Это было сделать непросто: многие пожилые люди уже умерли, кое у кого стало плохо с памятью, некоторые уже стали докторами, академиками, загружены работой, и им не до мемуаров. Но всё-таки человек двадцать прислали свои воспоминания. Сергеев составил сборник, расцветив его фотографиями, своими стихами и песней про Магадан.

Казалось бы, всего лишь бытовые зарисовки о совместном проживании коренных жителей, командировочных, ссыльных и тех, кто хотел подзаработать на Востоке, и, конечно, романтиков, которые ехали «за туманом и за запахом тайги», но эти зарисовки в очередной раз доказывают, что правдивость, искренность и простота изложения – главное в литературе.

Кстати, наверняка теперешние молодые люди посмеются над теми романтиками, которые уезжали на Восток; теперь парни и девушки деловые, практичные, им подавай престижный вуз, домашний комфорт, иномарку, границу, они учатся «делать деньги и развлекаться», между тем именно на тех романтиках и держится Россия.

Всех авторов магаданского сборника объединяет любовь к своему «краю вечной мерзлоты», где, несмотря на тяготы жизни в те годы, были и свои радости. Не случайно ностальгия по тому времени теревит этих людей до сих пор (некоторые даже ездили в Магадан). И каждый год выпускники школы 31 августа встречаются у Большого театра. Тем, кто не был в тех суровых краях, трудно понять подобную ностальгию, но, прочитав сборник, они наверняка изменят свои взгляды. Потрясающие эпизоды в рассказах магаданцев невозможно придумать. Но

особенно ценен их светлый взгляд на прошлое, в отличие от всяких очернителей, которые исходят злобой при слове СССР.

Сейчас «демократы» обливают грязью даже фильмы нашей молодости: называют комедии Пырьева «показухой», хотя давно известно – в трудные времена людям нужна надежда на лучшее, что те фильмы показывали, какой должна быть жизнь.

Конечно, кое у кого из профессиональных литераторов зачешутся руки поправить рукописи в сборнике, но я полностью согласен с решением Сергеева – оставить всё как есть. Уверен, некоторые погрешности в тексте придают непосредственность и живость языку. Пушкин их называл «одушевляющими недостатками». Об этом же писал и Гумилев. А «корявости» самого Гумилева Есенин ставил в пример. Что ж говорить о рукописях научных сотрудников, инженеров, врачей, которые просто делятся воспоминаниями, ни на что не претендуя. Ко всему, так же, как в спорте – энтузиазм бьёт класс, так и в литературе – искренность (пусть несовершенная по исполнению, но пронзительная, обезоруживающая) вызывает большее сопереживание, чем холодная (технически безупречная) обработка материала. Главное, записи бывших магаданских школьников представляют ценность, как свидетельства своего времени.

Сергеев родился в Москве и до войны жил с матерью на Преображенке. Своего отца он не видел, он ушёл из семьи до его рождения. Мать никогда о нём не говорила, но часто рассказывала о своём отце, которого расстреляли как офицера армии Колчака, и она, дочь «врага народа», долгие годы это скрывала. После войны мать вместе с сыном уехала по контракту в Магадан, где почти два десятка лет работала учителем. Там же она вышла замуж за ссыльного, который стал отцом нашему герою.

Сергеев пришёл в литературу в зрелом возрасте, то есть имеет немалый жизненный опыт. Он помнит войну, эвакуацию в Сарапул, послевоенную разруху, жизнь на Дальнем Востоке; позднее он служил в армии, окончил Московский институт связи, по специальности работал в театре Дорониной; как инженер имеет более тридцати изобретений (и сейчас кое-что изобретает; одно устройство для автомашин против гололёда чего стоит!); он многоборец (кандидат в мастера по шахматам, дельтапланерист, яхтсмен и перворазрядник во многих видах спорта!).

Помимо всего этого, Сергеев – приветливый, деликатный, предельно вежливый (даже задев фонарный столб или урну, извиняется перед ними), трогательно заботливый к своим родным и к друзьям (с душевной теплотой всем постоянно дарит подарки: «это небольшая вещица, но я вложил в неё много любви», в застолье щедро угощает вином, закусками, сладостями). Только когда дело касается литературы, политики, науки или религии, становится непримиримым спорщиком. Он на всё имеет своеобразное мнение и отстаивает его упорно, но не агрессивно – с улыбкой (чаще с усмешкой). Например, глубоко верующий поэт Евгений Юшин не раз с нами, безбожниками (со мной и Владимиром Сергеевым), заводил горячие споры:

– Вера в Бога не от знаний, а от сердца, – говорил.

А Сергеев приводил свой довод:

– Но все писания, в том числе и Библия, написаны не от сердца, а от разума, от головы.

Что и говорить, перевес в споре почти всегда на стороне Сергеева. Но именно «почти», потому что когда он читает свои стихи, мы находим у него немало странных строк. Но попробуй нашему другу указать на сомнительную строку – он, несговорчивый, повторит её пять раз и с улыбкой добавит:

– Всё нормально! – и долго объясняет, почему «нормально»: – На моём сайте в интернете уже более тридцати тысяч посещений. С некоторыми поэтами я переписываюсь. Меня перевёл один китайский поэт.

– Жутко упрямый тип, – то и дело отзываются о нём подвальщики. – Хороший мужик, но его стихи слишком заумные.

Действительно, большинство его стихов чересчур сложны (с двойным дном). Причём чаще всего сложно выражены простые, лежащие на поверхности, мысли. Между тем, как известно, надо о сложном писать просто, а не наоборот.

Иногда во время наших споров мой однофамилец вдруг называет свои стихи «гов...». Такие загогулины, перепады в самооценке. Тем не менее, постоянно в застолье читает свои вещи (при этом его морщины разглаживаются, глаза светлеют), рецензия на стихи ему нужна не лишь бы кого, а Фирсова и Соколова, и издавать сборник он хотел не где-нибудь, а непременно в серии «Золотой жираф», рядом с классиками. За бешеные деньги. При этом неубедительно объяснял нам, что «в серии книгу обязательно купят, а издаваться, лишь бы издаться, нет

смысла». К счастью, мы с Балашовым уговорили его издать сборник в обычном издательстве за приемлемую сумму.

Недавно Сергеев написал в стихах «Новую библию 21-го века», в ней научно показал «случайность» зарождения жизни на земле и подтвердил дарвинизм, разбив сторонников божественного происхождения человека. Как приложение к «Библии» Сергеев представил высказывания лауреатов Нобелевской премии:

«В Библии свод примитивных легенд. Я не верю в Бога и бессмертие души» (А. Энштейн).

«Человек должен выбросить мысль о Боге» (И. Павлов).

«Мне чужда идея Бога» (Н. Бор).

«Нет ни одного крупного физика, который не являлся бы атеистом» (Л. Ландау).

«Чем человек образованней, тем меньше вероятность, что он верит в Бога» (В. Гинзбург).

«Загробная жизнь – это чепуха» (Б. Рассел).

«Религия – род опиума, который дают народу, чтобы им было легче управлять» (П. Дирак).

И ещё десятки великих учёных. Ясно, с таким мощным вооружением мой друг непобедим. Но на него с жестокой критикой обрушились почти все подвальщики; лишь два-три литератора (в том числе, разумеется, и я) встали на его сторону. А сосед по дому Шульжик даже сказал автору «Библии»:

– Прочитал твою книжку. Ты меня обидел. Я думал, на нашем доме будет моя памятная доска, но теперь понял – будет твоя.

Недавно дочь Сергеева перевела «Библию» на английский язык и, будучи в Италии, наш друг понёс своё произведение Папе Римскому. Какой-то секретарь Ватикана принял подарок, обещал передать Папе, но через неделю Сергеев получил свой дар обратно, без всяких пояснений.

– Ничего страшного, – заявил наш неунывающий друг. – Попрошу Алфёрова, лауреата Нобелевской премии, чтобы порекомендовал мою «Библию» изучать в школах.

Бесспорно, Сергеев – невероятный умник, но и чудака, каких поискать. В его инженерной голове полно всяких теорий – одна оригинальней другой. Например, теория «пирамиды» в стихосложении. Он может написать в стихотворении «люблю божественно-безбожно» и потом

объяснять, как можно так любить. (Не случайно литератор и философ Петр Калитин включил его в сборник «Оригинальная литература».)

В другую стихотворную книгу, несмотря на протесты друзей, Сергеев впишу чертежи собственных изобретений и даже шахматные задачи – выложил все свои таланты. (Впрочем, Луконин пошёл ещё дальше – свой фантастический роман расцвел рисунками и закончил нотами симфонии, которую сочинил ещё в молодости.)

У Сергеева полно всяких планов: сделать домашнюю типографию, починить старый «пикап», который когда-то купил у Шульжика (хотя имеет новую иномарку и «жигули»), выучить итальянский язык (его обучает дочь), продавать свои стихотворные книжки вместе с букетами цветов, и главный план – достроить «Титаник» (так я называю его гигантскую дачу). Он строит дачу уже десяток лет, и конца строительства не видно. Всё оттого что в своём проекте он слишком размахнулся: запланировал трёхэтажное строение с бассейном на первом этаже и стеклянной раздвижной крышей.

Однажды он привёз на участок нас с прозаиком Игорем Блудилиным. По пути мы заехали на дачу к Блудилину – летний домишко, увитый плющом на заросшем участке (я сразу прозвал его «Теремок»). Через пять километров по лесной дороге мы вкатили в посёлок Сергеева и остановились около высоченного сооружения из бетона и железных конструкций – это была недостроенная дача нашего поэта. (Многое в этом доме Сергеев делал самостоятельно: например, варил железные лестницы.)

С первой (гражданской) женой Сергеев прожил восемь лет. Со второй женой и дочерью от этого брака он сохранил хорошие отношения до сих пор. А сейчас он один из самых счастливых среди пишущей братии: у него прекрасная третья жена Лиза (успешный руководитель фирмы) и необыкновенно талантливая дочь Саша (пишет стихи, рисует, знает несколько языков). У них крепкая взаимная любовь: женщины смотрят на главу семьи, как на икону (только что не облизывают его.) У семейства неплохие и материальные ценности: большая квартира в «сталинском» доме, дорогая иномарка, квартиры в Железнодорожном и в Италии, ну и, конечно, «Титаник» – недостроенный дворец.

Они живут интересно и свободно. Каждое воскресенье Сергеев с женой совершает пеший марафон по городу (не менее десяти километров). Своё семидесятилетие он отметил с семьёй в ресторане на

Эйфелевой башне, а, вернувшись, нам, стариканам, привёз подарки. Как я уже сказал, он постоянно всем что-нибудь дарит – часто без повода, просто так, от душевной щедрости: редкие книги, ковбойские шляпы, авторучки «Паркер», блокноты в кожаном обрамлении и, само собой, заграничные напитки (сам он выпивает крайне редко – бокал вина или пива). Мне он подарил кучу бесценностей: принтер, стеклянные шахматы, набор инструмента, потрясающие рулетку и лупу, и множество других вещей. Я в свою очередь тоже ему кое-что подарил, но мои подарки рядом с его дарами выглядят бледновато.

Я помню, как мы с Сергеевым ходили на выставки, гуляли в парке Горького, как ездили на набережную, где у причала красовалась шхуна «Святой Павел» и нас встречал капитан Сергей Евсеев, приятель Сергеева, кораблестроитель, путешественник и очеркист. Помню, как мой друг помог мне отвезти книги из типографии, как он с дочерью Сашей помогли мне делать обложку книги. Помню, как однажды он приехал ко мне, и в этот момент умерла моя собака Альма; как подъехал Валерий Шашин и мы втроём отвезли Альму в наш посёлок и похоронили в лесу под огромной елью, где уже покоились мои Челкаш и Дым.

Сергеев был рядом со мной, когда умерли мой брат и Валерий Шашин (даже написал стихотворение «Памяти Шашина»).

Мы с Сергеевым видимся часто. Особенно когда его жена с дочерью уезжают за границу. Мы встречаемся у метро, заходим в какое-нибудь кафе (он открыл мне несколько уютных заведений), немного выпиваем, а потом гуляем по Москве и говорим о литературе и о многом другом. Мы видимся часто, но не так часто, как мне хотелось бы – Сергеев большую часть времени проводит в семье. Случается, во время споров с друзьями в подвале мне его особенно не хватает – для поддержки, ведь он мой единомышленник почти во всём. У нас даже болезни одинаковые: язва желудка, давление, плохо видит правый глаз, трясутся кисти рук.

Повторю: подвальщикам не нравятся стихи Сергеева – мол, они перегружены тяжеловесными образами, заковыристыми подтекстами, в них нет простоты и лёгкости, свойственной мастерам. (Балашов говорит: «Простота – вершина мастерства».) Так-то оно так, но среди лирических стихов Сергеева есть первоклассные, только почему-то критики не обращают на это внимание. Тут ещё и он сам подливает

масла в огонь – считает свою лирику чепухой, а «тяжёловесные» гражданские стихи всячески афиширует.

Кое-кто называют моего друга «странным». На самом деле у него особый склад ума. Его странность – это непохожесть на всех, своеобразие, индивидуальность. Странность придаёт Сергееву дополнительную притягательность. А его чудачества ... Горький говорил: «Чудаки украшают жизнь». Но что бесспорно – Сергеев самый откровенный, самый честный и порядочный из всех моих друзей. Да что там говорить! – после смерти Валерия Шашина он стал моим самым близким другом и любимым старичком. Да, именно он – Владимир Олегович Сергеев. У нас с ним сердечная дружба.

К серьёзным старикашкам надо отнести поэта Анатолия Парпару и поэта-философа Олега Григорьева.

Парпару я знаю лет сорок, если не больше. Когда-то, в молодости, мы даже вместе устраивали романтические приключения и пили его «парпарину» (напиток настоенный на грецких орехах). В 70-х и 80-х годах мы встречались в основном в Пёстром зале ЦДЛ, а позднее на дачах (наши участки в одном посёлке) и, само собой, в подвале. Сейчас видимся редко: Парпара – профессор в Университете культуры и много занимается со студентами. К тому же после операции на почках он старается не выпивать и свободное время проводит «на водах» под Железноводском, где приобрёл небольшой домишко. Но все наши встречи и в прошлом, и в настоящем всегда проходили и проходят в насыщенных разговорах о литературе и не только о ней.

Анатолий Анатольевич Парпара – крайне серьёзный старик с копной седых волос и шкиперской бородой. Балашов говорит ему:

- У тебя, судя по форме черепа, предки были аристократами.
- Да нет, – откликается наш герой. – Я из крестьян.
- Деревенщина одним словом, – смеётся Профессор.

Парпара только пожимает плечами. Улыбается он редко, смеётся ещё реже и, обычно, над собственными шутками. Всё понятно, ему не даёт покоя боль за наше разрушенное Отечество и вакханалия «демократов».

– Самое омерзительное сейчас могущество денег. Человек измеряется количеством денег у него, – говорит он. – Делается всё, чтобы русские забыли свои традиционные ценности. Несколько десятков олигархов захватили все богатства России, между богатыми и бедны-

ми чудовищный разрыв. Одни получают десятки миллионов в месяц, другие – семь-восемь тысяч. Если не будет национализации, возврата к социализму, рано или поздно произойдёт новая революция...

Особенно Парпара громит либералов:

– Наши либералы все негодяи. У них и лица отвратительные, ведь в злости человек не может быть красивым. Злость разрушает самого человека и тех, кто его окружает. А доброта, соответственно, вселяет спокойствие и радость... Но американцы поддерживают наших либералов, поддерживают любого подонка, который скажет гадость о России... Не видеть у нас пятую колонну может и дурак, и негодяй... Горбачёв и Ельцин – преступники, они разрушили великую страну, их при жизни уже проклинали... И не о себе люди пекутся, «за державу обидно», – повторяет Парпара Луспекаева. – А устроили всё американцы. Они везде свержают власть, если она не проамериканская. Вначале баламутят народ, насаждают некий управляемый хаос, затем подкупают элиту или просто вводят войска, как бы «для защиты демократии». Негодяи!..

Мы киваем, поддерживаем нашего «политолога»:

– Нам не нужен олигархический капитализм! – и, будучи в своё время солдатами, восклицаем: – Честь имеем!

В другой раз Парпара объяснил, что надо делать:

– Надо отменить приватизацию, вернуть народу всё наворованное. В правительство призвать: Болдырева, Илюхина, Глазьева, Проханова, Нарочницкую, Крашенинникову, Старикова, Кургиняна и многих других истинных патриотов.

Тут уж мы, перебивая друг друга, добавляем:

– Надо посадить олигархов! Сократить чиновников!

В предвкушении новых времён мы выпиваем за справедливость.

Отец Парпары – неграмотный полугрек из греческого поселения под Донецком; мать – полубелоруска, окончила четыре класса сельской школы. Жили родители в деревне под Смоленском. В начале войны отец ушёл на фронт. Мать с Анатолием всю войну была под оккупацией; жили в землянке, в которой до войны хранили картошку. Большинство жителей деревни расстреляли каратели; раненой матери с сыном удалось спастись. Позднее досталось и Анатолию: во время обстрела его контузило; мальчишка два дня не дышал; уже сколотили гроб, чтобы его похоронить, как он открыл глаза. В 46 году

вернулся отец, весь израненный. Семья переехала на окраину Москвы (в Фили); отец с матерью работали на заводе Хруничева; жили в восьмиметровой комнате коммуналки. Вскоре у Анатолия появился брат. Отец сильно пил, семья держалась только на матери.

В четырнадцать лет Парпара решил стать писателем и начал писать стихи («слабые, дилетантские», – по его словам). Но, окончив школу и устроившись работать электриком на завод Хруничева, уже печатался в заводской многотиражке. Отслужив четыре с половиной года на флоте, Парпара вернулся на завод и поступил на заочный журфак университета. Работал, учился и посещал одновременно сразу четыре литобъединения. (Вскоре сам возглавил одно из них.) Его стихи всё чаще печатали газеты и журналы.

Получив диплом, Парпара работал спецкором в «Строительной газете» и литконсультантом в журнале «Москва». Позднее его утвердили в штат журнала. В нём он «отслужил» 25 лет и за это время первым напечатал многих, теперь уже известных, поэтов.

Парпара был хорошо осведомлён обо всех литераторах. Именно он открыл мне глаза на многих представителей литературы. И не случайно на моём 75-летию сказал:

– С Лёней мы знакомы не один десяток лет, и за всё это время ни разу не поссорились, а это редкость в писательской среде. Я знал Лёню, ещё когда он дружил с теми, кого теперь не любит...

В молодости Парпара был отважный парень – влюблялся с первого взгляда и сразу тащил возлюбленную в загс. Но его первая женитьба оказалась неудачной – молодожёны расписались, почти не зная друг друга, и развелись через месяц после свадьбы.

– Всё вышло по глупости, – говорил он. – Поиграли в семью и разошлись.

Второй раз нашему герою повезло, хотя он вновь выкинул героический номер: увидел из комнаты красивую барышню, выпрыгнул из окна (благо жил на первом этаже) и сходу предложил красотке руку и сердце. Барышня оценила смелость Парпары и тут же согласилась (ей было 21 год, ему 27). Они уже прожили полвека, у них двое взрослых детей (дочь филолог, сын оканчивает духовную семинарию). Внуков у Парпары пока нет – что, понятно, его огорчает.

Иногда в нашем подвале появляются женщины, и что примечательно – многие мои дружки резко меняются: не говорят, а прямо-таки

воркуют с представительницами слабого пола, читают свои стихи, а из всех сил стараются заинтересовать ту или иную дамочку. Парпара никогда не меняется, со всеми держится ровно, будь то красотка ослепительной красоты или уборщица Маша, депутат Думы или бомж, случайно забредший в наш клуб. Это свидетельствует о настоящей культуре. Но, в отличие от тех, кто откровенно говорит о своих достоинствах и недостатках, наш герой упоминает только о своих достоинствах, видимо считает, что недостатков у него нет.

Ещё работая в журнале «Москва», Парпара получил Госпремию за историческую поэму. Многие литераторы считают, что эту премию он получил незаслуженно (будто бы её пробил шеф журнала Алексеев). Нет, чтобы радоваться за товарища, они недовольны – в творческой среде это в порядке вещей: стоит кому-то добиться успеха, как у него появляются завистники. Коледин усмехается:

– Тот не велик, в кого не кидают грязью. Китайцы говорят: «Величие человека определяется количеством завистников»... Вообще в каждом человеке две личности: добрая и злая. В определённые моменты они проявляются по-разному. Всё зависит от того, какой стороной поворачиваешься к человеку... Сейчас возносят всяких бродских, рейнов, но у них сплошное нудное словоблудие, графомания. Всё неживое, мертвечина.

– У Быкова, Устиновой вроде живое, но какое-то извращённое, – говорит Парпара. – Замятин это предвидел: «Будущее русской литературы – её великое прошлое».

Профессор В. Смирнов поясняет:

– Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев – дубы, на которых стоит вся русская литература.

После работы в журнале Парпара издавал «Историческую газету», в которой всегда было немало ценных материалов. (Я читал её с огромным интересом.) И опять нашлись недовольные – мол, деньги на газету Парпара кланчит у богатеев, вроде Джуну. Японцы считают, что «у каждого мужчины должно быть семь врагов». У Парпары их, пожалуй, больше. Но, конечно, есть и друзья. Я один из них.

Парпара автор двадцати поэтических книг и, как я уже сказал, – профессор университета, заслуженный работник культуры, орденосец (награждён орденом Дружбы народов), председатель фонда Лермонтова – думаю, с размахом такой деятельности он, башковитый, вполне мог бы сидеть в кресле министра культуры.

Теперь, в старости, завсегдатаи подвала частенько жалуются на болезни. Некоторые их останавливают:

– Хватит о болезнях! От этой говорильни ещё больше заболеваешь.

– Нет, о болезнях надо говорить, – возражает Парпара. – Делиться врачами, помогать с лекарствами, сочувствовать, принимать часть боли на себя. (Такая милосердная проповедь.)

Олег Владимирович Григорьев (тоже из числа серьёзных) – тучный, с огромной седой вьющейся шевелюрой, которая смотрится особенно впечатляюще рядом с нашими лысынами. Григорьев близорукий (носит очки с толстыми стёклами и читает планшетку, уткнувшись в неё носом), всё делает неспешно, добросовестно (и правильно – хорошие дела быстро не делаются), никогда не выходит из себя, хотя временами чувствуется – внутри у него закипает злость; в такие минуты его губы стиснуты, глаза горят, как у хищника (по его словам, в молодости не раз давал обидчикам по морде.) Потом успокоится, глаза потухнут, появится виноватая улыбка.

Многие одинокие мужчины опускаются: за собой особенно не следят, питаются урывками (в основном супами из пакетов). Григорьев другой тип холостяка. Дома у него идеальная чистота: сверкает люстра, пианино, посуда – через день он всё протирает и два раза в неделю моет полы. По утрам и перед сном он делает гимнастику, после завтрака выпивает стакан кипячёной воды (воду пропускает через серебряный фильтр: «серебро убивает всех микробов, даже нейтрализует яд»), а после обеда (всё готовит в скороварке) потягивает свой любимый напиток «пепси-колу», хотя признаёт, что в «американце» есть что-то ядовитое.

Григорьев часто ходит в поликлинику на массаж, тщательно следит за своим питанием (глотает витамины, солёное и сладкое не ест), чётко знает, что полезно, что вредно, где сколько и каких микробов – у него десяток серьёзных болезней, но выглядит он, как Илья Муромец. И всегда одет с иголочки: отутюженный костюм, галстук, весной и осенью – чёрное кожаное пальто, зимой – шикарная дублёнка. (Говорит: «Привычка чиновника министерства».) Но в остальном наш друг живёт предельно скромно: вещи покупает на распродаже, продукты – в магазинах со скидками.

– Я живу по правилам небес, – смеётся наш друг. – Являюсь противником всякого богатства. Хочешь, чтобы тебя ненавидели, стань богатым.

Григорьев заикается и, видимо, поэтому большую часть времени в нашей компании помалкивает, а если и вставляет скучные словечки, то всегда умно, по делу. Но что странно, поёт он без всяких заиканий. А поёт он, пожалуй, лучше всех подвальных певунов: у него абсолютный слух и красивый бархатный баритон (ему бы ещё чуть посильней голос – и мог бы петь на больших сценах!). Поёт он в основном романсы, приобщает нас к высокому искусству прошлого. Я помню, когда он впервые продемонстрировал своё исполнение: взял гитару у Жукова, долго настраивал, потом тихо затянул романс... и все ахнули, смолкли и прослезились.

Григорьев откликается на всякую несправедливость и в спорах никогда не стоит в стороне: выслушает все мнения (а слушает он всех предельно внимательно, что, понятно, редкое качество) и, словно судья, делает заключение: обозначает свою позицию коротко и внятно. Ему никто не решается перечить, от него исходит какая-то магическая внутренняя уверенность в собственной правоте.

Родственники по отцу Григорьева из-под Ульяновска. У деда-священника было семнадцать детей; во время репрессий его вывели расстреливать, но сбежала вся деревня и «своего батюшку» отстояли; он умер в ссылке спустя несколько лет. Отец Григорьева с 14 лет скитался по средней полосе России; в начале войны окончил курсы лейтенантов и был отправлен на фронт; после ранения оказался в госпитале Ташкента, где познакомился с будущей матерью нашего героя – она, лётчица, на «кукурузнике» перевозила раненых в Ташкент. Её семья, после раскулачивания в рязанской области, обосновалась в подмосковной деревне Рузино под Крюковым.

По окончании войны отец с матерью приехали в Рузино; работали в колхозе, мать заочно училась в юридическом институте; у них родился сын, наш герой, а позднее и его брат. Через несколько лет отец Григорьева устроился истопником в школу на окраине Москвы и получил девятиметровую комнату, в которой семья прожила недолго – мать Григорьева, окончив вуз и став адвокатом, получила квартиру в Москве.

Оба родителя Григорьева давно лежат на кладбище Рузино, куда он время от времени наведывается, а когда мы едем на мой участок по Пятницкому шоссе, показывает места, где прошло его детство, рассказывает, как было когда-то: поля пшеницы, заливные луга, ста-

да коров, как мальчишками ловили в речке мальков... (Мы все часто вспоминаем детство, что и понятно – в старости тянет к истокам, к своим отправным точкам.)

Григорьев рассказывает, как обустроивались в Рузино:

– ... Мать сказала нам с отцом: «Сделайте скамейку на участке». А отец говорит: «Чего там скамейку! Сделаем беседку». Потом на четыре чурбана положили брёвна, на них стояки, обшили бросовым материалом – получился летний домишко. Позднее на домкратах его подняли, сделали кирпичный фундамент и первый этаж, сложили печку-голландку. Но однажды весной мой сын поехал с друзьями, затопили печь, выпили, уснули. Дом сгорел... Самым интересным на участке были цветы, которые посадила мать. Не помню, как они назывались. Они распускались жёлтыми, через неделю становились оранжевыми, потом краснели и темнели и в конце лета превращались в фиолетовые.

Наш поэт учился в музыкальной школе (по классу гитары) и в энергетическом техникуме, работал завпостом в театре Лобни, позднее окончил Московский открытый университет (бывший политехнический институт) и некоторое время работал начальником отдела в министерстве природного устройства. Четыре раза был женат, все жёны от него быстро уходили – считали его нерасторопным, угрюмым эгоистом, им не нравился спокойный, уравновешенный характер мужа, его философский склад ума и его стихи.

– С первой женой мы прожили три года, – говорит Григорьев, – от неё у меня два сына, у них уже мои внуки. Со второй женой мы жили всего несколько дней, и она ушла, даже не оставив записки. С третьей тоже ничего хорошего не получилось. Она была старше меня, и я быстро понял – она собиралась меня женить на своей дочери. Всё время расхваливала её: «она чистая, волшебная девушка, девушка-ангел». А однажды уехала в командировку, и только я лёг спать, как приходит её дочь в одной комбинации. А она была девицей с большими формами, с задом в три обхвата, как царь-колокол. Наклонилась надо мной, положив груди мне на лицо, и прошептала: «Ты, конечно, не придёшь ко мне ночью». А я и не думал... В общем, у них всё было продумано... С четвёртой, вроде, всё шло хорошо, но вдруг она подвезла меня на своей машине к моей работе и говорит: «Не думала, что ты меня так рано бросишь». Я обалдел. А она по-

тянулась ко мне, чтобы выдать прощальный поцелуй. Я отвернулся, вышел из машины и хлопнул дверью.

Наш почти 70-летний друг живёт бобылём. Правда, у него хорошие отношения с братом (китаистом, бывшим дипломатом), они часто перезваниваются; и часто его навещает подружка, бывшая альпинистка, не раз падавшая а горах (восемь сотрясений головного мозга и множество переломов, что не мешает этой бесстрашной спортсменке удовлетворять свою страсть с нашим героем).

Вообще одиночество не тяготит Григорьева (как и многих философов). К тому же он немало времени уделяет игре на гитаре (играет классику; есть у него и собственное сочинение – маленькая сюита). Несколько лет назад Григорьев играл в ансамбле и гастролировал по всей стране (был и в Сибири, и на Камчатке), а сейчас время от времени набирает учеников (обучает игре на гитаре для приработка к пенсии).

Помимо этого, у Григорьева есть ещё одно увлечение – живопись. Да, так он многогранен, и это не редкость среди одарённых людей. Живописью он занимается от случая к случаю (пишет маслом натюрморты – вполне приемлемые для непрофессионала). Он же придумал показывать цветные изображения на падающей воде, что теперь используют многие дизайнеры.

Григорьев знает толк в ремёслах, он рукастый, умелый (в своё время даже сложил четыре печки!). Что и говорить, наш друг может многое, только что не вышивает гладью.

Но прежде всего, конечно, Григорьев поэт. Интересный. В технике письма он оснащён прилично, и, когда читает свои ударные вещи, профессионалы поднимают большой палец. Большинство стихов Григорьева с философским, а то и с мистическим уклоном. (Он ещё в детстве прочитал «Легенды и мифы мира» и всю жизнь проживает в параллельном мире.) Он один из немногих, кто понимает и ценит медитации Балашова. У него вышло всего две тонких брошюры; он подготовил и третью – на её издание копит деньги.

Недавно наш поэт закончил фантастический роман – видимо, записал сны, поскольку говорит:

– После выпивки ко мне во сне приходят инопланетяне.

А выпиваем мы почти каждый день, и, понятно, ночных сюжетов у него наберётся не на один роман. Вот только мы боимся, как бы его сны не вторглись в нашу реальность.

Григорьев хороший товарищ – не поморщившись, ездит работать на мой участок. Не раз мы, вместе с поэтом Павлом Косяковым, ездили на участок с ночёвками: ремонтировали забор и крышу террасы, убирали на участке поваленные деревья, купались на водохранилище, выпивали и вели откровенные разговоры обо всём на свете. Именно в те дни мы по-настоящему узнали друг друга, ведь одно дело встречаться по вечерам в людном, прокуренном и проспиритованном подвале, а другое – общаться в узком кругу на свежем воздухе, в раскованной обстановке. Тем более, что с погодкой нам всегда везло: деньки стояли – лучше не придумаешь.

Позднее мои друзья, не жалея красок, расписывали подвальщикам участок и наше времяпрепровождение. Недавно я уезжал из Москвы на две недели, и Григорьев с Владимиром Чертковым и моей кошкой Маркизой жили на участке. И корпели над рукописями во все лопатки: Чертков, который давно хотел пожить на природе, накопил несколько рассказов, а Григорьев – с десятков стихов и целую поэму о «прекрасной», по его словам, даче. Я за двадцать пять лет на участке не написал ни строчки – всегда приходилось что-то ремонтировать, да и привык я к своему столу в Тушино. Так что мне остаётся только завидовать друзьям.

Владимир Ефимович Чертков, пожалуй, самый серьёзный из стариканов (и один из самых возрастных, можно сказать, патриарх подвала). Он – журналист и прозаик. Черткова знаю с шестидесятых годов, ещё по Домжуру. Он из семьи железнодорожников, и сам, окончив железнодорожное училище, работал в депо Перерва – пять лет помощником машиниста водил составы на московско-курско-донбасской дороге. Позднее заочно учился на журфаке, ездил в командировки от газеты «Железнодорожник» (три месяца ходил на сейнере около Ньюфаундленда), а став профессиональным журналистом, работал в «Гудке» и «Труде», и, наконец, в главной газете – в «Правде». Именно от «Правды» Чертков ходил на атомоходах на Ямал и на Северный полюс – его очерки о Севере читала вся страна.

Позднее он побывал и на Южном полюсе, за что получил звание «Почётный полярник» и был награждён орденом Дружбы народов. Недавно он издал за свой счёт прекрасную книгу рассказов и очерков «Перевернутый айсберг» – отгрохал себе отличный подарок к 80-летию. Это событие мы отмечали целый месяц.

Чертков был два раза женат (от первого брака у него дочь и, как продолжение рода – внучка), со второй женой наш герой прожил сорок лет.

Квартира Черткова отличается ухоженностью и чистотой. Хозяин аккуратен и чистоплотен, как барсук: у него перед каждой дверью по три коврика, отдельная полка с тапками для гостей, каждая вещь лежит на своём месте и повернута в определённую сторону. Не дай бог, что-то подвинешь – хозяин тут же вернёт вещь на место. Он не занудливый педант – просто любит порядок, только и всего.

Чертков тщательно следит за температурой, давлением, влажностью и радиацией в квартире, для чего имеет термометр, барометр, гигрометр и счётчик Гейгера, а также авитометр для определения жирности молока. Не то что он собирается жить до ста лет – просто любит чёткость и ясность во всём. Во время споров в подвале он от каждого требует внятной позиции: ты с патриотами или с либералами, любишь Есенина или Бродского?

– У кого нет чёткой позиции, тот и пишет расплывчато, – говорит наш требовательный друг, повторяя Хемингуэя: «Туманно пишут о том, что туманно себе представляют».

У Черткова масса положительных черт: он, как никто, ценит мужскую дружбу, предельно внимателен к работам всех литераторов, никогда ни над кем не подтрунивает и искренне радуется успеху своих товарищей. У него только один крохотный недостаток – позвонит и, не назвав себя (считает, что у него неповторимый голос), сразу:

– Привет! Как дела? Что делаешь?

Но, понятно, его положительные качества это перевешивают.

Здесь уместно будет упомянуть про его отношение к последней жене, черноглазой красавице грузинской княжне. Он, можно сказать, совершил подвиг – восемь лет ухаживал за больной, прикованной к постели, супругой. Чтобы оплачивать врачей, медсестёр, сиделок продал дом на Волге и квартиру матери, а свою квартиру сдал в пожизненную ренту знакомому генералу. После смерти жены Чертков так сильно переживал, что не мог один оставаться в квартире (спасала дочь, которая часто приезжала, и Григорьев, который с неделю оставался ночевать у товарища). Сила красоты жены всегда действовала на Черткова магически. Её портрет и сейчас висит у него в спальне; под портретом живые цветы; станет

увядать один букет, Чертков сразу покупает другой. По вечерам разговаривает с покойной и плачет.

– Тамара была очень красивой, – говорит несчастный вдовец, и по его щекам катятся слёзы.

Недавно, из жалости, Чертков приютил у себя нахальную литераторшу из провинции. Друзья на него ополчились: «Она пройдоха!»

– Зато есть с кем ругаться, – хмыкнул одинокий старикашка.

До последнего времени у Черткова был друг (и мой тоже), журналист, поэт, прекрасный прозаик и прекрасный человек Виктор Широков.

О Широкове надо сказать особо. Такие люди, как он, на вес золота. Он был совершенно несерьёзный старикан, много курящий и пьющий. Длинный, сутулый, немного косолапый, с худым – в морщинах и складках – выразительным лицом; он постоянно подшучивал над друзьями, а ещё больше над собой. У него был рак кишечника, он перенёс несколько сложнейших операций, но, зная о своём смертельном диагнозе, никогда не жаловался, держался стойко, мужественно и до конца писал рассказы, выжимал максимум из своего безнадёжного положения.

Мы с Широковым познакомились лет десять назад у журналиста и прозаика Владислава Егорова, а сдружились в подвале, куда он заглядывал с Чертковым. В те дни, чем ближе мы узнавали друг друга, тем больше нам не хватало общения, мы никак не могли наговориться – у нас было одинаковое послевоенное детство (на полустанках). И вообще было много общего. К сожалению, Широков долго в подвале не задерживался; как только мы распивали бутылку (если с Чертковым, то добавляли), он начинал кашлять, задыхаться и спешил домой, к внукам.

Много лет Широков (вместе с Чертковым) работал журналистом (в «Гудке», «Железнодорожнике», «Правде»), считался одним из лучших очеркистов (не раз получал премии), и одновременно писал стихи, а последние годы и прозу. Поэтическую прозу. Незадолго до смерти он написал повесть для подростков «Коза Нинка». Это блистательная вещь. Блистательная! Я не знаю никого из современных литераторов, кто написал бы нечто подобное. Повесть захватывает прямо-таки оголённой искренностью, правдивостью и высочайшим мастерством.

Смерть Широкова меня не просто расстроила, я расклеился и несколько дней не мог работать. Бывает, и сейчас, как вспомню его, встаю из-за стола; выйду из дома, пройду по улице, немного успокоюсь.

И каждый раз, спускаясь в наш подвал, думаю – вот сейчас его увижу за столом с рюмкой водки и неизменной сигаретой во рту. Заметив меня, он выйдет из-за стола, «Кого я вижу!» – воскликнет хрипловатым голосом, мы обнимемся, сядем за стол, выпьем, поговорим... Эх, как мне не хватает тебя, Виктор Степанович Широков!

Сергей Небольсин полусерьёзный старикан; невысокий, щуплый (но на его визитке написано: «обладатель чёрного пояса каратэ»), узкоглазый, усатый, всегда небритый, внешне – копия генерала Корнилова. (Его мать – донская казачка, отец – калмык, подполковник погранвойск, погиб на войне.) Небольсин родился в Мурманске в 40-м году, как все в то время, семья жила бедно, мать в одиночку воспитывала троих детей. Когда Небольсин окончил школу, ему пришлось уехать на Енисей (родину отца); там он работал в строительной конторе («самом печальном месте на свете» – там делали гробы); затем приехал в Москву и поступил в университет.

26 лет Небольсин работает в Институте мировой литературы, он ведущий специалист-литературовед, доктор филологических наук, знает десяток иностранных языков (в том числе японский – даже преподавал в Японии).

Небольсин необыкновенен во всём, даже в одежде: он одевается по-восточному – во что-то пёстрое, бесформенное, вроде кимоно, на голове тибетейка или папаха, на животе непременно квадратная сумочка. «Такой мой образ», – говорит. Был случай, когда власти не оценили его экзотический вид. На Фатьяновских слушаниях в Вязниках, увидев его у микрофона, глава города сказал подчинённым:

– А это ещё что там за бомж?! Уберите его!

Ситуацию разрядил поэт Владимир Силкин:

– Вы что?! Это известный московский учёный, доктор наук!

Профессор ИМЛИ Александр Ушаков рассказывал:

– Однажды на заседании учёного совета дверь распахивается и является пьяный Небольсин в балдахоне и в валенках, летом, представляете? Достает из-за пазухи поллитра и обращается ко мне: «Сашка! Пойдём выпьем!»

Кстати, у великих такая непосредственность в порядке вещей – они запросто опускают всякие условности. Вспоминаю, как известный философ Мираб Мамардашвили рассказывал о нашем общем друге философе Владимире Швырёве:

– Представляешь, читаю лекцию студентам, вдруг в аудиторию входит Швырёв, уже выпивший: «Мираб! Ну ты чего тут задерживаешься?! Уже всё на столе, пошли!»

Небольсина знаю давно (когда-то в шестидесятых годах мы оба ходили в библиотеку «Ленинку»; уже тогда он слыл полиглотом и «умником со странностями».) Его жена венгерка, у них трое детей, с внуком он иногда заходит в подвал.

У Небольсина необычные привязанности. Например, он поддерживает дружеские отношения с поэтом Катковым, который хочет выдвинуть свои слабые вирши на Госпремию, и Небольсин не собирается его останавливать. А вот Тютчева наш друг считает поэтом «так себе», на что Владимир Гусев заметил:

– Обожравшись пирожными, захотелось кислых яблок.

Раза два Небольсин поступал не по-товарищески. Как-то поэт и прозаик Сергей Казначеев затащил нас в ИМЛИ, сказал:

– Там что-то отмечают и встретят – лучше нельзя, там же Небольсин!

Мы пришли, не скрою, немного навеселе, и нас встретили не просто прохладно – холодно. А Небольсин нет, чтобы объявить, что мы его друзья, отошёл в сторону. Позднее, на мой юбилей, он обещал привезти «подарок» – свою студентку из Японии, которой понравились мои рассказы, но даже не появился (придумал, что уезжал в Сибирь).

Но когда дело касается серьёзных вещей, Небольсин предельно исполнителен. Никто умней и талантливей, чем он, не напишет рецензию, не даст точного ответа на сложный вопрос. Знания у него колоссальные.

Когда-то Небольсин писал стихи, но однажды прочитал их Юрию Кузнецову, и тот убил его наповал:

– Не пиши х...! (Хотя Балашов считает, что стихи Небольсина получше многих стихов Кузнецова.)

Последние годы, кроме научных работ и всяких экспертиз, Небольсин писал прекрасные очерки, а недавно снова взялся за поэзию: полчаса читал нам свою поэму, написанную белым стихом. Читал и плакал – он очень сентиментальный, чувствительный, тонкий.

В компании Небольсин остроумно подтрунивает над всеми (не зубасто-грубо, а тактично-вежливо), в том числе и над женщинами; правда, им иногда отвечает и приятные слова, но и в эти слова

деликатно вкрапляет капли яда. Невероятно остроумный, чертяка. Я всё подбиваю его взяться за иронический роман.

– Роман это серьёзная штука, – смеётся он. – Это всё равно что сварить борщ. Нужна щепотка соли и двадцать лет простоять у плиты.

Когда Небольсин появляется в подвале, у нас начинается новая жизнь – наш друг устраивает спектакль: произносит длинные умные тосты, декламирует неизвестные стихи (и где их откапывает?). Его выступления надо записывать, как образец ораторского мастерства. Но главное – Небольсин поёт. (Понятно, русскому человеку после выпивки без песни никак не обойтись.) Поёт Небольсин потрясающе. У него далеко не волшебный голос, но слух идеальный, и поёт он с таким душевным подъёмом, что всех нас заражает пением, при этом встаёт, дирижирует, ногой отбивает такты. Наш хор, без преувеличений, выглядит, как единый слаженный организм.

– Музыка самый короткий путь от одной души к другой, – говорит Небольсин (об этом же говорил Толстой.)

Он знает абсолютно все песни: народные, довоенные, военные, причём помнит все слова! Особенно часто мы поём песни мирного советского времени, и тогда какая-то тёплая ностальгия охватывает нашу компанию. Как бы ни очерняли прошлое, но в Советском Союзе была высокая культура: прекрасные фильмы, душевные песни, замечательная живопись. Где всё это сейчас?! Взамен мы получили безвкусицу и пошлость.

Ну и, конечно, наша стариковская компания не обходится без песен сороковых годов, ведь мы дети войны. Когда Небольсин затягивает песни о войне, его голос начинает дрожать, на глазах появляются слёзы – их наш «маэстро» не смахивает, и они стекают по его щекам. Само собой, мы тоже плачем – пусть пьяными слезами, но искренними. Кстати, с теми, кто не любит песни нашей молодости, нам не по пути.

Однажды военные песни растеребили меня, и я подумал: как странно – в нашей стране нет памятника вдовам погибших солдат. А сколько их, молодых, красивых, после войны в одиночку поднимали детей, брались за самую тяжёлую работу, так и не вышли больше замуж! Я поделился своими мыслями с друзьями. Небольсин откликнулся первым:

– Надо писать письмо президенту. И всем подписаться.

Что и говорить, Сергей Андреевич Небольсин – невероятная личность, редкий талант и умник, естественно, со странностями, которые есть у каждого незаурядного человека.

Недавно выяснилось, что Небольсин серьёзно болен. Он отнёсся к своему недугу с юмором:

– Когда болеешь, надо представить, чего бы очень хотелось съесть. Съешь и сразу выздоравливаешь. Главное, не думать о болезни.

Крайне редко хороший писатель бывает человеком с хорошим характером, что и понятно – слишком много вокруг несправедливости и зла, и настоящий талант не может на это не реагировать. Особенно остро на всё происходящее в стране откликается Владимир Личутин. К сожалению, он появляется в подвале реже, чем нам хотелось бы. Не то что не хочет тратить своё драгоценное время, просто у него большая семья и он много работает (и за столом, и в деревне на земле.) Но когда появляется, непременно кладёт на стол пакет вяленой рыбы (собственный улов), и мы устраиваем пивное застолье.

Владимир Владимирович Личутин маленький («мальчик-с-пальчик», «мужичок с ноготок», – говорил Юрий Кузнецов) бородатый, с узкими прозрачными глазами и полуулыбкой-полуусмешкой; внешне – этаким старичок-добрячок, но внутри у него постоянно бушует пламя; чуть что не по нему – заводится и звонким голосом чихвостит противника. Особенно от него достаётся литературным начальникам, он открыто выводит их на чистую воду. Бунтарь по натуре, борец за правду, Личутин один из немногих, кто никого и ничего не боится. (Однажды на собрании призывал «Ельцина повесить!»)

Деревенскому мальчишке из Мезени Личутину всего досталось с избытком: в Няндоме поступал в железнодорожное училище (хотел стать помощником машиниста, но не взяли из-за маленького роста); на пароходе добрался до Архангельска, поступил в техникум, работал на лесопильном заводе, жил в общежитии, потом служил в армии; после армии по ночам работал слесарем на адмиралтейском заводе, днём учился в Ленинградском университете (поступал на журналистику, но провалил сочинение и поступил на геологический факультет, (позднее всё же перевёлся на журналистский), опять жил в общежитии, на родину ездил в поездах «зайцем» (Мезень, как якорь, всегда удерживала его около себя). Всё это Личутин блестяще описал в повести «Путешествие в Париж».

Ещё студентом наш северный скиталец писал стихи, а получил диплом, печатал очерки в архангельских газетах. В те же годы он женился и снимал жильё, но семейная жизнь не сложилась. Позднее приехал в Москву и окончил Высшие литературные курсы. Наконец только в сорок лет заимел собственную квартиру (как и я, кстати, – что, понятно, нас роднит). Ещё три раза попытал счастья в браке, но всё неудачно. Только с пятой женитьбой ему повезло – он взял в жёны свою землячку поморку Дусю. У них крепкая семья и всем ясно – они проживут вместе до гробовой доски и умрут в один день, обнимая друг друга.

Личутин – выдающийся мастер русской словесности, настоящий кудесник слов. Его витиеватая, кружевная, певучая проза сродни древнерусским напевам. Кое-кто считает, что он пишет слишком причудливо, архаично, нарочито усложнённо, а некоторые заковыристые словечки вообще придумывает и получается какой-то искусственный язык. Между тем проза Личутина – укор всем, кто создаёт некое «пунктирное» письмо, не используя всё богатство русского языка. Не зря его «Раскол» постоянно переиздают.

– Он меня кормит уже не один год, – говорит наш друг.

Действительно, некоторые вязкие романы Личутина сложноваты (не зря его жена Дуся говорит: «Не читать Личутина – преступление, а читать – наказание»).), но все читатели отмечают странное «колдовство» прозы автора. Мне больше всего нравится книга Личутина «Душа неизъяснимая» (размышления о русском народе). Вот где особенно ярко выражен весь личутинский стиль, его неповторимая интонация, где каждая фраза пропитана русским духом. Уверен, это объёмное исследование станет золотым фондом нашей литературы, такого давно не было и ещё долго не будет.

Личутин не курит и выпивает с нами не больше двух-трёх рюмок, каждую неделю ходит в «баньку» и всё лето проводит в деревне на свежем воздухе (рыбачит, выращивает овощи, делает запасы на зиму.)

В подвале Личутин частенько насмехается над приятелями, не упустит случая уколоть, вставить шпильку, выставить приятеля таким дуралеем, правда, всё это проделывает беззлобно, мужик-то он светлый, добрый, совестливый. Но не очень совестливый, ведь он заядлый охотник, «зайцев, – говорит, – убивал сотнями». Такой злодей.

Сильная сторона Личутина – его пение. Расслабившись после спиртного наш герой затягивает какую-нибудь народную песню. Его пение не такое проникновенное, как у Небольсина, но зато громкое – голос у него высокий, звонкий, забывает всех подвальных певунов. Случается, заголосит так, что звенят стёкла в буфете. Ему кажется, чем сильнее орёшь, тем больше «художественности».

Мы с Личутиным давние единомышленники, только на Бунина у нас разные взгляды. Личутин, как многие «деревенщики», (особенно Шукшин), морщится при слове «интеллигенция» и считает, что Бунин не знал и не любил русский народ. У меня противоположное мнение.

Лет десять назад мы и на поступок Проханова взглянули по-разному. Проханова считаю огромным талантом и одним из главных борцов за Россию, но когда он полетел в Лондон брать интервью у Березовского, я сказал Личутину:

– Зря он туда полетел. Негодяю не стоит подавать руки.

– Ничего не зря, – вспыхнул Личутин. – Я взял бы интервью и у Гитлера. Журналисту все типы интересны.

Сейчас Личутину интересны некоторые подвальщики. Он говорит:

– Я прихожу в подвал, чтобы увидеть тебя, Пронина, Балашова, Луконина... Пронин в «Записках» себя выпячивает, я, мол, выше всех. Луконин похож на разорившегося князя, который всё потерял, но сохранил свой титул... Балашов похож на Будду... А ты на Собакевича. Надо только отрастить бакенбарды. Ты только и думаешь: «Кому бы ещё дать пинок под зад?..»

Я, естественно, возражаю, а он меня успокаивает:

– Да я тебя всем расхваливаю. У тебя чистая душа... Вот некоторые думают: «Сидят, бездельники, в подвале, выпивают, болтают». А кто наши книги написал, верно? Писательство – это постоянная, круглосуточная работа... Я недавно был у врача, он спрашивает: «Вы выпиваете?» Я говорю: «Выпиваю». Он: «И как часто?» Я говорю: «Каждый день». «Да вы ж, батенька, алкоголик!» – говорит. «А кто это всё написал?!» – я кладу ему на стол свои книги...

У Личутина много друзей, среди них и мой старинный друг Тимур Зульфикаров. Так же, как и Зульфикаров, Личутин постоянно находит спонсоров для издания своих книг (Зульфикарову один из олигархов дал деньги на семитомник, Личутину помогают издатели А. Титов и В. Линник, предприниматель Р. Мороз.)

Как и Зульфикаров, но со смешком, Личутин зовёт меня Лёнчик (как собачонку); на что наш общий друг профессор Влалимир Смирнов усмехается:

– Какой он Лёнчик?! Он Волчара! А сколько волка не корми, он всё равно смотрит в лес. Лёнчик всегда гнёт своё.

Иногда Личутин и Смирнов устраивают в подвале спектакль: и еда плохая, и водка никуда не годится, и пиво тёплое, и кофе холодный. Я напоминаю им про наше голодное военное детство, но они кипятятся ещё больше:

– Да почему сейчас мы должны всё это терпеть! – и бросают новый довод: – Да и женщины здесь страшные (эти старикашки до сих пор засматриваются на посетительниц нашего клуба; и оба преувеличивают – в подвал заглядывают и симпатичные особы.)

На днях Смирнов с Личутиным объявили, что собираются съездить на родину Личуина.

– Пусть власти встретят, как положено, – сказали. – Дадут машину, гостиницу, пригласят на телевидение.

Такие запросы у старикашек.

В чём Личутин молодец – он помогает молодым литераторам издаваться, пишет на их книги рецензии, выдвигает на премии, в застолье даёт полезные советы:

– Всякая работа должна быть как последняя, в каждую фразу надо выкладывать полностью. Я после работы весь измочаленный, хоть ложись и подыхай...

Сейчас, под старость, Личутин располнел, подобрел, повеселел. Даже чересчур – я же говорю, постоянно насмехается над приятелями. Но иногда вдруг припечалится, когда заходит разговор о болезнях (он очень тревожится за своё здоровье – чуть где кольнёт – бежит к врачу, а заметив на теле родинки, с глубоким вздохом, объявил: – «Это цветочки кладбища». «Не цветочки, а привет с кладбища», – уточнил я.)

Личутин везучий: у него прекрасная жена – Дуся, русская красавица, труженица, рукодельница и художница-акварелистка; у него талантливые взрослые сын и дочь; у него немалые богатства: квартиры, дача, дом в деревне, иномарка, пёс и котёнок – рыжие, приносящие счастье; у него издано всё, что он написал и за свои работы получил все главные премии России. Сейчас наш друг решил издать 16 томов своих произведений и упорно ищет спонсоров (на пять томов уже на-

шёл), даже в двух газетах написал «Шапка по кругу» – обращение к собратьям-писателям, чтобы скидывались на его книги. Многие его осуждают:

– Надо просить деньги у олигархов, а не у своих бедных приятелей.

Балашов посмеялся:

– Можете себе представить Чехова, просящего деньги на книги у приятелей? А Личутин просит. Сейчас прилип к Саше Машко, тот обещал ему помочь.

Машко наш с Балашовым друг из Краматорска, предприниматель, имеющий небольшую проектную фирму, а за городом дом с вольерой, где держит двух овчарок и двух волчиц, которых приручил ещё щенками. (Оба сына Машко с семьями живут в Киеве.) Несколько раз в год наш украинский друг приезжает в Москву, всегда привозит нам сало, «горилку». Кстати, именно Балашов ввёл Машко в нашу компанию. Случилось это лет пять назад, когда наш украинский друг очутился в подвале ЦДЛ и увидел нас, выпивающих, болтающих о литературе. Он блестяще знал литературу, читал все новинки, но долго не решался подойти к столичным «господам» писателям. Только когда «самый говорливый и весёлый» (Балашов, естественно) направился к стойке, отважился подойти к нему:

– Извините, я не помешаю, если примкну к вашей компании?

Балашов надулся:

– Молодой человек! Мы старые люди, у нас серьёзные разговоры, вы будете лишним.

– Да я только хотел купить бутылку водки, угостить вас.

– А-а! Ну это другое дело. С этого бы и начинал! – Балашов взял Машко под руку и подвёл к нашему столу. С того вечера мы стали друзьями.

Вернусь к Личутину. Я люблю его, и любил бы ещё сильнее, не будь он профессиональным охотником и рыболовом (с закрытыми глазами, по запаху, определяет виды рыб).

Личутин познакомил меня с двумя замечательными прозаиками-северянами: молодым Сашей Антипиным и пожилым Павлом Кренёвым – оба замечательные люди во всех отношениях, а их таланты выше всяких похвал. Похоже, там, на побережье Белого моря, на развитие душевных качеств человека и его природные способности действуют Полярная звезда и Северное сияние.

Личутин давно зовёт меня к себе в деревню (в Рязанской области): «Сходим на рыбалку, Дуся пирогов напечёт». Этим летом я уже собрался, да навалились неприятности. Пока не судьба, значит. Но на будущий год обязательно приеду.

Сергей Михайлович Луконин, журналист, и даровитый художник, серьёзный, интеллигентный, непрактичный идеалист. Понятно, идеалистам трудновато живётся, зато у них есть мечта, а мечты, как известно, – это то, что движет нами в жизни. (Мечта у Луконина вполне осуществимая: устроить персональную выставку и последние годы прожить с любимой женщиной в собственной квартире.) Одно время Луконин работал завлитом в театре Покровского, затем в «Литературке», сейчас преподаёт журналистику в школе, а живописью занимается в мастерской прекрасного живописца Юрия Ивановича Рогозина, фронтовика (о том, как он сбил из ружья немецкий самолёт, в своё время писали газеты)

Недавно мы с Лукониным выяснили, что во время войны жили на одной улице Чудовке и ходили в одну школу. Позднее Луконин признался, что пишет сказки и сочиняет симфонию (показал мне ноты – оказалось, в детстве он серьёзно занимался музыкой; и сейчас в его голове постоянно звучат мелодии, он даже перед сном поёт арии, и случается поёт во сне, чем, понятно, досаждают соседям) Занятия литературой, живописью и музыкой наш герой чередует легко, словно перепрыгивает через лужи. В общем, чем больше я узнаю Сергея Михайловича, тем больше поражаюсь его талантам, и думаю: сколько же в России незаурядных личностей! И сколько русских идей и произведений искусства питало весь мир! И питает сейчас, несмотря на разруху! Это, кстати, самое поразительное – не первый раз Россию разрушают и грабят, но она всегда возрождается.

Внешне двухметровый Луконин похож на молотобойца: лицо мужественное, скульптурное, как у Маяковского, кисти рук огромные – с боксёрскую перчатку, но внутри он – мягкий, простодушный, легковёрный, этакий мотылёк, кружащий вокруг ночной лампы. Как многие таланты «не от мира сего» Луконин невероятно рассеян: то потеряет слуховой аппарат, то мобильник; то где-то забудет портфель, то сядет в поезд, а свои работы оставит на вокзале. Кстати, его акварельные и пастельные работы выглядят бледновато. Натюрморты, написанные маслом сделаны мощнее, но их почему-то художник не

выставляет, скромно заявляя: «Это всё так, заготовки». Похоже, наш герой не знает, что скромность в жизни и скромность в искусстве – разные вещи. В жизни надо быть скромным, но когда ты берёшься за кисть или ручку надо верить, что сделаешь что-то значительное. Пусть не получится, важна попытка.

Семидесятилетнего Луконина можно назвать бедным принцем подвала. В самом деле, у него нет ни жилья, ни мастерской, ни дачи, ни машины, нет даже велосипеда. Он обитает в каморке Дома творчества, но всегда выглядит безупречно: в строгом костюме, при галстукке. И держится свободно, с некоторым благородным шиком, но и с достоинством. (Вот что значит врождённая культура!) Он всегда приветлив, доброжелателен, ироничен; немного выпив, вставляет в свою речь немецкие словечки и целые предложения, а выпив побольше, поёт японскую песню. Когда у него появляются деньги, он расстаётся с ними легко, всех старается чем-нибудь угостить, а своей подружке Елене непременно покупает цветы и дорогое шампанское.

Да, к счастью, у этого принца есть принцесса – Елена, учительница в школе и фотограф-любитель. У неё взрослые дети и с мужем она давно в разводе, но влюблённым негде жить. Только и могут они встречаться в подвале да изредка в Доме творчества и у Пронина, и у меня на даче. Глядя на эту романтическую парочку, многие стариканы подумывают, что и у них ещё не всё потеряно. Насмешник Балашов частенько подтрунивает над влюблёнными. Как-то Елена была на каком-то съезде в Адлере, а Луконин в подвале рисовал наши портреты; через каждый час парочка перезванивалась.

Вдруг Балашов засмеялся:

– Ленка нарочно часто звонит, чтобы ты не подумал чего, а сама там крутит романы. В Адлере полно лётчиков, молодых, красивых, – и, обращаясь к нам, добавил: – Главное, вселить в Луконина тревогу, чтобы не расслаблялся. А то сидит, улыбается, карандашиком черкает.

Недавно влюблённые недели две жили у меня на даче. Приехав на участок, я удивился: энергичная Елена навела в доме новый («художественный») порядок, аккуратно сложила поленицу, прополосала цветник, сколотила ступени в душ, насолила грибов; Луконин устроил на террасе выставку своих новых пастелей. На одной картине обнажённая Елена нежилась среди кружевных накидок. Мы с поэтом Олегом Григорьевым (я приехал с ним) долго пялились на формы красавицы,

но на следующее утро, выйдя на террасу, увидели, что на «обнажёнке» (на интимном месте) подрисован огромный (с тарелку) цветок. Этот дурацкий цветок был ядовито-зелёного цвета и портил всю картину. Мы набросились на художника и потребовали всё вернуть к первоначальному виду. Елена нас поддержала, но Луконин был непреклонен:

– Так скромнее!

Говоря о живописи, Луконин загорался, размахивал руками, вселял в Григорьева и меня желание тоже поработать с красками, создать что-нибудь эдакое, мы были готовы бежать за мольбертами. Не бежать – лететь, ведь Луконин прямо привязывал нам крылья.

Случается Луконин записывает в друзья странных личностей. Однажды он рисовал церковь недалеко от нашего посёлка. Часа через два его к моему дому подвозит роскошная иномарка.

– Меня подвёз олигарх из соседней деревни, – радостно объявляет нам. – У него трёхэтажный особняк, он угостил меня виски, мы поиграли на бильярде. Завтра приглашает нас в гости.

Олигархом оказался мрачноватый мужчина, чуть моложе нас, весь в татуировках. По его словам он разбогател благодаря умелой игре на бирже, два раза сидел, четыре раза был женат, имеет много детей и внуков, но они в особняк приезжают редко. Что поражало – на стенах всех трёх этажей особняка красовалась коллекция топоров. Штук триста – от колунов, ледорубов, секачей мясников и секир палачей до томагавков и туристических топориков. Почему-то подумалось: а не находятся ли в подвале особняка трупы гостей олигарха?

Луконин с Еленой – самая смешная парочка из всех моих знакомых. Здесь надо сделать отступление. Дело в том, что, несмотря на пожилой возраст, я до сих пор не знаю, что такое счастье. Радость испытывал не раз, случалось даже огромную, когда хотелось объять всё небо, хотелось взлететь, кричать и петь. Но никогда не испытывал счастье – возможно потому что не забывал, сколько вокруг несчастных. Но когда встречаю Луконина с Еленой, эту смешную парочку, двух таких разных людей, которые постоянно ссорятся и снова мирятся, я понимаю, что счастье всё же существует. И наверняка, у каждого своё представление о счастье. Поэту-философу достаточно крыши над головой и стопки бумаги, олигарху подавай особняк, яхту и дюжину длинноногих красоток. Ну а для большинства людей счастье – заниматься любимым делом, иметь надёжных друзей и благополучную

семью. Казалось бы, всё просто, но, как известно, заполучить всё это простое – самое сложное.

Иногда в подвал заглядывает прозаик Александр Барков. Этому лысому и усатому, грузному старикашке под восемьдесят, он никогда никуда не спешит и почему-то кажется, что в его замедленной жизни день продолжается дольше обычного. Ходит он важно, прихрамывая, постукивая палкой.

– В этом году модно хромать, – не без юмора говорит и, подчёркивая своё величие, добавляет: – Я бесконечно уважаемый, у меня возраст для наград, но их почему-то не дают. Такова эстетика нашей старости.

Барков вечно жалуется на свои болезни (у него синдром Мюнхгаузена), на «увядающие, почти счастливые годы» – ищет сочувствия, не понимает, оболтус, что его жалобы вредоносны, их не очень-то приятно слушать. Балашов приободряет его:

– Ты, конечно, бледный, слегка умирающий, но не грусти, кому-то сейчас ещё хуже. С возрастом вновь проявляются все старые болезни.

Как-то Барков заявил:

– Последнее время не чувствую запахов. Говорят: обоняние теряется за пять лет до смерти.

– Ну, пять лет это целая жизнь, – засмеялся Балашов. – Ты ещё напишешь пять романов, пять раз влюбишься.

Барков думает, что только он один болеет, а мы год от года здоровеем. Такой оригинал, этот Александр Сергеевич, для нас – просто Сашка. Болезни и грабители – основные темы говорильни Баркова. Он живёт на даче безвыездно, как в коконе (квартиру сдаёт) и постоянно готовится к встречи с грабителями – для их устрашения на воротах нарисовал льва. Основное богатство на участке – огромные карпы в пруду; Барков кормит их из рук и каждого знает «в лицо», и называет по имени: Михаил, Иван, Клава... (карпы подплывают только к нему, от чужих сразу прячутся в зарослях.) Как многие, живущие в деревне, Барков отмечает все «деревенские» праздники («покров день», «медовый спас», «масленицу») и некоторые «фенологические» наблюдения (день появления подснежников, день, когда медведь первый раз переворачивается в берлоге.) В эти дни Барков с утра покрикивает на жену-художницу и сына-философа:

– В праздничные дни и дела должны быть праздничными, – потирая руки, он достаёт из шкафа бутылку наливки.

Барков был секретарём у Михалкова, объездил всю страну (после каждой поездки хныкал: «Теперь надо отписаться», как будто его кто-то заставлял писать). Он издал полусотню книг и всё поет:

– Не печатают! Не знаю, как напечататься...

Он уже давно ничего не пишет, но всё пытается что-то переиздать, хотя уже переиздавал не раз. У Баркова есть хороший роман о Денисе Давыдове и неплохие детские рассказы о животных, но всё же в рассказах маловато художественности и своего отношения к написанному. Но, понятно, само по себе обращение к животному миру многого стоит, это вам не кровожадные детективы, которые сейчас заполнили прилавки. Ну, то есть душа у нашего друга чуткая. Даже чересчур. Например, при каждой встрече пускает слезу: и когда перечисляет свои болезни, и когда расстаёмся – ему кажется, что мы виделись в последний раз.

Барков – главный разоблачитель «богоизбранных» (с молодости помнит, как его «рубил» Яковлев-Хавин: «Пока я жив, Детгиз вас печатать не будет»), но при встрече с кем-нибудь известным из их числа подобострастно кланяется, протягивает для пожатия руку, хотя и видел-то эту «известность» только в телевизоре. Так, к примеру, случилось с Г. Боровиком, который, даже не кивнув, прошёл мимо стоящего в лакейской позе Баркова. Я присутствовал при этом и набросился на старого дружка:

– Ты что, совсем спятил?! Унижаешься перед всяким г...!

– Ну, понимаешь... Известный человек... – забормотал дурушлёт Барков.

Однажды кто-то сказал ему:

– Сашка, ты сам похож на еврея! (На самом деле сильно похож.)

Пронин тут же подал голос:

– Член на стол!

Главная черта Баркова – какая-то мутная (сомнительная) доброжелательность ко всем литераторам. Он всем говорит затасканные приятные слова, говорит вяло, как-то заученно. Это что? Отсутствие характера или безразличие, или боязнь обидеть, или желание понравиться, или непонимание сути вещей (ведь, как ни крути, а с годами повышаются требования к людям).

Лет пятьдесят назад Барков работал в журнале «Семья и школа», где печатались литераторы, пишущие стихи и прозу для детей и подростков. Я тоже примыкал к той компании, и с тех пор у нас с Барковым немало общих знакомых. Некоторые из них уже на Том Свете, и что странно – тех, кто при жизни гремел (всякие «левые» поэты: Сапгир, Холин, Хромов, Красовицкий), теперь и не вспоминают. Впрочем, и многих «реалистов» не вспоминают. Взять хотя бы В. Голявкина, который тоже гремел (заслуженно) в своё время.

Одно время в подвале появлялся Станислав Золотцев, один из лучших среди «богоизбранных» – он хороший поэт, отличный прозаик и критик. Большую часть времени Золотцев жил в Пскове, где его с юности почтительно звали Станислав Александрович, поскольку он всё время занимал какие-то должности (окончив институт военных переводчиков, он даже в армии был парторгом.) Золотцев завидовал Баркову, что тот «при власти», и из кожи лез вон, чтобы возглавить московскую писательскую организацию, на худой конец – какой-нибудь крупный журнал. Эта зависть была некоей борьбой за справедливость. (Барков, в свою очередь, завидовал бравой, чеканной походке Золотцева и его изысканным усам, и, само собой, молоджавости – тот моложе его на десять лет. Понятно, эта зависть исходила от слабости.)

Как критик Золотцев откликался статьёй на все публикации, при этом не пасовал перед громкими фамилиями. От него многим досталось. Он указывал на промахи авторов не ради злорадной усмешки, а потому что, как никто, серьёзно относился к литературе, ведь был филолог, книгоед, вооружённый громадными знаниями. Странно, но в моих писаниях он не видел промахов, даже наоборот, говорил, что в журнале «Наша улица» можно читать только его и меня. Позднее он написал статью о моей повести «До встречи на небесах!». Я его не просил, он написал тайно и при встрече вручил мне со словами, повторяя Личутина: «Я никогда так не смеялся», и повторяя Мартышкина, добавил: «и никогда так не плакал». Почему-то он относился ко мне с симпатией, во всяком случае часто говорил:

– Нам надо посидеть вдвоём, поговорить.

Золотцев писал много и быстро (в молодости, по его признанию, катал любовные письма по 30–40 страниц), и все его выступления на собраниях были слишком многословны. Естественно, и в нашей

компании он главенствовал, как основной говорун, но крайне редко с нами выпивал (не усложнял свою жизнь.)

– Хочет быть бессмертным, – говорил Барков.

– Я выпил столько, что вам не переплыть! – усмехался Золотцев, явно приукрашивая свою жизнь.

Он частенько выдавал подобные фразочки. Например:

– Я столько забыл, сколько вы знаете.

Но однажды он неожиданно позвонил мне среди ночи:

– У тебя есть бутылка водки? Приезжай! (Он был сильно выпивши.)

– Что случилось? – спросил я.

– Ничего. Просто хочу с тобой поговорить наедине.

Я убедил его встретиться на следующий день в подвале. А через два дня он умер. Только после его смерти мы узнали, что он был тяжело болен.

В Пскове есть библиотека имени Золотцева, а в краеведческом музее его книги на стенде среди знаменитых псковичан.

Я до сих пор помню прекрасные рассказы Золотцева о его жизни в Индии, где он работал переводчиком, и думаю: мы потеряли настоящего писателя, правдивого и честного.

Ещё раньше ушёл из жизни критик Всеволод Сурганов. Он был толстяком с добрым щекастым лицом; таким смешным интеллигентом, носителем культуры серебряного века, которая навсегда ушла из нашей жизни. Его отличало душевное спокойствие и внимательность к людям; в подвале с мужчинами он держался вежливо, деликатно, с женщинами был предельно учтив. Стоило какой-нибудь особе подойти к его столу, как он мгновенно, с невероятной лёгкостью для тучного человека, вскакивал, целовал подошедшей руку, уступал своё место или подставлял свободный стул и непременно спрашивал:

– Чем угостить вас, сударыня?

Он был одним из главных рецензентов по прозе в издательстве «Советский писатель», а, как известно, в издательствах всегда существовала практика «заказных» рецензий, но никто из редакторов не делал «заказ» Сурганову, все прекрасно знали – он напишет только то, что думает. Для него среди авторов не существовало ни безвестных, ни с чинами и званиями, он руководствовался только качеством произведений, при этом говорил, что «художник должен украшать жизнь, а не разрушать её всякими абстракциями».

Его рецензии напоминали эссе с примерами из классики и философскими размышлениями – без преувеличений, они могли быть учебниками для начинающих литераторов. Собственно, литераторы (не только начинающие) это отлично знали и считали за честь получить оценку известного критика, и, естественно, получали пользу от его замечаний, всегда убедительных и тактичных. Кроме рецензий Сурганов писал прекрасные статьи о Горьком, Лавренёве, Соболеве.

Долгие годы Сурганов преподавал в Литературном институте и слыл любимцем студентов (он обладал магией обаяния, излучал тепло, оптимизм), но во времена ельцинской «демократии» с ним поступили отвратительно. После очередного отпуска, вернувшись в институт, он увидел приказ о своем сокращении. Ректор С. Есин даже не принял его, ничего не объяснил, не говоря уж о благодарности за многолетнюю работу. Сурганов тяжело переживал случившееся.

Он был моим другом. Мы оба увлекались походами с рюкзаком (в одно время, но в разных компаниях, ходили по горам Кавказа), а позднее в нашем подвале делились впечатлениями. Мой друг был блестящим рассказчиком: так всё живописал, что создавал для слушателей эффект присутствия, при этом говорил неторопливо, с юмором, вкрапляя самые смешные, ударные фразы как бы между делом, отчего они звучали особенно впечатляюще. Рассказы Сурганова распространялись в подале, как круги по воде, их пересказывали, добавляли что-то своё, после чего истории превращались в легенды.

Сурганов по рассеянности вечно где-то забывал сигареты и зажигалки; случалось, искал и очки: «Где очки, где очки?» – восклицал, а они были у него на лбу.

Как-то я увидел его на Курском вокзале; подхожу, раскинув руки, чтобы обнять, а он выбросил вперёд руку и холодно бросил:

– Привет! – и отворачивается с ухмылкой.

«Что такое? – думаю. – Вроде последний раз расстались, как братья, и вдруг...»

– Ты куда собрался? – спрашиваю.

– Да вот решил съездить в Подольск, взглянуть на родные места, – говорит и всё ухмыляется, и вообще выглядит как-то странно.

– Что с тобой? – спрашиваю. – Это ты или не ты?

Он рассмеялся:

– Я брат Всеволода. Не ты первый, не ты последний, кто ошибся.

И тут я вспоминаю, что мой друг не раз рассказывал про брата близнеца, который живёт в Подольске.

– Так вы, значит, Борис? – наконец доходит до меня.

– Ну да. Ко мне часто подходят студенты брата, приветствуют с большим сердечием, «Когда можно сдать зачёт?» – спрашивают. «В любой момент», – говорю. Так и отдуваюсь за брата, ха-ха!

Мне удивительно повезло – я дружил со многими талантливыми литераторами, художниками, музыкантами, но сейчас, в старости, думаю, что самый большой талант – быть просто хорошим человеком. Всеволод Алексеевич Сурганов, кроме литературной одарённости, недюжинных знаний и таланта преподавателя (что особый дар), был «хорошим человеком» в высшем смысле этих слов, то есть человеком исключительной порядочности и чести – крайне редких качеств в теперешние времена. Светлая память ему!

Возможно, чтобы эти очерки выглядели интересней, было бы достаточно упомянуть всего пять-семь самых талантливых подвальщиков, но ведь не только они создают атмосферу нашего пристанища, поэтому я перечислил и многих других завсегдатаев подвала. И здесь нельзя не сказать несколько слов про длинного, усатого старика Александра Фёдоровича Лофиченко. Он бывший крупный начальник по водным ресурсам Подмосковья и Средней Азии, он журналист, и наш летописец: постоянно фотографирует подвальщиков и втайне катает о нас очерки («Главное моё богатство – замечательные люди, которых я встречал в жизни», – говорит.)

Плюс ко всему, Лофиченко специалист по мелкой живности: написал две книжки про насекомых (прямо как Жан Фабр). Смешно, но почему-то, читая его рассказы, я каждый раз представляю суп, в котором не хватает всего-навсего одного маленького ингредиента. Старик Лофиченко молодой автор и, думаю, он скоро найдёт этот самый ингредиент.

В квартире Лофиченко впечатляющий ботанический сад: от пола до потолка из горшков и кадок тянутся всевозможные растения, а на балконе произрастают овощи; по квартире и летом, и зимой летают бабочки.

В подвал наш друг приносит помидоры, огурцы и ноутбук – показывает, как отснял нашу компанию. В подпитии Лофиченко затягивает казачьи песни, но голосит слишком громко, и на него шикают. Тогда

он достаёт губную гармошку и тихо играет известные мелодии. Играет талантливо (почти как Стив Уандер, только что не импровизирует). Закончив очередную вещь, спрашивает:

– Что ещё сыграть? – и, как истинный музыкант, не кривляясь, играет всё, что ни попросят.

МУЖЧИНЫ ЦВЕТУЩЕГО ВОЗРАСТА

*Нет величия там, где нет
простоты, добра и правды
Л. Толстой*

Самое время упомянуть тех обитателей подвала, кто уже не молод, но ещё не стар.

Сергей Казначеев поэт и прозаик, прекрасно знающий литературу, доцент Литинститута – высокий, красивый, тёмноволосый, с пышными усами, под которыми прекрасная улыбка, а за стёклами очков пронизательный взгляд. Казначеев с Волги, из села под Ульяновском. Я тоже с Волги, из посёлка под Казанью, так что одно это меня притягивает к нему. И взгляды Казначеева на многое сродни моим: и на литературу, и на прошлое нашей страны, и на теперешнюю власть. Ну, и само собой, нас объединяют выпивки.

Признаюсь, Казначеев постоянно околдовывает меня своим обаянием – и это несмотря на отвратительные поступки, которые он выкидывал в прошлом. Например, рассказывает, как в детстве разбил отцовские очки и, после того как отец его отлупил, много лет с ним не разговаривал. Даже когда отслужил в армии. Его отец фронтовик часто болел, и, незадолго до его смерти (лет пять назад), в очередной приезд в село, Казначеев вдруг брякнул отцу:

– А ты помнишь, как в детстве меня отлупил?

– Не помню, сынок, – только и смог проговорить старик.

Вскоре после смерти отца умерла и мать Казначеева. Вернувшись с похорон, он рассказал:

– Устроил поминки родственникам и соседям. Когда все ушли заметил кошку на столе. Она тащила кусок колбасы. Я скинул гадину на пол, схватил полено и прибил её. Потом закопал за сараем.

– Да ты садист, – сказал я. – А кошка наверняка была любимицей матери.

– Она была ведьма, – медленно произнёс он.

Я смотрел на него и не мог понять, что это: болезненные заскоки или выпендривание? Но когда отчитал его (на правах старшего), он стал оправдывать свои дикие, позорные выходки. А потом вдруг читаю у него рассказ, где мальчишки убивают лягушонка, а девчонка представляет себя этим несчастным животным. Такая чувствительность! Через пару дней он умильно, чуть ли не до слёз, рассказывает про синичек. Такие тёмные и светлые пятна в его биографии.

Я-то считаю, если мужик прожил шестьдесят лет и не стал сентиментальным, если у него нет жалости к больным старикам и к животным, нет сострадания и «милости к падшим», он зря прожил свои годы. Сентиментальность – это не слабость, а повышенная чувствительность. Всякие супермены нужны только глупым девицам. А литератор должен влезать в шкуру животного, становиться ребёнком, стариком или женщиной – иначе ничего дельного не напишет.

Недавно Казначеев отмочил ещё один номер. Я собирал подписи писателей в защиту животных, и вдруг мой заветный дружище струсил подписывать, а когда я, обалдевший, рявкнул на него, он поставил крохотную загогулину в углу листа. И это человек, который, вроде, никого не боится: на экзамене поставил «тройку» дочери нашего председателя Бояринова (это мужество оценили все преподаватели.)

– Она не ходила на мои лекции, – сказал нам. – В институт приехала на машине отца. Я дал ей четверостишие и спрашиваю:

– Какой размер? Она ни бум-бум. А потом встречаю Бояринова, он называет какой-то кавказский ритуал и спрашивает: «Как называется?» Я говорю: «Не знаю». «Вот видишь! – говорит. – Даже умный человек не всё знает».

Такие противоречия и странности у нашего героя. Понятно, он нервный, резковатый, пережил немало: ещё будучи студентом Литинститута, жил в Шатуре, ради комнаты работал дворником.

И всё же, всё же, долго злиться на Казначеева нельзя – так велико его обаяние. Нельзя не признать, что в трезвости проявляется его недюжинный ум, чувство юмора, интеллигентность (он предельно внимателен к женщинам; всех, даже своих студентов, называет по имени отчеству).

У Сергея Михайловича от первого брака двое взрослых сыновей. Со второй женой он живёт в Доме творчества Внуково.

Казначеев выпивает крепко, в подвале без бутылки не появляется, но лекции в институте читает блестяще – его любят все студенты.

– У меня правило, – говорит Казначеев, – тянуть не слабого, а сильного поэта. Слабый часто бывает пробивным, настырным, а сильному, случается, не позволяет совесть куда-то лезть...

Однажды наш друг приходит в подвал расстроенным:

– В этом году студентов набрали – ужас. Все личности, у каждого своё мнение, а знаний ноль, не знают даже классику. Сегодня читаю лекцию, говорю, что поэт должен помнить об ответственности перед своим народом, должен не переходить определённую нравственную черту. Вдруг одна девица, из числа пост-модернисток, заявляет: «Поэт никому ничего не должен». Вот так вот. Я говорю ей: «Вы всё знаете. Ну идите на моё место, продолжайте лекцию».

Кстати, когда в подвале заходит разговор о том, что Литинститут надо закрыть, Казначеев взрывается:

– Вы что, хотите меня оставить без работы?!

После затяжной выпивки в подвале, Казначеев ссорится с женой и тогда уезжает ночевать в общежитие Литинститута (там у него комната).

Часто из подвала к метро мы с Казначеевым идём вместе и вместе проезжаем две станции, и каждый раз обращаем внимание на женщин – симпатичных, среднего возраста. Иногда заговариваем с ними, и некоторые особы охотно с нами болтают. Некоторые, из числа сидящих, пытаются уступить нам место, но мы, как brave молодые, их останавливаем, при этом мой друг выдаёт что-нибудь эдакое:

– Ну что вы! Мы не можем сидеть, когда красивая женщина стоит!

Или:

– Сидите, вы красиво сидите! Мы ценим хорошие фигуры!

А в подвале, как и Соляник, Казначеев всех нас заговаривает на смерть.

– Они как заезженные пластинки, – хмыкает Балашов.

– Как фонтаны извергающие пену, – поправляет Парпара.

Оба героя особенно красноречивы в тостах: говорят долго (и если Соляник большей частью несёт нелепицу, то Казначеев удачно импровизирует на тему тоста); иногда эти герои поднимают рюмку за

одно, а заканчивают за другое. Когда они разговариваются, их не останавливать, и тараторят громко, на весь подвал. Бывает, Казначеев ещё затягивает песню «Стоит над горою Алёша...» Или гимн «Боже царя храни!..» Многих это раздражает, ведь большинство стариков сами любят поговорить и попеть (естественно, свой репертуар). Случается, Казначеев и Соляник, перебивая друг друга, говорят одновременно, и тогда со стороны кажется, что они ругаются. Есть у этих говорунов и отличие: Соляник разглагольствует сидя, а Казначеев стоя. Его осаждают: «Сядь! Не дави массой!» А он:

– Если уж я встал, то не сяду, пока не договорю. Слушайте!

Чаще всего он громит литераторов, которых восхваляют газеты и телевидение (а он всех читает). И хиховстит тех, кто взял себе псевдонимы:

– Эти пронырливые везде своих тянут. Может, мне тоже взять псевдоним? Например – Ослепительный!

Выпив, Казначеев непременно рассказывает о фильме (или спектакле), который недавно видел (он посещает все премьеры), даёт точную оценку режиссёру и актёрам (он и сам артистичен, чувствуется – в нём пропадает неплохой актёр), а потом вдруг ударит кулаком в ладонь и в шутку бросит:

– Ладно! Хватит об этом! Кого сегодня будем бить? Хочется с кем-нибудь подраться!

Эта безобидная шутка у нас давно сидит в печёнках, его обрывают. Он обижается и идёт по столам – подсаживается к знакомым и незнакомым; ему все рады, ведь он и пьяный говорит умные вещи.

Стихи Казначеева я прочитал давно и, помню, впечатление было не очень сильным, но позднее он подарил мне сборник рассказов – на них стоит остановиться.

Рассказы Казначеева не просто описания детских открытий в окружающем мире и попытка найти своё место в нём, не только первые боли и радости (естественно, самые острые, поскольку ещё нет переживательного опыта), рассказы – взгляд взрослого на детство, некая ностальгия по прошлому, с лирическими отступлениями и сентенциями (то ироничными, то горькими). Один этот, не часто встречающийся, приём заслуживает интереса.

Сейчас, когда общий уровень литературы упал невероятно низко, появилось немало имитаторов, импровизаторов, компиляторов. У не-

которых из этих сочинителей захватывающие сюжеты с невероятными поворотами и немыслимыми концовками, но нет живых людей, жизненных ситуаций, их герои не вызывают сопереживаний. Яснее ясного – все настоящее, подлинное читателю гораздо ближе того, что оторвано от жизни, уж не говоря о том, что «навороченная» проза не в традициях нашей литературы, которая всегда, по словам Достоевского, «пыталась приблизиться к разгадке тайны человека». Короче, сейчас редко встречаются реалисты – те, для кого сама жизнь (как она есть) ценнее всякой выдумки. Казначеев один из них.

Сборник «День божьих коровок» – хорошая, добротная проза, привлекающая неторопливой манерой повествования с тщательным выписыванием обстановки и простотой языка, что и понятно – серьёзному литератору не до эпатажных суждений и разных словесных эффектов, для него важнее – судьбы людей, которых он встречает в повседневности. Что ещё немаловажно – за бесхитростными сюжетами отчётливо видно умение автора видеть в первую очередь положительное в человеке. Давно подмечено, что показывать положительного героя всегда сложнее, чем отрицательного, другими словами – ругать плохое гораздо легче, чем хвалить хорошее. Тем не менее, Казначеев находит новые краски и своеобразные «ходы» для изображения именно положительных качеств героев. Его образы неожиданны, но точны, и потому убедительны.

Но главное – это позиция автора. Как известно, в вечном противоборстве добра и зла немало литераторов остаются сторонними наблюдателями, давая понять, что их задача – лишь ставить проблему, а решать её должен читатель. Между тем, ещё Толстой говорил, что «каждый литератор должен иметь нравственную позицию». Так вот, Казначеев свою позицию определяет чётко – он на стороне поколения советских людей.

Есть в сборнике два рассказа с мистическим уклоном, а здесь, как известно, легко впасть в банальную надуманность. Но Казначеев достойно избегает подобной опасности – возможно, потому, что его мистика органично выходит из реальности.

Несколько лет назад литераторы М. Попов, Воронцов, Сегень организовали общество «Новые реалисты», «чтобы смести всех стариков, занять их должности и править бал в литературе». Такая «благородная» задачка. Казначеев тоже примкнул к этим новаторам. Они выпустили

сборник «Открытие века» (!) Никаких открытий там не было – обычная неплохая проза, за исключением блестящей повести покойного В. Дёгтева «Белая невеста». Естественно, никакого шума сборник не вызвал, и как-то само собой общество распалось.

Сейчас Казначеев готовится защищать докторскую диссертацию (предварительно выпустил объёмное исследование «Судьба русского реализма» – наконец, закончил эту адскую работу). Мы все уверены, что наш друг защитится на «отлично» и во время застолья по этому поводу увидим его молчаливого, со смущённой улыбкой. К чести Казначеева, надо сказать, он никогда не хвастается своими работами и вообще редко говорит о них.

Кроме подвала и разных забегаловок, где только мы с Казначеевым не выпивали! В его институте и в каморке Алексея Козлова, на даче у Пронина и у меня, на скамьях в скверах, в культовом месте у памятника Блоку. Причём я заметил, что выпивать «по-пиратски» моему другу даже интересней, чем в приличном кафе. Всё правильно – важно не где, а с кем выпивать. У меня есть другой друг – Игорь Вирко, у которого зять – олигарх. Богатей зятёк завалил Вирко деньгами, в том числе купил ему роскошный особняк. Там мы отмечаем дни рождения моего друга. В эти знаменательные дни стол у Вирко трещит от всяких яств и заграничных напитков, нас обслуживают официанты. Однажды в разгар застолья Вирко, схватив со стола две конфеты, шепнул мне:

– Пойдём прогуляемся!

Мы вышли за ворота особняка, Вирко подошёл к фонарному столбу, раскопал сугроб и, вытащив бутылку водки, протянул её мне:

– Давай по глоточку!

Я удивился – что, мол, за дурацкое пижонство? Только что за столом пили по-человечески.

– А-а! Вспомним молодость, когда пили в подъездах, – Вирко протянул мне конфету на закуску.

Мы хлебнули водку, Вирко снова закопал бутылку; мы выкурили по сигарете и вернулись за стол к компании. Понятно, подобные искусственные номера моего друга от пресыщенности богатством. В то время как с Казначеевым мы выпивали в скверах от безысходности: или наш подвал не работал, или не было денег на забегаловку. Но важно другое – наши с Казначеевым скромные выпивки проходили гораздо интересней всяких пиршеств у Вирко.

И Казначеев, и я убеждены, что советский строй был гораздо справедливей и человечней теперешнего. Мы часто вспоминаем наше прошлое.

– Представляешь, – говорит мой друг, – однажды я опоздал на последнюю электричку, так меня до моей станции подбросил маневровый паровик. Просто за одно спасибо. Попробуй сейчас ночью останови попутную машину! Шишь кто остановится.

Я в свою очередь рассказываю, как в молодости «автостопом» объездил всю европейскую часть страны... Мы с Казначеевым считаем, что в Советском Союзе всё-таки был построен новый мир, была, пусть не совершенная, но социальная справедливость – главное для каждого русского. А сейчас чудовищное расслоение общества на сверхбогатых и тех, кто еле сводит концы с концами. Раньше на все должности назначались профессионалы, сейчас полно всяких юристов, экономистов, которые возглавляют то, в чём ничего не смыслят, например технические отрасли и даже оборонку. Раньше кто воровал – попадал в тюрьму с конфискацией имущества! Сейчас проворовавшиеся спокойно живут за границей, записав свои особняки на родственников. Сейчас миграционные службы за деньги дают гражданство жителям Кавказа, а тысячи русских из «ближнего зарубежья» не могут вернуться на родину. Такие теперь порядки.

Между тем в Китае все чиновники проходят многоступенчатые экзамены, а тех, кто ворует, ждёт смертная казнь. И во всех цивилизованных странах существует прогрессивный налог, у нас уравниловка – и миллионер, и малоимущий платят тринадцать процентов. С каждым годом всё больше миллионеров превращаются в миллиардеров, а малоимущие становятся ещё беднее. Четверть населения получает зарплату ниже прожиточного минимума!

Теперь писатели (да и вся страна) чётко разделились: на патриотов и «демократов». Патриотов во много раз больше, но власть у «демократов» и они, наплевав на мнение большинства, строят капитализм. Но мы с Казначеевым уверены, что наш народ никогда не примет западные ценности и вернётся к социализму. Именно поэтому в застолье мы часто поднимаем тост: «За великий русский народ!»

Мне всегда грустновато расставаться с Казначеевым. Каждый раз, глядя на него, уходящего, я думаю: какой он замечательный человек, а давние его неблаговидные поступки – всего лишь досадное недоразумение.

В словесном произведении основное – ясная мысль и простота изложения. Но простота выразительная и крепкая, когда слова связаны прочно, как сплав, когда в произведении ничего нет лишнего, ничего нельзя добавить и убрать. Такая простота создаёт иллюзию лёгкости написания, кажется, что автор без особых усилий находит нужные слова. Между тем за этой лёгкостью всегда стоит недюжинная работа. Короче, простота – результат мастерства. И, естественно, настоящего мастерства не видно.

Не менее важно – произведение должно заражать своим состоянием. В нём должно присутствовать волшебство, некая магия, которая заставляет нас смеяться и плакать, любить и ненавидеть, смотреть по-новому на привычные вещи, испытывать радость и боль за всё происходящее вокруг нас. Как этого достичь – нет рецептов. Здесь всё определяет чутьё и слух автора, его вкус и чувство меры. В конечном счёте всё зависит от таланта.

Можно напичкать произведение невероятными образами, метафорами и символами, но если это всё надуманно, то произведение оставит читателя равнодушным. Только искренность способна вызвать сопереживание.

Среди самых искренних поэт Павел Иванович Косяков.

Косяков плечистый, широкогрудый, с прямой спиной – у него не костяк, а арматура; лицо волевое, взгляд пронзительный, он сторонник крутых действий и дерзких заявлений, всегда идёт против течения, ставит только высокие цели и решает только большие проблемы. Пять раз(!) наш герой поступал в Литинститут, но каждый раз его стихи зарубали. Так бывает, и не раз случалось даже с великими.

Косяков родился на Сахалине, жил в Минводах, у него немалый жизненный опыт: служил в армии, много ездил по стране, освоил более десятка рабочих профессий, но главным для него всегда была поэзия, а любимыми поэтами С. Есенин, В. Фёдоров, Н. Рубцов. Очутившись в Москве, Косяков по лимиту устроился работать на автозавод им. Лихачёва и стал посещать литобъединение при заводе.

Стихи Косякова публиковались ещё в 80-х годах в российских и зарубежных журналах, но его первая книга «Ожидающий берег» вышла только в 2004 году. Эта книга сразу показала самобытность и зрелое мастерство автора. Стихи Косякова отличаются напряжённой энергетикой, упругостью строк – они, как натянутая тетива лука.

Взять хотя бы стихи о войне (а перед фронтовиками мы все должны снимать шляпы):

*Свинцовый дождь обрушился из дота,
И вот летит в сентябрьскую грязь
Четвёртый день не жравшая пехота,
Последними словами матерясь.*

Косяков называет себя «язычником» (верит в древних русских богов) и с особой любовью пишет о России. В этих стихах ощущается вся ширь наших просторов: и полноводье рек, и буйство разнотравья лугов. В зримых образах чувствуется сухость земли, запах горячего хлеба, прохлада воды из колодца, тёплый древесный дух в избах. И главное – простодушие, добросердечие, незлобивость и отзывчивость наших людей.

Косяков остро переживал 90-е годы, когда «демократы» разрушали и разворовывали наше Отечество, и, будучи правдивым и честным, всегда открыто выражал свою позицию. И не подстраивался под обстоятельства, оставался самим собой.

Нельзя не отметить, что и в стихах о любви Косяков «не раскисает» – достойно, по-мужски, без всякой умильной сентиментальности, выражает свои чувства. Наш друг вообще со всеми держится свободно, без всякого комплекса провинциала.

– Я никогда не изворачивался – говорит он, расправляя плечи. – Ни перед кем не лебезил, никому не угождал.

В разговоре на любые темы Косяков резковат и краток:

– Все таланты с придурью...

– Если мужик не бабник, он мне не друг...

В отличие от многих поэтов, Косяков самокритичен и крайне требователен к себе, а это первое качество настоящего мастера. Многие, очень многие за глаза называют Косякова «необразованным», «деревяннным», «неотёсанным», а в глаза поучают его:

– Тебе, Павел Иванович, надо поступить в Литинститут или хотя бы на литературные курсы.

И это советуют человеку на шестом десятке лет! Я-то считаю его состоявшимся поэтом.

Недавно Косяков издал (за свой счёт) сборник двенадцати лучших, на его взгляд, поэтов. Понятно, те, кого он не включил в сборник, ополчились на него.

Сейчас мой друг готовит новый сборник и в подвале появляется редко: то работает (он старший продавец в магазине «Спорттовары»), то дома устраивает «гладильный день» (гладит своё бельё, жены, дочери, внучки – «зарабатывает авторитет положительного семьянина»).

Мы с Косяковым живём недалеко друг от друга – нас разделяет канал и Северный речной порт. (Об этом он написал стихотворение. И ещё два стихотворения посвятил мне, за что ему благодарен.) Несмотря на разницу в возрасте, нас связывает крепкая дружба. Я уже говорил, как мы втроём (с Григорьевым) ездили ко мне на дачу, работали на участке, ходили плавать на водохранилище, как потом подолгу застольничали на террасе под водку и холодное пиво, и вели разговоры обо всём на свете. И что особенно запомнилось – все те дни были солнечными, без единой тучки на небе.

Александр Анатольевич Трапезников – блестящий прозаик, крепкий, особенный, редкостный талант с высоким уровнем мастерства, издал 60 книг (с переизданиями 70), в основном психологические детективы с густой окраской текста.

– 2001 год – год змеи, – говорит Трапезников. – У меня вышло 11 книг, я змея по гороскопу. В 2002 году вышло 8 книг, но по общему числу мне до Пронина далеко.

Вот так соревнуются мои друзья-детективщики, и, надо сказать, в этом жанре только они являются непревзойдёнными мастерами, владеющими всеми тонкостями русского языка, только их и можно читать. В их творчестве – лёгкость и свобода, они, не стесняясь, распоряжаются со временем, со всякими законами и правилами, поскольку сами создают законы и правила. Их фамилии на книгах – знак качества. Всё остальное в детективном жанре – низкопробное писание (легковесное, примитивное, местами ничтожное).

Но некоторые особенности отличают работы этих авторов: у Пронина больше лирических и философских отступлений, у Трапезникова с избытком борьбы между добром и злом, красотой и уродством, и постоянное чередование жары и холода в отношениях героев. Он остро переживает за всё, что происходит в нашей жизни – в отличие от всяких спокойных, равнодушных ко всему, что не касается их лично. Я давно подметил, что чересчур спокойные попросту безразличны ко всему.

Лучший показатель качества произведения – когда с героями не хочется расставаться (герои великих произведений остаются с нами

на всю жизнь). Прочитав очередную книгу Трапезникова мне всегда хочется узнать, как в дальнейшем сложилась судьба героев, и я уговариваю друга написать продолжение, но он усмехается:

– Всех этих персонажей я уже отправил далеко от себя, их жизнь меня совершенно не интересует. Сейчас расправляюсь с другими лицами. Вернее, они расправляются со мной.

Для Трапезникова главное – выдать крепкий сюжет, а как выдать – дело техники, в которой, повторяю, для него трудностей не существует.

Всех «демократов» Трапезников называет «нелюдьми», а их писания «заковыристым выпендриванием, словоблудием, за которым видна цель – заболтать серьезные проблемы, разрушить традиции русской литературы».

Трапезников родился в Венгрии (его отец служил офицером связи), окончил московский педагогический институт и сразу серьезно взялся за литературу.

– Я писал по четырнадцать часов в день, – говорит. – Мне была нужна слава, чтобы расправить крылья и стать независимым от денег, чтобы в издательствах встречали по стойке смирно, ха-ха!.. У меня изданы десятки романов, имею семнадцать медалей – побрякушек за премии, но теперь, на седьмом десятке, думаю – всё это чепуха.

Здесь сделаю отступление. На мой взгляд между честолюбием (Трапезникова) и тщеславием (Устинова и многих других) всё-таки есть разница: честолюбие – это вполне достойное стремление стать лучшим в своей области, а тщеславие – желание слушать комплименты, быть усыпанным цветами, залезть на пьедестал.

Трапезников обладает прекрасными человеческими качествами: внимательным отношением к людям, чувством товарищества, щедростью. Его острый, ироничный ум направлен только на врагов России. Ко всему, он красивый человек, напоминающий Чехова: худощавый, с пронизательным взглядом и бородкой клином; его суждения всегда умные, основательные. У него и почерк чёткий, аккуратный, что говорит о цельной натуре. Но особая редкость – Трапезников частенько посмеивается над собой, выставляет себя в нелепом свете. Понятно, только сильный не боится показаться слабым и смешным.

Трапезников силен не только своей густой прозой, и не только духом, но и физически здоровьем не обижен.

– Я боксёр, – говорил посмеиваясь. – Мне запрещено бить правой рукой, ею я убиваю быка-трёхлетка. Недавно с Мишкой Зубавиным поехали к нему на дачу. На платформе к нам пристали два амбала. Мы не стали драться, я выстрелил в них из пугача. Оба упали. И упали три собаки, пять кошек и десять ворон.

Некоторые считают Трапезникова запойным алкашом, но я, ещё при знакомстве с ним, понял – он выпивает, только когда поставит последнюю точку в очередном романе, когда испытывает радостное опустошение после законченной трудоёмкой работы, когда на его лице и усталость, и праздничность. Иначе как написать столько книг? И Трапезников со мной согласился. Всё дело в том, что он появляется в подвале уже поддатый, и ещё добавляет сверх всякой меры (кстати, при этом не разваливается, хорошо держит алкогольный удар и остаётся умным собеседником.) Потому кое-кому, из числа недалёких, и кажется, что он «не просыхает». Неужели не ясно, что серьёзная работа и беспробудное пьянство – несовместимые вещи? Просто у нас полно дуралеев. Увидели тебя несколько раз выпивши, и сразу повесили ярлык – пьяница. А то, что ты ежедневно с утра пашешь за столом, никто не видит.

Кстати, последнее время Трапезников появляется в подвале всё реже – видимо, хочет перегнуть Пронина по количеству изданий. Но каждая наша встреча проходит интересно, насыщенно.

Иногда, ради денег, Трапезников пишет книги о каком-нибудь губернаторе или о добытчиках нефти, пишет отлично, выкладываясь полностью, работая на износ. Потом получает премии за эти книги и немалый гонорар, но мне жалко друга: жалко, что он тратит свой талант на то, «к чему не лежит душа». Кто-то из литераторов сказал Трапезникову:

– И чего ты занимаешься халтурой? И как можно писать о нефти, не поработав на промыслах?

Мой друг засмеялся:

– Халтурой надо называть хреновую работу, а я выдаю отличные вещи. Я как Чехов – «дайте мне чернильницу, я и о ней напишу рассказ».

О своей личной жизни Трапезников говорит предельно просто:

– Моя первая жена пила, курила, и меня научила. А вторая – врач, меня лечит, отучает от того, чему первая научила.

Добавлю: его Женья – замечательная жена, собирательница лечебных трав, она не только лечит Трапезникова, но и оберегает его от всяких сомнительных приятелей (во время затяжных выпивок он приводит домой и бомжей). Женья вообще боготворит Трапезникова и во всём уступает ему. Ясно, жена, которая не надышится на талант мужа да ещё готова к подчинению, – мечта каждого творческого человека.

Меня с Трапезниковым связывает очень многое, и прежде всего любовь к собакам. Мой друг говорит:

– Каждого должен кто-то ждать. Вернее всех ждёт собака.

Дальше он цитирует что-нибудь из классики о собаках (чаще всего Честертон: «Собаки вместе с хозяином попадают в рай».) А я вспоминаю слова актёра Джека Николсона: «Только женщины и собаки делают жизнь полноценной». И надо же такому случиться – наши с Трапезниковым последние собаки умерли чуть ли не в один день!

Евгений Юшин родился в городе Озёры на Оке. Отец фронтовик, прошёл всю войну и ни разу не был ранен. «Я молилась за него», – говорила мать Юшина, оперная певица с консерваторским образованием. Школу и пединститут Юшин окончил в Улан-Удэ, где мать работала в оперном театре. Причём зиму проводил в Бурятии, а лето в Озёрах и в Лужках (деревни матери). Стихи Юшин начал писать ещё в институте, а, получив диплом, послал свои сочинения в московские журналы: «Молодую Гвардию», «Юность», «Меридиан» – и пошёл в армию. И вскоре узнал, что все его стихи напечатаны. Через год демобилизовался, познакомился с Балашовым, и тот свёл его со многими уже известными поэтами, которые восторженно отозвались о стихах солдата и его «человеческих качествах» – искренность и открытость Юшина притягивали к нему с первой минуты общения.

К этому времени родители Юшина обменяли большую квартиру в Улан-Удэ на однокомнатную квартиру в подмосковном Лыткарино. Юшин устроился на работу в Дом культуры железнодорожника, где издавал сборник поэзии (как составителю ему нет равных, у него чутьё на хорошие стихи), ездил в командировки во все концы страны («набирался впечатлений») и одновременно посещал литобъединение «Магистраль» (впоследствии стал его руководителем).

Однажды в Доме культуры Юшин увидел библиотечаршу Татьяну, сразу влюбился в неё и предложил ей стать его женой. С тех пор они живут у Татьяны в Сокольниках, у них уже взрослые сын и дочь.

О жене Юшин всегда говорит восторженно. Понятно, ему повезло, он встретил свою «единственную» женщину и его дом всегда полон счастья. Нам остаётся только завидовать ему.

Юшин Евгений Юрьевич – один из моих любимых поэтов. В его стихах высочайшая художественность: изобилие метафор и образов, калейдоскоп красок – восторг и любовь к нашей стране, непрерывный гимн России; автор представляется неким «очарованным изысканным импрессионистом». Его стихи считаются немалой эстетической ценностью. (Думаю, некоторые из его строк со временем разберут на цитаты). Поэтов, у которых мало художественности, Юшин сравнивает с теми, кто занимается живописью, не чувствуя цвет, объём, пространство. Всё понятно, у него-то богатый внутренний мир, полный красок и мелодий (музыкальность к нему перешла от матери.)

Иногда Юшин пишет и гражданские стихи, в которых виден осторожный «разумный» риск. Автор честно объясняет свою позицию:

– Есть временные проблемы и есть вечные темы. Меня волнуют вторые.

Повторюсь, в поэзии у него впечатляющее достижение, его слава уже носится в воздухе. Талантище одним словом. Он лауреат многих премий, двадцать пять лет возглавляет журнал «Молодая Гвардия».

В Юшине сочетается несовместимое: странная необычность и простота, естественность, строгость и мягкость, с ним всегда легко и спокойно. В подвале Юшин прекрасный собеседник, но, в отличие от нас, пьёт в основном красное вино, хотя иногда переходит и на водку. Что примечательно – Юшин помнит стихи многих неизвестных поэтов. Слушая, как он декламирует то, что когда-то поразило его, становится ясно – чтобы оценить талантливое, надо самому быть талантливым. Юшину верят все молодые поэты. Считается, если он запомнил строчку из какого-либо стихотворения, автор талантлив.

Отпуск наш друг проводит в деревне под Рязанью – там у него добротный летний дом и балок для гостей. Юшин вполне серьёзно говорит, что знает все «мелодии леса», что с лешим на дружеской ноге, что в местной речке по ночам плавают с русалками – у него ослепительное воображение, фантастические чувства и, как все хорошие рассказчики, он обладает даром убеждения.

Юшин заядлый рыбак и охотник (каждую осень показывает нам фотографии с многочисленными трофеями). Я ругаю его, злодея,

за жестокое отношение к животным, а он оправдывается, говорит, что «убивает и ловит для всей деревни». Однажды я рассказал ему о хвалебных статьях негодяев П. Гусева и Ястржембского об охотах в Африке и фотографии их особняков, украшенных сотнями шкур и рогов. После этого в душе моего друга, по его словам, появилось что-то вроде жалости к тем, кого он убивает. Вот так поэт-гуманист в нём со скрипом, но побеждает азартного добытчика – проще говоря, в него запоздало вселяется сострадание к «братьям нашим меньшим». Я думаю, скоро он забросит ружьё и спиннинг на чердак и напишет стихи о рыбе, борющейся за жизнь на крючке, о раненой утке, которая пытается взлететь. Возможно даже в старости он станет вегетарианцем, ведь он верующий человек – правда, по его словам, «не полностью, а иногда даже и сомневающийся». Цитируя Тютчева: «В Россию можно только верить», Юшин поясняет нам: «Эта вера – мой Бог».

Трапезников смеётся:

– У кого-то Бог – вера в Россию, у кого-то – собственная совесть, у кого-то мудрец, знающий ответы на все вопросы, у кого-то благодетель – проси чего надо, может получишь. Всё от того что настоящий Бог плоховато присматривает за всеми нами.

ВОЖДИ В ПОДВАЛЕ

«Тренщина, которая раздирает весь мир,
проходит через наше сердце»
Г. Гейне

У вождя писательской организации Владимира Гусева полно недоброжелателей. В подвале я часто слышу:

– Засиделся на троне! Окружил себя лизоблюдами! Исписался! Спился!

Между тем, он своё дело сделал. Дай бог всем столько написать художественных и научных книг, обучить столько студентов.

Мы с Гусевым ровесники, я знал его задолго до того, как он стал председателем. В семидесятых годах он был всего лишь рядовым преподавателем в литинституте. Мы часто встречались в ЦДЛ, вы-

пивали (обычно в компании с другим преподавателем – Всеволодом Сургановым). Недавно Гусев вспомнил:

– Мы не всех принимали в свою компанию – только настоящих мужиков, умеющих ценить мужскую дружбу. И тех, кто за Советский Союз.

За прошедшие годы Владимир Иванович Гусев стал профессором, доктором наук, имеет кучу наград (кстати, к ним относится с юмором: «у меня всяких медалей два ведра»), но не поменялись его взгляды на жизнь, и он сам не изменился. Многие от славы и денег меняются – и ещё как! Гусев – свидетельствую это серьёзно – не изменился. Как мы встречались много лет назад, так встречаемся и сейчас: выпиваем и в его кабинете, и в подвале, говорим о литературе, «демократах», женщинах. Наш главный тост прежний – «За мужскую дружбу!»

У меня с Гусевым немало общего: мы оба из провинции (он из Воронежа, я из Казани), и у него, и у меня отцы умерли молодыми от алкоголизма, у него был больной старший брат, у меня – младшая сестра, мы почти в одно время развелись с первыми жёнами, от тех браков имеем дочерей и внуков, оба в Москве пробивались без всякой поддержки, с трудом получили жильё и прописку. (Кстати, ради прописки Гусеву советовали жениться на москвичке, но он верен своим землячкам – обе его жены воронежские, истинно русские женщины.) Можно сказать, мы с Гусевым сами себя сделали, только, понятно, он добился гораздо большего, чем я.

Когда-то в молодости Гусев сказал:

– Чем больше я узнаю Сергеева, тем больше он мне нравится. Мало того, что он хороший прозаик, он ещё отличается своим поведением. Пришвин ввёл такое понятие, как писательское поведение. Это когда писатель и как литератор, и как человек соответствуют друг другу. Сергеев ценит мужскую дружбу, он, как и я, пьющий и так далее. Короче, Сергеев хороший писатель и хороший человек.

Эти слова Гусев повторил на моё 75-летие. Хочется думать, что за сорок лет я тоже не изменился.

В чём можно упрекнуть Гусева, так это в том, что он публично (в газете «Московский литератор») ввязывается в перепалку со всякими недругами нашей организации. Умнее было бы не реагировать на мелкие уколы. Ну и не мешает вернуться к прежнему строгому приёму в писательский союз, а то напринимали многовато случайных людей. И, конечно, не забывать: чиновнику надо вовремя освободить кресло,

ведь без свежих сил любая организация костенеет. Надо уходить на пике своей деятельности, когда все жалеют о твоём уходе.

Один из вождей нашей писательской организации – поэт Владимир Бояринов. Всегда в приподнятом настроении, отпускает шуточки, и только когда читает свои стихи, становится серьёзным. Бояринов сочетает в себе, казалось бы, взаимоисключающие вещи: редкий поэтический дар и практичность руководителя большого коллектива. Он редко заглядывает в подвал – обычно, чтобы перекусить. У него куча дел (собственно, на нём держится вся наша организация), но я ни разу не видел его уставшим. Он прошёл шесть(!) судов, чтобы отстоять имущество Союза, а тут ещё развод с женой и новая любовь с молодой красавицей, которую, естественно, надо развлекать, водить в рестораны. Я всё подумываю: а не угробит ли его эта красотка своей жаркой любовью (уже два раза он залетал в больницу). Бывает, загляну к нему в кабинет, а он перебирает бумаги, отвечает на звонки, и я поражаюсь – когда он пишет стихи? А он их постоянно пишет. И детские (даже издаёт журнал «Подсолнушек»), и взрослые, в том числе большие эпические полотна. И пишет великолепно, у него золотая голова!

Его стихи, как все по-настоящему значительные произведения, моментально перестраивают твоё настроение: поднимают дух, если ты расклеился от неприятностей и вообще потерял надежду на лучшее, или вселяют грусть, если ты чересчур развеселился от нахлынувшей удачи и забыл, как много в мире несчастных. Всё это не просто щедрость таланта, а результат глубокой причастности автора к другим людям, его ответственность за их судьбы.

Бояринов стилист-виртуоз, поэт с безупречным вкусом, чутьём на слово и редким чувством меры. Его стихи – горение и страсть, тоска и боль, радость и любовь; разные по темам, все они написаны с высочайшим мастерством, предельно просто и ясно, без желания удивить, пооригинальничать, потому и выглядят, как отливки из драгоценного металла.

Бояринов известный поэт, но, мне кажется, он всё же не оценён по достоинству, а между тем когда-нибудь им будет гордиться наше Отечество. Им – Владимиром Георгиевичем Бояриновым.

Здесь надо добавить: в подвале вообще немало литераторов – не оценённых, непризнанных, а среди умерших – и совсем забытых.

Год назад, вручая мне премию «Литературный Олимп 2011», Бояринов объявил (как всегда, посмеиваясь):

– Леонид Сергеев мой любимый писатель. Когда-нибудь он получит Нобелевскую премию.

Услышать такое от, скупого на похвалу, большого мастера – честь. Ещё раньше поэт Максим Замшев сообщил мне, что Бояринов считает меня гениальным писателем, и добавил:

– Я тоже так считаю.

Понятно, всё это они говорили в шуточной форме. Какой к чёрту гениальный! Сейчас это слово просто глупо употреблять. Сейчас есть хорошие писатели, и, если взять мои лучшие работы, возможно, я попаду в их число. И, может даже, не буду среди них самым последним. Но, конечно, не скрою, похвальные слова друзей были приятны, ведь не каждый день такое слышишь. Тем более, что когда-то убийственных слов в свой адрес я слышал гораздо больше.

Однажды Бояринов позвонил мне и сообщил, что они собрались издавать мой сборник рассказов, на который пришла положительная рецензия из комитета по печати. Прошло два года; за это время «вожди» выпустили книги Грисевича, Штокмана, Трапезникова, а обо мне, вроде, забыли. Так что похвальные слова Бояринова и Замшева приятны, но было бы приятней получить книгу, тем более, что мне бахнуло 75 лет. Небрежны они ко мне, старому, небрежны. И это к «любимому писателю», а как же они расправляются с «нелюбимыми»? Кстати, некоторые «нелюбимые» не остаются в долгу, ругают Бояринова за то, что «путает нашу организацию со своим домом – пристроил в МГО жену и дочь», что действительно выглядит некрасиво.

Владимир Александрович Силкин – тяжёловес с легкой походкой, великан с глуховатым голосом и нежной душой. Вид у этого здоровяка суровый (не подступишься!), взгляд властный (как-никак генерал-полковник казачьих войск!), но как только он улыбнётся, сразу становится ясно – в его вместительной груди полно дружелюбия.

Силкин родился в Рязске, учился в дорожном техникуме, но, будучи потомственным военным, вслед за дедом и отцом поступил в военное училище, а получив погоны лейтенанта, окончил и военную академию. За годы службы и работы в Московской писательской организации Силкин издал двадцать книг поэзии и три диска песен. Он пишет прекрасные детские стихи (некоторые посвящены его внучке). Причём пишет и для дошкольников, что, как известно, особенно трудно; здесь всякие заигрывания не пройдут, здесь нужно иметь душу ребёнка.

И, конечно, он пишет стихи на военную тему; в них благодарность поколению наших отцов, которое выбито войной.

Но главный козырь Силкина – лирические стихи. Здесь наш друг, без преувеличений, – второй Фатьянов. Его стихи настолько музыкальны, что сразу ложатся на музыку. Неслучайно их использовали многие композиторы, а песни исполняют известные певцы. У него множество премий (в том числе международных), в его родном Ряжске библиотека носит его имя. В наше время он один из немногих, кто это заслужил честно. И его награды соразмерны его работам. Я горжусь, что примазался к славе Силкина: нарисовал обложку к его сборнику стихов «Журавинка».

Что несправедливо – некоторые поэты, завсегда и подвала, считают Силкина средним поэтом, а себя, естественно, выдающимися. У поэтов это в порядке вещей, в их среде постоянно составляются табели о рангах – ясно, это выглядит глуповато. Силкин лишь усмехается:

– Вот и моя жена говорит: «Настоящих поэтов показывают по телевизору, а тебя и твоих дружков почему-то не показывают».

В подвале немало трепачей – наобещают тебе чёрт-те чего, а на следующий день всё начисто забывают или помнят, но выполнять обещание не спешат. Силкин, как и подобает офицеру, всегда чётко держит своё слово. Много раз при мне он говорил литераторам:

– Давайте стихи, рассказы в «Московский вестник». Всё качественное напечатаю.

И не было случая, чтобы не напечатал, причём особенно радуется, когда открывает новое имя.

Силкин посвятил мне стихотворение «Смог 2010 года». Будь проклят этот 2010 год! Я потерял брата, ближайшего друга Валерия Шашина, любимую собаку. Боль от этих потерь не отпускает меня до сих пор.

Что странно – Силкин единственный поэт во власти, который ничего не получил от своих должностей. У него нет ни дачи, ни машины, и живёт он в обычной «двушке» с женой, сыном и внучкой. Но он никому не завидует – это его положительная черта, а отрицательная – когда не в духе, грубит молодым литераторам и вечно подтрунивает над нами, стариканами, приписывает нам какие-то несуществующие романы, выставляет нас такими отпетыми бабниками.

– Строит из себя Мефистофеля, – говорит Гусев, – но у него плохо получается.

Валерий Иванов-Таганский внешне один из самых красивых литераторов. Он напоминает интеллигентов девятнадцатого века: жилетка, галстук, борода, умный взгляд, располагающая огненная улыбка, галантность, учтивость – во всём этом видна какая-то прекрасная старомодность. Он самый артистичный из литераторов: изысканные манеры, поставленный баритон завораживающего тембра и чистейший русский язык. Но главное, его речь – ни одной проходной избитой фразы, все слова незатасканные, образные, неожиданные – не случайно ему доверяют вести самые ответственные вечера. Всё встаёт на свои места, когда узнаёшь, что Валерий Александрович актёр, режиссёр, драматург и романист. Да, такой разносторонний талант.

В клубе писателей, где среди литераторов панибратство, небрежность, а то и грубость считаются в порядке вещей, он смотрится особенно впечатляюще. И что показательно – рядом с ним никто не позволяет себе ругани, дурацких выходок, пошлых анекдотов.

Он всегда в прекрасном настроении, и в каждом, даже посредственном человеке, находит кое-какие достоинства. Правда, говорит о них с юмором. А уж талантливых возносит до небес. И опять-таки без юмора. Когда-то я думал, что он просто разыгрывает слушателей, устраивает мизансцены-юморески, но потом убедился в его искренности и понял: у нашего друга просто редкий дар – пустяковые вещи превращать в ценности, а ценности в сокровище.

Каждый раз при встрече Иванов-Таганский рассказывает мне, с каким интересом они с женой читают мои книги. Я отмахиваюсь, но всё же благодарю за приятные слова. И, понятно, сейчас мне остаётся только сказать: «Какой замечательный человек Иванов-Таганский. И какая у него замечательная жена Диана». Кстати, Диана более радостно поддерживает наши выпивки, чем её благоразумный муж.

Крайне редко, но всё же в подвале появляется поэт Лев Котюков, стремительный, нервный, «безбашенный». Когда-то Котюков был проще и не строил из себя монстра, и, будучи мастером словесности, многим начинающим поэтам отделывал стихи. Сейчас, под старость, Котюков заматерел; во всяком случае, за последние годы я не слышал, чтобы он хоть о ком-нибудь хорошо отозвался. И окружил себя прислужниками, вроде Соколовского, который поёт дифирамбы «шефу» и, кстати, написал гнусное стихотворение о подвальщиках (завидует тому, как мы красиво стареем).

Нормальный человек от чрезмерного внимания к себе испытывает неловкость, а уж если его слишком восторженно хвалят, смущается. Но многие литераторы, без всякого смущения, выслушивают похвалу. Некоторые даже напрашиваются на славословие, а то и сами себя возносят на щит. К таким чудикам относятся Балашов, Пронин, Устинов, Зульфикаров, Артюх, Жуков, Дагуров и ещё десяток. Торопцев примыкает к этим гаврикам и честно говорит:

– Я люблю, когда меня хвалят.

Но Котюков переплюнул всех. Как-то Юрий Баранов сказал ему:

– Хорошие у тебя стихи.

Котюков вспыхнул:

– Это у тебя хорошие, а у меня гениальные!

Однажды мы, четверо литераторов-стариканов, пили пиво у киоска на Баррикадной. Рядом тоже потягивали пиво двое пожилых мужчин. В какой-то момент они обратились к нам:

– Слышим, вы говорите о литературе. Мы тоже посещаем литстудию. Её ведёт поэт Котюков, знаете такого?

– Как не знать, – говорим. – И чему он вас учит?

– Учит писать стихи. Но прежде, как приходит, нахально говорит: «кто не купил мою последнюю книгу, уходите!»

В каждом номере своей областной газеты Котюков помещает дюжину фотографий собственной персоны: он с патриархом, он с министром, он кому-то что-то вручает. (Однажды кто-то насчитал около двадцати его фотографий в одном номере.) Котюков наполучал десятки премий, печатается везде, где только можно, – явно хочет, чтобы его присутствие ощущалось в каждой точке земного шара.

МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ

Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Без этого жизнь пуста.

В. Розанов

Молодым, пышущим здоровьем людям не понять, что такое старость. Отсюда их небрежное отношение к старшему поколению. Всех их объединяет одно – чрезмерная самоуверенность. Мы к чему-то

дельному шли много лет, а они написали пару вещей и сразу возомнили себя мастерами. Об известных писателях отзываются небрежно: «Женька Евтушенко, Володька Костров», только что не говорят: «Сашка Пушкин».

Последнее время развелось слишком много литераторов. Пишут все: политики, телеведущие всех мастей, осоловевшие от богатств дамочки Рублёвки, диссиденты и эмигранты девяностых годов, которых теперь «демократы» встречают, как героев. Одни из этих литераторов обливают грязью прошлое нашего Отечества, другие – выпячивают себя, уверенные, что за их жизнью следит вся страна.

Немало сейчас и кровожадных детективщиц, которые стараются перещеголять друг друга по количеству трупов, и авторов-пошляков, с их изощренными постельными сценами. Книги этих литераторов заполнили книжные магазины. Понятно, всё это – результат деятельности строителей капитализма за последние два десятка лет, ведь государственные издательства разрушены, уничтожена система внутренних рецензий и редакторов, а для коммерческих издательств книга – всего лишь товар, и чем она скандальней, тем лучше. Эта мерзкая продукция широко рекламируется телевидением, которое уже всеми воспринимается, как психотропное оружие оболванивания людей. В западных странах существуют наблюдательные советы по нравственности на телевидении. У нас такого совета нет, и власти не спешат его вводить – им мало чудовищного количества развращённой молодёжи.

К сожалению, у авторов – последователей нашей традиционной литературы, которые недавно занялись прозой (как правило, выпустив книги за свой счёт), в большинстве своём работы низкого качества. Я не против дилетантов в литературе (и в искусстве вообще – они хотя бы пытаются вырваться за пределы быта), и само по себе желание попробовать силы в литературе похвально, при одном условии – что свои опыты автор не будет выносить на суд читателя до тех пор, пока на этот шаг его не благословят профессионалы.

Беда в том, что многие из начинающих авторов уверены в своей талантливости и непременно хотят быть напечатанными, а сейчас, при наличии денег, это проще простого. Открываешь книгу такого литератора и, после первого же абзаца, закрываешь. Так же, как по одной музыкальной фразе ясно – есть музыкальный слух у поющего

или нет, точно так же и по нескольким литературным фразам можно судить о способностях пишущего.

Казалось бы, чего проще – не оригинальничать, быть предельно искренним, и тогда своя интонация, свой стиль появятся сами собой, поскольку каждый человек – самобытный мир. Так нет, многие авторы стараются быть «необычными», расцвечивают свои опусы всякими выкрутасами, устраивают словесную чехарду (подобная зависимость от формы сразу видна). Я вспоминаю, как в молодости часто проводил вечера в обществе друзей-философов. Бывало, они заводили разговор о вещах, в которых я абсолютно ничего не понимал – слушал разинув рот, развесив уши. Но однажды Мираб Мамардашвили (известный философ), усмехаясь, сказал мне: «Не слушай их, читай Платона, он обо всём этом сказал гораздо проще».

Самым талантливым из молодых литераторов (тем, кому до пятидесяти) бесспорно является Максим Замшев. Получив блестящее музыкальное образование, он несколько лет назад, выпив, играл классику на пианино в подвале (часто любимого Дебюсси). (Тогда он ещё крепко выпивал; сейчас с нами, подвальщиками, больше двух рюмок не пьёт, но, по его словам, много выпивает со своими друзьями в каких-то ресторанах.) О Замшеве мне писать трудно. Я восхищаюсь его природными талантами, его ослепительной фантазией, цепким умом, знанием людей и жизни вообще. В его стихах прекрасные образы, метафоры, но нет русского духа. Если его стихи перевести на европейские языки, можно будет сказать, что их писал француз или англичанин.

Кроме стихов, он написал три романа; в каждом закрученный сюжет, действие происходит в России и Франции, которую он хорошо знает. Первые два романа давал мне читать. С моими замечаниями не согласился:

– Мне важно твоё мнение, но ты смотришь глазами писателей прошлого века. Сейчас молодёжь совсем другая, ты её не знаешь.

Замшев странный человек: иногда за столом впадает в задумчивость, в такие минуты он весь в себе, но вдруг моментально возвращается к нам и рассуждает здраво, образно выражает свои мысли. С особым юмором рассказывает о преподавателе в Литинституте Владимире Фирсове. После окончания литинститута Замшева взяли на работу в московскую писательскую организацию, где он быстро вырос до одного из вождей.

Незадолго до смерти прозаик Игорь Блудилин рассказывал:

– Когда меня пригласили работать в московской писательской организации, Максим сказал: «Держись за меня, и всё будет в порядке. Я умею сплотить вокруг себя нужных людей и избавиться от ненужных. Я гений интриг». А потом я стал им не нужен, меня уволили, даже не заплатив за последний месяц.

В горячке Блудилин решил хлопнуть дверью и на своём сайте назвал всех бывших сослуживцев «сволочами». Потом испугался своего порыва и убрал оскорбительное слово, но его многие успели прочитать.

– Надо было оставаться мужиком до конца, – сказал Замшев.

Кстати, о Блудилине. Он чаще других вёл всякие собрания, но вёл их «по бумажке». Над ним помеивались и вспоминали указ Петра о запрете такого чтения, «чтобы дурь каждого была видна». Блудилин был известен как критик, но внезапно ворвался в литературу хорошим романом «Во глубине багряных туч» и неплохой повестью «Потому что...» Оказалось, втайне он писал всю жизнь (в восемь лет решил стать писателем), но, предъявляя к прозе определённые требования, не спешил печататься, и только набравшись опыта и жёстко отшлифовав рукописи, открыл их читателю.

У Блудилина было немало странностей. Например, он спал на подушке с морскими водорослями (ночью набирался энергии), и был страшно рассеян. Однажды торопился на работу, накинул пальто и подбежал к остановке автобуса. И вдруг замечает, что все пялятся на его ноги. Он наклонился и обнаружил, что стоит в кальсонах. Впрочем, подобные склеротические проявления не обошли стороной и других возрастных литераторов. Так, Валерий Рогов однажды вёл собрание и зачитывал список умерших за год. Вдруг из зала крики:

– Мы живые! (Оказалось, читал список награждённых.)

В своих сочинениях Блудилин отчаянно спорит с философами прошлых веков, подвергает сомнению абсолютно всё. Приведёт высказывание кого-нибудь из великих, и тут же вставляет свою реплику: «Не знаю, не знаю». Или: «Возможно, возможно». Ну а с приятелями не церемонился. Прочитает чей-нибудь рассказ и выдаёт:

– Жуть! – правда, заметив, что автор смертельно обиделся, миролюбиво добавит: – Ну вообще-то ничего, читаемо.

Одно время Блудилин решил «совместить идеализм с прагматизмом» и организовал издательство, но быстро прогорел – понятно, есть

несовместимые вещи. Кстати, под книжное дело он снимал комнату в офисе поэта Владимира Фирсова; тот занимался каким-то тёмным предпринимательством, но писал прекрасные стихи и преподавал в литинституте.

Вернусь к Замшеву. Замшев прекрасно знает литературу, считается одним из лучших ораторов; его выступления всегда умные, чёткие, с замечательной художественной окраской. Одно время он вёл передачи по литературе на радио и многих из нас приглашал на эфир, и передачи вёл блестяще. И пишет блестящие статьи. (О Проханове – вообще серьёзное исследование.) До его женитьбы по вечерам мы часто ходили в кафе на Никитской. Мало с кем мне было так интересно проводить время.

Однажды, без всякого притворства, я сказал ему:

– Оборачиваясь назад, вижу, что ничего по-настоящему ценного не сделал. Бывает, когда что-то пишу, кажется – это будет отличная вещь. Но закончишь, проходит немного времени и вижу – всё не то.

– Да что ты говоришь! – вспыхнул мой друг. – Когда я прочитал твой рассказ о козлёнке («Трава у нашего дома»), я два дня не мог в себя прийти. А рассказ о сестре («Заколдованная») Штокман правильно назвал «гениальным».

Замшев, вроде, действительно считает меня хорошим писателем (во всяком случае, написал обо мне прекрасную рецензию), но почему-то ни разу не напечатал в своём журнале «Колокол».

Недавно Замшев объявился в подвале вдрызг пьяный.

– Уже три дня, как ушёл от жены, – сообщил мне. – Зато закончил четвёртый роман. Дам тебе почитать.

Мы присели за отдельный стол и заговорили о литературе. Он быстро протрезвел (что значит молодой организм!) и говорил, как всегда, умно, талантливо, с юмором.

Ивана Голубничего знаю давно, когда он, двадцатипятилетний парень, ещё крепко выпивал (случалось, устраивал драки в подвале) и был заядлым курильщиком. Мы оба после армии начинали с грузчиков, оба были без высшего образования (меня не приняли во ВГИК, его – в театральное училище, но позднее он окончил Литинститут), и он, и я жили с матерями, и у него, и у меня погибли младшие братья (у него давно, у меня недавно), мы оба серьёзно относились к литературе – всё это, несмотря на огромную разницу в возрасте, нас

сблизило. У меня есть старая фотография, где мы стоим обнявшись в холле ЦДЛ: я – лысый, сутулый и Голубничий – молодой, с волосами до плеч.

Помню, в подвале появились какие-то залётные парни, и Голубничему что-то не понравилось в их разговоре, он полез драться с одним из парней. Дружок парня гаркнул на весь подвал:

– Да у них здесь банда! А тот лысый (кивнул в мою сторону) – их главный!

Мне нравились стихи Голубничего (мощные, патриотические), нравился его острый ум и его ирония, которой он в компании расщечивал каждое выступление литераторов. Если кто-то кого-то ругал, он тут же бросал реплику:

– Ты завидуешь таланту! – и подмигивал мне.

Он беззлобно подтрунивал над всеми, многих в глаза называл «гениальными», а за глаза «графоманами». Как-то с чёрным юмором сказал мне:

– Сколько же здесь кретинов! Тебе-то хорошо, ты скоро умрёшь, а мне с ними ещё лет тридцать общаться!

– Когда я умру, ты первый будешь плакать, – отшутился я.

Что и говорить, я относился к Голубничему, как к младшему товарищу. И он ценил наше товарищество. Часто повторял, что в детстве моя книжка «Солнечная сторона улицы» была у него самой любимой. Однажды даже нашёл её у родственников и принёс мне на подпись.

Бывало, дружелюбно смотрит на меня:

– Лёнька Сергеев! – усмехнётся. – Большой чудака, – и процитирует то, что я накануне выдал в компании.

Стоило мне появиться в подвале, как он объявлял:

– Вот настоящий писатель!

Будучи редактором газеты «Московский литератор», Голубничий много раз печатал мои рассказы, просил писать рецензии на разных авторов и часто спрашивал:

– Тебе взять сто граммов?

А для всей нашей компании не раз приносил коньяк и водку, которые ему, уже давно не пьющему, дарили авторы. И всегда по моей просьбе, без всяких кривляний, играл на гитаре и пел, и читал свои стихи. (И не только свои – он начитан, и, обладая крепкой памятью, цитирует многих известных и неизвестных поэтов.) Однажды даже дал

мне читать начало своего детектива (вполне приличного.) А в другой раз пришёл в подвал и блестяще спел мне колыбельную Моцарта. Я слышал её много лет назад – её часто пела мать. Несколько дней эта колыбельная звучала во мне, и я видел мать, молодую, весёлую.

Голубничий серьёзно коллекционирует книги (скупает старые издания на развалах) и не раз делился со мной прочитанным. Он всегда гладко выбрит, благоухает французским одеколоном, подолгу смотрится в зеркало, зачарованный своей красотой, и всегда в чёрном: и пальто, и костюм, и рубашка – всё одного цвета. («Чёрнорубашечник», – говорит Дагуров).

– Ты чего в трауре, я ещё не умер, – когда-то с потугой на юмор сказал я.

– У меня строгий стиль в одежде, – пояснил мой младший товарищ.

Внешне Голубничий – голливудский актёр: черты лица чёткие, скульптурные. К тому же у него отличный слух и он прилично играет на гитаре. По его словам, он трижды поступал на актёрский, но его не принимали из-за не совсем чистой дикции, на что Артюх не раз самоуверенно заявлял:

– Я бы его дикцию исправил за несколько дней.

Голубничий член компартии, пишет патриотические передовицы в своей газете, но как-то мне заявил:

– ...Эти патриоты затр...т своим православием.

Такое странное противоречие. Игорь Блудилин говорил:

– Ванька карьерист. Ругает евреев, но поёт еврейских бардов, цитирует Бродского, а ведь тот был русофобом, есть доказательства.

Два раза наш герой выдвигался в Думу от Чечни. Он имеет кучу премий, медалей и два значка: «Заслуженный работник Культуры России» и «Заслуженный работник Культуры Чечни», но хотел получить ещё один. Однажды мне говорит:

– Я сегодня видел сон – как будто мне дали «Заслуженного Ингушетии».

– На кой чёрт тебе это? – хмыкнул я. – У тебя и так полно наград. Пиши лучше стихи. По-моему, ты давно ничего не пишешь.

– А зачем? Сейчас литература никому не нужна.

Долгое время Голубничий был хорошим товарищем, но после срока его точно подменили: он стал небрежен к приятелям, некоторым попросту грубил. Например, Владимиру Сергееву:

– Что ты мне взял? (Из еды.) Я просил другое!

– Почему ты позволяешь ему так с собой разговаривать? – спрашивали Сергеева в подвале. – Он тебе в сыновья годится!

– А пусть. Он себя таким образом унижает, – отмахивался Сергеев. – Недавно мне открытым текстом сказал: «Ты м...к и твои стихи г...о». Я написал об этом стихотворение и вставил его в книгу. Иван был не против. (Странно, что «был не против». Неужели ему не стыдно так унижать старшего товарища?)

В те дни, входя в подвал, Голубничий окидывал сидящих взглядом и спрашивал у меня:

– Здесь моих врагов нет?

Я пожимал плечами, не понимая, кто именно его враги. Иногда казалось, что ему просто нравится находиться в состоянии войны и мириться он ни с кем не собирается.

– Иван забронзовел, – сказал Штокман.

Позднее с Голубничим перестал разговаривать Крамаренко, основной рецензент «Моск. литератора». Что между ними произошло – не знаю.

Затем Казначеев при всех отчитал Голубничего:

– О чём мы здесь говорим ты, Иван Юрьевич, всё доносишь Гусеву.

– Перед Гусевым он стоит навьтяжку. Только кивает: «Да, шеф!» – сказал Пронин. – Я увидел, удивился.

– Дал Ивану последнюю часть своей поэмы, – жаловался Рахманов. – Прошёл год, так и не напечатал. Больше не подам ему руки. Я сказал Бояринову, что Иван ведёт себя чёрт-те как, словно газета его собственность. А Бояринов мне: «Говори о нём с Гусевым».

Несколько раз я уговаривал Голубничего напечатать Рахманова, но в ответ слышал:

– Почему я должен его печатать?! И Рахмашка (так он называет поэта) врёт, что я год его не печатал. Весной давал его подборку! – всё это Голубничий говорил громко, резко, с каким-то ожесточением, как не говорят с друзьями.

Я обиделся за своего друга (повторюсь: Рахманов превыше всего ставит мужскую дружбу и для друзей совершил немало бескорыстных добрых дел, а в своём издательстве печатал многих из нас).

Вслед за Рахмановым вскоре и со мной Голубничий поступил не товарищески: поздравив в газете с юбилеем, не дал мой рассказ. Правда, он заранее мне говорил: «Слишком длинный рассказ. Дай что-нибудь покороче». По мнению друзей это один из лучших моих рассказов, и я был

уверен, что Голубничий, учитывая моё 75-летие, его напечатает. Но он напечатал сразу два рассказа Владимира Андреева, слабого прозаика и неприятного горластого человека. При встрече я сказал Голубничему:

– Ты ведь давал на разворот и Котюкова, и Ракшу, а меня прокатил.

– То Ракша, а то ты! – вроде бы с юмором, но всё же грубо усмехнулся Голубничий.

Я стал избегать общения с ним, хотя и здоровался, всё думал – он подойдёт, извинится, скажет что-нибудь такое: «Брось, Леонид Анатольевич, дуться, мы же давние товарищи» – и прочее, а он вдруг прислал мне хамские слова на мобильный телефон и окончательно зачеркнул всё, что нас связывало не один год.

– Голубничий одинокий человек, у него нет друзей, – говорят подвальщики.

Похоже, что так оно и есть. Но, понятно, друзей нет у того, кто сам не может быть другом.

Я уверен, что Голубничий добьётся своих целей: станет депутатом Думы, защитит диссертацию, что-то возглавит (может быть моск. пис. организацию), но почему-то мне кажется, именно тогда он поймёт, что весь этот успех – чепуха в сравнении с ценностью человеческой дружбы.

Прежде чем перейти к следующему представителю молодого поколения литераторов, сделаю отступление.

Есть люди, рождённые с явным талантом (перешёл от родителей или, как говорят, «от Бога»). И есть те, кто «сам себя сделал», то есть развивал свои, пусть небольшие, способности и в конце концов стал талантливым. Эти вторые, благодаря работоспособности, усидчивости, часто добиваются не меньшего успеха, чем первые.

Большинство начинающих прозаиков уверены – то, что им интересно, интересно и другим. Они берут какой-нибудь незначительный эпизод из своей жизни и преподносят его читателю, а у читателя таких эпизодов (и более значительных) десятки. Конечно, мастер из любого эпизода сделает отличную вещь, но начинающему прозаику (за редким исключением) это не под силу.

Наверно я неправ, но мне кажется: то, чему учат в Литинституте, полезные вещи, но и сдерживающие, ограничивающие творческую свободу. Ведь, как правило, преподаватель-мастер делает из студентов свою копию, а в этом случае «знания убивают дух». Учиться надо на классике, и, как известно, лучшее образование – это самообразование.

Классические произведения – это вечные, отфильтрованные и проверенные временем, ценности – они как неиссякаемые священные резервуары, из которых черпается не только мастерство, но и нравственные ориентиры, и силы, помогающие выжить в тяжёлые минуты.

Ну и, как правило, в рассказах начинающих литераторов мало художественности, то есть красоты, но полно красивостей, что, понятно, разные вещи.

Обычно происходит так: я прочитаю один-два рассказа, автор спрашивает: «Ну как»? Я говорю: «Слабовато», и для пользы дела начинаю перечислять слабости. Чаще всего автор со мной не соглашается. Некоторые смеются и называют меня «литературным добрым палачом».

Один из начинающих, но, пожалуй, самый самоуверенный – Евгений Белозёров. В подвале его называют «нарциссом». Он, красавчик, ходит в шляпе, вокруг шеи с шиком повязывает кашне и, демонстрируя свой «изысканный» вкус, носит розовые галстуки. Он всегда гладко выбрит, взгляд у него осмысленный, улыбка лучезарная. Если вы думаете, что он этакий глубоко воспитанный интеллигент или, чего доброго, некий сентиментальный одуванчик, то ошибаетесь. Сильно ошибаетесь. Попробуйте ему сказать, что вам не понравились его рассказы – в ответ получите отпор невероятной силы.

Появившись в подвале этот субъект прочитал какое-то мутное стихотворение, и сразу три поэта (Куксов, Рахманов и Косяков) указали ему на очевидные неточности. Он возмутился, стал упрямо, смехотворно отстаивать свои ошибки. Разошёлся не на шутку, пока Балашов не остановил его:

– Но в стихотворении есть хорошая строчка, – он процитировал её.

Белозёров тут же подсел к мэтру, положил голову ему на плечо. Позднее у него вышла первая книжка, и он подарил её мне. Рассказы оказались тусклыми, хлипкими, язык – бедноватый. Сразу подумалось: «С таким словесным запасом надо писать только любовные письма».

Однажды Голубничий решил не печатать очередной вялый рассказ Белозёрова и получил от него послание: «Но ведь не замечать, а тем более – гнобить талантливое ещё более мерзко, не так ли?»

Олег Григорьев рассказывал:

– Зашли с Чертковым и Белозёровым к Гусеву (в моск. пис. организацию), и Белозёров начал читать своё стихотворение. Гусев поморщился:

– Здесь свои стихи не читают. Только классику.

Как-то Белозёров пригласил к себе Пронина и первым делом подарил ему свою книжку. Пронин прочитал пару абзацев и швырнул книгу на пол.

Белозёров болезненно воспринимает всякую критику, при этом демонстрирует редкую воинственность:

– Я с тобой совершенно не согласен. Вот ты не понимаешь... Этот рассказ нравится моей дочери (ещё кому-то). Мне пишут от Калининграда до Камчатки, все хвалят эту книгу...

Я напомнил ему Чехова: «Нет такой чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя».

– У Белозёрова неуголённое тщеславие, – говорит Чекалкин. – Он прямо требует внимания к себе.

– Ему надо говорить только то, что он хочет слышать, – добавляет Артюх.

В свою очередь Белозёров отвечает:

– У меня есть костюм – бежевый, новый, но мне велик. Хотел его подарить Артюху, но теперь не подарю. Узнал, что он говорит обо мне гадости.

Недавно у Белозёрова вышла вторая книга. Тоже унылая, неотработанная. О чём пишет этот 53-летний мужчина? Сплошные сентиментальные эпизодики. В одном рассказе про какую-то парочку, я прочитал пять-семь страниц – одни прикосновения, вздохи. «Когда же, – думаю, герой потащит красавицу-героиню в постель?» А дальше опять – прикосновения, вздохи. Понятно, в наше циничное время необходима чистота отношений, но не до такой же степени! И потом: неужели, кроме поцелуйчиков с девицами, этот рохля ничем не занимался? А ведь он служил в армии, четыре раза был женат, имеет детей. Правда, в сборнике есть два рассказа об армии, но они бессюжетные – попросту малоинтересные заметки. С натяжкой можно назвать рассказами «Москва-Сочи-Москва», «Там, где маяк», но их надо отделять. Всё это я высказал ему при встрече, но этот козлёночек вновь замотал головой:

– Вот ты не понимаешь...

А потом кому-то пояснил:

– Старик Сергеев нас заметил, и в гроб сходя, благословил. (И что они меня хоронят?)

Недавно мне говорит:

– Месяц прошёл, как подарил книжку Юшину. Спрашиваю: «Ну как?» А он говорит, что ещё не почитал.

И не понять ему, что Юшин давно всё прочитал и просто не хочет обижать неодобрительным отзывом. Мне Юшин сказал:

– Я однажды исправил его стихотворение, он ни с чем не согласился. Больше ничего читать не буду.

Многие литераторы, чтобы не портить отношения, лицемерят, наваливают друг друга, а за спиной ругают. Некоторые уваливают от разговора, бросая ничего незначащие слова. Мандельштам говорил: «Ваши стихи оригинальны». Левитанский: «Это своеобразно». С другой стороны Блок говорил прямо: «Скверно! Очень скверно!» Кузнецов и Передреев вообще рубили с плеча: «Х...я!»

Вне разговоров о литературе Белозёров доброжелательный, улыбочивый, а если ещё и поёт под гитару (а поёт он неплохо) – слушаешь его и думаешь: «Какая радость общаться с талантливым человеком, он скрашивает жизнь». Но когда Белозёров расхваливает свои писания и доказывает, что мы ничего не понимаем, думаешь: «Какая мука общаться с малоталантливым человеком». Кто-то из мудрецов хорошо сказал: «Все люди приносят счастье: одни своим присутствием, другие своим отсутствием».

Белозёров всем дарит свои книжки. Когда он протягивает книжку какому-нибудь серьёзному литератору, я испытываю за него стыд, а он хоть бы что – считает себя равным, с кем бы ни общался (а может быть, даже и повыше). Впрочем, этим отличается не только Белозёров, но и другие молодые литераторы. Я в молодости, когда сидел с классиками, боялся открыть рот, а теперешние молодые литераторы ни во что не ставят стариков: перебивают, кричат, готовы дать по морде. Говорят, некоторые собираются нас «затоптать» (а тех, кто у власти, «скинуть») и тогда уж, ясно, развернуться по-настоящему.

Чтобы Белозёров требовательней относился к себе, Балашов говорит ему:

– Воткнуть ветку в землю может каждый, а вот сделать так, чтобы она зацвела! Придумать – только часть дела, а вот написать мастерски – здесь нужен талант. И нужна усидчивость, отделка текста.

Ну а возглавляет всю «банду» молодых – нет, не Замшев! Он слишком интеллигентен, деликатен! Дарин – вот кто! Дмитрий Дарин, молодчик из молодчиков. Энергичный, самоуверенный, с размашистой

походкой. Его первые появления в подвале были впечатляющими. Он стремительно врывается в помещение и возвещал:

– Господа литераторы! Не вижу причин, чтобы в этот тёплый (или холодный) вечер не опрокинуть по стопке водки! – и, не мешкая, направлялся к стойке.

Это производило гипнотическое действие – кое-кто был готов встать, вытянуться в струнку и отдать ему честь.

С бутылкой он подсаживался за наш стол, произносил тосты и вёл себя раскованно, как будто с нами знаком сто лет. Он здраво рассуждал о литературе и затрагивал болезненную для всех нас тему – о женщинах. В те дни он в судах делил имущество с бывшей женой и костерил женщин на чём свет стоит. Например, мне говорил:

– Ты, Леонид Анатольевич, конечно, припечатал женщин (он имел в виду «Ох уж эти женщины!»), но вот я сейчас заканчиваю роман «Бабьё», это будет да! – он вскидывал кулак, давая понять, что роман – его главное сражение в жизни.

К ЦДЛ его подвозил личный шофёр, в подвал он входил в сопровождении ярких девиц, всегда разных. Его успех завистники объясняли просто: мол, он в составе жюри конкурса авторской песни. На самом деле женщинам нравилась деловитость Дарина, его уверенность в себе и властный тон. И, конечно, его стихи.

– Сейчас женщины любят самоуверенных, высокомерных, – пояснял нам Дарин. – Любят и циников, и нахалов. Вы, господа, отстали от жизни. Особенно Леонид Анатольевич со своими тургеневскими барышнями.

Однажды в подвале появилась молодая композиторша с гитарой. (Позднее выяснилось, она окончила Красноярскую консерваторию и написала музыку на сотню стихов Дарина.) После того как она спела штук пять песен, я сказал, что мелодии прекрасные, а стихи слабоватые.

– Ничего ты, Леонид Анатольевич, не понимаешь! – Дарин высказался в духе Белозёрова, которого, кстати, всерьёз не принимает. («Завидует!» – говорит Белозёров, но чему именно, не уточняет.)

В свою очередь некоторые старые поэты всерьёз не принимают самого Дарина.

– Он пишет под Есенина, – говорят. – Собирается потеснить классика на пьедестале.

Дарин на все эти разговоры только усмехается и широко шагает к славе (недавно написал довольно сильную повесть «Барак», а его песни исполняли в самом Доме композиторов!). Понятно, вместе со славой к нему придёт и власть, и тогда всяким злопыхателям он покажет, где раки зимуют. Думаю, достанется и старикашкам. Но меня, скорее всего, он пощадит, ведь не зря называет «нашим Хемингуэем». К тому же, когда-то на его юбилее я сказал:

– Уверен, Дарин напишет роман о том, как разрушали и разво-
ровывали нашу страну, и это будет мощная вещь, Дарин добьётся
всемирной славы, и, я надеюсь, он не забудет, кто его сподвиг на
это дело.

К сожалению, на мой юбилей Дарин не пришёл, хотя говорил, что специально для такого случая написал стихотворение. Наверно, встречался с очередной девицей.

Среди молодых литераторов талантом выделяются Александр Сорокин и Юрий Зафесов (они в представлении не нуждаются), и отдельно стоят две яркие личности: прозаик Сергей Сибирцев и поэт и критик Алексей Шорохов – оба прямо-таки голливудские красавцы, им надо было сниматься в кино, а они полезли в литературу. Сибирцев возглавляет клуб метафизиков, где немало умных, талантливых ребят, но я ничего не понимаю в их писаниях. Возможно, я недостаточно умён. Но, может быть, когда-нибудь у них появятся удобоваримые для меня вещи. Когда они перебесятся. Или когда я поумнею.

Шорохов, по моему мнению, сегодня – один из лучших наших критиков. И истинный патриот. Пока есть такие, как он, можно быть спокойным за будущее России.

УКРАШЕНИЕ ПОДВАЛА

*Полюбите нас чёрненькими,
а беленькими нас все полюбят*
Английская поговорка

Наш подвал – уютное заведение: десяток столиков, над книжными шкафами – широкий экран, на котором ненавязчиво, со слабым звуком, идут фильмы о животных и последние известия, ну и, само

собой, буфетная стойка и за ней небольшая кухня. Спустишься в подвал – пахнет спиртным, кофе и табаком, почти домашняя обстановка, почти родные лица; всегда есть, с кем поговорить «по душам», за рюмкой водки снять дневное напряжение. Там всегда хватает тепла от общения. Не зря Рахманов собирается учредить «медаль небожителей», а Юшин предлагает продавать в банках воздух подвала.

Как не согласиться с Балашовым:

– У нас двухэтажная жизнь. Утром – небесная, когда работаем за столом, а вечером – подвальная, когда выпиваем.

Говоря о подвале, нельзя не упомянуть поэтесс, наших подружек, которые время от времени появляются в нашей компании: Наталья Чистякова, Полина Рожнова, Ольга Грозная, Светлана Машевич, Ирина Маркова, Софья Хрусталёва, Лариса Назаренко, Наталья Дали, а также критикессы Надежда Ступина и Наталья Блудилина. Понятно, эти сударыни – украшение подвала. И те особы, которые случайно заходят в подвал, также украшают его. Не все, конечно.

Известно, что женщины живут больше чувствами, чем рассудком, их нежным душам гораздо ближе птички, листочки, веточки, чем проблемы мироздания. И это хорошо. Если у женщины мужские мозги, она не женщина, а чудовище. В женских стихах масса положительного: в них полно целомудрия, чистой любви, искренних обид, нешуточных переживаний. Ко всему этому я отношусь с величайшим уважением, но всё-таки женскую поэзию стараюсь не читать. Мою заглубившую душу уже не облагородить.

Но, если не воспринимать поэтесс всерьёз, то общаться с ними одно удовольствие. К примеру, разве не смешно, что многие из них очень озабочены своей красотой. Так, Чистякова мне сказала:

– Учти, если в свои писания дашь мою плохую фотографию, я тебя убью. (Перепугавшись, я решил вообще не давать женских снимков.)

Как-то я сделал замечание Машевич за слишком легкомысленное одеяние (это была не просто короткая юбка, а что-то вроде набедренной повязки):

– Светка, ты оголяешься сверх всякой меры и, по-моему, вообще готова ходить голой.

– А почему не показать, если есть что показывать? – победоносно усмехнулась поэтесса.

Вдове моего умершего друга Блудилиной я тоже высказал недовольство по поводу её чересчур открытого бюста – мол, она своими формами смущает мужчин, на что она расхохоталась:

– Ты чересчур следишь за моей нравственностью!

Среди поэтесс нет задумчивых скромниц, молчаливых тихонь – они все невероятные личности, много говорят и, главное, читают свои стихи. И, естественно, ждут комплиментов. А если ты промочишь что-то невнятное, страшно обижаются. А если ещё покритикуешь – прямо готовы тебя отлупить. Я никогда не понимал мужчин, которые женятся на поэтессах. Но, конечно, женщины устанавливают определённый уровень застолья: при них мужчины не ругаются и вообще стараются выглядеть поприличнее. Я не против женского присутствия за столом, но ненадолго. Всё-таки при них не те разговоры, не то откровение, не та задушевность.

ОН БЕЖИТ МНЕ НАВСТРЕЧУ...

Стариканы подвала! Один за другим они уходят из жизни. После них ощущаешь какую-то пустоту. Тускнеет всё окружающее, меняется атмосфера подвала. Понятно, ведь каждый из умерших друзей – часть твоей жизни. За последние годы мы потеряли много литераторов: Юрия Доброскокина, Владислава Егорова, Петра Паламарчука, Валерия Рогова, Юрия Петухова, Всеволода Сурганова, Евгения Чернова, Михаила Шутова, Бориса Примерова, Михаила Зубавина, Льва Щеглова, Игоря Блудилина, Станислава Золотцева, Владимира Перкина, Глеба Позднякова, Владимира Стеценко, Юрия Тёшкина, Виктора Широкова, Павла Ульяшова, Сергея Поликарпова, Юрия Беличенко, Петра Дегтярёва, Валерия Шашина. Большинство из этих литераторов умерли после тяжёлой болезни, но некоторые неожиданно, внезапно. Одни боролись за жизнь до конца, другие (Поздняков, Дегтярёв) предчувствуя смерть приехали в ЦДЛ, по-офицерски выпили по стакану водки и, попрощались с друзьями:

– Рак доконал меня, – сказал Поздняков. – Больше не увидимся. Прощайте друзья и не поминайте лихом!

– У меня рак горла, – сказал Дегтярёв. – Я вернулся к жене, с которой развёлся два года назад. Раненый зверь всегда приходит умирать в своё жилище. Так что – прощайте!

Светлая память моим друзьям! Я считал бы себя счастливым человеком, если бы мы отстояли Советский Союз и если бы мои родные и некоторые друзья не умерли слишком рано.

Особая моя боль – драматург Валерий Иванович Шашин. Он умер через три месяца после того, как мы с ним похоронили моего брата. В тот год в Москве стоял жуткий смог – горели подмосковные леса. До этого он месяц жил на моей даче и собирался ещё поехать, но решил проверить сердце. Не успел. Ему только исполнилось шестьдесят.

Двадцать лет он был моим самым близким другом. Мы виделись каждый день, а созванивались уже с утра. Он знал о моей жизни всё, я также знал всё о его жизни. Он первым читал всё, что я написал. («Прочитал твоих собак, поплакал. Мы, астраханские, все слезливые». «Прочитал твои рассказы о женщинах. Скажу тебе вот что – если у женщины было больше трёх мужчин, она б...».) Всё, что написал он, первым читал я (последние годы он спешил, старался как можно больше сделать – возможно предчувствовал раннюю смерть.) Он научил меня разбираться в компьютере и, пока я учился, при всех моих затруднениях сразу приезжал ко мне. Я чинил его машину у себя на участке, а позднее, когда он создавал портал БПП (Библиотека профессиональных писателей), помогал ему в дизайне портала. На его машине мы ездили ко всем нашим общим друзьям и в Москве, и в Подмосковье, и ездили на водохранилище, и на выставки, и в разные кафе. Общение с ним было праздником.

Он любил меня по-настоящему. Я тоже его любил – как никого из друзей. Он был моей опорой. Бывало, навалются неприятности, скрутят болезни, совсем покидают силы, но он появляется, протягивает мне руку и я распрямляюсь.

После его смерти меня не покидает боль – как будто из моей груди что-то вырвали. Прошло два года, но с каждым днём я всё острее ощущаю потерю, каждый вечер, засыпая, заново просматриваю нашу прожитую жизнь, разговариваю с ним и... смахиваю слёзы. Иногда он появляется и днём и спрашивает: «Как тебе живётся без меня?» – «Плоховато, – бормочу. – Плоховато».

Есть поверье: душа умершего не успокоится, пока друзья или родные не доделают то, что не успел доделать покойный. Он сделал портал, но лишь частично наполнил его авторами. Это доделали мы с Александром Глазуновым – приняли в наш клан десятки новых литераторов и под словом «Библиотека» сделали добавление: имени Валерия Ивановича Шашина.

...Я вспоминаю солнечный день. Он приехал на Истру после командировки на Камчатку. Мы спешили навстречу друг другу, бежали по лугу, сбивая головки цветов... Тот день и сейчас перед глазами – мой друг бежит ко мне, улыбаясь, раскинув руки. Радость переполняла нас. Сквозь года ту радость я ощущаю до сих пор.

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Мои друзья-стариканы, или добро пожаловать в наше прошлое!	3
Клуб писателей	51
Как я вступил в десятитысячную армию писателей, с кем воевал, какие имею ранения и награды.	83
До встречи на небесах!	143
Прощание с друзьями	439
Небожители подвала	471

ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ СЕРГЕЕВ

ДО ВСТРЕЧИ НА НЕБЕСАХ!



НЕБОЖИТЕЛИ ПОДВАЛА

повести

Подписано в печать 11.05.18. Бумага офсетная. Формат 60х84 1/16.

Гарнитура «Calibri». Печать офсетная. Усл. печ. л. 40.

Тираж 500 экз. Заказ № 1299.

ISBN 978-5-00095-574-1



9 785000 955741

«ИПО «У Никитских ворот».
121069, г. Москва, ул. Большая Никитская,
д. 50/5, тел.: 690-67-19,
www.uniki.ru